

ТАЙНЫ

Бек XVIII

М. Н. Волконский

БРАТ ГЕРЦОГА

ДВЕ ЖИЗНИ

СЛУГА ИМПЕРАТОРА
ПАВЛА



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XVIII

М. Н. Волконский

БРАТ ГЕРЦОГА

ДВЕ ЖИЗНИ

**СЛУГА ИМПЕРАТОРА
ПАВЛА**

Романы



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

ББК 84 Р1
В67

Оформление художника
Е. Барсуковой

Волконский М. Н.
В67 Брат герцога; Две жизни; Слуга императора Павла:
Романы. — М.: ТЕРРА, 1995. — 624 с. — (Тайны истории
в романах, повестях и документах).
ISBN 5-85255-747-1

Историко-приключенческие романы, вошедшие в книгу, повествуют о многих событиях самого загадочного в истории России XVIII века.

Роман «Брат герцога» рассказывает о триумфе и падении Густава Бирона — удачливого в службе, но несчастливого в любви генерал-аншефа.

Роман «Две жизни» вводит читателя в полную тайн и мистики атмосферу двора императрицы Екатерины II.

Роман «Слуга императора Павла» посвящен рассказу о попытке предотвратить заговор и спасти Павла I.

В 4702010100-051 Без объявл.
А30(03)-95

ББК 84Р1

ISBN 5-85255-747-1

©Издательский центр «ТЕРРА», 1995

БРАТ ГЕРЦОГА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

СТРАННАЯ СВАДЬБА

К церкви Сампсония Странноприимца, что на Выборгской стороне, подъехала тяжелая, в шесть стекол, запряженная четверкою цугом карета с гербами рода Олуньевых на дверцах.

Был исключительно теплый, как нарочно выдавшийся, августовский вечер, какие редко бывают в сыром Петербурге в это время года. Косые лучи заходящего солнца, словно жалея расстаться с потухавшим теплым днем, обдавали красным светом все широкое пространство, далеко видимое кругом.

Церковь стояла на окраине города, почти не заселенной, с бесконечными пустырями, среди которых только изредка попадались маленькие мазанки. Тем страннее было видеть в этой чуждой всякой роскоши местности богатую карету, остановившуюся у церкви.

Да и церковь была, по тогдашним временам, совсем особенная, окруженная надмогильными крестами, простыми, сосновыми, хоть вокруг нее и не было отведено участка под постоянное кладбище. Эти кресты стояли на могилах, подойти к которым боялись даже самые смелые.

Могила принадлежала умершим страшною смертью на эшафоте или в застенке. Тут хоронили казненных преступников. Были тут еще свежие могилы Волинского, Еропкина и Хрущева, сложивших около двух месяцев тому назад свои головы на плахе.

Из кареты вышла, поддерживаемая двумя гайдуками, откинувшими подножку, полная видная барыня с властным, резким лицом, по чертам которого сразу становился ясен ее характер. Орлиный нос, выдающийся подбородок, густые, почти сросшиеся брови и черные, быстрые, не по годам живые глаза обличали в ней женщину своевольную, привыкшую к подчинению себе окружающих.

За ней гайдуки почти вынули и внесли на руках в церковь молодую девушку в белом подвенечном платье, с фатою на голове. Она была бледна и, казалось, не сознавала того, что происходило вокруг.

Когда они вошли в церковь, стройный хор, поместившийся на клиросе, в парадных кафтанах певчих, видимо, не принадлежавших церкви, но нанятых за большие деньги, запел встречу.

Церковь была совсем пуста. Ни гостей, ни посторонних любопытных тут не было. Гайдуки, стоявшие у растворенных дверей церкви, не пускали никого, да и никого почти не было в это время в этой глухой, забытой части Петербурга.

Невесту подвели к разостланному ковру, и от группы стоявших у стенки мужчин отделился один и стал возле нее.

Это был молодой еще человек. Его высокий лоб, прекрасные темные глаза, правильный нос и тонкие, красиво очерченные губы, слегка улыбавшиеся под усами, казалось, не могли принадлежать человеку происхождения низкого. Он держался прямо, осанисто, руки его были белы, и ноги, несмотря на стоптанные башмаки с откровенными заплатами, показывали в нем породистость. Но одет он был очень странно. Он был простоволос — без парика, что, впрочем, служило ему в пользу. Его темные густые волосы красиво вились и падали почти до плеч, по старому, бывшему еще при Петре в моде обыкновению. Кафтан на нем тоже казался давно вышедшим из моды. Этот потертый по швам, с не везде целыми пуговицами кафтан лоснился и выцвел. Галун на камзоле почернел и протерся. Чулки были заштопаны, и на правом колене ясно виднелась заплата.

Но, несмотря на свой наряд, а может быть, именно вследствие него, он как-то подчеркнуто гордо подошел и стал на свое место, словно хотел показать всем, что несколько не стыдится своих заплат и своего потертого кафтана. Подойдя, он оглядел невесту очень внимательно с ног до головы, как человек, который первый раз в жизни видит ее.

Она была очень хороша. Вся ее прелесть заключалась в необыкновенной миловидности и какой-то наивной молоджавости чуть ли не детского, невинного личика. Она стояла с опущенными ресницами, бледная, в полуобморочном состоянии. Ее поддерживали сзади под руки.

Жених оглядел ее, отвернулся, но его глаза опять невольно скозились в ее сторону.

Священник быстро, скороговоркою начал обряд венчания.

Все казались как-то сконфуженными, боявшимися взглянуть в глаза друг другу и торопились; только привезшая невесту барыня вошла и стала с гордым сознанием правоты и необходимости того, что происходило теперь, да жених не казался смущенным, потому что, видимо, ничто в жизни не могло смутить его. Было что-то как будто наглое и дерзкое в его походке и выражении, когда он, отделившись от остальных, подошел к ковру, но при первом же взгляде его на невесту это выражение исчезло и сменилось ровною, спокойною задумчивостью. Рука его дрогнула, когда, меняясь кольцами, он коснулся ее тонких, почти прозрачных пальцев; а она как будто и не чувствовала этого прикосновения.

Священник торопился, но венчание, казалось, тянулось все-таки целую вечность. Наконец он взял венчающихся за руки и повел их к аналою. У аналая, как следует, лежал розовый шелковый плат, и они вступили на него.

Еще беспокойнее, еще торопливее заговорил священник, и еще ниже опустилась головка той, которая стояла теперь в подвенечном платье перед аналоем.

В этом движении головы единственно промелькнул проблеск сознания в ней. Во всем остальном она была безучастна. Она вовсе не ответила на вопрос. Впрочем, священник задал его так быстро, как будто и не ждал ответа. Она едва передвигала ноги, когда шла под венцом; она не коснулась губами поднесенной ей чаши и, когда кончилось венчание, послушно отдалась в руки, перенесшие ее обратно в карету. Во все время церемонии она ни разу не подняла глаз.

Барыня, приехавшая с нею, гордо и важно последовала к карете; ее посадили те же гайдуки, усадившие туда «молодую»; подножка закинулась, хлопнула дверца, гайдуки вскочили на свои места, и карета, тронувшись, закачалась на высоких рессорах.

Затем показался на паперти «молодой». Он вышел, приостановился, поглядел вслед удалявшейся карете и, надвинув крепко на голову порыжелую шляпу, пешком отправился в город.

В этот день в метрические книги Сампсониевской церкви была занесена запись о бракосочетании князя Бориса Андреевича Чарыкова-Ордынского с девицею Наталией Дмитриевной Олуньевой.

II

КТО БЫЛА НЕВЕСТА

Только старуха Олуньева, известная всему Петербургу под именем Настасья бой-баба, могла задумать, начать и привести в исполнение то, что произошло на ее глазах в церкви Сампсония.

Настасья Петровна Олуньева, дожившая безбрачно до старых лет, была одною из влиятельных фрейлин царствующей императрицы. Императрица Анна Иоанновна любила слушать рассказы про старину и про нынешнее время, и никто, как Олуньева, не умел угодить ей рассказами. Ни у кого не было такого запаса воспоминаний, как у нее, и никто не умел с таким поистине прирожденным талантом собрать ходившие по городу сплетни и преподнести их в целом ряде историй, одна другой занимательнее. Редкий вечер проходил без того, чтобы Настасья Петровна не являлась к государыне. Она становилась перед нею, и тогда откуда что бралось у нее.

Олуньева много видывала на своем веку. Прозвание бой-бабы, несмотря на то что постоянно оставалась в девах, получила она еще при покойном императоре Петре I, при котором исполняла даже какую-то должность на учрежденном им «всеобщем» соборе. Затем она сумела устроиться и удержаться при дворе, благополучно выплыв из всех разнообразных течений, беспрестанно сменявшихся и уносивших многих с собою. Она была в почете при дворе Екатерины I, ладила с Меншиковым, потом была в дружбе с Долгоруковыми и осталась цела после их падения. Анне Иоанновне она сумела услужить, когда та, еще незначительною герцогиней Курляндской, приезжала в Петербург хлопотать по разным делам своим.

И теперь Олуньева являлась в придворном мире лицом, с которым приходилось считаться. Языка ее боялись и перед нею заискивали. Сам всемогущий Бирон находил нужным ласково относиться к бой-бабе Настасье.

Главная сила Олуньевой заключалась в ее известной всем смелости. Она, по-видимому, не боялась никого, и потому другие боялись ее. Она всегда говорила резким голосом, каким обыкновенно высказывают резкую правду, и все верили, что она не страшась каждому в глаза правду режет.

Положим, смелость ее была рассчитанная — она всегда отлично знала, когда и где показать ее и насколько именно, и когда смолчать, и когда заговорить — но этого не замечали, удивлялись Олуньевой и боялись ее.

Настасья Петровна, сумевшая устроить свою жизнь и достигнуть такого положения, какого не достигла ни одна из ее замужних сверстниц, весьма естественно гордилась собою и своим положением, вследствие чего невольно относилась с легким оттенком презрения к мужчинам, сумев без помощи мужа добиться и почета, и значения.

В душе она не любила мужчин. В свою долгую жизнь она видела столько браков, и столько из них оказывались несчастливыми, что она в конце концов стала уверять, что ежедневно благодарит Бога за то, что Он избавил ее от «султанского тиранства». И всегда в ее глазах в несчастном браке был виноват муж.

Олуньева жила в Петербурге большим, богатым домом, обладая хорошими средствами, доставшимися ей по наследству. Эти средства увеличились еще со смертью ее брата-вдовца, оставившего после себя маленькую дочь Наталью.

Олуньева, как опекунша, взяла племянницу к себе и вступила почти в бесконтрольное управление ее состоянием.

Когда Наташа стала подрастать, Настасья Петровна увидела в ней мало-помалу развитие тех же вкусов и склонностей, какие были в ней самой. Наташа рано начала понимать и рано выказала свою характерность. Игры, какие она придумывала себе, настойчивость, с которою добивалась того, чего хотела, все свидетельствовало в ней, что из нее выйдет прок, как говорила Олуньева.

— Ой, растет девка — вся в меня будет, — повторяла она, с искренним удовольствием глядя на племянницу.

Воспитывала она ее довольно своеобразно. Ласкать — не ласкала никогда, но почти никогда и не наказывала. Она смотрела строго за тем, чтобы Наташа была одета, обута и сыта, а об остальном не заботилась.

С семи лет она приставила к девочке двух гувернанток: одну — немку, другую — француженку, которые сейчас же поссорились между собою и пришли жаловаться друг на друга Настасье Петровне. Та прикрикнула на них и приказала, чтобы этого вперед не повторялось.

Гувернантки, видя свой неуспех, действительно более не являлись к ней, но это не мешало им чувствовать глу-

бокий, зародившийся с первого раза антагонизм между собою.

Следствием этого антагонизма было то, что за девочкой почти не смотрели. Наташа делала что хотела. Живая, бойкая от природы, она приводила в отчаяние окружающих, чем, однако, доставляла несказанное удовольствие тетке, никогда не сердившейся за ее проделки.

Впрочем, жизнь Настасьи Петровны была слишком полна интересами общества, где она вращалась, чтобы она могла уделить много времени племяннице. При этом она вполне искренне верила, что делает для Наташи все от нее зависящее и что та растет при самых лучших условиях, какие лишь возможны для будущей самостоятельной женщины, какою она, по собственному подобию, воображала себе впоследствии Наташу.

Она с одобрением видела, как у маленькой девочки при игре в куклы всегда страдательными лицами являлись мальчики, как для этой девочки все мужское являлось чем-то низшим, служебным и подчиненным и как впоследствии Наташа, когда выросла, стала охотно предаваться занятиям, совершенно не свойственным, как казалось, девушке. Летом в деревне она ездила верхом, стреляла из лука, ловила рыбу, только пешком не любила ходить.

Все эти занятия очень любила императрица, и Настасье Петровне приятно было рассказывать ей про свою племянницу. Она видела одобрение государыни.

Однако, несмотря на такие наклонности, Наташа оставалась по внешнему виду миловидно-женственною и ездила верхом и стреляла с такою чисто женскою грацией, словно так только, нарочно, шутя и шаля, занималась этим.

В 1739 году Наташе минуло семнадцать лет.

Настасья Петровна и не заметила, как наступило это время, и очень удивилась, когда однажды, всмотревшись за обедом посерьезнее в племянницу, открыла в ней совсем взрослую девушку.

— Мать моя! — сказала она с удивлением. — Да ведь ты совсем дюжей девкой стала. Когда же это ты успела вырасти?

С этого дня Настасья Петровна, видимо, все еще не пришедшая в себя от удивления, стала говорить каждому встречному:

— Нет, представьте, моя-то Наталья, племянница, ведь выросла!.. Так-таки совсем и выросла.

Наташе заказали длинное платье и вывезли на первый бал, где она сразу имела успех; и с этих пор молоденькая, хорошенькая Наташа Олуньева сделалась одним из заметных украшений петербургского общества.

III

ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК

Зима 1740 года весело проходила в Петербурге.

Несчастный Волинский строил свой ледяной дом, где венчали Голицына с Бужениновой, затем потянулся целый ряд празднеств и «мирных торжеств» по случаю подписанного 7 сентября мира с турками в Белграде.

Эти празднества начались 27 января торжественным въездом в столицу гвардейских войск, участвовавших в кампании.

День был холодный, морозный. Войска входили с музыкой и развернутыми знаменами. У офицеров шляпы были украшены лавровыми листьями, а у солдат — ельником, «чтобы зелень была», как говорилось в расписании порядка шествия.

Впереди гвардейских батальонов, окруженный адъютантами, скороходами, пажами и егерями, ехал начальник отряда генерал-лейтенант, гвардии подполковник и генерал-адъютант Густав Бирон, брат временщика Эрнста-Иоганна. Это было его торжество.

Войска прошли по Невскому к Зимнему дворцу, куда были приглашены офицеры, которых встретила сама государыня.

— Удовольствие имею, — сказала она, — благодарить лейб-гвардию, что, будучи в турецкой войне в надлежащих диспозициях, господа штаб- и обер-офицеры тверды и прилежны находились, о чем я через фельдмаршала графа Миниха и подполковника Густава Бирона извещена, и будете за свои службы не оставлены.

Затем Анна Иоанновна каждого офицера изволила жаловать «из рук своих венгерским вином по бокалу».

14 февраля счастливый триумфатор Густав Бирон командовал парадом двадцатитысячного войска и был произведен в этот день в генерал-аншефы и пожалован золотою саблею.

Для народа были выставлены жареные быки на площади и били фонтаны красного и белого вина. Государыня

кидала в толпу жетоны. Двор веселился на празднествах, маскарадах, балах и обедах.

И везде первым лицом, героем торжества был вернувшийся из похода брат всеильного герцога Бирона.

Густаву было под сорок, но благодаря военной выправке и природной молодцеватости он казался моложе своих лет, и его бравый вид производил приятное впечатление. Последнее усиливалось благодаря ореолу почестей и славы, окружавшему теперь Густава.

Он был вдовец. Жена его, дочь в свое время знаменитого Меншикова, умерла четыре года тому назад. Он жил с нею недолго, но счастливо и первое время глубоко, как казалось, чувствовал свою потерю. Однако мало-помалу горе смягчилось, растаяло в заботах по службе и затмилось улыбками счастья, которыми награждала судьба близкого родственника царского любимца.

Время шло для Густава беззаботно и весело. Жил он в великолепном доме на Миллионной, почти во дворце — по крайней мере, мало было тогда в Петербурге таких домов, высоких, каменных, с колоннами из черного мрамора. Отказывать себе ему ни в чем не приходилось, и ему ни в чем не отказывали — ни в почестях, ни во внимании. Захотел он отличиться на любимом своем ратном поприще — его послали в Турцию, и вот он вернулся оттуда, покрытый военной славой, и возвращение его чествовали, как только могли.

Кроме официальных торжеств: въезда, парада, представлений и наград, на каждом балу, на каждом вечере, так или иначе, в угоду герцогу Бирону устраивались оvationи в честь его брата.

Одно из них особенно осталось памятно Густаву.

Это было на балу у Нарышкина. Густаву вовсе не хотелось ехать на этот бал — празднества утомили его; но на этот раз нужно было подчиниться. Брат сказал ему, что у Нарышкина будет государыня, и этого, разумеется, было довольно. Требовалось снова надевать узкий мундир, прицеплять золотую саблю, садиться в карету и ехать и снова быть центром устремленных отовсюду глаз пестрой, разодетой толпы.

Но все это казалось утомительным лишь вначале, а когда наступило время и Густав, подчиняясь необходимости, надел свой расшитый измайловский мундир, прицепил саблю и со шляпой под мышкой, красиво выгнув вперед широкую грудь, вошел в освещенный зал, его не-

вольно охватило блаженное, самодовольное и себялюбивое чувство сознания собственной цены и значения. Он словно молодел в эти минуты; по крайней мере, для него было что-то молодое, упоительно-радостное в сознании, что вот сотни глаз ищут его взгляда, сотни людей ждут с замиранием сердца, когда он обратится к ним, и если он действительно обратится, то они будут бесконечно счастливы этим.

Бесконечно счастлива будет и та, к которой он подойдет, чтобы пригласить ее танцевать, потому что и среди этих робких, молодых, хорошеньких личиков нет ни одного, которое не было бы обращено в его сторону и на котором не выказывалось бы трепетного желания обратить на себя внимание.

Густава вновь на первых двух-трех балах это тешило, но барышни оказывались очень робки и глупы и слишком уж как-то заискивающе относились к нему. То, что было приятно в мужчинах, невольно отталкивало в женщинах, и ни одна из них не нравилась Густаву.

И тут, у Нарышкина, он после поклона хозяину обвел равнодушным, стеклянным, начальническим взглядом, таким, как оглядывал солдат во фронте, этих распудренных и разодетых красавиц с тем, чтобы, по обыкновению, отвернуться, не встретив симпатичного лица.

И вдруг словно какой-то чужой, внутренний голос сказал ему, что он ошибся. На этот раз не все смотрели на него так, как привык он. Была одна, которая казалась ничуть не смущенною, даже равнодушною. И Густав сразу нашел ее. Словно во всем зале не было никого выше ее — такую непринужденностью, почти гордостью веяло от ее маленькой, стройной, хорошенькой фигурки. Она держалась твердо и прямо и взглянула в сторону Бирона, как будто не он, а она была тут героем, перед которым должно все преклониться. Онаглянула и отвела глаза, точно ее вовсе не интересовало, смотрят на нее или нет, и, спокойно играя своим обшитым кружевами и усыпанным драгоценными камнями веером, отошла в сторону.

— Кто это такая? Я ее вижу в первый раз, — спросил Густав у своего адъютанта.

Тот поспешил ответить ему, что это — Олуньева, племянница известной Настасьи Петровны.

— А, знаю — Настасья бой-баба, — ответил Бирон и пошел было искать старую фрейлину, чтобы она представила его своей племяннице.

Но в это время все в зале забегало, засуетилось, зашумело и вдруг стихло. Грянула музыка. Государыня в сопровождении хозяина, герцога Курляндского и царской фамилии показалась в дверях. Густаву необходимо было выйти вперед, и он вышел.

Он был почти уверен заранее, что бал начнется каким-нибудь торжеством в его честь. Вероятно, одна из этих барышень, конфузясь, кусая губы и краснея чуть не до слез, возложит на него лавровый венок.

Густав молил Бога об одном, чтобы при этом не было бы читано стихов. С венком он еще мирился, но стихи, выслушивать которые уже не однажды заставляли его в подобных случаях, были невыносимы.

И действительно, и на этот раз было приготовлено такое торжество. Возложение венка обыкновенно поручалось самой хорошенькой, по всеобщему мнению, девушке, но до сих пор Густаву не приходилось разделять это мнение. Однако теперь с лавровым венком подошла та, которая была на самом деле лучше всех: у Нарышкина венчание героя было поручено молодой Олуньевой.

Она подошла и исполнила свою трудную задачу — трудную потому, что на нее смотрели и шептались, — так просто, естественно и смело, словно ей это решительно ничего не стоило. И Густав чувствовал, как сильнее забилося его сердце, когда Наташа подошла к нему. Казалось, он смутился гораздо более, чем она.

И с первой же встречи, с самого этого бала у Нарышкина, он заметно стал искать дальнейших встреч с Наташей.

IV

БАРОНЕССА ШЕНБЕРГ

Начавшийся такими торжествами и таким весельем 1740 год скоро оказался, однако, совсем иным, чем можно было ожидать по его началу. Словно для поддержания равновесия относительно этих торжеств и веселья явилось совершенно новое настроение. Вдруг наступило затишье, двор приуныл, и все, что было влиятельного в Петербурге, забеспокоилось, зашептало и преисполнилось смятением. До сих пор скрытая, но, впрочем, многим известная вражда герцога с кабинет-министром Волынским перешла в открытую борьбу, и все притаили дыхание в ожидании, чем кончится эта борьба.

Однако ждать долго не пришлось. К Святой выяснилось, что падение смелого Волынского неминуемо. Вскоре после Святой недели, 12 апреля, он был арестован, и была назначена комиссия для расследования его преступлений.

Настасья Петровна своим долгим опытом знала, как следовало поступать при таких обстоятельствах: сколько раз на ее глазах положение обострялось, сильные люди вдруг теряли все и падали, и она всегда прибегала в этих сомнительных случаях к одному и тому же, но зато неизменно верному средству: она, как канцлер Остерман, заболела и отпрашивалась в деревню, появляясь снова на виду лишь тогда, когда буря вполне успокаивалась. И теперь Олуньева задолго почуяла беду и поспешила принять свои меры: раннею весною она с Наташей перебралась в деревню.

Очутившись снова в лесу и в поле, Наташа забыла угар прошедшей зимы, проведенной ею в постоянных выездах, потому что приглашений у Олуньевой было всегда очень много благодаря успеху Наташи и ее модным, дорогим платьям.

Воспоминания об этой зиме слились у нее как-то в одно неразрывное целое чего-то беспокойного, шумного, живого, движущегося и пестрого. И блестящий брат герцога, которому она надевала венок и который потом в числе других мужчин, и молодых, и старых, старался вертеться возле нее, вовсе не занимал видного места в этом воспоминании. Не то чтобы Наташа не заметила его, но он как-то слился у нее со всем остальным и был не более как подробностью, и подробностью далеко не важной.

Впрочем, важным ей ничего не показалось во время ее выездов.

Когда прошли летние месяцы и тетка сказала ей, что пора возвращаться в Петербург, Наташа даже искренне пожалела деревню. словно по какому-то предчувствию, ей не хотелось ехать снова в тот далекий холодный город, где без них произошли уже страшные события.

Весть о казни Волынского Настасья Петровна получила одна из первых, и Наташу крайне поразила казнь человека, которого она видела во время празднеств в ледяном доме и потом на балах — изящным, красивым и гордым. Неужели этот Волынский погиб на плахе и голова его скатилась под топором палача? Да не одна голова: Наташе рассказывали, что ему сначала отрубили руку, а потом — голову. И Хрущов с ним, и Еропкин.

Хрущова она тоже помнила, а Еропкина, как ни старалась, не могла припомнить, хотя, вероятно, встречалась и с ним.

За что их казнили, что они сделали — Наташа не могла разобрать хорошенько. Неужели они были в самом деле такие дурные люди? Ей, может быть, легче было бы, если б она узнала, что они были дурные. Она спрашивала у тетки, но та ничего не объяснила и лишь строго-настрого запретила ей не только говорить, но и думать о Волынском, в особенности по приезде в Петербург.

— Говорить там станешь о нем — и тебе язык вырежут, — сказала она, — а думать — так мозги выбьют.

Конечно, это была шутка со стороны Настасьи Петровны, но эта шутка серьезно испугала Наташу. Неужели и ей могут вырезать язык? Отчего же нет, если тем отрубили головы? А ведь это, должно быть, очень больно, когда язык режут! Но кто же посмеет с нею сделать это? Сильный человек, чужестранец Бирон... И она инстинктивно чувствовала к этому человеку холодный ужас, и чем больше думала о нем, тем страшнее казался он ей.

— А не остаться ли нам в деревне? — спрашивала она тетку, когда подходило время их отъезда в столицу.

— Бирона испугалась? — отвечала тетка своим густым, басистым голосом и начинала смеяться.

Опять этот Бирон! Он не давал покоя Наташе.

Старуха Олуньева стала собираться в Петербург, как только улеглась, по ее расчетам, поднявшаяся там буря. Она, посмеиваясь над Наташей и продолжая пугать ее Бироном, велела укладываться, высылать подставы и назначила день отъезда из деревни.

В начале августа они были снова в Петербурге. Волынского казнили около двух месяцев тому назад, но это событие уже перестало быть новостью дня. Впечатление сгладилось, и мало-помалу обычные себялюбивые интересы охватили опять общество.

Настасья Петровна, вернувшись, нашла почти все по-старому. Ей были рады, ее приняли хорошо, расспрашивали, как ее здоровье, и как здоровье племянницы, и скоро ли вновь увидят эту племянницу.

Появление Олуньевых произвело сенсацию и при дворе, и в обществе. Для придворных возвращение старой фрейлины служило надежным указанием, что положение вещей теперь таково, что бояться нечего, раз уж Настасья Петровна явилась. Для общества было приятно, что хорошень-

кая Наташа снова покажется в нем, но это же вместе с тем было досадно многим, потому что у Наташи, разумеется, нашлись уже завистницы и недоброжелательницы.

Едва успели Олуньевы устроиться у себя и только что Настасья Петровна побывала во дворце, как старухе Олуньевой доложили, что к ней приехала баронесса Шенберг.

Настасья Петровна поморщилась. Она знала, что баронесса была близка с семейством Биронов (муж ее служил главным начальником по горной части и пользовался расположением герцога Иоганна), а также, что эта Шенберг — большой руки интриганка. Она не любила ее.

Но, помимо этого, неожиданный приезд баронессы служил доказательством, что Олуньевой не обойтись теперь без хлопот. Страсть баронессы путаться в дела сватовства была известна в Петербурге. В прошлую зиму Настасья Петровна достаточно видела ухаживание барона Густава Бирона за своей племянницей, чтобы понять тайный смысл этого приезда баронессы.

«Неужели так скоро?» — подумала она и велела просить гостью.

Шенберг влетела в гостиную, в которой приняла ее Олуньева, с теми ужимками, какие свойственны женщинам, умеющим казаться моложе своих лет.

— Ах, милая, ах, душа моя, — заговорила она, — наконец-то вы вернулись!.. А мы-то ждали вас, ждали...

И она целовалась с Настасьей Петровной, как будто была ей если не близкая родственница, то, во всяком случае, приятельница, готовая душу свою положить за нее.

Когда они сели, баронесса все еще любовно смотрела в глаза Настасье Петровне и, с чувством пожав ей руку, проговорила еще раз:

— Да-да, мы ждали, так ждали и теперь рады...

— То есть кто же это «мы»? — переспросила Олуньева, сейчас же начиная игру в правду и требуя в силу этого определенного ответа.

Баронесса взглянула на нее и ответила еще любезнее:

— Ах, разумеется, мы все!

Но в этом взгляде, брошенном баронессой, выразилась вся разница между этими двумя, в сущности, похожими и вместе с тем совершенно различными женщинами. По своим внутренним качествам, стремлениям и понятиям они были вполне тождественны, но у каждой из них была совсем особенная внешняя игра, посредством которой они до-

стигали своих целей. Настасья Петровна действовала якобы прямою, почти грубостью, Шенберг — ласковостью и страшною, до тривиальности утрированной любезностью. И обе они понимали друг друга и потому чувствовали взаимную нелюбовь и антипатию.

Шенберг, разумеется, сейчас же заговорила о Наташе и, конечно, стала ее хвалить. Олуньева молча наблюдала за ней.

Поговорив о Наташе, баронесса сейчас же перешла на барона Густава и принялась хвалить его, намекая весьма ясно на то, что счастлива будет девушка, которая выйдет за него замуж.

Ясно было, что Настасья Петровна не ошиблась относительно причины посещения баронессы.

Трудно было ей отвечать. Главное, вся эта история застала Олуньеву врасплох — она не была приготовлена к ней. Она никак не могла ожидать, что барон Густав так быстро поведет нападение. Приехал бы он еще сам, с ним она сумела бы переговорить, но этот предварительный приезд баронессы Шенберг (не было сомнения в том, что это он прислал ее) ставил Настасью Петровну в очень щекотливое положение. С баронессой требовалась самая щепетильная осторожность. Что ни скажи ей, она непременно преувеличит и сделает из мухи слона. И потому Олуньева вовсе не отвечала баронессе по существу. На похвалы Наташе она говорила, что ее племянница правда «девка изрядная», но несколько и не лучше других и что много есть таких, как она; когда же баронесса хвалила Бирона, она поддакивала ей и, в свою очередь, хвалила его, сказав, что и жену ему нужно не простого дворянского, но по крайней мере княжеского рода.

Это упоминание о княжеском роде сильно покорило Шенберг. Она прикусила губу и ясно намекнула, что Густав Бирон женится, на ком захочет, если сватом от него придет сам герцог. Разве посмеет кто отказать такому свату?

На вспышку баронессы Олуньева вспыхнула в свою очередь, но не показала виду. Они расстались, по-видимому, друзьями.

ТЕТКА И ПЛЕМЯННИЦА

Когда уехала баронесса Шенберг, Настасья Петровна долго ходила из угла в угол, крепко стискивая заложенные назад руки.

Из всего только что выдержанного ею неприятного разговора самым неприятным казался намек на то, что могут заставить выдать Наташу за кого-нибудь, что могут заставить ее, Настасью Петровну, сделать то, чего она не хочет! Всю свою жизнь она делала всегда по-своему, и вдруг теперь... Настасье Петровне казалось это невыносимым. Она твердо была уверена, что не родился еще тот человек, который способен принудить, покорить ее непокорную волю.

«Нет, шалите, шутите! — говорила она себе, таинственно улыбаясь. — Не будет этого, не будет!»

Как и что делать и почему «не будет этого», она хорошенько не знала еще, однако знала, что ни за что не сделает по-чужому, но непременно по-своему.

Успокоившись настолько, чтобы не показать наружно своего волнения, Олуньева отправилась наверх, в комнату племянницы.

Наташа сидела с книгой у окна, когда вошла к ней тетка.

— Ты что ж это опять читаешь? — спросила Олуньева, которой не хотелось сразу приступить к делу.

Она всегда недоброжелательно относилась к чтению.

— Да делать нечего, — ответила Наташа.

— Роман небось?

— Да, роман, — улыбнулась Наташа.

— Так, мать моя, читай, читай больше, приучайся к любовным мамурам.

У Настасьи Петровны была слабость нарочно коверкать иностранные слова.

Наташа подняла голову и пристально поглядела на нее. Она сразу догадалась, что и приход тетки, и приступ ее были неспроста, что что-то случилось, и, вероятно, очень важное.

— Тетя, — спросила она, — кто у нас был сейчас? Я слышала, как к нашему крыльцу чья-то карета подъезжала.

— Была сорока — на хвосте сор приносила.

— Кто же это?

— Шенбергша Ты знаешь ее?

Наташа сделала усилие, чтобы припомнить.

— Может быть, — ответила она, — только не помню... Она не бывала у нас?

— Нет, я ее только в важных случаях пускаю к себе.

— А-а! Значит, такой случай был сегодня?

— Бы-ыл, — протянула Настасья Петровна, — и даже тебя очень касался.

Наташа широко открыла глаза.

— Меня? Что за дело этой барыне до меня? — удивилась она, чувствуя, как ее охватывает уже смутный трепет волнения, какое испытывает человек в решительные минуты своей жизни.

— Ей до всех дело... а до тебя теперь в особенности... Ты помнишь барона Густава Бирона?

— Брата герцога?

— Да, его родного брата. Того, которому ты веноч надевала у Нарышкина. И нужно было этому венку тогда замешаться! Не будь его — ничего, пожалуй, не было бы.

Наташа видела, что смутное предчувствие не обманывает ее, и ей вдруг стало смешно. Неужели правда дело идет о сватовстве?

— Ты чему ж улыбаешься? — спросила ее тетка.

— Да как же, тетя? Конечно, все это очень смешно. Ведь это выходит... как это говорится...

— Это выходит, что брат его светлости герцога Бирона намерен сватать тебя, вот что! И нам мало времени, я тебе скажу, остается, чтобы обсудить это хорошенько. Так вот и думай!

— Да что ж тут думать? — продолжая улыбаться, сказала Наташа. — Ответ ясен: не хочу я ни за кого замуж, вот и все.

— Что же, век в девках просидеть хочешь?

— Да ведь вы же прожили без мужа!

Удовольствие так и расплылось на широком строгом лице Настасьи Петровны.

— Прожила, — заговорила она, — и прожила, мать моя, припеваючи. Счастливее других была, замужних. И всякой, кому добра желаю, посоветую моему примеру последовать, а тебе, Наташа, я желаю добра всей душой, всем сердцем, вот как!

— Ну, вот видите! — опять усмехнулась Наташа.

— Так, значит, отказывать барону-то?

— Ну, разумеется.

Олуньева задумалась. Нелегко было отказать такому человеку, в особенности если угроза баронессы, что сам герцог сватом приедет, сбудется.

— Видишь, дело в чем, моя милая, — снова заговорила она, помолчав, — отказать-то я рада, но как это сделать?

Личико Наташи стало серьезнее.

— Как сделать? Ну, как обыкновенно... Я не знаю...

— Случай-то необыкновенный: ведь если герцог захочет удружить брату...

Только теперь, при этих словах тетки, Наташа сознательно подумала о том, какой человек хочет стать ее мужем. Сначала она с легкомыслием молоденькой, не знавшей еще серьезной любви девушки, чувствовавшей себя очень хорошо и весело в том положении, в котором находилась, просто не хотела изменить это свое положение и, не задумываясь, решила отказать Бирону, как отказала бы всякому другому; но теперь ей стало страшно вступать в семью, где главою был ужасный для нее и для всех ее окружавших временщик. Краска сбегала с ее лица.

— Тетя, — дрогнувшим голосом повторила она, — я не хочу замуж.

Настасья Петровна внимательно поглядела на нее.

— То есть ты, мать моя, за Бирона не хочешь или вообще? — спросила она.

Наташа не ответила и закрыла лицо руками.

— Слушай, Наталья, — продолжала Олуньева, — дело это нешуточное: тут нужно придумать что-нибудь очень хитрое, раз навсегда решить нужно... Растила я тебя, скажу откровенно, вовсе не для замужней жизни. Состояние у тебя есть, а еще я умру и свое тебе все оставлю, — будешь ты сама себе госпожа, живи в свое удовольствие... А мужчины — народ подлый, видала я их довольно... Пока это перед свадьбой — и туда, и сюда, совсем гладкие, хоть веревки вей из них; ну а как мужнюю-то власть воспримут, как это прокричат им «жена да убьется своего мужа», так и пойдет все пропадом; а потом мыкается, мыкается наша сестра, вчуже жаль становится. Говорю тебе, насмотрелась я. Зла тебе не посоветую. И Бирон ли, другой ли — все один рожон, всех их бы в один мешок да в воду... Ну, так вот подумай хорошенько...

Наташа слушала, но плохо понимала слова тетки. Перед глазами у нее стоял страшный образ злого (злым все считали его) герцога, и по телу пробежала дрожь от сказан-

ных когда-то в шутку слов Настасьи Петровны: «И тебе язык вырежут».

— Нет-нет! — кинулась она к тетке. — Ни за кого я замуж не хочу, ни за кого... Возьмите, спрячьте меня! — И она порывисто, нервно заплакала.

— Ну-ну, успокойся! — проговорила Олуньева, глядя ее по голове. — Погоди, авось что-нибудь и придумаем.

VI

ПРИДУМАЛИ

Целый день Настасья Петровна после разговора с Наташей никуда не выезжала и одна ходила по комнатам, соображая, как быть. Она ни с кем не разговаривала, не подымалась больше наверх к племяннице, не велела никого принимать и только вечером куда-то таинственно посылала Григория Ивановича, старика дворецкого, который, вернувшись, прошел прямо к ней с очень озабоченным, сердито-серьезным видом. После этого Олуньева ушла к себе в спальню и заперлась там.

На другой день рано утром Настасья Петровна вышла с осунувшимся, пожелтевшим лицом и со впалыми, но блестящими глазами, какие бывают у человека после бессонной ночи. Постель ее оказалась нетронутой, она действительно не спала всю ночь.

— Позовите ко мне Наталью Дмитриевну! — приказала она.

Наташа пришла с таким же лицом, как у тетки. Видно, и она не спала совсем.

Олуньева ласково, ласковее обыкновенного, поздоровалась с нею.

— Что, видно, пришли и нашей дочке черные ночки? — попробовала пошутить она, но шутка не вышла у нее, и она, чтобы сгладить впечатление этого, крепко поцеловала Наташу в лоб и продолжала: — Соображала я всю ночь о тебе, и знаешь, что в конце концов полагаю?

Наташа широкими, испуганно-недоумевающими глазами глянула на тетку, в тоне голоса которой слышалась будто угроза.

— Что такое, тетя? — переспросила она.

— А вот что. Барон этот самый, Густав Бирон, богат. Посмотри, в каком почете он! Шутка ли — генерал-аншеф, не стар, ловок... Ты думала об этом?

Наташа, сморщась, опустила веки и тихо ответила:

— Думала.

— Да ты сообрази только: ведь не будешь ни в чем отказа иметь, все у тебя будет, завидовать тебе станут... Сколько девок на твоём месте до потолка прыгало бы!

Наташа сморщилась еще более, словно она испытывала не нравственное, но чисто физическое страдание.

— Тетя, — с трудом проговорила она, — к чему вы это ведете?

— А к тому, друг мой, чтобы потом тебе не каяться.

— Не каяться? — повторила Наташа, вдруг подняв голову. — В чем мне каяться, в чем? Если бы я когда-нибудь вышла замуж за Бирона ли, за другого ли, то уж, конечно, не стала бы соображать ни о богатстве, ни о почете его... Разве мы сами бедны?.. Да и будь мы бедны, тогда бы еще хуже... Нет, тетя, это не то, не то... Ведь вы сами знаете, что не надо говорить так... не надо.

Настасья Петровна уже раньше, до ответа Наташи, видела, что напрасно завела свою речь и что из этой речи ничего не выйдет, как не вышло из шутки, которую она встретила Наташу. И все-таки она с удовольствием выслушала ее ответ, видя, как в девушке заволновалась текшая в ее жилах, родная ей самой олуньевская кровь.

— Ну, полно, полно, Наталья, знаю! Это я только в последний раз испытать тебя желала... Так не хочешь идти ты за Бирона?

— Ни за Бирона, ни за кого я замуж не хочу, — повторила Наташа свои вчерашние слова с еще большим, чем вчера, убеждением.

Ночь, проведенная ею тоже без сна, как казалось, еще более убедила в ее решении. Теперь, после этой бессонной ночи, она готова была на все, лишь бы только отстранить от себя страшившую ее своей неизвестностью замужнюю жизнь, про которую столько страшных рассказов довелось ей выслушать чуть ли не с самого детства.

— Ну, так слушай! — заговорила Олуньева. — Барону Бирону, если приедет сватать его сам герцог, отказать нельзя. А что герцог сам приедет — в этом я не сомневаюсь со слов Шенбергши. Придумала я, как решить это. Хитро будет и никому не обидно...

Наташе, напуганной всемогуществом герцога, казалась судьба ее решенною. Она видела уж себя замужем за чужим, вовсе не любимым человеком, братом еще более чужого и страшного человека. Она думала, что и тетка призвала теперь ее к себе с тем, чтобы сказать ей, что и она не нашла выхода и что приходится покориться обстоятельствам. И вдруг эта тетка (о, Наташа знала ее!) говорит, что выход есть, что она придумала что-то хитрое; а если она говорит — значит, это верно.

— Что ж вы придумали? — спросила она, заметно повеселев.

— А для этого, милая моя, загадаю тебе загадку, попробуй сама разрешить ее. Слушай! Коли не хочешь выходить за Бирона — готовься к свадьбе.

— То есть как же это к свадьбе? — протянула Наташа, не понимая загадки Настасьи Петровны.

Настасья Петровна, опустив голову и улыбаясь, смотрела на нее исподлобья, как бы только из снисхождения к ней ожидая решения, но на самом деле будучи уверена, что никогда Наташа не примет этого решения.

— Вот как, — наконец заговорила она, — слушай: можно найти какого ни на есть недоросля из дворян, с хорошей фамилией, пойми ты — непременно с хорошей фамилией. И вот ты обвенчаешься с ним — для одной проформы, разумеется... А до свадьбы мы отберем у него подписку в том, что он дает тебе полную волю заранее и сейчас из-под венца идет он в одну сторону, а ты — в другую. Ну, так можно уговориться с ним, что он за это получит, или как там... выйдет... И будешь ты тогда на всю жизнь обеспечена от женихов и от всяких бед власти султанской, потому что всякий муж султана над тобою разыграет, а мне тебя жаль... И тут уж не только герцогу, а самой государыне, пожелай она выдать тебя замуж, — ничего сделать нельзя будет, потому что ты уж обвенчана, как есть по форме... Впрочем, государыне я сама улучу минутку рассказать об этом деле... Ей понравится это. А у тебя-то потом воля какая — делай что хочешь, ездь одна, куда хочешь, принимай кого знаешь... Полная как есть свобода, потому что будешь ты замужем...

Наташа слушала с заметным волнением. Слова тетки казались ей и странными, и заманчивыми. Но это было так необыкновенно, так ново, так далека была Наташа от такого замысловатого плана, что она не сразу могла и оценить его, и воспринять.

В этом плане было много романтического, завлекательного. В самом деле, Наташа могла получить быстро, в один день и раз навсегда, свободу замужней женщины и не связать себя никакими обязанностями, никаким подчинением. Она получала очень много и, по-видимому, не теряла ничего. Для нее эта свадьба являлась игрушечной, фантастической свадьбой и понравилась с первого взгляда тем более, что она, так недавно еще выйдя из ребяческого возраста, осталась ребенком в душе, готовым еще играть, и вместе с тем воображение ее было уже несколько заражено чтением невероятных, запутанных романов.

Как бы то ни было, Наташа вдруг повеселела.

— А ведь в самом деле, тетя, — сказала она, — если бы можно было устроить так?

— И можно, друг мой, — отозвалась Олуньева, — весьма возможно.

— Но только... смешно это, невероятно... Как же это так вдруг?.. Да разве вы найдете такого человека?

Наташа говорила это и смеялась.

— За «таким человеком» дело не станет, — сказала Настасья Петровна. — Человека подходящего уже нашли.

— Как нашли? — серьезно спросила Наташа.

— Я посылала Григория; он уже переговорил, и все сделано, если хочешь — скажи только...

— Неужели нашли? — опять протянула Наташа. — Кто же он?

— Князь Чарыков-Ордынский.

— Чарыков-Ордынский? И он согласен на все эти условия?

— Да, согласен.

Наташа задумалась, а затем спросила:

— Как же, тетя? Значит, нужно венчаться?

— Да, если не хочешь быть за Бироном.

— Но послушайте, тетя, — дрогнувшим голосом заговорила Наташа. — А если я... если я полюблю... впоследствии... кого-нибудь... тогда уже все будет кончено и мне не будет свободы?

— Вот, матушка, — подхватила Олуньева, — ради одного этого я бы выдала тебя таким образом замуж. И очень может быть, даже наверное эта дурь — любовь, как говоришь ты, — придет тебе в голову... То есть пока я жива — не придет, ну, а когда умру, — и вот из-за этой-то дури ты погубить себя можешь. Я тебе говорю: замуж идти — пагуба, а так живи сама себе королевой.

Настасья Петровна ничуть не сомневалась, что Наташа впоследствии раскается в своем поступке, если выйдет за Ордынского, но она была уверена, что, во всяком случае, это раскаяние будет меньшим горем, чем замужняя жизнь.

— И кто же этот Чарыков-Ордынский? Молодой? — проговорила опять Наташа.

— Молодой. Фамилию хорошую носит. Отец его богат был, да разорился. Я Григория у старого князя купила. Молодого-то он встретил наемни... Забулдыга он, правда, но ничего. С ним тут такой случай вышел...

VII

В АУСТЕРИИ

Случай, о котором говорила Настасья Петровна, произошел с князем Чарыковым-Ордынским всего лишь за несколько дней перед этим.

Это было в одной из так называемых аустерий, заведенных еще Петром Великим в Петербурге.

Григорий Иванович, дворецкий Олуньевой, позволял себе иногда за приятным разговором выпить кружку пива, не напиваясь, впрочем, допьяна, и для этого ходил в аустерию. У него была одна излюбленная. Она, как все аустерии в Петербурге, делилась на чистую и черную половины, причем черная имела совсем неряшливый вид. Тут стоял стол с выдолбленными углублениями, куда вместо тарелок прямо наливали или клали кушанье из котла. К столу же были приделаны на цепочках и ложки для тех посетителей, которые не приносили своих. Посреди комнаты находился широкий чан с пивом. В нем плавали ковш. Желавшие подходили и пили. Пили далеко не всегда на наличные деньги и тогда оставляли в залог что-нибудь из одежды; этот залог вешали тут же на чан. Все это было грязно, мрачно, и тут постоянно толпился шумевший народ.

Григорий Иванович, по обыкновению, миновал эту черную половину и прошел на чистую. В ней было несколько опрятнее и светлее. В окнах стекла были вымыты, пол покрыт досками и усыпан песком, столы и табуреты выскоблены.

Григорий Иванович поздоровался с хозяином, встретившим его как знакомого, и перемигнулся с ним, кивнув в ту

сторону, где сидел известный во всех вертепах Петербурга Чарыков-Ордынский.

Кроме него, других посетителей не было. Чарыков сидел в углу, в отдалении, опершись на локоть и сосредоточенно, не обращая никакого внимания на окружающих, смотрел тупо в стену. Перед ним стояли стакан и наполовину пустая фляга с водкой.

Было что-то крайне грустное, почти жалкое во всей его фигуре, но, несмотря на это, он не казался несчастным, павшим и забитым. И в позе его, и в выражении, и даже в беспорядке поношенного, потертого и заплатанного костюма чувствовались какая-то сила и мощь, словно этот жалкий, так низко павший человек бросил вызов жизни, кинулся в разврат и боролся с ним и не был до сих пор ни побежден, ни пришиблен им. Кто бы ни взглянул на него, почувствовал бы вслед за жалостью скорее страх к нему, чем презрение.

— А все-таки в нем заметна какая-то стихийная сила! — говорили про Чарыкова люди, встречавшиеся с ним в заведениях высшего порядка.

Князь не брезгал ни народом, ни кабаком, служившим единственным почти развлечением этому народу, но вместе с тем никогда не сходил ни с кем и ни с кем не заговаривал.

— Это, брат, так он вертит, что, глядячи на него, голова кружится, потому такая линия, — говорили про него в народе, которым он не брезгал.

Где и как жил князь Чарыков-Ордынский — никто не знал. Иногда он пропадал на несколько дней — куда? — тоже было неизвестно. Потом он вновь появлялся, и всегда сосредоточенный, угрюмый. Он заходил одинаково и в кабак, и в аустерию, и в герберг, и в тайный притон известной тогда в Петербурге немки, где между прочим велась большая игра в карты и кости. Он приближался к игорному столу, делал ставку и, если выигрывал, ставил дальше. И перед ним одинаково расступались и давали ему дорогу и напудренные щеголи в шитых атласных кафтанах, являвшиеся в этот притон, и мужики в зипунах, встречавшие князя в аустерии.

Куда бы ни являлся Ордынский, он приходил с таким равнодушным спокойствием ко всему окружающему, точно это окружающее вовсе не существовало для него, и он сам будто не знал, где находится, не знал, не обращал внимания и забывал. Ему, казалось, было безразлично, кто вокруг него: знатный ли человек или простолюдин; он не

глядел ни на кого, а если и глядел, то, казалось, никого не узнавал.

Григорий Иванович, бывший крепостной отца Ордынского, проданный им Олуньевой двадцать лет тому назад, помнил молодого князя пятилетним мальчиком и был чрезвычайно поражен, когда в первый раз встретил его в аустерии. Григорий Иванович думал и выражал это громко, что наступили последние времена, потому что случалось ему встречать в таких местах недорослей из дворян, но княжеских детей между ними не было. Хотя, собственно, трудно было понять, чем княжеский сын лучше дворянского, но для Григория Ивановича это казалось очень больно. Еще больнее было для старика то, что Ордынский не узнал его.

Впоследствии он привык. Он привык, войдя в аустерию и встретив там Чарыкова, перемигнуться с хозяином с видом «мы, дескать, знаем свое» и, усевшись в сторонке, заняться своим делом.

И на этот раз Григорий Иванович, по обыкновению, спросил себе пива и уселся у стола в другом, противоположном тому, где сидел Ордынский, конце комнаты. Он принялся за свое пиво особенно медленно, поджидая каких-нибудь посетителей, чтобы затеять с ними интересную беседу.

Григорий Иванович любил такие беседы. Он знал, что аустерии редко остаются пустыми подолгу, и действительно, вскоре дверь открылась и вошел измайловский гвардейский солдат с каким-то довольно чисто одетым человеком.

Солдат был молодой, здоровый, симпатичный. Товарищ его, судя по платью, принадлежал к мелкому служилому люду, подвизающемуся по письменной части, и производил совершенно обратное впечатление. Его парик, низко надвинутый на без того уже узкий лоб, как-то приплюсывал голову и придавал лицу неестественно глупое выражение, совершенно не соответствовавшее его хитрым, едва видневшимся глазкам, беспокойно бегавшим по сторонам. Приплюснутый нос и толстые губы имели в себе нечто отталкивающее.

Григорий Иванович с некоторым неудовольствием покосился в его сторону. Ему был бы желателен другой собеседник.

Пришедшие сели за один с ним стол (этот стол был самый большой), и Григорий Иванович слегка отстранился от них.

— Так вот, братец ты мой, — начал солдат, когда они сели и им подали пива, — иду это я в самые Петровки по Петербургской и вижу — у самой крепости строят помост...

Они, видимо, продолжали начатый разговор, и солдат рассказывал о виденной им казни.

Григорий Иванович потихоньку пробрался к хозяину, будто за пивом еще, и шепотом спросил, не знает ли он, кто пришел с солдатом. Хозяин поджал губы и, прищурив глаза, ответил:

— Иволгин некий, по письменной части служит.

Он только и сказал это, но по выражению его губ и по прищуренным глазам легко было понять, кто такой этот Иволгин и как нужно быть осторожным с ним. По тогдашним временам таких людей было много в Петербурге.

Первым движением у Григория Ивановича было уйти поскорее. Но жалость к солдату, добродушно и подробно рассказывавшему о впечатлении, вынесенном после зрелища казни, а главное — любопытство к тому, не произойдет ли тут чего-нибудь особенного, превозмогли его боязнь, и он остался. Уж очень солдат казался откровенным, и Иволгин слушал его с большим вниманием.

Григорий Иванович вернулся к столу.

— Вот служба о казни злодея Волынского рассказывает, — обратился к нему Иволгин, видимо, желая и его втянуть в разговор.

— Да, конечно... всякие дела бывают, — неопределенно отозвался Григорий Иванович и сел не на прежнее свое место, а поодаль.

VIII

СЛОВО И ДЕЛО

— И как это кровь у него брызнет, — продолжал солдат, — я так и обмер.

— Чего ж обмер? Жаль, что ли, стало? — усмехнулся Иволгин.

— Да что ж, и жаль по-человечеству, выходит: ведь как ни говори, а большой барин был, а кровь-то темная, все равно что у нашего брата... Так, видно, на роду ему написано...

— А за что казнили-то его, знаешь?

— Читали там, только понять трудно было. Говорят, Бирону супротивник... И что народа попортил этот Биронот! — добавил вдруг солдат совершенно неожиданно.

Иволгин нахмурился.

— Ты, брат, герцога не хули! — строго проговорил он, видимо, стараясь подражать голосу своего начальства, когда оно бывало строгим.

Солдат обернул к нему свое широкое русское лицо и улыбнулся. Он был уже пьян (Иволгин привел его пьяного) и теперь хмелел с каждым глотком пива все более и более.

— То есть это значит — ты желаешь резон мне подвести к примеру? — вызывающе спросил он.

— Резон там не резон, а я так только... Так ты говоришь, что народу перепортил...

Но, очевидно, строгий тон Иволгина задел солдата за живое.

— Нет, ты мне скажи, — не унимался он, — как можешь мне ты резон давать, а? Не видал я твоего герцога разве?

— Что-что «не видал»? — протянул Иволгин.

— А герцога твоего... Да знаешь ли ты, что родной брат этого самого герцога — командир наш... нашего полка командир и отец?.. Да... и зейен зи руиг*... Ты видал, каков ему почет ныне от государыни?..

— Так что ж, значит, ты воображаешь себе, что, коли брат герцога командир у вас, так тебе можно язык распускать?

— Нет, ты погоди! — перебил снова солдат. — Ты думаешь, у меня нет ничего, так я — завалящий солдат, имущества-де у меня крест да пуговица? Да знаешь ли ты, что отец мой купить тебя со всей требухой может... Купец — он, мой отец-то, в Риге богатую торговлю ведет, и солдатом не быть бы мне, кабы не рассерчал он на меня да под горячую руку не отдал бы... Вот теперь я пью и тебя поют и еще напою, фонтан из пива устрою, потому теперь родитель-то жалость ко мне почувствовал и денег прислал. Он меня откупить хочет, ну вот я и гуляю... и гуляю... потому что мне теперь все одно... и не боюсь никого... Хочешь вина заморского — вали, пей вина заморского! Я тебя угощу.

У солдата был, видимо, хвастливый хмель, и он, совсем почти пьяный, говорил заплетавшимся языком все, что приходило ему в голову.

* Будьте покойны (нем.)

Иволгин насторожил уши, когда речь зашла о богатом отце, занимавшемся купечеством в Риге.

— А чем же торгует твой отец? — спросил он солдата.

— Кожей торгует, салом, пеньку и лен из Пскова возит.

— И большую торговлю ведет?

— Бо-ольшую!

— И ежели что с тобой за твои речи произойдет, то, ты говоришь, он не пожалеет денег теперь?

— А что за мои речи произойдет? И за какие такие речи, а? Да кто супротив меня сможет пойти теперь, когда я тебе говорю, что отец и командир... а герцога-то... герцога я уважу, всю ему амуницию покажу.

— Так-так! — стал вдруг одобрять Иволгин.

Григорий Иванович отодвинулся еще далее, поближе к двери. Вертевшийся тут же хозяин исчез незаметно.

— Мне герцог — все одно что ничего, — продолжал солдат, — и никто мне ничего, потому что все нипочем... Захочу кричать: «Виват, государыня Анна Ивановна», — и буду кричать, а не захочу, не буду. Вот тебе и весь сказ!.. А ты перед военным человеком трепет чувствуй; мы кровь в турецкой земле проливали... А ты проливал?.. Нет, ты скажи, проливал ты или нет?

Иволгин слушал не перебивая и все чаще и чаще посматривал в окно. Вдруг он быстро вскочил, подбежал к окну, с размаха ударил в него и, высунувшись, заорал, видимо, привычным, в лад раздавшимся криком:

— Слово-о и дело!..

На улице показался под окнами обход солдат.

Все заволновалось кругом и пришло в движение. С черной половины, где страшный возглас Иволгина был сейчас же услышан, часть народа выскочила на улицу и бросилась врассыпную, а немногие более смелые и любопытные сунулись в дверь на чистую половину, чтобы узнать, что произошло там.

Григорий Иванович, отступление которому было заграждено этими любопытными, прижался к печке, дрожа и сясь забиться в узкое пространство между печью и стеною.

Не успел опомниться никто, как в комнату аустерии вбежали солдаты.

— Хватайте его, берите! — кричал Иволгин, указывая на своего собеседника. — За ним я знаю государево слово и дело.

Полупьяный солдат, видимо, отрезвел совершенно в одну минуту. Он вскочил и, упершись руками в стол, оглядывался кругом, словно не зная, с какой стороны надвигнется на него большая опасность.

А опасность, угрожавшая ему, была очень значительна. Раз захваченный по возгласу «слово и дело», он попадал в застенки Тайной канцелярии, где допрос всегда сопровождался пыткой.

Там сделана дыба из двух вкопанных в землю столбов с перекладиной наверху. Свяжут руки, вывернут их назад и вздернут на перекладину, так что кости в плечах хрустнут, а к ногам привяжут бревно, на которое надавливают еще палач. В это время по спине бьют ремнями. Потом — тиски железные, «в трех полосах» с винтами, в них кладутся пальцы, и они свинчиваются до тех пор, «пока не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать». «Наложа также на голову веревку, вертят так, что оный изумлен бывает. Потом простригают на голове волосы и льют воду на то место почти что по капле... а потом и огонь таким образом: палач, отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе растянет и, зажегши веник с огнем, водит по спине, на что употребляется веников три и больше, смотря по обстоятельству». Все эти ужасы существовали в действительности, но в народе ходили еще более страшные рассказы, и одно имя Тайной канцелярии приводило в трепет.

Власти и военные обходы, рассылаемые по городу, обязаны были при всяком вскрике «слово и дело» хватать обличителя и обличаемого и вести их в Тайную канцелярию.

— Да что вы, что вы, — заговорил солдатик, — никаких за мною вин нет, где в чем провинился я?

— А как же ты сейчас вот, — подскочил Иволгин, — злодея Волынского жалел, говорил, что тебе герцог ничего не значит, и кричать «виват» государыне не хотел? Как же это так... а?..

Солдаты обхода с тупо-серьезными, строгими лицами, исполняя как бы нехотя тяжелый для них долг и как бы говоря, что там, дескать, потом разберут, а мы свое дело сделаем, придвинулись к оговоренному. Их было четверо.

— Стой! — вдруг раздался громкий голос Ордынского, про которого забыли все.

Двое из солдат отступили.

— Нечего хватать его! — крикнул Ордынский. — Я не дам! Слышали?.. Вздор все это, оговор...

— А, сударь, — закричал в свою очередь Иволгин, — вы чего мешаетесь? Ребята, бери и...

Но он недоговорил. Крепкий удар в голову, которым ответил ему Чарыков, сшиб его с ног.

Солдаты обхода бросились на князя и на измайловца. Началась свалка, в которой четверо напали на двух, но эти двое оказались сильнее. Чарыков махал сломанной табуреткой и один работал за троих. Измайловец с выкатившимися, налитыми кровью глазами, не помня себя от вновь ударившего ему в голову хмеля, душил попавшегося ему в руки солдата, который из нападавшего преобразился в защищающегося и силился лишь высвободиться.

Сделав невероятное усилие и вырвавшись, он кинулся вон.

В это время Ордынский, отбившись от окружавших его, оказался у двери, бывшей в задней стене и ведшей, вероятно, в помещение хозяина. Измайловец очутился возле него, и они, словно сговорившись, вдруг толкнулись в эту дверь и захлопнули ее за собою.

За ними бросились солдаты, но засов был уже задвинут.

Ордынский со спасенным им солдатом очутились в проходных задних сенях.

— Сюда, сюда! — слышали они беспокойный шепот возле себя, и из-за кадки показалась старая голова Григория Ивановича, успевшего раньше них скрыться здесь.

Он вылез и, не теряя времени, вывел Ордынского на огород, а затем показал ему забор, перелезши который, он мог быть вне опасности.

Измайловец последовал за Ордынским.

IX

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Олуньева не ошиблась, догадавшись, что баронесса Шенберг приезжала к ней не по своему собственному почину, но до некоторой степени уполномоченная, или, вернее, подосланная, для того, чтобы исследовать почву.

Барон Густав Бирон, как только узнал, что Олуньева явилась во дворце, сообразил, что она вернулась с племянницей в Петербург.

Наташа, которую он не пропускал прошлую зиму ни на одном вечере после того, как она надела ему лавровый венок, привлекла к себе все его внимание, и все мысли его сосредоточились на ней. Он так привык на этих вечерах встречать ее хорошенькое, веселое личико, что отсутствие ее в летние месяцы было для него чувствительно.

Он удивился сам себе, когда после отъезда молодой Олуньевой, не видаясь с нею, стал вспоминать их, собственно, ничего не значившие встречи и заметил, что скучает по ним. Он пробовал забыть, пробовал заниматься своим любимым полком, старался овладеть собою, но ничего не помогало, и милое, нежное воспоминание о молоденькой девушке с каждым днем становилось все более и более ощутительно.

Эта свежесть, нежность и невинность Наташи дразнили сорокалетнего барона и манили к себе. Он не спрашивал себя, был он влюблен или нет. В его лета странно было влюбляться наподобие мальчика, но вместе с тем в положении, в котором он находился, ему странно было подумать, что не сбудется какое-нибудь из его хотя бы потаенных желаний. Он был слишком счастлив и чувствовал себя слишком счастливым, чтобы допустить, что покровительствовавшая ему судьба изменит на этот раз.

Да, барон Густав был счастлив и доволен, но так как человек никогда не может остановиться в своих желаниях, в особенности если видит исполнение их, то и Густаву казалось, что его счастье и довольство были бы еще полнее, еще больше, если бы он был не один, а имел возле себя кого-нибудь, способного разделить это счастье.

Лучшей жены, чем Наташа, Бирон не желал.

Нравилась ли она ему потому, что он желал и искал себе жены, или он стал желать себе жену, потому что ему нравилась Наташа, он не задумывался о том. Знал, что ее не разлюбил, и, как только стало известно, что Олуньевы вернулись, обратился немедленно к известной ему баронессе Шенберг, опытной в таких делах и, главное, настолько преданной ему, что можно было на нее положиться.

Он ничего не объяснял подробно баронессе, просил только съездить, вообще узнать, что там у Олуньевых, как вернулись они, и сейчас же от них заехать к нему. Шенберг поняла все с полуслова и обещала прямо от Олуньевых быть у Бирона.

Густав в ожидании баронессы ходил по большому, казавшемуся теперь ему пустынным залу своего богатого до-

ма, который и действительно был слишком велик для одного человека, даже шаги раздавались слишком гулко по залу. Парадные комнаты, гостиные имели совсем нежилой вид.

Густаву невольно приходило в голову, как было бы хорошо, если б все вокруг него в его доме снова ожило.

Ему вспомнился этот зал четыре года тому назад. Он обтянут весь черным, посредине стоит золотой гроб, покрытый золотым же покровом. В гробу лежит она, черноглазая красавица, его жена. Как обманулись тогда его мечты! Он готовился стать отцом, но судьба не судила этого: вместо того чтобы получить ребенка, он лишился жены. Она лежит в гробу в своем белом, затканном серебром платье, голова ее закрыта дорогими кружевами и увенчана короной, и он не узнает этой головы — глаза, составлявшие главную прелесть ее лица, закрыты, и лицо неподвижно, холодно и строго. На ее левой руке, покрытый серебряной тканью, покоится младенец, переживший мать лишь на несколько минут. Его вытянутое прямо, как доска, мертвое маленькое тельце неудобно, точно вещь, лежит на вытянутой так же прямо мертвой руке матери, и это кажется особенно жалостным.

Перед выносом начинается, по русскому, неприятному и непривычному для Густава, обычаю, прощание с покойницей. Он не хочет присутствовать при этом, но брат уговаривает его, почти приказывает ему идти, и он идет. Вокруг гроба толпится народ, приглашенные; они, чужие, целовали его мертвую жену, и он должен идти целовать. Его ведут под руки. Он медленно подымается по ступеням катафалка, чувствуя, как стучат по дереву каблуки его сапог, нагибается и в первый раз близко видит жалкое, крошечное личико ребенка. И все у него есть — и носик, и ротик, и глазки закрыты, и ручки с пальцами... И вдруг Густав ясно различает, что один из пальцев сведен судорогой... так и застыл сведенный. Дрожь пробегает по спине у него, в глазах темнеет, и он лишается сознания.

Теперь он вспоминает, как его жена беспокоилась после того, когда он потерял обручальное кольцо, беспокоилась и говорила, что это — дурная примета. И нужно же было потерять ему кольцо! Где оно теперь? Как ни отыскивали они кольцо, какие награды ни обещал он за находку — оно не нашлось, и вот действительно ее не стало.

«Что за пустяки! Разве от этого могло что-нибудь случиться?» — подумал Густав и улыбнулся.

И, улыбнувшись, он поймал себя на том, что улыбается, несмотря на свои грустные воспоминания.

Но разве он виноват был, что его жена умерла? Разве он не любил ее? И разве виноват он, что пережил ее и не может не любить жизнь, давшую ему столько радостей и при жизни ее, любимой жены, и потом, после ее смерти?.. Будь она жива, он не променял бы ее ни на кого, но ведь ее нет, она уже кончила с этим миром, а ему нужно еще жить, и, раз жизнь дает ему счастье, зачем отказываться от него!

Если он, быть может, не заслужил этого счастья, то, во всяком случае, не сделал ничего такого, за что было бы справедливо отнять это счастье у него. Он никому не хотел и не делал зла, добросовестно исполнял свои обязанности и жил во всем согласно долгу чести.

Так думал Густав, ходя по огромному залу и по временам останавливаясь у окна, чтобы взглянуть, не подъехала ли к крыльцу карета баронессы Шенберг.

Наконец он явственно услышал стук колес подъезжавшего экипажа по бревенчатой мостовой. Это была Шенберг. Густав пошел ей навстречу.

— Ну что, были? Переговорили? Какие вести? — заговорил он, здороваясь с баронессой.

Шенберг с улыбкой одобрительно закивала головою и подмигнула.

На самом деле она была не совсем довольна своим посещением Олуньевой, при намеках относительно сватовства ее племянницы вовсе не выказавшей той радости и предупредительности, которых ожидала от нее баронесса. Но вместе с тем не было дано и прямого отказа.

Шенберг было решительно безразлично, что этого отказа не последовало, может быть, исключительно потому, что не было предложения: она съездила, переговорила и ни в каком случае не хотела огорчить всегда доброго к ней барона дурными вестями.

Впрочем, она знала заранее, что дурных вестей не привезет даже при самом худшем обороте дела, то есть если Олуньева покажет вид, что не понимает ее намеков. Тогда барону Густаву следовало просить своего брата быть сватом, и все должно было устроиться.

Олуньева не поняла намеков, и Шенберг не могла ничем особенно обрадовать Бирона; но, несмотря на это, она все-таки весело поздоровалась с ним, словно все уже было решено и подписано.

— Отлично, все идет отлично! — ответила она на вопрос барона и быстрыми шагами, как деловой человек, ко-

тому некогда терять время, прошла в гостиную. — Ну, слушайте, — заговорила она, садясь на диван и притягивая за руку к стулу барона. — Сядьте!.. Вот видите... я, разумеется, ни в какие подробности не пускалась... Вы понимаете это... ведь иначе нельзя было...

Густаву хотелось бы, чтобы она именно пустилась в подробности с Олуньевой и привезла уж более или менее решительный ответ, но она с таким убеждением сказала, что это нельзя было, что он невольно подтвердил:

— Ну да, разумеется!

— Ну, вот видите! — подхватила баронесса, очень довольная собой. — Я говорила так только, вообще, с самой старухой теткой говорила.

Шенберг нарочно тянула, не зная, что сказать.

— Ну, и что ж она? — спросил Бирон.

— О, разумеется, в восторге, то есть она будет, должно быть, в восторге... Но только, знаете, она чрезвычайно горда и самолюбива... Нужно будет непременно просить его светлость...

Бирон встал и заходил по комнате, кусая ногти. По одним этим словам баронессы он уже понял, что ее посольство не имело никаких результатов, но он и без Шенберг знал, что если только поедет брат, то отказа быть не может.

— Так вы думаете, что брату нужно самому ехать? — переспросил он, молча сделав несколько шагов по комнате.

— Да, я думаю, — подтвердила баронесса.

— Но уверены ли вы по крайней мере, что Иоганну не откажут?

— О, немыслимо, барон, чтобы отказали ему!

Помимо той уверенности, с которою баронесса протянула эти слова, Густав сам чувствовал, что действительно это было немыслимо, и решил тотчас же отправиться к брату.

X

ДВА БРАТА

Густав Бирон вышел из дому пешком — до Летнего сада, где жил временщик, было недалеко. Он повернул на набережную Невы, миновал Царицын луг и скоро очутился у длинного одноэтажного здания Летнего двор-

ца, расположенного вдоль набережной, у сада. Часовые у дверей, ведших на половину, где жил его брат, отдали ему честь ружьем по артикулу, и он смело, не привычно для остальных, входивших сюда, поступью вошел в сени.

Он жил в ладах с братом; по крайней мере герцог Эрнст-Иоганн всегда был приветлив к нему и даже заботился о его карьере гораздо более, чем сам он. Они знали друг друга с детства, и Густав знал характер брата, иногда вспыльчивый и резкий, может быть, даже капризный, как у всех избалованных судьбою людей. Он никогда не перечил ему в минуты вспыльчивости, и между ними не бывало серьезных размолвок. Поэтому они были дружны, гораздо дружнее, чем с третьим, старшим братом Карлом.

Густав мог входить к герцогу без доклада, но никогда не пользовался этим правом.

— Что его светлость, не заняты? — спросил он одного из засуетившихся и бросившихся ему навстречу немцев-лакеев.

— Господин герцог изволили только что позавтракать, — стал подробно докладывать лакей, — и теперь прошли в свой кабинет.

— А в приемной есть кто-нибудь?

— Есть! — с почтительной улыбкой ответил лакей, принимая не иначе как в шутку подобный вопрос, потому что брату его светлости должно было быть известно, что всегда находились люди, считавшие за честь побывать в приемной герцога Курляндского.

Густав прошел мимо этих толпившихся без всякой нужды в приемной людей, полулюбезным, полуофициальным наклоном головы ответив на их низкие поклоны, и, миновав следующую за приемной комнату, постучал в резную тяжелую дверь братнина кабинета.

— Herein!* — раздался голос герцога, которому уже доложили о приходе Густава.

Бирон сидел за столом лицом к двери и отдавал какие-то приказания стоявшему перед ним секретарю.

— Так и сделайте, так и сделайте, — говорил он, дотрагиваясь концами пальцев до бумаг, которые держал секретарь. — Больше у вас никого нет?

— Один ждет вашу светлость... говорит, важное дело, — ответил секретарь, понижая голос.

— Кто такой?

* Войдите! (нем.)

— Иволгин.

— Позовите его!

Герцог Бирон торопился, видимо, довольный приходом брата, и хотел покончить совсем с делами, прежде чем разговаривать с ним. Он относился к Густаву, как вообще мы относимся к людям, обязанным нам своим счастьем. Нам приятно и весело видеть это их счастье, и мы обыкновенно любим их гораздо более человека, перед которым сами чувствуем себя обязанными. И герцогу Бирону приятно и весело было смотреть на своего красивого и видного брата, далекого от всей мелкоты и дразг, в которых самому ему приходилось возиться, счастливого, здорового и радостного. Радостью жизни веяло всегда на герцога, когда он глядел на красивую, сильную фигуру брата, и он всегда приветливо улыбался последнему.

Он улыбнулся ему и на этот раз и весело сказал:

— погоди, присядь! Сейчас освобожусь.

Густав сел в кресло поодаль.

— Я тебе буду мешать, может быть? — спросил он.

— Нет, вот только одного отпущу.

— А там в приемной много ждет.

Герцог махнул рукой.

— Те сами не ведают, зачем пришли. Знаю я их...

Посидят и уйдут, довольные, что посидели там.

В это время в маленькой внутренней дверце, обтянутой расписною парусиной, как и все стены кабинета, появился Иволгин, которого ввел секретарь. Его голова была замотана повязкой, из-под которой на лбу виднелся синевато-багровый подтек, одежда выказывала, что много тщетных усилий было употреблено для приведения ее в порядок.

Бирон с нескрываемым омерзением отвернулся к окну и, морщась, спросил:

— Что? Какое дело?

Иволгин, не оробев, как человек бывалый и, видимо, не раз уже разговаривавший с герцогом, начал кратко, сжато, но подробно рассказывать обо всем происшедшем с ним в аустерии.

— Князь Чарыков-Ордынский? — переспросил Бирон, когда Иволгин назвал главного виновника случившегося.

Иволгин поспешил объяснить, что этот князь был из так называемых недорослей и пользовался некоторою известностью в Петербурге благодаря своему поведению, но что до сих пор он никогда еще не осмеливался на такой явно уже дерзкий поступок.

— А кто виноват? — заговорил Бирон. — Кто виноват? Сам виноват... Я велю другой раз драть тебя первого... сам виноват... — Он говорил и сердился и на Иволгина, и на то, что не находил слов по-русски и с трудом выговаривал их. — Ну, иди, довольно, будем рассмотреть все! — и, перейдя снова на привычный для себя немецкий язык, Бирон уже более мягким голосом приказал секретарю во что бы то ни стало разыскать виновных и отправить их в Тайную канцелярию.

Когда наконец секретарь ушел и увел с собою Иволгина, в комнате воцарилось неприятное, тяжелое молчание. Герцог откинулся на спинку кресла и остался с закрытыми глазами.

Густав сидел и чувствовал, как больно и неприятно сжималось его сердце. Шел-то он к брату с мирными, чистыми, как ему казалось, мыслями; он был так хорошо настроен своими розовыми мечтами о счастливом будущем с любимой им милою, прелестною, нежною девушкой, и эти мысли и мечты так далеки были от того, о чем только что шла речь здесь! Тайная канцелярия (Густав знал, слышал, по крайней мере, что значат эти слова), розыск, свалка в аустерии, какой-то полупьяный князь и избитый им до кровавых подтеков сыщик, — какая неизмеримая бездна была для Густава между всем этим и той, о которой он думал и говорить о которой пришел теперь к брату.

И сколько раз бывало уже это — сколько раз он приходил так, настроенный самым счастливым образом, и это счастливое настроение неизменно уничтожалось под влиянием атмосферы, окружавшей грозного правителя, каким все считали его брата.

Но разве неизбежно было это, разве нельзя было кротостью победить неправду, разве необходимы были все эти крайние, то есть казавшиеся Густаву крайними, меры?

Да, перед его братом трепетали, льстили ему и боялись не только его гнева, но даже косого взгляда; но Густаву случалось невзначай, неожиданно несколько раз перехватывать доносившиеся до него заглазные речи о брате. И как жестоки, как злобны были эти речи! И как тяжело было Густаву то, что он не мог, по совести не мог назвать их клеветою и сказать, что это — ложь, неправда! Он должен был скрепя сердце сделать вид, что ничего не слышит, и подавить в себе поднявшуюся досаду, промолчать.

Сколько раз он хотел поговорить серьезно с братом, но никогда у него не хватало духу сделать это, и не потому,

чтобы он боялся Иоганна, нет, но потому, что брат всегда так ясно, просто и весело смотрел ему в глаза, такую уверенность в собственной правоте и безупречности дышали каждое его движение и каждое его слово, что при встрече с ним и при взгляде на него у Густава пропадало всякое сомнение в справедливости его, и он невольно забывал все доводы и убеждения, которые приготавливал бывало.

И теперь он ничего не мог сказать брату. Но переход, который произошел в нем, после тихой радости мечтаний о семейной жизни, был чувствителен для него и словно тисками сжимал ему сердце. Он закрыл рукою лицо.

— Ах, Иоганн, Иоганн! — вырвалось вдруг у него.

Герцог открыл удивленно глаза, поднял брови и, взглянув на Густава, спросил его ровным и спокойным голосом:

— Что с тобою, чего ты?

XI

ОПРАВДАНИЯ ГЕРЦОГА

Густав ответил не сразу.

— Вот видишь ли, — заговорил он, как и брат, по-немецки, — я давно хотел сказать тебе... Неужели же нельзя без этого?.. То есть я не обижать тебя хочу, но я шел к тебе сегодня, и мне было так весело, я так был полон надежд... но об этом потом... теперь не могу... И вдруг опять эти сыщики и Тайная канцелярия... Мне это вот тяжело показалось...

Герцог пытливо и пристально посмотрел на него, потом как-то криво улыбнулся.

— Ты, наверно, думаешь о женщине теперь? — спросил он.

— О женщине? Почему о женщине? — удивился Густав.

— Потому что рассуждаешь, как женщина. А ведь тебе сорок лет! — неожиданно добавил герцог с тою покровительственной снисходительностью, с которою обыкновенно говорят старшие братья с младшими, по первым детским воспоминаниям считая их всю жизнь чуть ли не детьми. — Да, тебе сорок лет, — повторил он, — и ты — командир полка, герой войны — и гражданские мирные распоряжения тебя ужасают, как будто ты на войне не видал еще больших ужасов?

Густав никогда не любил длинных и сложных «приватных», как он называл их, разговоров. Все, что касалось

военного артикула и с чем свyksя и был знаком он до мельчайших подробностей, было так просто и ясно, и ему так нравилась эта простота и ясность, что к хитрым доказательствам он чувствовал себя совершенно неспособным.

Но как ни претили ему эти доказательства, в данном случае ответ показался слишком ясен, и он ответил:

— Война — совсем другое дело: там я рискую своей жизнью одинаково, а тут — нечто иное... Наконец, на войне нельзя обойтись без этого, а при «мирных распоряжениях»... Ты ведь сам сказал «мирных»...

Бирон перестал улыбаться, серьезно взглянул на брата и произнес:

— Может быть, и не только может быть, но даже наверно настанет такое время, когда эти суровые средства будут не нужны и о них станут вспоминать с содроганием, точно так же, как может прийти пора, когда и война станет немыслима. Но пока это невозможно... Да, я не знаю, как обошелся бы кто-нибудь на моем месте без Тайной канцелярии... И потому то, что делается у нас, это — детская игра в сравнении хоть бы с судами в Австрии, например...

Убежденный тон, которым заговорил герцог, сразу победил и обрадовал его мягкосердечного брата. Победенным он чувствовал себя уже заранее, потому что заранее знал, что не найдет доводов, противных тем, которые представляли ему, а обрадовался потому, что ему приятнее было в данном случае чувствовать себя побежденным. И потому он не возражал уже, но только спрашивал.

— Неужели и в Австрии существует это «слово и дело»? — спросил он.

— «Слово и дело»! — повторил герцог. — Да разве я завел его, разве по моим указаниям действует оно, разве мною составлены регламенты Тайной канцелярии? Система установлена государем Петром Первым, и если он, прирожденный государь этой страны, не мог обойтись без нее, то что же спрашивать с меня, чужестранца, поставленного волею судьбы во главе правления здесь? Посмотри архивы за время Петра, как работала при нем эта Тайная канцелярия... А меня винят, меня клянут... Знаю, знаю это, — подхватил Бирон, видя движение Густава, который хотел перебить его, — да, клянут и будут клясть и называть жестоким, и грудных младенцев пугать моим именем. А все почему? Только потому, что я — чужестранец здесь... Француз Ришелье был во сто тысяч раз жестче меня, потому что он знал и понимал, что в правителе кротость и

доброта равносильны непростительной для него слабости, и слабости не простили бы ему, а жестокость простят, потому что он — француз, и французы простят ему... И, будь на моем месте русский, и ему простили бы. А в чем я могу упрекнуть себя? Я, чужестранец, принял власть; но разве не отдаю я все свои способности, волю, мысли, какие только дала мне природа, на пользу этой страны? И что ж? Разве Россия унижена, разве к слову нашего двора не прислушиваются другие державы, не ждут, что скажет Россия? Я — немец, правда, по рождению, но кто осмелится сказать, что я подло пользуюсь врученной мне властью, что я служу интересам немецким, а не русским?

Бирон говорил, потому что брат слушал его не перебивая, но говорил он теперь не для брата, а скорее для себя.

Бывают минуты в жизни человека, когда ему вдруг выдается случай проверить самого себя, сговориться с собою, убедить, доказать себе, что он прав, что он поступает хорошо и не правы те, которые обвиняют его.

Бирон, окруженный почти раболепным низкопоклонством, под которым, чем усерднее было это низкопоклонство, тем глубже скрывались тайная злоба и ненависть, — отлично понимал, что он вечно находится среди врагов, и врагов самых невыносимых, потому что они боятся его и ищут удобного случая не для того, чтобы напасть прямо, но, как змея, впустить исподтишка свое жало. Он знал, что в толпе своих лстивых друзей он одинок и что только брат способен выслушать его и если не понять, то, во всяком случае, отозваться на его душевное одиночество. Вот отчего он и проверял себя перед братом.

И по тому, как слушал его теперь Густав, он видел, что он говорил хорошо и что всякий, кому дорога справедливость, должен был бы выслушать его, говорящего так, прежде чем произнести свой суд над ним.

— Ты говоришь, казни и пытки! — продолжал он, хотя Густав ничего не говорил и сидел, слушая молча. — Они не забудутся, а хорошее забудется. А что я сделал хорошего? Хорошо то уже, что всякий должен признать, что в то время, когда находился у власти чужестранец Бирон, Россия не была низведена с той ступени, на которую поставил ее русский государь-преобразователь... А что нового не сделал я ничего, так трудно требовать с меня новое, когда я один, когда людей нет вокруг меня... Отыскать, выбрать — я и выбирал: Остерман, Миних... а русских я не знаю... Меня называют честолубцем, говорят, что я забочусь толь-

ко о своих выгодах... Но будь я на самом деле таким, будь я исключительно честолюбец, разве я удержался бы на своем месте, разве давным-давно не сумели бы свергнуть меня сотни, если не тысячи завистников? Посмотри, они пресмыкаются и раболепствуют, потому что им самим нужно создать себе идола, и вот они создают его... и приписывают мне качества, которые хотят — сами хотят, понимаешь ли! — видеть в своем идоле... Высокомерие, гордость! Да как же мне относиться иначе хотя бы к людям, теперь вот неизвестно зачем наполняющим мою приемную? Я отношусь к ним с высокомерием; может быть, с презрением, и они довольны; они боятся меня, кланут, но они довольны... Относись я к ним иначе, я обманул бы их ожидания, и они еще больше кляли бы меня и не боялись бы. Им нужен предмет боязни, непременно предмет боязни и ненависти... И таких много. Исключения вроде Бестужева есть, есть хорошие люди, и впоследствии Россия далеко пойдет со своими людьми, но теперь ей главное нужно — образование. Однако для образования опять-таки нужны люди. Пока пришлось обратиться к военным, и вот заведены корпуса... Да мало ли что сделано!.. Но не в этом суть. Вся беда моя в том, что слишком много у меня судей и обвинителей, и вот даже ты, брат мой родной. А я вот что тебе скажу: оставь ты на мне мое трудное и неблагодарное дело и живи себе, благо ты для всех вполне безупречен, живи, наслаждайся жизнью, и я буду рад смотреть на тебя.

XII

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Густав, слушая брата, все более и более снова приходил в состояние счастливого душевного равновесия, с которым пришел к нему и из которого его выбило появление Иволгина.

В самом деле, может быть, Иоганн и прав, быть может, и нельзя иначе, а если он прав, то, значит, это — необходимое зло, можно сожалеть, но не чувствовать на себе ответственности за него.

И теперь он мог говорить о своем деле.

— Ты советуешь мне наслаждаться жизнью, — усмехнувшись, ответил он брату. — Ну а что, если я не вполне еще счастлив?

Герцог Бирон снова сделал удивленные глаза.

— Ты несчастлив? — переспросил он, делая заметное ударение на слове «ты». — Чего же недостает тебе или что может тревожить тебя?

— Я не говорю, что я несчастлив, — поправил Густав, — я сказал, что мое счастье не полно. Это — разница.

Он как будто нарочно указал на эту неточность, чтобы сказать что-нибудь, но что-нибудь другое, а не то, что нужно было выговорить ему и о чем он думал все время.

Когда он шел к брату, ему казалось все очень ясно и просто; ему представлялось, что легко будет сказать об Олуньевой и просить о сватовстве к ней, но теперь, когда пришла минута выразить все вслух, подходящих слов у него не находилось, и он умышленно медлил.

— Ну, все равно! Почему твое счастье не полно? — сказал герцог.

— Вот видишь ли, все у меня есть — и почести, и богатство... но... но некому разделить их со мною...

— Так! — протянул Иоганн, поняв с полуслова. — И что же, тебе эта мысль пришла в голову именно потому, что ты чувствуешь одиночество, или ты почувствовал одиночество потому, что встретил кого-нибудь?

Густаву показалось, что не первое, а последнее сообщение было истинным. И, несмотря на свои сорок лет, он почувствовал, что краска бросилась ему в лицо. Он опустил голову и стал неловко зачем-то рассматривать свои пальцы.

— Нет, — наконец с усилием проговорил он, — не потому, а потому, что я встретил...

Герцогу смешно было смотреть на брата. Он знал его влюбчивый характер и, судя по сделанным уже в прошлом году наблюдениям, мог теперь догадываться, о ком шла речь.

— Кто же она? — все-таки спросил он.

— Олуньева, молодая Олуньева...

— Ну, разумеется, не старуха, — подхватил герцог и рассмеялся. — Так вот как... — Он помолчал с минуту. — Но только, знаешь ли, милый мой, что ты нашел в ней?

Густав не ответил, но только самоуверенно и таинственно улыбнулся, как улыбаются влюбленные люди, когда пред ними высказывают сомнение относительно предмета их влюбленности.

— Ты мне прямо скажи, — несколько раздраженно проговорил он, — хочешь ты моего счастья или нет? Согласись, что я ведь — не мальчик и уже сам могу понимать...

Все это, все эти внешние выражения душевных движений, было давным-давно знакомо герцогу, видевшему на

своем веку массу людей и привыкшему наблюдать их. А брата-то уж он знал как самого себя.

Противоречие в таких случаях только может испортить дело. Доказательствами и разумными доводами нельзя помешать вспышке увлечения.

Но герцогу Бирону важно было убедиться теперь, подпал ли его брат этой вспышке только, или в нем действительно зародилась серьезная любовь.

— Предположим, что я хочу твоего счастья, — произнес он самым спокойным своим тоном.

— Ну, если так, то помоги мне в этом деле...

— Да чем же я могу помочь тебе?

— Видишь ли, я посылал сегодня...

— Баронессу Шенберг, — подсказал Иоганн.

— Ну да, баронессу Шенберг, и она ездила к Олуньевым для того, чтобы разузнать предварительно. Она говорит, что если ты захочешь поехать, то отказа не будет.

Обстоятельства давали случай герцогу проверить свое сомнение относительно серьезности чувств брата скорее, чем он мог ожидать этого.

— Послушай, — заговорил он, — я вот что скажу тебе: ты хочешь, чтобы я ехал просить руки для тебя молодой Олуньевой, зная заранее, что если я поеду, то мне отказа не будет.

— Да, именно поэтому-то я и прошу тебя.

— То есть, другими словами, мне не посмеют отказать? Так, что ли?

— Так... — с запинкой подтвердил Густав.

— В таком случае, ты хочешь жениться насильно, выслав меня сватом? Хорошо, я поеду; из боязни ко мне там дадут согласие. Ну, а потом что? Свободного выбора не было, и хорошо, если Олуньева тебя тоже любит. Ну, а если нет?... Тогда все дело станет непоправимым... Между тем, если ты сам... тогда это будет совершенно другое...

— Так ты отказываешься поехать? — перебил упавшим голосом Густав.

— Я ни от чего еще не отказываюсь, а говорю только, что если поеду я, то для той, которую ты любишь, не будет свободного выбора.

Расчет, с которым говорил герцог эти слова, заключался в том, что если Густав действительно любил Олуньеву серьезно, то эта серьезность любви помешала бы ему настаивать далее. Для истинного чувства показалось бы оскорбительно не только всякое насилие, но даже такой поступок, который давал бы повод подозревать отсутствие свободной воли.

Если Наташа любила или могла любить, то, кто ни поезжай, всякому бы она дала свое согласие на свой брак с Густавом, а если не любила, то человек, испытывающий к ней истинное чувство, не захотел бы насиловать ее волю, ставя ее в положение, при котором отказ был почти невыносим. Поэтому герцог, желая проверить брата, объяснил ему, какой вид будет иметь его сватовство, и ждал, что он ответит: откажется ли от своей просьбы или, наоборот, будет настаивать на ней.

Но Густав не отказался, он продолжал упрашивать его не противиться и не мешать его счастью.

XIII

*TU, FELIX AUSTRIA, NUBE**

Бирон обещал брату послать к Олуньевой извещение о своем приезде к ней, хотя это сватовство вовсе не улыбалось ему.

Правда, молодая Олуньева принадлежала к старинному дворянскому роду, была достаточно богата и, насколько помнил ее герцог, умела держать себя с должным тактом, достойным похвалы. Женою барона она была бы на своем месте. Но герцогу хотелось не этого.

Если, с одной стороны, он, окруженный врагами, вел с ними войну беспощадную и смертельную, то, с другой — намеревался упрочить свое положение посредством выгодных браков близких ему лиц.

Пока жива была государыня Анна Иоанновна, он был настолько уверен в твердости своего личного положения, что не считал нужным заботиться особенно о настоящем. Однако будущее часто тревожило его. Умри сегодня государыня (а она с каждым годом болела все более), то что станет с ним, ненавидимым всеми ее любимцем?

Он уже давно лелеял план женить своего сына на цесаревне Елисавете, и хотя трудно было осуществить этот план, но Бирон все-таки надеялся. Однако и при женитьбе его сына на цесаревне обстоятельства все-таки могли сложиться неблагоприятно для него. Родная дочь Петра, Елисавета Петровна, могла остаться и в последующее время такою же далекою от всяких государственных дел и влияния на них, какою была теперь.

* Ты, счастливая Австрия, заключай браки (лат.)

Наследником престола являлся маленький Иоанн Антонович, недавно родившийся сын Анны Леопольдовны, родной племянницы государыни, которая выписала ее к себе и выдала замуж за принца Брауншвейгского с тем, чтобы их потомству передать престолонаследие. Бирону хотелось обеспечить себя каким-нибудь образом со стороны Брауншвейгской фамилии, и в этом отношении он рассчитывал на брата.

Но вместе с тем ему не хотелось огорчить Густава отказом исполнить его просьбу, тем более что со своей стороны он в данный момент не мог пока предложить ему иного выбора, так как не имел в виду ничего определенного.

Поехать к Олуньевой ему ничего не стоило. И предчувствие, которым он руководствовался издавна и которое никогда не обманывало его, говорило ему теперь, что ехать можно, что все выйдет лучше, чем он ожидает.

Поэтому он на другой же день после своего разговора с братом послал к Настасье Петровне сказать, что будет у нее через два дня.

Ровно в назначенное время карета герцога с замысловатым гербом, на щите которого были изображены и львы, и олени, и черный ворон, и половина двуглавого орла, остановилась у подъезда олуньевского дома. Гайдуки, соскочившие с запяток, и лакеи, ожидавшие приезда высокого гостя на крыльце, бросились к подножке и дверцам.

Старуха Олуньева со строгим, официальным и не совсем спокойным лицом встретила пожаловавшего к ней владетельного герцога на лестнице, сделала ему по этикету поклон и проводила в парадные комнаты.

Проделав наконец все, что требовалось правилами приличий, они уселись друг против друга со смутным чувством неизвестности конца того серьезного разговора, ради которого приехал Бирон. Главное — он находился в сильном сомнении: ему неприятно было бы, если его сватовство увенчается успехом, но вместе с тем он ни за что не мог допустить и отказа, который равнялся бы для него оскорблению.

Первым начал говорить Бирон. Он сразу принял официальный тон, которого требовали не только его положение, но и предмет его посещения. Он, по обычаю, распространялся, хотя довольно сухо и сдержанно, о достоинствах племянницы Настасьи Петровны, потом сказал несколько слов о своем брате и кончил речь предложением барона Густава Бирона, который поручил-де ему, как брату, просить руки девицы Натальи Дмитриевны Олуньевой.

Настасья Петровна слушала его молча, потупив глаза и слегка прикусывая губы, но все время покачиваясь вперед, как будто была совершенно во всем согласна с герцогом. Когда же он кончил, она заговорила, собравшись с духом:

— Конечно, мы весьма счастливы предложением брата вашей светлости, это — такая честь... но...

Бирон поднял брови. Он ждал, что последует за этим «но».

— Но, — продолжала Олуньева, — Наташа, моя племянница, девушка с большими странностями... она раз навсегда решила, что не рождена для замужней жизни... она...

— Что же, она в монастырь собирается? — осведомился герцог, чувствуя, что ничего не имел бы против такого намерения молодой Олуньевой.

— Нет, герцог, она уже замужем, — проговорила вдруг Настасья Петровна.

Герцог медленно поднял голову и спросил:

— То есть как же это? Замужем и отказалась от замужней жизни?

И Олуньева рассказала, что ее племянница вчера обвенчалась с одним человеком хорошей фамилии, но с него взята подписка в том, что он даст ей полную волю.

Наташа действительно была обвенчана. Ее свадьба в далекой церкви на Выборгской стороне произошла еще вчера.

Посланный от герцога с извещением, что он будет у Олуньевых, явился к Настасье Петровне как раз во время ее разговора с Наташей, и это извещение решило дело.

Олуньева торжествовала теперь, торжествовала не столько возможностью отказать самому герцогу Курляндскому, явившемуся к ней лично, сколько тем, что Наташа была теперь, по ее мнению, обеспечена на всю жизнь в смысле своего счастья. Правда, после ее рассказа герцогу была одна минута, когда она не знала еще, как он принял это все, и она не то что боялась, но чуть ли не впервые в жизни почувствовала себя в некоторой очень неприятной неизвестности. Впрочем, эта неизвестность сейчас же исчезла. По лицу Бирона, по его усмешке, почти перешедшей в полный смех, Настасья Петровна поняла, что невозможность женитьбы его брата на ее племяннице не только не сердит его, но, напротив, вполне соответствует его видам.

Почему это было так, она не дала даже себе труда догадываться, но, убедившись, что все обстоит благополучно, сразу овладела собой. Теперь, когда всякая опасность миновала, в ней снова проснулась прежняя бой-баба Настасья, какую знали ее при дворе и в обществе.

— Вы вот что, ваша светлость, — сейчас же заговорила она со своею особенною, подлаженною под прямоту и добродушие манерою, — вы на нашу бабью дурость не гневайтесь! Конечно, кабы знали мы, что такая честь предстоит, тогда другое дело... ну, да уж, видно, судьба.

Герцог с недоумением качал головою. Как ни приятна лично для него была эта странная судьба, потому что она способствовала в дальнейшем осуществлению его планов, но он все-таки не мог не прийти в крайнее удивление по поводу всего услышанного. Правда, это было в духе русских, среди которых Бирону случалось встречать оригиналов, способных на вещи, непостижимые его немецкому уму, но такой случай он и придумать не мог. И вместе с тем он знал, что это вполне возможно, что такие свадьбы бывали, хотя и в силу совершенно других, не имеющих ничего общего с настоящим делом причин, но все-таки бывали.

Он не сомневался в том, что Олуньева говорит правду, и, заинтересованный этою свадьбою, стал расспрашивать подробности.

Настасья Петровна рассказывала все с большою охотою.

Вообще, все устроилось совершенно так, как она хотела. Была одна только подробность, не понравившаяся ей немножко, и она умолчала о ней перед Бироном.

Эта подробность заключалась в том, что князь Чарыков-Ордынский наотрез отказался от денег, предложенных ему за его свадьбу. Такой его характер заставил призадуматься было Настасью Петровну, и, пользуясь тем, как Бирон принимал ее рассказ, она в удобную минуту ввернула-таки маленькое словцо:

— Вот что, ваша светлость! Упрячь, пожалуйста, мне этого самого барина подальше... потому вину на нем все равно можно найти.

— То есть как это «упрячь»? — переспросил Бирон.

— Ну да так, я не знаю... может, я и не то болтаю, — поспешила заговорить Олуньева, видя, что ее «слово» принимается не так, как она желает этого, и сейчас же перешла на другое.

— А как зовут... как фамилия теперь вашей племянницы? — спросил Бирон.

Настасья Петровна назвала.

— Чарыков-Ордынский... князь Чарыков-Ордынский? — вспомнил герцог. — Но ведь он уже разыскивается... Да, он разыскивается, и по очень серьезному делу...

«То-то серьезному!» — подумала Олуньева, и, когда уехал Бирон и она вспомнила весь свой разговор с ним, —

она осталась положительно убежденною, что герцог схитрил перед нею, поиграв только в справедливость.

«Сначала это ни за что, дескать, — соображала она, — а потом на тебе, и дело нашлось...»

Бирон же уехал от Олуньевой с серьезным сомнением, не рехнулась ли Настасья Петровна на старости лет.

Но как бы то ни было — действовала ли она в здравом уме или была помешана, — устроенная ею свадьба племянницы как нельзя лучше выводила герцога из затруднительного положения, и он, сидя в своей карете, уже искал брату такую невесту, которая более соответствовала бы его собственным желаниям, чем эта бедняжка Олуньева.

«*Bella gerant alii — tu, felix Austria, nubes!*» «Пусть войны другие ведут, ты ж, счастливая Австрия, заключай браки!» — вспомнил он известный стих и не мог сдержать довольную улыбку.

XIV

ИДИЛЛИЯ

Как ни была странна и непонятна для Бирона, а может быть, и для всякого другого постороннего человека свадьба молодой Олуньевой, но для ее домашних людей это являлось весьма естественным. Вся дворня жалела Наташу, сочувствовала ей и вместе с тем находила, что иначе трудно было поступить. На их взгляд, разумеется, лучше было обвенчаться с захудалым князем, который вдобавок еще давал жене вольную, чем выходить за Бирона и вступать в его семью.

Как только баронесса Шенберг побывала у Олуньевой и та после ее визита поднялась наверх к племяннице, две горничные, почуяв что-то неладное, кинулись к замочной скважине и подслушали весь разговор Настасьи Петровны с Наташей. Затем, когда Олуньева призвала к себе Григория Ивановича и стало известно, какое поручение дала она ему, дворня поднялась на ноги, и начались толки и пересуды.

К старухе Авдотье Саввишне, бывшей при Олуньевой чем-то вроде доверенного лица и известной в доме под именем просто Дунюшки, то и дело забегали с разных сторон с расспросами: правда ли, что биронский супостатский брат сватается к барышне, и правда ли, что ему утрут нос таким фортеlem, которого он и не ожидает? Как ни

отнекивалась Дунюшка, что ей ничего не известно, как ни гнала любопытных от себя прочь, вскоре выяснилось, что «фортель» действительно готов осуществиться.

— Ну и молодец же Настасья Петровна! — говорилось в людской. — То есть вот ловко дело-то обдeldывает!.. Важно... Право, важно!..

— Еще бы! — подхватывали с другой стороны. — А то иди в холопы к этому Бирону...

— Да что в холопы к нему?! — пояснил Григорий Иванович. — Он нас-то если возьмет за барышней, так своим холопам поставит в услужение, вот что!.. А князь Чарыков-Ордынский все-таки — русский князь.

— Ну уж тоже! Видели мы!.. Князь!..

— А ты вот поговори у меня! — огрызнулся Григорий Иванович и шел хлопотать дальше.

В самый день свадьбы, когда «молодая» вернулась из церкви, одна из горничных, Даша, побежала к французенке-модистке, работавшей на Олуньевых и сшившей Наташе платье к венцу в двадцать четыре часа. Даша обещала непременно прибежать, чтобы рассказать своим знакомым мастерицам все подробно о свадьбе. Работа уже кончилась, но мастерицы в ожидании ее не расходились.

— Ну, девушки, — вбежала к ним Даша, — кончено дело: обвенчали...

— Обвенчали? Быть не может!.. Так и обвенчали? — послышалось со всех сторон. — Как же это?

— Да так. Только вот сейчас из церкви привезли.

— Ты была?

— В церкви-то? Куды!.. Не пустили... Да и далеко, на Выборгской стороне... Нет, мне Гаврила, выездной, всю подноготную доложил... Он с каретой ездил.

— Ну, что ж она?

— Барышня-то? Да, конечно — наша сестра... хоть и свадьба эта, выходит, не настоящая, а так только, нарочно, — ну а все-таки боязно... почитай, без памяти все время была...

— Ишь ты!.. Ну, а он?

— Бравый, говорят, даром что пьяница, а бравый!.. Григорий Иваныч, дворецкий наш, хвалят: «Ничего, — говорят, — тысячи рублей не взял...»

— Какой тысячи?

— А что давали ему.

— За что?

— За свадьбу.

— Так чего ж он не взял?

— Значит, не хочет. Такое уж благородство, значит: выручил от рук бироновских, ну а там платы не нужно. Так и Григорий Иванович объяснял.

— А я бы так, право, взяла!..

Пока говорили так девушки, одна из них тихонько и незаметно пробралась к двери, приотворила ее и выскользнула вон. Затем она опрометью кинулась через двор в так называемый сад, то есть просто огороженное, заросшее деревьями пространство, принадлежавшее к дому, который занимала француженка для своей мастерской. Со стороны двора тут находились покосившаяся от времени беседка и скамеечка, но дальше, между деревьями и кустами, росли лопух и сорная трава. Швее быстро, уверенно, видимо знакомою дорогою, пробралась между кустов и древесных стволов к тыну, шедшему вдоль задней стороны сада.

Вечер был тих; солнце уже село, но перламутровый отблеск заката еще захватывал часть неба, на котором высыпали бесчисленные, с каждой минутой становившиеся ярче августовские звезды. Деревья не шевелились, и их листва казалась причудливым темным кружевом, неподвижно, словно на плоскости, застывшим.

Из-за тына навстречу девушке послышался шорох.

— Груня, ты? — чуть внятно спросили оттуда.

Она подала голос.

За тыном задвигались, и вслед за тем наверху его показался темный абрис человека, который перекинул ноги и соскочил вниз.

— Что ж долго так? — заговорил он (это был измайловский солдат). — Я уж думал, что не придешь нынче.

— Нельзя было раньше, там Дашка олуньевская прибежала, о свадьбе рассказывает, барышню-то их нынче венчали.

— Что ж, любопытно послушать было?

— Чего мне слушать то? А говорю, нельзя выйти было, потому там все собравшись и мадама в магазине.

Солдат помолчал. Он опустил на полусгнивший пенек и притянул к себе Груню.

— Нет, не моги, — отстранилась та на его движение поцеловать ее. — Пока не твоя, не моги!

— Ах, Груня! — ответил он. — Кабы на то моя воля — давно бы моя была... Вот дай срок, отец откупит...

— Откупит... как же!.. Может, и откупил бы раньше, а теперь, гляди, туда тебя упрячут, что никакими деньгами не управишься. А еще тоже говоришь, мила я тебе... Была бы мила — не крутил бы.

— И сам не знаю, как это вышло тогда... — заговорил солдат, опустив голову. — С радости вышло, вот что!.. Обрадовался я, что отец простил, деньги прислал, и пошел... В первый раз в жизни пьян напился.

— Олуньевскую-то, — перебила Груня, — сегодня с твоим князем венчали.

— С каким князем?

— А вот что вызволил тебя.

Солдат поднял голову.

— Что ты?! Не врешь, Аграфена? Как же это? Это ему непременно такое счастье за доброе его дело пришло... Будь я один — пропал бы... право, пропал бы.

— Да и пропадешь еще.

Груня сделала вид, что сердится.

— Ну что ж, один конец. Ну, а пока что все же я благодаря ему жив еще.

— Ты мне вот что скажи, — начала Груня серьезно, — расспросил ли ты, что тебе теперь будет за это, а?

— Писарь наш полковой говорит — я ему семь гривен дал, — что по меньшей мере батогам на площади отдерут и в Сибирь угонят.

— Ты бы убег, — сказала Груня, вздрогнув.

— И убежал бы, да тебя жаль.

— Так ведь все одно угонят. Уж раньше не жалел, так что ж теперь-то? А пока что слышно?

— А пока никаких бумаг в полк ниоткуда нет. Писарь говорит, что пришлют скоро... Ах, Груня, что толковать об этом!.. Дай срок!.. Может, последний раз видимся. — И он притянул девушку к себе еще раз.

Она не сопротивлялась.

— Слушай, Кузьма, — сказала она ему, когда он, протясая с нею, перелезал тын обратно. — Если тебя в Сибирь угонят, я за тобой пойду.

XV

УКАЗ ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

— Я повторяю тебе, что это невозможно, и, как хочешь, я своего солдата не выдам и указа не приму. Хотя ты сердись или нет, но я не считаю себя обязанным принимать указы Тайной канцелярии, — сказал Густав Бирон, сильно горячась и махая руками сидевшему перед ним брату, который так же, как Шенберг, приехал к нему прямо от Олуньевой.

Дело шло о только что присланном барону Бирону как полковому командиру указе Тайной канцелярии, требовавшей немедленного ареста и выдачи солдата Измайловского полка Кузьмы Данилова за учиненные им «продерзостные против Ее Императорского Величества поступки».

Герцог, понимавший истинный смысл волнения брата, спокойно сидел в кресле и с улыбкою слушал выражения его горячности.

— И никакого тебе дела нет до солдата, — возразил он. — Этого солдата нужно отправить в Тайную, и ты отправишь, а сердиться ты оттого, что с тобой Олуньевы такую шутку сыграли...

Густав вдруг круто обернулся.

— И не напоминай мне о ней, слышишь — не напоминай. Я о ней теперь и думать не хочу. — Но, несмотря на то что он говорил, что не хочет и думать о Наташе, — как только речь зашла о ней, он ближе подошел к брату и снова повторил то, что уже спрашивал его несколько раз теперь: — Нет, скажи, пожалуйста, ведь это же — просто сумасшествие? сумасшествие?..

Герцог, в десятый раз пожав в ответ ему плечами, произнес:

— Если хочешь, со стороны старухи сумасшествие, ну а молодую нельзя винить.

— Да как же не винить, как же не винить-то? Ведь я же ухаживал за ней, я так был уверен!..

— Разве вы объяснялись? Разве она обещала тебе?

— Нет, обещать не обещала... но все-таки...

— Ну вот видишь! Да и мало ли хорошеньких женщин в свете? Ну, не она, другую найдешь. Да, наконец, тебе никто не мешает продолжать и за нею ухаживать. Она теперь свободна будет, самостоятельна... Ты едешь на маскарад к Нарышкину?

— Ах, какой тут маскарад! Оставь, пожалуйста!.. До маскарада ли мне?

И при имени Нарышкина у Густава живо воскрес в памяти тот первый вечер, когда он увидел Наташу.

— Она там наверное будет, — продолжал между тем герцог. — Я советую тебе ехать и преспокойно быть, как прежде.

— И что же, он красив по крайней мере? — перебил Густав.

— Кто? Муж Олуньевой? Право, ничего не могу сказать тебе. Знаю, что он — пьяница.

— Пьяница! — подхватил Густав и расхохотался громче, чем мог это сделать при естественном смехе. — Да, пьяница, шляющийся по кабакам... Хорош муж!.. И как это ты, который все знаешь, не узнал об этой свадьбе?

— Неужели ты думаешь, что я могу заниматься этими пустяками? — опять улыбнулся герцог. — И без того много вздора приходится выслушивать.

— Для тебя вздор, а для меня — весьма серьезная вещь. И как мне не донес никто?

— Значит, некому было. Ну, прощай, однако, мне пора! Повторяю тебе: брось думать об этом! — И с этими словами герцог, простившись с братом, вышел из комнаты.

Он видел, что чувства Густава к Олуньевой были похожи скорее на каприз, чем на серьезную, обдуманную и взвешенную любовь, какою мог полюбить человек его лет, и, как ни горячо принял он известие о ее свадьбе, все-таки это было далеко не то, что должно было быть при ином положении вещей.

«Посердится и перестанет!» — решил герцог и вернулся домой, весьма довольный своим утром.

Густав действительно сердился, но именно только сердился. Было задето его самолюбие, ему неприятна была неудача, обидно, что так хорошо сложившиеся планы семейной жизни рушились; казалось же ему, что он в отчаянии и что это его капризно-сердитое состояние и есть самое настоящее выражение обманутой любви.

Брат уехал, а он все еще ходил по кабинету и, изредка останавливаясь и жестикулируя, произносил вслух обидные для человечества вещи. Он был взбешен, и ему требовался какой-нибудь осязательный, определенный предмет для выражения своего гнева.

«Что-то было такое! — вспомнил он, продолжая ходить, что-то обидело его помимо еще свадьбы Наташи. — Да, — вспомнил он, — этот указ... указ из Тайной канцелярии».

И он взял со стола брошенный им указ и перечитал его, как будто желая проверить, действительно ли эта бумага была так обидна, как она показалась ему сначала?

«Какой это Данилов? — стал припоминать он. — Молодой он или старый? И что он сделал такого? Кузьма... Данилов... Нет, положительно не помню. Да где же их всех упомянуть? А ведь вот тоже человек, и у него, верно, есть свои горести и были радости тоже. Я вот тут мучаюсь, потому что мне неприятно, что все это вышло так, но мне хорошо у себя дома, тепло... и будет, в сущности, и потом,

а ему-то... Хорошо, если он оправдается в Тайной канцелярии...»

И ему вспомнились сейчас же собственные слова о том, что он не выдаст этого солдата, и спокойный ответ брата, принявшего эти слова почти в шутку.

Действительно, Густав, начав теперь думать о Данилове и придя вследствие этого в более спокойное состояние, должен был согласиться, что только в шутку он и мог сказать это.

Каким образом он мог «не выдать» Кузьмы Данилова? Если бы он решился на это, ему пришлось бы оставить командование полком, а Кузьму Данилова все-таки взяли бы.

«Да, может быть, этот Кузьма Данилов и правда негодяй, достойный своей участи? Что же беспокоиться о нем?.. Но все-таки Тайная канцелярия не смеет присылать в полк указы... разумеется, не смеет».

И, чувствуя снова прилив поднимающейся злобы, Густав подошел к столу и сел писать проект уведомления в Тайную канцелярию о том, чтобы она благоволила впредь относиться в Измайловский полк не указами, которые принимать не будут (он так и поставил: «которые принимать не будут»), а промемориями. «Понеже, — писал он по-немецки для перевода своему адъютанту, — полк гвардии не под именем своей канцелярии зависит, но канцелярия под именем полку обстоит, и в оном присутствует Ее Величество полковником».

Составив ядовитую для начальника Тайной канцелярии генерала Ушакова записку, Густав несколько успокоился и тут же на полях присланного «указа» сделал пометку об аресте Кузьмы Данилова и отправлении его куда следует.

XVI

КНЯГИНЯ ЧАРЫКОВА-ОРДЫНСКАЯ

Наташа совершенно не помнила, как прошла ее свадьба, как одели ее, посадили в карету, ввели, или — скорее — внесли, в церковь и что было потом. Все это прошло для нее как во сне, как в тумане. Очнулась она уже княгиней Чарыковой-Ордынской.

Ей не хотелось выходить замуж, просто не хотелось ни за кого, потому что никого она не любила и чувствовала себя отлично в девушках, начав выезжать в свет только

первый год. Ей еще более не хотелось выходить за Бирона, но и венчаться с каким-то неизвестным князем, найденным Бог знает где, — тоже не хотелось ей.

Однако в то же время выбора ей не было. По крайней мере ее уверили, что выбора ей нет, что, если она не обвенчается с Чарыковым, Бирон, брат страшного герцога Бирона, насильно возьмет ее за себя.

Она не спала тогда целую ночь после приезда баронессы Шенберг. Потом произошел этот разговор с теткой, поразившей ее смелым и небывалым планом, и не успела опомниться она, как пришли сказать, что послезавтра явится к ним сам герцог. Очевидно, он придет с предложением. Наташа схватилась за голову руками и с воплем отчаяния повалилась на кресло.

С этих пор и до самой той минуты, когда она очнулась уже обвенчанная, все кружилось у нее в голове, и она мало что помнила.

Были минуты просветления, и в эти минуты ей хотелось освободиться от охватывающего ее ужаса и страха, что с нею будет; она пробовала оглянуться кругом, рассеяться и видела, что все суетились в доме, бегали, торопились. Дуняша ходила из комнаты в комнату, беспрестанно смахивая навertyвавшиеся у нее слезы, тетка с сурово нахмуренным лицом отдавала приказания с уверенностью и сознанием того, что она знает, что делает.

Эта уверенность, слишком подчеркнутая, показная уверенность тетки, слезы Дунюшки, сдержанно-почтительная суетня людей снова напоминали Наташе о ее положении, и снова казалось ей, что не свадьбу готовят ее, а похороны.

В самом деле, несмотря на суетню, было что-то тихое, подавленное в доме. Ходили на цыпочках и говорили шепотом.

Казалось, имей Наташа достаточно духу, чтобы сказать, что она не хочет этой свадьбы, или найдись кто-нибудь посторонний, который сказал бы этим людям, чтобы они опомнились, и они опомнились бы и, может быть, ужаснулись бы перед тем, что делают. Но Наташа не имела силы говорить, а посторонних не было никого, и дело было доведено до конца бесповоротно.

Очнувшись, Наташа вовсе не ощутила той свободы и радости, которые были обещаны ей. Хотя во время венчания она не подымала глаз и едва ли, по своему внутреннему состоянию, могла видеть что-нибудь отчетливо, ей все-таки казалось, что она видела и запомнила лицо того

человека, имя которого она носила теперь таким странным образом. Она видела его потертый наряд, грубый мужской профиль с черными усами, горбатым носом и длинными волосами. Он не был ни противен, ни антипатичен ей, но вместе с тем он был ей чужд, страшен и далек.

Она вздрогнула вся, от головы до пяток, когда кто-то в первый раз назвал ее «ваше сиятельство».

Весь разговор тетки с Бироном она выслушала, стоя за дверью, и то выражение лица, которое она увидела у герцога, когда Настасья Петровна сказала ему о свадьбе, на одну секунду вознаградило ее, но Бирон уехал, и тщеславное удовольствие быть немножко хитрее его быстро прошло, и тяжелое чувство тоски снова заняло его место.

Наташа совершенно не знала, как себя вести и держать в новом для нее положении княгини Ордынской. Тетка сказала ей, что она будет жить на отдельной половине, что для нее нарочно отделают несколько комнат, которые поступят в полное ее распоряжение, что она будет тут принимать кого хочет и когда хочет и что весь штат дворовых будет к ее услугам, и экипажи, и лошади.

Все это заняло Наташу, но не надолго. Она, зная тетку, видела, что и та задумывается о чем-то.

Действительно, Олуньева беспокоилась о том, как будет вся эта история принята при дворе. Правда, герцог, как оказалось, принял свадьбу ее племянницы как нельзя было желать лучше, и потому являлась серьезная надежда на то, что все обойдется благополучно.

Настасья Петровна в тот же день, когда был у нее Бирон, вечером была приглашена во дворец. Она приехала оттуда радостная и сияющая. Государыне, которая любила подобные проделки, вся эта история очень понравилась, она много смеялась и выразила желание, чтобы «молодая» представилась ей. Этого было более чем достаточно. Теперь не могло быть сомнения, что она всюду будет принята и обласкана даже.

Настасья Петровна радовалась этому, но Наташа, проводившая дни одна, оставаясь наедине со своими мыслями, думала, разбирала и приходила к нерадостным заключениям. Ведь если обрадовалась так тетка тому, что императрица одобрила эту свадьбу, то, значит, не прикрой государыня своей милостью ее замужества, ее считали бы, пожалуй, отверженной. Значит, тут было что-то худое, и с этого времени Наташа, начав думать, во всем находила одно неприятное для себя.

Она представилась государыне. Та очень милостиво говорила с ней и подарила браслет, но Наташе все-таки всюду чудились косые взгляды, пожалуй, насмешки, и она не могла найти в себе прежние веселость и беззаботность.

Представление было неофициальное. Настасья Петровна провела Наташу прямо с маленького крыльца во внутренние комнаты, никто их почти не видел. И Наташа рада была этому. Выходило, что она стала свободнее в смысле внешних запретов, но зато сама внутренне потеряла охоту к этой свободе. Она даже к приятельницам своим не показывалась.

Наконец пришла если не необходимость, то, во всяком случае, настоятельная возможность выехать ей на люди. Определенный в ее штат собственный теперь лакей подал присланный на ее имя пригласительный билет на маскарад к Нарышкину.

Билет был напечатан на толстой бумаге, и на нем были выгравированы танцующие и сидящие за столом маски. Тут же были изображены герб хозяина и номер билета.

Наташа, рассмотрев билет, невольно улыбнулась тому, что на билете значилось ее имя, теперешнее, новое ее имя, — княгине Наталье Дмитриевне Чарыковой-Ордынской. Она прочла несколько раз эту надпись и по привычке пошла к тетке спрашивать относительно этого приглашения.

Та разыграла любезно-поощрительную отчужденность.

— Милая моя, — сказала она, — делай как хочешь: хочешь — поезжай, хочешь — нет, от тебя вполне зависит. Что ж ты ко мне-то приходишь?

Наташа видела, что тетка говорит это, только чтобы доставить ей удовольствие.

— Ну да, я знаю, знаю, — нехотя перебила она, — но как вы посоветуете?

— А совет мой — ехать. И вот почему: ты как будто, хотя я не знаю с чего, боишься из своего гнезда вылезать, робеешь, а тут, как нарочно, маскарад, значит, ты под маской будешь, — ну, не так зазорно для первого раза, а там скорехонько и приобькнешь.

— А вы поедете?

— Собираюсь... Если у тебя место в карете будет, так возьми меня с собой.

«И зачем это она опять? — подумала Наташа на последние слова тетки. — Утешить меня все хочет».

Но соображение Настасьи Петровны относительно удобства своего появления в маскараде Наташа приняла к сведению. В самом деле, не вечно же было сидеть ей дома.

XVII

КНЯЗЬ ЧАРЫКОВ-ОРДЫНСКИЙ

Несчастный, спившийся, как все считали, князь Борис Андреевич был сыном князя Андрея Чарыкова-Ордынского, бывшего при Петре Великом воеводою, но вскоре оказавшегося совершенно негодным к управлению.

«Ордынский, — писал про него Петр, — управление государственных дел столь остро знает, сколь медведь на ор- ганах играет», — и отставил его от должности.

Ордынский был если не богат, то, во всяком случае, настолько состоятелен, что мог выстроить себе дом на Васильевском острове (лучшая часть петровского Петербурга) и жить там с честью.

Петр, не терпевший плохих дельцов, забравшихся не на свое место, и нуждавшийся в представительных обывателях для своего города, поселил Ордынского в Петербурге и от- вел ему место под постройку дома.

Ордынский выстроил дом и зажил барином. Он мог бы на свои средства дожить век припеваючи, если бы от веч- ной праздности и происходящей отсюда скуки не начал искать развлечения в вине. В особенности после смерти жены он пристрастился к пьянству.

Впрочем, это пристрастие было совершенно особенное: князь никогда не напивался один. Всегда являлись у него собутыльники, и он, пьяный, устраивал над ними разные потехи.

В минуты грусти он с налитыми кровью глазами ударял по столу кулаком и кричал «вон». Выгнав гостей, начинал плакать. Но зато если он чувствовал в себе прилив весело- сти, тогда присутствующим приходилось плохо. Приносили пистолет, и, приставив его в упор кому-нибудь в голову, он заставлял несчастного, под угрозой выстрела, выпить ковш до конца не переводя дыхания. Или напоит еще кого-ни- будь пьяным, разденет, вымажет медом, вывалит в пуху и выгонит на улицу.

И, несмотря на это, все-таки находились люди, охотно пившие с ним и являвшиеся к нему по его зову.

Иногда, напившись, князь велел закладывать лошадей, едва лишь обездженных, и, став в сани, правил ими.

Борис помнил себя еще маленьким, совсем маленьким мальчиком. Он сидит наверху у матушки в горнице (она была жива тогда), и няня тут же с чулком рассказывает сказку. Вдруг дверь открывается. Огромная, сильная фигура отца показывается на пороге. Он кричит что-то и машет рукою. Борис чувствует, что дело касается его, и инстинктивно жмет к матери, но отец схватывает его, подымает на руки и бежит с ним вниз. Мальчик не смеет отбиваться и силится лишь отвернуть свое лицо от сильно пахнущего вином рта отца. А тот сносит его с лестницы на улицу, вскакивает с ним в сани, и они несутся сломя голову до тех пор, пока Борис не теряет сознания.

Потом помнит он еще позднейшее, более тяжелое время.

Матери уже нет в живых. Отец, мрачный, ходит по дому, курит одну трубку за другою и пьет огуречный рассол и квас.

Запах вина он не может переносить.

Но вот на него находит, и наступает период запоя. Являются откуда-то чужие, громко, бессвязно говорящие охрипшими голосами люди, их много, очень много как будто... Им всем и отцу подают белые полотняные халаты («саваны», как называл их отец), и они начинают пить, пить. Борис не знает, куда деваться в это время; он бежит к себе наверх, ложится в постель и сует голову в подушки, но тут ему кажется, что под ухом у него стучат бутылки и стаканы и в глазах мелькают белые халаты.

Впоследствии, к концу своей жизни, старый князь стал страдать чем-то вроде умопомешательства. Он стал бояться, в особенности во время периодов пьянства, что его непременно убьют и что убийцы подкуплены его покойной женой.

Эта боязнь дошла у него до того, что он велел в саду у себя выстроить беседку с обширным потайным подземным этажом и соединить со своим кабинетом эту беседку особым, тоже секретным, ходом. Кроме того, из нее был проведен выход за ограду сада, в противоположную сторону от дома.

Все эти затеи, а в особенности расходы по пьянству, сделали то, что после своей смерти (он умер скоропостижно) князь Андрей Чарыков, кроме страшной физической силы и полуразвалившегося вследствие отсутствия с

самой постройки ремонта дома, ничего не оставил сыну в наследство.

Борису было шестнадцать лет, когда умер его отец. Он остался вполне одинок. Родных он не знал никого, да и вообще не знал хорошенько, были ли они у него. Знакомых у отца давным-давно не было. Тех, которые с ним пили мертвую, нельзя было считать за знакомых, да и обратиться к ним ни с чем нельзя было.

Крепостные были распроданы, разбежались или откупилась сами. Имение пошло за долги. Остался один дом, но и его никто не хотел покупать, потому что тогда в Петербурге оказалось домов больше, чем в том ощущалась потребность.

Ни служить, ни заняться чем-нибудь Борис Андреевич не мог, и не мог не по своей вине — он не был подготовлен ни к чему.

И вот мало-помалу в силу сложившихся обстоятельств он стал тем, чем явился в аустерии, когда встретился с ним бывший дворовый его отца.

Он жил изо дня в день, не помня, что было вчера, и не зная, что будет завтра.

Разумеется, никогда не думал он о женитьбе, и странное предложение, сделанное ему, не только застало его врасплох, но и пришло под лихую, расходившуюся после случая с измайловским солдатом руку.

Борис согласился, думая, что из этого выйдет развеселая история, что выкинет он этим такую штуку, что ахнут даже те, которые привыкли к его выходкам. Ему именно приятно было удивлять людей своим поведением. Ему было тяжело и вместе с тем приятно, несмотря на всю грязь, в которой он возился, быть все-таки не совсем заурядным в сравнении с толпою, выделяться из нее, потому что он чувствовал себя выше этой толпы. Судьба, наделившая его способностями незаурядными, отняла у него всякую возможность применить их на деле. И вот он бросил вызов этой судьбе и повел свою бесшабашно-безалаберную жизнь. Однако эта жизнь начала становиться однообразной.

И вдруг тут явилось предложение этой свадьбы. Чарыков обрадовался даже ему, именно как новой странности, как чудачеству, но вышло совершенно не то, чего ожидал он.

XVIII

ДУША ПРОСНУЛАСЬ

Чарыков-Ордынский жил один-одинешенек в своем доме. Из слуг у него не было никого, и сам дом стоял почти весь с заколоченными досками окнами. Только в двух из них, с потрескавшимися и заклеенными стеклами, изредка показывался свет, когда князь Борис Андреевич возвращался к себе. Но это бывало редко. По неделям Ордынский пропадал без вести. В гости к нему никто не хаживал.

А в народе дом пользовался дурной славой. Говорили, что там кто-то ходит по ночам, стучит.

Прямо из церкви после свадьбы Ордынский вернулся домой пешком.

Прежде для него все неприятные минуты в жизни проходили именно тут, дома, и они обыкновенно совпадали с вольным или невольным отрезвлением. Он шел, бывало, домой, когда у него не хватало денег для того, чтобы продолжать пить, или когда находило на него такое уныние, что даже вино, карты и дебоши не могли заглушить в нем отчаяние, под влиянием которого он предавался им.

И он, являясь домой трезвый, приносил с собою сюда всю тяжесть своего нравственного угнетения и просиживал иногда целые ночи напролет без сна, не ел, не пил и не замечал, как погасал разложенный им в печке огонь, для которого он сам иногда рубил дерево в саду или раскалывал что-нибудь из мебели. Князь сживал в это время, опершись головою на руку, безучастно смотрел перед собою и безучастно следил за пробегавшими в его голове быстрее молнии мыслями.

И теперь, вернувшись из церкви из-под венца, он прошел в свою комнату (какою грязной, какою неприбранной показалась она ему вдруг!) и опустился в большое, давно знакомое, противное и вместе с тем любимое кресло, когда-то обитое кожей, от которой остались теперь одни лоскутья.

Григорий Иванович, дворецкий Олуньевых, объяснил ему причину, в силу которой необходимо было немедленно обвенчать молодую барышню, и мысль отбить невесту у самого брата Бирона, того Бирона, перед которым все и вся трепетало, пришлось по сердцу нищему князю Борису.

Накануне он выиграл в карты небольшую сумму и, вместо того чтобы пропить ее или идти играть дальше, купил себе чистую рубашку. Денег хватило бы и на сапоги, но Чарыков решил, что и его будут хороши.

Он пошел в церковь, посвистывая, ощущая в себе некоторый духовный подъем, словно солдат перед сражением. Ему после происшествия в аустерии хотелось удали, хотелось раз навсегда показать себя. Об условиях своей женитьбы он не беспокоился, согласился на них беспрекословно и о своей невесте даже не думал.

Он шел весело и беззаботно, поглядывая по сторонам, и, только когда поднялся по ступеням церковной паперти и вступил в храм, где охватило его вдруг тихой прохладой, напитанной запахом ладана, почувствовал, что в его душе происходит что-то давным-давно неизведанное, ласковое, хорошее.

Лишь тут он вспомнил, как давно не бывал в церкви и как хорошо тут и тихо. Тишина и благолепие храма составляли такую резкую противоположность со всем беспорядочно-безобразным строем его жизни, что впечатление получалось сильное, глубокое. Но оно было приятно-трогательно. И Чарыков, с благоговейным смятением войдя в храм, отошел в сторону, к стене, где стояли Григорий Иванович и приглашенные им, вероятно, свидетели.

Дальше князь Борис помнил смутно все происшедшее, то есть он помнил, казалось, все до самых мельчайших подробностей, но они сливались как-то в одно и были так умирительны, что все остальное поглощалось этим трогательным умилением.

Главное — тут была она, та, которая стояла рядом с ним под венцом. Когда Чарыков-Ордынский почувствовал рядом с собою эту нежную, чистую девушку, стоящую так неизмеримо выше тех женщин, с которыми он знал до сих пор, — он прежде всего смутился, и его смущение заставило сильнее биться его сердце.

«Неужели, — думал он, слушая молитвы венчального обряда, — эта чудесно-прекрасная (глупые слова, но тут всякие слова будут глупы), бесконечно милая девушка может иметь что-нибудь общее со мною, хотя бы имя только?»

И в эту минуту он не одно свое имя желал бы передать ей, но саму жизнь свою, душу пожертвовал бы для нее.

Есть в какой-то легенде рассказ о том, как злая волшебница пустила на грудь невинной жабу, чтобы околдовать

ее, но чары исчезли, и сама жаба превратилась в цветок красного мака. Так Чарыков-Ордынский, став перед аналогом с этой чистой, прекрасной девушкой, словно очистился и сделался лучше. И он вернулся домой совсем другим человеком. Он ничего не хотел и не мог ни на что надеяться в будущем. Все, что случилось с ними, казалось сновидением — волшебным, прекрасным сновидением, невозможным и немыслимым наяву. Но после этого сновидения князь Борис не мог также вернуться к своей прежней жизни. Правда, в этой беспорядочной, полной бесшабашного отчаяния жизни, в этом пьянстве и беспробудном сне после него было что-то захватывающее, одуряющее, но именно «было». Чарыков чувствовал, что этого больше не будет.

Но что же делать теперь, что предпринять, как устроить новую жизнь, с чего начать? Идти на службу, в маленькие чины, тянуть лямку, как обыкновенному мелкому человеку, — это было невозможно. Оставить все по-прежнему? Но прежнего не существовало более.

И минутами князю Борису казалось, что ничего этого не было на самом деле. Но он сейчас же вспоминал дорогое для него лицо Наташи, и снова у него на душе становилось тепло.

И — странное дело — до сих пор он на свое существование смотрел совершенно безразлично, то есть будет он завтра жив или нет, а теперь, когда это существование стало почти невозможным, ему захотелось жить и быть счастливым. Он мог быть счастливым только с тою, с которой вступил в брак. Ему нужна была она, но в этом он даже в мыслях боялся признаться себе. Это было невозможно, а без этого невозможно было жить. Ему же хотелось жить.

И князь Борис чувствовал в себе необыкновенный подъем и прилив жизненной силы. Если бы теперь понадобился человек, который, не щадя себя, должен был бы исполнить какую-нибудь отчаянную задачу с тем, что его наградят потом, наградят широко, полно, как в сказках, — князь Борис был бы этим человеком и непременно заслужил бы награду. Но сказки уже перестали быть действительностью, отчаянных задач никто не предлагал, и Чарыкову некуда было пока приложить свою силу.

Он сидел один у себя, никому не нужный: ни себе, ни другим, забытый всеми и, вероятно, даже ею.

Впрочем, нет! Она не могла забыть его, она должна была вспомнить так или иначе о нем; но как вспомнить? неужели с ужасом и отвращением?

XIX

КНЯЗЯ БОРИСА ВСПОМНИЛИ

На другой и на третий день после свадьбы Чарыков-Ордынский оставался дома.

Но напрасно казалось ему, что его забыли и что никому нет дела до него в целом свете.

Пока он сидел у себя, о нем не только вспомнили, но и думали, и писали. Где-то далеко и вместе с тем близко от него шла неутомимая работа, подшивались дела; писались ордера и указы, и ни один человек, раз попавший там под известный номер, не был забыт.

Тайная канцелярия вместе с указом об аресте солдата Кузьмы Данилова послала приказания немедленно захватить князя Бориса Чарыкова-Ордынского, предерзостно дозволившего себе отбить «вышеупомянутого» преступного солдата от должного расследования по государственному «слову и делу».

Это приказание пошло по гражданской части, которая должна была отнестись с военною, дабы командировать приличную на сей случай силу.

Таким образом, прошло несколько дней со времени происшествия в аустерии, в продолжение которых князь Борис успел обвенчаться и успел бы, если бы захотел, скрыться от преследования.

Но он забыл и думать об этом. Он сидел по-прежнему у себя в кресле не двигаясь, когда к нему на двор вошли солдаты с офицером, сопровождаемые Иволгиным.

Офицер, введя солдат, видимо давно уже привычный к тому, что предстояло ему делать теперь, разделил их и сам, обойдя кругом дом, расставил со всех сторон у всех выходов часовых.

Ни ворота, ни одна калитка не были заперты. Никто не встретился, даже собаки или кошки не попалося тут. Заколоченный дом казался мертвым.

— Едва ли мы найдем кого-либо тут, — сказал офицер. — Дом точно пуст совсем.

Иволгин, со злорадною суетою во всех движениях вертевшийся тут же, как муха при обозе, пока расставляли часовых, засеменял ногами и, кланяясь, сказал офицеру:

— Будьте покойны, он здесь! Я тут второй день караулю. Сегодня он выходил, купил себе сайку и снова вернулся домой. Он, наверное, в доме, и выйти теперь некуда

ему, — только спрятаться может. Ну, да мы поищем и найдем!

Офицер кивнул головою и направился к главному входу, Иволгин — за ним.

Главный ход оказался забит и заперт. Они пошли к следующему. Все наружные двери были накрепко заколочены; только одна из них, самая маленькая, оказалась без всякого замка и засова и сейчас же отворилась, как только толкнули ее. За эту дверкою показались длинные сени вроде коридора — видимо, когда-то здесь был вход в служебную часть дома.

Офицер шагнул через порог.

— Куда вы, ваше высочордие? — остановил его Иволгин. — Я вам докладывал, что это человек-с такой силы, такой силы, осмеливаюсь доложить вам еще раз, что нас двоих будет мало... Я был свидетелем сам тогда; мы с ним троим не могли сладить!

Повязка после полученного в аустерии повреждения все еще была у него на голове и, видимо, мешала забыть силу Чарыкова.

Офицер улыбнулся недоверчиво.

— И потом, — поспешил подхватить Иволгин, — он может действовать из-за угла... из-за угла напасть... Ведь мы всего его дома не знаем; может, тут есть какие закоулки... А он, пожалуй, живым не захочет сдаться: это — отчаянная голова, это — такая, я вам скажу, голова...

Последние соображения словно подействовали на офицера. Он позвал трех солдат. Они вошли в дом, таким образом, впятером.

Длинные сени вели в комнату совершенно пустую, не представлявшую собою ничего страшного. Но тут было гораздо теплее, чем на улице, что служило явно признаком того, что тут или рядом действительно жили.

В следующей за этой комнатой находился Чарыков-Ордынский. Когда офицер, солдаты и Иволгин вошли к нему, он сидел в кресле, закрыв рукою лицо, и не сразу отнял эту руку. Офицер оглядел его и потом взглянул на Иволгина, как бы спрашивая, князь ли это перед ними Чарыков-Ордынский, которого они должны арестовать. Иволгин, невольно следя за каждым движением князя Бориса и прячась за солдат, закивал головою офицеру.

Чарыков глядел на вошедших во все глаза, но в этих глазах ничего не выражалось, кроме удивления. Ни испуга, ни страха не было в них.

Офицер обычными словами объяснил причину своего появления.

Чарыков-Ордынский поднялся со своего места. Казалось, он только теперь сообразил, в чем дело, но спокойствие не оставило его.

Предупреждения Иволгина и его предположения относительно возможного со стороны князя буйства были напрасны. Он стоял теперь перед людьми, пришедшими арестовать его, вполне равнодушно, готовый покорно следовать за ними.

«Вот минуточка, чтобы связать его... непременно связать, а то ненадежно», — мелькнуло у Иволгина.

— Ваше высокородие, — произнес он вслух, — прикажите лучше управиться... не ровен час...

Офицер еще раз оглядел князя.

Судя по тому, как смотрел, стоял и держался Чарыков, можно было иметь доверие к нему, но рваная одежда этого странного князя внушала чувство, совершенно противоположное доверию.

«А ведь в самом деле», — подумал в свою очередь офицер и головою показал солдатам в сторону князя.

Не успел тот опомниться, как руки его были вывернуты назад и скручены.

— Зачем же это? — улыбнулся он, но никто не ответил ему.

XX

СТАРОЕ БЮРО

Только когда Чарыков-Ордынский почувствовал себя крепко связанным грубою веревкою, которая неудобно и неловко давила ему руки выше кистей и стягивала локти, сознание действительно вернулось к нему.

Он понял наконец, что произошло с ним сейчас и, главное, что с ним может произойти еще впоследствии. С этой минуты он был уже во власти Тайной канцелярии, которая (он знал это отлично) если и выпустит его живым, то, во всяком случае, в таком состоянии, что недолго ему останется прожить после этого.

Однако Тайная канцелярия с ее дыбкой, ремнями и горячими вениками, о которых он знал только понаслышке, не пугала князя и не страшила. Мысль об этих пытках хотя и промелькнула у него, но как-то без должного

ощущения. Пока ему было гораздо большее унижение, которое он переносит теперь, связанный и окруженный грубыми солдатами.

Мысли его остановились не на том, что будет с ним, но на том, чего не будет у него и чего он навсегда лишится теперь. Не будет у него надежды снова встретиться с той, которую он даже сам себе боялся назвать своей женою, хотя был обвенчан с нею таким странным образом.

Связанным его подвели к двери.

— Ваше высокородие, — услышал князь Борис за собою шепот Иволгина, обращавшегося к офицеру, — не худо было бы осмотреть: нет ли бумаг каких-нибудь тут. Всяко может быть! Личность слишком подозрительная, и могут такие конъюнктуры открыться...

Офицер с улыбкой оглядел почти пустую комнату, в которой они арестовали Ордынского, и, не видя тут ничего похожего на мебель, где можно было бы хранить бумаги, пожал плечами, а затем так же тихо проговорил:

— Ну, у этого, кажется, и вовсе никаких бумаг нет!

Чарыков-Ордынский вдруг остановился, поднял голову, улыбнулся и с тем оттенком как бы прорвавшегося издевательства, которое свойственно людям, лишенным свободы, по отношению к тем, которые лишили ее, проговорил:

— Разве только в одной этой комнате у меня могли быть спрятаны бумаги? Дом велик.

Этого было достаточно, чтобы дух ищейки в полной силе проснулся у Иволгина. Он стал доказывать офицеру необходимость перешарить весь дом, чтобы найти бумаги, о которых якобы проговорился князь.

— Поймите, ваше высокородие, — опять зашептал он офицеру, отведя его в сторону, — ведь если он причастен к делу Волынского, то тогда нельзя же без бумаг. Это очень необходимо.

Офицер, видимо, боявшийся одного только: упрека со стороны начальства в плохом исполнении своих обязанностей, во избежание этого поддался убеждениям Иволгина. Они оставили Ордынского под надзором солдат и отправились осматривать все его владение.

Этот дом со своими покрякивающимися полами, с изломанной на дрова Ордынским мебелью, с местами отставшею от стен и висевшею тряпками расписною холстиною представлял собою полную картину запустения, был запылен и покрыт паутиной.

В одной только комнате нижнего этажа, где висел написанный масляными красками портрет красивой женщины, опиравшейся на стул с гербом князей Чарыковых-Ордынских, стояло большое, крепкое палисандрового дерева бюро, не только пощаженное временем, но, напротив, казавшееся еще более крепким вследствие своей старости.

Иволгин первым кинулся к нему; но замки бюро были крепки, и открыть его так сразу было трудно.

Ордынский думал именно об этом бюро, когда сказал о своих бумагах, и теперь, сидя со связанными пуками под надзором солдат, знал, что офицер и сыщик именно возьмется у этого бюро. Ему важно было, чтобы они сами ничего не могли сделать и позвали его туда.

Так и случилось. Офицер вернулся и потребовал ключи от бюро. Ордынский покачал головою и ответил, что ключей нет. Его обыскали, обшарили все кругом и, не найдя ничего, велели вместе с солдатами идти в ту комнату, где стояло бюро. Там при князе офицер велел солдатам сбить замки.

Когда принялись за дело, князь, как бы видя, что ему уже ничего не оставалось делать другого, сказал:

— Стойте! Все равно я сам покажу. Замки с секретом, и ключей не нужно. Вот поверните кольцо поперек, а другое — в противоположную сторону.

Иволгин отстранил солдат и подскочил сам.

— Так? — обратился он к Ордынскому, передвинув кольца по его указанию.

— Теперь нужно вот этот гвоздь надавить, — продолжал тот и сделал нетерпеливое движение, потому что связанные руки мешали ему показать, какой нужно было надавить гвоздь.

В бюро было вколочено в разных местах много медных гвоздей, и Иволгин не мог найти тот, который следовало.

— Нет, не этот, — сказал Ордынский, как бы сердясь на непонятливость Иволгина. — Пустите, я сам сделаю. — Он дернул связанными руками и с видимой досадой опустил их, не имея возможности помочь Иволгину. — Да пустите! — повторил он. — Ведь это ж минутное дело! — И, обернувшись спиной к одному из солдат, он приказал развязать себе руки.

Солдат взглянул на офицера и с его молчаливого согласия быстро и ловко распустил веревку.

Все это произошло вдруг, почти мгновенно, так что никто, даже Иволгин, опомниться не успел.

Но как только веревка была распущена, Чарыков выпрямился, оттолкнул солдата и кинулся к двери, противоположной той, в которую они вошли, и, захлопнув ее за собою, щелкнул замком, два раза повернув ржавый ключ.

Офицер растерянно оглядел всех и остановился глазами на Иволгине. Тот улыбнулся с твердою уверенностью в том, что арестованный не уйдет от них, и спокойно сказал офицеру:

— Ваше высокородие, велите дверь сломать. Ведь уйти ему некуда. Кругом дома часовые стоят.

Офицер опомнился и сам принялся ломать палашом дверь. Солдаты налегли на нее плечом.

Раздался треск. Дверь поддалась и раскрылась... но следующая комната была пуста. Обшарили весь дом: Чарыкова-Ордынского нигде не было. Расставленные кругом дома часовые клялись и божились, что никто на их глазах не выходил из дому.

XXI

В ТАЙНИКЕ

Князя Бориса спас потайной ход, проведенный его отцом из дома в подземный этаж беседки, где в последние годы своей жизни он напивался с избранными приятелями, боясь иначе быть зарезанным в бесчувственном состоянии опьянения.

О существовании этого хода Борис знал давно, причем ему было известно, что искусно замаскированная дверь в него находится в комнате, соседней с бывшим кабинетом его отца, где стоит бюро.

Вырвавшись от солдат и заперев за собою дверь, он, боясь одного только, чтобы дверь тайника не была испорчена, бросился к ней и надавил пружину. Дверь послушалась — отворилась. Князь Борис был спасен.

Закрыв ее за собою, он слышал, как ломились солдаты, как разнесли они дверь и как затем бегали по дому, напрасно ища его.

Как-то особенно ребячески-весело билось у него сердце в это время — и замирало, и снова билось. И почему-то казалось, что этот так ловко удавшийся ему случай послужит ему залогом всяких удач и на будущее время.

Он с каким-то особенным интересом к себе и к своему будущему, когда в доме все затихло, ощупью, осторожно спустился по каменной лестнице, начинавшейся почти от самой двери, и, расставив руки, пробрался по темному проходу в тайник под беседкой.

Он уже бывал тут после смерти отца и помнил, что здесь можно устроиться очень недурно. Тайник был весь выложен камнем и обшит досками. Над ним был крепкий свод с отдушинами и оконцами, хорошо замаскированными находившеюся наверху беседкой. Тут же была устроена печка, настоящая кафельная, на бронзовых золоченых ножках, какие бывали во дворцах в прежнее время. Разумеется, нужно было все это привести в порядок для того, чтобы окончательно поселиться тут.

Борис оглянулся и стал прикидывать, с чего и как начинать ему устраниваться.

Там, наверху, вероятно, еще не ушли и продолжали искать его и караулить, но здесь, в тайнике, он чувствовал себя в безопасности. Отсюда был отдельный выход в сторону, совсем противоположную той, где находился дом, в совершенно глухую местность. Посредством этого выхода можно было сообщаться с внешним миром, почти не опасаясь преследований.

Все это было хорошо и удобно для будущего, но в настоящем Чарыков чувствовал сильный голод, потому что с утра, кроме сайки, ничего еще не ел.

Однако рискнуть выйти сейчас было все-таки слишком неосторожно. Поэтому он счел за лучшее лечь на один из выцветших от времени диванов и заснуть, вспомнив какую-то французскую пословицу, в которой говорилось, что кто спит, тот обедает.

Когда князь проснулся, сознание времени у него было потеряно. Душный, пропитанный сыростью воздух подземелья подействовал ему на голову.

Чувство голода хотя и не усилилось, но и не стало меньше. Спать больше не хотелось. Нужно было выйти на воздух во что бы то ни стало. Сон не только не освежил, но, напротив, словно расслабил и утомил князя Бориса.

Он отыскал в кармане огниво, высек на трут огонь и, раздув его, зажег при помощи оторванной от дивана тряпки подобранную им на полу лучинку.

При свете ее он выбрался на воздух по выходу, который оказался не заваленным, не даже попорченным. Судя по длине этого выхода, он должен был быть далеко от дома.

И действительно, оглядевшись, князь не узнал места, где находился. Выход кончался у каменной обвалившейся ограды, обвал которой был устроен искусственно, и якобы рассыпанные камни были твердо скреплены железными болтами.

Выйдя из этих камней, Ордынский, осторожно оглядываясь и сам не зная почему идя на цыпочках, сделал несколько шагов, приглядываясь к местности. Кругом были огороды. Кое-где виднелись мазанки.

Вдруг... Чарыкову послышалось, что что-то хрустнуло близко от него. Он остановился на полушаге и прислушался, вытянув шею. Невдалеке от него, за кустом, послышался шорох.

XXII

ВСТРЕЧА

К удивлению Чарыкова, за кустом, из-за которого слышался шорох, оказался живой человек и даже знакомый князю Борису.

Подойдя, нисколько не растерявшись, к кусту, он в первую минуту даже и не подумал о том, то тут может скрываться один из выслеживающих его солдат. Он тогда лишь вспомнил об этом, как действительно наткнулся на солдата. Только одет был этот солдат довольно странно: без оружия, босой, в расстегнутом мундире, он сам так испугался, когда князь открыл его убежище, что сразу было видно, что не он преследует кого-нибудь, а, напротив, сам боится преследования.

Лицо солдата было знакомо Чарыкову, и он сразу узнал его. Это был тот самый солдат, которого он отбил в аустеррии. И солдат, в свою очередь, тотчас же узнал князя Бориса.

Оглянув его, Чарыков невольно улыбнулся его растерянному виду и странному одеянию и проговорил не столько в насмешку, сколько в поощрение молодому малому:

— Здорово, молодец!

Солдат вытянулся и, видимо, почувствовав в голосе князя начальнические нотки, по привычке ответил:

— Желаю здравствовать!

— Как зовут? — спросил князь Борис.

— Кузьма Данилов, ваше высокоблагородие!

— Что ты тут делаешь? Зачем ты сюда попал?

Кузьма огляделся кругом, точно желая проверить: нет ли здесь еще кого-нибудь, кто мог бы слышать их, и, убедившись, что кругом пусто, но понизив все-таки голос, проговорил:

— Искал вас, потому как раз вы меня высвободили, так теперь, кроме вас, другой помощи не искать.

Чарыков слушал молча, ничего еще не понимая и давая высказаться Кузьме, чтобы разобраться, в чем дело.

— Я теперь убег, — пояснил тот.

— То есть как же это убег?

— Так-с... Потому — все один конец... На дыбу и в Сибирь теперь...

— Ну а я-то тут при чем? Чего ж ты меня тут искал на задворках?

— Здесь-то уж я не искал. Это я сам хоронился. Я, как из казармы убег, сейчас стал расспрашивать, где вас найти можно. К вечеру вот и нашел ваш дом. Только вижу, он солдатами кругом обставлен... И так это сердце сжалось у меня!.. Ну, думаю, значит, и на вас арест наложен, и пропадай я совсем пропадом!.. А все-таки боязно стало, как вдруг солдаты заметят меня-то, я и побежал куда глаза глядят. Плутал-плутал тут, присел за кустом — ан, гляди, вы словно из-под земли выросли.

Это «словно из-под земли выросли» вновь заставило Чарыкова улыбнуться. Он только теперь, встретившись и заговорив с посторонним человеком, сознал совершенно особенную странность своего положения, тем более что Кузьма Данилов был вполне прав: ведь он действительно вырос из-под земли.

— Значит, ты скрываешься? — переспросил он у Данилова.

— Точно так, именно скрываюсь, — подтвердил тот.

— И тебе деваться некуда?

— Решительно некуда.

Чарыков, как и все люди, любил видеть счастливые лица, в особенности если причиной этого счастья был почему-либо сам он. И с невольным предвкушением того удовольствия, с которым он увидит сейчас, как изменится из несчастного в счастливое лицо Данилова, он сказал:

— Ну, слушай: если ты таков, как ты есть, стал пропащим человеком, которому деваться некуда, так я тебя возьму к себе.

Данилов, не веря в возможность того, что ему говорили, как-то косо посмотрел в сторону и едва слышно проговорил:

— Разве этому быть возможно?

— Ну, уж это — мое дело! — сказал Чарыков. — Ступай за мной!.. погоди, впрочем!.. Вот что: сходи и достань поблизости чего-нибудь поесть. Я буду тебя ждать здесь. Если, вернувшись, не застанешь меня тут — значит, мы никогда не увидимся.

И он, сунув Кузьме Данилову деньги, отослал его за провизией, а сам остался ждать его возвращения.

XXIII

КУЗЬМА ДАНИЛОВ

Князю Борису не пришлось долго ждать. Кузьма быстро исполнил поручение. Он явился с крынкою простокваши и огромным ломтем черного хлеба.

Переход от отчаяния, которое было следствием страха пытки и ссылки в Сибирь, к надежде избавиться от этого при помощи Ордынского был так быстр, что Кузьма принял уже самую надежду за спасение. Он, видимо, всецело доверял князю Борису и готов был служить ему, не заботясь о себе, уверенный, что князь будет заботиться о нем. И теперь, неся крынку с простоквашей, он гораздо больше думал о том, чтобы как-нибудь не расплескать простокваши, чем о том, что он может попасться на глаза кому-нибудь из солдат, сравнительно недалеко стороживших дом.

Князю Борису весело было видеть улыбающееся, радостное лицо Кузьмы, когда тот, с сознанием хорошо исполненного поручения, подошел к нему. Чарыков взял хлеб и велел Кузьме нести за собою крынку.

Они были почти у самой двери выхода из тайника и, войдя в нее, действительно точно провалились сквозь землю.

— Ловко! — одобрил Кузьма, а когда князь привел его в тайник и объяснил его происхождение и расположение, Кузьма пришел в окончательный восторг. — Значит, тут нас никто не достанет, — сказал он, крепясь. — А Бог-то, Бог!.. Везде рука Его видна. Был ведь этот подвал для разгула устроен, ан, гляди, на спасение людям служит.

Князь Борис невольно улыбнулся этой философии Кузмы, но тут же почему-то успокоительно подумал, что из этого малого будет прок.

Они не спеша поели и принялись устраивать на ночь свое помещение. Огня не зажигали, боясь выдать себя. В тайнике стояли уже глубокие сумерки, но глаза их привыкли к темноте, и они не замечали ее.

Князь Борис лег на диван, но спать ему не хотелось, потому что он уже выспался днем.

— Как же, однако, бежал ты? — стал спрашивать он у Данилова.

И тот начал рассказывать, что стоял на часах у дверей командира своего полка Густава Бирона, когда к тому приехал герцог. Стоя тут, он слышал весь их разговор: как Густав Бирон сначала горячился по поводу полученного им указа о выдаче солдата, как герцог убеждал его и как, наконец, он согласился благодаря тому, что был не в духе.

— Даже очень рассердился, — рассказывал Данилов про Густава, — сердился из-за того, что невесту у него из-под носа увели.

— Да ведь они, вероятно, по-немецки разговаривали, — перебил Чарыков. — Разве ты понимаешь по-немецки?

— Отец мой купцом состоит и в Риге большую торговлю ведет, так я с малолетства вокруг немцев возился и их язык понимать могу.

— А говорили они что-нибудь об этой невесте?

— Как же не говорить? Говорили, и очень много... Герцог-то говорит ему: «Чего тебе убиваться? Вот у господина Нарышкина машкерад на днях будет — поезжай туда и там, значит, с ней продолжай по-старому».

Чарыков сам не ожидал, что известие, подобное только что полученному им от Данилова, может произвести на него такое сильное действие, какое произвело оно. Дальше он уже не слушал рассказ Данилова, заговорившего снова о себе, о том, как он через полкового писаря узнал, что будет сделано распоряжение об его аресте, и как убежал из казарм и единственно ждал спасения от него, князя.

Чарыков лежал, не слушая и не перебивая, занятый своими мыслями и своей тревогой. Он чувствовал, что, несомненно, уже есть таинственная, неуловимая, но тем не менее действительная связь между ним и девушкой, с которой он обошел три раза вокруг аналоя в торжественно-

печальной церемонии их брака. Эта девушка носила теперь его имя, была княгиней Чарыковой-Ордынской, и это-то составляло главнейшую нить связи.

Неужели возможно и мыслимо, что она, эта, по-видимому, милая, чистая и прекрасная девушка, не сумеет с достоинством носить свое имя и обеспечить его?

Были мгновения, когда Чарыков с глубокою болью душевной раскаивался, зачем согласился на эту свадьбу, но эти мгновения почти сейчас же сменялись приливом все-таки восторженной радости. Последняя заключалась в том именно, что такая прелесть, какою была эта девушка, связана с ним, чуть было окончательно не пропавшим человеком, одним и тем же именем. И как низок казался он себе по сравнению с нею, и как высок по сравнению с тем, чем он был прежде!

— А знаешь, Кузьма, — протянул он вдруг медленно, с расстановкой, — мне нужно во что бы то ни стало быть на этом машкераде у Нарышкина.

— Так отчего же вам не ехать? Ведь на машкераде лица закрыты бывают.

— Нет, — снова перебил Чарыков, — если ехать мне, то именно так, как мне нужно.

И он, не рассказывая, но как бы мечтая вслух, заговорил о том, что ему хотелось. Он желал быть на машкераде у Нарышкина в домино цвета, соответствовавшего тому, в каком будет Наташа; но это было немыслимо, потому что не только ему, Чарыкову, неоткуда было узнать цвет Наташиного домино, но и вообще достать для себя какой-нибудь костюм, для которого нужны были деньги.

— Это-с все — пустяки, — опять из темноты заговорил Кузьма.

— То есть как пустяки? — не понимая и вспыхнув, строго переспросил Чарыков.

— Это-с пустяки — все, я вам докладываю: и разузнать все, и машкератное платье достать для вас. За этим дело не станет.

Если б мог Чарыков разглядеть лицо Данилова, то мог бы тогда сразу увидеть, что серьезно, не на ветер говорит он эти слова. Но они прозвучали из темноты, словно совсем не из здешнего мира.

— Правда? Ты не врешь? — приподымаясь, стал спрашивать Чарыков. — Ты можешь сделать это?

И голос Кузьмы снова повторил:

— Могу!

Как ни допытывался потом князь Борис, каким образом Кузьма думает исполнить свое обещание, тот упорно отказывался объяснить. И этот упорный отказ почему-то дал князю Борису особенную уверенность в том, что Кузьма не обманет его.

XXIV

ПЕРВАЯ СЛУЖБА

У портнихи-француженки Шантильи, у которой служила в швеях востроглазая Груня, было так много работы перед маскарадным балом у Нарышкина, что мастерицы сидели почти день и ночь.

После свидания с Кузьмой Даниловым, когда он сказал ей, что его теперь по меньшей мере батогами на площади отдерут и в Сибирь угонят, Груня не виделась с ним и ничего о нем не знала. Но каждый день она выходила вечером в условный их час к садовому тыну, поджидая, не придет ли Кузьма.

Прошло несколько дней, а его не было.

Груня становилась все грустнее. Не верилось ей, что действительно может статься, что его угонят в Сибирь, но вместе с тем она не могла даже себе представить способ, посредством которого ему удалось бы избежать наказания. Если бы даже бежал он, как советовала она ему, то все-таки его, наверное, нашли бы и засадили бы. Она знала, что, будь Кузьма на свободе и имей возможность явиться к ней, он явился бы непременно, но раз его не было, значит, не было надежды на то, чтобы свидеться с ним.

Наконец она решилась пойти к тыну, сказав себе, что это будет в последний раз. Ее безотчетно тянуло туда, но она сознавала, что это напрасно и что напрасно она берет и тревожит себя.

Она шла по знакомой дорожке к росшему за тыном лопуху, где был пенек, на котором Кузьма сидел в последний раз и где ей было так хорошо с ним и она была так счастлива.

И вдруг за тыном раздался тот особенный знакомый легкий посвист, от которого всегда ее сердце билось сильнее обычного.

— Здесь, здесь! — ответила она привычным ответом.

За тыном слышалось усилие карабкавшегося наверх человека, и вслед за тем показалась голова. Груня взглянула и вскрикнула.

— Шшш... тише... И себя, и меня погубишь! — слышалось сверху.

Голос был Кузьмы, но облик был вовсе не похож на него. Груня, испуганная и этим обликом, и тем, что она крикнула, сжав руки у груди, остановилась не дыша.

Кузьма, медля соскакивать, тревожно прислушался, оглядываясь по сторонам: не идет ли кто на крик неосторожной Груни. Но все было тихо кругом. Только подрумяненные осенью ветки шуршали, качаясь слегка. Наконец Кузьма соскочил в сад. Он весь был вымазан сажей. Одежда была перепачкана, за плечами торчал веник на длинной веревке, обматывавшей его руку. Но Груня теперь, приглядевшись, узнала в трубочисте Кузьму.

— Чего испугалась? — заговорил он деловито и торопливо. — Видишь, рожу вымазал — значит, за делом иду. Слушай, Груня, теперь для меня такой артикул начался — одно слово: что либо совсем пропаду, либо уж так хорошо будет, что ни в жизнь не мерещилось! Теперь я из полка убежал, и ищут меня по всему городу.

Кузьма Данилов вполне искренне воображал, что действительно теперь все начальство только и занято его побегом и тем, чтобы напасть на его след.

— Так как же ты? Где ж ты? Чего ж ты сюда не показывался? — забеспокоилась Груня, окончательно привыкнув к новому его виду и забыв уже его сажу и грязь.

— Я теперь все у него ж, у князя Ордынского... Слушай, Груня! Много раз я сюда прыгал лясы точить, в первый раз теперь за делом прихожу. Можешь ты мне одно дело справиться?

Груня наморщила лоб, задумалась, видимо, всей душой желая не только исполнить все, что от нее потребуют, но даже догадаться, что нужно ей делать.

Кузьма внимательно поглядел на нее и остался, кажется, доволен ею.

— Прежде всего, — растягивая слоги, заговорил он, тоже хмурясь и глядя прямо в глаза Груне, — нужно мне знать, в каком будет олуньевская барышня, что с моим князем венчалась, в каком она будет...

— Домине? — подсказала Груня.

— Ну вот, домине, что ли...

Груня улыбнулась. Ей приятно было знать то, о чем получить сведение было так необходимо ее Кузьме.

— Будет она в розовом, — сказала она.

— Наверное?

— Наверное. Я сама собственноручно блонды пришивала.

— Та-а-к! — протянул опять Данилов. — Ну а есть ли средства достать для этого самого машкерада такой же наряд на мужчину?

— Зачем на мужчину? — переспросила Груня, точно сам Кузьма хотел надевать это домино.

— Ты толком говори, — остановил он ее, — есть ли средства для князя такой наряд достать?

Груня поняла, в чем дело. Она задумалась, глядя в сторону, мимо плеча Кузьмы, потом серьезно посмотрела на него, и вдруг глаза ее весело блеснули.

— Есть! — сказала она громко так, что Кузьма схватил ее за руку. — Слушай, есть! Для Бирона, что у вас в полку старшим, тоже розовое делали. Наталья Дмитриевна как узнала через олуньевскую Дашу, что ему розовое шьют, сейчас велела себе оранжевое делать. На другой день и от него приказ пришел, чтобы и ему оранжевое... Узнал, значит... Я об этом Даше сказала... И потом Даша прибежала ко мне, чтобы так оборудовать, чтобы розовую домину Наталье Дмитриевне тайком послать — в нем она и поедет, — а оранжевое так только, для вида оканчивать... Ну так вот, если Бирон своего розового не потребует, тогда на один вечер можно его взять будет...

— Слушай, Груня, — подхватил Кузьма, — если только ты мне это дело оборудуешь — во как благодарен буду! — И он широко раскинул свои крепкие мускулистые руки.

Груня вскинула ему свои на плечи.

— Аль сажи не боишься? — слегка отстранился он с улыбкой, открывшей сверкнувшие белизной крепкие его зубы.

— У-у, чумазый! — проговорила Груня и прижалась губами к его вымазанной сажей щеке.

Густав Бирон был уверен, что сведения, полученные им при помощи подкупленной мастерицы госпожи Шантильи о том, что молодая княгиня Ордынская будет в оранжевом домино, безусловно верные, и потому явился на маскарад к Нарышкину в домино тоже оранжевого цвета.

Он вошел по устланной ковром и уставленной растениями и цветами лестнице в большой, освещенный множеством свечей зал нарышкинского дома и привычным взглядом обвел из-под своей маски собравшуюся тут толпу.

Все, что было знати в Петербурге, составляло эту толпу, пеструю, блестящую, медленно и робко еще двигавшуюся в ожидании танцев. Только старики вельможи были в своих мундирах с вышитыми серебряными нитками звездами; все остальные были замаскированы. Однако Густав сейчас же узнал некоторых из них по росту и по походке, но тотчас же забыл о них, весь поглощенный одним: увидеть поскорее оранжевое домино, под которым должна была скрываться Ордынская.

Сначала он искал ее, внимательно оглядывая зал, стоя у двери. Но ничего похожего на Наташу в оранжевом домино не было. Издали он видел старуху Олуньеву, в простой бальной робе стоявшую недалеко от приготовленного для государыни места. Значит, и ее племянница была тут. И снова еще внимательнее стал оглядываться Густав.

Вдруг ему показалось, что там, недалеко от дверей гостиной, мелькнул оранжевый цвет. Он приподнялся на цыпочки и вытянул, как мог, шею в ту сторону. Хорошенькое, миловидное оранжевое домино быстро, едва касаясь пола, ловко скользило в толпе, видимо пробираясь куда-то.

Густав, забыв все окружающее и не замечая, что без всякой церемонии толкает встречных направо и налево, направился в ту же сторону. Он видел, как оранжевое домино добралось до широкого полукруга, оставленного толпою свободным у места государыни, и, подойдя к старухе Олуньевой, остановилось, сказав ей что-то на ухо. Старуха Олуньева улыбнулась и пожала плечами. И вдруг обе они взглянули в сторону Густава, высокая фигура которого сразу выделялась в толпе.

Он шел прямо к ним, не сомневаясь теперь, что это Наташа разговаривала с теткой. Но не успел он подойти, как толпа заволновалась, говор ее перешел в постепенно сдерживаемый шепот. По залу пробежало несколько человек с искаженными от волнения лицами. От входных дверей вплоть до царского места в один миг образовался широкий проход среди почтительно расступившейся толпы. Хозяин, оправляя фалды и прижимая локтем треуголку под мышкой, как-то вприпрыжку пронесся на лестницу, и общий шепот слился в одно слово: «Едет! едет!» Потом все стихло. В зале ясно было слышно, как внизу, на лестнице, открылась и хлопнула дверь. Кто-то махнул платком на хоры музыкантам, и они заиграли торжественный марш. Через несколько мгновений в зал вошла, в сопровождении герцога Бирона и свиты, Анна Иоанновна.

Густав ничего не замечал и не видел. Он, будучи принужден остановиться, потому что все кругом остановилось, и страдая этим промедлением, боялся упустить из виду Наташу и смотрел только на нее.

Когда кончился прием государыни и она, став на свое место, отдала приказание начинать бал и оркестр дружно и весело заиграл первый танец, Густав решительно подошел к оранжевому домино и с глубоким поклоном проговорил:

— Цвета наших костюмов одинаковы. Сама судьба покровительствует тому, чтобы мы танцевали вместе.

Маленькая головка в оранжевой шапочке и такой же маске с красиво обтягивавшей ее шейку атласною рюшкой, завязанной ленточкой из вытканного серебра, качнулась с тем движением, какое делают хорошенькие женщины, когда они улыбаются, и оранжевое домино положило свою узенькую, хорошенькую ручку в руку Густава, видимо, готовое следовать за ним.

Густав, счастливый, не чувствуя пола под собою, словно он летел по воздуху, стал со своею дамою на место. Он держал ее руку в своей руке, ощущал ее близость, мог благодаря свободным обычаям маскарада так близко, как только хотел, наклоняться к ней, и радовался этому. Голова его кружилась. Ему хотелось сразу так много сказать ей.

Они успели уже сделать фигуру, а он не мог ничего еще сказать своей даме, хотя было по всему видно, что она ждала и желала, чтобы он заговорил. И, только сделав фигуру и как бы переводя дух после непривычного движения, он наконец порывисто шепнул:

— За что вы меня не любите, гоните, отвергаете меня?
Под оранжевой маской послышался веселый, сдержанный смех, а вслед за ним ответ:

— Могу вас уверить, я не отвергаю и не гоню вас.

Густав ответил не сразу. Он мог ответить на эти прямо и откровенно сказанные слова, значение которых было слишком велико, если они не были насмешкой, только разобрав внимательно: была ли это настоящая, неподдельная искренность или просто маскарадная болтовня, все допускающая под покровом маски. Сердце у него в эту минуту забилося так, как не билось никогда всю жизнь, даже во время тех высших почестей, которых он был удостоен во время и после своего торжественного въезда в Петербург как военного героя. Но наконец он овладел собою и произнес:

— Знаете ли, если вы сейчас сказали правду, то я готов с ума сойти от счастья!.. Если вы смеетесь надо мной, то я готов сойти с ума от горя!

— Значит, и так, и этак вы лишитесь рассудка? Бедный Густав! — снова засмеялось домино.

— «Бедный Густав!» — повторил он. — Вы узнали меня, несмотря на маску? И это очень хорошо, что вы меня узнали!

— Почему же хорошо?

— Потому что это как-то дает мне уверенность в том, что то, что вы сказали, — правда.

Маска быстро повернула к нему голову.

— А что я сказала? Что я сказала? — повторила она.

— Да ведь только — что вы меня не гоните и не презираете. Если вы узнали меня — значит, вы достаточно чувствительны к тому, что касается меня лично.

И снова она разразилась звонким смешком и ответила:

— Я вообще чувствительна, как немка.

— Ну, зачем это, зачем? — вздохнув, сказал Густав. — Зачем вы говорите неправду, княгиня? В вас немецкой крови столько, сколько во мне — русской.

— Да скажите, пожалуйста, за кого вы меня принимаете? — на этот раз совсем серьезно спросило домино.

Густав пожал плечами.

— За ту, которая вы есть, — за княгиню Чарыкову-Ордынскую.

В это время пришла их очередь делать фигуру. И только когда они кончили, маска в оранжевом домино обернулась к барону с вопросом:

— А разве можно выдавать во время маскарада чьи-нибудь имена и фамилии?

— Да, но если я знаю наверное, что это — вы.

— Наверное? — как-то нараспев повторила она. — Ну, не ручайтесь никогда ни за что и помните, что я вам себя никогда не называла княгиней.

— Ну, разумеется! — подхватил Густав тоном человека, которого не проведешь. — Вы сами никогда не проболтаетесь, но я-то ведь знаю, я-то ведь шел наверное, с твердым расчетом.

— И, как видите, ошиблись.

— Да нет же, не мог я ошибиться: сердце всегда подскажет верно!

— Но опять-таки повторяю, — перебило домино, — что я все-таки никогда не говорила, что я — княгиня Чарыкова-Ордынская! Это — ваша фантазия!

— И вместе с тем это — самая настоящая действительность! — заключил Густав, видимо, воображая, что он очень мил и умеет разговаривать с женщинами.

XXVI

МАСКИ ДОЛОЙ

Густав Бирон в продолжение всего вечера не отходил от своей дамы, которая так мило, игриво и весело разговаривала с ним, что он, уверенный, что это — не кто иная, как Чарыкова-Ордынская, был наверху блаженства и видел в этом новое подтверждение удивительной мудрости своего брата герцога, посоветовавшего ему тут-то и усилить свои ухаживания за бывшей Наташей Олуньевой, когда она была обвенчана и осталась, так сказать, вдовою при живом муже.

Он истощил перед нею весь запас любезностей, какие мог только придумать человек в его положении, и она, то и дело смеясь и блестя на него из-под маски черными, как вишенки, глазками, видимо, принимала эти любезности с каким-то особенным резво-милым задором.

Густаву было так хорошо и приятно на этом маскараде, как никогда в жизни. Он не замечал этой толпы и видел только свою даму и думал только о ней.

Все было отлично: и первый танец, который они протанцевали вместе и во время которого начался их оживлен-

ный разговор, переполненный шутками и недосказанными намеками, и то, как она себя держала с ним дальше во время вечера; и в особенности было хорошо Густаву, когда он протянул ей руку, чтобы вести ее к ужину вслед за другими парами, теснящимися к дверям столовой, чтобы попасть поближе к столу государыни.

Для столовой у Нарышкина была сделана нарочно для этого вечера большая, как манеж, пристройка, вся украшенная внутри по стенам цветами, ельником, гирляндами, разноцветными фонарями и щитами с аллегорическими фигурами и надписями. У главной стены было устроено под бархатным, с золотой бахромою и кистями, увенчанным императорской короной балдахином возвышение со столом и золоченым креслом для государыни. Остальные столы для гостей помещались рядами перед царским столом. Приборы были расставлены с одной их стороны, так что все гости, которые должны были ужинать стоя, были обращены лицом к государыне.

Прямо против царского места, у противоположной стены, была поставлена высокая пирамида из разноцветных стекол, освещенных изнутри. На двух ее сторонах ясно выделялись слова «Счастлив!», «Благодарен!».

Густав нарочно остался со своею дамою позади, чтобы быть менее заметным и иметь более возможности разговаривать с нею. Они сели чуть ли не за последний стол, и от этого, как казалось Густаву, их счастье несколько не было меньше.

Анна Иоанновна села на приготовленное для нее место. Снова заиграла музыка. Величавые, медлительно-важные лакеи стали разносить лакомые блюда и банкетные, как говорилось тогда, сласти.

Государыне прислуживал сам хозяин. Она казалась очень веселою и была, что редко с нею случалось в последнее время, в духе. Членам царской фамилии и герцогу Бирону с его семьею она приказала сесть за свой стол.

Старуха Олуньева вместе с несколькими почетными придворными дамами и вельможами не ужинала и стояла сзади государыни, вблизи ее кресла. Оттуда, с ее места, был виден весь зал с обращенными в эту сторону закрытыми масками лицами. Олуньева слышала, как государыня своим суровым, почти мужским голосом сказала, кивнув в сторону зала, что «им неудобно, должно быть, есть в масках», и обратилась к хозяину с приказанием, чтобы маски были сняты.

Нарышкин с высоким хрустальным бокалом, в ножке которого вилась разноцветная змейка, в руке подошел к краю возвышения и внятно, на весь зал проговорил:

— Всемиловитейшая государыня наша приказывает вам открыть свои лица. Снимите ж, сударыни и господа кавалеры, свои маски, и прокричим, как один человек: «Виват, императрица Анна Иоанновна!» — И он высоко поднял свой бокал над головою.

Действительно, все в зале, как один человек, крикнули под гром музыки «виват» государыне императрице.

В один миг маски были сняты, и лица всех открылись.

Густав кричал оглушительнее, чем командовал на разводах, когда его голос бывал слышен всеми полками, как бы далеко ни растянулись они. Но, крича, он думал только об одном и ждал того мига, когда откроется личико той, с которой он провел весь вечер.

Случайно это было или нарочно, но она долго не могла распутать зацепившийся ей за волосы шнурок маски, и наконец, когда маска была снята, Густав так и застыл со своей поднятой во время крика рукой и вдруг смолкнул, забыв даже закрыть разинутый рот.

Рядом с ним в оранжевом домино была вовсе не княгиня Чарыкова-Ордынская, но ее приятельница, сестра любимой фрейлины великой княгини Анны Леопольдовны, Бинна Менгден.

Это была та самая Бинна Менгден, которую Густав видал столько раз и на которую до сих пор не обращал никакого внимания. В первый момент вся кровь бросилась ему в лицо, и он густо-густо покраснел от шеи до самого лба.

Густав принадлежал к числу тех мужчин, которые никогда не прощают, если хоть только кажущимся образом одурачат их. Но положение, в котором он очутился теперь, вышло несомненно и действительно глупо.

Он опустил руку, кулаки у него сжались от усилия, которое он сделал над собою, и, прикусив губу и став в этот миг чем-то удивительно похожим на своего брата, он злобно взглянул на стоящую рядом с ним Бинну.

Она, тоже вся красная, стояла, опустив глаза и голову, беспомощная и жалкая, видимо, не ожидавшая такого, какой вышел, конца. Ее смущение было неподдельно и искренне. Она как бы без слов говорила, что не виновата ни в чем, что выдавать себя ни за кого не выдавала, а просто была мила, весела и любезна, потому что она молода и хороша, и сердиться на нее за это нельзя.

Взглянув на нее, Густав понял это, а также и то, что вся вина на его стороне, что сам он в своем увлечении вообразил, что говорит с княгиней Ордынской.

— Ради Бога, — заговорил он по-немецки, близко наклоняясь к Менгден, — скажите мне только одно: сами вы выбрали цвет своего домино, случайность это или вам посоветовали взять оранжевый цвет?

Бинна слегка задумалась, как бы не сразу приходя в себя, и наконец, видимо с полной откровенностью, ответила:

— Нет, это — не случайность. Меня просили надеть именно оранжевое домино, но только я не знала зачем.

— Кто просил вас? Кто?

Менгден пожала плечами.

— Это — уже чужая тайна, и я не могу вам открыть ее.

— Пусть... Но я знаю, что вас просила княгиня Чарыкова.

Менгден опять пожала плечами и сказала, что отвечать на этот вопрос не может. Но, несмотря на эти слова, Густав знал уже отлично, что именно княгиня просила ее, и ясно видел также, что Бинна хотя и исполнила эту просьбу, но решительно не подозревала, зачем это понадобилось ее подруге.

«Однако она очень и очень мила!» — мелькнуло у Густава, когда он еще раз поглядел внимательней на Менгден, и вся горечь злобы и обиды на глупое положение, в которое он был поставлен, обратилась у него на княгиню Чарыкову-Ордынскую.

XXVII

РОЗОВОЕ ДОМИНО

Настасья Петровна Олуньева со своего места за стулом государыни давно уже отыскала розовое домино Наташи и несколько раз беспокойно подолгу останавливала на ней глаза, напрасно ломая голову, кто мог быть ее кавалер, одетый в одинаковый с нею цвет.

Она давно, еще в начале вечера, узнала Густава Бирона в его оранжевом костюме, когда он подошел к Бинне Менгден, разговаривавшей с нею. Значит, кавалером Наташи был, против всяких ожиданий, не он, но кто-то

другой, а кто — на этот вопрос не могла ответить себе Олуньева.

Она тщетно перебирала все фамилии молодых людей, но среди них не было никого подходящего. Все они имели свой предмет. И Олуньева, зная лучше, чем кто-нибудь, все сплетни Петербурга, могла сейчас же разобрать, кому возле кого быть надлежит, и положительно не могла придумать, кому было проводить вечер с Наташей, кроме Густава Бирона. И потому она с чувством затаенной особенной радости услышала неожиданный приказ государыни о том, чтобы маски были сняты. Она так и впилась глазами в ту сторону, где была Наташа, и, нахмутив брови, упорно, пристально глядела туда.

Наташа первая сняла маску. Ее личико было серьезно и строго, как бывает у молодых девушек и женщин, когда они переживают такие минуты жизни, которых уже никогда не забудут впоследствии.

Олуньева видела, что Наташа, сняв маску, не взглянула на своего кавалера, не выказала ни малейшей поспешности поскорее узнать, кто был он, очевидно, уже зная об этом раньше. Она послушно, просто, не спеша отстегнула маску и опустила ее на стол. В ответ на тост за государыню она только подняла свой бокал и сделала потом из него большой, медленный глоток.

И вдруг Олуньева почувствовала, что кто-то словно крепкой холодной рукой схватил ее за сердце. На мгновение ей даже показалось, что ее сердце остановилось и перестало биться. Руки ее похолодели, и она, не менявшаяся еще ни при каких обстоятельствах в лице, ощутила легкий холодок на щеках, какой бывает, когда вдруг вся кровь отольет от лица. Кавалер Наташи снял маску, и Олуньева узнала его. Это был сам князь Чарыков-Ордынский, неизвестно каким чудом попавший сюда.

Старухе Олуньевой в первую минуту понравилось это — подобные штуки были в ее духе, и, не будь тут она лицом заинтересованным, она на другой день заставила бы до упада смеяться государыню, рассказывая ей такую необычайную конъюнктуру. Но в настоящем случае дело выходило совсем иного рода.

Гордость и самолюбие старухи были уязвлены. Она сразу не могла понять, каким образом мог явиться этот пропойца-князь на бал, откуда у него взялись его костюм и смелость пренебрегать опалю и преследованием всемогущего герцога?

Сам герцог, когда был у нее, ясно дал понять, что согласен упрятать этого Чарыкова-Ордынского, который, по его словам, уже разыскивался по важному делу, и вдруг теперь князь не только на свободе, но даже решается явиться на бал и, как имеющий на то право, смело проводит вечер с ее племянницей.

Олуньева заметила, когда он еще в зале подошел к ней, что они не участвовали в танцах, гуляли вместе по комнатам и долго стояли в зале у окна, вплоть до тех пор, пока не позвали ужинать, и пошли рука об руку к ужину. Когда маски были сняты, вся их оживленность исчезла в тот же миг, и они остались стоять как в воду опущенные, не глядя друг на друга и не разговаривая. Она видела, что Наташа чувствует на себе ее взгляд и боится поднять глаза, чтобы встретиться с этим взглядом.

Однако, несмотря на то что все внутри у Олуньевой так и кипело, она по виду, кроме слегка побледневшего лица, казалась совершенно спокойною и выдерживала это спокойствие с необычайною стойкостью.

В глубине души она радовалась, что князь Чарыков полез, как она мысленно выражалась, на рожон и что сегодня уже наверное не уйти ему. Нужно было только найти удобную минуту, чтобы шепнуть герцогу о том, что Чарыков здесь и что надо немедленно принять меры, чтобы он не скрылся.

История, случившаяся при аресте князя, и внезапное его исчезновение из-под носа явившихся арестовывать его были ей неизвестны, и она думала, что просто до сих пор не могли найти Чарыкова и что стоит лишь указать на него теперь, чтобы он был немедленно схвачен. Но нарушить этикет и подойти к герцогу теперь же она не могла никоим образом и волей-неволей должна была стоять спокойно на месте до тех пор, пока государыня не встанет из-за стола вместе с герцогом и царской фамилией.

Наконец принесли последнее блюдо. Нарышкин подал государыне серебряный тазик с розовою водою, и она, вымыв руки, как умела, любезно улыбнулась ему, кивнула головой и встала со своего места; встав, она оглянулась на герцога и пошла, сопровождаемая низкими поклонами всех присутствовавших, вон из столовой.

Герцог, на которого оглянулась государыня, немедленно последовал за нею, а Олуньева, так же как Густав в начале вечера пробирался за оранжевым домино, погналась за ним, оттираемая кинувшейся вслед государыне толпою.

Только на лестнице ей удалось после долгих усилий пробраться к герцогу, и то потому, что он отошел несколько в сторону.

Лакей в нарышкинской ливрее подал ему в это время трость, и Олуньева, давно развившая в себе до тонкости наблюдательность, заметила и услышала, как этот лакей чуть внятно назвал герцогу имя князя Чарыкова-Ордынского и сказал, что он здесь.

Герцог слегка приподнял брови и проронил одно только слово:

— Взять!

Все, что нужно было Олуньевой, было сделано помимо нее. Она отпрянула назад, и, когда герцог, приняв от лакея трость, обернулся в ее сторону, она только глубоко, по придворному этикету, присела и склонила голову. Теперь она видела воочию, что герцог не нуждался ни в чьих указаниях и что глаза и уши были у него везде.

XXVIII

ГОНЧАЯ НА СЛЕДУ

Лакей, подававший трость герцогу и обменявшийся с ним несколькими ни для кого не заметными, кроме случайно подвернувшейся Олуньевой, словами, был переодетый Иволгин.

На его сообщение герцогу о том, что князь Борис здесь, только и мог последовать тот ответ, которого мог ждать Иволгин заранее. Но он и доложил герцогу о князе исключительно ради того, чтобы показать, что он не дремлет, а действует.

Он был спокоен, зная, что Ордынский выйдет от Нарышкина по главной лестнице и через парадные сени, потому что, ввиду высочайшего присутствия, на маскараде было сделано распоряжение о том, чтобы в другие выходы никого из гостей не впускать и не выпускать ни под каким предлогом.

Иволгин в своей ливрее остался стоять в спокойной и истовой позе лакея на площадке лестницы. Мимо него проходили, смеясь и разговаривая, гости толпою, как поток лавы,двигающейся по лестнице. Он, казалось, не глядел ни на кого, но вместе с тем с помощью давно изученных приемов сыщика видел всех, и ничье лицо не ускользнуло от его бдительного ока.

Прошла старуха Олуньева с племянницей, возле которой уже не было князя Бориса в его розовом домино.

Наконец показался и Ордынский. Он шел, высоко подняв голову, не только без маски, но даже скинув капюшон с головы и открыв свои длинные, густые, расчесанные на этот раз волосы. Он оглядывался кругом победителем и улыбался в усы, его глаза тоже смеялись.

Этот счастливо-победоносный вид особенно показался противен Иволгину, сейчас же заметившему его. Сыщик втянул голову в плечи и, как бы говоря: «Ну, стой же, голубчик!» — юркнул в толпу следом за князем Борисом.

Он видел, как Ордынский спустился с лестницы, накинул на плечи старомодный, потерявший фасон и цвет, плащ, прошел в сени и вышел на широкое крыльцо.

Иволгин следовал за ним без шапки и без верхнего платья. Кроме него еще несколько человек в ливрее сутились на крыльце. Он сам, не боясь быть узнанным, подсадил Чарыкова в карету и, крикнув кучеру: «Пошел!» — ловко, в мгновение ока вскарабкался на заднюю ось кареты. Он сделал это почти незаметно ни для кого благодаря тусклому освещению у крыльца (государыню провожали ездовые с фонарями); да если б кто-либо и заметил Иволгина, вскарабкавшегося на ось, ему было мало дела до этого. Ему важно было только не упустить на этот раз князя Бориса, который был теперь уже безусловно у него в руках.

Иволгин давно привык считать в своем деле главным себе помощником случай. И в настоящее время действительно выручал его случай.

Князь Чарыков, видимо, был такой человек, с которым справиться было нелегко, и только неосторожность с его стороны могла погубить его. Сегодня он, должно быть, не стерпел, как мышь на кусок сала в мышеловку, явился на бал ради обвенчанной с ним Олуньевой и погубил себя этим.

Иволгин, сидя на оси, подпрыгивал слегка на ухабах, но не замечал своего неудобного положения, потому что сердце прыгало у него от радости, и он, схватившись за одно слово, мысленно в сотый раз повторял себе: «Погубил, погубил... сам себя погубил!.. Ну, и чудесно!.. хорошо...»

Ночь, несмотря на то что стоял август месяц, была прекрасна.

Иволгин, хотя и был в одной ливрее, не ощущал ни малейшего холода. Он крепко держался, раздвинув руки и

уцепившись за ремни высоких стоячих рессор. Пальцы у него затекли и кисти рук онемели. Но ждать ему приходилось уже недолго. Сейчас они выедут на Невский проспект. Там непременно встретится ночной конный разъезд, и неудобное положение Иволгина кончится.

И действительно, как только карета повернула на Невский проспект и колеса ее покатались по утрамбованной мостовой, Иволгин увидал темные силуэты солдат, посылавшихся каждую ночь небольшими партиями по улицам Петербурга в разъезд. Они ехали шагом, не торопясь.

— Сто-о-ой! — вдруг неистово, на всю улицу, чуть ли не на весь город, крикнул Иволгин.

Солдаты дрогнули и пустили лошадей рысью по направлению к карете.

Кучер, недоумевая, откуда раздался этот крик, и думая, что крикнули солдаты, осадил лошадь. Карета стала.

Иволгин соскочил и, разминая ноги и потирая затекшие руки, кинул подъехавшим солдатам страшное «слово и дело».

Солдат, ехавший впереди, вероятно рейтар, соскочил с лошади и подошел к Иволгину. Тот молча показал ему на карету.

Рейтар ничуть не удивился. Для могущественного «слова и дела» не существовало ни карет, ни иных внешних знаков высокого положения. Пешие и конные солдаты, день и ночь сновавшие по Петербургу, должны были хватать всякого, как только раздавалось это «слово и дело», и отправлять, непременно вместе с крикнувшим доказчиком, в Тайную канцелярию.

Рейтар подошел к дверце кареты, шторы на стеклах которой были спущены изнутри, и смело, но все-таки почтительно, потому что не знал, кого найдет там, открыл дверцу.

Потом он заглянул в карету и обернулся к Иволгину, проговорив:

— Что же ты, милый человек, смеяться изволишь над нами, что ли?

— То есть как смеяться? — мог только выговорить Иволгин и в один прыжок очутился возле рейтара и сам заглянул в карету.

Но карета, так же, как комната, в которой заперся Чарыков во время своего ареста, была пуста.

В первую минуту Иволгина охватил чуть ли не суеверный страх перед тем, что случилось на его глазах. Он сам посадил Чарыкова в карету, сам сидел все время на оси,

и вдруг этот Чарыков, словно владея шапкой-невидимкой, вторично исчезает у него из-под самого носа.

Он глупо и растерянно смотрел то на солдат, то на карету, но рейтару, видимо, некогда и не нужно было входить в подробности происшествия и разбирать, как это все случилось. Он должен был только исполнить свою обязанность, а там уже в Тайной канцелярии будет расследовано все. Он посадил Иволгина в карету, и солдаты направили ее вместе с кучером и сидящим в ней Иволгиным в Тайную канцелярию.

XXIX

МУЖ

Было что-то раззадоривающее, что-то тревожно-заманчивое, лихое и вместе с тем тихо-грустное в том чувстве, с каким вернулась Наташа после маскарада домой.

По дороге, сидя в карете, они ни слова не сказали друг другу. Олуньева, закусив губу, упорно молчала, видя настроение племянницы, и знала — по себе знала, — что, если заговорит с ней теперь, она или сделает вид, что не слышит, или прямо скажет, что не хочет говорить, или — что хуже всего — ответит, что она, как замужняя женщина, свободна поступать, как ей хочется. Наташа прислонилась к углу кареты и с головою закуталась в плащ.

Когда они подъехали к дому, молодая княгиня в сенях простилась с теткой и направилась прямо на свою половину. Там она на ходу скинула плащ и прошла в спальню, где уже ждали ее горничные. Ее любимица Даша, через которую была устроена вся история с домино у Шантильи, сразу, как вошла только ее госпожа, увидела, что на маскараде с ней случилось что-то такое, после чего им, горничным, расспрашивать и смеяться не подобает. Она с серьезным, строгим лицом отдала знаками несколько приказаний остальным, и они принялись ловкими и привычными руками раздевать Наташу. В одну минуту, почти без малейшего усилия с ее стороны, домино было снято, спущены фижмы, ряд пышных юбок упал на пол широким кольцом, из которого Наташа машинально вышла; был распущен и снят корсет. Наташе накинули серый шелковый с розовыми ленточками халатик, и она, освобожденная от тяжелых орудий пытки, опустилась в кресло перед большим трюмо. Даша принялась разбирать ее сложную приче-

ску, а две другие горничные стали снимать с ее маленьких ножек атласные туфли и осторожно стягивать высокие шелковые чулки.

Наташа видела себя в трюмо всю и смотрела на сидящую в зеркале хорошенькую женщину в сером, гладко обрисовывавшем ее формы халатике, как на чужую. Она видела свое уставившееся на нее из зеркала лицо, свои девственные плечи и грудь, чистые белые ножки и невольно повела каким-то особенным, кошачьим движением головою к плечу, слегка двинув этим плечом.

Она думала о «нем», но этого «его» определенно не было в ее мыслях. Это был вообще кто-то неведомый, собирательный, с длинными вьющимися темными локонами, высоким умным лбом, характерным мужественным профилем и черными, слегка приподнятыми усами, под которыми улыбался красивый, добродушно-веселый рот. И вдруг Наташа слегка вздрогнула, поймав себя на том, что все эти черты были чертами только что виденного ею смелого князя Чарыкова-Ордынского.

Явиться на маскарад было действительно большою смелостью с его стороны. Она через слуг знала, что его преследуют, что он скрылся при аресте, и вдруг теперь, ради того только, чтобы увидеть ее, он явился на маскарад, не дорожа ни собою, ни своей жизнью.

Когда он подошел к ней в своем розовом домино под маской, она была очень далека в мыслях от того, что это может быть ее законный муж: ей и в голову не могло прийти, что это был действительно он. Она тогда была всецело занята тем, удастся ли задуманная ею с Бинной мистификация относительно Густава Бирона и поймается ли он на удочку. Его нетрудно было узнать по высокому росту и сложению и по тому, как он тревожно оглядывался кругом. Наташа видела, как он подошел к Бинне и стал танцевать с нею.

И вот в это самое время подошел к ней Ордынский в розовом домино.

В первую минуту она со страхом подумала: не Густав ли это Бирон, который каким-нибудь образом узнал цвет ее костюма и перехитрил ее? Но, взглянув еще раз на кавалера Бинны, она окончательно уверилась, что Бирон был в оранжевом, а пред нею стоял кто-то другой, узнать кого она не могла. Но он сразу, с первых же слов, открыл себя. Он сказал ей, что явился сюда не для маскарадной интриги, не для танцев, но ради того, чтобы решить свою дальнейшую судьбу.

Наташа, полагая, что это — все-таки кто-нибудь из ферлакуров, в искренность слов которых верить нельзя, в тон игровой шутке ответила:

— Решить свою судьбу?.. Если это решение вы представляете мне, то я, конечно, должна знать, кто вы такой?

Она ждала в ответ какого-нибудь маскарадно-болтливо-го объяснения, но ей ответили серьезно, твердым голосом:

— Я — тот, который обещал никогда не искать встречи с вами.

Наташа почувствовала, что вдруг вспыхнула под маской, пораженная неожиданностью и вместе с тем дерзостью этого человека. Неужели это был тот самый человек, с которым она недавно стояла у аналая? И она ответила:

— Если вы дали обещание никогда не встречаться со мною, то зачем же явились сюда и подошли ко мне?

Муж внимательно посмотрел ей в глаза, как бы желая прочесть по ним то, что выражало ее скрытое маскою лицо, и, убедившись в том, что по серьезности ее взгляда и ее лицо должно быть серьезно, ответил:

— Я подошел к вам не для того, чтобы встретиться, но для того, чтобы расстаться... и расстаться навсегда!.. Послушайте!.. Вот видите ли... С тех пор, как тогда в церкви... — Он запнулся и с трудом договорил: — Когда я был в церкви... так с этих пор я стал совершенно другим человеком... Прежде я ни о ком и ни о чем не думал, — теперь я думаю только о вас! Я знаю, что это — безумство... И не сердитесь на меня, потому что на безумцев не сердятся — их жалеют и лечат. Я знаю, что невозможного не сделаешь, что я, освободив вас от супружества Бирона, не смею и думать о том, чтобы связывать вас со своим именем, которое вы носите. Но жить, и прятаться, и знать в это время, что другие говорят с вами, слышат ваш голос, видят ваше лицо и любят вас, — у меня нет ни сил, ни возможности человеческой!

Они шли в это время в толпе.

— Мужчина не должен быть слаб, — ответила Наташа, — и всегда, для всего должен найти в себе достаточно силы.

— Я и найду ее! — подхватил Ордынский. — Будьте покойны! Как и каким способом я достигну этого, это — мое дело, но только вы будете совсем и окончательно свободны.

— Что же вы хотите сделать?

— Может быть, завтра вы услышите об этом, а может быть, и не услышите вовсе.

Для Наташи его намек был ясен.

— Да, я хочу отдаться Тайной канцелярии! — ответил ей князь, когда она спросила его об этом.

После этого его ответа Наташа долго шла молча рядом с ним.

Они вышли снова в большой зал. Она отвела мужа в сторону, к окну. Сердце ее очень сильно билось в это время.

— А знаете, — начала она, сама удивляясь ровности и спокойствию своего голоса, — я на вашем месте поступила бы совсем иначе... вы говорите, что не смеете думать, что для вас есть что-то недостижимое. Вздор! Нужно все сметь, стараться достигнуть того, чего желаешь. Вы несчастливы — завоюйте себе счастье, сделайте достойным его! Даром ничего не дается. И если правда, что в вашей жизни произошел перелом, что вы стали другим человеком, то этот другой человек может подняться в ваших глазах так же высоко, как упал прежний, каким вы были до этого перелома. Постарайтесь, если находите, что есть из-за чего постараться.

Ордынский сделал движение схватить ее за руку, но она отстранилась.

Тогда он более чем почтительно, почти благоговейно остановился и проговорил:

— Если б я только мог надеяться, что вы обратите внимание на мои старания, то я, кажется, сделал бы все, что могу!

— Про себя я ничего не скажу... Но, видите ли, нет на свете женщины, которая была бы равнодушна к энергии, проявленной ради нее мужчиной, в особенности если он, считая ее на недостижимой для себя высоте, вдруг сумеет подняться на эту высоту.

— Боже мой! — перебил Ордынский. — Я знал, что вы хороши, но теперь вижу, что вы и умны.

— Да почему вы знаете, с кем вы говорите теперь? — вдруг рассмеялась Наташа. — Может быть, я — вовсе не та, о которой вы думаете, а ее приятельница и просто болтаю с вами от нечего делать?

Но князь показал ей на цвет своего домино в доказательство того, что знал заранее цвет ее костюма.

— Мало ли тут в розовом? — проговорила она.

— Но кокарды нет ни у кого на левом плече. Я знал, что она будет пришита у вас. И... слушайте! Если когда-нибудь вы захотите проверить меня, каков я, задать, что ли, как царевна в сказке, задачу королевицу, чтобы принес

ей живой или мертвой воды или птицу Евстрафиль, тогда пошлите эту розовую кокарду к мадам Шантильи, хотя бы ради заказа сделать еще одну, точно такую же... Тогда, будьте уверены, вы тотчас же услышите обо мне... И я исполню все, всякий приказ ваш, и достану, пожалуй, и мертвую и живую воду.

В это время позвали ужинать, и они вместе с остальными гостями пошли в столовую. О том, что говорили они потом, Наташа помнила смутно, и смутен был так же в ее воспоминаниях, как видение бреда, ужин, во время которого велели снять им маски. Правда, тут она увидела лицо мужа и удивилась, как могла она запомнить с первого раза подробности этого лица так хорошо, что теперь, когда она видела его во второй раз, ни одна из этих подробностей не была для нее новостью.

И вот теперь, когда она, отдавшись в руки горничным, сидела перед зеркалом, князь Ордынский как живой стоял пред нею.

Покончив с ночным туалетом и отпустив горничных, Наташа, прежде чем лечь в постель, подошла к лежавшему на кресле домино, бережно отпорол кокарду с левого плеча и спрятала ее в свою девичью, никому не показываемую шкатулку, в которой хранились у нее самые заветные вещи.

XXX

ОХОТНИК И ЕГО СОБАКА

Кабинет Бирона, несмотря на поздний час ночи, был освещен, потому что, по обычаям герцога, он, как бы поздно ни возвращался домой, всегда приходил к себе в кабинет. Секретарь ждал его с только что полученными депешами, которые должен был распечатать сам герцог.

Бирон вошел своею быстрою, уверенною походкою и прямо направился к бюро, вынул из кармана обшитой сободем шубейки, на которую только что сменил свой мундир, ключи, открыл бюро и, достав откуда-то из глубины записную книжку, стал быстро делать в ней заметки карандашом.

Сколько раз секретарь видел его так вот сидящим, когда он ночью, не обращая на него внимания, входил и садился к бюро! Но никогда он не мог догадаться по каменно-неподвижному лицу герцога ни о том, что заносит он в свою

записную книжку, ни о том, в каком состоянии духа находится он.

Секретарь знал, например, что сегодня герцог провел вечер на балу у Нарышкина, но о том, что там происходило, был ли доволен Бирон своим вечером или, напротив, встревожен чем-нибудь, — догадаться по его выражению было немислимо. Лицо Бирона всегда казалось одинаково строго-холодно и внушало страх тем, кто готов был трепетать перед ним, а таковы были почти все окружавшие его, за очень редкими, почти известными наперечет исключениями. Но секретарь привык к этому лицу, к его всегда ровной строгости и холодности. Он знал, что с герцогом, если делать не лукавя и не мудрствуя свое дело, всегда все будет хорошо и он никогда не выдаст своего верного слуги.

Бирон положил карандаш, спрятал книжку и привычным оборотом головы обернулся в ту сторону, где на привычном месте стоял, ожидая этого поворота, секретарь. Тот наклонился и, сделав несколько шагов, подал герцогу нераспечатанные депеши.

Бирон стал вскрывать их. Он пробежал депешу от начала до конца, резко подчеркивал иные места толстым карандашом, делал пометки на полях и откладывал в сторону. Ночью он занимался только неотложными, важными бумагами; бумаги к подписи приносились ему утром, за иностранными депешами были поданы донесения из областей, потом вечерний рапорт полицеймейстера по Петербургу, рапорт Тайной канцелярии и список арестованных в течение дня.

Бирон проглядел этот список, остановился несколько дольше на конце его, просмотрел еще раз и, как бы удивляясь, что не нашел там того, что ожидал, повернулся к секретарю и отрывисто произнес:

— Иволгин?

— Здесь! — сказал секретарь и, поклонившись, поспешно вышел из комнаты в маленькую дверь.

Через несколько мгновений в эту дверь появился Иволгин, но уже не в ливрее нарышкинского лакея, которую он успел снять в Тайной канцелярии.

Бирон оглянулся на него и остановил на нем долгий, пристальный взгляд. Уже по тому, что имени князя Чарыкова-Ордынского не значилось в списке арестованных, и в особенности по тому виду побитой собаки, с которым вошел Иволгин и близко-близко стал у самой стены, он знал, что и сегодня поимка князя оказалась неудачною. Эта буйная голова Ордынский начал уже интересовать герцога.

— Опять не сумели взять? — спросил он с удивительно язвической насмешкой в голосе, в которой слышалось бесконечное презрение к Иволгину.

— Ваша светлость! — заговорил тот. — Ничего невозможно поделаться! Сколько лет служу — на этакого черта не налетал... Это — оборотень какой-то... Просто ума нельзя приложить, куда он проваливается!

И Иволгин подробно рассказал, как он сам посадил Ордынского в карету, как вскочил на ось, как ехал все время вместе с каретой, которая ни разу не останавливалась и из которой Ордынский не мог выскочить на ходу, потому что он, Иволгин, сейчас же заметил бы это, и как, наконец, никого не оказалось в карете, когда подъехал конный разъезд. Иволгин был, видимо, подавлен происшедшим, и в его рассказе так и сквозили признаки суеверного страха, потому что естественным путем он не мог объяснить себе случившееся.

Бирон улыбнулся, как обыкновенно улыбался, — одними только губами и, тряхнув слегка головою, произнес:

— Старая штука, очень старая штука... Нужно было бы знать это, если бы ты был хороший сыщик. В то время когда он сел в карету, а ты садился на ось, он уже вышел из другой дверцы кареты, и она поехала вместе с тобою пустая.

Иволгин широко раскрыл глаза и рот, невольно удивляясь сметливости герцога и тому, что он, казалось, всегда все знал. По крайней мере, Иволгину ни разу еще не случалось наталкиваться на такую вещь, которую герцог не в состоянии был бы объяснить.

— Ну, а карета? — отрывисто спросил Бирон.

Иволгин стоял, вытаращив глаза, видимо, не понимая того, что ему говорили. Вид его был настолько жалок, он до того растерялся, что Бирон, терпеть не могущий людей, не способных всегда неизменно владеть собою, как сам он, дольше остановив свой взгляд на Иволгине, понял, что в настоящую минуту трудно было спрашивать с него что-нибудь.

— Карета, карета? — повторил он немножко с сердцем, как всегда, когда говорил по-русски, затрудняясь в словах и выражениях. — Эта карета, которую отвезли в Тайную канцелярию, откуда она была?

Иволгин понял, что Бирон спрашивал, что это была за карета, в которой приехал Чарыков-Ордынский к Нарышкину, и откуда взялся у него такой экипаж.

— Карета, ваша светлость... — начал он совсем уже упавшим, чуть слышным голосом, — эта карета была брата вашей светлости.

— Что-о?! — перебил Бирон, всем корпусом повернувшись к Иволгину. — Моего брата?.. Как моего брата?

— Так точно, господина генерал-аншефа, то есть, собственно, не их личная, но взятая для них по найму... Господин генерал-аншеф, брат вашей светлости, желал приехать на маскарад так, чтобы быть совсем неизвестным, и потому приказал, чтобы ему наняли карету, которая стала бы к назначенному часу на Царицыном лугу, у бассейна, что недалеко от дома господина генерал-аншефа, а потом они должны были подойти к карете сами, сказав кучеру: «Черный ворон несет зеленую ветку», и сесть в карету... Тогда кучер должен был везти прямо к господину Нарышкину. А кого он повезет, как и что — этого он знать не знал и расспрашивать ему было запрещено. Выехал он, как ему было приказано; подошел к нему человек в плаще, сказал: «Черный ворон несет зеленую ветку» — и сел в карету. Кучер повез, посадил седока у дома господина Нарышкина, провел вечер в харчевне, а потом, при разъезде, стал в ряды подававшихся экипажей, и, когда подал к подъезду, к нему подошел седок, которого он привез, сел в карету, он и поехал назад, на то место, откуда взял седока... Однако седок оказался этим самым Ордынским, который вот уже второй раз между рук ужом ускользает. Так объяснил кучер при допросе.

В том, что рассказывал Иволгин, не было ничего невероятного. Это вполне соответствовало романтическим наклонностям Густава Бирона. Лозунг, данный им для кареты, являлся вполне правдоподобным, потому что черный ворон и зеленая ветвь были эмблемами родового герба Биронов.

Герцог пожал только плечами, а затем спросил:

— Откуда же мог этот князь знать распоряжения генерал-аншефа?

— Это доподлинно неизвестно, ваша светлость.

— Черт знает что! — проворчал Бирон. — Ничего не умеют делать!.. Даже в маскарад съездить как следует.

— Прикажите, ваша светлость, — заговорил уже по-немногу пришедший в себя Иволгин, — перебрать людей господина генерал-аншефа?.. Вероятно, из них кто-нибудь...

Бирон, вдруг покраснев, поднялся во весь рост со своего места и крикнул:

— Перебрать людей?! Вечно одна и та же песня!.. Перебрать людей, когда сами ничего не умеют делать!.. Черт знает что! Перебрать людей — легко, а самому иметь инициативу нельзя? Проследить нельзя?

Бирон, задыхаясь, схватился рукою за ворот и горло, что служило обыкновенно у него признаком высшей степени волнения.

Иволгин знал, что, пока герцог сердится и говорит по-русски, — это гадко, очень гадко; но когда он, сердясь, переходил на немецкий язык, это было ужасно для тех, на кого он сердился.

— Ваша светлость, — весь согнувшись, силился выговорить он, — не губите!.. Столько лет служу... всегда в конце концов дело устраивал... И теперь, ваша светлость, устрою... все устрою... Дайте только срок — и все будет сделано!..

Эти слова подействовали на Бирона.

— Ну, хорошо! — сказал он. — Два месяца срока... довольно, кажется?... Но чтобы не позже как через два месяца князь Чарыков-Ордынский был схвачен!

Иволгин поклялся, что это приказание во что бы то ни стало будет исполнено.

XXXI

БАРИН И СЛУГА

Князь Борис еще в детстве слышал от матери сказку про то, как некая фея-волшебница снарядила бедную девушку в гости, превратив ее рубища в бальный наряд, крыс — в лошадей, а кочан капусты — в роскошную золотую карету.

Для Чарыкова такой феей явился Данилов. Он достал для него прекрасное розовое домино и научил, как воспользоваться каретой Густава Бирона, потому что знал обыкновение барона ездить по известному лозунгу на маскарады в наемной карете, которая ждала его у бассейна на Царицыном лугу. И все удалось как нельзя лучше, и все было отлично для князя Бориса в этот памятный ему вечер маскарада у Нарышкина.

Но, вернувшись к себе домой, в темный тайник, Ордынский чувствовал, что его сердце сжимается именно потому, что все вышло так хорошо. Он поехал на маскарад с твердою уверенностью, что это будет последний

день его свободы и что он завтра откроет себя Тайной канцелярии. Обсудив подробно свое положение, он вдруг решил, что счастьем, о котором он мог мечтать, никогда не бывать, потому что оно — слишком великое, неземное счастье, что такому, как он, человеку не может быть дано оно, и решил разом покончить и с мечтами, и со всей неопределенностью своего положения. И вдруг ему пришлось вернуться домой с совершенно неожиданным, совершенно изменившим его решение разговором Наташи в мыслях, давшим ему такой подъем, какого он не мог ожидать ни в каком случае.

Но особенно тронул его Кузьма, который бросился ему навстречу с такой искренне-несдержанной, детски-наивной радостью, что видно было сейчас же, как всей душой беспокоился он в ожидании князя Бориса.

— Ну, ваше сиятельство, — заговорил он, — уж я думал, вы и не вернетесь!.. Мало ли что случиться могло!.. Того гляди, думаю, узнают, схватят...

— И то чуть было не схватили, — сказал Ордынский, снимая плащ и домино.

Источник и способ, каким образом Данилов достал это домино, были ему известны, и он со счастливой улыбкой, которая, словно по забывчивости, так и осталась у него на лице, кивнул Кузьме на свой маскарадный наряд и проговорил:

— Что ж, завтра понесешь, что ли?

Кузьма понял, что князь потому этим намеком напоминает ему о его Груне, что самому ему весело и что сам он счастлив и хочет, чтобы все были счастливы возле него.

— Теперь уже поздно, — в свою очередь усмехнулся Данилов. — Нужно до завтра оставить.

— Что же, опять трубочистом нарядишься?

— Нет, что ж трубочистом... Это совсем несподручно, — тихо ответил Данилов и потупился, покраснев. — Ну а вы, ваше сиятельство, видели-с?

Чарыков улыбнулся еще приветливей и ласковей, совсем светлыми глазами глянул на Данилова, и тот без слов понял его.

Они уже давно устроились в своем тайнике очень порядочно, перенесся сюда ночью из дома по подземному ходу все, что можно и нужно, так что князь Борис спал, как следует, на кровати с тюфяком и подушками, которые Кузьма подправил перьями потребленных им с барином в пищу птиц. И, только ложась на эту кровать, Чарыков обратился к своему слуге:

— Эх, Кузьма, будет на нашей улице праздник или нет?

— Будет! — твердо ответил Кузьма.

— Ну, брат, тогда я у тебя на свадьбе посаженным отцом буду!

Кузьма весело осклабился, хотел ответить что-то, но махнул рукою и проговорил:

— Эх, ваше сиятельство, лишь бы быть здоровым!

Ордынский долго-долго не мог заснуть в эту ночь, и все время виделся ему образ Наташи. Он так ясно, так определенно помнил каждое слово их разговора, и так сильно билось его сердце, когда он повторял себе то, что она говорила о его возвышении, что ему казалось, что действительно Кузьма был прав и что придет на их улицу праздник. Но как, когда, каким образом и что он должен сделать для этого — на это он ответа не находил; и вместо этого ответа перед ним стояла глубокая, непроницаемая и неприглядная тень холодной петербургской ночи. Он чувствовал себя сильным, хотел действовать, но куда приложить свои силы и что делать, не знал.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

I

ПРИЯТЕЛЬ

Несмотря на сентябрь месяц, бабье лето держалось не только теплыми, но даже жаркими днями. Воздух был тих, и осеннее солнце в полдень припекало по-летнему.

Сезон, открывшийся маскарадом у Нарышкина, был начат немножко преждевременно, и эти теплые, хорошие дни, как бы назло, подчеркивали эту преждевременность и свидетельствовали, что рано было, запираясь в комнатах, предаваться удовольствиям зимним, когда можно было еще погулять на вольном воздухе.

Было, как назло, ясное солнечное утро, когда Бирон вернулся к себе от государыни.

Он застал ее у открытого окна за одним из занятий, придуманных ею себе по капризу от скуки, гнет которой постоянно чувствовала на себе: она сидела с арбалетом в руках, которым владела в совершенстве, и почти без промаха стреляла в пролетающих птиц.

Бирон видел, что Анна Иоанновна скучает, но у него было столько дел, столько спутанных тонких нитей держал он в своих руках и столько каждый день являлось сложных вопросов, на которые он должен был давать немедленные ответы, что придумывать ему развлечения для государыни было положительно некогда. А между тем для его же собственной пользы эти развлечения требовались постоянно.

Он сидел теперь один у своего бюро в кабинете, отстранившись от этого бюро и откинувшись на спинку кресла, облокотившись на него и положив голову на руки, смотрел в окно на еще зеленый, только кое-где расцвеченный желто-красными осенними листьями Летний сад.

Он, погруженный в свои мысли, как-то одновременно думал и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. В прошлом мелькнула для него статная, ловкая фигура Волынского, большого мастера устраивать разные развлечения вроде ледяного дома. И герцог невольно улыбнулся тому,

что и это мастерство не спасло сумасбродно-горячую голову Волынского от плахи. За настоящее ему нечего было беспокоиться, а впереди его ждало, может быть, еще более светлое будущее. Бирон привык верить в свое счастье и был уверен, что успеет устроить так, чтобы предупредить все случайности не только для себя, но и для своих близких, державшихся исключительно им.

Среди этих близких герцог вспомнил о добродушном, совершенно не похожем на него самом брате Густаве. Мимолетное, как думал герцог, увлечение Густава молодой Олуньевой, выданной замуж по самодурству тетки, было только забавно и, вероятно, уже прошло. По крайней мере, Бирон помнил, что на маскараде у Нарышкина его брат провел целый вечер с Якобиной, или, как ее звали просто в обществе, Бинной Менгден, и что, по-видимому, эта хо-рошенькая Бинна произвела на Густава впечатление.

Герцог мимоходом следил за их позднейшими встречами и оставался доволен этими встречами. Он не имел ничего против того, чтобы молодая Менгден действительно понравилась брату. Бинна была сестрой Юлианы Менгден, близкой приятельницы, вернее, самого интимного друга принцессы Анны Леопольдовны, родной матери младенца Иоанна Антоновича, будущего, после смерти Анны Ивановны, императора всероссийского. Свадьба Бинны с Густавом могла только сблизить и упрочить взаимные отношения Анны Леопольдовны и герцога.

Таким образом, эта свадьба являлась делом, которое могло быть выгодно для Бирона, и, если бы оно явилось приятным для его брата, он отнесся бы к нему совершенно иначе, чем к несуразной выдумке о сватовстве к Олуньевой.

И, думая об этом, герцог пришел снова в свое обычное ровное и самодовольное состояние духа, так что вошедший в это время лакей заставил его поморщиться из боязни, что вдруг это ровное состояние будет нарушено.

— Фельдмаршал Миних просит видеть вашу светлость, — доложил лакей.

Любезный, талантливый и мягкий в обращении старик Миних был одним из тех немногих людей, которые были приятны Бирону. Герцог не то чтобы доверял ему, потому что не доверял никому при дворе, но чувствовал, что Миниху невыгодно идти против него и что сам Миних понимает это и потому остается для него другом, и эта дружба тем крепче, что в основании ее лежит именно расчет.

Как бы то ни было, появление и разговор Миниха не только не могли расстроить герцога, но, напротив, вполне соответствовали его благодушному настроению. Он велел просить к себе фельдмаршала и встретил его с дружелюбно протянутыми обеими руками.

Миних, высокий, несмотря на свои значительно перевалившие за пятьдесят годы, стройный и красивый человек, вошел почтительно, но вовсе не подобоострастно, с тою особенною ловко-изящною манерою, какая бывает у знающих себе цену и привыкших к власти и значению людей по отношению к высшим. Его голубые глаза и красивый рот весело улыбались.

Он заговорил с герцогом на родном им обоим немецком языке, как хороший, добрый приятель с приятелем, очень симпатичным ему.

— Дни-то, дни какие стоят! — сказал он между прочим, взглянув в окно. — Я думаю, теперь в комнатах просто грешно сидеть: такие дни и летом в Петербурге бывают редко!

Несмотря на то что они заговорили о таком мало-значительном предмете, как погода, герцогу все-таки показался приятным его разговор благодаря, главным образом, той уверенности и ясности, с которыми вел его Миних.

— Да, так что же, — согласился герцог, — если не сидеть дома, то нужно устроить что-нибудь.

Он почти был уверен, что Миних, редко делавший что-нибудь даром, и на этот раз приехал к нему ввиду какой-либо особой мысли и с целью заговорил о погоде, вероятно, придумав что-нибудь, что может доставить удовольствие двору и государыне.

— Я вот что думаю, — ответил Миних, — не устроить ли какую-нибудь карусель?.. Конные ристания всегда очень веселы.

— Ну, так и есть! — с удовольствием улыбнулся герцог. — Я так и знал, что вы найдете что-нибудь.

Бирон сам очень любил лошадей и приохотил к ним императрицу. Идея о карусели была очень счастлива и кстати. Это, несомненно, развлечет государыню.

— Какую же вы придумали карусель? — спросил Бирон.

Миних стал так же добросовестно и серьезно, как план сражения перед началом битвы, объяснять свое предположение и рассказывать о нем. Бирон остался всем очень доволен...

Когда уже Миних, переговорив обо всем, прощался с ним, он вдруг, точно вспомнив, остановил его за руку и так, будто между прочим, проговорил:

— Ведь вы, конечно, возьмете на себя главное руководство и устройство карусели?

Миних выразил на это свое согласие.

— Так, пожалуйста, — добавил скороговоркою Бирон, — не забудьте моего брата.. Да дайте ему в дамы хоть Бинну Менгден... Ну а остальных вы сумеете распределить!

Миних наклонил голову и рассмеялся так, что можно было действительно с уверенностью сказать, что он безошибочно сумеет распределить остальных.

II

ИОГАНН МИНИХ

Миних действительно распределил. Затеянная им карусель, к которой государыня отнеслась с большим удовольствием, должна была состоять из трех кадрилей: римской, греческой и индийской. Мужчины должны были быть на конях, в соответствующих названиям кадрилей одеждах, а женщины — на золоченых колесницах, тоже костюмированные.

Первою кадрилию командовал старший сын Бирона, наследный герцог Курляндский, и его дамою была царевна Елисавета Петровна, дочь Петра Великого. Во главе второй кадрили был назначен брат герцога Густав Бирон с Бинною Менгден. Индийскою же кадрилию руководил сын распорядителя карусели, Иоганн Миних.

Не было ничего удивительного в том, что отец назначил именно его руководителем третьей кадрили, и никто не мог упрекнуть за это фельдмаршала, который хлопотал с утра до вечера, стараясь устроить веселье, имевшее важное значение не только потому, что доставляло развлечение всему обществу, но главным образом потому, что могло благотворно повлиять на состояние духа государыни. Поэтому он был в полном праве извлечь для себя из этого дела выгоды хотя бы тем, что выдвигал своего сына.

Дамою в паре с Иоганном Минихом должна была явиться третья сестра Юлианы Менгден, Доротея. Старик Миних давно замечал, что его сын серьезно занят хорошенькой Доротеей, и ничего не имел против этого в силу тех же

причин, по которым сам герцог не прочь был женить своего брата на Бинне Менгден.

Кадрили собирались в шатрах, раскинутых в прилегающих к Царицыну лугу улицах: римская и греческая — у Летнего дворца, индийская — на Миллионной. На Царицыном лугу были выстроены амфитеатром места для зрителей с большой, разукрашенной коврами и дорогими тканями ложей для государыни и царской фамилии.

В назначенный для карусели день погода, как по заказу, стояла прекрасная, так что все удивлялись счастью Миниха, которому, по-видимому, благоприятствовало все, «даже само небо». В самом деле, выходило так, что, за что бы он ни взялся — будь это военный поход или устройство увеселительной карусели, — все удавалось ему как нельзя лучше.

Места для зрителей, допускавшихся с большим разбором и только по личному приглашению самого фельдмаршала, задолго до начала ристаний буквально переполнились приглашенными. Весь Петербург последние дни только и говорил, что о миниховской затее, и зрелище привлекло такую массу любопытных, что не только вокруг арены, но даже и шатров, в которых собирались участвующие, стояли толпы народа.

Карусель должна была начаться по сигналам, данным пушечными выстрелами с адмиралтейского вала. По первому выстрелу участвовавшие должны были готовиться, по второму — садиться на коней и по третьему — выезжать на арену.

Раздался первый удар пушки. Разноцветные шатры у Летнего дворца и на Миллионной вдруг оживились. Полы их распахнулись, и появились, словно феи из цветов, одна другой лучше наряженные дамы.

Мужчины засуетились, отыскивая свои пары, и, весело переговариваясь и пересмеиваясь, довольные своими блестящими дорогими костюмами, которые, видимо, были не совсем привычны для них, хотя вовсе не отличались строгой исторической верностью. На «римлянах» были вместо того какие-то фантастические кафтаны, только попросторнее обыкновенных, и высокие сапоги со шпорами, а на их дамах — рейтарские робы с лифами и рукавами. И только блестящие каски с закрученными, разноцветными страусовыми перьями напоминали что-то римское. Костюмы индийской кадрили, благодаря своей фантастичности, строго говоря, были очень красивы, но ни на что не похожи, а потому до некоторой степени могли сойти за индийские,

тем более что никто из публики не знал хорошенько, какие носят костюмы в Индии.

На молодом Минихе были белая чалма с эгреткой из белого конского волоса, пристегнутой бриллиантовой брошью, шелковые шаровары, широкий пояс, сделанный из шали, с заткнутыми за ним турецкими, привезенными его отцом из похода, пистолетами и кривыми кинжалами с драгоценными камнями, блеск которых сиял на солнце.

Несмотря на то что в этом одеянии молодой миловидный немец Миних был похож скорее на турка, он воображал себя истым индийцем. Он чувствовал, что его богатый костюм очень идет ему, и его безбородое (совершенно уже вразрез всяким магометанским обычаям) красивое лицо оригинально оттенялось белою, как снег, широкою чалмою.

Он задолго до первого сигнала вышел из шатра, чувствуя на себе взгляды любопытной толпы, собравшейся тут, и ходил, позвякивая своим оружием, в ожидании, когда подведут ему лошадь.

Он был чрезвычайно счастлив в это утро. Его любовь к Доротее была тихая, верная любовь. Никем он не увлекался до нее и знал, что никем не увлечется после. Он был уверен также в чувстве к нему со стороны молодой Менгден. Они мечтательно любили друг друга, и ничто не препятствовало их счастью. Партия была солидная, прекрасная и, по-видимому, прочная. Вообще, если были в жизни Миниха, протекавшей под крылышком у его умного и деятельного отца, какие-нибудь неприятности, то только мелочи. Но именно потому, что ничего крупного с ним никогда не случалось, на него эти мелочи влияли очень сильно.

Однако сегодня все шло прекрасно. Доротея в своем белом, затканном золотом костюме была прелестна, и Иоганн Миних любил ее более, чем когда-нибудь.

Как только раздался сигнал, появилась его лошадь, разукрашенная перьями, оседланная и покрытая длинным чепраком с бахромою и кистями, вензелями и узорами. Ее вели на развязках два конюха, и она, пригибая дугой голову и перебирая ногами, шла играя, точно чувствуя красоту своего убранства и гордясь ею.

По толпе при появлении лошади пробежал одобрительный говор.

— Ишь, ишь ты, так и танцует! Это что ж у ней — холка торчком стоит?

— Дура... холка... Это — перо птицы такой... так нарочно пристроено.

— Птицы?

— Гляди, гляди, садится...

— Эх, брат-турка, смотри, конь-то шею тебе свернет! Ты бы потпрукал.

Иоганн Миних в своем турецком костюме действительно находился в это время в некотором затруднении. Было очень красиво, когда лошадь топталась, перебирая ногами, когда ее подводили, но, чтобы сесть, нужно было, чтобы она успокоилась. Однако как ни держали ее, ни цыкали и ни старались конюхи, она продолжала топтаться на месте, сильно взмахивая правой передней ногой.

Миних, уже вложивший было ногу в стремя, велел привести ее. Лошадь начала прихрамывать. Миних растерянно оглянулся. Сейчас должен раздаться второй сигнал, появится его милая, в особенности прекрасная сегодня, как день, Доротея, а ему нельзя сесть на лошадь. Он не только может опоздать и задержать этим всю индийскую кадрили, распорядителем которой состоит, и подвести этим отца, но, главное, Доротея увидит его в смешном виде. Это может повлиять на ее уважение к нему. Молодой же Миних не признавал любви без уважения.

Он сделал новую попытку вскочить на лошадь, но эта попытка снова не удалась.

— Эх, милый, — опять послышалось в толпе, — ты бы с хвоста попробовал сесть, авось, на твое счастье, лучше будет!

— Чего болтаешь? — вдруг остановил говорившего один из солдат и объяснил, что в костюме турка был сын самого фельдмаршала Миниха.

Человек, давший Миниху совет попытать счастья сесть с хвоста, в ту же минуту скрылся.

III

ВОЛОСОК

После маскарадного бала у Нарышкина князь Чарыков-Ордынский заперся в своем тайнике. Он стал теперь с утра до ночи читать старые, перенесенные им из дома в тайник книги и никуда не выходил. Известия из внешнего мира получал он исключительно благодаря Данилову, который за неграмотностью не довольствовался книгами и неудержимо стремился каждый вечер к забору портнихи-француженки — месту своих свиданий с Грунею.

В мастерской французенки-портнихи знали все, что делалось в Петербурге, в особенности в высшем его обществе, и Данилов аккуратно и подробно передавал князю Борису Грунины рассказы.

Из этих рассказов князь Чарыков, между прочим, узнал, что готовится большая карусель, для которой шили костюмы у *madame Шантильи*. Для княгини Натальи Дмитриевны Ордынской тоже был заказан костюм — греческий, потому что она участвовала во второй кадрили.

Не было ничего странного в том, что молодую и хорошенькую Наташу выбрали в число «прекрасных особ дамского пола», долженствовавших украсить дивный цветник красавиц, как выражались тогда; ведь она не только была молода и хороша собою, но с детства прекрасно ездила верхом и вообще была способна к такого рода упражнениям, какие требовались для карусели. Но то обстоятельство, что она должна была участвовать во второй греческой кадрили, которою командовал Густав Бирон, для князя Ордынского имело совершенно особое значение. Неужели Наташа, «его жена», та самая, которая на маскараде зажгла огонек, согревший в нем надежды, о которых он и мечтать не смел прежде, теперь будет дамою Густава Бирона во время карусели?

Все кавалеры карусели были наперечет, и имена их значились по крайней мере в десяти списках; значит, попасть в их число князю Чарыкову, как попал он в число гостей у Нарышкина, не было никакой возможности. Сознавая это, он и не собирался лично попытаться пробраться на карусель. Он хотел только узнать — будет или не будет Наташа вместе с Густавом. Самому ему показаться в толпе было немислимо, и он послал Кузьму Данилова, однако тот, не добравшись до греческой кадрили, застрял в толпе у шатра Иоганна Миниха.

Стоя тут, Данилов вместе с другими видел, как одетый туркою Миних не мог сесть на непослушную, перебиравшую ногами разукрашенную лошадь. По тому, как она махала правою переднею ногою, он, кажется, понял, в чем было дело. Он выдвинулся из толпы, смело подошел к лошади и обратился к Миниху:

— Ваше благородие, позвольте правую ногу осмотреть?

Миних, растерявшийся, взволнованный происшествием и сильно озабоченный тем, что не поспеет вовремя ко второму сигналу, не сразу понял то, что говорил ему Данилов.

— А? Что? — начал он спрашивать. — Что ему нужно?

Конюхи засуетились, стали было отгонять Данилова, но толпа сейчас же приняла в нем участие, и слышались голоса:

— Чего ж гнать-то его? Ты, милый человек, погоди!.. Он, может, и знахарь какой... Вишь, правую ногу хочет посмотреть, ну ты ему и позволь, может, дело сделает.

Старший конюх выказал нерешительность.

— Ваше благородие, — обратился он к Миниху, — он у коня правую ногу осмотреть хочет.

Миних оглядел еще раз лошадь, продолжавшую вертеться и прихрамывать, оглянулся кругом, словно желая удостовериться, не раздастся ли уже выстрел второго сигнала, когда, к несказанному стыду его, должна будет появиться из шатра Доротея, и, видя помощь только со стороны этого совершенно не известного ему, выдвинувшегося из толпы человека, махнул рукою и проговорил:

— Пусть посмотрит.

Кузьма Данилов велел конюхам взять лошадь под уздцы, ловко подскочил к ней, в удобный момент захватил ее правую ногу и, быстро проведя несколько раз рукою по шерсти и словно оборвав что-то, быстро выпустил ногу лошади и торжественно поднял руку перед Минихом, объясняя:

— Волосок, ваше благородие. Это-с так солдаты друг другу делают, когда подвести хотят кого перед смотром: перевяжут ногу у лошади волосом — она заволнуется и захроает... Это — хитрость обстоятельная, только нужно знать ее... — И он действительно показал Миниху снятый им с ноги лошади волос и добавил: — Теперь, ваше благородие, можете смело садиться. Коли лошадь смиренная — по-прежнему как теленок будет.

И в самом деле, лошадь послушно позволила подвести себя к Миниху и стояла как вкопанная, когда тот садился на нее.

Миниху не было времени раздумывать о том, кому и какая цель была умышленно стараться сделать ему неприятность. Он был слишком доволен тем, что эта неприятность миновала вовремя. Однако, сев на лошадь, он достал из кармана рублевик и протянул его Данилову.

Но тот, отстранив руку, вытянулся в струнку и ясно и отчетливо произнес:

— Если желаете наградить, ваше благородие, так на деньгах спасибо вам: мне не деньги нужны!.. А если будет милость ваша позволить к себе прийти, так вот это великой наградой почту.

Миних удивленно посмотрел на Кузьму, хотел что-то спросить, но в это время раздался гулкий, раскатистый выстрел пушки, служивший вторым сигналом, и Миних успел только сказать Данилову: «Ну, хорошо, приходи завтра!» — и галопом поскакал к месту, где собирались всадники.

«Вот поистине судьба моя была на волоске!» — мелькнуло у него, он стал придумывать на эту тему немецкий каламбур, чтобы сказать Доротее, когда будет рассказывать ей эту историю.

IV

ПОКРОВИТЕЛЬ

На другой день после карусели, которая прошла более чем блистательно и которою государыня осталась так довольна, что сразу изменилось к лучшему ее расположение духа, двор вздохнул легче и ожил.

Виновник всего этого, фельдмаршал Миних, сидел в своем кабинете, подписывая последние счета расходов по карусели и просматривая беспрестанно приносимые ему с разных концов Петербурга записки и записочки с поздравлениями и с выражениями сочувствия по поводу его столь блестяще удавшейся затеи.

Самолюбие фельдмаршала было удовлетворено вполне, и, как ни странно было это, испытываемое им чувство этого удовлетворенного самолюбия казалось сильнее и приятнее довольства, испытанного им после какого-нибудь удачного военного действия. Здесь он имел дело с мелочным миром тщеславия, и этот мир, всецело захватив его, затрагивал в его душе такие уголки, которые были нечувствительны при суровой и серьезной работе на поле военных действий.

Фельдмаршал задумался с застывшею у него на губах блаженною улыбкою и даже забылся, как вдруг скрип растворяющейся двери пробудил его от этого забытья.

Миних поднял голову, думая, что это — еще какая-нибудь записка или послание, но в комнату вошел его сын Иоганн, отличившийся своею ездою вчера на карусели и заслуживший целый ряд похвал, выслушанных в особенности отцом с большим удовольствием.

— Ну, что? Все превосходно? — спросил фельдмаршал у сына, здороваясь с ним. — Отдохнул после вчерашнего?

Иоганн ответил, что нисколько не устал и что вчера все было так хорошо, что он готов начать хоть сегодня же опять все это снова.

— Ну-ну-ну... довольно! — остановил старик Миних. — Тебе хорошо было гарцевать и красоваться, но как-ково было все это устроить и наладить? Ты подумай, каких хлопот мне все это стоило!

Иоганн понимал, что отец говорил это для того лишь, чтобы услышать еще раз похвалы своей распорядительности, и стал было говорить в этом духе, но его слова и фразы выходили как-то не особенно гладкими, как у чело-века, который хочет говорить одно, в то время как мысля-ми он занят совершенно другим.

— Иоганн, тебе, видимо, нужно что-то сказать мне? — снова перебил его старик Миних, взглядывая на него через очки.

Иоганн опустил глаза и в некотором замешательстве оперся на письменный стол отца обеими руками.

— Видишь ли, батюшка, — заговорил он, и это «ба-тюшка» на немецком его языке — они говорили по-немец-ки — вышло как-то особенно ласково и сердечно, — вот видишь ли, в чем дело...

— Ну? — спросил старик Миних.

— Вчера, когда мне перед вторым сигналом вывели лошадь, она стала топтаться на месте и вообще вела себя так, что я положительно не мог сесть на нее... Ты пойми мое положение!.. Если бы в эту минуту раздался второй сигнал и я опоздал сесть на лошадь к тому времени, когда Доротея была бы совсем готова, — ведь это был бы такой стыд, что я не знал бы, что мне делать! Ведь Доротея была вчера так прекрасна, как никогда!

Он подождал немножко, ожидая со стороны отца под-тверждения этому. Тот улыбнулся, кивнул головой и про-говорил:

— Да, она — очень милая и почтенная девушка!

— Прекрасная! Прелестная! — подхватил Иоганн. — Удивительная девушка!.. И вдруг перед нею-то я явился бы в смешном виде... Ведь после этого можно было пистолетом лишить себя жизни!

Иоганн чувствовал, что это немножко чересчур, но все-таки сказал: «Пистолетом лишить себя жизни».

— Ну, зачем же так сильно? — протянул фельдмар-шал. — Пистолеты существуют не для себя, а для врагов. Что же было, однако, с твоей лошадью?

— У нее оказалась перевязанной волосом правая передняя нога. Кто это сделал и с какой целью — я еще не знаю и сделаю об этом строгое расследование на конюшне. Но факт тот, что на этом волоске висела вся моя судьба, как я сказал это вчера Доротее. И вот, когда я не знал, что мне делать с расхोдившейся лошадей, из толпы вышел человек, догадался, в чем дело, и снял с ноги моей лошади волос, который завязали злые люди для того, чтобы сделать мне неприятность. Согласись, батюшка, что он для меня поступил хорошо, и я должен быть ему очень благодарен. Теперь скажи, если этот человек чего-нибудь попросит у меня, должен ли я исполнить его просьбу?

Старик Миних не сразу, подумав, ответил, что, разумеется, должен.

— Ну, и вот этот человек, — торжественно заключил Иоганн, — теперь пришел ко мне и нуждается в том, чтобы мы защитили его.

— Ты говоришь, он здесь, на твоей половине?

— Да, на моей половине. Он, оказывается, несправедливо обвинен Тайною канцеляриею и просит, чтобы его дело было рассмотрено как следует, и тогда он уверен, что будет оправдан, потому что ни в чем не виноват.

— Тайною канцеляриею? — нахмурился фельдмаршал. — А кто такой этот человек?

— А он, видишь ли, был военный. Он служил в Измайловском полку.

— Под командою брата герцога? — все более хмурился старик.

— Да, но он же ни в чем не виноват! — перебил снова Иоганн. — Если верно, что он мне рассказывал... И потом, он такой симпатичный и мне оказал большую услугу.

— Что же, он и теперь в полку?

— В том-то и дело, что он принужден был бежать.

Фельдмаршал окончательно сдвинул брови, взял кусок синей золотообрезной бумаги и, обмакнув перо в чернила, быстро своим крупным, ясным почерком написал:

«Податель сего есть беглый солдат Измайловского полка, обвиняемый в преступлении, подведомственном Тайной канцелярии».

Поставив подпись, он сложил бумагу, запечатал письмо вырезанною на перстне печаткою и на адресе надписал:

«Господину сиятельному графу Андрею Ивановичу Ушакову в собственные руки от фельдмаршала Миниха».

— Возьми-ка эту записку, — сказал он сыну, — и пусть ее отнесет к графу Ушакову твой беглый солдат.

Иоганн хотел было возразить что-то, но отец остановил его, дотронувшись до его локтя, и, помахав рукою, показал на дверь в знак того, что его приказание должно быть исполнено немедленно.

V

ЗАПISКА МИНИХА

Кузьма Данилов был обрадован несказанно.

Попав вчера случайно в толпу и оказав услугу сыну фельдмаршала Миниха, он задумал воспользоваться этим счастливым случаем и выхлопотать себе и своему князю прощение. Он чувствовал в глубине души свою невиновность и потому надеялся, что при покровительстве сильного человека он может выбиться из пут Тайной канцелярии. Из всего, в чем обвинялся он, самым важным и серьезным был его побег из полка: но он знал, что такие побегии случались сплошь и рядом и опять-таки прощались сравнительно легко, если беглый имел сильного покровителя. Молодой Миних велел ему прийти к себе, и Данилов решил рассказать ему все без утайки, будучи уверен в его благородстве и в том, что если Миних не захочет принять в нем участие, то прямо откажет, но ни в каком случае выдавать не станет.

Получив от Иоганна Миниха записку фельдмаршала к графу Ушакову, Кузьма Данилов, уверенный, что в этой записке заключается его спасение, не медля ни минуты, понес ее по адресу. Не обмолвившись ни словом обо всем этом князю Ордынскому, он заранее радовался тому, с каким торжеством принесет князю неожиданное известие о том, что они прощены, и не сомневался теперь в этом прощении, потому что нес от фельдмаршала Миниха записку к самому начальнику Тайной канцелярии графу Ушакову.

С парадного крыльца его, разумеется, не пустили, и он пролез на графскую кухню, тыча прислуге Ушакова записку графа Миниха и говоря всем, что его дело очень важно и серьезно.

На кухне приняли его ласково. Один из старых лакеев выказал к нему большое участие, взял у него записку и обещал передать ее лично графу.

Кузьма доверил ему послание Миниха и присел в уголок на скамеечку, ожидая, что, может быть, сам граф по-

зовет его к себе. На кухне была большая суета. То и дело выходили и приходили люди графской дворни с разными приказаниями разных поручений. Иные из них являлись прямо из барских покоев.

И вдруг Данилов заметил резкую перемену к себе. Обласкавшие его сначала люди стали подозрительно поглядывать на него, обходить и не отвечать на его вопросы, когда он пытался заговаривать с ними. Он не знал, что им уже известно, что послано за караулом, чтобы задержать его.

— Что ж, как же теперь мое дело будет? — спросил он. — Граф призовет меня к себе? — И когда ему не ответили, он снова повторил: — Что ж, значит, можно мне будет увидеть графа?

Какой-то наглый гайдук из дворовых, фыркнув, пробормотал в ответ ему: «А вот погоди, завтра увидишь», — но тут же был остановлен другими и пристыжен.

Только тогда понял Кузьма Данилов, что все значило, когда пришли солдаты, закрутили ему за спину руки и велели идти, куда поведут его.

Графа Ушакова он увидел действительно только на следующий день. Его схватили и отвели прямо в каземат, устроенный при Тайной канцелярии. Каземат был сырой и холодный, а главное — совершенно темный, без малейшего признака не только окна, но даже маленькой щели наружу.

Данилова, связанного, втолкнули туда, и вместе с тьмою не то что страх охватил его, но ему стало жутко, именно жутко. Главное тут было то, что в первую минуту он не знал: один он был в этой темноте или тут еще кто-нибудь чужой, незнакомый.

Он чувствовал, что под ногами был земляной пол, покрытый сырой соломой, прислушался, выждал и все-таки не заметил ни признака чьего-либо присутствия. Он ощупью обошел кругом по стенке, чтобы хоть приблизительно сообразить, как велико было помещение, куда его заперли. Оно было таково, что в нем едва-едва оказывалось места одному человеку. Но почему-то это успокоительно действовало на Данилова. Он опустился наземь и сел, поджав под себя ноги.

Темнота, духота и, главное, сырой спертый воздух каземата действовали на него так сильно, что он скоро впал в какое-то забытье, словно свинцом задавившее в нем всякое сознание.

Очнулся Данилов от толчков в бок и, открыв глаза, с удивлением, не понимая, где он и что с ним, огляделся

кругом. Дверь его каземата была отворена, и в нее проникал слабый дневной свет.

Данилова растолкали два солдата, развязали ему руки и вывели в коридор. Только теперь Кузьма почувствовал болезненную усталость в руках и во всем теле, невольно потянулся и добродушно-доверчиво поглядел на солдат, как бы спрашивая их, что ему теперь следует делать.

Его провели в довольно чистую горницу, где за покрытым зеленым сукном столом сидел какой-то чиновник в форменном мундире, а рядом стоял человек, лицо которого показалось знакомо Данилову. Его начали спрашивать об имени, отчестве и занятиях.

VI

ДОПРОС

Человек, показавшийся Данилову знакомым, был тот самый деятельный сыщик Тайной канцелярии Иволгин, благодаря которому и завязалось дело Данилова.

Иволгин сейчас же узнал его. Он как-то особенно радостно, бойко оглядел своими маленькими глазками Данилова и, нагнувшись к чиновнику, стал быстро шепотом говорить ему что-то. Чиновник поднял брови, записал со слов Кузьмы его имя и звание и, заткнув перо за ухо, стал снова слушать Иволгина, изредка кивая головою и произнося отрывисто:

— Ого, вот как! Да, дело серьезное!

Вдруг дверь распахнулась, и вбежавший запыхавшийся служитель быстро подошел близко к столу и сказал одно только слово:

— Приехали!

Иволгин вытянулся в струнку, чиновник заторопился, стал смахивать с кафтана просыпанный табак, принялся торопливо собирать бумаги, приосанился и, кивнув в сторону Данилова, спешными шагами, с бумагами под мышкой, вышел из комнаты.

Явились солдаты и отвели Данилова снова в каземат. На этот раз рук ему не связывали, но дверь все-таки закрыли накрепко и оставили его в темноте. Для Данилова было и то уже большим удовольствием, что он мог свободно двигаться в уделенном ему теперь маленьком пространстве. Видимо, и начальству было не до него теперь, и на этом он успокоился.

Кузьма как-то инстинктивно отстранял от себя желание догадаться, где, собственно, находился он теперь. Он не знал наверное: была ли это Тайная канцелярия или какое-нибудь другое учреждение, где пропишут ему все, что полагается там по закону за его провинности. Ему не хотелось думать об этом, и мысли в голове его как-то бежали совсем бессвязно, непоследовательно, и он не мог дать себе отчет в ходе их. Только впоследствии он все вспомнил это ясно.

Он читал молитву, когда дверь снова отворилась и снова явились солдаты. Теперь у них были почему-то совсем особенные, странные лица, точно они боялись не только посмотреть в глаза Данилову, но даже друг другу. Они как-то молча, словно стараясь убедить себя, что имеют дело не с живым человеком, а с вещью, стали обращаться с Даниловым. Он должен был пройти за ними по тому же коридору, по которому вели его раньше, но теперь они дошли до самого конца коридора, и тут солдат, шедший впереди, открыл маленькую дверь и остановился, чтобы пропустить Данилова.

Данилов вошел в узкую комнату с полками, на которых грудами лежали, как на базаре, веревки, веники, кандалы, железа, какие-то винты и кожаные хомуты.

Данилов почему-то знал сам по себе, что ему не нужно останавливаться здесь, а нужно войти в следующую дверь, находившуюся прямо против той, в которую он вошел. И он вошел в эту дверь.

Было полутемно. Свет шел сверху, из маленьких, заделанных решетками окон. Налево от двери, на небольшом возвышении, за столом сидели в покойных креслах два генерала. Чиновник, спрашивавший у Данилова о его имени, был тут же и перебирал бумаги, стараясь сделать вид, что все окружающее не касается его и что он всецело занят этими своими бумагами.

Данилов по солдатской привычке, увидев высшее начальство, вытянулся и стал бодро смотреть прямо на генералов, но как-то сбоку он не столько видел, сколько чувствовал, что тут есть какие-то особенные снасти и люди с засученными по локоть рукавами. Наконец он услышал вкрадчивый, почти ласкающий голос генерала, сидевшего посредине стола:

— Винишься ли ты в том, что произносил предерзостные речи против ее императорского величества государыни и самодержицы всероссийской?

Данилов сейчас же хотел ответить и клятвенно подтвердить, что никогда у него не было в помыслах произносить

такие речи, но, к своему удивлению, чувствовал, что все, казалось, сознает ясно, а язык не слушается у него и не поворачивается, несмотря на все усилия Нижняя челюсть у него дрожала, и вместо слов вышло какое-то нескладное мычание; Данилов поспешил остановить его и, остановив дрожавшую челюсть, замолк.

— Винишься ли ты в том, — продолжал все тот же вкрадчивый голос, — что находился в сообществе с неким князем Ордынским и что тебе, вероятно, известно теперь местопребывание опасного человека?

Кузьма Данилов опять, помимо своей воли, улыбнулся. Но он почему-то остался случившимся доволен: улыбка была приятна ему, потому что чрезвычайно правдиво передавала то, что было у него на душе, когда захотели от него, чтобы он выдал князя Бориса.

Генерал посмотрел на него, опустил глаза, вздохнув глубоко, наклонился в сторону другого генерала и качнул головою в другую сторону; там, сбоку, где стояли люди с засученными рукавами, зашевелились, подошли, и Данилов вдруг почувствовал на своем теле прикосновение нескольких человеческих рук, быстро и ловко справлявшихся с ним. По легкому холодку в ногах и спине и по особенно мягкой теплоте прикосновения к нему рук, которые он ощутил, Данилов понял, что его раздели. Он не сопротивлялся, точно не имел времени прийти в себя и сообразить, что ему следовало делать.

Ему связали ноги ремнем; ремень, очевидно, был сырым, хороший, потому что крепко и плотно, аккуратно сжал ему ноги. Ему завернули руки за спину и, должно быть, тоже связывали их.

Данилов бессознательно-покорно, словно из любопытства к тому, как люди делали это там, оглянулся и увидел, что руки ему связывали ремненным концом веревки, которая шла к потолку через ввинченный в балку блок.

Откуда-то раздался прежний голос:

— Начинай!

Что-то дернуло, хрустнуло. У Данилова потемнело в глазах. Все его тело бессильно встряхнулось, он мотнул головою и очнулся высоко над полом. Генералов и стол, за которым они сидели, он увидел внизу, в тумане, колеблющемся и неясном. Ноющая, мучительная, как зубная, боль в плечах давала себя чувствовать. Он висел на воздухе на вывернутых руках, из которых словно все жилы тянули ему. Особенно трудно было держать голову прямо: она все

валилась на сторону, и в это время вся боль от плеч походила к затылку и с новою силою расходилась по всему телу.

— Винишься ли ты... — услышал опять Данилов и заранее, чтобы сократить время вопроса, ответил:

— Нет!

Как вышло у него это «нет», сам он не знал и не понимал.

— Винишься ли ты, — опять стали спрашивать его, — в том, что известно тебе местопребывание некоего князя Ордынского?

И, как живой, мелькнул перед глазами Данилова князь Борис, сидящий с книгою в руках в их тайнике. И легкая судорога пробежала у него по лицу. Казалось, сильнее той боли, которую он испытывал, не могло быть. Словно всей прежней жизни не существовало для него, а с самого рождения он чувствовал эту боль. Но вдруг там, наверху, дрогнуло, веревку дернули, как ножом полоснуло по плечам, и боль усилилась, точно руки оторвались от тела.

— О-о, Господи! — вырвалось у Данилова.

Но вот еще что-то неумолимое, тяжелое надавило ему ремень, которым связаны были его ноги. Это палач подвязал туда бревно и, став на бревно ногою, скомандовал:

— Раз, два, три!

При последнем слове команды веревку, на которой висел Данилов, дернули вверх, а палач всей своей тяжестью надавил бревно, и та боль, которую испытывал Данилов до сих пор, показалась тихою, ничтожною болью в сравнении с той, которая была теперь! Прежде плечи, только одни плечи, а теперь все тело, все оно ныло, болело... страшно, невыносимо.

— Известно ли тебе местопребывание князя Ордынского? — опять зазвучал вопрос в ушах Данилова.

«Господи, сказать им? — мелькнуло у него. — Сказать, чтоб отвязались, чтоб отпустили душу на покаяние!.. Сказать им».

А руки тянулись вверх, кости хрустели, и жилы тянулись, тянулись.

— Нет, неизвестно! — крикнул что есть мочи Данилов, но этот крик вышел у него слабым, чуть внятным стоном.

И вдруг все стало хорошо, тепло, боль прекратилась. Кузьма не чувствовал пытки.

VII

ТРИ СЕСТРЫ

Принцесса Анна Леопольдовна, мать младенца Иоанна, объявленного наследником престола, жила вместе со своим штатом в расположенном в Летнем саду дворце Анны Иоанновны.

Ее любимой фрейлине Юлиане Менгден была отведена одна из лучших комнат помещения принцессы. Эта небольшая, сплошь затянутая ковром комната, с затянутыми голубым штофом стенами, с золоченою мебелью, с китайскими ширмами, загораживавшими кровать под высоким штофным балдахином, с массою безделушек на легких этажерках, казалась такой уютной, такой милой, что, раз попав в нее, было жаль уходить оттуда.

У окна за большими пальцами сидела сама Юлиана, занятая вышивкой золотого узора по бархату. На диване, обмахиваясь веером, лениво прислонилась хорошенькая Доротея, а третья сестра Бинна взволнованно ходила из угла в угол по комнате.

Три сестры были одни и, дружные с детства между собою, видимо, очень интересовались, словно их личным, делом, которое, собственно, касалось одной из них, а именно Бинны.

— Ты пойми, — говорила она, продолжая ходить и обращаясь к Юлиане, — что он мне вовсе не нравится. Почему — не знаю и не могу дать тебе отчет... Но только как вспомню о нем, так и не могу... понимаешь ли, совершенно не могу!

— Да отчего, собственно? — решительно подымая голову от работы, проговорила Юлиана. — Я не понимаю, чем он тебе не нравится так! — И она, воткнув иголку, быстро стала перебирать по пальцам. — Во-первых, нельзя сказать, чтобы он был дурен собою; во-вторых, он очень видный и ловкий; в-третьих, он — такой же немец, как и мы, честный, порядочный человек, а уж положению его, как брата герцога, может позавидовать всякий!..

— Знаю, знаю все это, — перебила Бинна, — и все это признаю в отдельности; но все вместе, так, как он есть... вспомню о нем и — что ты хочешь — не могу... — Она подошла к окну и закрыла лицо руками. — Как подумаю, — продолжала она, — что он — мой муж, что я должна с ним остаться вдвоем в полной его

власти... — Она вздрогнула и добавила: — Нет, нет, ни за что!

На диване, где сидела Доротея, послышался вздох. Бинна оглянулась. Доротея, прижав к губам веер, смотрела из-за него лукаво-счастливыми, какие бывают у молодых влюбленных девушек, когда они не скрывают своего чувства, глазами, и в этих глазах были и любовь, и сочувствие к Бинне, и вместе с тем смущение за свое собственное счастье.

— Бинночка, милая, — протянула она, — если б ты знала, чего бы я не дала, чтобы ты могла полюбить! Мне кажется, я всем сказала бы сейчас: «Любите хорошенько; это — такое счастье, для которого нужно забыть всякое горе и неприятности!»

Личико Доротеи было слишком радостно, чтобы сердиться на нее за эту радость, и Бинна только улыбнулась ей и махнула рукою.

На минуту горечь Бинны была забыта, и она сама и Юлиана переглянулись. Затем Бинна с улыбкой сказала, подойдя к Доротее:

— Так разве он похож на твоего Миниха?

Доротея протянула руку и зажала ей рот.

— Нет, не называй, не говори!.. Не надо! Зачем говорить?

— Но почему ты думаешь, что брат герцога так относится к тебе? Разве он говорил что-нибудь?

— В самом деле, — серьезным голосом, как бы возвращая разговор снова на серьезную почву, сказала Юлиана, — может быть, это тебе так кажется? Из того, что ты была его дамой на карусели, еще ничего не следует... Что же такое? Если он с тобою не объяснялся.

— Ах, Юлиана! — сделала нетерпеливое движение Бинна. — Да ведь если бы дошло до объяснения, было бы уже поздно; тогда уже прямо нужно было бы давать положительный ответ, потому что — я сама знаю — отрицательный дать нельзя. Но я именно и хочу подумать теперь, когда есть время еще принять меры... Началось это на балу у Нарышкина. Тогда Наташа Олуньева...

— Она уже княгиня теперь, — улыбнулась Юлиана.

— Все равно, я ее привыкла называть так. Она просила меня, чтобы я надела оранжевое домино для того, чтобы заинтриговать Густава Бирона, который воображал, что Наташа будет в оранжевом. А она его так не любит, — и я ее понимаю вполне, — что даже согласилась принять фамилию этого странного князя. Мы думали, что это будет

очень весело, когда вдруг Густав Бирон узнает, что в оранжевом домино была я, а не Наташа. В начале вечера он действительно принял меня за нее, и мы очень мило провели время... Но только — представь себе, — когда велено было снять маски — помнишь? — и я сняла свою, то он сначала удивился, а потом так посмотрел на меня, точно открыл что-то новое для себя, и с этих пор стал относиться ко мне совсем иначе, чем до того; прежде, бывало, он и не замечает меня, ну а теперь, где бы мы ни встретились, подходит ко мне, заговаривает... И с чего это, зачем?

— То есть как «с чего»? — снова усмехнулась Юлиана. — Ну посмотришь в зеркало: ведь ты у меня прехорошенькая!

Щеки Бинны покрылись румянцем, но она все-таки взглянула в зеркало и, увидев там отражение своего действительно хорошенького личика, улыбнулась ему, поправила рукою прическу и, помолчав, сказала:

— А мне, говорили, очень шел греческий костюм.

— Ах, правда, что с твоим Минихом чуть не случилось несчастье во время карусели? — обернулась Юлиана к Дороте. — Что-то с его лошастью...

Доротея покраснела в свою очередь и, закрывшись совсем веером, проговорила из-за него:

— Да, судьба его висела на волоске!

— Я все время боялась, — заговорила снова Бинна, — что Густав Бирон во время карусели заговорит со мной окончательно, и это испортило мне все удовольствие. На этот раз мне удалось избежать разговоров, но так долго не может продолжаться...

— Но разве у него нет серьезного чувства к Наташе? — перебила Юлиана.

— Ах, я думаю, у него ни к кому серьезного чувства быть не может! Это — такой уж человек. Он может просто жениться на мне из-за одной досады, что не мог взять себе в жены Наташу!

И долго еще сестры говорили о том, как быть бедной Бинне, если к ней посватается брат герцога, и наконец, по совету Юлианы, решили на том, что следует непременно переговорить обо всем этом с самою Наташей как главной виновницей всей этой истории и потребовать от нее, чтобы она приняла участие в деле и помогла Бинне отделаться от неприятного для нее человека.

— Ах, Бинночка, — не утерпела все-таки вздохнуть Доротея, — как бы я желала, чтобы и для тебя нашелся второй Иоганн Миних!

ЗМЕЯ ПОДКОЛОДНАЯ

По уставу Тайной канцелярии, допрос с пыткой возобновлялся обыкновенно три раза, если обвиняемый все три раза давал одинаковые показания; если же он менял их, то пытка возобновлялась до тех пор, пока он все-таки троекратно не показывал одинаково.

После того как Кузьма Данилов потерял сознание на дыбе, дальнейшая пытка была бесполезна, потому что по опыту было известно, что, если привести в чувство впавшего в обморок пытаемого и снова начать пытать его, сейчас же наступит новый обморок.

Кузьму Данилова сняли с дыбы и отнесли в особое помещение, где содержались люди, которых нужно было подлечить после перенесенной ими пытки для следующей.

Помещение состояло из отдельных светлых комнат, гораздо более просторных, чем темные казематы; в них были устроены нары с щедро настланною соломою, лежать на которой было сравнительно мягко и удобно.

Данилова уложили на эту солому; явился костоправ, вправил ему вывихнутые руки и изувеченные ноги и велел растирать его каким-то маслянистым снадобьем. Обыкновенно так бывало, что люди становились (да и то не все) калеками только после третьей пытки, первая же, если костоправ был искусен, проходила почти без всяких последствий.

Кузьма Данилов, после перенесенных им мучений попав в светлую горницу на солому, очутился словно в царстве небесном. Кормить его стали тоже очень недурно, и он лежал не шевелясь, надеясь, что боль его пройдет, он встанет и его выпустят на свободу, потому что он вынес пытку и ничего не показал на ней.

На четвертый день он уже чувствовал себя настолько хорошо, что мог проспать ночь крепким, непробудным сном, который значительно подкрепил его силы. Лежать ему было скучно; за ним ухаживал старичок служивый, с виду очень угрюмый и неприветливый, но на самом деле очень заботливо относившийся к Данилову; одно только было неприятно, что он не хотел отвечать ни на какие вопросы, молча исполнял свое дело и уходил; большего от него ничего нельзя было добиться.

«Эх, хоть бы с кем-нибудь словечко перемолвить!» — думал Данилов.

И как раз в эту минуту, словно во исполнение его желания, дверь скрипнула, отворилась и в комнату вошел хотя и неприятный Данилову человек, но все-таки человек, который, видимо, предполагал разговаривать с ним. Это был Иволгин, к лицу которого Данилов успел приглядеться главным образом во время предварительного допроса перед пыткой.

И походка, и манеры Иволгина, с которыми он сначала просунул голову, а потом как-то боком вполз в комнату, имели характер чего-то змеино-ласкового. Он потирал руки, улыбался, щурил глаза. Войдя, огляделся кругом, словно желал удостовериться, хорошо ли тут было Данилову, и подсел к нему на солому.

Данилов недоверчиво, с некоторым изумлением следил за тем, что будет дальше.

— Ты, братец мой, удивляешься, может быть, что я пришел к тебе? — заговорил Иволгин.

— Что ж, я ничего... — начал было Данилов.

Эти первые в течение трех дней после пытки слова, произнесенные им для поддержания разговора, вышли у него с большим трудом.

— Ты помалкивай, — перебил Иволгин, — коли трудно — не разговаривай... Я буду говорить, а ты слушай только... Так вот, видишь ли, милый человек, не удивляйся, что я пришел к тебе. Ты, может, на меня большое зло имеешь, думаешь, что это я тебя погубил совсем. Ну, а ты рассуди: я тоже ведь — человек служащий и службу свою исполнять должен; значит, иначе мне поступить было невозможно... Ну, как бы там ни было, а только, может, я теперь пришел к тебе с таким расчетом, чтобы сделать тебе благодеяние!

Данилов тяжело вздохнул.

— Да, брат, благодеяние!.. Нечего вздыхать-то, потому уж одно то, — я знаю, как трудно лежать вот тут, в одиночестве... Просто голос человеческий услышать хочется!.. Ну, вот ты слушай: не умел ты держать язык за зубами и за то попал на дыбу... Знаю, что несладко пришлось.

— А что, скажите, пожалуйста, — спросил вдруг Данилов, — как теперь: отпустят меня или какое иное приказание от начальства выйдет?

— Нет, брат, отпустят не скоро!.. Перво-наперво ты троекратно должен одинаково показать с пытки.

— То есть как это одинаково? — через силу опять произнес Данилов.

— А так, что тебя еще раз и еще раз поведут на дыбу.

Иволгин приостановился, внимательно глядя прямо в глаза Данилову, как бы желая не упустить ни малейшего выражения их, которое могло бы показать, какое впечатление произвело предупреждение о новой пытке.

Это впечатление было очень сильно: лицо Данилова судорожно передернулось. Ему живо представилась перенесенная им боль на дыбе и на секунду показалось, что он снова чувствует, как она жжет все его тело.

— Еще два раза? — выговорил он.

— Да, брат! — подтвердил Иволгин. — Два раза — так и в уставе написано... Да еще в то время, как на дыбу-то повесят, ремнями по спине хлестать начнут и зажатанным веником по спине проводить станут...

Данилов отвернулся и стал смотреть в упор в стену.

— Ну, так вот, видишь, — продолжал Иволгин, — если ты не хочешь этого, то есть такое средство, которое, пожалуй, может избавить тебя... Это я так, примерно только говорю, потому что мне очень жаль тебя... А есть возможность, что вот как отлежишься ты тут, поздоровеешь, тебя сейчас выпустят на все четыре стороны, то есть, видишь ли, не на все четыре стороны, нет: все же ты за свою свободу-то должен будешь сослужить службу... И коли сослужишь, так тебе не только прощение, но даже награда может выйти!..

Иволгин помолчал, ожидая, не заговорит ли Данилов, но тот молчал, все по-прежнему отвернувшись и упорно глядя в стену.

Тогда, после длинного подхода, новых еще запугиваний и вместе с тем рассказов о прелестях свободы, Иволгин, добравшись до сути дела, объяснил, что от Данилова требуется только, чтобы он помог разыскать князя Ордынского, который, по словам сыщика, оказывался очень и очень важным государственным преступником.

— То, что он тебя отбил тогда от караула, так это — совсем неважное дело, — сказал Иволгин, — спяна он тогда поступил так, и отбил тебя вовсе не для тебя самого, а так, просто дебоширство разыгралось — вот он и расходился... А предложи-ка ему на выбор: на дыбу идти или чтобы тебя караул взял — и ни одной минуточки не усомнится... Так с чего ж тебе-то мучение терпеть?

— Нет, ты про князя этого не говори, — вдруг сказал Данилов, — он и на дыбу не пойдет, и своего не выдаст.

— А-а! — сказал Иволгин. — Видишь, значит, ты — свой ему... Ну, так вот в этом и дело все: значит, тебе

известно, где этот князь обретается... А ты подумай: он ведь — обвиняемый, пропащий человек, а ты — солдат ее императорского величества и по долгу службы обязан исполнять присягу. Значит, изловив этого самого князя, ты только свой долг службы исполнишь... А не то снова руки и ноги протянут...

— О-о, Господи! — вздохнул опять Данилов.

— То-то вот и есть: «О Господи!..» Ты вот подумай да помоги лучше изловить князя-то...

Данилов снова долго молчал и потом заговорил медленно-растянуто:

— Да как ты его изловишь, брат? Тут очень хитро поступать надо. Не такой он человек, чтобы так зря в руки дался. Он кого угодно проведет и выведет; тут действовать надо умеючи.

— А ты и действуй умеючи! — подхватил Иволгин. — За то на твою хитрость и полагаются. Надо князя так забрать, чтоб он и сам того не знал.

— Да уж это конечно, — согласился Данилов.

Иволгин, видя, куда клонятся его слова, внутренне давно уже торжествовал. Ему казалось, что Данилов начинает поддаваться.

— Так что ж, на дыбу-то идти еще раз хочется? — спросил он опять.

— И недели через две, — заговорил Данилов, не отвечая на вопрос, — говоришь ты, я свободен буду?

— Чего через две недели! И раньше!.. Как поправишься, так и выпустят, коли поручишься только за то, что князя доставишь.

— Что ж, поручиться можно, отчего же не поручиться? — раздумчиво произнес Данилов. — Только вы сами-то в третий раз маху не дайте, а то уже два раза упустили его.

— Ну, уж теперь не упустим! — вставая, сказал Иволгин. — Значит, слушай, Кузьма: по рукам, что ли?

Данилов молча перевел глаза и остановил их на Иволгине. Тот понял, что этот взгляд означает окончательное согласие.

IX

НА ВОЛЕ

Через полторы недели оправившийся Данилов был выпущен на свободу под условием, что он даст возможность захватить князя Чарыкова-Ордынского.

Переговоры вел с ним Иволгин. Хотя, по-видимому, обещание исполнить это условие было дано Даниловым, которому посулили за это окончательное прощение и возвращение в полк, вполне чистосердечно, но безграничного доверия, разумеется, не могло быть к нему. Однако важно было то, что из разговора с Иволгиным выяснилось, что Данилову известно местопребывание князя Чарыкова. Можно было прямо потребовать от него, чтобы он указал это место, но Иволгин по двукратному уже опыту знал, что для того, чтобы схватить Ордынского, недостаточно еще знать, где он находится. Иволгин хотел на этот раз действовать наверняка и потому решил прибегнуть к помощи Данилова, по всем признакам человека, близкого князю Борису. На всякий же случай решено было следить за Даниловым и не терять его из виду.

Таким образом, Данилов получал только кажущуюся свободу. Переодетый Иволгин пошел за ним по пятам, как только его выпустили из Тайной канцелярии.

Было часа четыре дня. Иволгин видел, как Данилов, выйдя на улицу, огляделся и, не раздумывая, почти вприпрыжку, быстрыми, насколько хватало у него сил, шагами направился к Невскому проспекту. Они миновали проспект, вышли на набережную, перешли мост и очутились на Васильевском острове. По уверенности, с которою шел Данилов, не оглядываясь и никого не расспрашивая, видно было, что дорога хорошо известна ему. По крайней мере, он с очевидным сознанием того, что делает, повернул не на прямые улицы, но туда, куда выходили задворки домов.

Иволгин едва поспевал за ним, пробираясь в казавшемся бесконечном лабиринте узеньких проходов и закоулков, наконец он заметил, что Данилов остановился.

Иволгин спрятался за угол и отсюда видел, как внимательно осмотрелся кругом Данилов — не следит ли кто за ним, а затем повернулся к развалившейся в груды каменьева ограде и скрылся в ней.

Иволгин подождал и, когда прошло достаточно времени, чтобы увериться, что Данилов пришел к своей цели и не

скоро выйдет отсюда, вышел из-за угла, а затем направился к тому месту, где скрылся Данилов.

Иволгин внимательно осмотрел искусно устроенную в виде обвалившихся и скрепленных тяжелыми болтами камней ограду и усмехнулся довольной усмешкой, начиная понимать, в чем дело. Он легко нашел скрытую в камнях дверь и, отлично зная расположение Васильевского острова, понял, что это были зады дома князя Чарыкова-Ордынского. Это было более, чем нужно. Теперь он знал, где скрывался князь и где его можно было подстеречь, и с сознанием хорошо выполненного долга отправился домой.

Князь Борис чрезвычайно обрадовался возвращению Данилова, который чуть не бросился ему в ноги. Оказалось, что Чарыков-Ордынский предполагал, что Данилов попался во власть Тайной канцелярии, и сожалел о нем, впрочем, ничуть не опасаясь, что Данилов может выдать его самого. Он был так уверен в невозможности этого, что ему и в голову не приходило ничего подобного. Все время князь Борис провел в тайнике почти безвыходно со своими книгами, отлучаясь разве только для того, чтобы достать себе еду и воду.

Наговорившись с князем, Данилов вдруг начал выказывать признаки беспокойства и застенчивой неловкости.

Чарыков с улыбкою посмотрел на него.

— Вижу, брат, не сидится: как на иголках сидишь, не терпится. Ты бы прилег лучше да отдохнул.

Лицо Данилова расплылось в широкую и глупую улыбку.

— Как же, князь, ваше сиятельство, ведь сколько времени не видал! Конечно, провести хочется. Уж вы мне позвольте на сегодня; я в одну минуту слетаю.

— Да мне-то что? — с новой улыбкой ответил Ордынский. — Коли не устал и кости не болят, ступай с Богом.

Данилов не заставил повторять себе позволение.

— Ты бы переоделся, — напомнил ему вслед князь Борис.

Но Данилов только махнул рукой и исчез в темноте узкого хода.

По дороге он старался определить время по высоте солнца, беспокоясь об одном только: не перестала ли Груня за его отсутствием выходить по вечерам в условленное место, и если не перестала, то поспеет ли он сегодня вовремя?

Наконец он, не чувствуя ног под собою, добрался до знакомого забора у сада Шантильи и робко, неуверенно,

боясь, что не услышит ответа, подал свистом условленный знак.

За забором ответили. Груня была там.

— Ну, насилу-то! — заговорила она. — Ишь, нерадивый, сколько времени не был! Уж я ждала-ждала, видит Бог, сегодня последний раз вышла! То есть не приди ты сегодня, так бы тебе и не видать больше меня.

Данилов, хотя отлично чувствовал, что он ни в чем не виноват перед Груней, все-таки стоял перед нею виноватым, потому что, несмотря на ее сердитые слова, все в ней — и глаза и голос — говорило ему, что она любит его, а главное — потому, что она нравилась ему и казалась такою красивой, какою даже она сама не была до сих пор.

— Да ты погоди, выслушай сначала! — стал уговаривать он и притянул к себе девушку. — Знаешь ли ты, где я был-то это время?

— Ну? — спросила Груня.

— У его сиятельства графа Ушакова в гостях!

— У какого графа?

— У этого самого, у Малюты Скуратова.

Несмотря на то что он шутил и старался казаться развязно-веселым, легкая дрожь слышалась в его голосе и видно было, какое впечатление произвело на него это гощение у графа Ушакова.

Груня отстранилась, поглядела ему в глаза, в его милое ей лицо и только теперь заметила, как осунулось и побледнело это лицо.

— Голубчик! — почти крикнула она. — И впрямь с тобой случилось что-то... Что ж они сделали с тобой? — И она охватила его шею руками и губами крепко прижалась к щеке его.

— Эх, Грунька! — вырвалось у Данилова. — То есть если еще раз на дыбу идти, так вот за это самое, что ты теперь делаешь со мной, хоть сейчас, ей-Богу, опять пойду!

— Отчего на дыбу, — перебила Груня, — почему?.. Что ж, тебя выпустили али сам утек? Болести-то не осталось?.. А?.. Болесть прошла?.. Там, говорят, такие страсти!.. Я намердни еще слышала...

— Ну, чего ты? — вдруг строго остановил Данилов. — Не реви, не люблю!.. Видишь, я здесь — значит, выпустили, все прошло, ну и делу конец... А теперь шабаш, нечего говорить об этом!..

И больше они действительно не говорили об этом.

Только когда уже Данилов совсем уходил, Груня вдруг вспомнила и всплеснула руками:

— Батюшки мои, ведь вот забыла совсем!.. Наталья Дмитриевна-то, нареченная жена твоего князьки, сегодня через свою Дуняшу записку к нам предоставила.

— Записку? — нахмурившись, переспросил Данилов. — Какую записку?

— Ну, уж какую — не знаю: она запечатана! А только велела она доставить, — и, говоря это, Груня вынула из кармана передника аккуратно сложенную и запечатанную сургучною печатью записку.

И вдруг оба они вздрогнули... Со стороны дома, в саду, послышалось, что идет кто-то. Данилов выхватил у Груни записку и одним махом перескочил через забор вон из сада.

Х

ПОЙМАЛИ!

На другой же день после своего освобождения Данилов явился в Тайную канцелярию в назначенный Иволгиным час, когда его можно было там видеть.

Иволгин, встретив его, и обрадовался, и удивился, и почти не поверил своим глазам. Он все-таки сомневался в честности Данилова, которая заключалась, по его мнению, в том, что тот должен выдать Чарыкова-Ордынского.

Он был доволен уже тем, что знал теперь о существовании маленькой двери в развалинах ограды, и никак не мог рассчитывать, что Данилов явится к нему вообще с каким-нибудь донесением, а о том, что это будет так скоро, и мечтать даже не осмеливался.

— Ну, что, паренек? — встретил он Данилова. — Новости есть какие или просто наведаться пришел?

Данилов остановился у двери, вытянувшись в струнку, по-солдатски. Он, видимо, считал уже теперь Иволгина начальством и твердо проговорил:

— Так точно, новости есть значительные. Ежели на хорошего охотника, да чтобы умненько распорядиться, так сегодня вечером красного зверя убить можно.

— Да ты не говори загадками! — остановил его Иволгин. — Ты дело говори. Какого зверя? Князя, что ли, Ордынского?

— А хоть бы его самого... Только, говорю вам, действовать надо осмотрительно, чтобы люди были верные, потому тут несколько человек нужно.

— Да уж об этом ты не заботься. Что надо — сделаем. Говори только, что делать-то?.. Почему сегодня именно вечером?

Данилов, вытянув шею и понизив голос почти до шепота, начал докладывать:

— Сегодня вечером князь Борис Андреевич отправятся на свидание со своей нареченной женою, потому что записку от нее получили... На такое дело пойдет он один-одинешенек и очень отуманен будет в мыслях, потому что о ней только и думает. Значит, уж ему ни до чего прочего дела не будет... Тут его и захватить можно будет.

— Неужели пойдет? И не побоится ничего?

— Ну, да он и так бояться ничего не станет, а при таком деле труса уж отнюдь не спразднует... Раз ему такая записка написана — он живой или мертвый, а придет на место.

— Ну, на место-то он не придет! — подхватил Иволгин. — На этот раз голубчик уже не уйдет от нас. Довольно, два раза дурака сваляли, на третий не упустим!

— Чего упускать? — подтвердил Данилов. — Нужно это дело оборудовать чисто.

Иволгин вынул табакерку, забрал большую щепоть табаку и с удовольствием втянул ее всю в нос.

— Ну, и куда же он пойдет? Где у них свидание будет?

— По приглашению ему идти следует в самый олуньевский дом, его там и ждать будут. С заднего двора, у калитки, будет девушка стоять, которая проведет его в дом. Так вот тут, вокруг этой калитки, удобные места, чтоб схорониться, существуют. Здесь нужно человек трех ребят здоровых, да мы, значит, с вами, итого пятеро. Как князь подходить станет, я подам знак — тут его и схватить надо... Только чтобы не зашумел, нужно полотенце иметь наготове, чтобы сейчас рот завязать.

Данилов, видимо, так старался, что не могло быть сомнения, что ему очень уж хочется заслужить прощение и вернуться в полк, как это ему было обещано.

— Ну а не лучше ли захватить князя на Васильевском острове, как он из дверки в сломанной ограде выходить будет? — спросил вдруг Иволгин.

Данилова передернуло.

— То есть как это из дверки? — переспросил он.

Иволгин смотрел на него во все глаза.

Но Данилов всполошился только в первую минуту, когда ему дали понять, что знают и такое, что он считал тайною для всех.

Он сейчас же подтянулся и совершенно равнодушно произнес:

— Конечно, можно и на острове; только там он насто-роже будет, да и удобств там нет; там ему все ходы и выходы известны, а здесь он в новом месте будет.

Иволгин качнул головою, как бы желая этим сказать, что приятно иметь дело с толковым человеком, и, понюхав еще раз табаку, проговорил:

— Ну, ладно, будет!.. А уж полотенце я сам возьму. Так, значит, вечером ты сюда, что ль, придешь, чтобы вместе идти?

— Что ж, могу и сюда прийти, — согласился Данилов. — Только вы уж, как обещано, похлопочите, чтоб удовлетворяли меня и насчет прощения, и в полк чтобы вернуться.

— Об этом не тревожься! Это уж как сказано, так и будет сделано. — И, вполне довольный Кузьмою, Иволгин отпустил его.

Вечером, когда стемнело, Данилов явился, как обещал, и они с Иволгиным и с тремя отборными переодетыми солдатами вышли на охоту за князем Чарыковым.

Вечер был холодный, сырой. Над городом стоял тяжелый осенний туман, благодаря которому Данилов со своими провожатыми незаметно подкрался к калитке олуньевского дома.

Местность была уединенная и тихая, и время было настолько позднее, что некому было из прохожих показаться тут. Данилов, видимо, осмотрел расположение раньше и прямо, как знакомый с местом, показал, куда спрятаться всем пятерым. Они засели и стали ждать.

Данилов спрятался в таком месте, что должен был лучше других и первым увидеть всякого, кто подходил к калитке.

Люди были привычные, знали свое дело и сидели смирно, не шевелясь, не подавая признаков жизни. Казалось, все было мертво кругом. Только изредка лениво качались оголенные уже от листьев ветки деревьев.

Наконец послышалось, как со стороны двора к калитке подошел кто-то, вероятно горничная, которая должна была, как рассказывал Данилов, ждать там Чарыкова.

Вдруг послышались осторожные, крадущиеся шаги приближавшегося человека.

Данилов выскочил из засады, ухнул, и не успел подхлывший опомниться, как его окружили. Иволгин накинуд ему на лицо полотенце и крепко затянул его на затылке,

так что тот и крикнуть не успел. Его связали, приподняли и понесли.

Горничная у калитки крикнула и кинулась бежать, а Данилов успел проговорить только:

— Ну, тащите живей, теперь сами справитесь!

Было почти совсем темно, и он исчез в темноте.

XI

ГНЕВ ГЕРЦОГА

Иволгин помог солдатам донести до ворот Тайной канцелярии захваченную ими ношу, сильно пытавшуюся отбиваться и кричать сквозь полотенце, но каждый раз Иволгин и солдаты осиливали и поверх полотенца еще повязали шейный платок.

У ворот канцелярии он оставил солдат, сказав им: «Сдавайте сейчас же дежурному!» — а сам опрометью полетел прямо во дворец к герцогу с донесением.

Во дворце Иволгин знал все ходы и выходы и как свой человек прошел через одно из задних крылец прямо на половину герцога, в небольшую комнатку, из которой была маленькая дверь непосредственно в герцогский кабинет. Он нашел камердинера Бирона и просил поскорее доложить о себе, сказав, что явился по очень важному делу, которое не терпит отлагательства.

Камердинер сказал, что теперь герцога беспокоить нельзя, потому что он находится в комнатах у ее герцогской светлости, своей дочери Ядвиги.

Иволгин знал, что Бирон, находившийся всегда почти непрерывно при императрице, мало имел времени, чтобы быть в семье, и потому, когда это удавалось ему, не любил, чтобы его беспокоили. Но, несмотря на это, он все-таки сказал камердинеру, что доложить о нем нужно, потому что дело очень важное. Камердинер пожал плечами и ушел.

Иволгин присел. Сердце у него билось от волнения и радости, и он нетерпеливо прислушивался: не входит ли герцог в свой кабинет и не идут ли звать его к нему. Но кругом стояла та особенная, почтительно-благоговейная тишина, которая была свойственна только тому месту, где находился Иволгин, то есть помещению наводившего трепет на всю Россию Бирона. Тишина была такая, что слышалось откуда-то, чуть ли не за несколько комнат, мерное тиканье маятника.

Иволгин привык к звуку этого маятника, привык к ожиданию. Но никогда это ожидание не казалось ему таким томительным, долгим, как сегодня.

Прошел мимо него камердинер.

— Ну что, докладывали? — шепотом спросил Иволгин.

— Очень недовольны были, велели подождать, — ответил камердинер, а затем ушел, и прошло порядочно еще времени до тех пор, когда он явился снова и сказал: — Идите, зовут.

Иволгин, склонившись, вошел в маленькую дверь.

Герцог, видимо ожидая его, стоял посреди кабинета, недовольный, что ему помешали, и готовый поскорее отделаться от потревожившего его Иволгина.

«Господи, не дают ни минуты покоя!» — так и читалось у него на лице.

— Ну, что? — отрывисто спросил он у Иволгина, когда тот вошел к нему.

— Пойман!

— Кто пойман? — поморщился Бирон.

— Пойман князь Чарыков-Ордынский!

— Чарыков-Ордынский? — повторил Бирон, взявшись рукою за лоб и, видимо, припоминая. — Да... да... знаю! — И, отняв руку, он, вспыхнув, глянул на Иволгина. — Беспокоить было не нужно... Вздор! Dummes Zeug!..

Иволгину было хорошо известно значение того, когда Бирон в сердцах с русского переходил на немецкий язык. Он тут только сообразил, что важное для него лично дело поимки князя Чарыкова-Ордынского, потому что тут было замешано его самолюбие, вовсе не могло иметь такого значения для герцога и не требовало экстренного доклада.

Но, на его счастье, в это время со стороны приемной раздались шаги, и в кабинет без доклада большими шагами вошел брат герцога, сильно взволнованный и разгоряченный.

Однако, как только он заговорил, оказалось, что это появление было вовсе не к счастью Иволгина.

— Это ни на что не похоже! — заговорил Густав Бирон, прямо подходя к брату, почти наступая на него. — Что же это такое?!. Это... это... Я просто сказать не могу!..

Он говорил, волновался и действительно ничего не мог сказать.

Герцог, пораженный, обернулся к нему и, сдвинув брови, в свою очередь мог проговорить только:

— Что случилось с тобою?

— А то случилось, что меня, понимаешь ли, меня, подполковника, командира Измайловского полка, схватили, как какого-нибудь проходимца или вора!.. Я крикнуть не успел, завязали лицо полотенцем, черт знает чем, и потащили, не дав мне опомниться!

— Погоди! — заговорил герцог. — Сядь! Расскажи все по порядку! Тебя схватили, завязали лицо платком...

— Тряпкой, полотенцем! — поправил Густав.

— Ну, все равно, полотенцем... И потащили, ты говоришь?.. Но как, почему, зачем?

Он случайно в это время взглянул на то место, где стоял Иволгин, но там вместо него стояло теперь что-то до того бледное, трепещущее, согбенное и скорченное, почти потерявшее человеческий облик, что герцогу, вообще всегда очень быстро соображавшему, стало вдруг ясно, в чем дело, в особенности потому, что оно касалось Чарыкова-Ордынского, по львиному ногтю которого он имел уже случай узнать, что это был за зверь. Ясно, что Иволгин был проведен в третий раз, и на этот раз слишком уж жестоко.

Герцог топнул ногою и задыхающимся голосом крикнул Иволгину:

— Вон!

Густаву принесли воды, он отдышался и рассказал брату, что, получив сегодня утром записку от хорошенькой бывшей Наташи Олуньевой, пошел по этой записке на свидание и был захвачен, видимо, людьми Тайной канцелярии.

Выслушав рассказ брата, герцог немедленно послал за Иволгиным. Но ни во дворце, ни в Тайной канцелярии, ни у него на дому его не нашли. После всего происшедшего ему оставалось одно только: бежать и скрыться. Он так и сделал.

XII

ВИНА НАТАШИ

На совете трех сестер Менгден было решено потребовать от Наташи Ордынской, чтобы она помогла Бинне отделаться от искательств Густава Бирона, так как эти искательства начались после придуманной Наташею мистификации брата герцога на маскараде. Она уговорила Бинну надеть оранжевое домино и кокетничать с Густавом. Молодые девушки не предвидели, что из этого выйдет, и не

ожидали, что их легкомысленная шутка будет иметь серьезные последствия. Но на самом деле вышло так, что Густав Бирон стал ухаживать за Бинной, которой он не только не нравился, но которая чувствовала, что он и в будущем понравиться ей не может.

Старшая сестра Юлиана отправилась к Ордынской и объяснила ей все это. Наташа приняла живейшее участие в деле Бинны, забеспокоилась, заволновалась и, сознав свою вину, нашла вполне справедливым приняться самой за это дело и даже, не щадя себя, выгородить Бинну. Она сознавала, что самым верным и действенным средством в данном случае будет то, если она привлечет снова внимание брата герцога к себе самой и заставит его позабыть о Бинне. Как ни неприятен ей был Густав Бирон, но она сочла своим долгом решиться устроить так, чтобы он перенес свои ухаживания на нее. В приливе девической горячности она, чтобы доказать Бинне свою готовность поправить дело, решила сразу принять крутые меры. Ждать случая, когда она увидится где-нибудь с Бироном, ей показалось слишком долгою и ненужною проволочкою, и она без дальних разговоров рискнула прямо назначить ему свидание наедине.

В тот век такие свидания были явлением совершенно обычным и, главное, могли оставаться совершенно невинными и ни к чему не обязывали.

Прямо, просто просить Густава Бирона заехать к себе Наташа не могла, потому что приглашения присылались тогда только на балы, обеды или вообще на какие-либо собрания. В этом случае чувствовался еще, как эхо, отдаленный отзвук обычаев замкнутой допетровской Руси. Но молодая женщина могла пригласить к себе кавалера в какое ей угодно время, вполне уверенная, что его рыцарская честь не позволит ему сделать ничего лишнего.

И Наташа, вынужденная ради поставленной ею в неприятное положение Бинны повести атаку на брата герцога, написала ему записку по образцу переведенного французского письмовника и направила ее по адресу обычным для таких записок путем, то есть через посредство мастерской француженки-портнихи.

Ее горничная Даша передала записку Груне, вполне уверенная, что дело будет сделано аккуратно и чисто. И Груня не преминула бы доставить записку сама, если бы не явился к ней такой верный человек, как Данилов, которому можно было доверять. Кузьма схватил тогда у нее записку, потому что разговаривать им было некогда — им помешали шаги старшей мастерицы, кликавшей Груню, —

и исчез с нею. Но Груня была вполне уверена, что он сделает с запиской именно то, что нужно. Он и сделал с нею, но не совсем то, что нужно было Наташе и, может быть, Густаву Бирону, а то, что приказал ему сделать его князенька.

Данилов, явившись к князю из Тайной канцелярии, повинулся ему во всем: как он хотел своим умом добиться прощения, как он, зная о силе Миниха, понадеялся на него и обманулся в этой надежде, рассказал, как его арестовали, как посадили в каземат и как после пытки явился к нему Иволгин и заключил с ним условие, на котором ему была дана свобода.

— Только, видит Бог, князь ваше сиятельство, — говорил Данилов, блестя глазами и волнуясь, — если эта Иродова рожа увидит меня когда-нибудь, если они с нами так поступают бесчестно, так я рассудил, что никакого позора с моей стороны не будет, если я их тоже в дураках посажу. Отпускают они меня на таком подлом условии, я и сделал вид, что согласился... Ну а там, думаю, отпустите только, а потом ищи ветра в поле!.. Вот что, князь ваше сиятельство, я придумал: теперь, может, за мной следить по пятам начнут, а мы сегодня же уедем в Ригу к отцу. Я, как ни на есть, уломаю его...

— Никуда мы не поедем, — остановил его Ордынский. — А только ты помни одно: захотел своим умом действовать, за то и повисел на дыбе; ну, а теперь напередки слушайся, рассуждать — не рассуждай и умом не раскидывай, а делай, что тебе велят! — в убытке не будешь...

И вот когда Данилов вернулся от Груни к Ордынскому с запискою, то, решив теперь не делать ни шагу без князя, отдал ему записку и сказал, от кого и к кому она была.

Ордынский бережно, как нежный, благоухающий цветок, взял записку Наташи и долго-долго смотрел на нее, как бы колеблясь и не решаясь узнать ее содержание. Ему казалось, что эта записка не случайно попала ему в руки. Нужно же было, чтобы именно Груне передала ее горничная Наташи, чтобы как раз в этот день Данилов был освобожден и мог вследствие этого перехватить послание! Несколько раз рука князя порывалась сломать печать, но каждый раз он останавливался, не решаясь сделать это.

В этот вечер Данилов, умаявшийся за день, улегся спать поскорее, но, засыпая, видел, что князь Борис лежал у себя на диване с широко открытыми, прямо уставленными в одну точку глазами, видимо, далекий от сна. Когда же он проснулся на другое утро, то по-прежнему видел, что

князь лежал, как с вечера, все в той же позе, с открытыми глазами, но уже сильно изменившимся, пожелтелым и осунувшимся лицом. Ясно было, что он не спал всю ночь напролет.

На столике возле дивана лежала нераспечатанная записка Наташи к Густаву Бирону.

С чисто природной, неизвестно откуда берущейся у русских людей деликатностью Данилов не показал вида, что не только понимает, что князь не спал всю ночь, но и догадывается, почему он не спал. Он тихонько встал, сбегал за водою и принялся хлопотать по хозяйству, но все время следил за князем, готовый по первому зову исполнить всякое его приказание.

Наконец Ордынский окликнул его. Он не совсем определенно и ясно спросил у Данилова: знает ли хорошо его Груня олуньевскую горничную? Может ли он узнать, при каких условиях была написана записка к Густаву Бирону?

— Олуньевскую-то Дашу? — обрадовался Данилов. — Еще бы не знать! Это все можно вывесть хоть сейчас!

— Да, именно сейчас! — подхватил Ордынский и сказал, что если Данилов хочет услужить ему, то должен сейчас же через Груню вывесть, в чем тут дело.

Делать было нечего. Данилов отправился, несмотря на раннее утро, в мастерскую к Шантильи, соврал, что он — посланный от самого брата герцога, господина Густава Бирона, и вызвал мастерицу Груню. Та так и ахнула, увидев его.

Груне, к счастью, не нужно было и справляться у Даше, которая, будучи посвящена в секрет, потому что должна была ждать у калитки, еще вчера рассказала все Груне. Разговор Юлианы Менгден с Наташей Даша тоже слышала, так что Груня могла рассказать Данилову все самым подробным образом.

Когда Кузьма вернулся к Ордынскому и передал ему полученные сведения, тот вдруг словно воскрес.

Князь Борис приказал Данилову прежде всего доставить записку по адресу, а потом бежать к Иволгину и разыграть перед ним роль доносчика, что и сделал Данилов с неподражаемым искусством.

В данном случае расчет Ордынского был очень прост: для него и для Данилова очень важно было удалить из Тайной канцелярии Иволгина, который, единственный из сыщиков, хорошо знал в лицо их обоих. Ордынский рассчитывал, что если удастся задуманная им штука и вместо

него арестуют в темноте брата герцога, то Иволгину несдобровать. И этот расчет оказался верен.

XIII

ОСКОРБЛЕННОЕ САМОЛЮБИЕ

Густав Бирон видел в своей судьбе странную двойственность. С одной стороны, она как будто ласкала и баловала его и непрощено сыпала щедрые дары, а с другой — не хотела, казалось, потворствовать ни одному из его желаний.

Благодаря брату, пальцем о палец не ударив для этого, он вдруг стал видным человеком среди русских военных, персоной при дворе, могущество которого чувствовали в Европе. Но стоило ему захотеть чего-нибудь, даже в пустяках, хотя бы получить, например, от конюшенно-егермейстерской конторы бревна для постройки полковой слободы, чтобы явилось какое-нибудь трудноодолимое препятствие, и бревен этих он получить не мог.

Так было и в другом, главном, в его сердечных делах. Влюбился он в Наташу Олуньеву, а она решилась, чтобы не быть его женой, на такой шаг, которого и ожидать нельзя было. Приглянулась ему Бинна Менгден, но и здесь, барон чувствовал, не было взаимности. Получил он записку от Наташи, не подозревая, разумеется, о тайной цели, с которой она была послана ему, и воспрянул было духом, но попал впросак и потерпел, как называлось тогда, такой конфуз, в котором и признаться было совестно. Поэтому он первый просил брата оставить это дело без последствий, не разбирать его и, чтобы оно не получило случайно огласки, не допытываться, кто был главным виновником происшедшего скандала. У него хватило настолько такта, чтобы понять, что удобнее всего замять это дело.

Он старался не подавать виду, что его самолюбие задето и оскорблено, казался спокойным, но в душе, разумеется, не мог так скоро примириться с тем, что он, важная персона, вместо свидания очутился в Тайной канцелярии.

Не зная и не желая знать, как, собственно, произошло это, он тем не менее воображал, что главною виновницею тут была княгиня Ордынская и что она сама каким-нибудь образом подстроила ему эту штуку.

В характере Густава была одна счастливая черта — всецело и с любовью предаваться тому делу, которым он был

занят; в таком состоянии он забывал всякое душевное волнение, неприятности и неудачи.

Так и теперь он с удвоенной энергией принялся за переписку с конюшенно-егермейстерской конторой насчет злополучных бревен, старался с самого раннего утра «всемерно обучать роты», а унтер-офицеров — «порядочному хождению при взводах и приемах алебардами» и каждую неделю посылал запросы командированным в провинцию или находящимся в отпуске офицерам, «не втуне ли происходит у них многопродолжительное время и скоро ли они собираются ехать к полку».

Когда Густав предавался делу, он отвлекался мыслями и забывал гнетущее чувство обиды, но, оставаясь один в пустых комнатах своего огромного дома, он снова вспоминал, как насмеялась над ним (как думал он!) княгиня Ордынская и как он, словно кадет, попался в ловушку.

Он, конечно, ни минуты не думал о том, чтобы мстить женщине, предприняв что-нибудь против нее лично, хотя и мог бы при посредстве брата доставить ей множество неприятностей; но об этом он и думать не хотел. Его ухаживания за Бинной Менгден до сих пор были почти безотчетны. Он ухаживал за нею просто потому, что случайно провел с нею вечер на балу у Нарышкина, случайно был с нею в паре на кадрили (он не знал, что это было заранее условлено между его братом и Минихом), и ему нравилось любоваться личиком Бинны и болтать с нею. Однако он сам не замечал, как с каждым разом охотнее и охотнее встречался с молодой Менгден и как искал невольно ее глазами во дворце и на общественных сборищах.

И вот теперь, когда в нем заговорило уязвленное Наташей самолюбие, он, оставаясь сам с собою наедине, все чаще и чаще вспоминал о Бинне, и образ ее мало-помалу застилал для него образ Наташи. Мало того, тут Густаву чудилась почетная и достойная его месть, если он, предложив свою руку и сердце другой, окружит эту другую заботами, попечениями, поставит ее при дворе на видное место жены брата владетельного герцога Курляндского, будет наряжать, нарочно не щадя средств, словом, даст ей такое счастье, которому должна позавидовать всякая женщина. Но в особенности Густав хотел, чтобы этой завидующей женщиной была именно Наташа, пренебрегшая им. И он заранее предвкушал то несказанное удовольствие, с которым он увидит, как эта Наташа должна будет склониться перед его женою, давать ей дорогу и стоять где-нибудь далеко, в то время как его жена будет в числе самых

близких к государыне лиц. Он живо представлял себе, что должна будет почувствовать Наташа, когда вспомнит о том что могла бы сама быть на этом месте.

Строя такие планы, Густав Бирон сначала не имел в виду, кем именно заменит он Наташу в качестве своей жены, но потом для него стало ясно, что это будет не кто иная, как Бинна Менгден. Он стал мысленно примерять ей те наряды, которые думал, не щадя средств, сшить своей жене, а также оставшиеся у него после первой жены бриллианты, и находил, что все это очень пойдет хорошенькой Бинне. Он даже пошел дальше и представил себе Бинну своею женою не только при дворе или на балу, но у себя дома, в нарочно отделанной для свадьбы шелковой спальне, воображал, как она придет к нему в кабинет, когда он будет писать свои запросы офицерам, «не втуне ли у них проходит многопродолжительное время», и как это будет хорошо, когда она, опершись на спинку его кресла, положит ему руку на плечо и скажет: «Милый Густав, обед готов — пойдем кушать!» В результате прошло немного времени, а Густав был уже по уши влюблен в Бинну Менгден.

Герцог Бирон сильно задумался после происшедшего неприятного случая с его братом. Его можно было замять и устроить так, что он останется совершенно неизвестным, но не было гарантии в том, что полный силы и здоровья Густав, к тому же, в сущности, не занятый ничем, кроме военных упражнений, которые только пуще развивали его силу и крепость, не выкинет еще чего-нибудь такого, что уже трудно будет скрыть и что примет форму неприятного для самого герцога скандала. Нужно было остепенить его, и самым лучшим средством к тому являлась, разумеется, женитьба.

Герцог стал еще более внимательно приглядываться к брату и, убедившись в том, что, как казалось, в сердце его Наташу Ордынскую сменила Бинна Менгден, попробовал заговорить с ним серьезно о ней. Густав крайне обрадовался и, весь взволновавшись, проговорил:

— Да, мне кажется, я полюбил, то есть полюблю ее!.. Если хочешь моего счастья, то я буду счастлив с Бинной Менгден!..

— Вот это — дело, — ответил герцог. — И я ручаюсь тебе, что Бинна Менгден выйдет за тебя замуж.

XIV

СВОБОДНОЕ СЕРДЦЕ

Доротея Менгден готовилась к свадьбе с Иоганном Минихом и, счастливая этими приготовлениями, любящая, блаженствовала вполне. Иоганн привозил ей подарки, и она каждому его подарку, каждой улыбке, ласковому слову и взгляду радовалась, как ребенок весенним цветам.

Сестры Доротеи веселились, глядя на нее, и целый день только и делали, что говорили о приданом и об устройстве помещения, где, обвенчавшись, будут жить «молодые».

В этих разговорах и хлопотах Бинна, видимо, желала забыть свое беспокойство, которое увеличивалось с каждым разом, когда она встречалась с Густавом Бироном. Его внимание и любезность к ней начинали принимать такие размеры, которые ясно показывали, что развязка близится, и, подавленная ожиданием ее, Бинна страдала и мучилась и хотела заглушить в себе это страдание, глядя на радость и счастье сестры.

Между тем Доротея стала милой эгоисткой, как все люди, пользующиеся счастьем и видящие весь центр окружающего мира только в себе. Она властно требовала, чтобы с нею говорили только об ее Иоганне, их свадьбе и о их светлом будущем. Но это властное требование выходило у нее так мило, она так радостно улыбалась, что сердиться на нее за это не было никакой возможности.

Принцесса Анна Леопольдовна принимала живейшее участие в деле, к радости сестер Менгден, и сама заботилась о приданом Доротеи.

Строго говоря, она была рада (тоже, как Бинна) заняться чем-нибудь, потому что жизнь, которую она вела во дворце, была томительно скучна. Своего мужа, принца Антона, слабохарактерного и немужественного, она не любила, выезды, балы и празднества не интересовали ее, и она целыми днями сидела в распахнутом капоте, ленивая и праздная, положительно не зная, что с собою делать. Свадьба Доротеи вносила в ее жизнь такое разнообразие, которое редко выпадало на ее долю, и она пользовалась им, чтобы хотя немного рассеяться.

— Ну, что нового? — говорила она Юлиане, когда та утром являлась к ней, и Юлиана должна была передавать ей все подробности о Доротее.

Несколько раз Юлиана хотела заговорить о другом, о том, что ее занимало, может быть, более свадьбы и прида-

ного Доротеи, — об ухаживаниях брата герцога за Бинною, но всегда воздерживалась от этого, боясь рассердить Анну Леопольдовну. Однако в конце концов она, видя волнение Бинны, доходившее почти до отчаяния, все же решилась сказать об этом своему другу-покровительнице.

Анна Леопольдовна сделала жалкое лицо, жалкое главным образом потому, что ей приходилось слушать вместо хорошего и радостного такого, что может подействовать на нее неприятно, а она не любила никаких неприятных известий.

— Значит, и герцог желает этой свадьбы? — спросила она, когда Юлиана рассказала ей о Бинне.

Менгден ответила, что, по-видимому, герцог действительно желает женить на Бинне своего брата.

Лицо принцессы совсем болезненно сжалось, она взялась за голову и ноющим голосом произнесла;

— Ах, этот герцог! Что же мне делать, если он сам давит меня? В муже я не имею защиты, а сама что же я могу сделать?.. Да неужели Бинне так противен Густав Бирон?

— То есть он не противен, — стала пояснять Юлиана, — но насильно нельзя заставить полюбить, а Бинна не любит его. Но что здесь сделать, и придумать трудно... На такую выходку, какую сделала Наташа Олуньева, пойти нельзя.

— Это та, которая вышла замуж за этого князя?

— Ну да, та самая! Она уже с детства такая была, что могла решиться обвенчаться буквально с первым попавшимся.

Анна Леопольдовна тяжело вздохнула и, положив свою руку на руку Юлианы, тихо проговорила:

— Поверь мне, что, знай я, каков будет мой муж, я, пожалуй, рискнула бы сделать то же самое. Таких счастливых на свете, как Доротея, мало. Ну, а что же ее свадьба?

И они снова заговорили о свадьбе Доротеи.

Наконец эта свадьба была торжественно отпразднована в доме старика Миниха. Весь двор, иностранные послы и вся военная знать были на ней. Сама императрица поручила принцессе Анне Леопольдовне быть своею представительницею на свадьбе сына Миниха.

И вот на этой-то свадьбе, в то время когда двух счастливых людей соединяли навсегда и благословляли на брачную жизнь, случилось другое, по характеру своему совершенно противоположное событие: Бинна Менгден была объявлена невестою Густава Бирона.

Случилось это очень просто. Присутствовавший на свадьбе герцог, поздравляя молодых и сестер Доротеи, обратился к Бинне с вопросом, когда же она позволит поздравить себя со знаменательным для девушки днем обручения. Он так и сказал — «со знаменательным днем обручения». Бинна вся вспыхнула и, опустив глаза, промолчала, а Юлиана ответила за сестру, что та не думает еще о замужестве и сердце ее свободно.

Подчеркнув слово свободно, Юлиана думала, что даст этим понять герцогу, что Бинна не любит никого, а следовательно, и его брата, но герцог понял или, вернее, пожелал понять ее слова совершенно в ином смысле.

— Свободно? — сказал он. — Ну а я знаю человека, который желал бы стать рабом этой свободы.

Герцог умел, когда хотел, округлять свои фразы, и обе девушки, не ожидавшие, что он так круто повернет дело, окончательно смутились и не нашли ничего ответить.

— Мой брат, — отчетливо произнес герцог, — просит руки Бинны Менгден.

Бинна, закрыв лицо обеими руками, опустила голову.

Герцог сделал вид, что вполне понимает, что такой случай, как сватовство его брата, не может не взволновать девушку, но, радостно ли ей или нет это волнение, ему было все равно.

В толпе многочисленных гостей, собравшихся на свадьбу Миниха, сейчас же стало известно, что герцог сделал за своего брата предложение Бинне Менгден, и никто, разумеется, не спрашивал, согласна она или нет. Бинну Менгден с этого дня стали официально считать невестой Густава Бирона.

XV

ГОРОДСКИЕ СЛУХИ

Как-то вскоре после свадьбы Доротеи собрались у нее вечером обе ее сестры, Юлиана и Бинна, и приехала навестить ее их давнишняя приятельница Наташа.

Иоганн Миних, муж Доротеи, был дежурным во дворце (он носил звание камергера), и так как это было его первое после свадьбы дежурство, для которого он должен был оставить свою милую жену, то ее сестры и Наташа приехали провести с ней время, чтобы не дать ей соскучиться.

Доротея в своем новом положении хозяйки была очень мила, но, видимо, думала о муже и казалась рассеянною, вследствие чего обычная веселость оставила ее на этот раз. Такое настроение Доротеи и присутствие Бинны, резко изменившейся, после того как ее объявили невестой нелюбимого человека, дали разговору серьезный характер, и сестры не смеялись и не шумели.

Бинна приняла сватовство Густава Бирона покорно, безропотно. Иного ей ничего не оставалось делать. Сестра Юлиана и ее покровительница Анна Леопольдовна не могли помочь ей, защитить ее, все же остальные считали ее брак с Густавом разумной и прекрасною для нее партией, а в отношении сердечных чувств прямо держались старинного «стерпится — слюбится». За спиною Бинны не было, как у Наташи, тетки вроде старухи Олуньевой, Настасьи бой-бабы, да если бы и была, то скромная, покорная воле судьбы немочка Бинна никогда не решилась бы и на сотую долю того, что проделала Наташа.

Густав Бирон ежедневно ездил к ним во дворец и возил подарки невесте, эти подарки доставляли Бинне удовольствие, но не радовали ее, а полные восторженной любви взгляды Густава не делали ее счастливой.

Однако отчаиваться и считать себя навеки погибшей ей тоже не было никакого основания — предстоявшее ей замужество было очень почетно, и этим до некоторой степени окупалась неприятность положения. Бинна понимала это, а потому не роптала и не выказывала неудовольствия.

К тому же о ее предстоящей свадьбе было известно императрице, и та не только одобрила эту свадьбу, но поздравила Бинну с такою ласкою, что отказаться от руки Бирона после этого — значило отказаться от благоволения самой государыни. Кроме того, Анна Иоанновна велела сделать на собственный счет все приданое невесте.

На людях Бинна держала себя с большим тактом, не выказывая ни малейшего огорчения, но оставаясь с близкими, разумеется, стеснялась меньше и затихала, подавленная немую грустью.

И теперь у Доротеи, в обществе сестер и Наташи, она села поодаль на диванчик в уголок, куда не достигал свет масляной лампы, горевшей на столе, у которого сидели остальные, и, не участвуя в общем разговоре, пристально смотрела словно куда-то вдаль, занятая своими мыслями.

Говорили больше Наташа и Юлиана. Разговор, став серьезным, сейчас же коснулся наиболее интересного — болезни императрицы, которая уже с весны чувствовала себя

очень плохо. По ночам, говорили, она не могла спать, будто бы мучимая воспоминанием казни Волынского. Недавно во время обеда ей сделалось так дурно, что пришлось вынести ее на руках. Лейб-медик Анны Иоанновны Фишер сказал тогда герцогу, что ее болезнь очень серьезна. По городу ходили страшные рассказы о сверхъестественных явлениях. Как нарочно, в конце сентября, темною осеннею ночью, Нева разбушевалась и, выступив из берегов, произвела опустошительное наводнение.

— Как, вы ничего не знаете по похоронную процессию? — удивленно воскликнула Наташа, когда заговорили о наводнении. — Это чрезвычайно интересно. Представьте себе, когда Нева разбушевалась, была такая темень, что хоть глаз выколи, и вдруг на набережной у дворца показался яркий красный, как зарево, свет. Все испугались, думали, что пожар. И, представьте себе, из большой арки Адмиралтейства выходила процессия — целая процессия! — и все факельщики, факельщики с зажженными факелами, разливавшими этот свет... Это видели многие своими собственными глазами — факельщиков было такое множество, что свет казался заревом, не видно было лишь, что везли за ними, но только везли что-то. Из Адмиралтейства они прошли на площадь, а с площади — в ворота дворца, прошли двор, вышли на набережную и там, на набережной, скрылись. Какая это была процессия, кого хоронили — неизвестно.

«Вот меня так бы венчать следовало», — невольно мелькнуло у Бинны, и она вздрогнула.

— Кажется, я умерла бы со страха, если бы увидела эту процессию, — сказала Доротея.

— Неужели можно верить этим рассказам? — спросила Юлиана, усмехнувшись.

— А как же не верить? — убедительно протянула Наташа. — Я вам говорю, что многие были очевидцами, и, между прочим, академик Шретер. Это верно... Но только не к добру это...

— Да, многое рассказывают, — начала Юлиана в свою очередь. — Вот тоже о видении в тронном зале... только все-таки я не верю...

Рассказ о видении в тронном зале действительно ходил тогда из уст в уста. Говорили, что ночью, когда государыня уже удалилась во внутренние покои, стоявший у дверей зала часовой увидел, что там ходит кто-то. Он окликнул. Ответа не последовало. Вглядевшись, часовой узнал императрицу и вызвал караул. Явился офицер. Ему

показалось странным, почему императрица одна ночью ходит в тронном зале, и он пошел доложить об этом кому следует. Оказалось, императрица у себя в покоях. Герцог доложил ей, и она решилась пойти сама в тронный зал. Бирон вошел с нею. Все присутствующие увидели, что в зале «две Анны Иоанновны». «Кто ты и зачем пришла?» — спросила будто бы императрица. Но видение не ответило и, медленно отступая, не сводя глаз с Анны Иоанновны, исчезло на ступенях трона. «Это — моя смерть!» — сказала государыня.

XVI

ТЕНЬ НАДЕЖДЫ

— Да, я это слышала, — ответила Наташа Юлиане на ее упоминание о видении в тронном зале, — но об этом вы должны знать лучше других и проверить можете: ведь это же произошло у вас во дворце.

— Ах, Наташа, — снова усмехнулась Юлиана, — мало ли что во дворце происходит и чего никто не знает. Право, мы знаем гораздо меньше, чем в городе.

— Ну, все-таки о таком событии, как видение, можно спросить!

— У кого же спросить? У самой государыни, у герцога? Если они не рассказывают, то как же тут спросишь?

— Ну, у приближенных, у караула, у офицера!

— Неизвестно, какой и когда офицер был и караул тоже, а кроме того, благодаря Тайной канцелярии все равно правды не добьешься.

— Ну, тогда от герцога все-таки узнать можно, через его брата... пусть Бинна...

Но Наташа недоговорила. Увлеченная любопытством, она забылась и невольно напомнила о Густаве Бироне, хотя они весь вечер обходили нарочно всякое напоминание о нем, щадя Бинну, которой оно, разумеется, было неприятно.

Обмолвившись, Наташа, как бы извиняясь, обернулась в ту сторону, где в своем уголке на диванчике сидела Бинна, и, взглянув на нее, поразились выражению ее лица. Оно было такое жалкое, такое несчастное, что тут только Наташа почувствовала, чего стоила Бинне та покорность, с которою она приняла завидный, может быть, иным титул невесты брата герцога.

Досадное, неприятное, близкое к угрызению совести чувство шевельнулось в душе Наташи. Ведь к ней даже обращались, ее просили помочь, а что она сделала? Написала записку Густаву, который не пришел на ее приглашение (почему он не пришел — она, разумеется, не могла знать), и успокоилась на этом. Неужели он рассердился на ее приглашение? Правда, после этой записки он стал избегать ее в обществе, Бинна была объявлена невестой, да и государыня сама за эту свадьбу. Что же она может сделать теперь? Но, несмотря на сознание полного своего бессилия, Наташа все-таки видела, как тень упрека по отношению к ней мелькнула в быстром взгляде, которым обменялись сестры Менгден, когда она упомянула о Бироне. И она почувствовала себя виноватой.

Густая краска покрыла лицо Наташи, она опустила глаза и потупилась.

Доротея, как хозяйка, попробовала было заговорить о другом. Юлиана поддержала ее, но Наташа просидела несколько минут молча, как бы соображая что-то, и наконец, решившись, перешла к Бинне и, сев с нею рядом, заговорила, понизив голос, чтобы не было слышно сидящим у стола:

— Слушай, Бинночка! Прости меня, что я напомнила, но, право, это невольно сорвалось... Однако, раз уже заговорив, я вот что скажу тебе: знаешь, мне кажется, что не все еще потеряно... так что-то вот тут, — она показала себе на грудь, — говорит мне, что ты не будешь... что ты не выйдешь за нелюбимого... У меня предчувствие... И потом, я постараюсь испытать одно средство... Одно только скажу тебе: ведь я тоже не могу считать себя счастливой, но верь мне, что если мое средство удастся и окажется возможным освободить тебя, тогда и я, понимаешь ли, и я стану счастливой, может быть...

Бинна не возражала и приняла слова Наташи за простое утешение, в душе, конечно, не веря ни в ее предчувствие, ни в ее средство. Она даже не спросила, в чем заключалось это ее средство, и только крепко, с благодарностью сжала руку Наташи. Та, успокоенная, снова вернулась к столу.

Разговор опять оживился.

Вдруг в середине этого разговора в комнату вошел лакей и, подойдя к Юлиане, стал докладывать ей что-то шепотом. Юлиана изменилась в лице и быстро поднялась с места. Из слов лакея остальные присутствующие могли слышать только два громче других произнесенных им слова:

«Из дворца...» Поймав эти слова, Доротея испуганно раскрыла глаза, и в первую минуту, видимо, дух захватило у ней.

Юлиана заторопилась уезжать, сказав, что за нею прислали, что ей нужно сейчас же уехать.

— Юлиана, ради Бога! — остановила ее Доротея. — Случилось что-нибудь с Иоганном?

Первое, что пришло ей в голову, была, разумеется, мысль о муже, который дежурил во дворце. Раз прислали оттуда, — значит, случилось с ним что-нибудь.

Юлиана, несмотря на свое волнение, взглянула на несчастное, испуганное лицо сестры и улыбнулась, и эта улыбка уже успокоила Доротею.

— Нет, — проговорила Юлиана, — с Иоганном ничего не случилось; меня зовет принцесса, потому что государыне дурно.

И, заторопившись, она на ходу сказала Бинне, что прилет за нею карету, и, едва успев проститься, уехала во дворец.

Бинна сидела взволнованная и неподвижная на прежнем месте. Для нее известие, полученное из дворца, было тем важнее, что оно касалось ее лично. Болезнь императрицы могла изменить ее собственную судьбу, скончался Анна Иоанновна, Бирон мог потерять свое значение, и тогда... тогда в душе Бинны могла быть слабая надежда на то, что ее жизнь устроится иначе, чем предполагается теперь.

XVII

ВО ДВОРЦЕ

Когда Юлиана приехала во дворец, там был переполох. Оказалось, положение государыни вызывало такие опасения, каких трудно было ждать еще за несколько дней перед тем. Собственно, давно было известно, что императрица больна, что ее недуг серьезен, но все как-то привыкли к слухам об этой болезни и словно не ожидали, что развязка должна-таки наступить. Теперь, когда по городу — неизвестно, собственно, как, потому что никто не рассылал никаких извещений, — распространилась весть о том, что государыне так худо, что, может быть, это — уже ее предсмертные часы, со всех концов Петербурга съезжались кареты ко дворцу, и приемные покои во дворце наполнялись молчаливою, благоговейно сдержанною, но взволнованною

толпою, ожидавшею исхода охватившего Анну Иоанновну приступа болезни.

Юлиана подъехала ко дворцу не с главного подъезда, но со своего, домашнего, потому что была там своею. Переодеваясь уже на своей половине, то есть где помещалась Анна Леопольдовна, она узнала подробности о том, как государыня почувствовала себя дурно, как ярились доктора и как прислали за принцессой и ее супругом. Самые последние новости Юлиана не могла узнать, потому что они менялись каждую минуту. Одно только было несомненно, а именно, что положение худо, очень худо, почти безнадежно.

Юлиана внутренними комнатами прошла на половину государыни и нашла принцессу в комнате, смежной со спальней императрицы. Никто не остановил ее, никто не заговорил с нею, каждый, видимо, был занят своим делом, самим собою.

Принцесса слабо улыбнулась Юлиане, когда та подошла к ней.

— Останься здесь, со мною, — тихо проговорила она, — там, — она показала наклоном головы на спальню, — герцог и Остерман. Нам всем велели выйти.

Юлиана притихла, помимо своей воли чувствуя, что совершенно теряется в том, что происходит вокруг нее, теряется перед тем, что совершается тут, вблизи ее, в эту минуту. Она глядела на стоявших тут же докторов Фишера и Сархеца, на герцогиню Курляндскую, жену Бирона, Юшкову, любимую камер-юнгферу императрицы, и словно не узнавала их. Все было совершенно непривычно и необычайно. Непривычно было Юлиане видеть тут, на половине государыни, комнаты, освещенные слабо, — видимо, случайно зажженными свечами, — и людей в темных одеяниях, ходивших, двигавшихся и шептавшихся как-то слишком самостоятельно.

Анна Леопольдовна, которую она видела еще сегодня утром, сильно изменилась в несколько последних часов. Ее лицо осунулось, глаза покраснели от слез. Она сидела в кресле, очевидно, случайно попавшемся ей, и не сводила упорного, пристального взгляда с таинственно запертых дверей спальни императрицы.

Вдруг эти двери растворились, и на один миг показалась голова Иоганна Бирона. «Боже, как изменился он!» — мелькнуло у Юлианы. Он приказал что-то, и четверо солдат прошли мимо Юлианы. Они вынесли из спальни Остермана в кресле, больного. Лицо Остермана было спокойно и,

казалось, не выражало ничего, кроме усталости и утомления собственною болезнью.

Доктора, герцогиня, Юшкова, Анна Леопольдовна и ее муж снова прошли в спальню.

Юлиана не смела войти туда и, оглянувшись, увидела, что осталась одна в комнате. Незыблемый страх, почти ужас охватил ее, и она пошла в приемные, где были люди.

Там держали себя вольнее, и на всех лицах читалось только любопытное беспокойство; ни горя, ни сожаления на них не было видно.

— Что, что он сказал? — слышалось кругом.

Интересовались ответом Остермана на кем-то предложенный ему вопрос, когда его пронесли мимо, кто будет п р а в и т ь после смерти Анны Иоанновны.

— Молодой принц Иоанн Антонович, — ответил Остерман.

Однако и без него было известно, что младенец, сын Анны Леопольдовны, уже объявлен наследником престола, и всех главным образом интересовал вопрос о том, кому будет поручено регентство.

— Прощаться зовут! — снова послышались голоса, и к спальне двинулись важнейшие сановники и дамы.

— И ты ступай! — услышала Юлиана голос старухи Олуньевой, величаво выступавшей за Минихом.

Юлиана пошла и снова очутилась у дверей спальни.

Теперь они были отворены, и в них виднелись кровать, часть спальни, большой киот с образами, освещенными лампадкой. К кровати подходили, становились на одно колено и целовали руку Анны.

Юлиана уже лишь смутно сознавала окружавшее. Она помнила потом, что была в самой спальне, видела близко киот, образа и лампадку, а также сосредоточенное, серьезное, нахмуренное лицо герцога Бирона, стоявшего у изголовья, и слышала, как лежавшая на кровати государыня внятно сказала опустившемуся перед нею старику Миниху:

— Прощай, фельдмаршал!

Потом произошло что-то страшное, ужасное: послышались хрипота, судорожный стон, рука императрицы, доселе бессильно лежавшая, задвигалась и задергалась, доктора суетливо пробрались к постели, и Юлиана снова очутилась в соседней со спальней комнате, где было гораздо прохладней, снова перед запертыми дверьми, из-за которых все еще слышалось хрипение, изредка прерываемое ударами мучительной, судорожной предсмертной икоты... Мало-помалу звуки стали реже, тише; прошло несколько минут

давящей, тяжелой, непередаваемой тишины. И вдруг тишину нарушил ужасный, душераздирающий крик.

В спальне задвигались и заговорили... Впоследствии Юлиана узнала, что крикнула Анна Леопольдовна, кинувшись к ногам государыни, когда доктора решительно сказали: «Все кончено!»

Говорят, герцог Бирон рыдал, как ребенок, у постели умершей Анны Иоанновны, но вышел он из спальни ее твердо, уверенною походкой, прямо и гордо держа голову.

И когда Бинна Менгден, в тревоге ожидавшая сестру у нее в комнате, спросила пришедшую туда провести Юлиану: «Ну, что?» — та, зная, что именно интересует Бинну, ответила:

— Решено: он будет регентом.

Во дворце стало уже известно, что, согласно завещанию государыни, привезенному ей Остерманом к подписи перед ее смертью, регентом Российской Империи вплоть до совершеннолетия младенца императора Иоанна Антоновича назначен герцог Курляндский Эрнст-Иоганн Бирон, а на другой день об этом узнал весь Петербург, и оттуда с тою же вестью поскакали гонцы во все уголки русского царства.

XVIII

РОЗОВАЯ КОКАРДА

Приехав домой от Доротеи, Наташа, узнав, что ее тетка отправилась во дворец, переодевшись, дождалась ее возвращения и, когда старуха Олуньева поздно вечером вернулась наконец, прошла к ней, чтобы услышать подробности всего, что произошло во дворце.

Настасья Петровна, разумеется, знала все и, находясь еще под свежим впечатлением происшедшего, казалась очень встревоженной и взволнованной.

Смерть государыни поразила ее, равно как поразило и назначение регентства Бирона.

Сплетня уже успела создаться, и, повторяя эту сплетню, Олуньева, чуть дыша, рассказывала Наташе подробности, якобы действительные, при которых было подписано завещание. Несмотря на то что всем заведомо известно было, что в момент подписания завещания, которое было привезено Остерманом, в спальне умирающей императрицы находились только Остерман и Бирон, которые, конечно, никому не рассказывали о том, что происходило там, все-

таким оказывались известными условия подписи завещания. И никому в голову не приходило осведомиться: да откуда же идут, в самом деле, эти разговоры?

— Ты представь себе, — рассказывала Олуньева, — говорят, он насильно заставил ее подписать завещание, понимаешь ли, насильно... А ходит слух, что государыня не поспела подписать и будто он за нее... Только Боже тебя упаси обмолвиться кому-нибудь об этом!.. Теперь пойдут такие страсти... Я послезавтра в деревню собираюсь. Ты едешь со мной?

Настасья Петровна при каждой перемене, происходившей при дворе, уезжала в деревню «выжидать», как называла она, и на этот раз решила тоже прибегнуть к этому испытанному уже средству, благодаря которому оставалась всегда в выгоде.

Наташа была далеко не прочь от поездки в деревню. Она больше всего любила деревенскую жизнь, и это было главной причиной того, что она готова была согласиться на поездку. Об остальном она не беспокоилась. Она была уверена, что лично ее, маленького, как называла она себя, человечка, не может касаться такое важное событие, как смерть государыни, и не сомневалась, что может спокойно оставаться в Петербурге.

Однако после краткого размышления она вдруг сказала тетке:

— Впрочем, нет, мне нельзя уехать. Нет, я должна остаться здесь.

Настасья Петровна удивленно посмотрела на нее и проговорила внушительно и строго:

— Слушай, Наталья! Я тебя должна предупредить — ты не шути этим делом. Я — старый воробей и знаю, что говорю: поезжай со мной!

Но Наташа еще решительней повторила, что ехать не может.

— Какие такие дела у тебя вдруг отыскались, что ты ехать не можешь, а? — вспыхнула тетка. — Нет, ты скажи мне, какие такие дела?

Наташа мягко, любовно, кротко, но твердо стала напоминать тетке, что та сама же говорила ей, что, выйдя замуж, она станет совершенно самостоятельной и может делать, что ей захочется. Теперь она хочет пользоваться этой самостоятельностью, вот и все.

Старуха Олуньева закусил губу и не противоречила.

— Ну, делай как знаешь! Что ж, я сказала — не буду стеснять, и не стесняю.

Но в ту же ночь на половине Настасьи Петровны стали укладываться и собираться в дорогу.

Наташа прошла к себе, весьма довольная сознанием своего хорошего, как казалось ей, поступка. То, что она не согласилась ехать в деревню, она считала хорошим поступком. А не согласилась она потому, что ей в эту минуту слишком живо вспоминалась несчастная Бинна, а именно, как она сидела на своем диванчике сегодня и, главное, ее тихий, покорный взгляд, полный невыразимой грусти. Регентство Бирона ставило Бинну в положение еще более обязательное, чем прежде. Теперь герцог являлся полным хозяином и во всей России, и при дворе; теперь уже менее, чем прежде, можно было идти наперекор его воле. А между тем она, Наташа, обещала испытать какое-то средство, которое может будто бы спасти Бинну. По правде сказать, говоря это Менгден, она не только не знала, какое это средство, но даже и не думала о том, возможно ли оно вообще, и сказала потому, что это сказалось у нее так, чтобы утешить чем-нибудь Бинну. Но теперь, раз уже «начав», так сказать, то есть выдержав натиск тетки, убеждавшей ехать ее в деревню, она вдруг почувствовала желание и охоту действовать.

Оставить Бинну без помощи было нельзя. Но что же делать? Сделать тоже, казалось, нечего. И хорошенькая, добрая Наташа, желавшая в эту минуту душу свою отдать за Бинну, напрасно старалась ломать свою головку, чтобы решить такую, видимо неразрешимую, задачу.

В доме не спали — ходили все время, укладывая вещи, готовясь к неожиданному отъезду. Наташа не могла заснуть и от этой ходьбы, и от своих мыслей, не дававших ей покоя. Она лежала на своей мягкой пуховой постели под шелковым балдахином со спущенным пологом, ворочалась и жмурилась. Ей было мягко, тепло, хорошо.

И вдруг среди этих беспокойных дум о Бинне, о предстоящей ей свадьбе с нелюбимым человеком, который чуть было не стал мужем ее самой, Наташи, перед последней начал вырисовываться сначала неясно, потом все ясней и ясней образ человека, который уже несколько раз беспокоил ее молодое воображение, человека, имя которого она носила и которого помнила теперь не таким, каким он был под венцом, нет, а таким, каким он был на балу у Нарышкина, когда снял свою маску: Наташа помнила его открытое, честное, мужественное лицо с крупными, выразительными чертами.

А что, если вдруг он...

Но Наташа в первую минуту сама улыбнулась своей мысли. Разве мог что-нибудь сделать Чарыков-Ордынский для нее, то есть для Бинны? Разве мог он бороться с братом всесильного, ныне более, чем когда-нибудь, всесильного герцога? Кто он и что он в сравнении с Биронами?

Да и без сравнения вообще Наташа не знала, кто, собственно, был ее муж и что он был в состоянии сделать и что — нет...

Однако явился же он, когда захотел, на бал к Нарышкину и вел себя там как следует! Мало того: ведь после бала она, Наташа, до сих пор не может отделаться от впечатления, произведенного им на нее.

А где он теперь? Может быть, его давно схватили? Может быть, он сослан или замучен Тайной канцелярией?.. Все может быть... Может быть, он ждет известия от нее, считает дни и часы, ждет не дождется?

Одно только почему-то не пришло в голову Наташе — это то, что Чарыков-Ордынский может забыть ее. Не то чтобы она была уверена в невозможности этого, а так просто это вовсе не пришло ей в голову.

И чем больше думала Наташа о Чарыкове, тем больше мучила ее неизвестность: что с ним?.. Тут, как ей казалось, было задето только ее любопытство, и она волновалась из-за этого любопытства.

Заснула она поздно и, проснувшись на другой день, первым делом отыскала в своей шкатулке розовую кокарду, которую, как сказал Чарыков, нужно было послать к Шантильи, для того чтобы он явился. И Наташа послала кокарду к французенке-модистке.

XIX

У ГРОБА ГОСУДАРЫНИ

Наташа оделась в траурное платье и поехала поклониться телу покойной государыни.

Подъезды дворца — средний со стороны Летнего сада и два боковые — были уже задрапированы черною материей с отделкою из черного флера и гербами: российским государственным и тридцати двух провинций.

Внутри дворца шли приготовления по убранству большого зала, где ставили катафалк под золотым балдахином и обтягивали стены черным сукном.

Кто-то рассказал Наташе, что убранство будет великолепно и особенно трогательным явится то, что гербы по стенам русских городов будут поддерживаться нарисованными плачущими младенцами, что должно означать, что провинции лишились своей матери. Там же будут поставлены статуи «наподобие мраморных», которые изобразят добродетели покойной императрицы. На сукне сделают серебряные слезы. И все, точно сговорившись, перешептывались именно об убранстве зала, точно желая скрыть за этим разговором то, что было у них на уме, а главное — на душе.

Для каждого же, разумеется, самым важным вопросом было назначение герцога Бирона регентом, но об этом боялись даже намекнуть.

Наташа была одна из немногих, приехавших во дворец с самым искренним чувством поклониться праху умершей, но попала в сутолоку, которая, несмотря на кажущееся благочиние, происходила там, невольно поддавшись общему настроению, слушала рассказы об убранстве зала, думала о Бинне, о Чарыкове-Ордынском и не заметила, как в очереди очутилась перед телом императрицы.

Она опустилась на колени, недовольная собой, постаралась сосредоточиться и принялась молиться. Однако кто-то сзади сказал ей: «Скорей», — и она поскорей коснулась губами холодной, особенно неприятно холодной руки покойницы, не заглянув ей, точно из боязни, в лицо.

Во дворце было душно. Наташа вздохнула свободней, выйдя в сад.

Карета ее ждала далеко у решетки вместе с другими. По главной аллее сада шли во дворец и возвращались оттуда все, кто мог рассчитывать на доступ к телу. Наташа встретила несколько знакомых, кивнула им. Она чувствовала, что все они недовольны собою так же, как и она. И, словно убегая от этого недовольства, она ускорила шаги, кутаясь в свою шубу от резкого ветра и чуть не скользя по охваченной первыми заморозками земле.

Деревья в этот день как-то особенно таинственно и даже страшно качались и шумели оголенными ветками.

Бессонная ночь, проведенная в беспокойстве и тревоге, необычайность события, свидетельницей которого приходилось быть Наташе, толпа во дворце, какая-то особенная, совершенно изменившая свой обыкновенный придворный характер толпа, ощущение холода на губах от прикосновения к руке умершей, наконец, вид робко, с опаской сновавших людей, военные пикеты, расставленные на всех углах,

войска, то и дело проходившие куда-то, должно быть по распоряжению начальства, — все это действовало на Наташу, волновало ее и не давало возможности привести свои мысли в порядок.

Она шла по аллее словно во сне, с единственным желанием поскорее добраться до кареты и, как во сне, увидела, что от одного из деревьев отделилась темная, рослая фигура и направилась к ней. Наташа остановилась: к ней шли навстречу, и она должна была сделать это же. И, остановившись, она узнала Чарыкова-Ордынского. Но все это было именно как во сне... Ветер рвал полы шубы.

— Вы желали видеть меня, — проговорил он. — Я знал, что вы непременно будете во дворце, и ждал вас здесь.

«Да, я желала видеть его, — вспомнила Наташа, — я послала ему кокарду... Но как же ему дали знать так скоро? Значит, у него есть «свои» люди?»

И она ответила князю что-то. Он заговорил опять, и она говорила, но то, о чем говорили они тут, в саду, Наташа, в общем, припомнила, только вернувшись домой, подробности же этого разговора вспомнились ей много позднее.

XX

РЕГЕНТ

Еще тело императрицы стояло во дворце, когда Анна Леопольдовна отдала приказ, чтобы были сделаны распоряжения для переезда ее с сыном в Зимний дворец.

Приближенные смутились. Приказание было отдано принцессой помимо герцога-регента, который ничего не знал об этом. Сам собою возникал вопрос: кого слушаться, или, вернее, можно ли слушаться принцессу, не спросясь о том герцога?

Ближайшие к Анне Леопольдовне люди, разумеется, не сочли возможным противоречить и стали, во исполнение ее приказаний, делать приготовления для переезда, но нашлись и такие, которые сейчас же донесли герцогу, что мать императора желает переехать в Зимний дворец вместе с его императорским величеством.

— В Зимний дворец? — нахмутив брови, переспросил Бирон и, не спрашивая более, большими, решительными шагами отправился на половину принцессы.

Он отлично понимал, в чем дело. Главное тут было, конечно, не в самом факте переезда: останется ли император в Летнем дворце или переедет в Зимний — не все ли, в сущности, было равно? Но Анна Леопольдовна сделала распоряжение самостоятельно, и нужно было показать ей с первого раза, что она не имеет права на это, что все во дворце должно зависеть от герцога-регента и ничьих других распоряжений, кроме его, не должно быть.

Герцог застал принцессу за разговором с мужем. Принц Антон, судя по возбужденному выражению лица, видимо, горячился, силясь напрасно доказать что-то жене.

— Я, как мужчина, советую тебе, понимаешь ли, как мужчина... — повторял он, когда вошел Бирон.

А герцог вошел вдруг и, по своему обыкновению, остановился на пороге, желая перехватить последние слова разговора. Сколько раз он благодаря этому своему обыкновению отгадывал по последним словам содержание всего разговора.

И теперь спор супругов (а что они спорили, было несомненно) стал ясен ему совершенно: очевидно, речь шла о том же, по поводу чего и сам он пришел, причем принц Антон уговаривал принцессу не становиться так быстро явною противницею Бирона. И по тому взгляду, которым смотрела она на своего слабого, бесхарактерного супруга, уверявшего так жалобно, что он — мужчина, было заметно, что она не только не готова следовать его советам, но, напротив, эти советы вызывают в ней лишь чувство презрения к нему.

— Доброго здоровья, ваше высочество! — отчетливо и ясно проговорил Бирон.

Принц Антон вздрогнул.

Анна Леопольдовна спокойно встала со своего места, но не пошла навстречу герцогу, а осталась ждать, пока он подойдет к ней.

Ничего этого, то есть ни такого резкого проявления самостоятельности, ни такой выдержки в обращении не ожидал Бирон от неподвижной, сидевшей всегда у себя дома и по виду ленивой Анны Леопольдовны. Он невольно удивлялся, откуда что берется у нее. Эта внезапная перемена ее была тем заметнее теперь еще благодаря невольному сравнению, которое приходилось делать между нею и ее супругом, еще более, чем прежде, робевшим и терявшимся перед герцогом, после того как тот стал регентом.

— Я пришел осведомиться, как чувствует себя младенец император? — спросил герцог.

— Сын мой, — ответила Анна Леопольдовна, делая заметное ударение на слове «сын», — провел ночь отлично и находится в полном здравье.

Герцог внимательно посмотрел на нее, как бы желая узнать, заговорит ли она сама о том, что задумала переезжать в Зимний дворец, или ему придется начать этот разговор. И по выражению лица принцессы он видел, что она не заговорит.

Тогда он начал сам. Он спросил, о чем разговаривали супруги перед его приходом.

— Да вот я говорю, — сейчас же начал принц Антон, — я советую ей, как мужчина...

Но Анна Леопольдовна перебила его, сказав:

— Мало ли о чем могут говорить муж с женою? Он давал мне неразумный совет.

— Почему же неразумный? — подхватил принц Антон. — Она хочет перевезти сына в Зимний дворец...

И, только сказав это, он понял, что не следовало упоминать об этом. Герцог спокойно обернулся к принцессе:

— То есть как это перевезти?

Анна Леопольдовна тоже спокойно ответила:

— Я нахожу, что ему там будет лучше.

Герцог стал возражать, что этого нельзя, потому что он, герцог, как регент, должен находиться безотлучно при императоре.

— Ну, вот ведь и я говорил, что нельзя! — заметил принц Антон.

— В таком случае пусть и ваша светлость тоже переедет в Зимний дворец, — не слушая мужа, ответила Анна герцогу.

— Я не могу сделать этого, — пожал плечами Бирон, — на моей обязанности лежит присутствовать, также безотлучно, при гробе ее императорского величества покойной императрицы, я слишком чту ее память, чтобы пренебречь этою священной обязанностью.

— Ну а я, — вдруг вспыхнула Анна Леопольдовна, — не могу оставить сына во дворце, где целый день толпится народ, куда то и дело подъезжают кареты; это слишком беспокоит, он просыпается... Я не могу!

Как только Анна Леопольдовна вспыхнула и заволновалась, так сейчас же Бирон успокоился. Он увидел теперь, что все-таки имеет дело с женщиной и она действует по-женски: она так горячо принялась отстаивать свое желание, которое, в сущности, было капризом, что, наверное, на

главное что-нибудь, более серьезное, у нее не может хватить достаточно энергии. Он гораздо более боялся бы ее спокойствия.

Он умел ладить с женщинами и знал, что, уступая им в пустяках, показываешь вовсе не слабость свою, а, напротив, силу. Теперь он был уверен, что, когда будет нужно, например в чем-нибудь серьезном, он сумеет сделать по-своему и она подчинится ему.

И он, вполне удовлетворенный, положив ногу на ногу, принялся по своей привычке чистить маленькой щеточкой огромные бриллианты на своих кольцах, покрывавших все его пальцы.

— Я не могу допустить, чтобы мой сын не был удален отсюда... Я должна сделать это и сделаю, потому что я — мать... Ваша светлость говорите о почтении к памяти покойной императрицы, а посмотрите, посмотрите в окно!.. — горячо воскликнула принцесса и показала на большое зеркальное стекло окна.

Герцог приподнял голову и взглянул. Мимо дворца ехала в нескольких, следовавших одна за другою колымагах какая-то купеческая свадьба с разукрашенными лентами лошадьми.

— Ну, прилично ли, что мимо дворца, когда тут стоит тело почившей государыни, едут эти колымаги, а? — продолжала Анна Леопольдовна, подыскав сейчас же упрек Бирону, чисто женский, колкий и едкий. — На вас, ваша светлость, как на регенте, лежит прямая обязанность вовсе прекратить это. Пусть не венчаются на время траура... вот и все... если вы действительно чтите память императрицы.

И долго еще горячилась Анна Леопольдовна, но чем больше горячилась она, тем спокойнее слушал Бирон.

В тот же день младенец император был перевезен из Летнего в Зимний дворец.

XXI

ТРАУР

Густава Бирона смерть императрицы застала в самом разгаре приготовлений к свадьбе. Он был настроен самым лучшим образом, заказывал новые ливреи слугам, отделывал дом заново, готовился к брачным торжествам, и вдруг придворный траур изменил все это, или, по крайней мере,

заставил отложить на некоторое время. Траур делился, по обыкновению, на кварталы, и строг был, собственно, только первый квартал.

По своему чину Густав Бирон принадлежал к особам второго класса, а в «объявлении от печальной комиссии» заключалось, что «мужские персоны первого и второго классов в первом квартале платья имеют носить: кафтаны суконные без шишек, с четырьмя пуговицами, сукном обшитыми, и на камзолах пуговицы такие ж, до пояса, и на обшлагах вверху плерезы, а плереза чтоб шов был в четверть плереза; на шляпах висящий флер короткий, шпаги, обшитые черным сукном, чулки гарусовые, башмаки замшевые, пряжки черные, рубашки без манжет, наперед завязанные галстухи; кареты и сани, обитые черным, без гербов, шоры и хомуты, обшитые черным, на лошадях печальные попоны длиною от земли шесть вершков; лакеям livree черные, без лент, пуговицы до пояса; в домах обивать черным по одной камере».

Последний пункт был особенно неприятен Густаву.

Он призвал для шитья траура себе тринадцать человек полковых портных, и они усердно трудились, сидя за шитьем траурного платья для самого Густава, для его слуг и «печальных попон» для лошадей. Со всем этим Густав готов был еще примириться, но обивать комнату черным в доме, где все было готово для свадьбы и радости, казалось очень неприятно. Однако делать было нечего, приходилось исполнять приказание.

Густав долго ходил по дому, выбирая «камеру» для обивки трауром, наконец выбрал, велел затянуть ее черным сукном и решил вовсе не входить туда.

«Как же теперь будет со свадьбой, однако?» — думал он и соображал, что в первом квартале, пока будет обита черным одна комната в его доме, венчаться не следует, но зато по истечении квартала можно будет сыграть свадьбу. Правда, сыграть ее нельзя уже с такой помпой, как предполагалось, но этого и не нужно, и на этом экономия выйдет, — утешался Густав, думая этою экономией покрыть расходы по шитью траура.

Так как он во всех затруднительных случаях жизни обращался к брату, то и теперь ездил к нему несколько раз, чтобы переговорить относительно свадьбы. Но герцогу Бирону было все недосуг: он слишком был занят во дворце, чтобы уделить время для частных разговоров, хотя бы даже с братом. Наконец герцог назначил ему приехать к нему во время обеда.

Густав проводил почти весь день с утра во дворце и только бывал на службе. С невестою встречался он редко и объяснял это вовсе не тем, как было на самом деле, то есть что она избегает его, а обстоятельствами переживаемого времени и надеялся все-таки, что скоро все войдет в свою колею и он будет снова счастлив.

Герцог обедал один, потому что теперь час его обеда менялся ежедневно и зависел от большего или меньшего скопления дел.

Густав сидел с племянницей Ядвигой, когда пришли доложить ему, что его светлость просит его к себе в столовую.

Только войдя в эту столовую, где за большим столом сидел герцог Бирон, поставив широко локти и подперев руками лицо, Густав заметил, как изменилось это лицо за последние дни. Там, во дворце, на людях, среди придворных, окруженный раболепством, под которым скрывалась тайная вражда, герцог казался по-прежнему спокойным, гордым и холодным, затянутый в расшитый мундир и сопровождаемый свитою, но здесь он был один, дома, у себя за столом, в своей домашней, подбитой горностаем шубке, и, видимо, отдыхал, устав носить маску. Щеки его казались теперь обвислыми, глаза ввалились, взгляд потускнел, затуманенный выражением тихой, беспредельной грусти.

Густав взглянул на него, и ему стало жаль брата.

— Что с тобою, ты устал? — спросил он.

Герцог медленно покачал головою, но ничего не ответил.

Густав тихонько опустил на стул против него. Герцог долго смотрел на него все по-прежнему, тем же тусклым взглядом, и спросил наконец:

— Да, так что же ты хотел сказать мне?

— Да я насчет свадьбы своей... посоветоваться... — начал было Густав. — Как же мне теперь, когда же?

«Ах, они все о своих делах!» — ясно сказалось выражение лица герцога, и, сморщившись, он проговорил:

— Нужно подождать.

— Как подождать?

— Да сегодня издан указ о том, что в течение трех месяцев со дня смерти государыни нельзя справлять свадьбы.

И герцог снова наморщился, на этот раз от неприятного воспоминания, а таковым был упрек, услышанный им от Анны Леопольдовны по поводу свадебного поезда, проезжавшего под дворцовыми окнами. Чтобы освободиться от

него, герцог-регент издал указ, но воспоминание все-таки осталось.

— Неужели три месяца?! — безнадежно воскликнул Густав. — И ничего нельзя сделать?

И брат ответил ему, что сделать действительно ничего нельзя.

А на другой день по всем церквам читался указ, повелевавший «от времени преставления блаженныя и вечнодостойныя памяти ея императорского величества, считая четверть года, в С.-Петербурге никаких свадеб не венчать, и о том во всех церквах тотчас с запрещением объявить».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

СТАРЫЙ ДОМ

Как-то совершенно случайно, постучав в одном месте в стене своего тайника, князь Борис понял по звуку, что там было пустое пространство.

Ему сейчас же пришло в голову, нет ли там чего-нибудь вроде денег, запрятанных его отцом. Это казалось вовсе не невероятным, так как он знал, что его отец скрывался в тайнике с собутыльниками иногда на неделю безвыходно и там у них шли не только попойки, но и карточная игра на большие суммы. Очень легко могло быть, что тут же, где происходила эта игра, было устроено и хранилище необходимых для нее денег.

Чарыков-Ордынский рассказал о своем открытии Данилову и высказал ему свои предположения. Кузьма отнесся к идее произвести поиски сочувственно. Они попытались счастья, попробовали и действительно нашли в указанном князем Борисом месте скрытый шкаф со значительной суммой денег.

Князь был доволен этим и жалел только, что случай раньше не дал ему возможности сделать это открытие.

Впрочем, после некоторого размышления он заключил, что, собственно, даже хорошо, что деньги явились у него именно теперь. Будь это прежде — он, наверное, снес бы их в игорный дом и все равно остался бы без ничего. Но тут же у него явилась мысль, что ведь он мог бы и выиграть. И при виде денег в нем заговорила врожденная страсть к игре. А в самом деле, не пойти ли, не рискнуть ли и теперь? Ведь с таким запасом средств можно чудеса сделать, можно удвоить, утроить эту сумму... Но зачем, с какою целью? Того, что было в шкафу, могло хватить с избытком надолго. А ведь только этого и нужно было ему. И колебание князя было непродолжительно. Он сейчас же подавил в себе несуразное желание идти играть и сам улыбнулся ему как чему-то

невозможному, с удовольствием заметив при этом, как переменился он к лучшему.

— Ну, Данилов, теперь мы поправились! — сказал он Кузьме, показав на деньги.

— Лишь бы быть здоровым! — ответил тот по своей привычке, но по его улыбке видно было, что он тоже очень доволен, что они «поправились».

Князь Борис заметил тоже, что его постоянное занятие книгами, явившееся сначала от нечего делать, а потом мало-помалу по установившейся привычке, имело на него тоже отличное, какое-то освежающее влияние. Книги чрезвычайно облегчали ему его положение, на самом деле очень тяжелое благодаря одиночеству, которое приходилось ему выносить.

Правда, теперь князь жил в условиях, гораздо более благоприятных, чем прежде, в смысле жизненных удобств. Хотя и в тайнике, хотя и должен он был скрываться, но все-таки ему было здесь несравненно удобнее, чем прежде в старом доме. Там он был один-одинешенек, здесь обслуживал ему Данилов, и обслуживал с такою охотливою заботливостью, что заменял поистине целый штат прислуги.

Тайник был очень мило и уютно обставлен вещами и мебелью, принесенными из большого дома. Переносили эти вещи князь Борис и Данилов ночью, что послужило основанием к рассказам, жившим долго впоследствии и ходившим среди старожилов Васильевского острова.

В околотке знали, что приходили «караульные» с начальством, чтобы забрать кого-то в старом заколоченном доме князя Чарыкова-Ордынского, но забрали ли — это досконально известно не было, но только потом дом запустел окончательно. И вот как запустел он, так вдруг по ночам стали раздаваться в нем стуки.

Дьячок с кладбища, проходя мимо чарыковского дома, сам слышал, как там грохнуло, словно свалилось что-то, — и пьян он в этот день не был, а действительно слышал. Потом лавочник, человек вполне надежный и уже вовсе, кроме разве праздников, не берущий в рот хмельного, сам собственными глазами видел свет в старом доме, когда ночью проснулся, чтобы напиться квасу. Он пил квас и вкус его помнит и помнит, что как раз в двух окнах дома сквозь щели заколоченных досок виднелся свет, который помигал-помигал и пропал. Лавочник жил наискосок от дома.

Этот стук, слышанный дьячком, и мигающий свет, виденный лавочником, благодаря народной молве обрати-

лись в рассказах в такие страшные видения, от которых волосы вставали дыбом. Рассказывали, что будто бы по ночам в заколоченном старом доме каждую неделю, в определенный день, справляется тризна по покойному владельцу дома, причем ее справляют бывшие его люди, которых он замучил, потому что был варвар и тиран. На тризне раздаются стоны и «загробное пение». Что, собственно, такое это «загробное пение», никто объяснить не мог, но утверждали, что кладбищенский священник собственными ушами слышал его, будучи раз призван по соседству на требу ночью; а некий богатый купец, собравшийся на богомолье и тайно ушедший из дому ночью, проходя мимо проклятого места, видел, что из трубы вышел дым «огненный», и в этом огненном дыму кружились бесы, а весь дом внутри светился, как светляк, синим огнем, и там ходили, плясали и пели души замученных.

Таким образом быстро создавалась легенда, в которой кладбищенский дьячок обратился уже в священника, лавочник — в богатого купца, идущего на богомолье, а довольно мирный и, в сущности, никому не делавший зла, кроме самого себя, несчастный, постоянно пьяный старый князь Чарыков-Ордынский — в тирана, мучившего до смерти своих крепостных.

Но эти рассказы были на руку князю Борису.

Дело в том, что его имущество, то есть старый дом, было отобрано в казну, и начальство приезжало с землемером и архитектором осматривать его. Были даже присланы рабочие, однако они разбежались, после того как князь Борис с Даниловым, проникнув по подземному ходу в дом ночью, перепортили их работу и запрятали оставленные ими инструменты. Случилось также, что, на беду, архитектор, которому было поручено «смотрение» за домом, вскоре умер, и смерть его приписали влиянию старого дома. Новый архитектор пока еще не был назначен, рабочих не присылали, и старый дом оставался стоять по-прежнему, наводя суеверный страх в околотке своими таинственно заколоченными окнами и дверьми.

Впрочем, центр столичной жизни был уже перенесен на другую сторону реки, а на Васильевском острове начал уже обрисовываться характер по преимуществу торгового поселения; правда, там жили и военные, но дворянские дома, построенные при Петре, приходили в запустение, и таким образом дом князя Чарыкова-Ордынского не был

единичным явлением. И он стоял, этот дом, пока в неприкосновенности, и с этой стороны князь Борис был в безопасности.

II

В ЛЕТНЕМ САДУ

Чарыков-Ордынский жил, тая в душе надежду. Он почему-то был уверен, что время, переживаемое им теперь, переходное, что настанет день — и оно изменится, и изменится к лучшему, даже к очень хорошему.

Сама Наташа подала ему эту надежду на балу у Нарышкина, и он жил и ждал счастливой перемены и боялся вместе с тем, что вдруг она потребует его службы, что вдруг ему придется, как царевичу в сказке, доставать, чтобы получить свою царевну, живую и мертвую воду какую-нибудь, и вдруг он не достанет!

Впрочем, в конце концов он стал верить, что достанет. Судьба, видимо, покровительствовала ему. Без этого покровительства разве мог бы он так счастливо и удачно избегнуть арестов, устроиться в своем тайнике, провести старую лисицу Иволгина и, наконец, тут, сидя дома, найти под боком отцовские деньги? Лишь бы Наташа не забыла о нем!

Бывали минуты, когда Чарыкову казалось, что она может среди той жизни, которая окружает ее, забыть его, перестать думать о нем, и это были самые тяжелые, самые мучительные мысли для него.

С каждым днем князь Борис стал все нетерпеливее и нетерпеливее ожидать возвращения Данилова после свиданий его с Груней, надеясь, что тот принесет какое-нибудь известие о Наташе.

И вдруг в один вечер, на другой день после того как скончалась императрица и было объявлено регентство Бирона, Данилов явился с важною новостью: в мастерскую Шантильи Наташа прислала розовую кокарду, с тем чтобы ей сделали такую же.

Чарыков помнил, что это было условным знаком между ними, обозначавшим, что у Наташи есть настоятельная необходимость увидеть его, и весь вопрос теперь заключался в том, каким образом встретиться с ней.

Но решение этого вопроса нашлось сию же минуту. Чарыкову нетрудно было рассчитать, что Наташа по обязан-

ности поедет поклониться гробу почившей государыни, что там у дворца, в Летнем саду, будет сутолока народа и в этой сутолоке легко им встретиться. И он, надев свой прекрасный, безукоризненный новый плащ, заказанный недавно при посредстве Данилова, и темную шляпу с пером, отправился в Летний сад.

Князь не ошибся. Из-за дерева, за которое он стал, он скоро увидел Наташу. Она была одна. Он подошел к ней.

Как хороша, как мила, как бесконечно мила была Наташа в своем траурном одеянии, и как шло ей черное!.. Благодаря ли морозу и холодному ветру, дувшему в этот день, или вследствие неожиданной встречи — вернее, от того и другого — ее щеки разгорелись, глаза блеснули, и вся она была волнение, жизнь и радость для влюбленного, в первую минуту совсем было потерявшего голову Чарыкова-Ордынского.

Наташа сейчас же узнала его.

Но князь Борис видел, как она оглядела его, и заметил, что она была несколько удивлена его видом. Это удивление было приятное: очевидно, не только не ожидала встретить его здесь, но не ожидала встретить его в таком одеянии, благодаря которому ей не стыдно было остановиться с ним на народе.

Странное это было свидание мужа и жены, не знающих, в сущности, друг друга, свидание тайное, потихоньку от людей. Но Наташа впоследствии занесла в свой дневник впечатление от этого свидания, которое, как свидетельство-вала она, осталось памятным для нее на всю жизнь. В минуты этой ее встречи с князем в Летнем саду было много таинственного, романтического, и эта таинственность и романтичность сильно подействовали на ее воображение. Эта розовая кокарда, пересланная к портнихе, затем неизвестность, где и когда она встретится с Чарыковым, потом вдруг его появление перед нею в Летнем саду — все это было очень хорошо, весело, и как-то дух захватывало у любившей такие приключения Наташи. Князь Борис видел, что его жена была до того взволнована встречей с ним, что не знала, с чего начать и как заговорить с ним, когда он подошел к ней.

— Вы желали видеть меня? — спросил он ее.

Да, она желала видеть его, но в данную минуту решительно не помнила зачем. Впрочем, главную причину этого желания она сознавала — это было просто стремление узнать, что с ним, но это, конечно, она не могла сказать ему.

— Да, я хотела видеть вас, — ответила она, сама не зная, что говорит.

Ее сердце сильно билось, от волнения ли, или от испытанных во дворце ощущений, или просто от того, что дул ей навстречу сильный ветер, но она, чтобы скрыть свое смущение, сделала вид, что ветер мешает ей говорить.

— Я хотела видеть вас, — повторила она, — у меня есть дело к вам.

Теперь она вспомнила, какое «дело» занимало ее. Она хотела во что бы то ни стало спасти Бинну.

— У вас есть дело ко мне? — переспросил князь, радуясь и блестя глазами. — Приказывайте!.. Я готов сделать все возможное и, может быть, невозможное...

Наташа невольно улыбнулась этой его радости, с которою он ответил, и готовности.

— Но я боюсь только одного — что именно это окажется невозможным... для вас... — продолжала она и затем, не столько потому, что она надеялась на его помощь в данном случае, сколько для того, чтобы сказать что-нибудь в виде предлога, из-за которого она потребовала увидиться с ним, она сказала, что ей нужно «спасти одну молодую девушку».

— Спасти молодую девушку? — повторил князь Борис. — От чего же нужно спасти ее?

— От свадьбы; ее хотят выдать замуж насильно...

— За кого?

— За брата герцога.

Князь Борис невольно почувствовал, что его губы сложились в улыбку. Опять ему приходилось иметь противником Густава Бирона! И это почему-то ободрило его. Противником Густав Бирон был для него уже испытанным: он, князь, уже мерялся с ним и до сих пор выходил победителем.

— В чем же заключается невозможность? — спросил он.

— В том только, что это — брат герцога-регента, что он объявлен женихом этой девушки и свадьба, вероятно, будет скоро назначена.

— А можно задержать свадьбу? — снова спросил Чарыков.

Он сам не мог бы дать себе отчет, почему у него вырвался этот вопрос, — так просто спросилось; но этот вопрос имел огромные последствия.

Наташа удивилась и даже слегка отступила. Она до сих пор, в сущности, не верила в серьезность того, что Ордынский примется действительно за это дело.

— То есть как задержать? — переспросила она.
— Ну да, отложить хоть месяца на три, чтобы можно было сделать что-нибудь.
— Так вы хотите в самом деле взять на себя?..
Но князь Борис не дал договорить ей.
— Я не могу, княгиня, обещать наверное, ручаться за успех, — перебил он, — но постараюсь.

Это слово «княгиня» заставило Наташу вспыхнуть. Ведь она по его имени, по имени этого, по-видимому, сильного, смелого человека носила титул княгини, и теперь он косвенно напоминал ей это.

А князь Борис прямо глянул ей в глаза, когда она вспыхнула, и в ее взгляде прочел не гнев, не раздражение, а что-то похожее на улыбку. И ради этой улыбки он готов был уже идти на смерть, если бы это понадобилось его жене.

Наташа теплее закуталась в шубку, собираясь идти.

— Помогите вам Бог! — сказала она. — Я вам дам знать.

— Пришлите к мадам Шантильи переделать что-нибудь и вложите в подкладку записку — она будет доставлена мне, — произнес Ордынский.

Наташа кивнула и быстрыми шагами пошла к выходу из сада.

III

ЧЕЛОВЕК

Там, в саду, князю Борису, опьяненному прелестью стоявшей перед ним взволнованной и раздумавшейся женщины, легко было обещать сделать ради нее невозможное, но, когда он вернулся домой и первый порыв радостного чувства свидания с Наташей прошел у него, он опомнился и подумал о том, что он говорил ей и что говорила она ему.

Нужно было спасти кого-то, и спасти не от кого другого, а опять от брата герцога! Он, князь Борис, спас Наташу, и теперь ему приходилось делать то же самое. Но не мог же он вторично жениться сам, да если б и мог — не сделал бы уже этого!

Он, оказывалось, не знал даже имени той девушки, которую ему надлежало спасать. Но в том разговоре, который он вел с Наташей в саду, не могло быть ни последовательности, ни обдуманности. Он хватал ее слова на лету и

думал вовсе не о содержании ее речи. Все дело было в том выражении, с которым говорила она, и это выражение было таково, что при воспоминании о нем можно было с ума сойти от счастья — до того билось сердце и душа радовалась при воспоминании об этом.

И как только мысли князя Бориса налаживались на думы о Наташе, так ему сейчас же начинало казаться, что все это — пустяки, что все можно сделать, все преодолеть и даже спасти неизвестную ему девушку. Ведь чтобы спасти ее, ему не нужно было, в сущности, предпринимать что-нибудь в отношении именно Наташи непосредственно. Достаточно было знать, от чего или, вернее, от кого надлежит спастись ее. А он знал, что тут замешан как главное действующее лицо брат герцога, значит, с ним и надо было иметь дело.

Однако, начав рассуждать последовательно, обстоятельно, князь Борис невольно терял свою почти сумасшедшую отвагу, старался создать для себя какой-нибудь план, но не находил его, путался, и все его соображения разбивались после первого же серьезного обсуждения и падали сами собою. Он чувствовал полную невозможность сделать что-нибудь.

Он все думал и думал об одном и том же. И эти его думы напомнили ему игрушку, бывшую у него когда-то в детстве: на бревне, по концам, сидели мужик и медведь, бревно качалось, и поднимался то один конец, то другой. Так и теперь у него то мужик, то медведь были наверху.

Он снова ждал возвращения Данилова по вечерам, ждал, не будет ли ему записки от Наташи. Данилов же теперь успел уже забыть свои страхи и чуть ли не открыто гулял по городу.

И вот однажды, когда душевное настроение князя Бориса было одним из самых неприятных (он занимался последовательным и разумным обсуждением обстоятельств), Кузьма явился и принес ему ожидаемую записку.

Оказалось, что Наташа прислала к Шантильи черную робу для переделки ее в траурную, и Груня в подкладке нашла записку.

Наташа писала, что начало сделано, что свадьба задержана на три месяца, так как в Петербурге указом запрещены свадьбы на четверть года после смерти императрицы.

Наташа имела полное право написать, что «начало сделано», потому что этот указ был издан не без ее, так сказать, участия или, по крайней мере, влияния.

На общем совете с сестрами Менгден было решено предпринять что-нибудь в пользу Бинны, и так как нельзя было помешать свадьбе, то следовало, по крайней мере, сделать так, чтобы оттянуть ее по возможности на более или менее продолжительное время. Юлиана взялась переговорить с Анной Леопольдовной. Результатом этого ее разговора и была схватка принцессы с Бироном, после которой герцог велел издать указ о свадьбах.

Князь Борис, получив записку, и обрадовался ей, и вместе с тем еще крепче задумался. От него требовали действий, его не забыли, надеялись на него, наконец, предприняли со своей стороны все, что могли, но что же мог сделать он?

— Князь, ваше сиятельство, — заговорил Данилов, подавший записку и остановившийся перед Чарыковым, — нужно пойти; там у нас человек возле самых дверей смерз.

— Как человек возле дверей смерз?

— А так-с! Как шел я сюда — торопился записку эту вам принести скорей, так недосуг мне было, — я перешагнул через него, а теперь пойти помочь надо.

Князь Борис сам поднялся и пошел посмотреть, какой такой человек у дверей их смерз.

— Может, пьяный? — усомнился он.

— Может, и пьяный, — согласился Данилов.

Но они все-таки пошли.

У дверей действительно лежал человек. Он, видимо, присел тут и впал в беспамятство. Одет он был в какие-то лохмотья, неспособные согреть не только в такую стужу, какая стояла на дворе, но даже в простой холодок.

Было темно, разглядеть лицо человека было трудно.

Князь Борис нагнулся, различил, что человек окоченел, и сказал Данилову:

— Ну, делать нечего — отогреть надо, тащи домой!

— Как же домой-то? — переспросил тот, замедлив. — Разве ж туда можно? — И он указал в сторону тайника.

— Не умирать же ему здесь! — решил князь Борис, поднимая уже под мышки лежавшего человека.

Данилов не заставил повторять себе приказание и стал помогать князю со стороны ног. И они дружными усилиями потащили человека к себе в тайник.

— Батюшки светы мои! — воскликнул Данилов, когда они принесли его туда и уложили. — Да ведь это — тот самый сыщик, который... — и, недоговорив, он крепко вы-

бранился, забыв на этот раз даже о присутствии тут князя Бориса.

В самом деле, перед ними лежал в оборванном, чужом, нищенском платье закочневший Иволгин.

IV

ГОЛОД — НЕ ТЕТКА

Когда Иволгин, уверенный, что ему несдобровать, бежал из дворца, после того как увидел свою новую ошибку и то, как он попался на этот раз, он кинулся куда глаза глядят.

Он быстро-быстро бежал дальше, как можно дальше от этого дворца, словно за ним уже гнались и готовились схватить его. Он бежал, только не домой и, конечно, не в Тайную канцелярию, но сам не знал, куда именно несли его ноги. Он иногда даже зажмуривал нарочно глаза и как-то очертя голову стремился вперед с единственной целью уйти как можно дальше от дворца. Это было главное.

Когда он огляделся наконец, то увидел, что очутился на Петербургской стороне. Дома тут были все больше деревянные, маленькие, с закрытыми ставнями, фонари горели тускло, и только окна аустерии блестели огнями.

Первым движением Иволгина при виде этих окон было удалиться скорее от этого места как от гибельного, — он боялся в эти минуты встретиться с людьми. Но, к счастью, ему пришло в голову, что, наоборот, вместо гибели аустерия может послужить ему на пользу.

Он успел уже отдышаться от быстрой ходьбы, и вместе с этим к нему возвратились сознание и способность соображения. И он сообразил, что ему следовало делать. Он приосанился, оправился и смело вошел в аустерию, но не на чистую ее половину, а на грязную.

Там он выменял свое платье на другое, гораздо худшее, под условием, что за разницу в цене платья его и полученного им ему дадут водки и вина.

В такой сделке по тогдашнему времени не было ничего необыкновенного: сплошь и рядом посетители черной половины оставляли одежду или в залог, или в уплату за потребованное вино и пиво.

Иволгин переоделся, чуть ли не залпом выпил всю отпущенную ему водку и, придя благодаря ей в душевное равновесие, но не опьянев, весьма довольный вышел на

улицу. Однако тут сейчас же и исчезло его довольство: он снова должен был идти куда глаза глядели.

И вот с этой-то минуты, как он вышел из аустерии, началось для него существование безнадежное, беспросветное и ужасное по своим подробностям.

Приюта не было нигде, или, вернее, он боялся где-нибудь искать приюта. В первые дни у него еще были кое-какие деньги. Он мог, по крайней мере, есть и согреться водкой. Только спать было негде. С деньгами он переночевал еще на постоялом дворе раза два, но, когда они вышли, стало тяжело, да и есть уже было нечего.

Мало-помалу Иволгин менял одежду все на худшую и худшую в кабаках и аустериях и наконец очутился одетым в нищенские лохмотья.

Не боясь быть узнанным (в одной из аустерий он видел себя в висевшем там обломке зеркала и сам не узнал своего лица — до того изменилось оно), он протягивал руку прохожим за подаванием, питался поданными ему в окна на кухнях объедками, но не мог попасть в ряды нищих-богачей, то есть тех, например, которые стояли на папертях по церквам в праздничные дни. У них было свое, тесно сплоченное общество, круговая порука, нечто вроде артели, в которую они не допускали всякого. Когда к ним хотел примкнуть Иволгин, они потребовали от него паспорт и припугнули полицией, когда такого документа у него не оказалось. И он отстал от этих нищих, так как полиции боялся больше голода.

Много ли, мало ли прошло дней с тех пор, как Иволгин скитался по улицам Петербурга, он окончательно потерял счет времени. Он знал только, что с каждым днем становилось все холоднее и все труднее и труднее было ему перебиваться.

Наконец эта ужасная, хуже всякой пытки жизнь, эти бессонные ночи, холод, голод стали невыносимы. Иволгин дрожал всем телом, тщетно кутаясь в свои лохмотья. Ноги и руки у него ныли, и в голове стучало. При пронзительном ноябрьском ветре было жутко холодно стоять, переминаясь с ноги на ногу, а идти — ноги отказывались.

Беда была еще в том, что Иволгин лично знал в Петербурге, начиная с самого герцога, много высокопоставленных лиц, но нечего было и думать идти теперь к ним, приятелей же, товарищей у него не было, он не имел ни одного человека, на которого мог бы рассчитывать. К нему или относились безразлично, или если и питали какое-нибудь чувство, то это чувство была вражда, и только вражда.

И тут невольно несколько раз вспомнил Иволгин о том человеке, которому он хотел принести — правда, по долгу службы — много зла, а именно о князе Чарыкове-Ордынском и о его «сообщнике» Данилове.

Ведь они были тоже отверженные теперь, такие же, как и он, но, по-видимому, они как-то устроились, — на Васильевском острове была какая-то таинственная дверь, в которую исчез Данилов, когда он, Иволгин, прослеживал его.

И эта дверь чаще и чаще стала возвращаться в памяти Иволгина.

А что, если пойти туда к ним, попытаться постучать в эту дверь? Наверное, прогонят.

Одно только — донести они не смогут, потому что, для того чтобы донести, им самим нужно будет открыться. А может быть, они и не заплатят за зло злом? Может быть, когда он опишет им свое положение, они и пустят погреться его? Во всяком случае, другого выбора нет. Единственно, куда он может направиться, где мыслимо для него искать помощи — только у князя Чарыкова-Ордынского. Всякий другой имеет полную возможность выдать его.

Поразительно странно распоряжалась судьба. Выходило так, что единственную надежду на спасение Иволгин мог искать только в людях, которым сделал одно лишь зло.

И, измученный наконец холодом и голодом, он, полуживой, едва добрал-таки до таинственной двери на Васильевском острове и, сам не помня как, впал в забытие, присев возле этой двери.

V

ТЕ ЖЕ И ИВОЛГИН

— Ишь, анафема, зашелся совсем! — воскликнул Данилов, взясь вместе с Чарыковым-Ордынским около закопченного Иволгина.

Они растирали ему руки и ноги сукном и водкой, которая нашлась в хозяйстве тайника.

Князь Борис достал фляжку с ромом и по каплям старался влить его в рот Иволгину.

А тот, действительно «зашедшийся», как сказал про него Данилов, лежал пластом и не выказывал признаков жизни.

Они сняли с него лохмотья, в которые он был одет, и Данилов невольно при виде тела Иволгина вспомнил, как и его сравнительно недавно раздевали так в Тайной канцелярии, перед тем как вздернуть на дыбу.

— Вот таким манером меня, — сказал он, слегка отводя руку Иволгина назад, не столько чтобы показать, как его пытали, сколько для того, чтобы проверить, возвращается ли к телу Иволгина от растирания гибкость, и ослабился, как будто то, что он говорил, было очень смешно и весело.

— Ну-ну, действуй! — подбодрил его князь Борис.

И снова они принялись за свое дело, не думая о том, за кем, собственно, ухаживают они и какое отношение имел к ним этот человек. Они просто старались отогреть его, вернуть к жизни живое существо, и делали это все с большим и большим старанием.

Князь Борис несколько раз пробовал, бьется ли у Иволгина сердце, и, замечая слабые движения его, не терял надежды. Через некоторое время биение сердца оживилось, ноги и руки стали согреваться. Иволгин открыл глаза.

— Ну, теперь нужно одеть его потеплее, — решил князь Борис.

Данилов без возражения, с охотой кинулся отыскивать все, что могло найтись у них, чтобы укрыть Иволгина.

— Завари-ка ему сбитню, что ли, — снова приказал князь Борис.

Кузьма и сбитень заваривать пошел так же охотно.

Благодаря распоряжениям князя и стараниям Данилова Иволгин сравнительно очень скоро окончательно оправился, с жадностью пил сбитень, заедая его хлебом и глотая, едва прожевывая, куски холодного жареного мяса, оставшиеся от обеда Чарыкова.

Князь отошел в сторону и сел с книгою, изредка взглядывая на оправившегося, насколько было возможно, Иволгина, сам, собственно, недоумевая, что произошло, и решительно не понимая, зачем он и Данилов оттерли и вернули к жизни эту каналью. Но, несмотря на это свое недоумение, он чувствовал, что, если бы ему пришлось сейчас начинать возню с Иволгиным, он опять начал бы ее.

А Иволгин, стараясь сделать движение, которым колотят себя в грудь, воскликнул:

— Блажен, иже и скоты милует! Я перед вами скотом был, скотом как есть писаным, и погибель готовил, а вы меня помиловали, отогрели и показали, что жив Бог в человеке... Именно Он внушил мне прийти сюда к вам,

чтобы я, скот недостойный, мог узреть милость Его. Так и вышло. Не отвергли вы меня, не отвергли, а откормили и насытили.

Голос Иволгина дрожал, на глазах появлялись слезы, и он, вследствие торжественной минуты видимо, старался говорить, подделываясь под язык священных рассказов.

Князь Борис слушал его невнимательно, не то чтобы не веря его льстивым словам и восторженному состоянию, но как-то чувствуя себя неловко при излиянии благодарности этого недавнего предателя. Данилов же, как только Иволгин пришел в себя, насупился и, сердито ворча под нос, хлопотал, убирая вещи, не взглядывая в сторону спасенного, как будто его тут и не было.

— То есть теперь, — продолжал Иволгин, опять шевеля руками и подымая взор к небу, — клятву даю, такую клятву, чтобы провалиться мне в преисподнюю, если я не заслужу этой самой милости, какую вы оказали мне здесь!.. Сколько моего века хватит, всю жизнь свою определю на то, чтобы послужить вам... Слуга я вам покорный, то есть такой слуга, который не продаст и не выдаст... никогда не выдаст!.. Клятву даю... Провались я в преисподнюю!..

Мало-помалу голос его слабел, веки опускались, язык заплетался. Теплота и утомление голода давали себя чувствовать, и Иволгин наконец умолк, задышав ровно и мерно и засопев носом.

— Уснул, дьявол! — проговорил Данилов и пошел готовить сбитень для князя.

Это происшествие с Иволгиным вдруг как-то хорошо подействовало на настроение Чарыкова-Ордынского. Бояться теперь со стороны спасенного предателя каких-либо подвохов не было основания, потому что он оказывался уже совершенно бессильным и ради того уже, чтобы существовать, должен был вполне подчиниться князю Борису.

На другой день, проснувшись утром после шестнадцатичасового сна, Иволгин, снова повторив все свои клятвы и уверения, выказал такую готовность к беспредельной преданности, что Чарыков-Ордынский решил оставить его. К тому же тот знал многое, начиная с образа жизни герцога-регента и многих вельмож и кончая характером их и характером взаимных их отношений, а эти сведения могли принести пользу для дела, занимавшего теперь Чарыкова.

Князь Борис слушал его рассказы, несколько раз переспрашивая и стараясь вопросами проверить, лжет он или говорит правду. Но Иволгин ни разу не сбился, не забыл

того, что говорил раньше, не спутался, и по всему казалось, что за достоверность его слов можно поручиться.

В самом деле, точность наблюдения и рассказа была развита у Иволгина как у сыщика превосходно, и он, как на развернутом холсте, сразу показал князю Борису почти всю картину жизни во дворце с ее интригами и со всей ее подноготной.

Оказывалось, что Бирона никто не любил и никаких приверженцев у него не было: всеми руководил исключительно страх перед этим человеком. Его боялись и ненавидели, и эта боязнь только поддерживала эту ненависть. Никто не осмеливался только сказать первое слово, но, если бы оно было произнесено лицом, мало-мальски имеющим значение, оно, несомненно, могло бы иметь силу искры, упавшей в пороховой погреб. Было почти ясно, что если дать эту искру, то герцога не станет. Войско против него. О населении говорить уж нечего. Его терпеть не могли уже за одно то, что он был чужестранец. В придворных кругах ему слишком завидовали, чтобы иметь к нему искреннюю дружбу.

О смерти государыни и о том, что Бирон был назначен регентом, Иволгин знал, потому что слышал указ об этом, и говорил, что герцогу несдобровать.

Долгая голодуха и скитания по улицам все-таки подействовали на него. Он, попав снова в тепло и на сытную пищу, не то чтобы словно опьянел от этого, но был в каком-то приподнятом состоянии духа, точно все было ничем, хоть ветряные мельницы ломай.

— Я вам говорю, сиятельный князь, — в который уже раз повторял он князю Борису, — что если за это дело взяться как следует, то можно устроить...

— Что же будет? — усмехнулся Чарыков-Ордынский.

— А что же... хотя бы и так!.. Я, сиятельный князь, сам на себе, могу сказать, испытал вашу силу. Если так, если пожелаете что серьезное затеять...

Но князь Борис не слушал рассуждений Иволгина и на будущее время сказал ему, чтобы он делал только то, что ему велят, и по-своему не умничал, если не хочет, чтоб его выгнали.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Черная роба Наташи, присланная к Шантильи, была готова и в подкладке ее пошла ответная записка князя Бориса, в которой он просил у Наташи, чтобы она дала ему возможность повидаться с нею. В тот же день от Наташи к Шантильи принесли бархатный берет, и Груня передала Данилову аккуратно сложенный листок бумаги, на котором рукою Наташи было написано:

«Приезжайте завтра ко мне в девять часов вечера».

Теперь, после того как она видела князя Бориса, одетого в саду более чем хорошо, она, не стесняясь, написала ему, чтобы он приехал к ней, очевидно, понимая, что князю Борису нужно было видеть ее ради дела и их свидание будет чисто деловое. Кроме того, ведь он разговаривал с нею почтительно, почти благоговейно, когда она два раза встретила с ним, а значит, от него нельзя было ожидать, что он позволит себе что-либо даже маломальски лишнее.

Князь Борис, получив эту записку так скоро, не выказал той особенной радости влюбленного, которая заставляет терять голову; напротив, он чувствовал, что особенно радоваться для него этому свиданию нечего, потому что заранее знал, что нужно будет вести себя с Наташей и осторожно, и осмотрительно совсем как чужому, чтобы выиграть в ее глазах.

Он надел черный шелковый камзол (у него появился уже этот камзол), черные чулки, башмаки с черными пряжками, пудренный парик и кружевное жабо и в нанятой Даниловым карете отправился в дом старухи Олуньевой, где жила Наташа.

На козлах важно и гордо восседал Кузьма в ливрее и треугольной траурной шляпе. Иволгин предлагал свои услуги стать на запятки тоже в виде лакея, причем уверял, что так изменит свое лицо, что никто не узнает его; но Чарыков-Ордынский отклонил это предложение.

Надо было видеть, с каким торжеством Данилов, видевший ливрейных лакеев в передней своего бывшего командира Густава Бирона, раскрыл дверь швейцарской олуньевского дома и возвестил громогласно:

— Его сиятельство князь Чарыков-Ордынский!

Олуньевские лакеи засуетились (старик Григорий Иванович уехал в деревню с теткой Наташи), побежали

наверх докладывать, и один из них чуть ли не бегом вернулся назад, издали уже сообщая, что «просят пожаловать».

Давно-давно не видал Чарыков-Ордынский той обстановки изящества и роскоши, в которую он входил теперь. Лаковые ступени лестницы с высоким канделябром, большой зал с лепниной по стенам и потолку, с золоченою мебелью, огромными зеркалами, широкою люстрой со стеклянными подвесками и большими окнами, завешенными красным штофом, лоснящийся, глянцевитый паркет живо напомнили ему далекие детские годы, когда большой богатый дом его родителей был так же полон слугами. И это воспоминание детства, и воздух роскоши, который охватил его, а вместе с тем возможность увидеть сейчас Наташу вдруг обдали его таким счастьем и радостью, что он должен был приостановиться на пороге, чтобы снова овладеть собою.

В это время справа из гостиной слышалось шуршание шелкового платья — мягкий ковер заглушал шаги, затем по паркету застучали маленькие каблучки, и Наташа растерянно-быстро, с нескрываемым испугом приблизилась к Чарыкову-Ордынскому.

— Что вы делаете? — заговорила она. — Я не ждала вас так прямо, открыто... Я думала, что вы через калитку как-нибудь... Ведь вас могут увидеть!

Это ее беспокойство за него было приятно князю Борису. Он улыбнулся светлою, счастливою улыбкою и ответил ей, что если бы его кто-нибудь и увидел, то, во всяком случае, не узнал бы в нем того князя Ордынского, которого разыскивали.

Наташа искоса остановила на нем глаза и, не сказав ему больше ни слова, повела его в гостиную.

Когда они вошли туда, она была уже совершенно другою. Теперь это была строгая и холодная, полная собственного достоинства женщина, у которой словно не бывало тех разгоревшихся глаз и вспыхнувших щек, с какими она вышла к мужу навстречу в зал. Она села на диван, указав Чарыкову-Ордынскому на довольно далекое от себя кресло, сложила руки и вопросительно-строго взглянула на князя, как бы задавая ему тот же самый вопрос, который он сделал ей в Летнем саду: «Вы желали меня видеть? Что вам угодно?»

— Мне нужно было, — заговорил Ордынский, как бы поняв этот ее взгляд, — переговорить с вами по тому делу, о котором вы мне сообщили...

— Неужели вы нашли возможным предпринять что-нибудь? — спросила Наташа.

Несмотря на то что форма ее вопроса скорее была признаком недоверия, все же чувствовалось, что на самом деле в ней этого недоверия нет и она скорее готова думать, что князь Борис действительно в состоянии что-нибудь сделать.

— Я опять должен повторить, — ответил он, — что обещать ничего не могу и ничего не могу сказать наверное, но сделаю... словом, буду делать, что могу... Для этого только нужно мне знать некоторые отношения, нужно познакомиться хотя заочно с тем обществом, в котором живут лица, заинтересованные в этом деле. Я ведь даже не знаю имени невесты...

— А вам необходимо знать его?

Князь Борис молчал.

— Вы настаиваете на том, — переспросила Наташа, — чтобы вам было известно это имя?

Видимо, она не хотела произнести имени Бинны.

— Я не настаиваю, — ответил он, подумав, — может быть, я обойдусь и без этого имени. Дело не в этом... Скажите, насколько силен герцог Бирон?

— Силен... герцог Бирон? — удивленно протянула Наташа. — Да ведь он же — регент! Он — сама сила и власть. Значит, что же спрашивать?

Чарыков невольно улыбнулся. Он хотел спросить совершенно не то.

— Я знаю, — поправился он, — что герцог — регент. Но мне хочется узнать, насколько он может рассчитывать на приверженность лиц, ему близких?

Наташа, наморщив свои узенькие темные брови и построив серьезное личико, старательно и подробно стала отвечать на вопрос князя Бориса.

И из ее ответа он узнал только подтверждение слов Иволгина о том, что герцог ненавидим более, чем когда-нибудь, что он вполне обособлен и ни на чью дружбу ему рассчитывать нечего.

— Ну а Миних? — спросил князь Борис.

— О старике Минихе я знаю лучше, чем кто-нибудь. Его сын женат на моей приятельнице, и мне ближе, чем кому-нибудь, известно его настоящее отношение к регенту.

— То есть что же? Неужели он выказывал как-нибудь свое недружелюбие к нему? — спросил Чарыков-Ордынский, заранее готовый уже не верить в искренность этого недружелюбия, если Миних выказывал его.

— Нет, — подхватила Наташа, — в том-то и дело, что он ничем никогда не показал себя против герцога. Но я, зная кое-что из его домашней жизни, зная некоторые его разговоры с принцессой...

Этого было совершенно достаточно князю Борису, чтобы верить. И он стал подробно расспрашивать о Минихе, состоявшем при особе принцессы, матери императора, про их взаимные отношения и об отношениях самой принцессы к регенту.

Наташа рассказывала, что регент с принцессой — чуть ли не открытые враги, что герцог Бирон, получив власть регента, как бы потерялся, увидев, что взвалил себе на плечи непосильную задачу — единолично выносить всю тяжесть правления и вместе с тем придворную вражду, всеобщую, неумолимую.

— За что, собственно, ненавидят его так? — спросил князь Борис.

И Наташа, сама не зная этого, ответила, как бы мог ответить один из философов, глубоко изучивших человеческое сердце:

— За то, что он был слишком счастлив в жизни.

И действительно, герцог Бирон, возвеличенный судьбою так высоко, почувствовал себя одиноким, без всякой поддержки на своей высоте, и, видя, куда бы ни оглянулся, одну только пропасть, нравственно испытывал то чувство, какое бывает, когда стоишь на какой-нибудь высоте на пространстве, едва хватающем для ног, и едва-едва удерживаешься, чтобы не свалиться, хотя того же самого маленького пространства совершенно достаточно, чтобы твердо стоять, когда кругом раскинута земля.

Он не мог не замечать огромной разницы между тем, что было прежде, когда жива была государыня, и тем, что было теперь, когда он один стоял на своей высоте.

Он сам более, чем кто-либо, сознавал, что его положение слишком непрочное или, вернее, не так прочно, как он желал бы этого, и потому часто, взволнованный и встревоженный обстоятельствами, несмотря на все умение владеть собою, не имел достаточно силы сдерживать себя и прорывался вспышками гнева, которые с ехидством подхватывались окружающими его врагами, раздувались и истолковывались вкривь и вкось.

Эти вспышки чаще всего проявлялись по отношению к принцессе Анне Леопольдовне и, главное, к ее мужу, принцу Антону, в которых герцог Бирон как в родителях импе-

ратора, от имени которого он правил, видел наибольшую помеху себе.

В особенности его злил принц Антон, как может злить только сильного человека личность слабая, не энергичная, вполне бесцветная, силящаяся, однако, показать из себя кое-что.

Дошло до того, что сдержанный и рассудительный герцог чуть было не вызвал на дуэль этого принца Антона, схватившегося за шпагу, сказав ему, что готов «развестись» с ним поединком, а в скором времени затеял вовсе уволить его в отставку от имени императора.

В то же время герцог-регент чувствовал, что на графа Миниха, которого сам же он приставил к принцессе, положиться вполне нельзя, равно как нельзя положиться и на хитрого, вечно больного и отлично пользующегося своею болезнью Остермана.

Про последнего очень долго и много рассказывала Наташа князю Борису. Остерман, в непосредственном ведении которого была вся иностранная политика, почти безвыходно сидел дома у себя в кабинете и как будто бы ничем, кроме своей работы да болезни, не занимался, но на самом деле с заднего крыльца к нему появлялись разные лица, сообщавшие ему все, что творилось и делалось, и будто бы уходившие от него с какими-то поручениями.

Разговор Наташи с князем Борисом тянулся очень долго. Но это был вполне серьезный разговор, в продолжение которого ни намеком, ни взглядом ни он, ни она не подали друг другу вида, что между ними может быть что-нибудь, кроме обоюдного интересующего их дела.

Чарыков-Ордынский не высказывал никаких планов, не делал никаких соображений; он только выспрашивал и делал это так последовательно, умно и обстоятельно, что Наташе легко было говорить, и она с удовольствием говорила и рассказывала, совершенно не замечая, как идет время. Только прощаясь при уходе, князь, взглянув на Наташу, живо почувствовал, что ведь он наедине с хорошенькой, молодою женщиной, которая нравится ему, которая способна, если захочет, все сделать с ним, за которую умереть он рад. И он вдруг не стерпел и поднял на нее свой вспыхнувший огнем взор, инстинктивно боясь встретить в ее взгляде, вместо ответа, холодность и строгость.

Она стояла прямая и спокойная, но он поймал ее взгляд. Она задышала чаще, грудь ее заколыхалась быст-

рее, и маленькие ноздри расширились. Ведь она была его жена, законная жена, ведь он любил ее. И он сделал шаг вперед...

Наташа оставалась по-прежнему неподвижной на своем месте и не протягивала ему руки на прощанье.

Князь понимал, какие минуты переживают они. Кинься он теперь к ней, возьми он ее...

Но она, словно очнувшись, вздрогнула вся, провела рукой по лицу и тихим-тихим голосом сказала ему:

— Прощайте же... идите!..

Чарыков поклонился ей и повернулся к двери.

— Постойте! — остановила его Наташа на пороге. — Слушайте... заслужите, сделайте невозможное... я...

И Чарыков-Ордынский поймал чуть договоренные слова Наташи: «Я для себя прошу».

И, сама уже не зная, что она делает, она кинулась вон из комнаты, добежала до своей спальни и остановилась посередине ее, как останавливалась, бывало, в детстве, когда ей случалось одной оставаться в бесконечных комнатах огромного теткина дома.

Да, она любила его и просила, чтобы он для нее сделал так, чтобы быть достойным ее и чтобы ей не стыдно было выказать ему свою любовь.

VII

СОН АННЫ ЛЕОПОЛЬДОВНЫ

Ночь; тихо все во дворце. Откуда-то издали, так издали, словно совершенно из иного мира, доносится по временам стук сторожей в чугунные доски, да собаки лают, но лениво, чуть слышно.

Анна Леопольдовна лежит на своей широкой постели под шелковым балдахином, и кажется ей, что и неподвижные складки этого балдахина, и занавесы на окнах, и все в этой тихой спальне спит, не шелохнется; да ночник горит, не мерцая, и муж ее так мерно и сладко дышит во сне. Только она одна не может глаз сомкнуть...

Она долго всматривается в эти складки балдахина. И вот они начинают как будто колыхаться, двигаться, свет ночника становится явственнее, вспыхивает, и Анна Леопольдовна видит себя, но не такую, какая она теперь...

Это было так недавно еще, но каким далеким-далеким прошлым кажется оно!

Правда, под строгим, суровым надзором держали ее тогда! Сидела она, бывало, на своей половине, поднявшись рано-рано, потому что императрица не любила, чтобы поздно спали. Не любила императрица также, чтобы кто-либо из посторонних бывал на половине принцессы, и потому никто не ходил к ней. Не любила императрица, чтобы в обыкновенные дни кто-нибудь обедал с нею, кроме самого герцога и семьи его, и Анна Леопольдовна должна была обедать одна на своей половине. И все выходило так, императрица не любила — и Анна Леопольдовна должна была подчиняться. Она и подчинялась.

Теперь она свободна... то есть, конечно, относительно свободна, но все-таки, по сравнению с прошлым, свободна. А с каким удовольствием отдала бы она свою теперешнюю свободу за свое тяжелое прошлое!..

Юлиана, ее вечный друг, с нею. При ней старая «tante» Адеркас, ее воспитательница... Жаль, что ее нет теперь; бывало, не спится — пойдешь к ней. У нее часто бессонница — и сидишь, и сидишь... И tante Адеркас рассказывает про свою молодость, про то, как и ей не спалось. Добрая, милая, хорошая была Адеркас!

А Юлиана храпит, бывало, ей все нипочем. И теперь спит, верно...

А разве можно спать, разве можно заснуть, когда сердце бьется так сильно-сильно, когда голова горит, в виски стучит и подушка кажется такою жаркою, что, как ни перевертывай ее, она еще хуже греет?

«А как бывает иногда хорошо и удобно спать на этой кровати! — думает Анна Леопольдовна. — Не нужно вспоминать, не нужно думать, нужно забыть...»

И она жмурит глаза, перевертывается на другой бок, словно уверенная, что в новом положении пойдут новые мысли. Но положение оказывается уже испытанным и таким же неловким, как все остальные, и новых мыслей нет, а все старые и старые... Разве она может не вспоминать, не думать, забыть? Разве ей мыслимо забыть?..

Вот он как живой стоит перед ее глазами — смелый, вольный, ловкий! Как она помнит до сих пор их первую встречу!

Это было на балу. На придворные балы и вечера, да еще на торжественные обеды, во время которых она с царевной Елизаветой сидела вместе с государыней под балдахин, а герцог Курляндский, как обер-камергер, прислуживал государыне, принцессу Анну Леопольдовну пускали. И вот на одном из придворных балов среди толпы

мужчин, которые, словно колосья ржи по ветру, кланялись, по мере того как они проходили с императрицей, она вдруг заметила новое, не знакомое ей до сих пор лицо, но такое, которое, раз увидев, нельзя уже забыть, — так благородно и прекрасно казалось оно. И кланялся обладатель его, и одежду свою носил точно совершенно не так, как другие. Все было иное, и он был лучше, смелее и, очевидно, любезнее и умнее всех прочих. Он не был уже мальчиком, его красота не была тою женственною, миловидною красотою, которая свойственна мечтательным юношам; нет, это был сильный и крепкий мужчина, мужчина в полном смысле этого слова.

Улучив минутку на этом балу, к принцессе подбежала Юлиана, на ходу быстро кинула только: «Графа Линара видели? Прелесть!» — и скрылась в толпе.

Анна Леопольдовна знала, что Юлиана, конечно, говорит ей про «него», а тут сейчас же ей представили и его. Она опустила глаза, боялась поднять их, когда представляли его.

— Польско-саксонский посланник, граф Мориц Линар.

Так вот он кто! Он — посланник двора, по своему лоску и обычаю соперничающего с французским! И это придало еще больше значения красавцу Линару.

Как это началось, когда именно?

Анна Леопольдовна не знала — тогда ли, когда она впервые увидела его, или потом, или и раньше уже она знала и ждала только его появления, — она не могла дать себе отчет. Но это началось, сердце ее забилося (и бьется оно до сих пор), и точно она всегда, как родилась, знала Линара, и ее чувство жило в ней с самого ее рождения.

Сначала были улыбки, взгляды, недомолвленные речи, потом записки, которые он передавал ей сперва в фантах, а затем через верных людей.

И что было дурного в этих записках?

Старушка Адеркас все читала их. Она знала об этой переписке и смеялась только. Самый невинный, самый светлый и чистый был смысл этих записок.

И вдруг грянул гром. Государыня узнала об их переписке. Она не любила, чтобы принцессы ее двора писали записки польско-саксонским посланникам, и Анне Леопольдовне пришлось смириться.

Tante Адеркас выслали в двадцать четыре часа из Петербурга за границу. Красавца Линара, польско-саксонского посланника, отправили к своему двору с таким поручением, после которого он уже не вернулся вновь. И

все прошло, погибло, растаяло как дым, как сладкий, благоуханный сон.

Два года после этого прошли для Анны томительные, скучные. Но то, что ждало ее впереди, было еще хуже этой тоски.

Шесть лет тому назад приехал в Петербург племянник австрийского императора, принц Антон Ульрих, маленький, белобрысый, неловкий и застенчивый, робевший перед всеми. Он заикался, бедняга.

Анна Леопольдовна знала, что этого принца привез Левенвольд, разъезжавший сватом для нее по Европе, и только с ужасом спрашивала себя иногда, всплескивая руками: неужели он, этот принц Антон, будет ее мужем?

И он стал, этот принц Антон, ее мужем.

Ей сказали, что принцессы не могут выбирать, что их сердце должно биться единственно ради одного только чувства долга, а все остальные — должны быть заглушены.

Ее жалели, ей соболезновали, утешали ее, однако все-таки выдали замуж за принца Антона. Но больше всех, разумеется, жалела она сама себя и не одну ночь проплакала о том, как тяжело, как обидно, как невыносимо быть принцессой, и о том, зачем она родилась ею!..

И помнила она, как, плача, она поведала свое горе сильному, как казалось ей тогда, Волынскому Артемию Петровичу (бедный Артемий Петрович, кто мог думать, что случится с ним!) и как он ответил ей:

— Снесите, ваше высочество, терпеливо вашу судьбу, ибо в том состоят ваш разум и ваша честь!

Да ведь она молода была, хороша; она могла нравиться, потому что понравилась такому человеку, как граф Линар, который сам был лучше всех людей на свете. Что же ей разум, зачем ей эти почести, зачем ей цепи?

Но ее не слушали. Свадьба была отпразднована торжественно, пышно. И Анна стала женою бедного принца.

И вот он теперь тут, рядом с нею, спит блаженным сном, не зная и не желая знать, что с нею. Он рад, что ему хорошо, что его никто не обижает. Он боится всех... и ее, жены своей, боится. И так всегда — заснет как убитый, точно и мыслей у него в голове никогда не бывает.

А она думает, думает... и заснуть не может. И кажется ей, что занавесы балдахина колышутся, что раздвигаются они, и видятся огромный зал, весь в свечах, и бесконечная, бесконечная толпа народа, и Анна в этом народе ищет его, она видит его и все не может найти; вот-вот, кажется, он — как вдруг появляется покойная государыня, так вот,

как лежит она теперь в гробу, и говорит: «В том состоят ваш разум и ваша честь», — и исчезает все.

Принц Антон, ее муж, проснулся, ищет что-то на столике у кровати и, заикаясь, объясняет ей:

— Я пи-пи-пить хочу!

VIII

КАК ВОЛКА НИ КОРМИ

На другой день после поездки князя Чарыкова-Ордынского к Наташе Иволгин, хотя и оставленный жить в тайнике, но далеко не принятый еще окончательно во все мелкие интересы его, заметил, что князь Борис отдавал какие-то приказания Данилову.

Кузьма очень внимательно выслушивал их, видимо, как можно лучше стараясь понять то, что ему приказывали, потом ушел куда-то и вернулся после довольно продолжительной отлучки, принеся с собою часть какой-то одежды, которую Чарыков-Ордынский примерил и остался доволен ею.

На другой и на третий день повторилось то же самое. Данилов уходил и возвращался с покупками. Уходил и сам князь Борис и тоже являлся домой не с пустыми руками. По всему было заметно, что они что-то затевали.

Иволгин был оставлен дома, и на него в эти дни были возложены заботы по хозяйству.

Его сильно беспокоило любопытство узнать, к чему все это делается, любопытство, которое было развито в нем в высшей степени его последней должностью сыщика. Ему страстно хотелось узнать, в чем дело, впрочем, с самыми благонамеренными целями. Ему казалось, что он мог быть полезным, может помочь, и, по его мнению, совершенно напрасно удаляли его, потому что сам он считал себя очень опытным в таких делах. Однако предложить свои услуги или даже хотя бы намеком показать князю Борису, что он хочет вмешаться, он не смел и терпеливо подавлял в себе желание удовлетворить свое любопытство. Но когда наконец раз утром он увидел, как князь Борис, разобрав все заготовленное им и Даниловым, начал одеваться и преобразился в типичного восточного человека, в феске, в какой-то фантастической куртке, перевязанной вместо пояса шарфом, он не мог более выдержать и спросил:

— Куда ж это вы, сиятельный князь?

Князь коротко ответил ему, что это — не его дело.

Одеяние его было подобрано превосходно. Он достал из шкафа открытый ящик на ремне, наполненный четками, камешками, серебряными и золотыми звездами, треугольниками и квадратиками, маленькими скляночками и бумажными пакетиками, надел этот ящик на себя, и Иволгин сразу понял, к чему был весь этот восточный костюм. Князю Борису нужно было зачем-то явиться в виде одного из тех продавцов амулетов и разных снадобий, которых много в то время с Востока наезжало в Петербург и которые то и дело попадались тогда на его улицах.

В этом костюме князь Борис держался совершенно свободно и отлично играл свою роль, очевидно, прекрасно изучив тот тип, который изображал.

Иволгину не сиделось на месте. Как, куда и зачем пойдут князь Ордынский переодетый, ему нужно было узнать во что бы то ни стало. И как только вышел князь Борис, так Иволгин сказал Данилову, что ему нужно идти за провизией, и, забыв уже обо всем на свете, забыв, что это может стоить ему дорого, пошел, как гончая, раз попав на зайчий след, по следам князя Бориса.

Чарыков-Ордынский шел быстрою, развязною походкою и даже, кажется, напевал какую-то заунывную песню, в которой слышались гортанные нерусские звуки, шел, очевидно, с заранее определенною целью.

Пока они шли по Васильевскому острову, Иволгин боялся, как бы князь Борис не оглянулся и не заметил его, но тот не оглядывался.

На другой стороне реки следить стало легче, потому что там движение было сильнее.

Князь Борис замедлил шаг и стал подвигаться дальше, небрежно, рассеянно, делая вид, будто прохаживается с единственным намерением продать кому-нибудь свой заманчивый товар.

Мало-помалу он подвигался к Зимнему дворцу, и, судя по тому как он остановился возле него и стал осматриваться, притаившийся вдали Иволгин невольно подумал: уж не сюда ли направляется Ордынский?..

Так и было на самом деле. Чарыков-Ордынский вошел в ворота дворца, примыкавшего к служебным строениям, мало отличавшимся от обыкновенных домов Петербурга.

Иволгин напряг все свои силы и способности, чтобы не упустить ни малейшего движения его, и видел, как князь, войдя на двор, остановился посредине и смело и громко прокричал три раза что-то, относящееся к торговле амуле-

тами. Одно из окон нижнего этажа поднялось, оттуда высунулась рука, махнула, указывая на ближайшую дверь, и переодетый Чарыков-Ордынский со своим ящиком направился туда.

Давно Иволгин не бывал близ дворца, все выходы и переходы которого он знал хорошо, как собственное свое помещение. И — странное дело — тут, когда ему пришлось снова увидеть этот двор, эти стены, — он почувствовал вдруг себя прежним Иволгиным, тем Иволгиным, который был на службе, который выслеживал, пытал и доносил.

Какой бы это был дивный случай для его прежней практики! На этот раз князь Ордынский был бы так несомненно, так верно в его руках, дело было бы обстроено так чисто, что им можно было бы только любоваться, как любит художник своим отчетливо удавшимся произведением!

В душе Иволгина заговорила профессиональная любовь к своему искусству. Практиковавший столько времени сыщик проснулся в нем, и выше его воли было удержаться, чтобы не представить себе, как можно было бы сейчас пройти в караульную комнату и торжественно заявить там, ко всеобщему изумлению: «Вот он, этот неуловимый князь Чарыков-Ордынский... Хватайте его!»

Иволгин был сыт, одет, все выстраданное им во время его бездомного скитания отодвинулось далеко, словно это было давно и прошло, как тяжелое сновидение. Он чувствовал себя прежним человеком, усердным, никогда не дававшим промаха служакой.

Раз направленная в эту сторону мысль его заработала с отчаянной быстротой.

В самом деле, отчего ему было не открыть теперь истины! Он был уверен, что, явись он теперь и укажи на князя Чарыкова, таинственно пробирающегося во дворец, ему простилась бы прежняя провинность.

Ведь в самом деле, не виноват же он был, что вышла тогда такая неприятность с братом его светлости герцога Бирона! Ведь он поверил тогда доносу Данилова, которого можно было допросить, и был таким образом обманут сам.

Время шло. Иволгин ждал, что — того гляди — выйдет князь Чарыков, и тогда будет уже поздно. Он колебался и не знал, что ему делать. Не потому колебался он, что помнил, как он клялся в верной службе Чарыкову, после того как тот отогрел его. Об этом он в эти минуты совершенно забыл. Нет, он просто не знал: идти ли ему в кара-

ульное помещение или нет? Он не был хорошо уверен в том, как его примут там.

Однако все рассуждения, приходившие ему в голову, сводились к тому, что он должен был быть принят там хорошо.

Наконец, словно повинуюсь не своей, а чьей-то чужой воле, того чужого, прежнего Иволгина, он повернулся и решительно направился туда, где помещался караул.

IX

ПРОДАВЕЦ АМУЛЕТОВ

Появление князя Чарыкова-Ордынского во дворце в одежде продавца амулетов было устроено при посредстве все того же неизменного Данилова.

Мамка младенца императора, разумеется, неотлучно пребывавшая во внутренних покоях дворца, где помещалась Анна Леопольдовна с сыном, высказывала в девичьей соболезнования о том, что их бедная принцесса не спит по ночам и очень тоскует. И тут же решено было, что эта тоска может происходить от двух причин: или от дурного глаза, или от «смятения души».

Что, собственно, значило это «смятение души», в девичьей не разбирали, но единогласно было признано, что единственным средством как против того, так и против другого был заговор, и что хорошо было бы найти такого человека, который сумел заговорить печаль принцессы.

Мамка в удобную минуту намекнула об этом самой Анне Леопольдовне. Та сначала не обратила внимания на ее слова, но в девичью разговор мамки с принцессой перешел уже в таком виде, что принцесса не прочь поговорить с каким-нибудь сведущим человеком.

Стали искать подходящего. Выбор оказался огромный. Кто советовал пригласить знахаря финского из-под Шлиссельбурга, кто говорил, что на Петербургской стороне живет некая старуха, удивительная по своим познаниям. Предлагали старца замечательной жизни, который питается одной просфорой, да и то только воскресной. Нашли даже юродивого, обошедшего в одну ночь все «аглицкие царства». Но беда была в том, что никто доподлинно не знал, где сейчас найти финского знахаря, старушку, старца, питающегося одной просфорой, и юродивого, обладавшего изумительной способностью передвижения.

О толках в дворцовой девичьей узнала через девушек мастерица Шантильи Груня и сообщила Данилову, что вот какой случай: желает, мол, принцесса побеседовать со све-
дущим человеком, а не знают, где найти его.

Данилов рассказал об этом, в числе прочих новостей, князю Борису, и тот, подумав, научил его сказать Груне, что есть в Петербурге изумительный продавец амулетов, которого он, Данилов, может достать.

На Груню произвело неотразимое действие слово «амулет», и она сейчас же отправилась сообщить кому следует, что нужный человек найден. В тот же день мамка потихоньку, таинственно сообщила принцессе, что ее желание может быть исполнено: есть человек, который способен заговорить ее печаль.

— Какое желание? — удивилась принцесса, и, когда мамка объяснила ей снова, в чем дело, она действительно вспомнила, что был какой-то разговор об этом, но чтобы она и вправду желала какого-то человека, знающего заговоры, этого, казалось ей, не было.

Однако эта история заинтересовала ее. Она стала спрашивать, и — как ни странно это было — страшное до некоторой степени слово «амулет», так же, как на Груню, действовало и на Анну Леопольдовну.

Князь Борис рассчитал верно. Никто не мог внушить такое доверие, как продавец амулетов: ни старец, ни старушка, ни даже юродивый.

Принцесса Анна посоветовалась со своим другом Юлианой. Та сказала, что, во всяком случае, это будет весело, а продавца амулетов следует принять так, будто он из числа служащих во дворце, и одеться им попроще, чтобы он отнюдь не знал, что разговаривает с принцессой.

Так и сделали.

Когда князь Борис явился в условленный через Груню день и час и прокричал три раза условленные же слова, одна из девушек, нарочно поставленная для этого, подняла окно и махнула ему рукой.

Его ввели по лестницам и коридорам в комнату, уставленную шкафами. Девушка велела подождать ему здесь, а сама побежала докладывать Юлиане, что нужный человек пришел и ждет в гардеробной.

Принцесса и Юлиана были готовы. Они сами назначили этот час, когда младенец император засыпал и всякое движение на их половине, чтобы не беспокоить его, прекращалось, так что можно было с уверенностью сказать, что никто не появится.

Усмехаясь, переглядываясь и держась за руки, вышли Анна Леопольдовна и Юлиана в гардеробную. На них были белые пудермантели с накинутыми поверх простыми платками. Служанкам строго-настрого было запрещено говорить продавцу амулетов, кто с ним будет иметь дело.

Князь Борис, когда вошли принцесса с Юлианой, оглядел их наряд и поклонился довольно равнодушно, как бы признав в них самых обыкновенных смертных. Те в свою очередь оглядывали его, точно какой-нибудь занимательный предмет из кунсткамеры.

— Я не знаю, что же теперь делать? — сказала принцесса по-немецки Юлиане.

Юлиана вопросительно взглянула на Чарыкова. Он, несколько не смутясь, поклонился еще раз и спросил, кому гадать нужно.

Юлиана показала на Анну. Чарыков кивнул головою, долго, внимательно и пристально смотрел в лицо принцессы, вынул какой-то камешек из своего ящичка, попросил взять в правую руку и раскрыть левую. Затем он, глядя на эту раскрытую левую руку принцессы и по временам поднимая взор на ее лицо, начал говорить.

И с первых же его слов глаза Анны удивленно расширились. Изумление ясно изобразилось на ее лице. Она, как бы забыв все окружающее, вся обратилась в слух и внимание.

Этот с виду несчастный, совершенно простой человек, продавец амулетов, на своем ломаном русском языке говорил ей такие вещи, так раскрывал ей ее душу и чувства, как будто у самого его была душа, способная понимать все это. Мало того, он прозрачными намеками ясно передавал ей почти всю историю ее отношений к Линару, как будто или сам бывал в то время при дворе, или слышал это от кого-нибудь, бывавшего там. Но такое предположение не могло прийти в голову Анне Леопольдовне, и она безусловно уверовала в прозорливость продавца амулетов.

По-русски она сама понимала плохо и для того, чтобы уяснить себе русскую речь, должна была мысленно переводить ее по-немецки; переводя, она, незаметно для самой себя, дополняла рассказ гадателя запечатлевшимися в ее памяти подробностями, отчего этот рассказ выходил для нее еще более поразительным.

— Ну а буду ли я счастлива? — спросила она.

Чарыкову-Ордынскому нужно было сказать, что она непременно будет счастлива, и он произнес:

— Ты будешь счастлива! Ты увидишься еще с тем человеком, которого любишь. Он придет сюда посмотреть в твои ненаглядные очи...

Это обращение продавца амулетов на «ты» было и непривычно, и жутко для Анны Леопольдовны, и усиливало как-то ее веру.

— Да, ты увидишь его, — продолжал князь Борис, — если сумеешь устранить препятствия.

— Какие? — тихо, чуть дыша, спросила принцесса.

Чарыков ниже наклонился к ее руке и, как бы читая по ней, заговорил опять:

— Есть человек, которого ты боишься, дрожишь, когда входит он, которого ты ненавидишь... И ты права. Он добра не желает тебе. Пока власть его над тобою, не сбудутся твои желания. Но у тебя самой может быть большая власть, такая власть, которая у одной тебя будет в русском царстве. И тогда будет все то, что ты желаешь. Но для этого нужно сбросить чужую власть... нужно действовать.

Смысл этой речи был слишком понятен для принцессы. Она вздрогнула и боязливо оглянулась кругом.

— Я знаю, что ты думаешь, — продолжал Чарыков-Ордынский, — что ты одна, что некому помочь тебе. Неправда! Все его враги — твои друзья и помощники. А у него теперь остались на свете только одни враги. Значит, весь свет — твои помощники!

Это действительно был ответ на мысль, промелькнувшую у Анны Леопольдовны, и она слушала теперь гадателя почти с суеверным уже страхом.

— Ты думаешь еще, — звучал в ее ушах голос продавца амулетов, — что все эти твои помощники разрозненны, что нужен человек, который соединил бы их и сделал бы решительный шаг... И такой человек есть. Он возле тебя, военный, храбрый, старый, рассудительный. Когда ты захочешь говорить с ним, чтобы он действовал решительно, — надень на средний палец это кольцо. — И Ордынский подал принцессе небольшое кольцо с черным гладким камнем, на котором были вырезаны меч и жезл. — Весь заговор в этом кольце.

Принцесса машинально, как бы помимо своей воли, взяла кольцо. Чарыков взглянул на нее. Она была бледна как полотно. Юлиана, заметив ее бледность, поспешила увести ее.

— Ну, что, заговорил? — спрашивали в девичьей, когда провожали князя Бориса, и девушка, проводившая его, утвердительно кивнула головой:

— Заговорил!

В КАРАУЛЕ

Офицер в караульном помещении дворца благодушно лежал на диване и курил кнастер, пуская облака синего, крепко пахучего дыма. Печка, жарко натопленная, хорошо грела комнату, и ему было тепло. Лежал он удобно. Кнастер не успел еще прикуриться, как это всегда бывало в карауле под конец дежурства, где нечего делать другого, как курить. Офицер щурил глаза, словно кот, у которого чешут за ухом, и испытывал такую, казалось, лень, что ни за что не встал бы с дивана.

И вдруг в дверь просунулась голова вестового.

— Ваше благородие, вас спрашивают!

— Кто спрашивает?

— Неизвестно какой человек.

— Гони его вон!

— Говорит, по государственному делу.

«Ну, уж и задам же я ему «государственное дело», если только окажется, что это — какие-нибудь пустяки», — подумал офицер и велел впустить человека.

Вошел Иволгин.

Офицер следил в это время за кольцом из дыма, которое очень удачно вышло у него, и, только когда дым рассеялся окончательно, перевел глаза на вошедшего.

«Что за знакомое лицо? Редко попадаете такое скверное! — подумал он. — Достаточно раз увидеть, чтобы не забыть его... А где я его видел?..»

Но тут офицер неожиданно спустил ноги с дивана и почти крикнул:

— Да это ты, братец!..

Теперь он узнал Иволгина, которого видывал прежде во время дежурства по Тайной канцелярии. От товарища, бывшего дежурным там во время последнего неудачного ареста князя Чарыкова-Ордынского, когда вместо него был захвачен Густав Бирон, он знал эту историю и знал, что особым ордером приказано было бывшего сыщика арестовать каждому чину, который знал его в лицо, где бы он его ни встретил.

Только когда офицер воскликнул: «Да это ты, братец!» — Иволгин опомнился относительно того, что задумал было сделать. Вся его бодрость и деятельный вид исчезли, и он тупо и дико уставился на офицера, который

оглядел его с ног до головы, кликнул солдат и, не говоря ни слова, велел взять его.

— Извольте погодить, — заговорил Иволгин, видя, что принимаются серьезные меры. — Позвольте мне сказать вам только одно: ведь если бы я не имел важной причины явиться сюда, я не пришел бы, так как заведомо знаю, что меня арестуют. Уж если я явился сюда, так, значит, по серьезному делу Вы, конечно, извольте исполнить приказание начальства, арестуйте, но только послушайте.

На офицера, казалось, эти слова произвели впечатление; он сделал знак солдатам, чтобы они погодили, и переспросил:

— Ну, какое дело?

— Прежде всего необходимо сейчас же послать несколько верных людей, чтобы немедленно был арестован один из опаснейших врагов его светлости герцога Бирона, князь Чарыков-Ордынский.

Услыхав это имя, произнесенное Иволгиным, офицер рассмеелся, махнул рукою и сказал солдатам:

— Ведите его вон!

— Да нет, позвольте-с! — силился выговорить Иволгин. — Я вам докладываю по силе «слова и дела».

По закону, раз было произнесено «слово и дело», необходимо было забирать всякого, против кого это было произнесено. Офицер задумался, а затем спросил:

— Где ж этот Чарыков-Ордынский?

— Здесь, во дворце.

Это показалось уже более чем странным.

Офицер не мог придумать, каким образом этот так долго разыскиваемый князь Чарыков-Ордынский мог очутиться вдруг во дворце и можно ли подымать тут переполох в силу этого доноса. Он заблагорассудил написать рапорт дежурному камергеру о том, что бывший сыщик Иволгин, по «слову и делу», указывает в самом дворце Чарыкова-Ордынского.

Через несколько времени, при посредстве камергера, пришла небрежно написанная карандашом на клочке бумаги записка на немецком языке самого регента-герцога о том, чтобы не нарушать спокойствия императорской резиденции, а сумасшедшего сыщика Иволгина, которому везде чудится Чарыков-Ордынский, отправить на излечение.

Получив эту записку, офицер на этот раз решительно сказал солдатам про Иволгина: «Уведите его!» — и сам

вышел на крыльцо караульного помещения, так как отправка арестованного была по личному приказанию герцога.

Между тем Иволгин, едва вывели его на улицу, во все горло закричал, показывая на спокойно шедшего по другую сторону продавца амулетов:

— Вот он, ей-Богу же, держите!..

Но солдаты зажали ему рот.

XI

ДЕТКИ

Редко когда люди, поставленные высоко в служебной иерархии, знают, что значат истинная работа и труд. Правда, они всегда охотно держат при себе людей, которые работают и трудятся, и награждают их как нужных для себя людей, но наряду с этим иногда и пустяки принимают за важное дело, если эти пустяки затеяны каким-нибудь лицом, пользующимся протекцией и связями. И ничто более не может оскорбить истинного человека дела, как то, когда наряду с его трудом поставят какую-нибудь затею, иногда совершенно пустую и ничтожную.

Так было со стариком Минихом, которому пришлось возиться с проектом Густава Бирона о переделке солдатских шляп в картузы для лучшей «солдатству теплоты и покоя». Говорили, что это — идея самого регента и Густав Бирон сам «разрабатывал» проект о картузах и занимался им.

Старик Миних, с молодости упорным трудом пробивший себе дорогу, вступивший в русскую службу из-за границы по предложению русского посла Долгорукова, видевший царствование Петра и прошедший суровую школу великого императора, в которой работа была действительно работою, должен был теперь, в угоду обстоятельствам, возиться с пустяками, которые делал, в сущности, от безделья, брат регента, и, как генерал-фельдмаршал, серьезно обсуждать проект о картузах.

Он работал как вол, когда при покойной государыне дело шло о кадетских корпусах, которые учреждались для образования молодых людей; о тяжелой кавалерии, которой не было в русской армии; наконец, об упорядочении русских прав. Это были действительно серьезные вопросы, ко-

торые требовали и осмотрительности, и знания дела. Но картузы вместо шляп решительно не могли вызвать сочувствия деятельного и серьезного старика графа Миниха. Он читал проект и удивлялся, как можно было исписать столько бумаги по такому вопросу и рассматривать картузы даже с исторической точки зрения. Он несколько раз отрывался от чтения и с усилием принуждал себя приняться за него вновь.

— Мы не помешали... можно войти? — раздался в дверях осторожный и тихий голос.

Миних вообще был бы рад, если б ему помешали, но тут, помимо этой радости, он был доволен еще и теми, которые помешали ему. Он узнал голос сына и увидел в дверях стройную фигурку его молодой жены, входившей вместе с ним.

— А, Kinderchen, детки! — проговорил он, откидываясь на спинку кресла и протягивая им руки.

Доротея быстро подошла к нему, протянула ему свои руки и звонко поцеловала его в щеку.

— Все за бумагами! — заговорила она. — Это, должно быть, очень скучно? Вот мы заехали помешать. — И, заметив, что свекор не в духе, она постаралась растормошить и развеселить его, как только может и умеет делать это счастливая молоденькая женщина, желающая передать всем окружающим избыток своего счастья. — Ну, папочка, милый, улыбнись!.. Полно, ведь весело, хорошо все!.. Ты посмотри, какая погода на дворе... прелесть! Мы с Иоганном выехали с утра...

Несмотря на то что в этот день погода была отвратительная, с какой-то грязью, падающей с неба, старику Миниху, посмотревшему в окно и согретому лаской дышавшей жизнью и радостью Доротеи, показалось действительно, что день был прелесть.

— И что за милая жена у тебя! — протянул он, как бы думая вслух и обращаясь к сыну.

Молодой граф Иоганн, все время с улыбкой следивший за Доротеей, проговорил:

— Да! И, представьте себе, я каждый день нахожу в ней новые достоинства. Сегодня еще я ей говорю, что ей нужно купить новое платье для будущей свадьбы ее сестры Бинны, а она мне говорит: «Зачем мне новое платье? Мы лучше отложим эти деньги. Когда же сестра будет венчаться, то я и в старом могу быть на ее свадьбе». И мы условились и на будущее время поступать так, чтобы экономить по возможности на нарядах и понемножку составлять из

этого капитал, один процент с которого отдавать в пользу бедных.

Доротея густо покраснела и, смутившись, шепнула мужу:

— Ах, Иоганн, ведь это же был секрет!.. Я вовсе не хотела гордиться этим.

Но Иоганн пояснил ей очень определенно, что у него секретов от отца нет.

— Ну, где же вы были? — спросил старик Миних.

Доротея, как бы желая тут же доказать мужу, что она каждое его слово принимает к сведению и что у нее тоже нет никаких секретов от его отца, принялась до педантичности подробно рассказывать свекру о том, куда они ездили в это утро, что делали, что говорили, и даже о том, что думала она. Все ее мысли были, разумеется, о муже и о ее любви к нему.

— Что же, ты так с ней и не расстаешься? — обратился старик граф к сыну, кивнув ему на жену.

— О нет! — рассудительно ответил тот. — Когда есть дело или служба, тогда я, конечно, должен оставить ее.

— Да, и я отпускаю его! — подхватила Доротея. — Вот в особенности дежурство во дворце бывает скучным! Вот теперь, восьмого числа, он опять дежурный там... Во-первых, он всегда ужасно устает, а потом, я одна и мне скучно...

— Ах, Доротея! — начал было Иоганн, как обыкновенно начинают мужа говорить женам о вопросах, несколько раз уже поднимавшихся в их супружеской жизни.

— Ну да, да, я знаю, — согласилась Доротея, — но только...

— А, ты дежурный восьмого? — перебил старый граф.

И они заговорили о дворце и о придворных новостях.

Растормошив и развеселив по-своему старика, Доротея и муж ее уехали, и Миних снова остался один перед своим скучным, не интересовавшим его проектом.

И как еще темнее кажется мрачный осенний день после того, как случайно проглянет неожиданно откуда-нибудь, с края неба, солнечный светлый луч, так и старику Миниху грустнее стало одному после отъезда молодых. Он решительно отложил бумаги и задумался.

Правда, он был теперь генерал-фельдмаршал, взысканный почестями и милостями покойной государыни. Но эта государыня была уже покойная, и от кого ему теперь ждать за свою дальнейшую службу новых наград и милостей?

Во главе правления стоял такой же простой смертный, как и он, даже более простой, потому что род Минихов принадлежал к старинным немецким родам, а Иоганн Бирон никакого не имел отношения к известной французской фамилии Биронов, к которой он причислял себя, и даже был вовсе не Бирон, а Бирен, немец из Курляндии. И ему, старику Миниху, сподвижнику Петра Великого, приходилось теперь ждать милостей от этого случайного человека! Приходилось ради его удовольствия возиться как с серьезным делом с измышлениями его брата о каких-то картузах и ради них потерять целое утро.

Приезд сына несколько освежил его, и он действительно искренне порадовался, глядя на их молодое счастье. Но теперь неотступно лезла ему в голову мысль: «Хорошо! Это теперь хорошо!.. Ну а что же потом? Пока я жив, мой Иоганн не затеряется, я сумею поддержать его и помочь ему... Ну а после моей смерти какая участь ожидает Иоганна? Вот герцог Бирон желает устроить своего сына, замышляя чуть ли не женить его на цесаревне Елисавете Петровне, и уж, наверное, дочери герцога Ядвиге, когда она выйдет замуж, не придется, как Доротее, экономить на нарядах».

То, что затеяла Доротея, было очень мило, но, когда старый Миних вспомнил об этом, оно больно кольнуло его. В самом деле, разве он мало услуг оказал России, разве он не имел если не большее, то, по крайней мере, такое же право на первенствующую власть здесь, как курляндский выходец Бирон?

XII

ПИСЬМО

Чем больше думал Миних, тем больше убеждался, что мысли его справедливы и что судьба безжалостно несправедлива к нему.

Положим, он сам был обязан герцогу Бирону всем. Так считал сам герцог, но Миних, в душе разумеется, не мог согласиться с этим.

Бирона и в помине еще не было, когда он служил уже императору Петру, а затем, по воцарении Анны Иоанновны, не герцог Бирон, а он, Миних, повел русские войска в Польшу, взял Данциг и принудил поляков избрать в угод

России Августа III королем. Он же на следующий год воевал против татар в Крыму, потом с турками и взял Очаков, Яссы и выгнал молдавского господаря из его владений. Миниху сильно хотелось тогда стать самому господарем Молдавским. Ведь мог же Бирон получить герцогскую корону Курляндии!.. Но это не удалось Миниху. Он желал помириться на титуле герцога Украинского, на что будто бы императрица ответила: «Что ж, он скромен! Чего ж он не просит титула великого князя Московского?»

Что же сделал для него Бирон? А вот что: за то, что Миних вечно соблюдал его интересы и действовал исключительно в его пользу, он не тормозил только наград, следуемых Миниху за его деятельность.

Но разве это были те награды, о которых мечтал Миних? Разве они удовлетворяли его, когда Бирон носил герцогскую корону при том дворе, где Миних был только генерал-фельдмаршалом? А между тем Миних знал себе цену и сознавал свои силы.

Этот проект о картузах, лежавший на столе перед ним, каждый раз, как он взглядывал на него, раздражал его еще больше и действовал, как масло, подливаемое в огонь.

И все мрачнее и мрачнее становился Миних, сидя на своем кресле у стола, заложив нога на ногу и крепко стискивая руки, так что по временам хрустели суставы его длинных, красивых пальцев.

Вдруг в дверях появился лакей с маленьким подносом в руках, на котором обыкновенно подавались письма.

— Что, письмо? — обернулся Миних.

Лакей, как бы в свое оправдание тому, что вошел с письмом в то время, когда старый граф был занят, пояснил, что это письмо было отдано с приказанием немедленно передать его, так как оно очень нужное и спешное.

— От кого? — спросил Миних, взяв письмо с подноса.

— Об этом не сказали, — ответил лакей. — Принес его человек в дворцовой ливрее.

— В дворцовой ливрее? — удивился Миних и, отпустив лакея, поглядел на адрес и печать письма.

Адрес был написан совершенно не знакомой ему рукою, но титул, имя и отчество его были прописаны верно. На печати, которая, видимо, была сделана камнем, вырезанным на кольце, были изображены меч и жезл.

Миних мельком постарался вспомнить, у кого был такой герб, но, насколько память оставалась верна ему, такого герба ни у кого не было.

Он осторожно распечатал и развернул письмо и, развернув его, удивленно раскрыл глаза. Это был пустой лист бумаги без малейших признаков каких-нибудь начертаний.

Что это, глупая, неуместная шутка или ошибка?

Миних посмотрел бумагу на свет, подошел к окну. Бумага была толстая, синяя, почти не пропускавшая световых лучей, но, когда фельдмаршал подошел к окну, то вдруг заметил, что на листе выступают слабые признаки каких-то букв. Он понял, что письмо написано так называемыми симпатическими чернилами, которые выступают лишь через несколько времени при действии на них солнечных лучей, и повернул листок к свету. Буквы стали действительно вырисовываться яснее и яснее, и, наконец, стало возможно их разобрать.

Письмо было без подписи.

«Пора начинать, — писал анонимный корреспондент. — Пора сделать наконец то, чего желают все, и только нужно, чтобы кто-нибудь произнес слово и приступил к делу, которому все сочувствуют в душе и к которому бояться приступить, потому что нет у них руководителя и чловека, который сказал бы: «Идите за мной!»

Победитель Польши, татар и турок, герой Ставучан, взявший Хотин и Яссы и получивший в награду за это должность приспешника курляндского выходца, должен обладать достаточной смелостью, чтобы сказать эти три слова: «Идите за мной!»

Ту, от имени которой он может действовать, он узнает по кольцу, которое будет у нее на среднем пальце и на черном камне которого будут вырезаны жезл и меч печати этого письма.

Когда Миних дочитал письмо, руки его дрожали и словно чем-то холодным обдало его. В более удобный момент не могло к нему прийти это письмо, живо и точно ответившее его мыслям, мучившим его и прежде того, но никогда с такою силою, как сегодня утром.

Однако он был слишком стар и осторожен, чтобы сразу поверить какому-то анониму.

Первое, что пришло ему в голову, что это — ловушка, что, очень может быть, желают испытать и изведать образ его мыслей.

Ему нужно было решить сейчас же: не показать ли это письмо немедленно герцогу-регенту? Но его житейский опыт и знание людей подсказали ему, что во всяком случае это будет безрассудство; если он покажет это письмо — у герцога непременно явится мысль, что хотя сам Миних и

предан ему, но зато другие считают его, этого Миниха, удобным центром для сосредоточения своей вражды. И этого достаточно, чтобы доверие герцога к Миниху было окончательно потеряно. А между тем, если это — ловушка, то письмо показать необходимо.

И кто это «та», от имени которой он может действовать? Царевна ли Елисавета Петровна, Анна Леопольдовна или это — просто мистификация, нечто вроде маскарадного фанта?

Долго стоял Миних у окна, опустив руку с открытым письмом, стараясь вникнуть в каждую мелочь и обдумать ее, чтобы разобрать это дело. И по мере того как он разбирал, он все более и более убеждался, что это — не что иное, как ловушка, которую немедленно нужно разбить тем, что отправиться с письмом к герцогу Бирону. Он позвонил и, не выпуская письма из рук, велел скорее закладывать карету, чтобы ехать к Бирону.

Вслед за тем фельдмаршал раскрыл один из ящиков бюро, поспешно кинул туда, не глядя, письмо, запер ящик, старательно повернув два раза ключ, и пошел одеваться.

Военный, привыкший к походной жизни человек, Миних знал, что его карета будет готова через десять минут и сам он будет одет к этому времени. И действительно, когда он через десять минут вышел совсем готовый, в мундире, к себе в кабинет, отпер ящик бюро и достал письмо, явился лакей доложить, что карета готова.

Миних, прежде чем спрятать письмо в карман, хотел просмотреть его еще раз, но вместо этого письма был опять совершенно пустой лист бумаги.

В первую минуту фельдмаршал изумился, перевернул этот лист, чтобы убедиться, что не ошибся, что взял именно то письмо, которое было нужно. Адрес и печать были те же самые, он не ошибся.

Письмо было написано тем сортом симпатических чернил, которые выступают на свету и, если не закрепить, облив рукопись известным раствором, исчезают почти так же скоро, как выступили, и исчезают уже навсегда.

Это обстоятельство снова переменило весь строй мыслей Миниха. Он опять долго, так же как у окна, стоял с загадочным письмом у своего стола, затем разорвал письмо на мелкие клочки, бросил его в камин и, подождав, пока сгорел последний клочок, вышел в прихожую, надел плащ, велел подавать карету и, сев в нее, приказал ехать кучеру не в Летний дворец, где жил герцог и где стояло еще тело почившей государыни, а в Зимний, где была принцесса

Анна Леопольдовна со своим сыном Иоанном, императором всероссийским.

XIII

ЛОВУШКА

Принцесса Анна Леопольдовна после своего разговора с поразившим ее своею проницательностью продавцом амулетов пришла к себе в уборную сильно взволнованная и, как бы совершенно забывшись, отдалась в руки своих камер-юнгфер, которые принялись хлопотать возле нее.

Юлиана села у туалета и, угадывая причину волнения принцессы, видимо, старалась понять: радостно это волнение или нет?

Странный гадалщик говорил ясно о графе Линаре, с которым грубо была разлучена Анна Леопольдовна, и эти воспоминания прошлого могли разбудить в принцессе давно улегшуюся, как казалось Юлиане, горечь этой разлуки. Но он говорил также, что она может увидеться с ним вновь, и эта надежда на будущее могла явиться настолько радостною, что заслонит собою горечь воспоминания прошлого.

И Юлиана старалась по выражению лица Анны Леопольдовны распознать, о чем она думает, радуется или печалится и верит ли предсказанию продавца амулетов или нет. Сама Юлиана не верила.

Но напрасно она всматривалась в так давно изученное ею и так хорошо ей известное лицо принцессы. Оно казалось совершенно холодным, неподвижным; видимо, Анна Леопольдовна была совершенно безучастна к окружавшему и далеко-далеко унеслась своими мыслями. Она сидела, облокотившись на ручку кресла, и смотрела куда-то в сторону, мимо зеркала, машинально подчинившись одевавшим ее камер-юнгферам. Лишь когда ее сложная прическа была совсем уже готова, она вдруг заметила, что ей слишком крепко затянули волосы, и велела перечесть себя.

Туалет принцессы еще далеко не был окончен, когда пришли доложить, что приехал Миних.

В этом приезде не было ничего ни удивительного, ни необычайного. По распоряжению регента фельдмаршал состоял, так сказать, при Анне Леопольдовне, и на его обязанности лежало приезжать в любой час во дворец, чтобы узнать новости относительно младенца императора и его родительницы.

Тут только, когда доложили о приезде Миниха, Анна Леопольдовна заметила, что замешкалась со своим туалетом, и стала торопить своих камер-юнгфер.

Наконец, одевшись кое-как (впрочем, она всегда кое-как одевалась), она вышла к ожидавшему ее Миниху. Он был в розовой маленькой гостиной. Она вышла к нему одна.

И это свидание их, и весь последующий разговор происходили у них с глазу на глаз.

Миних, когда она вышла к нему, поглядев ей в лицо, поразившее его бледностью и блеском совершенно особенных глаз, чуть подернутых влагою, спросил о ее здоровье.

— Нет... так... ничего, — ответила принцесса. — Я совсем здорова... Просто погода действует на меня...

Миних подтвердил, что погода действительно отвратительная, совершенно забыв, как только что перед тем нравилась ему эта погода, когда хвалила ее Доротея.

Он справился о здоровье его величества императора. Анна Леопольдовна ответила, что сын ее здоров.

О принце Антоне Миних не спросил.

Как только села Анна Леопольдовна и предложила сесть и Миниху, тот заметил на среднем пальце ее руки кольцо с черным камнем и внимательно, быстро глянул ей прямо в глаза.

Когда он рассуждал о письме, то думал, что если письмо — не ловушка, то, скорее всего, оно идет от лица или, может быть, от сторонников Елисаветы Петровны, цесаревны, на которую такая выходка была вполне похожа, потому что соответствовала ее живому, бойкому характеру. От Анны Леопольдовны он этого не ожидал. Но тут, увидев кольцо на ее руке, он вспомнил известную ему сцену при перевозе младенца императора из Летнего в Зимний дворец, а также обхождение Анны со своим слабодушным мужем, и, взглянув на нее еще раз, понял, что и Анна Леопольдовна может быть способна на смелый шаг.

Она сидела и, опустив голову, машинально в это время вертела кольцо, которое было дано ей продавцом амулетов и которое она забыла снять, занятая совсем другими мыслями во время своего туалета. И теперь, случайно начав вертеть это кольцо, она обратила внимание и вспомнила относящиеся к этому кольцу слова странного человека, который якобы был способен «заговорить ее тоску».

— Как перевести по-немецки слово «заговор»? — спросила она у Миниха.

Он удивленно поднял брови, еще пристальнее поглядел ей в глаза и раздельно и внятно, стараясь следить за малейшим движением ее мускулов, ответил:

— Заговор по-немецки — *Verschwörung*.

Анна Леопольдовна вздрогнула.

Собственно, она спрашивала вовсе не о том заговоре, о котором упомянул своим переводом Миних. *Verschwörung* — означало заговор политический, комплот, а она думала о заклинании. Ей только что в гардеробной, передавая кольцо с черным камнем, говорили, что возле нее есть человек военный, храбрый, старый, рассудительный и что, если она хочет, чтобы он начал действовать решительно, она должна надеть при разговоре с ним это кольцо. Миних был военный, старый, а храбрее и рассудительнее его Анна Леопольдовна не знала никого при дворе. И вот он сам, увидав на ее руке кольцо, ясно намекает своим словом «*Verschwörung*» на то, что готов действовать решительно.

Теперь принцессе вдруг стал понятен этот продавец амулетов, так ясно рассказавший ее прошлое. Он, очевидно, был подослан Минихом, и не было ничего удивительного, что ему было известно поэтому ее прошлое. Не было тоже удивительно, что он говорил и о будущем, потому что, если Миних возьмется за это дело, есть полное основание ожидать, что удача будет на его стороне, и тогда она, Анна Леопольдовна, станет госпожою не только в этой обширной, совсем не знакомой ей стране, которую называют Россией и которая так широко расползлась по географической карте, но, главное, станет госпожою самой себе и выйдет из-под чужой, ненавистой и гнетущей ее опеки, не позволяющей ей увидаться с любимым человеком. Весьма понятно, что принцессе пришло также в голову, что Миних через своего продавца амулетов дал ей понять, что если она решится действовать, то в случае удачи немедленно будет вызван польско-саксонским послом красавец Линар в столицу Русского государства.

Для Миниха после того, как он увидел кольцо на руке Анны Леопольдовны, и в особенности после того, как она произнесла такое решительное слово, как «заговор», не было уже сомнения в том, что письмо, полученное им сегодня, было написано или самой принцессой Анной Леопольдовной, или же, во всяком случае, с ее ведома.

Им нужно было лишь высказаться. И они высказались.

XIV

ЗАГОВОР

В продолжение всего разговора Анны Леопольдовны с Минихом не было ни разу не только произнесено имя герцога-регента, но даже самое предприятие их не было определено словами. Они говорили недомолвками и намеками.

Миних не решился спросить у принцессы: она ли прислала ему письмо, а она, в свою очередь, не спрашивала его: его ли кольцо с черным камнем было у нее на руке. Им как будто достаточно было того, что они знают один про другого, что каждый думает, имели внешнее выражение согласия этих дум, закрепленное произнесенным принцессой словом «заговор», которое Миних перевел на немецкий язык словом «Verschwörung».

Несмотря на то что они сидели одни в розовой гостиной, они точно боялись, что сами стены подслушают их, и не хотели произносить вслух то, что думали. Но это им не мешало понимать друг друга, и этого им было довольно.

— Итак, значит, решено, — произнес Миних, внимательно взглядывая на принцессу.

— Решено действовать безотлагательно в первый же удобный к тому момент!

Анна Леопольдовна чувствовала, что в эти минуты решается ее судьба, что эти минуты — самые важные в ее жизни, могущие иметь решающее значение на всю ее будущность.

И какую светлую казалась эта будущность, сколько радостей обещала она, если удастся то, что затевают они с Минихом!

Между ними не было договорено, что принцесса станет во главе правления, но, во-первых, это разумелось само собою, а во-вторых, этот продавец амулетов, который, она была уверена, был подослан Минихом, говорил ей ясно, что власть будет в ее руках. Она хотела этой власти, но не для того, чтобы властвовать, — нет! Она готова была уступить все свои права фактически Миниху, если он потребует этого, и оставить за собою одно только право свободы, которая так нужна была ей и которой она никогда не пользовалась в жизни.

Но тут же у нее мелькнула мысль: «А что, если все это вдруг окажется лишь невыполнимою сказочною мечтою,

которая разобьется при первой же попытке перевести ее в действительность, и герцог выйдет победителем, как выходил он до сих пор победителем из всяких затруднений?»

Она закрыла лицо руками, крепко прижала ладони к нему и из-за них вдруг произнесла:

— А знаете, граф... Нет, лучше не надо!.. Я боюсь!

Она отняла руки и взглянула на Миниха, чтобы посмотреть, какое у него было выражение, чтобы узнать его ответ по этому выражению, так как он молчал и, видимо, не хотел отвечать словами. Лицо Миниха было спокойно и светилось его симпатичной, в былые времена стольким женщинам нравившейся улыбкой.

— То есть чего же вы боитесь, ваше высочество? — спросил он. — Ведь мы, кажется, ни о чем страшном и не говорили.

— Как не говорили? Вы мне сказали: «решено», а решиться на это...

— Мало ли на что можно решиться, ваше высочество!.. Впрочем, я ни о каком серьезном решении не говорил... просто так поболтали мы с вами, право, я не помню, о чем... Простите, если я напугал вас чем-нибудь!..

Но, говоря это, фельдмаршал знал отлично, что пугает ее теперь только именно своими словами.

И Анна Леопольдовна действительно испугалась, испугалась того, что ее надежды рухнули и что нет и не будет просвета в том положении, в котором она находилась под гнетом герцога-регента.

— Нет, неправда! — подхватила она. — Слышите ли, граф, неправда!.. Вы говорили, да!.. И вы знаете, о чем... Я согласна... Это надо, надо!.. Необходимо сделать во что бы то ни стало... какого бы это риска ни стоило!..

— Миних никогда не рискует! — серьезно и уверенно перебил старик. — Если я возьмусь за какое-нибудь дело, то это будет делом верным, и я доведу его до конца во что бы то ни стало!

— Доведете? Да?.. Тем лучше. А я помолюсь за вас и буду надеяться. — И принцесса дотронулась рукою до руки собеседника, которую он держал на коленях.

Миних пригнулся, поцеловал ее руку и произнес:

— Восьмого мой сын дежурный во дворце, и восьмого я обедаю у герцога.

Анна Леопольдовна опять, когда дело дошло до назначения срока, видимо, смутилась и протянула:

— Неужели восьмого?.. Так скоро!..

— Отчего же мне не обедать у его светлости восьмого числа? — усмехнулся Миних и показал поклоном, что просит, чтобы принцесса отпустила его.

Когда фельдмаршал уехал, Анна Леопольдовна долго не могла найти себе места. Напрасно она хотела приняться за работу с Юлианой; напрасно ходила в комнату к малютке сыну; напрасно бралась за книгу — книга просто валилась у нее из рук; в комнате сына ей не сиделось.

Но, несмотря на это ее беспокойство, ее лицо как-то особенно светилось в этот день внутренним, скрытым довольством, и глаза блестели незнакомым для ее окружающих лукавством. Щеки разгорелись слегка, и она все время была необыкновенно суетлива и разговорчива. Даже когда ее муж, заикаясь, стал приставать к ней, серьезно нахмутив брови, о том, что: «Гер... гер... герцог его оби... би...» — она сама, поняв, что он хочет сказать, добавила: «Обижает?» — и, против обыкновения, не рассердилась.

Юлиана несколько раз приглядывалась к ней, как бы без слов говоря: «Вот если бы ты всегда была такою!» А мамка сообщила свои наблюдения в девичьей, что тот сведущий человек, который разговаривал с принцессой, действительно сведущий, потому что, видимо, помог.

XV

ПЯТЬДЕСЯТ ЦЕЛКОВЫХ

Князь Борис, не на шутку принявшийся за дело, не пожелал упустить ни малейшего случая, который мог бы принести ему пользу.

Найдя отцовские деньги, он стал внимательнее относиться ко всему, что осталось в старом доме его отца, и, вспомнив про бюро, которое ломали, когда пришли арестовывать его, опять ночью пробрался с Даниловым в дом. Там, не стесняясь, со свечой он распоряжался так, что снова соседи в щели окон старого дома видели свет и, объятые суеверным страхом, крестились и засовывали головы под подушки.

Чарыков-Ордынский вытащил из бюро все оставшиеся там бумаги и перенес их в тайник.

— Нет, какова шельма! — сказал Данилов, вспомнив про Иволгина при виде бюро. — Как же, князенька, так его и повели?

Он все еще не мог опомниться после рассказа князя, когда тот вернулся из дворца, о том, как Иволгин, очевидно, хотел выдать его и кричал на улице солдатам, чтобы они схватили Чарыкова.

В первую минуту, когда князь Борис услышал тогда этот крик Иволгина, он, кажется, первый раз в жизни испугался.

Действительно, положение было очень опасное. Как он тогда остался на месте, не двинулся и не шелохнулся — он и сам не знал, но, конечно, бросься он бежать, за ним погнались бы, и все пропало бы. Его спасло то хладнокровие, которое люди считали в нем беспечностью, и он видел, как солдаты зажали Иволгину рот.

— А, ну его! — ответил он Данилову и принялся разбирать бумаги.

В этих бумагах князь Борис сразу наткнулся на интересную для себя вещь.

Это была маленькая записочка, на которой рукою его отца было написано, что такого-то месяца, числа и года взято у барона Андрея Ивановича Остермана наличными деньгами пятьдесят целковых.

Князь Борис сейчас же сообразил, что это был тот самый барон Остерман, который впоследствии получил графское достоинство и был теперь сильным человеком, занимая должность канцлера. Он знал о графе Остермане очень многое теперь по рассказу Наташи и в особенности по тому, что говорил Иволгин в первые дни пребывания своего в тайнике.

Остерман, умевший удержаться в продолжение стольких лет при дворе, в то время как многие не только впадали в немилость, но даже бывали сосланы и казнены, был хитрый, осмотрительный старик, который умел вести не только дела государственные, но и собственные. Он был спокоен за себя, этот старик, знавший всегда обо всем, что делалось за границей, в России, в Петербурге, а главное — во дворце, хотя редко сам выходил из дому, сидел больной в своем кресле и выдавал себя чуть ли не за умирающего. При малейшем усложнении дворцовых обстоятельств он немедленно садился в свое кресло, на котором носили его. Но о том, что делается, он знал через людей, приходивших к нему с заднего крыльца, и у него в кабинете имелась маленькая дверь, куда входили и выходили его «глаза и уши», посредством которых он видел и слышал все, что делалось в столице.

Герцог знал об этом, и среди шпионов Остермана были шпионы бироновские, а в числе их хаживал и Иволгин к

Остерману, разумеется, скрывая от него, что находится на службе у герцога.

Но никогда граф Остерман ни одним словом не проговорился, и никоим образом нельзя было заметить желания интриговать против герцога; напротив, он всегда перед Иволгиным был самым ярким сторонником Бирона.

Для шпионов у Остермана существовал особый условный знак для пропуска, который был известен теперь князю Борису от Иволгина.

Чарыков-Ордынский решил уже, что необходимо вернуть Остерману его пятьдесят целковых, и сомневался только, как это сделать: войти ли к Остерману через маленькую дверь, воспользовавшись известным ему через Иволгина знаком, или...

«Конечно, лучше прямо явиться», — решил князь и велел назавтра похлопотать Данилову о наемной карете, той самой, которую нанимал он, когда ездили к Наташе.

На другой день в этой карете Чарыков-Ордынский с Даниловым в его ливрее на козлах подъехал к дому графа Остермана. Данилов так же энергично, смело и громко провозгласил имя князя Чарыкова-Ордынского в сенях у Остермана, как сделал это и в олуньевском доме. И у Остермана лакеи побежали докладывать, услышав звучное титулованное имя и увидав внушительный рост Данилова и его новую, с иголки, ливрею.

Но все-таки здесь (Остерман был слишком важным лицом) не сразу впустили князя Бориса. К Данилову вышел старый дворецкий, несмотря на то что князь все сидел в карете, долго расспрашивал: какой это князь Чарыков-Ордынский да кто он и что он? Данилов храбро отвечал, что его сиятельство изволил недавно лишь приехать в Петербург и имеет до графа Ивана Андреевича настоящее и личное дело. Дворецкий, видимо, убедился и ушел, попросив подождать. Через несколько времени он вернулся и заявил, что граф просит пожаловать.

Князь Борис вылез из кареты, отдал свой плащ на руки Данилову и стал подыматься по лестнице вслед за дворецким.

Дом Остермана был большой, каменный, двухэтажный, в двенадцать окон по главному фасаду, на котором был сделан выступ с четырьмя большими круглыми окнами под высокою черепичною крышею. Из сеней вела наверх широкая лестница в два схода полукругом.

Подымаясь по этой лестнице, князь Борис невольно заметил, какая огромная была разница между щеголь-

ским, чистеньким и уютным домом, где жила его Наташа, и этими хоромами графа Остермана, запущенными и загрязненными до того, что Чарыков мог поручиться, что в тайнике у него куда было чище. У Остермана был даже зал с запыленными зеркалами и люстрой в пыльном чехле.

Дворецкий провел князя через этот зал, а затем еще через несколько комнат, подошел к затворенной двери и, растворив ее, пропустил князя Бориса.

Чарыков вошел в большую комнату, тускло освещенную сквозь грязные стекла окон сумерками петербургского дня.

В первую минуту ему показалось, что в ней нет никого. Перед письменным столом стояло покойное кресло с откинутым теплым одеялом у ног. Видимо, Остерман только что сидел здесь, встал и, вероятно, вышел.

Князь Борис огляделся.

У камина копошился грязненький старичок, поправляя кочергою огонь. Князь Борис посмотрел на него и стал ждать Остермана.

Прошло несколько времени.

Князь Борис начал сомневаться, не следует ли ему идти еще куда-нибудь, чтобы увидеть Остермана, попробовал кашлянуть, но на его кашель никто не обратил внимания. Тогда он сам обратился к старику и спросил очень ласково, не знает ли он, выйдет к нему граф или нет?

— А вам какого графа нужно? — спросил старичок, оставаясь по-прежнему заниматься своим делом.

Князь Борис ответил:

— Графа Остермана.

Старик поднялся, обернулся и проговорил:

— Граф Остерман я сам и есть.

XVI

ГРАФ ОСТЕРМАН

Чарыков-Ордынский с удивлением смотрел на странного старика, стоявшего перед ним в выцветшем малиновом суконном кафтанчике на лисьем меху, вытертом и вылезшем, в стоптанных туфлях с завернувшимися и спустившимися грязными чулками. Он смотрел на него, как бы не веря глазам, что перед ним действительно стоит канцлер русской империи. Вид этого сановника сильно напомнил ему

его собственную неряшливость и отчаянное одеяние в былое время его скитаний и бродяжничества.

— Ну, что же, государь мой? — заговорил Остерман. — Чем могу вам служить и какое до меня прикосновение имеете? Как зовут-то?

Князь Борис поклонился и почтительно ответил:

— Князь Борис Андреевич Чарыков-Ордынский.

Остерман прищурился, оглядел его с ног до головы, потом, как бы раздумывая и припоминая что-то, поглядел в сторону и не спеша ответил:

— Так-с... Ну, прошу садиться! — И он короткими старческими шагами, с видимым трудом, подошел к креслу у письменного стола, закутал ноги в одеяло и показал князю Борису на стул против себя, предлагая ему сесть, после чего сказал: — Ваш слуга.

Чарыков чувствовал себя совершенно легко и свободно, потому что дело, по которому он явился к Остерману, не касалось какой-нибудь просьбы или какого-нибудь искания, но, напротив, если от посещения его кто и получал выгоду, то именно сам Остерман.

— Я к вашему сиятельству явился по делу, — начал князь. — Совершенно случайно нашел я запись моего отца, по которой он, оказывается, должен вам пятьдесят целковых.

— Мне? — удивился Остерман. — Позвольте... когда же это было? Как звали вашего батюшку?

Чарыков назвал имя отца.

— Князь Андрей Николаевич? — подхватил Остерман. — Вот оно что! Так вы его сынок будете? Как же, помню!..

И его старческое лицо все так и осветилось улыбкой. Видно было, что воспоминание о старом князе Чарыкове-Ордынском было для него приятным воспоминанием.

— Как же, помню, — продолжал он. — Только как же это давно было!.. Знал я вашего батюшку, знал... «Медведь на органах» — так в шутку прозывали его... Так вы говорите, запись нашли?

Князь Борис вынул записку отца и показал ее Остерману.

— Так, — опять подтвердил тот, — помню... Теперь эти пятьдесят целковых помню... Он у меня присылал просить их... в карты он играл, кажется... Я, собственно, не охотник до таких удовольствий и не поощрял бы их, ну а вашему батюшке отказать не смог... И знаете, почему это?

— К сожалению, не могу догадаться, ваше сиятельство! — ответил Чарыков.

Тогда с тем особенным удовольствием, с каким обыкновенно старики рассказывают о том, что было и прошло в их молодости, Остерман стал рассказывать князю Борису, почему он не мог отказать тогда в деньгах его отцу:

— Как сейчас помню я это. Была ассамблея при покойном государе (он по привычке все еще называл покойным государем императора Петра I, хотя после него схоронил уже двух государынь и юного государя Петра II). Тогда ассамблеи только-только стали моду иметь. Государь всегда присутствовал сам, и никто такого веселья не придавал, как его величество сам! Бывало, если руководить танцами начнет, то уж знай, что танцевать до упаду будут. Всех оживит, всем жизни придаст! А расшевелить тогда трудно было, в особенности барынь. Барыни русские тогда не то что нынешние были: сидят, бывало, по углам и молчат. И не только танцевать или разговаривать, но даже дышать боятся. Ну, и мужчины тоже... как-то все этак больше боком да по стенке и на дам смотрят, словно они из докрасна накалированного железа сделаны: коснуться не смели. И придумал император Петр тогда такой фортель, что вдруг на ассамблее хлопнет в ладоши и велит всем кавалерам немедленно дам разбирать, а кто остался без дамы, тот должен выпить кубок большого орла. А кубок-то большой-пребольшой, и налиты туда и херес, и вина всякие — такая смесь устроена, что часто, кто одолевал сразу этот кубок, так и валился замертво на пол. Ну, тут шутки, смех да веселье общее. Раз случилось так на ассамблее, когда государь ударил в ладони, — кинулся я, смотрю направо, налево, из-под рук у меня дам вырывают... Гляжу — все кавалеры с дамами, а я один посреди стою... Еще миг, государь заметит, что я один, и велит подать кубок... Ну а я всегда слабого здоровья был, выдержать не смог бы и, пожалуй, в буквальном смысле «замертво» повалился бы...

И Остерман оглядел свои закутанные ноги, как бы приглашая Чарыкова полюбоваться на себя в доказательство слабости своего здоровья.

Князь сидел в почтительной позе внимательного слушателя.

— И вот в этот-то миг, — заговорил опять Остерман, — вдруг я чувствую, что кто-то в мою руку всунул дамскую ручку. Я оглянулся. А это ваш батюшка, князь Андрей Николаевич, мне свою даму уступил, а сам пошел под наказание — пить кубок большого орла... Ну уж и

здоров же был ваш батюшка выпить! Крепкий он был, сильный, рослый! Как стал он посредине залы, ему, как следует, потешный чин с поклоном подал на подносе сосуд, на который иным, в том числе и мне, поглядеть даже было страшно. А ваш батюшка — ничего... Взял кубок, припал к нему губами, словно ребенок к груди кормилицы, и медленно-медленно тянуть стал. В зале притихли все, смотря. А он только постепенно руку выше подымает да голову назад закидывает. Так, не переводя дух, весь кубок и осушил. Осушил, отнял от губ, сам на поднос его поставил, побагровел весь, глаза кровью налились, но пошатнулся только и пошел как ни в чем не бывало. Так меня он и выручил. Ну а дама, которую он уступил мне, — заключил Остерман, — была девица Стрешнева, ныне графиня Остерман, моя законная супруга!

Князь Борис слушал старика и с невольным удовольствием заметил, как тот точно молодец под впечатлением своих воспоминаний.

Несмотря на то что в этих воспоминаниях старый князь Чарыков-Ордынский, которого Остерман назвал «медведем на органах», в сущности, ничего особенно геройского не сделал, канцлер говорил о нем с большою теплотою, весьма приятной для князя Бориса.

Окончив свой рассказ, Остерман стал расспрашивать гостя о его отце. Князь рассказал, что тот скончался давно, и снова вернулся к найденной им записи.

— Ну так вот, ваше сиятельство, — сказал он, — я желал бы, с вашего позволения, вручить вам отцовский долг.

— Пятьдесят целковых? — с ударением переспросил Остерман.

— Да, пятьдесят, — повторил князь Борис и вынул кошелек, в котором звякнули серебряные рубли.

Канцлер взял кошелек, пересчитал деньги, испытующе несколько раз посмотрел на князя Бориса, как бы желая убедиться в том, что ему действительно не жаль было этих денег, и остался совершенно доволен видом молодого Чарыкова, с которым тот подал ему деньги.

— Так, значит, батюшка ваш помер? Ну а сами вы в провинции жили, недавно приехали в столицу? Тут был один князь Чарыков-Ордынский недавно... Он — родственник вам? — добавил Остерман и снова посмотрел на Бориса.

— Вот, видите ли, — начал тот, не обинуясь, — я не в провинции жил, а здесь... то есть все время...

И князь Борис коротко, но откровенно передал Остерману все свое прошлое, рассказал о странной своей свадьбе и закончил уверением, что желает теперь начать новую жизнь.

По мере того как он рассказывал, лицо канцлера все более и более хмурилось, так что князь Борис, кончив свое сообщение, не узнал этого лица, — до того оно изменилось и из приветливого и ласкового стало суровым, строгим и холодным. Теперь перед ним сидел уже не добродушный старичок, вспоминаяший с таким удовольствием бывшее, но истинный вельможа, канцлер, заставлявший забывать свой кафтанчик на вытертом меху и одеяло, закутывавшее ноги.

— Так-с, государь мой... — протянул он как-то совершенно безучастно и безразлично. — Так-с... Жаль, очень жаль!.. — Он замолчал и уставился куда-то в сторону, не глядя на Чарыкова. — Очень жаль! — повторил он снова после долгого молчания. — Но только знайте, сударь, что я ничего не могу тут поделать. Я и рад бы иногда своим близким что-нибудь устроить, но ничего не могу-с... Не могу-с, потому что сам болен и, право, не знаю, что со мною самым завтра будет...

Невольная улыбка так и просилась у князя Бориса, но он сдержался и, оставаясь по-прежнему почтительным и спокойным, с достоинством ответил графу:

— Я, ваше сиятельство, и не просил ничего для себя. Я осмелился побеспокоить вас исключительно для того только, чтобы передать вам долг моего отца.

Вслед за тем князь встал, поняв, что аудиенция кончилась.

Остерман не задерживал его и отпустил, не пригласив его возобновлять свои посещения.

XVII

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Отсрочка свадьбы в силу изданного указа не особенно обрадовала Бинну Менгден, вполне понимавшую, что это — только отсрочка, которая позволяет на несколько месяцев протянуть томительное положение, но в конце концов все-таки это положение придет к тому же самому, то есть — к свадьбе.

Бинна, решившая уже, что выхода ей нет и что так или иначе ей нужно стать женою Густава Бирона, находилась

теперь в том мучительном состоянии, в котором находится человек, решившийся на что-нибудь такое, на что ему трудно было решиться, и не имеющий возможности привести это решение в исполнение.

«Господи, поскорей бы уже и сразу!» — в этих словах, часто повторяемых теперь мысленно Бинной, заключался весь смысл того, что она пережила в это время. Уж если не суждено ей было счастье на веку и она непременно должна выйти замуж, так уж пусть поскорее была бы эта свадьба, и все было бы кончено. Ведь это ожидание, в котором все-таки была частица какой-то надежды, только пуще дразнившей и делавшей больно, казалась хуже всего и мучительнее.

Вот почему Бинна нисколько не сочувствовала сестрам и Наташе, высказывавшим большую радость по поводу известного указа о свадьбах.

— Как ты не хочешь понять, что всякий выигрыш времени очень выгоден для тебя? — сказала Наташа Бинне, заехав навестить ее.

Она считала своею обязанностью навещать Бинну и стараться по возможности поддерживать в ней бодрость.

Бинна только улыбнулась в ответ, как улыбается тяжело больной, лучше окружающих видящий приближение своей смерти, когда эти окружающие стараются утешить его. Но Наташа не унималась.

— Нет, ты погоди... Ты должна согласиться, что ведь в это время можно устроить что-нибудь.

— Что же тут можно устроить? — недоверчиво покачав головою, ответила Бинна. — Разве мыслимо сделать невозможное?

Она ответила это таким упавшим голосом, что Наташе в эту минуту показалось действительно невозможным сделать что-нибудь. И она вздохнула вместе с Бинной, вздохнула потому, что ей очень хотелось, чтобы свадьба Бинны расстроилась и чтобы эту свадьбу расстроил не кто иной, как князь Борис. Она так хотела этого! И как была бы она счастлива, если б это удалось князю Борису!

В эту минуту лакей пришел доложить с приезде генерал-аншефа Густава Бирона.

Бинна молча переглянулась с Наташей и, вздохнув еще раз, велела просить.

Густав вошел и как-то весь точно наполнил собою маленький будуар, где сидели Бинна с Наташей и где Густав казался особенно огромным и неуклюжим со своею военной

выправкой, совершенно не шедшей этому изящному, маленькому, заставленному безделушками будуару.

Он вошел, держа в руках сверток, осторожно ступая, оглядываясь, чтобы не задеть что-нибудь. И Наташа невольно сравнивала его фигуру с фигурой князя Бориса, тоже входившего недавно в ее гостиную, как входил теперь Густав в будуар Бинны. Но какая разница, какая огромная разница была между ними.

Рост князя Бориса был не меньше, чем у Густава, но в нем был виден сильный, уверенный в себе мужчина, не только готовый постоять сам за себя, но и способный заставить полюбить себя, смотревший прямо, открыто, иногда даже дерзко.

Наташа помнила, как уверенно вошел Чарыков. Он не боялся задеть что-нибудь, не боялся быть грубым и, должно быть, не боялся быть отвергнутым. И он действительно не задел ничего, не был груб и — Наташа должна была признаться сама себе в том — не был отвергнут.

Густав же держал себя совершенно иначе. Не то что он был трус или имел такой вид, что на него положиться было нельзя. Нет! Он казался мужчиной, но как-то уж слишком мужчиной.

И очевидно, как не умел он войти в дамский будуар, страхась уронить там какую-нибудь безделушку, не умел сесть на маленький, казавшийся хрупким стул, так же не умел он обращаться с женщинами, и в особенности с тою, которую любил.

Теперь, в первый раз встретив у своей невесты Наташу, на которую он прежде имел виды, Густав почувствовал себя неловко и сейчас же украдкой стал следить за тем, заметна ли эта его неловкость Бинне или нет. С Наташей он хотел обойтись покровительственно-любезно, как брат герцога-регента, но из этого ничего не вышло у него.

Вместе с тем, несмотря на все манеры, которые он принимал, во взгляде его, когда он обращался к Бинне, была какая-то тревожная угодливость, что-то собачье, собачье-преданное, то есть именно то, чего женщины терпеть не могут во влюбленных в них мужчинах. Они скорее готовы простить им дерзость, чем эту собачью угодливость.

— Ну, вот я привез вам, — сказал Густав, по возможности умеряя свой привыкший командовать на разводах зычный голос, — маленькую штучку. — И он с торжеством развернул сверток, бывший у него в руках.

В свертке оказался ящик розового дерева с инкрустациями, и Бирон поставил его на стол.

Бинна поморщилась, заметив, что бронзовые ножки ящика могут оставить царапины на лакированной крышке стола. Но Густав не обратил на это внимания и открыл ящик. В ящике заиграла музыка. Бинна, Наташа и Густав прослушали коленце какого-то мотива, который игрался в ящике, и это вышло почему-то глупо и неловко. Почувствовав эту неловкость, огромный, рослый Густав покраснел, точно ребенок. Бинна все-таки поблагодарила его. Густав закрыл ящик и догадался отодвинуть с ним стол в сторону.

Наташа сразу схватила тот тон, который хотел принять с нею Густав, и, не желая поддаваться ему, нарочно не помогала Бинне вывести ее жениха из неловкого положения, но, наоборот, подчеркивала его какою-то ехидною улыбкой.

Густав постарался заговорить, но и разговор его вышел так же неинтересен, как его ящик с музыкой.

Бинна, очевидно, тяготилась его присутствием. Наташе было обидно и грустно смотреть на нее.

Посидев очень недолго, Густав сказал, что заехал на минутку, направляясь в казарму на ученье, где его уже давно ждут, и, обещав заехать опять, простился и уехал.

— Ты знаешь, — сказала Наташа Бинне после его ухода, — я теперь только поняла, почему он не может нравиться женщинам: он несносен своею преданностью.

— Ах, не все ли равно чем! — воскликнула Бинна, закрывая лицо руками. — Неужели я буду его женою?

И она наклонилась к Наташе и у нее на плече спрятала свое личико.

XVIII

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Густав, уезжая от Бинны, не лгал, говоря, что у него дела. Правда, эти дела были такие, которых он мог бы и не делать, но он рад был придраться к предлогу, чтобы поскорее уехать, так как чувствовал, вследствие ли присутствия Наташи или вследствие музыкального ящика, который вовсе не произвел ожидаемого эффекта, что ему особенно неловко сегодня с невестою. И он уехал рассерженный и недовольный.

По дороге Густав заехал в один из караулов и нашел там беспорядок: шестеро гренадеров, оказалось, сидели, вместо того чтобы стоять, а четыре мушкетера так и совсем

заснули. Это окончательно взбесило Бирона. Он вспомнил, что сегодня 8 ноября, Михайлов день, как докладывал ему бессменный его ординарец, измайловский сержант Щербинин, а в этот день у русских много именинников и потому много пьяных.

Густав ничего так не ненавидел, как пьянство, и потому целый день посвятил на то, чтобы проверять посты и следить за исправным исполнением службы.

Обедал он у брата. Был большой обед. Между гостями обедал также Миних. Густав слышал между прочим, что его брат спросил у фельдмаршала, предпринимал ли он когда-нибудь во время походов ночные действия. Миних запнулся было, но ответил, и Густав не придавал этому никакого значения.

Вернулся он домой поздно. Ему нужно было еще заняться проектом о солдатских картузах, который вернул ему Миних для новой переработки. Он попробовал было заняться, но беспокойно проведенный день давал себя чувствовать, и дело не шло. Тогда он отпустил Щербинина спать и сам пошел в спальню.

Туалет Густава, как человека военного, никогда не был продолжителен. Он быстро улегся в постель, повязал голову на ночь платком и потушил гасилкой свечу на ночном столике.

Пока он лежал на левом боку — все как-то у него не ладилось в мыслях: во-первых, нужно было завтра не забыть отдать приказ о наказании шестерых гренадеров и четырех мушкетеров; во-вторых, Миних уже в третий раз возвращал ему для переделки проект о картузах, и он решительно не знал, как еще переделывать этот злополучный проект; а в-третьих, и это было главное, — он чувствовал, что у него не ладится с Бинной... Но в особенности ему неловко было лежать на правом боку. Он повернулся на левый, стало удобнее, и все вдруг начало проясняться: сидевшие и заснувшие солдаты, в сущности, не были так виноваты, потому что во время регентства его брата такой был расход в людях, что они просто с ног сбились; проект о картузах ему просмотрит завтра же Щербинин, а что касается Бинны, то он ей вместо сегодняшнего ящика с музыкой подарит завтра кольцо или что-нибудь другое и сам поедет к Позье для этого.

Мало-помалу веки Густава начали слипаться, он все более и более сочувствовал солдатам, которых нашел спящими, и вскоре смутно как-то увидел не то самих этих солдат, не то поход.

Он точно ехал и все колыхался, все колыхался, и Бинна была тут как-то, и солдаты все идут, стучат и шумят. Зачем они только шумят?.. И Густав решительно не мог сообразить, во сне это или наяву слышится ему какой-то шум, возня...

Но вот она становится тише... должно быть, во сне... Шаги слышатся какие-то и снова стук, но уже близко, и стук определенный, ясный... точно тут вот, у самой двери, близко от него...

Оказывается, он действительно не спит и теперь уже отчетливо слышит, что стучат в его дверь.

Он спрашивает: «Кто там?» Какой-то незнакомый голос отвечает ему, но он узнает сейчас же этот незнакомый голос.

— Манштейн, адъютант фельдмаршала Миниха, — слышит он из-за двери.

«А-а... Манштейн!.. Что же ему нужно?»

Манштейн говорит, что по службе.

«Уж не случилось ли чего?»

Густав отлично помнил потом, как он встал, оделся на скорую руку и со свечой вышел. Его действительно встретил Манштейн. Густав поставил свечу на стол, и они отошли почему-то к окну. Тут Манштейн сказал ему, взяв его осторожно за обе руки, что его брат Иоганн Бирон — уже не регент и что самого его, Густава, арестуют именем императора.

Сначала Густав подумал, что с ним шутят. Первым его движением было рвануться к окну, чтобы крикнуть своих измайловцев. Там, в тот злополучный вечер, когда он отправился на зов хорошенькой женщины, с ним, пожалуй, еще могло выйти такое недоразумение, но здесь, у себя дома... он не позволит шутить...

Однако в эту минуту тут, у него дома, в его комнатах, появились вместо его измайловцев другие солдаты. Густав сейчас же узнал на них преображенские мундиры. Так это — правда!..

Густав хотел выдернуть свои руки, освободиться, но крепко державший его Манштейн крикнул, и солдаты бросились на Бирона. Он стал отбиваться, кричать, звать на помощь, однако помощи не было.

Они долго возились. Беда была в том, что руки Густава все время крепко держали, и, как он ни силился, не в состоянии был освободить их.

Наконец — он не давался, но напрасно — ему связали руки ружейным ремнем и повалили на пол; Густав ощутил

знакомое уже неприятное чувство засунутого ему в рот платка, душившего его и заставлявшего тяжело дышать носом, закутали его чем-то, обернули голову, вынесли на улицу и, как какую-нибудь вещь, кинули в сани.

«Варвары! — думал Густав. — Что я им сделал?..»

Он, собственно, решительно не мог понять, что такое произошло, зачем, почему и за какую провинность те самые солдаты, которые сегодня еще утром должны были перед ним, генерал-аншефом, подполковником Измайловского полка, становиться навывтяжку, теперь так грубо, дерзко смеют обращаться с ним... зачем, за что?..

Сани остановились. Густава привезли к караульному помещению Зимнего дворца.

Здесь он послушно вылез сам, удивленно оглядываясь кругом, как бы все еще спрашивая: «Да что же произошло, наконец?»

XIX

ПРОИСШЕСТВИЕ

А произошло вот что.

В первом часу ночи старый фельдмаршал Миних явился во дворец, велел разбудить фрейлину Анны Леопольдовны Юлиану Менгден и, когда она вышла к нему, сказал, что ему необходимо тотчас же видеть принцессу. Сначала Юлиана, не зная ничего, не хотела будить ее высочество, но затем, по настоятельной просьбе Миниха, решилась беспокоить Анну Леопольдовну.

Принцесса тотчас же вышла, взволнованная и испуганная. Она поняла, зачем явился Миних, и только спросила, неужели он решился окончательно и наступило время действовать. Миних ответил, что медлить доле нельзя.

Тогда были призваны занимавшие в этот день караул во дворце преображенские офицеры, к которым Анна Леопольдовна, наученная Минихом, обратилась с речью. Оказалось, офицеры были вполне готовы исполнить ее волю. Они все поочередно подошли к ее руке, а она обнимала их и целовала в щеку.

После этого Миних спустился в помещение караула и, велев солдатам зарядить ружья, взял с собою восемьдесят человек и вместе со своими адъютантами и офицерами, в одном мундире, несмотря на мороз, повел их к Летнему дворцу в Летнем саду, где помещался герцог Бирон. Невда-

леке от дворца он остановил солдат и приказал своему адъютанту Манштейну войти к регенту с двадцатью людьми и арестовать его.

Дворцовые часовые пропустили Манштейна беспрепятственно. Он проник в самую спальню герцога. Бирон стал защищаться, но его били прикладами, затем повалили на пол, засунули в рот платок, связали руки офицерским шарфом и, как он был, в одной сорочке, с наброшенным только на него солдатским плащом, отнесли его в карету и привезли в Зимний дворец.

Чарыков-Ордынский вторую ночь подряд ходил в ожидании возле дворца регента. Кроме Миниха и Анны Леопольдовны он был единственный человек в Петербурге, да и во всей России, который знал, что со дня на день должно было случиться то, что случилось. Для него важно было знать, когда решится Миних на свое дело, и он, не сомневаясь в том, что фельдмаршал действительно решится, ночью ждал у дворца, зная, что такое дело удобнее всего совершить ночью.

Он видел, как Миних с офицерами, окруженный солдатами, подошел к дворцу; видел, как некоторые из них потихоньку крестились, как адъютант фельдмаршала с двадцатью солдатами вошел во дворец и как через несколько времени оттуда, через распахнувшиеся с шумом двери, разгоряченная толпа вынесла закутанного в солдатский плащ человека, которого посадили в карету Миниха, подъехавшую к дворцу вместе с солдатами.

Князь Борис не сомневался, что на его глазах происходит арест прежнего могущественного любимца государыни, всем ненавистного регента Бирона. Этого ему было довольно. Он знал теперь, что ему делать.

Карета отъезжала шагом от дворца, окруженная солдатами; вдруг кто-то из них заметил Чарыкова и, схватив его за рукав, окликнул:

— А тебе чего?

Чарыков быстро сдернул шляпу и, махнув ею, отчетливо проговорил:

— Желаю здравствовать императору Иоанну Антоновичу! И да погибнут его враги!

Солдат отпустил его, и князь Борис, боясь быть остановленным вторично, постарался укрыться в темноте и скорыми шагами, почти бегом, отправился, но не домой, а к знакомому ему уже дому канцлера графа Остермана. Он, словно инстинктивно угадывая дорогу, добрался до заднего крыльца графского дома и там, потребовав к себе дворец-

кого, просил доложить графу, что есть дело, по которому его нужно видеть безотлагательно. Дворецкий нисколько не удивился такой просьбе, но докладывать наотрез отказался.

Князь Борис не сомневался, что так будет, но знал также, что сообщенный ему Иволгиным знак откроет ему дверь графского кабинета. Так и вышло.

Остерман не спал; он сидел у себя в кабинете у письменного стола, на котором горели две восковые свечи.

Чарыков вошел в этот кабинет не через ту дверь, в которую входил уже сюда прежде, а с другой стороны, через маленькую, которой не заметил в первое свое посещение.

Остерман велел ему подойти поближе к столу и, увидев князя Бориса, схватился за ручки кресла, как бы сделав движение встать.

— Это — ты? — проговорил он, забывая в волнении, что говорит Чарыкову «ты», и оглядывая его еще раз.

— Да, я, князь Чарыков-Ордынский, — начал Борис, торопясь и волнуясь. — Время терять нельзя... Как я попал к вам — все равно, дело не в этом... Рассказывать теперь некогда, но иначе вы меня не приняли бы. Я решился употребить этот способ, чтобы заговорить с вами сейчас, сию минуту!

Остерман, все держась за ручки кресла, съежился весь, втянул голову в плечи и, казалось, готов был крикнуть, если Чарыков кинется на него.

— Не бойтесь! Я пришел к вам как друг, — заговорил князь Борис и, опершись ладонями на стол, перегнулся к Остерману, а затем, понижая голос, сказал ему: — Сейчас герцог Бирон арестован фельдмаршалом Минихом.

Остерман вскинул на него свои умные, живые, несмотря на его старость, глаза, точно желая удостовериться: сам ли он сходит с ума или его неожиданный ночной гость.

— Да, герцог арестован, — повторил Чарыков. — Вероятно, вы если не знаете об этом, если не были посвящены в эту тайну, то узнаете скоро... Вам, конечно, дадут знать первому... Если это сделано помимо вас, то я не знаю, как вы поступите, но во всяком случае поступите умно и не поступитесь своею силою. Я не для того пришел к вам, чтобы сообщить только эту новость, которую вы, вероятно, узнали бы и без меня, я пришел потому, что это дело касается меня...

Князь Борис говорил порывисто, не следя за своими словами, просто так, как они сходили у него с языка, видимо не заботясь о том, что говорит со старым графом

Остерманом, канцлером, потому что в том состоянии, в котором он находился, и в особенности ввиду важности дела, о котором шла речь, ему некогда было заботиться о чем-нибудь.

Старый Остерман слишком много видал на своем веку людей, слишком много пользовался их услугами, умея отлично из всего извлекать себе пользу, чтобы не попытаться разобрать, насколько возможно, не известные ему доселе обстоятельства, разобрать хотя бы на основании слов Чарыкова-Ордынского, первого пришедшего объявить ему важную весть. Он ничего не знал о предполагавшемся аресте, но не видел в этом также ничего невозможного.

— Вы говорите, сударь мой, — начал он спокойным голосом, — о столь важных вещах, за которые люди могут быть наказуемы, и наказуемы весьма строго. Почему вы с такою уверенностью сообщаете мне такую необычайную новость и дерзаете произносить столь вольные слова про господина регента?

Остерман умышленно сказал «господина регента», не назвав его ни герцогом, ни светлостью на всякий случай: а вдруг известие, принесенное князем Борисом, окажется верным?

— Я говорю, — ответил Чарыков, продолжая стоять, потому что Остерман не предлагал сесть ему, — я рассказываю вам о том, что сам видел. Я видел сейчас, как фельдмаршал Миних вместе с преображенцами повез в карете закутанного в солдатский плащ бывшего регента. (Князь Борис заметно подчеркнул слово «бывшего».) Я говорю и подтверждаю, что это верно, и хочу надеяться, что Бог даст успех фельдмаршалу. Об этом, повторяю, вы узнаете сами сейчас. Но вот видите, если все будет хорошо и вы явитесь во дворец, то, может быть, вам приятно будет сказать, что все сегодняшнее действо, в случае его удачи разумеется, было сделано вами...

Остерман прижался к спинке своего кресла и, точно с трудом понимая то, что ему говорят, протянул более чем удивленно:

— Мною? То есть как мною?!

— Да, если хотите, вами! — Князь Борис говорил, как отчаявшийся человек, поставивший свою жизнь на карту в эту минуту. И как человеку, готовому на смерть, безразлично, перед кем он стоит и с кем разговаривает, так и он говорил теперь с Остерманом, не обинуясь. — Мне было известно из верных источников, что кругом регента нет людей, которые были бы искренне преданы ему, что он

должен был бояться каждого и что все были готовы под-
авить его. Нужен был только смельчак, который сказал бы
наконец решительное слово. Мнения фельдмаршала Мини-
ха мне были известны, — каким путем, это все равно, —
и я знал, что достаточно ему будет сговориться с принцес-
сой, чтобы он решился на окончательный шаг. Нужно было
вызвать разговор между ними, а дальше должно было идти
само собою. Я написал фельдмаршалу письмо, под видом
продавца амулетов успел проникнуть во дворец и вручить
принцессе кольцо, о котором упоминал в письме.

И князь Борис передал Остерману текст полученного
Минихом написанного симпатическими чернилами письма
и подробно рассказал свой разговор с Анной Леопольдовной
в гардеробной.

Остерман долго молчал, перечел текст письма, бережно
сложил его и спрятал в карман, потом как-то тускло и вяло
поглядел на Чарыкова и медленно произнес:

— Вы ко мне претензии не имеете, сударь мой, но я
должен немедленно сообщить, чтобы на вас был наложен
арест.

Он, очевидно, не верил, что предприятие Миниха, если
тот на самом деле затеял его, может закончиться успешно.

Князь Борис ответил ему совершенно спокойно:

— Вы можете арестовать меня, но только я прошу вас,
граф, в память отца, если действие будет иметь желанный
конец, вспомнить обо мне и засвидетельствовать, что я тут
действовал тоже, хотя бы под вашим руководством. Наград
никаких мне не нужно. Единственной наградой, которую я
прошу, было бы для меня... Впрочем, вы уже знаете мою
историю, а также то, что племянница госпожи Олуньевой
носит фамилию княгини Чарыковой-Ордынской.

Остерман вдруг быстро остановил его и наклонился в
сторону двери, за которой слышались торопливые шаги.
Дверь отворилась, и старик дворецкий поспешно и близко
подошел к графу и, наклонившись, стал едва слышно что-
то говорить ему.

Князь Борис видел, как изменилось лицо канцлера.

— Нарочно из дворца? По приказанию... правительни-
цы... арестован? — переспросил он, а затем обернулся к
князю Борису, протянул ему руку и проговорил: — Благо-
дарю вас. Вы свободны теперь!

Вслед за тем он как будто с радостью велел дворецкому
скорее подавать себе одеваться.

Князь Борис поклонился и вышел по известной ему уже
дороге на парадное крыльцо.

XX

ВО ДВОРЦЕ

Остерман еще одевался, когда на улице раздался барабанный бой и задвигались войска, постепенно стягиваясь ко дворцу.

Этот барабанный бой разбудил заснувший Петербург, и толпы народа валили за войсками тоже ко дворцу, узнать, что случилось. Когда стало известно, в чем дело, все поздравляли друг друга.

Вместе с герцогом Бироном и его братом был арестован и кабинет-министр граф Бестужев как единственный серьезный приверженец Бирона.

Миних распорядился известить о происшествии всех высокопоставленных лиц, и они спешили в Зимний дворец, где придворная церковь и залы были уже освещены и быстро наполнялись.

В это же время Юлиана, хлопоча около принцессы, которую поспешно одевали в пышный наряд, радовалась и хлопала в ладоши, говоря, что наконец-то и они попали в «правительство».

Анна Леопольдовна в бриллиантах явилась в церковь, где уже приносилась ей присяга.

Галерея, ведшая в церковь, была, как и залы, полна народом.

— Извольте, истинные сыны отечества, — слышалось там, — в верности нашей всемилостивейшей правительнице подписываться и идти в церковь в том Евангелие и крест целовать.

На площади гудела толпа народа, и солдаты кричали «виват!». Эти клики стали еще оглушительнее, когда правительница, накинув на плечи бархатную соболью шубку, появилась на балконе дворца. Тут же читался войскам манифест о принятии великою княгинею Анною Леопольдовною правления государством. С крепости раздавались пушечные залпы.

Собравшиеся во дворце вельможи, с восторгом вырывая друг у друга присяжные листы, переговаривались о случившемся и мысленно пересчитывали друг друга, желая узнать, все ли тут налицо и нет ли кого-нибудь еще арестованного вместе с Биронами, кроме Бестужева.

Никто не видел еще Остермана.

Весть о том, что его нет, быстро разнеслась по дворцу, и это дало повод многоречивым толкам. Остерман считался

сторонником Бирона, и говорили о том, что старику несдобровать.

А канцлер действительно не торопился ехать во дворец, все еще не доверяя необычайному известию, и, несмотря на то что велел себе дать одеться и уже оделся, велел сказать через посланного, что припадок болезни не позволяет ему выехать и что он ждет, когда его боль утихнет. На самом же деле он ждал своего шурина Стрешнева, который — он знал это — не преминет сам известить его, если дело будет поставлено так, что нужно будет ехать во дворец. И действительно, Стрешнев явился к нему и как очевидец передал обо всем виденном и слышанном во дворце. Тогда Остерман велел подать себе карету и поехал во дворец.

Сдержанный гул пробежал по залам, когда пронесли в кресле больного Остермана к внутренним комнатам дворца и затем, по прошествии очень короткого времени, вынесли назад.

Остерман был таким же, каким его видали обыкновенно, ничуть не изменившимся. Но Миних после отъезда канцлера как бы расцвел еще больше и еще радостнее отвечал на обращенные к нему со всех сторон приветствия.

В залах стало известно, что правительница обошлась крайне сдержанно, даже сухо со стариком канцлером. Многие говорили, что сами слышали, как Миних рассказывал, что великая княгиня (принцессу называли теперь уже великою княгинею) приказала Остерману явиться завтра к ней со всеми его делами, очевидно для сдачи их, и более с ним не разговаривала.

На другой день Остерман действительно явился во дворец. Его снова пронесли мимо придворных, толпившихся тут всю ночь, все утро, весь день. Но на этот раз он долго оставался с правительницею, а когда его вынесли из внутренних комнат, он заявил, что на днях, по случаю совершившихся радостных для всего Российского государства событий, даст у себя большой бал, удостоить который своим присутствием соизволила обещать государыня-правительница.

Все поняли, что хитрый старик сумел и здесь уберечься, и недоумевали только, каким путем он достиг этого. Судили, пожимали плечами и решили на том, что Остерман — хитрая лисица.

Густав Бирон, схваченный у себя на дому, был привезен на гауптвахту Зимнего дворца, где уже нашел своего брата-регента со всем его семейством. Они просидели под стражею до сумерек 9 ноября, а затем были увезены оттуда в

шляфвагенах; куда был отправлен герцог с его семейством — Густав не знал, самого же его повезли в Иван-город.

Густав подчинился своей судьбе совершенно безропотно и сел в шляфваген, в котором увозили его в ссылку, с совершенно тем же чувством, с которым ходил, бывало, в скучный по службе наряд, словно, как всегда исправный и аккуратный, боялся одного только, как бы не опоздать, и даже с некоторым недоумением смотрел на двух сидевших с ним офицеров, вооруженных пистолетами, словно не понимая, зачем они тут. Как будто он сам не исполнит приказа, раз ему приказано ехать! Эти офицеры особенно были обидны ему.

Обидно было также, что он не успел провести как следует дело об изменении солдатских шляп в картузы, отчего должно было произойти «великое для солдатства тепло и удобство». Так этот проект и остался неразрешенным. Вероятно, останутся безнаказанными и шестеро гренадеров, найденные сидящими во дворце, и четыре мушкетера, заснувшие на карауле. Вероятно, они радуются теперь.

Но главная горечь во всех этих обидах заключалась в неясном и нерешенном вопросе, что делает теперь его невеста Бинна Менгден. Неужели радуется и она? Неужели и ей его ссылка доставила удовольствие? О ней Густаву сильно хотелось узнать, но спросить было не у кого.

Возок, скрипя полозьями по снегу, увозил его все дальше и дальше, и под его мерное колыхание по ухабам все грустнее и грустнее думалось бедному Густаву, напрасно вспоминавшему о Бинне.

А Бинне Менгден между тем было уже предложено правительницею избрать между замужеством с арестантом и пребыванием при дворе. Бинна, разумеется, ни минуты не думая, выразила желание остаться при дворе.

XXI

У КАМИНА

Несмотря на то что во дворце совершилось и даже еще совершалось историческое событие, свидетели-современники его все-таки продолжали жить своею частною жизнью, ставя, конечно, свои личные интересы на первый план и волнуясь событием главным образом постольку, поскольку оно касалось их самих.

У Доротеи Миних опять собрались сестры и Наташа. На этот раз Иоганн Миних был дома и сидел со своими дамами в гостиной. Юлиана заехала только на минутку. Она завезла Бинну к сестре и должна была вернуться сейчас же во дворец.

— Так я за тобой пришлю карету, — сказала она Бинне. — Нет, нет, не могу остаться, — ответила она на упрощивания Доротеи посидеть еще немного.

— Впрочем, я знаю, — согласилась та. — Где тебе!.. Ты теперь важной барыней стала.

— Да-да, — подтвердил Миних, целуя руку Юлианы. — Да, сестрица, уж вы теперь не откажите в протекции...

— Кому у кого просить? — ответила Юлиана. — Ваш батюшка тоже не маленьким человеком стал.

Все рассмеялись, и не потому, что было смешно то, что говорили Юлиана и Миних, но просто потому, что все они теперь были счастливы и всем было очень весело. Бинна смеялась больше других.

— Повеселела наша Бинночка, — кивнула на нее Доротея, проводив Юлиану.

Бинна, как бы опомнившись, удержала смех и серьезно-мечтательно проговорила:

— Нет, не говори так!.. Конечно, я плакать не могу, но тоже веселиться и радоваться, мне кажется, неловко... ведь все-таки он хороший был человек, зла никому не сделал и невинно пострадал за своего брата.

Обстановка, в которой они сидели, располагала к некоторой мечтательности. Лампа горела в далеком углу, и комната освещалась главным образом красным пламенем камина, у которого они сидели полукругом.

Наташа сидела серьезнее остальных, и теперь, когда разговор, вследствие замечания Бинны, перестал быть резво-веселым, она сказала, что, кажется, слишком строго относятся ко всему бироновскому, так что даже страдают не повинные люди. Так, она слышала, что у измайловского адъютанта Вельяминова отобран его отпускной паспорт потому только, что он подписан Густавом Бироном, и Вельяминову велено быть при полку.

— Ну за что же этот несчастный Вельяминов лишился отпуска? — воскликнула она.

— Нет, лучше всего следующее, — подхватил Миних. — Представьте себе, велено собственный лес бывшего подполковника Бирона употреблять на болваны для гренадерских шапок! — И он снова рассмеялся веселым смехом здорового и счастливого человека.

Наташа, видимо уже взявшая под свое покровительство ссыльного Густава, не уступила Миниху.

— Ну и что ж? — заговорила она. — Я не понимаю, что тут смешного, граф?... Как хотите, но ведь это же издевательство выходит. Правда, Густав Бирон был не умен...

Она, сама того не замечая, сказала «был», как будто бы Густав не существовал уж больше.

— И даже очень не умен, — снова заговорил Миних. — Теперь уж это можно сказать, — и он поглядел в сторону Бинны. — Вы знаете, мне сам отец рассказывал, как Густав Бирон подал ему доклад с вопросом: приказано ли будет взять в поход больных и негодных лошадей или оставить их в штабе. И лучше всего то, что лошади были больны заразою... заразою! — повторил он, снова еле удерживаясь от смеха. — Ах, потом еще лучше! Ему был дан приказ следовать с таким расчетом времени, чтобы к такому-то числу быть там-то, а он входит с запросом: «Во сколько именно верст повелено будет делать переходы?» Ведь это я не лгу, это — истинная правда... И я не понимаю, отчего вы вдруг так заступаетесь за него?

Но вдруг Миних остановился. Он вспомнил, что Густав Бирон не чужд Наташиной судьбе, что он имел влияние на нее, и замолк, смутившись тем, что сделал неловкость, и стал старательно размешивать огонь в камине.

Бинна переглянулась с Доротеей.

— Да, — сказала та, — кто бы мог ожидать, что это все случится и повернется так скоро?..

— Да, я совершенно не ожидал этого, — заговорил снова Миних, видимо, желая переменить тему разговора. — И, главное, ведь я ничего не знал... Я был дежурный, сплю...

И он снова повторил рассказ о том, как он был дежурным во дворце в ночь с 8 на 9 ноября и как сама правительница пришла разбудить его и сказала, что его отец пошел арестовывать Бирона.

В этот вечер роли Бинны и Наташи как будто бы переменились. Так, недавно еще, в этой же самой гостиной, Наташа была полна каких-то смутных надежд и утешала и ободряла встревоженную Бинну. Теперь последняя была вполне успокоена, а Наташа чувствовала, что ее надежды окончательно разбиты.

То есть она чувствовала, собственно, что не разбиты они, потому что на самом деле их и быть не могло. Про-

изошло иное. Под впечатлением случившегося события, так внезапно разом расскешего узел, неразрывно связавший, как казалось, Бинну и Густава, Наташа увидела, как напрасны и невозможны были ее мечтания о том, что князь Борис каким-то сверхъестественным образом сможет помешать свадьбе Густава.

Что он был, в самом деле, такое? Бессильный, ничтожный человек — и больше ничего. Конечно, это было минутное затмение, опьянение с ее стороны. И разве можно было ожидать, что он в состоянии сделать что-нибудь?

И горькая обида на самое себя оттого, что она могла увлечься такими надеждами, давила сердце Наташи, и все грустнее и грустнее становилось ее личико.

Бинна, улучив минуту, подсела к ней и тихо, так, чтобы не слышали многие, сказала ей:

— Наташа, помнишь, ты говорила, что когда... что если я освобожусь, то и ты, может быть, будешь счастлива?..

Но Наташа, вздрогнув, отмахнулась рукой и предложила ей не говорить, не напоминать, потому что она сама не знает, как делает ей этим больно.

XXII

МЕЧТЫ И НАГРАДЫ

Иногда люди мужественные, решительные, испытывавшие удары судьбы, бывают все-таки настолько наивными, что верят созданным ими самими призракам и своим собственным мечтам, в особенности если эти мечты приятны им. Мечтательность вообще свойственна человеку, а русскому — преимущественно.

Князь Борис был человеком вполне русским. Ему чудилось, что Остерман не должен ни в каком случае забыть о нем, что он скажет кому следует и желанная награда будет впереди. Наташа признает, что он завоевал ее, и не постыдится уже назвать его своим мужем. Ведь бывали же случаи, когда коронованные особы соединяли два любящие сердца и входили в их интересы, особенно если это было заслужено. А разве князь Чарыков-Ордынский не заслужил, чтобы великая княгиня, правительница, обратила на него свое внимание?

«Я бы вот как сделал на ее месте, — думал князь Борис. — Призвал бы Наташу (милая, голубушка Наташа!) и сказал бы ей: «Вот пойдемте со мною в соседнюю комна-

ту!» — а в соседней комнате ждал бы я, заранее призванный... И она, Наташа, ничего не ожидала бы...»

Чарыков, разумеется, думал это так, вовсе не ожидая, что случится именно, как он думал, но в общем он ожидал нечто подобное.

И он придумал еще вот что: Наташа (это было уже решено в его мыслях) при помощи Остермана или самой правительницы будет всецело его Наташей. Он заслушил это. Но ехать ему к ней в дом на первых порах он считал неудобным. Пусть она приедет к нему, к своему мужу.

И он рассчитал, что денег у него более чем довольно, чтобы устроить, по крайней мере, хоть две комнаты в своем старом доме.

Бояться ему теперь было нечего. Он мог свободно выходить на улицу и показываться в люди. Он был уверен, что теперь прятаться ему нет основания: его не только не станут преследовать, но, наоборот, наградят. И, расхаживая открыто по городу, не заботясь о том, что его дом был взят в казну, князь целый день с утра до ночи хлопотал, ходил по лавкам, нанимал рабочих и возился в своем старом доме. Печи там были исправлены, пыль сметена, но снаружи дом был по-прежнему заколочен.

Чарыков понимал, что, не имея возможности отделать дом целиком, лучше всего было оставить его заколоченным, так как тем ярче и лучше выступит отделка новых комнат. И постарался же он отделать их! Он не жалел ничего и не поскупился ни на что. Комнатки вышли как игрушки.

Чарыков долго ждал, не пришлют ли за ним. Ему казалось, что это будет скоро, очень скоро. Для него самого, конечно, свое личное дело было самым близким, и он думал невольно, что все только и заняты этим его делом. Однако его не звали.

Тогда князь решил сам написать Наташе письмо. В этом письме он ничего не рассказывал прямо, но в общих словах вычурными, как тогда было принято, фразами звал ее к себе, говоря, что считает свою службу совершенною и что его царевна может быть довольна этою службой.

Кузьма Данилов отправился с письмом к Груне — передаточно-почтовому пункту переписки князя Бориса с Наташей.

— Ну, братец ты мой, — сказал он ей, — мы теперь нашу княгиню к себе зовем. Два покоя для них отделили, и так там прекрасно, как в раю!

— А нешто ты бывал в раю, что знаешь, каково там прекрасно? — ухмыльнулась Груня.

Данилов обиделся.

— Да, уйдешь от тебя куда разве... ты всюду увяжешься!.. Попадешь с вами, с бабами, в рай, как же!.. А ты вот что, Аграфена: теперь и наш черед наступит... ты смотри... хороша жена мне будешь?..

Груня руками развела:

— Может, я еще и не пойду за тебя-то. Ты почему знаешь?..

Но ее глаза говорили Данилову совершенно другое.

Груня обещала доставить письмо и исполнила это в точности. Чарыков-Ордынский со дня на день ждал ответа, но ответ не приходил.

Князь Борис, когда перевезли тело покойной государыни, все еще не погребенной, с большою пышностью из дворца в собор Петропавловской крепости, пошел туда поклониться гробу с тайной надеждой встретить там, может быть, Наташу.

Собор был весь разукрашен: его стены были тоже, как и в зале дворца, затянуты крепом и черным сукном. На них были развешаны аллегории, надписи, гербы, мертвые головы. Гроб стоял под золотым балдахином, над которым виднелось облако с исходящим из него лучом славы. У балдахины стояли статуи, изображавшие добродетели верноподданных почившей государыни.

Князь Борис, которому было далеко не до обстановки, все же невольно обратил на нее внимание и с удивлением осматривался, разглядывая затейливое украшение собора. На карнизе были поставлены лампы и урны. Чем-то не христианским, не православным, языческим веяло от этого украшения.

«И зачем они эти статуи поставили?» — мелькнуло у Чарыкова.

В это время он увидел одну из богатых дам в черной робе с широкою белую плерезой и в большом чепце с длинною вуалью из черного флера. Неужели это Наташа?

В первую минуту князь Борис не узнал ее лица. Траурный ли наряд так не шел ей, освещение ли портило ее, или ее лицо действительно изменилось?

Да, оно сильно изменилось, это милое для князя Бориса лицо, в особенности когда она случайно взглянула на него и узнала, Чарыков не мог даже ожидать, чтобы у его Наташи могло быть такое выражение в лице.

Она шла прямо на него, приостановилась слегка, но потом решила все-таки идти, потому что шла в веренице подходивших к гробу.

«Боже мой, что с ней, что с ней?» — недоумевал Чарыков-Ордынский, и, когда она поравнялась с ним, он, сам не помня как, спросил у нее первое, что пришло ему на язык, а именно: получила ли она его письмо?

— Я никогда не ожидала, что вы будете настолько дерзки, — ответила Наташа так, что только он один слышал, — чтобы приписывать себе то, чего вы никогда не сделали: свадьба расстроена, но при чем же тут вы?

И она прошла мимо него.

XXIII

ОБВИНЕНИЕ БИРОНОВ

Наташа совершенно справедливо говорила у Минихов, что уж чересчур злобствуют по поводу ареста Биронов.

В особенности незаслуженно страдал ни в чем, собственно, не повинный Густав, вся беда которого заключалась в том, что он был брат опального герцога. Пока его допрашивали в Иван-городе, в Петербурге шло относительно него одно распоряжение за другим: дом Густава был конфискован и к нему наряжен караул. Генерал Ушаков описывал «пожитки» бедного Густава, и эти пожитки были проданы за бесценок для покрытия двухсот пятидесяти рублей, взятых Густавом из полковых сумм в счет жалованья. Даже начавшееся уже шитье примерных картузов для солдат по проекту Густава было немедленно остановлено.

Сверженного герцога с гауптвахты Зимнего дворца отправили на ночлег в Александро-Невскую лавру, а затем в Шлиссельбург.

Наряжена была комиссия для розыска о «винах» герцога Курляндского и его сообщников. Эти «вины» были найдены и довольно туманно изложены в вышедшем впоследствии манифесте.

Главным образом герцог обвинялся в вымогательстве от чинов 1-го и 2-го классов подписки к челобитной о регентстве, как будто чины 1-го и 2-го классов были дети малые, от которых можно было вымогательством добиться чего-нибудь, если бы они авторитетно и твердо (на что имели возможность) выразили свое нежелание делать то, что их заставляют.

Братья герцога — Карл, не живший даже в Петербурге, и Густав — тако ж и свояк Бисмарк — обвинялись в том, что «про все к разорению и к крайней гибели всей Российской Империи касающиеся злоумышленные предначинания и потом самым действием производимые коварства ведали, а заблаговременно, по должности своих, данных перед Богом и Св. Евангелием присяг о том в надлежащих местах не доносили, но во всем том вспомогателями и сообщниками были».

Насчет «вспомогательства и сообщничества» Густава Бирона брату в обвинении, очевидно, прибавлено уже для красоты слога, потому что всем и каждому было известно, что строевой служака Густав в политику не вмешивался и едва ли знал что-нибудь не только о «злоумышленных предначинаниях брата к разорению и к крайней гибели всей Российской Империи», но не знал вообще ни о каких делах его. Притом если б Густав даже и знал о «предначинаниях», то доносить ему решительно было некуда и не было физической возможности найти такое «подлежащее место» для доноса, потому что во всех «подлежащих» и «не подлежащих» местах были начальниками те самые чины 1-го и 2-го классов, у которых герцог Бирон вынудил якобы подписи.

Несмотря на всю шаткость обвинения, Густав Бирон был приговорен к очень суровому наказанию. Его ссылали на вечную ссылку в Нижнеколымский острог, лежавший на самой окраине сибирской тундры, в семидесяти верстах от Ледовитого моря.

Надо отдать справедливость Густаву Бирону: судьба, возведшая его так высоко, в сущности, без всяких заслуг, если не считать, разумеется, за таковые родство с сильным человеком, теперь без вины казнила его.

Однако народ был так озлоблен против иноземцев Биронов, что, когда их везли через Москву в ссылку, озлобленная чернь чуть не кинулась и не разломала карет, в которых они ехали.

Но Густав Бирон доехал только до Тобольска. Отсюда его вернули по именному повелению императрицы Елисаветы Петровны, воцарившейся вследствие нового переворота в Петербурге. Из Тобольска его повезли в Ярославль, где ему было определено место жительства и где он нашел уже брата Иоганна с его семьею, привезенного в Ярославль из Пелыма.

XXIV

ВСЕ КОНЧЕНО!

«Все кончено!» — вот два слова, которые настойчиво и неотвязно повторял себе князь Борис после ответа, данного ему Наташею.

Где теперь та цель жизни, которую он поставил себе и которая являлась для него единственным светочем, манившим к себе и ласкавшим надеждою на то, что ему суждена в жизни радость, способная вознаградить за все пережитое и перенесенное, за все лишения, и тоску, и одиночество прежнего!

Князь Борис вышел из собора, но свежий воздух не охладил его. Он был в таком состоянии, что не замечал ни тепла, ни холода, и пошел без направления, без цели, сам не зная куда.

«Все кончено! — повторял он себе. — И как я мог думать, что возможно, чтобы она ответила мне иначе!.. Что я такое в сравнении с ней? Но тогда не завлекай, не подавай надежды, не говори, чтобы я делал для нее невозможное!.. А впрочем, может быть, она рассчитывала на то, что я ничего не смогу предпринять, рассчитывала на мою немощь и потому так свободна была в своих обещаниях и поощрениях. Может быть, она даже обещала вполне искренне, но теперь вдруг почувствовала, что я все-таки для нее — совершенно чужой человек... Конечно, она не виновата. Разве может она управлять своим чувством? Виноват во всем я сам. Нечего было увлекаться, нечего было доверять мгновенному порыву доброго чувства молоденькой, неопытной женщины и придавать такое значение ее словам! Нужно было жить, как жил, и махнуть на все рукой... Право, это было бы лучше!..»

Так думал Чарыков-Ордынский и был вполне уверен, что он мог действительно после своей встречи с Наташей жить, как он жил прежде.

Он не замечал сам, как изменился он, и не подозревал, что не выдержал бы теперь и часа прежней беспорядочной жизни.

Положим, и эту теперешнюю его жизнь ему было выносить не под силу: вернуться к старому он не мог, а нового ничего не было; значит, оставался один исход... И весь смысл этого исхода заключался в двух повторявшихся в мыслях Чарыкова словах: «Все кончено!»

Соображение о том, что Наташе, может быть, ничего еще не известно о нем, что Остерман не имел времени говорить с нею, приходило мельком ему на ум, но он отогнал его как совершенно невозможное. Не мог же Остерман, которого, в память отца, он просил, не сказать о нем, князе Борисе, тем более что это ему решительно ничего не стоило; не мог канцлер не сделать этого пустяка! Поэтому Наташа просто не верила, то есть не хотела верить, так как, должно быть, признак чувства, который она показала князю Борису при свидании с ним, был ложный, и на самом деле его вовсе не существовало в ее душе!

Чарыков шел без цели, однако с каждым шагом его мысли не то что прояснялись, но делались все определеннее и определеннее. И эта определенность ничуть не страшила его; напротив, он с каждым шагом, приближаясь куда-то, все более и более начинал привязываться к тому, что ему думалось.

А он думал о том, как вернется домой, как затем под каким-нибудь предлогом удалит Данилова и затем...

И он зашел в оружейную лавку и с полным хладнокровием, благодаря которому внушил к себе большое уважение торговца, стал выбирать и торговать пистолет, долго и подробно справляясь о достоинствах его и торгуясь.

Ему предложили держанный турецкий пистолет, который был «лучше нового», и князь, найдя цену для себя подходящей, купил этот пистолет и весьма любезно простился с торговцем, который просил его зайти еще раз, если понадобится.

— Нет, уж теперь не понадобится! — усмехнулся князь Борис. — Уж это навверное.

Он знал себя, равно как и то, что никогда в жизни не откладывал никакого своего решения, теперь же он все обдумал и решился. И в самом деле, чего ему было еще ждать, чего еще добиваться? «Так, конечно все, — и basta!»

Князь вернулся домой, принес с собою пистолет, положил его на стол, как был он в ящике, и повалился на диван. Он долго лежал с закрытыми глазами, без мысли, без думы. Данилов приходил к нему, спрашивал что-то; князь ответил ему, но что именно — не помнил.

Это состояние как бы полного забвения и небытия было хорошо и приятно Чарыкову. Именно вот так, разом кончить все, забыться и не думать, не ждать, не надеяться, не радоваться и не мучиться... Кончить разом — разве это не счастье! Разве может быть что-нибудь лучше этого?

И он, завидуя тем, кого уже нет, кому посчастливилось расстаться с этою гадкою, полною одних страданий жизнью, удивлялся себе, как раньше не пришло ему в голову его теперешнее решение. Одно было беда, что думать и соображать последовательно он не мог.

И вдруг, совершенно неожиданно, князь Борис как бы застал себя уже не лежащим, а сидящим на диване. Перед ним на столе лежал в открытом ящике пистолет. Он невольно удивился, кто открыл ему этот ящик и зачем там этот пистолет? И странное дело: при взгляде на это оружие он ощутил не то что боязнь, но какое-то гадкое, отвратительно-неприятное чувство, точно между этим пистолетом и им самим существовала какая-то связь, точно это было какое-то живое существо, которое имело на него какие-то права и во власти которого он всецело находился.

Нужно было вынуть пистолет из ящика, и князь вынул и принялся с вниманием разглядывать курок, как бы удивляясь, что вот стоит только сделать движение, шевельнуть пальцем — и все будет кончено.

Он оглянулся кругом — один ли он в тайнике, нет ли Данилова тут... Но того не было.

— Кузьма! — крикнул князь и не узнал своего голоса.

Никто не ответил ему; Данилов, вероятно, отлучился.

«Тем лучше, — подумал князь Борис, — тем лучше. все идет как надо!»

Он чувствовал в руке тяжесть пистолета, а также то, что нужно сделать, чтобы поднять его.

«Нет, не здесь», — решил он.

Ему захотелось еще раз взглянуть на комнаты, отделанные им в доме, пройти туда и там, где он в сумасшедших своих мечтах думал найти счастье обновленной жизни, кончить с этой жизнью, которая теперь была ему не нужна, тягостна и противна.

Князь ощупью пошел из тайника по ходу в старый дом. Холод, охвативший его там, или лихорадка заставили несколько раз вздрогнуть; но он не ускорил шага, поднялся по лестнице, ведущей в комнаты дома, раскрыл дверь в бывший кабинет отца и, едва не шатаясь, прошел налево, где были эти комнаты.

Что это? Показалось ему или на самом деле было так, но из замочной скважины струйка света ясно прорезала полумрак вечерних сумерек.

«Это, верно, Данилов», — сообразил князь Борис, раскаиваясь уже, зачем понадобилось ему идти сюда, и удивляясь, зачем там Данилов, который единственно мог быть

там, потому что все работы кончены, и мастеровым незачем было приходить.

Первым движением Ордынского было вернуться назад, но он как-то безотчетно, словно повинувшись чужой воле, подошел и открыл дверь.

Легкий крик раздался в комнате.

Комната была освещена, и посередине ее с испуганным, обращенным к двери личиком стояла Наташа, но не такая, какою видел он ее в церкви, не в черном платье с белой плерезой, не в высоком чепце с черной вуалью, а в белом атласном подвенечном платье, в том самом платье, в котором она венчалась с ним, не зная, кто он и что он.

Чарыков помнил, что людям перед смертью иногда, как рассказывают, представляются видения. А те минуты жизни, которые он переживал, он считал последними; и, не веря своим глазам, остановившись на пороге, он смотрел на видение, пораженный, недоумевающий и растерянный.

Но глаза его Наташи глядели на него так живо, так весело, такую улыбкой светилось ее лицо, что он чувствовал, как жизнь, точно извне, вливается в него снова, сердце бьется, руки раскрываются сами собою, он делает шаг вперед, и она, милая, прекрасная, светлая и радостная, бросается к нему, и ее тонкие руки, легкие, как невидимые крылья, обвивают его шею, и он чувствует прикосновение ее губ к своим губам!

Это — не видение. С ним, близко возле него, на груди у него — живая, любимая его Наташа!..

XXV

ОБЪЯСНЕНИЕ

Неожиданность для Наташи появления Чарыкова-Ордынского была самым лучшим, что могло случиться в этот миг. Она испугалась этой неожиданности и под влиянием испуга кинулась к нему, и таким образом сразу была порвана та отчужденность, которая, несмотря ни на что, все-таки была между ними, как между людьми хотя любившими, но мало знавшими друг друга.

Теперь, после их поцелуя, отчужденности как не бывало. И Наташа, отклонившись назад и все еще держа руки на плечах мужа, смотрела ему в лицо и глазами, улыбкой и голосом, и всем своим существом старалась вознаградить его ласками за свои обидные слова.

— Милый, я не знала! — сказала она. — Я не знала, это затмение на меня нашло... Но, понимаешь ли, я не смела верить своему счастью, а потому не поверила и тебе. А потом, когда я узнала, — что со мною было!..

Они незаметно приблизились к маленькому диванчику, стоявшему у стены.

— А здесь очень мило, — проговорила Наташа, бегло оглянув комнату с таким видом, который ясно доказывал, что она уже раньше подробно успела осмотреть и полюбоваться ею.

Борис опустился на диван, взял за руки Наташу, поочередно прижал к губам ее руки и осторожно, бережно, улыбкой спрашивая: «Можно ли?» — охватил ее талию.

Наташа не сопротивлялась, придвинулась ближе к нему и, как бы наткнувшись на его ногу, опустилась к нему на колени.

Князь снова почувствовал ее близость. Она прислонилась к нему и снова заговорила:

— Милый, ты знаешь, я чуть с ума не сошла! Когда я вернулась из церкви, я нашла у себя дома приглашение завтра явиться во дворец: «Князь Борис Андреевич Чарыков-Ордынский с супругою его, княгинею Наталией...» Я не поверила своим глазам, думала, что это — ошибка, и отправилась к Юлиане Менгден, которая знает теперь все во дворце. И, представь себе мое удивление, когда Юлиана объяснила мне, что это — не ошибка, что я действительно должна приехать с мужем. Я спрашиваю, что это значит; она не ответила, а только улыбнулась и сказала, что завтра я узнаю. Юлиана всегда была ко мне очень добра. Я стала уверять ее, что моя жизнь зависит от того, скажет она или нет, и она передала мне только то, что знала сама, а именно, что будто бы ты оказал какие-то услуги великой княгине вместе с Остерманом или через Остермана, словом, тут был при чем-то Остерман, и великая княгиня велела послать мне приглашение вместе с тобою. Тогда только поняла я твое письмо и почувствовала, какая я была гадкая, злая и скверная...

— Ну, будет об этом... не говори! — перебил Ордынский. — Разве ты можешь быть гадкой?

— Когда я вернулась домой, — продолжала Наташа, — я была сама не своя. Я места не могла найти себе... Я кинулась к Даше и велела ей бежать сейчас же к Шантильи, куда я отправляла тебе записки, и во что бы то ни стало разузнать, где можно найти тебя. Мне нужно было видеть тебя сейчас, сию минуту. Я не знаю, что я пережила

в течение того времени, пока ходила Даша. Мне казалось, что она никогда не вернется, но она вернулась-таки. Она как раз встретила там твоего Данилова. Я познакомилась с ним теперь и знаю его историю с Груней. Когда Даша рассказала ей, зачем мне нужно тебя видеть, Груня велела ей подождать — она сама ждала Данилова, — и, когда он пришел, они решили, что лучше всего будет отправиться ему ко мне. Я велела сейчас же заложить карету и приехала с Даниловым на козлах сюда. Он провел меня в эти комнаты, а сам пошел за тобою. Я не велела ему говорить, что я здесь. Ведь он не сказал тебе, нет?

Чарыков ответил только, что не видел Данилова и пришел сюда сам, но зачем именно пришел — не сказал.

— Ну а это когда же ты успела надеть? — спросил он, показав на ее белое платье.

Наташа смутилась, спрятала свое лицо и тихо ответила:

— А это пока закладывали карету.

И она снова обняла его.

XXVI

АУДИЕНЦИЯ

На другой день Наташа вместе с князем Борисом в карете с княжеским гербом Чарыковых-Ордынских явились во дворец, где им была назначена аудиенция великой княгиней. Они и подъехали, как было им указано, с маленького подъезда, от которого вела лестница прямо во внутренние покои.

Наташа с особенной ласковостью взглянула на Данилова, когда тот в своей ливрее и треугольной шляпе, вытянувшись во весь рост, почтительно, как заправский лакей, снял с нее шубу.

Наташа была по штату опять в своем черном платье и высоком чепце с вуалью. Ее лицо было задумчиво и сосредоточенно, но тихая улыбка счастья так и светилась на нем. И она ответила этою улыбкою на взгляд князя Бориса, который оглядел ее наряд.

Наташа поняла, что ее черное платье напомнило мужу их встречу в соборе, и, наклонившись к его уху, шепнула:

— Ничего... Это в последний раз... Я никогда больше не надену этого платья...

Им показали, куда следует пойти, и они очутились в дворцовой приемной.

Когда дежурный камергер пошел докладывать о них и они остались одни, ими овладело то шаловливое, резвое чувство, которое испытывают дети, когда большие отлучаются от них куда-нибудь.

Наташа чувствовала, что именно в эту минуту, когда нужно было призвать на помощь всю свою сдержанность, чтобы казаться вполне серьезной и даже печальной в соответствии траурному наряду, бывшему на ней, ей чрезвычайно хотелось смеяться, и она закусывала губу, чтобы не разразиться звонким и громким смехом. Она боялась взглянуть на мужа, потому что видела, что и он едва удерживается.

И князь Борис отворачивался от нее и, как вчера, когда они были одни, слушал ее, не понимая, и понимал, не слушая ее, так и теперь он видел Наташу, не глядя на нее, видел тонкие пальцы ее руки и осторожно, крадучись, схватил эту руку и успел поцеловать. Но только что Наташа отдернула ее, как двери распахнулись, и правительница в сопровождении любимой фрейлины Юлианы Менгден вошла в приемную.

Наташа и князь Борис стояли уже как вкопанные, прямые, почтительные и по возможности печальные.

Князь Борис видел лицо правительницы, и ему казалось, что и ей не хочется принимать на себя скучный ее вид и что ей тоже в душе очень весело. Он видел также по ее глазам, что она узнала его и вспомнила о его костюме продавца амулетов.

Юлиана, находившаяся теперь при исполнении своих обязанностей в качестве придворной, степенно выступала за великою княгиней, но как знакомая переглянулась с Наташей.

Правительница протянула князю Чарыкову-Ордынскому руку, и тот поцеловал ее. Затем она в нескольких неясных и довольно туманных словах сказала что-то о благодарности и о службе. Она, видимо, не привыкла еще к разговору на аудиенциях с незнакомыми ей людьми. Из ее речи было совершенно ясно понятно только одно, что император жалует Чарыкову-Ордынскому три тысячи рублей одновременно и затем вотчину в одной из провинций.

Затем Анна Леопольдовна сочла нужным поговорить немного с Чарыковым, и в этом разговоре князь Борис, поблагодарив ее высочество, сказал, что он, взысканный столькими милостями, осмеливается просить еще об одной.

Правительница очень обрадовалась этой теме для разговора, потому что сама не могла подыскать никакой, и спро-

сила, о какой милости он просит. Князь Борис назвал Кузьму Данилова и, объяснив, что тот был близким пособником во всем, ходатайствовал о прощении его. Анна Леопольдовна кивнула головой, нашла, что можно кончить аудиенцию, и, милостиво простившись, изволила выйти.

— Ну, до свидания, голубчик, поздравляю! — шепнула на ходу Юлиана Наташе.

— Ты мне Данилова не забудь устроить, — ответила та ей, и Юлиана закивала головой: «Будь, дескать, спокойна — все будет сделано!»

ЭПИЛОГ

I

В ДЕРЕВНЕ

Давнишние мечты Наташи сбылись: она нашла в князе Борисе любящего и любимого мужа, который сумел привлечь ее к себе и с каждым днем изменялся все более и более к лучшему.

Она вдруг почувствовала, что ее жизнь совершенно полна, полна новыми интересами семьи, и что вечно тревожная суэта столицы ничего не может прибавить к этой полноте. Она увидела теперь яснее, чем когда-нибудь, как тяжела ей и неприятна суতোлка этой жизни и как мало притягивает она ее к себе.

В столице, в особенности в том кругу, где вращалась Наташа, было все натянуто и деланно. Носили траур, когда на душе было весело, радовались падению одного и возвеличению другого, злословили, лгали и, в сущности, были со всеми любезны до приторности, всем говорили льстиво-учтивые фразы. Так требовалось по правилам вежливости, и под флагом этой вежливости омерзительно двоедушничали.

Теперь это двоедушие для Наташи под влиянием радости — тихого, истинного и искреннего чувства любви их с мужем — было особенно заметно. Часы, которые она проводила с князем Борисом наедине, были не знакомыми для нее до сих пор часами счастья, в сравнении с которыми все остальное было пусто и нелепо.

И как ужасно поразила их внезапная и совершенно неожиданная, неблагодарная несправедливость правительницы, принявшей отставку Миниха, которому была обязана всем. В первые дни своего правления она облекла его неограниченным доверием, но потом вдруг стала делать ему неприятности, подпала под влияние Остермана, и, когда Миних поставил вопрос ребром, пригрозив подать в отставку, Анна Леопольдовна, ко всеобщему удивлению, приняла ее.

Об отставке фельдмаршала делалось извещение по городу с барабанным боем на улицах. Говорили, что правитель-

ница выразилась про Миниха, что она может воспользоваться плодами его дела как изменника, но, как изменника, уважать его не может. До некоторой степени она была права, потому что Миних, арестовавший регента, был его другом, еще в день ареста разделявшим хлеб-соль с ним, и, став теперь другом правительницы, мог так же легко изменить и ей.

Удивлялись, какою силою влияет Остерман на великую княгиню, которая подчинилась ему всецело. Но вскоре стали ходить слухи, что посланником польско-саксонским снова приедет в Петербург граф Линар и что мысль о вызове его вновь принадлежит Остерману. Тогда многим стало понятно, чем мог взять у правительницы старый Остерман.

Все это было неприятно Наташе, претило ей. Теперь она только и ждала случая освободиться от этого столичного чада и чрезвычайно обрадовалась, когда встретила в князе Борисе полное сочувствие своим мыслям.

Он ничего не имел против того, чтобы отправиться в деревню, и они решили переехать на житье пока в одно из имений Наташи впредь до окончательного устройства пожалованной князю Борису вотчины, где они намерены были поселиться навсегда.

За этими сборами застала их старуха Олуньева, нашедшая теперь возможность вернуться в Петербург. Она крайне удивилась и рассердилась в первую минуту, когда Наташа представила ей своего мужа, но потом положила гнев на милость, оглядела, как нечто достопримечательное, князя Бориса и заявила при этом Наташе:

— А ведь он ничего — совсем соколом смотрит... Только ни за что бы я с этакой орясиной не вожжалась!.. Ишь, горя не было, так мужа себе на шею навязала...

Но Наташа, видимо, не считала горем навязать, как выразилась тетка, себе мужа и усмехнулась только, сказав, что она им довольна.

— Погоди, — возразила Олуньева, — вот бить тебя начнет, тогда другое скажешь... Ты мою Наташу бить будешь, а? — обратилась она к Чарыкову-Ордынскому.

Он понимал, что она шутит, и, тоже смеясь, ответил:

— Пожалуй... немножко, в одном только случае...

— А, видишь! — подхватила Олуньева. — В каком же это случае?

— Если она тетку уважать не будет! — проговорил, снова смеясь, князь Борис.

Расхохоталась и старуха Олуньева.

— А ведь он умен у тебя, — обернулась она в сторону Наташи, — одно слово — сокол!

Их намерение уехать в деревню она вполне одобрила и на прощанье показала им свою духовную, по которой все ее имение было завещано им.

— Теперь ничего не дарю, — сказала она, — потому — у вас самих всего много, а умру — все мое вам останется.

И она проводила их, усердно помолившись на напутственным молебне, причем положила, чего давно с нею не бывало, три земные поклона.

Остаток зимы Чарыковы-Ордынские провели в имении Наташи.

Летом князь Борис устроился в своей новой вотчине, и устроился крепко, солидно и прочно, отбросив все городские затеи и не думая обтягивать стены дома шелками да бархатами, разрисовывать потолки амурами и богинями, разбивать сады со стриженными аллеями и изуродованными деревьями или разводить искусственные парки. Он поставил свою усадьбу вполне хозяйственно, в течение лета успев научиться кое-чему, и сразу заслужил уважение в околоте.

Кузьма Данилов, теперь женатый на Груне, оставался по-прежнему верным его помощником и оказался неоценимым человеком и здесь, в деревне, которую тоже любил больше города.

К концу года у Наташи родился сын, но его не крестили в ожидании приезда старой Олуньевой, так как она выразила желание быть крестною матерью.

Вместе со старухой Олуньевой пришли важные вести из Петербурга. Ни правительницы, ни маленького императора Иоанна, никого из окружавших их не было уже там. На всероссийский престол взошла дочь императора Петра, Елисавета, и старуха Олуньева, по своему обыкновению, сейчас же собралась и исчезла из Петербурга, впрочем, имея на этот раз достаточную к тому причину — крестины внучатого своего племянника.

— Граф Линар был-таки вызван в Петербург, — рассказывала она Чарыковым. — И, представь себе, какой фортель хотели выкинуть?.. Женить его на Жульке!..

— На какой Жульке? — удивилась Наташа.

— На Менгден Юлиане.

— А где теперь Юлиана? — полюбопытствовала Наташа.

— А она вместе с Брауншвейской фамилией в Холм-горы отправилась, куда они сосланы.

— Ну а Бинна?
— И Бинна тоже... Славные бабенки! — согласилась Олуньева. — Говорят, до конца остались преданы Анне Лепольдовне.

II

ЗИМНИЙ ГОСТЬ

Прошло четыре года с того времени, как Ордынские поселились у себя в деревне.

Стояла зима. Недвижимы и безжизненны лежали окрестности под толстым слоем снежной пелены. Крепкий мороз покрыл этот снег ледяною корою, и он, как неподвижное море, как сказочная алмазная долина, блестел при лунном свете. Изредка кое-где вырисовывались темные узоры в кружевных силуэтах деревьев. Вдали, там, где летом за зеленым лугом и за быстрою речкой чернела деревня, мелькали теперь огоньки, словно волчьи глаза, блеснувшие в синеватой дымке прозрачной, морозной лунной зимней ночи.

Князь Борис стоял у окна и из теплой, даже жарко натопленной комнаты смотрел на расстилавшееся перед ним за стеклом окна обаятое холодом пространство.

Была какая-то особенная задумчивая прелесть в этой необъятной шире, в ее холодной неподвижности и в той теплоте, которую ощущал в себе и вокруг себя князь Борис. Но главным образом тепло и хорошо было ему на душе от сознания полного спокойствия и правоты перед Богом и людьми и близости его Наташи, которая сидела тут же у стола, тоже о чем-то задумавшаяся.

Они только что кончили ужинать, и князь Борис знал, о чем думает теперь его жена.

И ему странно было и вместе с тем хорошо сознавать, что вот среди этого огромного пространства, часть которого он видел в окно, приютились они под кровлей уютного дома, и все у них есть, и всего у них вдоволь, и все их любят, и они любят друг друга и любят своего сына, маленького Андрюшу, о котором думает теперь Наташа.

Она думала о нем, о своем мальчике, думала о том, как он, по ее мнению, с каждым днем становится все более и более похож на отца, как он мило начинает уже связно передавать свои впечатления и как с каждым годом будет труднее растить его.

Ее давно беспокоило, что у них нет домашнего лекаря. Мало ли что может случиться? Она уже несколько раз говорила мужу, что нужно выписать какого-нибудь немца из Петербурга, на что тот всегда, смеясь, отвечал ей, что немец к медведям не поедет, да и вообще лекари ничего не понимают.

— Вот ты смеешься, — заговорила она, хотя князь Борис вовсе не смеялся в эту минуту, — а я все-таки думаю, что без немца нам не обойтись!

— А что? — обернулся он. — Разве с Андрюшей что случилось?

В это время в дверях показалась старушка нянюшка, таинственными знаками звавшая княгиню.

— Что, случилось что-нибудь? — повторил князь Борис, обращаясь на этот раз уже к нянюшке.

Нянюшка замахала рукой.

— Полноте, князь, ваше сиятельство, — обиделась та, — чему ж случиться?

И она таинственно стала шептаться с Наташей, после чего та передала ей ключи и отпустила ее.

— Ах, ничего особенного! — ответила Наташа на вопросительный взгляд князя Бориса. — Просто белье нужно выдать чистое на завтра.

Подобные появления нянюшки, когда Наташа с особенною серьезностью исполняла роль деловитой хозяйки, всегда очень нравились князю Борису, и он особенно любовался женой в эти минуты. Он подошел к ней, как всегда подходил, и взял ее за руку.

— погоди! — остановила она. — Слышишь?

Князь Борис прислушался. Вдали дребезжал колокольчик. Звуки становились все слышнее и слышнее. Очевидно, подъезжали к их дому.

— Это дорожный кто-нибудь, — сказал князь Борис. Они подошли к окну, откуда были видны двор и дорога, и стали прислушиваться.

Зимою в деревне колокольчик всегда приятен особенно. Там всякому рады, и всяк там — дорогой гость.

И князь Борис, и Наташа с удовольствием увидели, что кибитка въезжает к ним во двор, и слышали, как она подъехала к крыльцу.

— Нужно велеть, чтобы отворили, — сказала Наташа.

Но в людской тоже заметили приезд дорожных, и на лестнице уже послышался стук сапог дворецкого Игнатия, бежавшего отворять двери.

Игнатий, выкупленный на волю Чарыковым, был брат Аграфены, жены Данилова, получившего права приказчика.

— Ну, я пока пойду к Андрюше и велю подать что-нибудь закусить, — сказала Наташа. — От ужина осталось, наверно.

В прихожей в это время раздались тяжелые шаги, возня снимания теплой зимней одежды, и появившийся в дверях Игнатий доложил:

— Господин барон из немцев.

Князь Борис переспросил, какой барон.

— Так что они по-русски не совсем свободны, — ответил Игнатий. — Говорят, барон...

Чарыков велел все равно просить.

В столовую вошел высокого, даже огромного роста человек в каком-то странном дорожном тулупчике, видимо надетом им под шубу, с отросшими волосами на голове, очевидно давно не выдавшей парика, и с отросшею щетиной бородой, порядочно-таки небритой.

Проезжий был из дальних.

Чарыков заговорил с гостем первый, назвался ему, и тот в свою очередь ответил, но ответил, стесняясь и несколько раз запнувшись, что он — бывший опальный, Густав Бирон, брат бывшего герцога Курляндского, получивший прощение и возвращающийся ныне по повелению всемилостивейшей государыни в Петербург из Ярославля, где провел четыре года в ссылке.

Князь Борис не выказал ни удивления, ни того странного волнения, которое охватило его при виде этого человека, который имел такое таинственное влияние на его судьбу и к судьбе которого сам он, князь Борис, был не безучастен, несмотря на то что не знал его до сих пор и только теперь им пришлось встретиться, когда он был так тихо счастлив и когда Густав Бирон был унижен и, пожалуй, забит судьбою. И чтобы заглушить свое волнение, князь Борис стал усаживать гостя, хлопотать об его угощении, словом, чем мог, старался от души выразить ему внимание и сочувствие.

Бирон, как-то покорно усевшийся за стол, охотно подчинялся Чарыкову и ел без разбора все, что тот предлагал ему. В его обращении видны были следы гнета четырехлетней ссылки, и он, видимо, уже теперь, на пути в Петербург, готовясь к тому, как он будет разговаривать там, все время чуть ли не через каждое слово повторял: «Всемилоостивейшая государыня императрица Елисавета Петровна». Он старательно выговаривал это, очевидно с трудом заучив и запомнив длинное слово «всемилоостивейшая».

Вошла Наташа.

Переглянувшись с нею, князь Борис сейчас же увидел, что ей известно уже, кто был их гость.

Она с особенной находчивостью женщины стала оживленно и весело разговаривать как ни в чем не бывало о зимнем пути, о дороге, о деревенской жизни.

Бирон отвечал ей, но с некоторым трудом. Он долго-долго и пристально смотрел на Наташу. Узнал ли он ее, вспомнил ли он прежнее — об этом он не сказал ни слова и так и уехал на другой день, поблагодарив Чарыковых-Ордынских за гостеприимство.

Впоследствии они узнали, что по приезде в Петербург Густав Бирон должен был получить какое-то особое служебное назначение, но, не успев получить его, скоропостижно скончался, не оставив по себе никакой другой памяти, кроме того, что он был братом герцога.

ДВЕ ЖИЗНИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

В середине июня 1789 года, когда императрица Екатерина II вместе со своим двором находилась в Царском Селе в летней резиденции, произошло обстоятельство, не отмеченное в исторических летописях и оставшееся совершенно неизвестным, но тем не менее имевшее некоторое влияние на ход событий последних лет царствования великой императрицы.

Давно уже доказано, что наряду с так называемой официальной историей, несомненно, существует неофициальная, тайная, сплетающаяся из целого ряда интриг и отношений, разгадать и открыть которые представляется возможным лишь спустя многие годы. И сколько раз подобные открытия давали вдруг совершенно неожиданно объяснения явлениям, казавшимся случайными, и соединяли эти казавшиеся случайными явления в последовательную и логически развивающуюся цель.

Есть, например, серьезные исторические данные к тому, чтобы считать, что душою переворота 1762 года, возведшего на русский престол принцессу Ангальт-Цербстскую, супругу императора Петра III, Екатерину, был известный граф Сен-Жермен, оставивший на западе Европы по себе память как исключительный человек, владевший тайнами природы и располагавший поразительной, чуть ли не волшебной силой.

Граф Сен-Жермен был в Ангальт-Цербсте другом матери Екатерины и в 1762 году был в России под именем пьемонтца Одара, жившего на маленькой мызе, на месте, где возникло потом Царское Село с его великолепным дворцом и парком. На той мызе, в помещении, занимаемом пьемонтцем Одаром, происходили все совещания съезжавшихся сюда секретно участников переворота 1762 года. Очевидно, граф Сен-Жермен руководил ими, и они знали, кто скрывается под скромным именем пьемонтца.

До нашего времени дошел список всех получивших награды при восшествии на престол Екатерины II. В нем помечены все, так или иначе способствовавшие этому «действию», как выражались тогда, и один только пьемонтец Одар не упомянут.

Подобный пропуск, разумеется, не может быть случайным, так как Одар являлся слишком деятельным лицом и его слишком хорошо знали все главари заговора. Знала его лично и сама Екатерина.

Сен-Жермен, действовавший под именем Одара, не получил награды за свои труды, потому что был единственным, исключительным человеком, не нуждающимся ни в чем из того, что могла дать даже такая всемогущая государыня, как Екатерина. В самом деле, она могла предоставить ему почести, власть, деньги, и только. Для огромного большинства и почести, и власть, и деньги являлись неудержимым соблазном, но для Сен-Жермена ни то, ни другое, ни третье не представляло цены, потому что он решительно не нуждался ни в том, ни в другом, ни в третьем. Почет у него был в силу его огромных знаний, которые давали ему дружбу коронованных особ и ставили его выше всех приближенных слуг и подчиненных государей. В то время как придворные искали перед властителем, сами эти властители не прочь были искать расположения такого человека, как граф Сен-Жермен. Власти ему было не дано, потому что он, опять-таки в силу своих знаний, мог владеть волею других людей, то есть обладал такой властью, позавидовать которой мог и король. Наконец, в деньгах он не нуждался, потому что, как говорили, обладал секретом «философского камня», то есть мог превращать любой металл в золото, а простой уголь — в чистейшей воды бриллиант.

Правда, подлинных доказательств этого его искусства не сохранилось, и сам Сен-Жермен никогда положительно не утверждал, что ему известен «философский камень», творящий такие чудеса. Но вместе с тем он никогда и не отрицал этого, а когда ему предлагали денег — доставал из кармана горсть самоцветных камней и спокойно говорил:

— Согласитесь, что тому, у кого полон карман драгоценностей, деньги не нужны.

И действительно, карманы у него всегда были полны драгоценностями.

Кроме всего этого граф Сен-Жермен обладал огромною памятью и хранил в ней многие исторические подробности с такою ясностью, как будто сам присутствовал при них. Что же касается будущего, то оно, по-видимому, для него

было так же ясно, как прошедшее, и он читал в нем так же свободно, как в любой самой обыкновенной книге.

Таким образом, чем могла наградить и что была в силах дать подобному человеку императрица Екатерина, которой он помог взойти на престол, руководя ее сподвижниками?

А что именно он руководил, то об этом сохранилось, как исторический факт, свидетельство одного из этих сподвижников, графа Алексея Орлова, который, проживая за границей после смерти императрицы Екатерины, в царствование уже Павла Петровича, встретив при одном из маленьких германских дворов графа Сен-Жермена, отнесся к нему чрезвычайно почтительно и в присутствии большого придворного кружка открыто назвал его «отцом переворота 1762 года».

Но кто знал, когда в свое время приезжал в Россию граф Сен-Жермен, что его приезд будет иметь столь значительные последствия?

Вот точно так же и обстоятельство, случившееся в середине июня 1789 года, прошло совершенно незамеченным, и только посвященные знали, что оно может быть чревато последствиями.

Обстоятельство же это заключалось в том, что в поздний час сумеречно-белой петербургской июньской ночи в Царское Село въехала большая, запряженная четвериком цугом карета, так называемый дормез, с увязанными на ней чемоданами, сундуками и баулами и была остановлена у заставы, где досмотр производился особенно строго, потому что двор в это время находился тут, в Царском.

II

В этой карете сидел высокий, худой старик с гладко выбритым, несмотря на сделанное, видимо, далекое путешествие, лицом, в парике и в одежде по старой французской моде и в плоской треугольной шляпе. Цвет его одежды был очень скромный — темно-коричневый, никаких богатых украшений на нем не было видно и вообще ничего роскошного, бьющего в глаза.

Выскочивший из караульного помещения сержант с фонарем подошел к дверце кареты, и сейчас же к нему протянулись оттуда бумаги, удостоверявшие личность прибывшего. Эти бумаги, очевидно, были в полном порядке, потому что сержант, взглянув на них, сейчас же махнул в сторону спущенного шлагбаума; последний поднялся,

и карета двинулась, закачавшись вновь своим тяжелым кузовом.

Сержант вернулся в караульное помещение и отметил в книге, куда заносились фамилии всех пропущенных через заставу: «Доктор Август Герман».

Этот проехавший в огромной карете доктор, судя по ее виду, очевидно, сделал большое путешествие и приехал не иначе как из-за границы. Не говоря уже о самом докторе — несомненно иностранце, — все окружавшее его обличало в полном смысле слова иноземщину.

Однако сидевший в ливрее на козлах кучер правил уверенно и бодро погонял большим бичом лошадей, видимо отлично зная дорогу.

Надобно сказать, что в то время даже и в больших городах, не исключая Петербурга, не только еще не вывешивалось название улиц, но большинство последних вовсе не имело названий, и дома только на главных артериях строились в ряд; в промежуточных же местностях возводились усадьбы с садами, огородами и службами, и, чтобы отыскать чье-нибудь жилище, человеку, незнакомому в точности с дорогой, приходилось расспрашивать прохожих, заходить в лавочки или стучать в чужие окна. То же самое происходило и в Царском, где тогда был полный хаос в распределении домиков и дач.

Однако карета доктора Германа катилась без остановок, уверенно поворачивая; видимо, кучер ее отлично разбирался в лабиринте замерших в ночной тиши закоулков.

Наконец дормез остановился у низенького домика с мезонином, ничем особенным не отличавшегося от прочих, кроме разве несомненной опрятности содержания, видевшейся во всем. За домиком рисовались темные деревья большого и густого сада.

По первому взгляду казалось, что и этот домик, как и соседние, спал тихим сном и за его плотно затворенными ставнями царил ничем не возмущаемый покой. Но едва остановилась карета и кучер, по обычаю заграничных почтальонов, протрубил в почтовый рожок, дверь немедленно распахнулась, и двое выбежавших слуг кинулись к карете.

Полоса яркого света упала из двери на крыльцо, домик был освещен внутри. Там, очевидно, ждали приезжего. Он бодро сошел, держась необыкновенно прямо, по откинутой слугами каретной подножке и как свой человек уверенно поднялся по ступеням крыльца. Слуги последовали за ним, дверь захлопнулась, а карета двинулась дальше и исчезла за поворотом.

В прихожей домика висело на вешалке много плащей и на столе лежало много шляп.

— Все уже в сборе? — спросил доктор, кладя и свою шляпу на стол.

Но вместо того, чтобы ответить на его вопрос, слуги загородили ему дорогу и шепотом произнесли:

— Пароль для пропуска?

Доктор улыбнулся и, посмотрев на них, спросил:

— Разве вы не узнали меня?

— Пароль для пропуска! — настойчиво повторил старый слуга.

Доктор, пожав плечами, ответил:

— *Ad augusta!**

— *Per augusta!*** — подхватили сейчас же слуги и, раступившись с поклоном, дали дорогу.

Довольно большая комната, в которую вошел доктор Герман из прихожей, была освещена люстрой в семь восковых свечей. Посредине стоял стол, покрытый ярко-красным сукном, и за ним сидело восемь человек, одно девятое место оставалось незанятым.

При появлении доктора все поднялись, и он, сделав общий поклон, вместо приветствия произнес:

— *Ad augusta!*

— *Per augusta!* — ответили хором присутствовавшие и по знаку председателя опустились в свои кресла, а вновь прибывший занял оставшееся свободным.

— Вы привезли нам хорошие новости? — обратился председатель к доктору на французском языке.

— Более чем хорошие — отличные! — ответил он.

— Вот как? Чем же вы нас можете порадовать?

— Бастилия пала!

Доктор произнес только эти два слова, но впечатление они произвели очень сильное. Все присутствовавшие приподнялись, переглянулись, и председатель взволнованно повторил:

— Бастилия, королевская тюрьма в Париже, пала. Что же это значит?

III

Бастилия была королевскою тюрьмою в Париже, то есть местом заключения, куда сажали по личным приказам

* К высокому! (*лат.*)

** Через трудное! (*лат.*)

французских королей, по преимуществу так называемых политических преступников.

Власть во Франции была в руках слабовольного, нерешительного короля Людовика XVI, и там работал целый ряд тайных обществ, имевших целью ниспровергнуть эту власть. Вместе с тайной работою шла и открытая пропаганда, и мало-помалу начиналось то движение, которое разразилось впоследствии в ураган так называемой Великой французской революции. Первым актом этой революции и были взятие Бастилии и освобождение заключенных в ней.

Эта весть, привезенная доктором Германом, была радостно принята ожидавшими его, и, когда на вопрос председателя: «Что же может значить взятие Бастилии?» — доктор подробно объяснил, каких последствий ожидают в Париже от этого «успеха» и на что теперь можно надеяться, со всех сторон послышались выражения шумного одобрения.

— Когда же это произошло? — спросил председатель.

Оказалось, что Бастилия была взята 4 июня, а в середине этого же месяца доктор Герман уже добрался с вестью об этом в Царское Село. Ни официальных сведений, ни частных из Парижа сюда еще не пришло, и его сообщение было первым. Доктор, по-видимому, очень спешил в Россию и не терял в дороге ни минуты времени.

— Нам остается только поблагодарить вас, — сказал ему председатель, — за то, что вы не мешкая приехали к нам и первым привезли важную весть. Завтра же мы по этому поводу назначим в Петербурге торжественное заседание нашей логи и отпразднуем взятие Бастилии как международный, общий для нас всех праздник.

— *Fiat!** — сказали все присутствовавшие, и председатель три раза стукнул согнутым пальцем о стол.

— Ну, что же у вас, как идут дела? — спросил Герман.

— Все по-прежнему, — ответил председатель, — подвигаемся, но очень мало. Условия, в которых находится Россия, нельзя сравнить с тем, что может произойти во Франции.

— Дмитриев-Мамонов** все еще в силе?

* Да будет так! Да свершится! (*лат.*)

** Граф Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов (род. в 1758 году), покровительствуемый кн. Потемкиным, был назначен (в 1784 году) адъютантом к нему. Будучи при дворе, обратил на себя внимание имп. Екатерины II и до 1789 года был у нее в фаворе, однако влияния на дела государственные почти не имел.

— Смешно сказать про него, что он «в силе»! — усмехнулся председатель. — Более слабого и бесцветного человека нельзя себе представить.

— Но все-таки при дворе он занимает прежнее место?

— Вот уже три года остается по-прежнему.

— И вы не нашли способа овладеть волею этого человека?

— Можно овладеть волею, когда есть хоть подобие ее. Но у него, безусловно, вместо воли пустое место.

— Тогда надо было давно постараться избавиться от него.

— Так и сделано. Он влюблен в княжну Дарью Федоровну Щербатову.

— Прекрасно.

— В скором времени он сделает ей предложение и огласит свои намерения.

— Значит, дни его при дворе сочтены?

— Полагаем.

— Хорошо. А готов ли у вас ему заместитель?

— Разумеется. Мы уже давно подумали об этом.

— Подходящий человек?

— Старейшие братья долго выбирали и остановились на нем после долгих обсуждений. Он — сын одного из наших братьев, сирота, находится под нашим наблюдением.

— Брат ордена?

— Неофит и будет посвящен в первую степень, как только явится потребность выдвинуть его.

— Но можно ли положиться на него?

— По нынешним временам ни на кого нельзя положиться, но, насколько можно судить, он должен оправдать доверие: он умен, красив собою, силен физически, владеет собою и достаточно самостоятелен.

— Блестящая рекомендация, но с ним, пожалуй, будет трудно, если он попытается выйти из повиновения?

— Что делать? Безвольный и легко подчиняющийся человек, как оказывается, хуже. Вот, например, Дмитриев-Мамонов. Он подчинялся, правда, слишком легко, но зато на него мог иметь влияние всякий, даже посторонний, и результат получился совершенно отрицательный.

— Хорошо. Но у вашего нового кандидата есть по крайней мере какой-нибудь недостаток, пристрастие?

— У него все недостатки, свойственные всем молодым людям: он не прочь покутить, поиграть в карты, бросить деньги зря. От нас будет, конечно, зависеть развить в нем те или другие склонности.

— Это необходимо. Мы можем управлять человеком лишь тогда, когда владеем ключом его пороков. Он честолюбив?

— Опять-таки как всякий молодой человек его лет, обладающий мечтательным умом.

— Есть у него состояние?

— Никакого. Его отец имел большие поместья, жил очень широко, но разорился и должен был провести последнее время жизни в провинции, в глуши, где был найден нашими братьями и просвещен их светом.

— Он скончался в нищете?

— Нет, у него оставалось еще маленькое поместье, но оно было продано за долги после его смерти.

— Так что его сын вырос в хорошей обстановке?

— О да, и получил привычку к роскоши, к которой имеет врожденный вкус.

— Это очень важно. Как сказалоcь на него в детстве влияние матери?

— Он почти не знал ее. Она умерла, когда ему было пять лет. Он — круглый сирота, даже не имеет родственников.

— Что он теперь делает?

— Служит в Конном гвардейском полку, в чине секунд-ротмистра.

— Как его зовут?

— Сергей Александрович Проворов.

— Красивая, звучная фамилия, хорошее имя! У вас составлен его гороскоп?

— О, разумеется!

— Что же ему предвещает будущее?

Председатель развернул лежавший перед ним лист бумаги с начертанным кругом, разделенным на двенадцать частей, в которых были расставлены знаки зодиака и планет, и передал доктору Герману. Тот стал внимательно рассматривать его.

IV

В то самое время как происходило тайное заседание, на котором с такою тщательностью обсуждалась судьба молодого Проворова, сам виновник его, Сергей Александрович Проворов, и не подозревая, что он был причиной столь серьезного собрания почтенных людей, занимающихся его судьбою, лежал на постели и глядел в потолок, закинув руки за голову.

Было жарко, душно. Погода стояла великолепная, и, несмотря на то что окно было открыто, дышалось тяжело и нельзя было спать. Белая северная ночь мешала своим светом и раздражала мечты, отгоняя сон.

Проворов ворочался с самого вечера, только немного задремав с самого начала, а потом все время ощущая раздражающее состояние полузабытья, при котором как будто и не чувствуешь себя, но вместе с тем сознаешь все, что происходит не столько во внешнем мире, сколько внутри себя, в себе самом.

Он лежал в отдельной офицерской комнате помещения, отведенного в нижнем этаже дворца для офицеров, приехавших на дежурство в Царское Село из Петербурга. Сегодня Проворов дежурил днем, а завтра у него было ночное дежурство. И потому он мог теперь раздеться и лечь в постель.

Но ему не спалось. Всякий раз, как попадал он в полную пестроты и движения жизнь большого двора, когда видел вокруг себя важных лакеев, придворных карлов, арапов, блестящие мундиры, приветливые, вечно улыбающиеся лица и целый цветник дам и девушек, нарядных и прекрасных, он как бы немножко сходил с ума и чувствовал себя в особенно повышенном настроении.

С самого детства, как Проворов помнил себя, его окружали роскошь и довольство, но с годами они как бы таяли, рассеиваясь, словно марево прекрасного и заманчивого видения. Многое из того, что «было» и что окружало его теперь, начинало казаться не существовавшим на самом деле и сливалось с образами воображения, которые, в свою очередь, становились в воспоминаниях действительностью.

Все, что мог для Проворова сделать отец, — это пригласить его из провинции в Петербург на службу и поместить, благодаря оставшимся кое-каким связям, в Конный гвардейский полк, а затем высылать небольшие суммы денег, едва-едва хватавшие на самое необходимое. По смерти отца эти присылки, конечно, прекратились, и молодой Проворов продолжал жить с прежнего, так сказать, хотя и небольшого, но все-таки размаха — делал долги, пускал в оборот кое-какие вещи да выигрывал в карты, пока везло.

В Петербурге Проворов окунулся в широкую, веселую жизнь, но она проходила для него в некоторой степени как для зрителя, а не для участника, и полноправным человеком он не мог участвовать в ней. В то время как большинство его товарищей жило на отдельных собственных квартирах и имело целый штат слуг, он должен был довольствоваться комнатой в казармах и услугами денщика.

Он ездил на балы и на званые вечера, его охотно принимали как офицера гвардейского полка, но он всюду бывал только «гостем» и понимал, что во всей этой спокойной, богатой, уверенной в себе жизни он не более как гость, и только гость.

Когда же ему случалось попадать ко двору, в особенности при поездках на дежурства в Царское или Петергоф, то он чувствовал, что окунается как бы в розовую дымку заветных мечтаний, что все невзгоды и мелочи жизни пропадают, и он становится частицей того святилища счастья, которое льется отсюда по всей стране. И поэтому он всегда во дворце волновался и не мог спать. А сегодня его еще особенно раздражала и дразнила жаркая, ароматная, душная белая ночь.

Теперь, лежа с закинутыми за голову руками и глядя в низкий с лепным карнизом потолок, он думал:

«Отчего иным людям удастся все в жизни, а другим — ничего? Конечно, есть люди, которые, родившись в простоте, всю жизнь ничего иного не видели и так и пребывают чуть ли не в первобытном состоянии. Но ведь я-то понимаю, что такое жизнь и как надо жить, и вкус у меня, и уменье не хуже, чем у многих, которые обладают средствами, дающими возможность проявлять их на деле. Ведь с детства я был приучен ко всему хорошему, и вдруг, наподи, судьба раззадорила аппетит, а ничего не дала...»

И он клял судьбу и считал, что она к нему чрезвычайно несправедлива. С чисто человеческим себялюбием он все сводил к себе, и в его мыслях выходило так, что вся природа как будто только и должна была заниматься им одним.

А разве и в его положении невозможно было вдруг невероятное, прямо сумасшедшее счастье?

И Проворов стал мечтать, увлекаясь картинami этого счастья, которые сейчас же стала рисовать ему услужливая фантазия. Он мог очень легко быть избранным, так же вот хоть, как Дмитриев-Мамонов. Что же, в сущности, Дмитриев-Мамонов? Ничего, самый обыкновенный человек, как и сам он, Сергей Проворов. И почему не он на месте Мамонова? Ведь фамилия Проворовых ничуть не хуже Мамоновых, будь они хоть десять раз Дмитриевыми... Да что, наконец? Разве Дмитриев-Мамонов вечен? Мало ли было их и менялось? Салтыков, Орлов, Потемкин... Ведь и сам Потемкин не устоял, хотя и удержался, но это не помешало другим... Римский-Корсаков и еще...

Проворов прищурился, и ему с такою ясностью представилась полная возможность его возвышения, что, казалось,

вот придет утро, и все будет именно так, как ему хочется. Он повернулся к окну и увидел, что утро давно уже пришло. Сквозь спущенную на окне занавеску светило яркое солнце, а под приподнятым ее краем виднелась яркая зелень, тонувшая в золоте лучей, и слышалось несмолкаемое щебетанье птиц.

V

Проворов спустил ноги с постели, нашел ими туфли, накинул на себя голубой шелковый китайский халат, запахнул на груди плетеную оборку распахнутой рубашки, пошел к окну и отдернул занавеску.

На него пахнуло свежестью, бодростью и светом раннего летнего северного утра, девственность которого еще не нарушена людскою суетой, говором и прозою. Он вдохнул воздух полною грудью и, сам себе улыбнувшись, круто повернулся и остановился.

Перед ним стоял в дверях высокий, сухой, бритый, в коричневом французского покроя кафтане человек весьма почтенной наружности.

Первое, что пришло в голову Проворову, было, что незнакомец попал к нему ошибкою, зайдя не туда, куда ему было нужно. Но тот сейчас же, как только Проворов обернулся, поднял правую руку и сделал знак, значение которого было известно Сергею Александровичу. Это был знак одной из высших степеней масонской иерархии.

Проворов, как неофит, то есть ожидающий посвящения, должен был ответить тоже условным знаком, состоявшим в том, что ладонь левой руки прикладывалась ко лбу в свидетельство полного повиновения и послушания. Ему было сказано, что где бы и при каких условиях он ни находился, он не должен удивляться появлению брата высшей степени, обнаруживающего себя, и немедленно подчиняться ему беспрекословно. Но он никак не ожидал, что подобная встреча может произойти у него в комнате утром, пока он не успел даже привести себя в порядок.

— Простите, я не одет, — пробормотал Сергей Александрович, ответив условным знаком, и добавил: — Позвольте узнать, с кем я имею честь?

Вошедший улыбнулся одними губами, а его глаза продолжали строго и испытующе смотреть, когда он ответил:

— Да, сейчас видно, что вы — неофит и очень мало знакомы с обычаями братьев вольных каменщиков. Видите

ли, раз старший обнаружил себя знаком, младший, ответив ему тем же, не должен уже расспрашивать, кто он и что он, а просто повиноваться ему. Но вам я, пожалуй, скажу, кто я. Я — тот, который должен посвятить вас в первую степень братства.

Об этом Проворов был тоже предупрежден: брат высшей степени должен был принести ему посвящение совершенно неожиданно, в ту минуту, когда будет найдено, что он, Проворов, достоин этого. Теперь, значит, случилось это, и он, вероятно, был признан достойным.

— Простите, — пробормотал он, — но все это так вдруг... Мне не спалось всю ночь... я невольно полюбопытствовал, тем более что я не у себя дома, а в дежурном помещении дворца. Здесь иногда бывает строго: меня могут спросить, кто ко мне заходил, и я должен знать, что ответить.

Незнакомец опять улыбнулся.

— Вы правы, хотя я, как видите, имею свободный вход во дворец и, значит, меня здесь достаточно знают. Но хорошо! Если спросят, кто был у вас, ответьте: «Доктор Август Герман». А теперь сядемте и поговорим. — И он показал Проворову на свободный стул у стола, а сам сел на маленький диванчик, перед которым стоял стол. — Вы говорите, — начал он не торопясь, — что вам не спалось всю ночь, вы мечтали?

— Я не сказал, что я мечтал, — возразил, смущаясь, Проворов.

— А я говорю вам, что вы мечтали. Вы недовольны своей жизнью, вам хотелось бы большего; вы думаете, что способны занять место, предназначенное судьбою своим избранныкам... Не так ли? И вы об этом волновались всю ночь, проведя ее без сна, — и доктор остановился, как бы желая посмотреть, какое впечатление произвело на молодого человека столь подробное чтение его мыслей. — Вы видите, — заключил он после некоторого молчания, — что нам, вашим старшим братьям, известно не только все, что вы делаете, но даже то, что составляет ваши сокровенные думы и замыслы.

Сергей Александрович слегка усмехнулся.

— Ну, что касается настоящего случая, то узнать вам, о чем я думаю, не представляет особенных затруднений. Это сделал бы всякий человек, умеющий рассуждать и делать выводы из соответствующих обстоятельств.

— Что вы хотите сказать этим?

— Что вы видите во мне молодого человека, который не спал ночь, а если не спал ночь, то, значит, думал о

чем-нибудь, потому что лежать без сна и ни о чем не думать невозможно. Будь я бледен, худ и измучен, вы могли бы предположить, что я не сплю ночи от несчастной любви, что мне не отвечает взаимностью мой предмет, и я безнадежно вздыхаю и тоскую. Но я, как видите, здоров, румян и крепок, и вовсе не похож на влюбленного. Ясно, что меня занимает что-то совсем другое. Ну, а о том, что именно это «другое», догадаться нетрудно: я молод, мне хочется полной жизни в свое удовольствие, как и всякому, кто молод, и поэтому немудрено, что я мечтаю о том, как было бы хорошо, если бы моя жизнь сложилась так, как мне этого хочется.

— Вы рассуждаете недурно, и главное — совершенно правильно, — заметил доктор. — Это делает вам честь и облегчает мой дальнейший разговор с вами. К своему удовольствию, я вижу, что братья вольные каменщики не ошиблись, указывая мне на вас. Вы — именно вполне подходящий для нашего дела человек.

— Для «вашего» дела? — переспросил Проворов. — Могу я узнать, в чем оно заключается?

— Ни в чем особенном... только в том, чтобы пользоваться всюю всеми теми благами жизни, о которых вы так горячо мечтали в течение сегодняшней бессонной ночи.

— Что ж, на это всякий согласился бы с удовольствием.

— Ну еще бы! Вы знаете из правил и тезисов, открытых уже вам братом, вашим руководителем, что человек сам — кузнец своего собственного счастья.

Доктор замолк и пытливо уставился на Проворова.

VI

По правилам масонов к каждому неопиту приставлялся брат-руководитель, который следил за ним и мало-помалу посвящал его в тайны герметических наук, сообщая ему тезисы, изречения и правила и помогая толковать и понимать их. Был такой руководитель и у Проворова, и последний вспомнил, что тот, между прочим, указывал, как на одно из существенных правил, тезис: «Человек — кузнец своего счастья», то есть тот тезис, который привел сейчас доктор Герман в разговоре с ним.

— Это, конечно, так, — уверенно проговорил Сергей Александрович, — но я понимаю этот тезис так: человек является в том смысле кузнецом своего счастья, что должен заслужить свою жизнь, своими деяниями это счастье, и

если заслужит, то есть скует себе счастье, то достигнет его, а нет — тогда сам виноват.

— Что же, это, может быть, правдоподобно, — загадочно произнес доктор Герман.

— Но вот видите ли, — начал Проворов, покачивая головою, — во-первых, мне кажется, что, пока я буду «заслуживать» себе счастье, пройдет столько времени, что и молодость моя — самое лучшее время — минует, и счастье придет, когда им и пользоваться уже не захочется, а во-вторых, почему, в самом деле, я должен как-то там заслуживать или ковать свое счастье, а другие в то же самое время без всякого со своей стороны труда или забот пользуются всем в свое удовольствие?

— Рассуждение тоже вполне правильное, — одобрил доктор, — и потому-то толкование, которое вы привели и которое я только что назвал «правдоподобным», существует лишь для неопитов и для людей, не умеющих рассуждать и видеть ясно, где их выгода. Но посвященные должны рассуждать иначе.

— Иначе? Да разве может существовать в данном случае еще иное толкование?

— Отчего же нет? На то и существует сила нашего братства вольных каменщиков. В обычном круге все эти собственные заслуги и самосовершенствование составляют необходимую принадлежность так называемой мещанской добродетели или буржуазной морали, вращающейся в отвлеченности, но мы, вольные каменщики, даем нечто всегда определенное нашим братьям, получающим посвящение в степени. Вы желаете счастья, мы вам дадим его, если вы в свою очередь будете исполнять то, что мы потребуем.

— Позвольте! Какое же счастье вы дадите мне? — задал вопрос Проворов.

— Да то, какое вы себе желаете: богатство, почет, силу, власть.

— Когда?

— Очень скоро... во всяком случае, скорее, чем вы можете думать и желать.

— И что за это я должен делать для вас?

— Только слушаться и исполнять наши приказания.

— Но в чем ручательство, что вы исполните то, что обещаете?

— Да в том, что мы не потребуем от вас ничего до тех пор, пока вы не получите всего, обещанного вам. Сейчас вы бедный секунд-ротмистр, что вы можете дать нам? Подумайте! Но когда вы станете на место, которое предугото-

вано для вас нами, вы будете сильны, влиятельны, и через вашу силу и влияние мы можем действовать. Вот и все! Будьте послушны, и вы составите себе счастье, сделаетесь кузнецом его для себя, как посвященный. Поняли?

— Но какое же это место?

— Вы, разумеется, слышали, что Дмитриев-Мамонов не сегодня-завтра должен потерять значение.

— Дмитриев-Мамонов? Неужели?

— Он влюбился в княжну Щербатову и сделал ей предложение. Как только это станет известным, он будет немедленно удален, и место его освободится. Хотите занять его?

Проворов откачнулся. Дух занялся у него. Ведь было сказано вслух то, о чем он мечтал всю ночь в недостижимых, как казалось на самом деле, грезах.

— Мне занять его место? — протянул он. — Но разве это возможно? Ведь для этого необходим случай, слепой случай, стечение самых разнообразных обстоятельств.

— Что многим непосвященным кажется часто случаем, то на самом деле бывает очень хитрым и точным расчетом и является результатом целого ряда совершенных одно за другим действий.

— И кто же может направить действия для данного случая?

— Братья-каменщики, масоны, если вы захотите вполне подчиниться им.

Проворов задумался, а затем произнес:

— Вы требуете от меня безусловного повиновения?

— Безусловного.

— Но, конечно, в пределах, ограничиваемых вопросами чести и порядочности?

— Без ограничения какими бы то ни было пределами.

— Как? Вы требуете от меня, чтобы я забыл о чести и правде?

— Все это — слова, не имеющие под собой реальной почвы, условности. Кто посмеет напомнить вам обо всем этом, когда вы будете на той высоте, куда не может достигать искусственно нагроможденная людьми пирамидка этой мещанской, как я вам уже сказал, добродетели?

— Но эдак вы, пожалуй, потребуете, чтобы я предал вам родину.

— Чего бы мы ни потребовали, вы должны безусловно исполнять. Вы говорите: «Родина!» Что такое родина, когда мы должны думать не о пользе того или иного народа, а о пользе всего человечества?!

— Но эта польза всего человечества разве не такая же отвлеченность, как и то, что вы называете мещанской добродетелью?

— О нет, я говорю о реальной, действительной пользе всего человечества.

— Подразумевая под этим именем «всего человечества» братьев-масонов?

— Кого бы ни подразумевал я, это — вопрос второстепенный. Мне нужен от вас решительный ответ на наше предложение. Желаете вы стать на место Мамонова и подчиниться нам, пользуясь всеми благами и прелестями жизни, или нет? Я думаю, что колебаний с вашей стороны быть не может. Выбор слишком ясный...

VII

Проворов молчал, погруженный в глубокую задумчивость, а затем спросил доктора Германа, поднимая голову:

— Скажите, пожалуйста, для кого работают вольные каменщики и кто руководит ими в тех тайниках, откуда получается направление их деятельности?

— Друг мой, такого наивного вопроса я не ожидал от вас! Общество масонов, или вольных каменщиков, есть тайное общество, и в этом его сила и значение; поэтому все, что касается его действий, его иерархии и внутреннего распорядка, не может быть «девульгировано» или разглашено, чтобы стать достоянием толпы. Низшая степень, в которую вы будете посвящены, может знать одного лишь старшего брата, от которого получает распоряжения и наставления, вот и все. Что же касается вопроса, для кого работают вольные каменщики, то это вы знаете и без меня: для света и истины!

Проворов опять покачал головою.

— Все это — не то. «Свет и истина» — понятия неопределенные, отвлеченные, и, чтобы решать вопросы, касающиеся их, не нужно ничего материального. Между тем вы предлагаете мне материальные, то есть вещественные, блага и желаете, чтобы за это я выказал полное повиновение. А между тем то положение, которым вы меня соблазните, даст мне огромную власть. От меня будет зависеть даже, может быть, до некоторой степени судьба России.

— Да, это возможно, если вы выкажете больше воли, чем Дмитриев-Мамонов.

— Да, я выкажу ее, эту силу воли, но ведь тогда, если я буду беспрекословно подчиняться братству вольных ка-

менщиков, выйдет, что судьбою России будут распоряжаться через меня масоны?

— Не все ли вам равно, если все почести, и все могущество, и все радости власти будут предоставлены вам?

— Нет, не все равно. Это пахнет какою-то нехорошей сделкой. Ведь, попросту говоря, вы хотите, чтобы я стал слепым орудием совершенно неизвестных мне тайников, желающих ни более ни менее как хозяйничать в России! А ведь она для меня является родиной! Почем я знаю, какие цели у этих тайников? Может быть, они враждебны России, и окажется, что, пользуясь всеми вашими вещественными благами, я буду ежеминутно продавать свое отечество. Да никогда этого не будет! Нет, обещайте мне все, что вам угодно, хоть звезды с небес снимайте, я не соглашусь на такие условия.

— Насколько я могу понять, вы отказываетесь от сделанного вам предложения осуществить те мечты, которым вы только что предавались?

— В своих мечтах я никогда не был предателем.

— Зачем опять эти высокопарные выражения? Не в них дело. Вопрос в том, желаете ли вы получить то, о чем вам мечталось, или нет?

— Конечно, желаю, доктор.

— Ну, тогда что ж тут разговаривать? Сделайте над собой маленькое усилие и получайте.

— Но я не желаю, чтобы мне ставили какие-то условия, чтобы меня «покупали», чтобы от меня требовали исполнения тайной чужой воли! На это я никогда не пойду!

— Но ведь даром ничего не дается, ведь если человек сам — кузнец своего счастья, то должен же он хоть что-нибудь делать, чтобы ковать свое счастье.

— Кузнец, да! — горячо воскликнул Проворов. — Но не предатель. Я повторяю это слово, хотя оно вам и не нравится.

Доктор встал и совершенно бесстрастно и спокойно произнес:

— Итак, вы отказываетесь наотрез?

— Безусловно.

— Подумайте, потом может явиться сожаление. Стоит ли ваше настоящее упрямство тех огромных выгод, которых вы хотите лишиться себя?

Проворов тоже встал и решительно ответил:

— Довольно! Я никогда не соглашусь на ваши условия.

Его тон доказывал, что он не хочет больше продолжать этот разговор, и он был уверен, что доктору Герману ниче-

го больше не остается, как немедленно уйти. Однако этого не случилось.

— Мне очень приятно, — сказал он, снова опускаясь на диванчик и снова кладя ногу на ногу, — что вы выдержали испытание.

— Какое испытание?

— Не предупреждали ли вас о том, что перед посвящением в степень вы должны будете подвергнуться испытанию?

— Да, помнится, брат-руководитель говорил что-то подобное.

— Несомненно, говорил. И вот прежде вашего посвящения я пришел, чтобы испытать вас. Поздравляю, вы блестяще выдержали искуc.

— Да в чем же состоял он?

— Разве вы не понимаете, что те вещественные блага, которыми я соблазнял вас, и все мои заманчивые предложения являлись только средством, чтобы испытать вас? Если бы вы согласились на мои уговоры, то не были бы достойны высокого звания масона. Только люди, не поддающиеся постороннему влиянию и обладающие силой воли настолько, чтобы устоять перед всяким соблазном, могут быть посвящены в вольные каменщики. Для вас был применен трудный искуc, вы его выдержали и теперь можете быть приняты в братство и посвящены в первую его степень. Но, согласись вы только сделаться «предателем», как вы выразились, никогда бы не видеть вам посвящения. — Доктор встал, на этот раз, по-видимому, с тем, чтобы уйти, и проговорил: — А теперь до свидания, брат-руководитель сообщит вам, когда и где вы будете посвящены.

Вслед за тем он ушел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Проворов не торопясь стал одеваться, стараясь привести свои мысли в порядок, обдумать весь свой разговор с доктором Германом и разобраться в впечатлениях.

Общество масонов, в котором он числился неофитом и в первую степень которого он должен был быть теперь посвящен, никогда серьезно не интересовало его, и он относился к нему довольно легкомысленно. Он ни минуты не сомневался в том, что хорошо сделал, не согласившись на

заманчивые предложения и честно сказав, что ни за что не станет бессловесным орудием посторонней воли.

Однако брат-руководитель предупреждал его, что послушание, оказанное по отношению к старшим братьям, сурово карается масонами. Теперь возникал вопрос: послушник он, Проворов, этой воли или нет?

Ведь он не согласился на то, что ему предложили. Положим, в конце концов доктор сам же отдал ему должное и сказал, что это было лишь испытание и что он даже вследствие этого испытания достоин быть посвященным в первую степень. Но что, как это — уловка только, и на самом деле он подвергнется гнев масонов за то, что перечил? Но тогда почему же посвящение в степень? И потом, что такое, в сущности, этот гнев масонов? Что они могут ему сделать?

Ишь ведь чего захотели! Поставят-де тебя ни более ни менее как на место Дмитриева-Мамонова, и делай ты все, что они укажут. Да, может быть, все это — просто враки, и они вовсе не имеют такой силы, чтобы возводить вдруг из ничего на недостижимую высоту, туда, где власть, почет и могущество? Для этого нужно иметь сверхъестественное могущество. Но вместе с тем ведь именно масоны старались уверить всех, что они имеют сверхъестественное могущество... А может быть, доктор Герман говорил все это действительно только с тем, чтобы испытать его?

В сети этих противоречий Проворов не мог найти выход, и чем больше он думал, чтобы распутаться, тем труднее было прийти к какому-нибудь определенному выводу.

Он оделся и пошел прогуляться, надеясь, авось ходьба освежит его, разъяснит мысли. Он долго бродил один бесцельно по парку, и — странное дело! — его вдруг стало неудержимо тянуть в сторону, где находилась так называемая Китайская деревня, то есть ряд построенных в парке домиков в китайском вкусе с причудливыми завитыми крышами, с оградами хитрого узора, с мостиками, охраняемыми фарфоровыми драконами, и с удивительно красивым, как бонбоньерка, изящным Китайским театром.

Эта Китайская деревня летом обыкновенно населялась придворными и являлась в данную минуту таким местом, которое своим многолюдством совершенно не соответствовало настроению Проворова. Ведь он отправился в парк с исключительной целью уйти от общества в дальние, мало посещаемые аллеи, чтобы никто не помешал ему предаться своим мыслям. Несмотря на это, его стало неудержимо тянуть в Китайскую деревню, и, сам не отдавая себе отчета, почему он это делает, он повернул туда и зашагал уверен-

но, определенно, точно шел к какой-то заранее намеченной цели.

Проворов и прежде бывал в этой Китайской деревне, но лишь мимоходом и решительно никого не знал из живших в составлявшем ее ряде похожих один на другой домиков. Насколько он слышал, здесь помещались важные фрейлины, статс-дамы и несколько высоких чинов двора.

Сергей Александрович миновал мостик с сидящими и держащими фонари изваяниями китайцев и шел по чистенькой, вымощенной улице деревни. Она была совершенно пуста.

Проворов сперва несколько удивился этому, но потом вспомнил, что час утра был еще ранний, в особенности для людей, живших в Китайской деревне. И ему стало ясно, что именно потому ее улица погружена еще в сонную тишину, окна затворены и занавески на них тщательно спущены.

Он, в сущности, недоумевал, зачем он здесь, однако шел по улице.

Вдруг его словно толкнуло что в сердце — вот оно, и он остановился.

Бывают в жизни такие предчувствия, такие совпадения. Сергей Александрович услышал стук распахнувшегося окна, поднял глаза и остановился. Пред ним в раскрывшемся окне, отдернув кисейную занавеску, стояла молодая девушка, как утро, прекрасная и, как утро, девственная. Она смотрела прямо на него, и не было сомнения, что для него именно распахнула и окно и, очевидно, желала заговорить с ним.

II

Душой, всеми чувствами своими ощущал Проворов, что эта девушка, вдруг появившаяся в распахнувшемся окне домика Китайской деревни, именно для него показалась и что миг этот таков, что он не забудет его никогда. Но в то же время разум говорил ему, что это — сумасшествие, что незнакомая ему девушка, да еще такая, равной по красоте которой он не встречал в своей жизни, не может на самом деле знать заранее о его случайном появлении на улице Китайской деревни и отворить окно для него, чтобы заговорить с ним.

Все это мелькнуло в его сознании быстрее молнии, и он хотел пройти мимо, считая неприличным останавливаться в упор перед открытым окном незнакомо дома. Но девушка, поняв его намерение, кивнула ему головой и сделала призывный жест рукой.

— Вы зовете меня? — спросил он, веря и не веря своим глазам.

— Да, вас, — ответила она. — Вас ведь зовут Сергей Проворов?

Теперь уже не было никаких сомнений, и он кинулся к окну.

— Тише, — остановила его девушка, — не растопчите роз... с ними надо обращаться осторожнее.

Проворов глянул под ноги: у самой стены домика под окном, окаймленные газоном, росли кусты роз, которые он чуть не смял в своем стремлении.

— Простите... я... я ничего не понимаю, — мог только произнести он.

Они были совсем близко друг от друга, их разделяли лишь подоконник низенького домика и кусты роз под ним. Девушка наклонилась к нему еще ниже и быстрым шепотом проговорила:

— Остерегайтесь масонов. Сегодня они употребили свою обычную уловку против вас, пообещав возвести вас в степень за то, что вы якобы выдержали испытание. На самом деле им таких, как вы, ненужно. Это обещание дано лишь для того, чтобы заставить вас молчать, но, не согласившись на их предложение, вы окончательно погубили себя в их глазах. Остерегайтесь!

Это было все. Не успел ошеломленный Проворов опомниться, как окно перед ним захлопнулось, белая занавеска за ним опустилась, и наступила снова такая тишь, что Сергей Александрович слышал, как билось у него сердце.

Прежде всего ему пришло в голову поскорее отпрыгнуть от окна, чтобы не причинить какой-нибудь неприятности той, которая с явным самопожертвованием предупредила его и, вероятно, сделала это не без риска, потому что могла навлечь на себя со стороны масонов месть за разоблачение их тайн и уловок. Конечно, необходимо было удалиться как можно скорее. И, поддавшись этому первому чувству не самоохранения, а охранения этой девушки, за которую он уже готов был отдать свою жизнь, Проворов кинулся прочь и вскоре очутился на конце деревни, где ее улица переходила в аллею парка с перекинутым над нею высоким китайским мостиком с беседкой.

Молодой человек ничего не мог сообразить и понять. Как все это случилось? Почему?

Девушка была так прелестна, что если бы Проворов встречал ее хоть где-нибудь прежде, он не мог бы забыть ее, но он ее не знал — значит, он видел ее в первый раз.

Иначе быть не могло. Встретить он ее раньше — он помнил бы ее, как вот теперь не забудет всю жизнь. Но если они до сего дня никогда не встречались, то каким образом могла она узнать его? А что она узнала его, доказано тем, что она назвала его по имени и фамилии.

«Она ведь так и назвала: «Сергей Проворов», — повторял он, жмурясь и испытывая при этом неизъяснимое блаженство.

И каждый раз, как он закрывал глаза, перед ним во всех подробностях вставал образ молодой девушки в заколотой на плечах кружевной косынке и с голубой лентой, венком охватывавшей ее белокурые, припудренные и оттого казавшиеся пепельными волосы.

Ни о масонах, ни о том, какое отношение имела к ним эта девушка, и почему столь чудодейственно была осведомлена о его разговоре с доктором Германом (только что происходившем утром), и в силу каких причин сделала свое предостережение, рискуя быть открытой, Проворов не думал, умышленно отстраняя эти мысли, чтобы не отогнать ими того внутреннего восторженного созерцания прелести милого образа, который он нес в себе.

Молодой человек шел по аллее и радостно улыбался, и лицо его было таково, что встретивший его тут товарищ по полку ротмистр Чигиринский остановил его и спросил:

— Что с тобой? Чему ты так радуешься?

Проворов остановился и, широко раскрыв глаза, уставился на товарища, словно тот разбудил его и вернул от сна к действительности. Наконец он произнес:

— Ах, это ты!.. Что ты говоришь?

— Я говорю, чего ты так радуешься? Вид у тебя такой, словно ты только что получил двойное жалованье!

— Какое там жалованье. Со мной, брат, такое случилось... Да нет, после расскажу... отстань пока! — И, махнув рукою, Проворов стремглав помчался назад к Китайской деревне.

Чигиринский посмотрел ему вслед, покачал головою, понял, что тут дело идет по «влюбленной части», как он это называл, и, чтобы не показаться нескромным, повернул в другую сторону.

Между тем Проворов потому так вдруг кинулся назад к Китайской деревне, что встреча с товарищем и вопрос последнего вернули его к действительности и заставили упасть с седьмого неба на землю. Услышав человеческий голос, он сообразил, что никто ведь не может помешать ему сейчас же узнать, кто эта девушка; ведь стоит подойти к

домику, в окне которого он видел ее, и спросить кого-нибудь из тамошних, и ему станет известна ее фамилия и кто она. И он побежал назад, уверенный, что это очень легко и просто.

Но когда он снова очутился на улице деревни, оказалось, что разобраться здесь очень трудно: все домики, стоявшие в два ряда по сторонам дороги или улицы, были одинаковы, похожи друг на друга, выкрашены все белой краской и имели пестрые крыши. И все эти крыши были загнуты одинаково причудливо, и под всеми окошками росли кусты роз. Наконец даже, во всех домах и на окнах висели внутри такие же белые кисейные занавески, как и в окне, раскрывшемся ему навстречу.

Сергей Александрович стал медленно переходить от одного дома к другому, но напрасно старался он взглянуть и припомнить — ему не приходило на память ни одной такой подробности, которая дала бы возможность с уверенностью сказать, что вот этот дом — именно тот, который он искал.

Он помнил лишь, что этот домик был посредине деревни и с правой стороны.

Долго ходил взад и вперед Проворов, и наконец ему показалось, что он нашел то, что искал, — он стоял перед домом, в окне которого видел «ее». Старый садовник, склонившись, сбирал сухие листья у росших под его окном роз.

— Скажите, пожалуйста, кто живет в этом доме? — спросил его Сергей Александрович.

Садовник обернулся, пристально посмотрел на молодого человека и в свою очередь спросил:

— А вам на что?

— Мне нужно... Впрочем, если это — секрет, я не настаиваю.

Садовник, пристальнее прежнего посмотрев на него, проговорил:

— Нет, это — не секрет. Здесь живет фрейлина императрицы Малоземова.

Этот садовник был одет в немецкое платье, его бритое лицо, седые длинные волосы и соломенная шляпа обличали в нем иностранца; но, очевидно, он давно жил в России, потому что по-русски он выговаривал очень чисто и определенно.

В дальнейшие расспросы Проворов побоялся пускаться, тем более что главное, что ему было нужно, он знал.

«Малоземова, фрейлина Малоземова! — повторял он без конца. — Какая звучная, красивая фамилия».

III

Ротмистр Конного полка Чигиринский был известен всему Петербургу под именем просто Ваньки, как его по-приятельски звали все, потому что он со всеми был приятелем. Известен же он был главным образом своими кутежами и скандалами; они были грандиозны и исключительны, но сходили ему с рук, так как он умел обставлять свои выходы настолько остроумно, что, собственно, к нему нельзя было придраться.

Последний раз, например, он замариновал генерала.

Чигиринский кутил с товарищами в загородном трактире, «Красном кабачке», где пили тогда шампанское ящиками. Вдруг к ним пристал какой-то, по-видимому приехавший из провинции, чтобы повеселиться в Петербурге, генерал, бывший до некоторой степени навеселе. Он стал читать молодым людям назидание о том, что вино, мол, есть враг и приносит вред, и пить его не следует.

Чигиринский встал с бокалом в руках и произнес ответную речь, в ней он заявил, что он и его товарищи настолько тронуты словами его превосходительства, что решили бросить кутежи и в ознаменование этого решения покорнейше просят его, генерала, разделить с ними их «последний стакан вина».

Генерал снисходительно принял предложение, и они напоили его до того, что раздели донага, уложили на бильярд, полили прованским маслом, посыпали зеленым луком и уехали. Когда генерал утром проснулся в замаринованном виде на бильярде, ему представили счет за выпитое шампанское и за испорченное бильярдное сукно.

Чигиринский был старшим товарищем Проворова и принадлежал к «старожилам», существующим во всех полках; они дослуживаются обыкновенно до чина ротмистра или майора и затем так и остаются до самой своей смерти, упорно отказываясь от дальнейших повышений и назначений, потому что с последними повышениями и назначениями обыкновенно связаны хлопоты и ответственность, которых нет в так называемых «чинах душевного спокойствия» — майора и ротмистра.

Вечный ротмистр Ванька Чигиринский был доволен своею судьбою, чином и самим собою и, казалось, ничего большего не хотел в мире. Для молодых офицеров, каким был Проворов, он являлся в полку оракулом, а для старших — уважаемым старожилом полка, знавшим все традиции его и хранившим в своей памяти все полковые

анекдоты и истории, большинства которых он сам был участником.

Сказать по правде, Чигиринский отлично умел себя держать со всеми, обладая редким врожденным тактом, благодаря которому владел сноровкой не докучать никому, и все его любили. Вследствие этого такта именно он и оставил в покое Проворова, встретив его в аллее у Китайской деревни и сразу заметив, что молодой человек находится не в себе. Он отлично знал, что Проворов к нему же придет, когда захочет, с излияниями своих чувств.

Так оно и случилось. Вернувшись с прогулки, Сергей Александрович направился в комнату Чигиринского и застал его лежащим с высоко задранными на спинку дивана ногами и с трубкою в зубах.

— Ты знаешь, Чигиринский, со мною случилось нечто совершенно необыкновенное! — обратился Проворов к товарищу.

— Знаю! — процедил тот сквозь зубы, не выпуская из них трубки.

— Как? Ты знаешь, что произошло со мною?

— Нет, что именно произошло, я не знаю, но уже при сегодняшней утренней встрече с тобой увидел, что с тобою что-то произошло... Дело обыкновенное!

— Да нет же, совсем необыкновенное!

— Ну вот еще! Это тебе только так кажется, и все в твоём чине непременно испытывают то же самое. Пари держу, что ты влюбился и потому счастлив.

— Почему ты это знаешь?

— Потому что вид у тебя глупый, как у всех влюбленных.

Проворов посмотрел на товарища. Все слова, которые тот произносил: «влюблен» и прочее, были пустыми и ничего не выражающими в сравнении с тем, что он чувствовал, и он счел за лучшее замолчать и ничего не рассказывать. И, помолчав, он спросил только:

— Скажи, пожалуйста, могу я сегодня отказаться от караула? Видишь ли, мне всю ночь не спалось, и сейчас я в таком настроении, что не могу отоспаться и, боюсь, ночью не выдержу. Может быть, кто-нибудь заменит меня сегодня, а другой раз я за того отдежурю.

— Валяй! Кого-нибудь найдем за тебя.

— Вот и отлично! — Проворов помолчал и потом вдруг спросил: — Скажи, пожалуйста, ты не знаешь фрейлины Малоземовой?

— А-а, ее зовут Малоземовой?

— Кого «ее»?

— А вот ту, про которую ты спрашиваешь.

— Послушай, ты не имеешь права относиться так к...

— Постой! Не кипятись! Ты меня спрашиваешь, знаю ли я фрейлину, которую зовут Малоземовой. Я у тебя и переспросил это. Что ж ты сердишься?

— Да я не сержусь... но только... если бы ты знал... Впрочем, тебе не понять... ты сам никогда не испытал этого. Ты мне только скажи, знаешь ли фрейлину Малоземову или нет?

— По всей вероятности, знаю, потому что меня представляли, кажется, всем фрейлинам, но которая из них Малоземова, право, не помню.

— Как же ты не помнишь?

— Что ж, брат, делать? Не вели казнить — не помню.

— Ну а скажи, пожалуйста, где можно бы было встретить ее?

— Фрейлину-то! Да на любом балу. Вот теперь по случаю приезда светлейшего, вероятно, начнутся балы, маскарады и всякие празднества.

— Мы поедем с тобой?

— Отчего же не поехать? Поедем.

— Ну и отлично! А теперь я пойду к себе. Так насчет дежурства ты устроишь?

— Устрою.

Проворов был уже за дверью.

IV

Когда двор переезжал на лето в Царское Село, гвардейские офицеры, являвшиеся туда для дежурства, приезжали из Петербурга определенным от полка нарядом, то есть группой в несколько человек, останавливались в нижнем помещении Большого дворца и, ежедневно сменяясь, в определенное время ходили по очереди в караулы; затем на их место прибывал другой наряд от другого полка, и отбывшие свою очередь могли вернуться в Петербург. Возвращались солдаты походом, то есть верхом на лошадях строевой колонной, а офицеры — в собственных экипажах, так как у огромного числа гвардейских офицеров были собственные щегольские запряжки четверкой и даже шестеркой, цугом, кареты и коляски.

Проворов был из тех немногих, у кого не было ни того, ни другого, и ему приходилось пользоваться экипажем од-

ного из товарищей, обыкновенно Ваньки Чигиринского. И теперь из Царского они ехали в Петербург в огромной, мягко качавшейся на рессорах карете и мирно беседовали.

Сергей Александрович заговорил об интересовавшем его вопросе о масонах, о которых он до сих пор много слышал и кое-что знал в качестве неопита и с которыми ему пришлось столкнуться теперь непосредственно.

— Скажи, пожалуйста, — спросил он Чигиринского, — ты знаком с масонами, имеешь представление о них?

— Имею, — ответил Чигиринский, по своей привычке не выпуская из зубов короткой раскуренной голландской трубки.

— И что же ты о них думаешь?

— Да ничего особенного! По-моему, это — детская забава.

— Детская? Почему же детская?

— А вот помнишь, как бывало в детстве? Заберемся мы, ребята, со сверстниками куда-нибудь в сумерки в укромное место и начнем рассказывать страшные истории эдак полусшепотом; и станет и очень проникновенно, и жутко, и страшно, и ужасно приятно. И до того дорассказываемся, что замолчим и двинуться боимся.

— Да, я это помню. Мы, бывало, забирались в коридоре за шкафом на огромный сундук.

— Ну вот и масоны так.

— Тоже на сундук забираются?

— В переносном, конечно, смысле. Тоже главное у них — таинственность; в ней вся штука: будто что-то делают, ищут философский камень, строят храм Соломона, а на самом деле только и всего, что им под этим предлогом можно собираться в тайнике где-нибудь и сидеть и ощущать жуткость таинственности, как в детстве после страшных рассказов и сказок в сумерках.

— Но ведь у них обряды особые, заседания.

— Пустяки все! Все сводится к тому только, что я говорю.

— Ну а философский камень, а это мистическое строение Соломонова храма?

— Да к чему это нам, православным, заботиться о восстановлении и постройке Соломонова храма, когда у нас, слава Богу, возводятся христианские храмы открыто и все-народно?

— Но ведь Соломонов храм это — совсем другое.

— Вот потому-то я и говорю, что едва ли он нужен, если он, как ты говоришь, — «совсем другое», чем православный храм.

— Нет, я в том смысле, что масонский Соломонов храм — это отвлеченная философия, а не здание из дерева и камней.

— Батюшка мой, христианская религия, то есть наше православие, — такая философия, что никакой другой человеку и не нужно. В христианстве все есть, и все отвлеченное истолковано так, как нигде.

— Так ты думаешь, что нам, христианам, нечего заботиться о храме Соломоновом, когда у нас есть христианская церковь?

— Думаю и уверен в этом.

— Но ведь масоны не против христианства.

— Если они не против христианства, так почему же они не стараются держаться его исключительно, а выдумывают еще свое что-то особенное? И зачем делать какую-то таинственную, подпольную, секретную «работу», когда можно быть православным христианином совершенно открыто? Если масонство творит добро, то зачем все эти тайны, клятвы и все прочее? Хорошее и честное дело не нуждается ни в каких тайнах, его можно делать открыто, без всяких ночных заседаний с гробами, скелетами и стенами, завешенными черным сукном.

— Ты говоришь — гробами? Настоящими?

— Ну да! Вот такими, в каких мертвецов хоронят.

— Это интересно.

— Для ребят, которые хотят страхов и страшных историй, пожалуй, интересно, а по-моему, просто смешно, глупо и даже скучно.

— А сам ты видел что-нибудь из этого или только знаешь понаслышке?

— Нет, я и сам видел. Ведь меня посвящали.

V

Карета продолжала катиться по мягкой, отлично укатанной и содержимой для проездов государыни дороге. Проворов быстро обернулся к Чигиринскому, спокойно тянувшему трубочку, и воскликнул:

— Как! Тебя посвящали в масонство?

Представление, которое он до сих пор имел о приятеле как о человеке беззаботно-легкомысленном, кутиле, вовсе не соответствовало тому, что он узнавал теперь о нем из разговора. Оказывалось, что Чигиринский не только обладал почти доходившей до гениальности способностью приду-

мывать и устраивать во время кутежей умопомрачительные дебоши; у него был вполне ясный и рассудительный ум, «проникавший в глубокие области даже отвлеченности».

— Ну, что ж такое? — ответил Чигиринский. — И меня посвящали в масонство.

— Как же это случилось?

— Да очень просто. Меня стал обхаживать один из них — как это у них называется? — брат-руководитель, что ли, и стал поучать, что, мол, кто вступит в братство вольных каменщиков, тот обрящет на земле царствие небесное и все будет знать.

— И ты согласился?

— Я говорю, что из-за этого любопытства, насколько известно, Ева с Адамом погибли и что, значит, масоны разводят первородный грех по земле.

— А он что на это?

— Боже мой, как взвился! Стал и так, и эдак доказывать! А мне, в сущности, все равно; я больше спорю, чтобы раздражить этого брата-руководителя.

— А он?

— А он изводится. Кончилось тем, что мне надоело разговаривать, и я замолчал. А он вообразил, что, значит, убедил меня, и стал еще упорнее предлагать мне посвящение.

— Ты согласился?

— Я согласился, но главным образом для того, чтобы посмотреть, что это у них за церемония. Ну вот, привели меня в обтянутую черным сукном комнату; семь свечей горят, на столе книга лежит, а по сукну серебряной канитью мертвые головы вышиты и скелеты.

— Страшно?

— Почему же страшно? Ведь это — такая же вышивка, как бабы красных петухов на полотенцах вышивают. У каждого своя мода: у масонов — мертвые головы, а у баб — красные петухи. Никакой разницы нет и ничего, разумеется, страшного. Огляделся я! Мне сказали, что здесь я должен сосредоточиться и остаться один. Я говорю себе: «Наплевать, где наша не пропадала», — вынул трубку, кiset, набил табак, высек искру, закурил. Вскочил тут на меня масон, вероятно, высочайшей степени, почтенный, сенатор один, да как всплеснет руками. «Ты, — говорит, — что тут делаешь?» — «Я, — говорю, — сосредоточиваюсь». — «Как же ты табачище палишь? Тут мистическими благовониями накурено, а ты табачный дым пускаешь. Неужели вся эта обстановка не приводит тебя в трепет?» —

«Нет, — говорю, — не приводит». — «Ну, все равно, — говорит, — брось трубку и привыкни к лишениям». Трубку он у меня отнял, и мне это сильно не понравилось. Посидел я так один в суконной комнате, и скучно мне стало.

— Что ж ты делал?

— Да ничего не делал. Вошли наконец братья-каменщики. Курьез! Маскарад маскарадом — разодетые! Завязали мне глаза — из платка повязку сделали — и повели. Только, видишь ли, сукно-то, которое у них на стены было повешено, вероятно, у них от моли в табаке лежало — стало у меня в носу щекотать. Я и чихнул. Слышу, и еще кто-то чихает, потом еще. Тут я нарочно еще «аппчих»... Вышло весело.

— Воображаю!

— Торжественности никакой, да и таинственности мало.

— Ну еще бы! А тебя все ведут?

— А меня все ведут с завязанными глазами и ноги велят раскорячивать, потому что то правой я в какой-то квадрат должен вступить, то левой — в треугольник.

— Хороша у тебя, должно быть, фигура была в это время!

— Я и сам то же подумал, и стало мне так смешно и весело, что я уже не мог удержаться, взял да и отставил вдруг быстро правую ногу в сторону. На нее сейчас же и наткнулся ведущий меня с правого бока — да как грохнется! Я сделал вид, что страшно испугался, дернулся и приподнял повязку. Смотрю, а это я самому масону высочайшей степени, почтеннейшему сенатору, подножку закатил, и он растянулся на полу: парик у него свалился, голова плешивая... Так ничего из моего посвящения и не вышло.

— Ну и что же с тобою за это сделали?

— Да что же и кто может со мной что-нибудь сделать?

— Да ведь, говорят, масоны очень сильны; с ними нельзя ссориться, они отмстят.

— А чем они могут мне отомстить?

— Мало ли чем! Ты, значит, их не боишься?

— Вот вздор! Да что они могут мне сделать? Ничего у меня нет такого, что они могут отнять, и ничем они не владеют таким, что могли бы дать и что могло бы сделать счастливее, чем я есть...

— Значит, ты счастлив вполне?

— Я этого не сказал. Я только говорю, что масоны не могут дать мне ничего, что осчастливило бы меня.

— Они, говорят, властны дать ордена, чины, богатство.

— И прочую всякую чепуху, — подхватил Чигиринский. — Ну, мне этого ничего не нужно. Я вполне доволен

тем, что у меня есть, и большего не желаю. Знаешь что, Сережка, поедem сейчас в «Желтенький»?

«Желтеньким» назывался тогда один из наиболее посещаемых загородных трактиров.

— А что ж, в самом деле, едем, — махнул рукою Проворов, — закатимся...

Они уже подъезжали к Петербургу. Чигиринский высунулся в окно кареты и крикнул кучеру:

— Пошел в «Желтенький»!

VI

На другой день с самого раннего утра, не выспавшись после сильного кутежа в «Желтеньком», Проворов стоял на полковом плацу и наблюдал за обучением солдат верховой езде. Эго было скучно, а главное — утомительно. Приходилось ходить вместе с берейтором и вахмистром в центре круга, по которому тряслись солдаты на лошадях, и делать им замечания, как держать каблук, повод, руки.

Обучение солдат являлось самым неприятным из всей службы, и офицеры терпеть не могли этого занятия. Каждый из них старался отделаться, и заставить их являться на езду было очень трудно. Большею частью приходилось отдуваться тем, кто, подобно Проворову, жил в казармах и был, так сказать, под рукой. В полку происходили вечные истории по поводу того, что жившие на городских квартирах офицеры не являлись, и их товарищам волею-неволею приходилось заменять их, потому что полковой командир непременно требовал, чтобы солдатская езда происходила в присутствии офицеров.

Сергей Александрович, злой и раздражительный, кружил по плацу, когда приехал Чигиринский, знавший, что, вероятно, опять нет никого на солдатской езде. Несмотря на то что он вместе с Проворовым прокутил всю ночь в «Желтеньком», он был свеж и бодр, так как в этом отношении у него были удивительные выносливость и выдержка.

— А ты уже здесь! — удивился он, увидев Проворова.

— Да ведь надо же! — отозвался тот. — Из этих дармоедов опять никого нет. Сегодня очередь Платошки Зубова, и мне уже в шестой раз приходится выходить за него на плац. Ну уж я его серьезно допеку!

Чигиринский покачал головою и протяжно свистнул.

— Ну, брат, теперь Платошки Зубова и не достанешь!.. Он стал уже Платоном Александровичем.

— Кем бы он ни стал, все равно заставлял товарищей бегать по плацу вместо себя — свинство!

— Да ты пойми, что я говорю: Платона Зубова нет в Петербурге. Он, брат, в Царском Селе.

Чигиринский произнес это с таким ударением, что Проворов воскликнул, разведя руками:

— Да не может быть!

— Вот те и «не может быть»!

— Да как же это случилось?

— Очень просто. Он пошел в последнее дежурство нашего полка в Царском во дворец, и тут все решилось.

— Говорили, что участь Дмитриева-Мамонова была уже бесспорна.

— И на его место попал Платон Зубов.

— Платон Зубов! — повторил Проворов. — Кто бы это мог подумать? Такой тихоня!

Действительно, Платон Зубов, такой же секунд-ротмистр, как и Проворов, отличался в полку чрезвычайно скромным поведением. Плохой служака, неважный ездок — щупленький и нежный, он держался более или менее в стороне от шумной жизни офицерства и проводил время главным образом за чтением сентиментальных книг и в особенности за игрою на клавесинах. Кажется, у него даже были очень порядочные способности к музыке. Но кроме этой склонности к тишине и музыке, за ним никаких достоинств не значилось. И вдруг он, эта ничтожность, попал в любимцы, занял место всесильного когда-то Орлова и даже самого великолепного князя Тавриды, светлейшего Потемкина! Уж и Дмитриев-Мамонов был нерешителен, а этот совсем казался никудышником.

— Да, уж что кому слепая фортуна предназначит! — проговорил Чигиринский. — Недаром ее рисуют с повязкой на глазах.

— Постой! — остановил его Проворов. — Ты говоришь, что он нес последнее дежурство нашего полка в Царском?

— Да.

— Значит, то самое дежурство, от которого я отказался?

— Да ведь в самом деле, ты ведь отказался, и пошел Зубов вместо тебя... Вот не знал ты... может, счастье предназначено было тебе.

— А разве ты думаешь, это было бы для меня счастьем?

— А ты этого не находишь?

— Видишь ли, теперь я могу сказать тебе: мне предлагали это счастье.

— Кто предлагал?

— Масоны.

— Что-о?

— Масоны следили за мной, потому что мой отец, как оказалось, был тоже масоном, и они мне покровительствовали.

— А потом?

— А потом ко мне явился некто и предложил мне стать на то место, куда попал теперь Зубов.

— И ты отказался?

— Видишь ли, они от меня требовали в случае успеха полного подчинения их воле, то есть чтобы я беспрекословно исполнял все то, что они захотят. Я понял, что это равносильно предательству, и отказался.

— И у тебя хватило духу?

— Да разве можно было поступить иначе?

— Да, брат, это верно — иначе нельзя было поступить... порядочному человеку. И ты — молодец, молодец! — воскликнул Чигиринский, как бы любуясь своим приятелем. — Вот тебе моя рука, что ты — молодец! — И он крепко пожал Сергею Александровичу руку. — Хоть ты и от многого отказался, — добавил он затем задумчиво, — но судьба вознаградит тебя; ведь честные люди всегда в конце концов выигрывают и бывают счастливы уже потому, что на их совести нет никаких угрызений. Будущее вознаградит тебя.

— Может быть, я уже вознагражден в настоящем, — прошептал Проворов, отворачиваясь и краснея. — Ведь сейчас же после того, как я отказался от предложения масонов, я встретил, или, вернее, увидел, девушку.

— Ну, это, брат, — Месопотамия, амурная дребедень.

— Нет, Чигиринский, это — не дребедень, это, знаешь... это... что-то... невыразимое!

— Ну и не выражай, если «невыразимое»! Я с тобой о деле говорю.

Чигиринский никогда не придавал серьезного значения «амурной дребедени» и, как только речь с ним заходила о сердечных излияниях, начинал произносить вовсе неподходящие к случаю слова вроде «Месопотамия», «Кунигунда», «Агамемнон».

— Я с тобой дело говорю, — повторил он, — тут выходит занятное сопоставление. Ведь если тебе масоны предлагали свое содействие, то, может быть, и Зубов попал не без их участия, в таком случае они через него могут получить власть и значение.

— Ну, этого я не знаю.
— Это очень серьезно, и это надо выяснить! — озабоченно произнес Чигиринский.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Через две недели Платон Александрович Зубов из секунд-ротмистров был произведен в полковники и флигель-адъютанты.

Придворная жизнь оживилась, государыня повеселела, и снова начались празднества и балы, тем более что дела наши на юге России, где мы воевали тогда с Турцией, шли очень хорошо, и из армии курьеры то и дело привозили известия о победах.

В царскосельском парке, на большом пруду, был назначен большой бал на расположенном посредине его острове.

Танцевальный павильон на этом острове был красиво освещен разноцветными стеклянными шарами и уставлен тропическими растениями, среди которых горело множество тоже разноцветных лампионов. По пруду плавали лодки, увешанные фонариками, очертания берега обрисовывались тоже линиями лампионов. Вся эта масса огней отражалась в воде и создавала среди темной июльской ночи в роскошном парке поистине волшебное зрелище.

Гремела музыка. На острове, в танцевальном павильоне, играли попеременно один после другого три оркестра; кроме того, по пруду среди освещенных фонариками лодок с гостями ездил на большой барже хор рожечников, а по берегу в разных местах пели песенники гвардейских полков. На остров переправлялись на лодках и на бегавшем по канату ручном пароме.

Проворов явился на бал с единственной и главной целью быть представленным официально фрейлине Малоземовой. Как только он с Чигиринским вступил в разодетую толпу, заполнявшую все лужайки и дорожки у пруда, он стал приставать к приятелю, чтобы тот отвел его и представил фрейлине Малоземовой, а сам весь превратился в зрение, ища по сторонам ту, видеть которую снова было целью его жизни.

— Да, право, я ее и не помню как следует, — отговаривался Чигиринский, — нельзя же помнить всех фрейлин... Постой, вот в толпе вертится камер-юнкер Тротото; он, наверно, знает твою Малоземову. Ты знаком с ним?

— Ну еще бы! — воскликнул Проворов и кинулся, куда показывал Чигиринский.

Камер-юнкер Артур Тротото был известен всему Петербургу как один из щеголей, одетых всегда по последней моде и вообще посвященных во все тайны светской столичной жизни. Это был один из так называемых модников — «петиметров», худенький, тощий, вертлявый, юркий и до приторности любезный.

— Артур Эсперович, Артур Эсперович, — окликнул его Проворов, — на одну минуту!

— Ах, моя радость, мой милейший, — откликнулся тот, — как я счастлив встретиться с вами! Здравствуйте! Я прямо-таки благословляю судьбу, столкнувшую нас. Чем могу быть полезен?

— Вы знакомы с фрейлиной Малоземовой?

Тротото от радости стал даже подпрыгивать, как чирик перед кормом.

— Ну еще бы! Конечно, я знаком с фрейлиной Малоземовой.

— Представьте меня ей, пожалуйста.

— О, с большим удовольствием, с большим удовольствием! Она будет в восторге, она страшно будет рада. Пойдемте!

— Куда же надо идти?

— Конечно, на остров, в танцевальный павильон: очевидно, все фрейлины там. Конечно, если бы вы просили меня представить вас одной из этих прелестнейших дам нашей столицы, было бы труднее отыскать их в такой толпе, но фрейлина Малоземова, наверное, в танцевальном павильоне, на острове.

И, говоря все время без умолку, Тротото тащил Сергея Александровича с таким видом, точно не он Проворову делает услугу, а тот ему самому делает услугу. Они пробрались к парому и в одну минуту были на шумном острове в толпе танцующих.

Проворов ни о чем больше не мог думать, как о том лишь, что сию минуту увидит ее; он тяжело дышал, и в его глазах все сливалось и мелькало.

Тротото притащил его к стене, где сидело несколько почтенных особ, и, обратясь к одной из них, произнес, словно воркующий голубь:

— Мой дорогой друг, офицер Конной гвардии полка Серж Проворов, умирает от нетерпения иметь счастье быть представленным вам.

Та, к которой подвел Проворова Тротото и представил, не имела ничего общего с обликом, неотступно преследо-

вавшим Проворова. Сухопарая, немолодая, она не только казалась некрасивой, но принадлежала к тем, которые никогда и не были красивы — один нос ее, совершенно башмакообразный, чего стоил! — и к довершению всего на щеках ее виднелись следы давнишней оспы. Ее открытая шея с повязанной черной бархоткой была осыпана слоем густо наложенной пудры и морщилась. Лицо было жирно нарумянено, а глаза подведены так, как это делают старухи, потерявшие всякую меру в восстановлении своих прелестей путем красок и притираний.

II

Положение Проворова казалось до ужаса жалостным: в самом деле, он мечтал быть представленным красавице, и вдруг камер-юнкер Тротото подвел его к какой-то замаринованной мумии!

Но этого мало. Сергею Александровичу пришлось протанцевать с этой мумией вальс, потому что она, как только ей представили кавалера, выразившего столь ярое, по словам Тротото, желание познакомиться с ней, вся взволновалась и затрепетала от счастья и, быстро сложив веер, которым обмахивалась, вскинула ему руку на плечо. Проворову не оставалось больше ничего иного, как завертеться с нею в танце. Он не знал, что это был ее первый вальс за много десятилетий на придворном балу. Она вечно сидела у стены, и ее никто не приглашал. «Вывеска не позволяла», — как говорили шутники.

Фрейлина так обрадовалась, что наконец-то и у нее нашелся собственный кавалер, что, сделав с ним тур вальса, не удовольствовалась этим и повисла у него на руке, таща его в ту сторону, где на покрытом красным бархатом возвышении находилась государыня, окруженная важнейшими сановниками и придворными.

— Мсье Серж, мсье Серж, — повторяла она, крепко держа молодого человека под руку, — пойдёмте, посмотримте нового фаворита Зубова! Вы видели нового фаворита Зубова?

И несчастный «мсье Серж» должен был идти с Малоземовой, пробираясь через толпу и между танцующих пар к месту, где была императрица и где был такой блеск от бриллиантов, золотого шитья мундиров, атласа и парчи, что слепило глаза и трудно было смотреть.

Дама Проворова утонула в блаженстве. Она, стараясь щебетать как птичка, без умолку тараторила:

— Вы видите старика? — Это Левушка Нарышкин... вы, конечно, знаете его. А там, молодой, это — князь Куракин, светило будущего царствования, любимец наследника. А вы знаете, наследника нет сегодня: отговорился болезнью и не приехал из Павловска. Но этого не заметили! Вон-вон, видите Зубова? По-моему, он, конечно, красив, но в нем нет ничего особенного. Есть люди гораздо красивее его.

Проворов увидел сидевшую в высоком золоченом кресле государыню с ее правильным строгим, величественным профилем и высокой, пудренной по старинной моде прической с бриллиантами в волосах и возле нее Платошку Зубова во флигель-адъютантском мундире с аксельбантами, заколотыми бриллиантовым аграфом. С лица он был все такой же розовый, с черными, как по нитке выведенными, бровями и пунцовыми сочными губками. Осанка же его и вся манера держаться сильно изменились. Теперь Зубов непринужденно стоял среди знатнейших персон, и великолепный сановитый Левушка Нарышкин как-то особенно любезно и почтительно склонился к нему, и все лица были обращены в его сторону с явно выраженной готовностью к услугам и преданности. Месяц тому назад никто и не взглянул бы на молодого скромного конногвардейского офицера, а теперь он являлся центром, к которому было устремлено все внимание блестящей придворной толпы.

— А вы могли бы быть на его месте! — услышал за собой чей-то голос Проворов и оглянулся.

Произнесенные слова он расслышал совершенно определенно и ясно, они были сказаны сзади у самого его уха, так что он даже почувствовал теплоту дыхания сказавшего, но, когда оглянулся, не мог заметить, кто это был. И сзади, и возле них, кругом двигалась толпа, и напрасно Сергей Александрович всматривался — никому, казалось, не было до него дела. Все были заняты, в особенности тут, возле возвышения, исключительно тем, что происходило на этом возвышении.

Впрочем, Проворов огляделся только мимоходом. Ни то, что ему шепнули, ни его похожая на мумию дама, ни вся эта роскошь, ни его недавний товарищ по полку в своем новом положении не могли отвлечь его внимание от того, что не давало ему покоя: он был уверен, что девушка, говорившая с ним из окна в Китайской деревне, должна была быть здесь, на балу, и хотел отыскать ее и увидеть во что бы то ни стало. И он смотрел, смотрел во все глаза кругом, чтобы увидеть ее, и внутренне желал только одного

этого, и за это отдал бы навсегда и весь этот бал, и всех, кто был на нем. Но ее тут не было.

— Знаете что? Тут душно, позвольте отвести вас на воздух, — предложил он своей неотвязчивой даме.

— Ах, это великолепно! — обрадовалась та. — Именно, поидемте на воздух! — И она рванулась в сторону двери.

Проворов последовал за нею, чтобы продолжать свои поиски и тайно надеясь, что ему как-нибудь все-таки удастся отделаться от мумии, поручившей себя его охранению.

В широких дверях павильона толпа сошлась воронкой, и тут образовалась серьезная давка. Проворова стиснули, и он должен был отпустить руку дамы, его подхватили течением и вынесли на свежий воздух. Последнее, что он слышал, был возглас томной мумии:

— Мсье Серж, я погибаю!

Но Проворов уже торжествовал свое освобождение, он очутился один и кинулся стремглав подальше от павильона, чтобы обегать все дорожки и осмотреть всюду, где были гости. Он переправился опять на пароме, и ему там снова попался камер-юнкер Тротото.

— Послушайте, кому вы меня представили? — накинулся на него Проворов.

Он сделал это так свирепо, что Тротото присел на своих бульонных ножках и, всплеснув руками, воскликнул:

— Ах, моя радость, вы меня совсем испугали и повергли в страх! Кому я вас представил? Но позвольте! Ведь вы сами просили меня представить вас фрейлине Малоземовой!

— Ну да, я просил вас представить меня фрейлине Малоземовой.

— Но ведь я так и сделал... Я увенчал ваше страстное желание.

— Но ведь я вовсе не той просил... Это — старуха какая-то!

— Ну, моя радость, другой фрейлины Малоземовой нет.

— Вы наверное знаете?

— Ну еще бы! Да это не только я, это знают все! — и в голосе камер-юнкера Тротото послышалась нотка обиды: как это кто-нибудь мог даже предполагать, что он и вдруг не знает всех фрейлин! — Фрейлина Малоземова, — продолжал он наставительно, — была пожалована на это звание еще при императрице Елизавете Петровне и с тех пор носит его с честью.

— Скажите, — перебил его Проворов, — она живет сейчас в Китайской деревне?

— Ну да, моя радость, в Китайской деревне.

— А с ней или при ней нет никакой молодой родственницы?

— О нет, наверное нет! Фрейлина Малоземова известна тем, что терпеть не может ничего молодого... То есть очень молодого. При ней живут две очень старые компаньонки, и, когда они выходят все вместе гулять с собачонками, про них Лев Александрович говорит, что вон «три парки гуляют в парке»...

Но Проворов уже не слушал, убедившись, что ту, которую он искал, зовут вовсе не Малоземовой и что она ничего общего не имеет с этой фамилией, и устремился искать ее дальше. Он обежал по несколько раз все дорожки, снова побывал на острове, заглядывал в павильон, где танцевали, снова кидался во все стороны и снова не находил той, которую страстно желал видеть и искал. Оставалось только предположить, что она не приехала на этот бал. Но почему?

То обстоятельство, что она жила в Китайской деревне, несомненно, значило, что она имела возможность быть и на балу, устроенном в парке, и если ее тут не было, то, очевидно, на это имелись какие-нибудь особые причины.

Кто она?

И этот вопрос стал перед Проворовым, разрушив все надежды и ожидания, которые, казалось, так легко могли быть осуществимы! Он, очевидно, ошибся домиком в деревне и вернулся не к тому, где жила его незнакомка, а к тому, где обитала фрейлина Малоземова.

Казавшаяся ему звучной и приятной фамилия Малоземова теперь, при воспоминании о той, которая носила ее в действительности, была ему неприятна, и он уже не находил в ней ничего звучного.

Проворов, уже разочарованный, направлялся к выходу, желая покинуть зал, как вдруг услышал:

— Серж, мсье Серж... вы меня ищете, меня? Я тут, я тут...

И, прежде чем он успел опомниться, у него на руке с резвостью семнадцатилетней девочки повисла фрейлина Малоземова.

III

Платон Александрович Zubov был третьим сыном Александра Николаевича Zubova, занимавшего в провинции не особенно значительное место вице-губернатора и управля-

ющего имениями генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова. Состояния у Зубовых почти никакого не было, и потому старику приходилось добывать средства частною службою, кроме казенной, для того чтобы воспитать и упорочить положение детей.

А их у него было довольно много: три дочери и четверо сыновей. Последние все служили на военной службе, помимо которой по тому времени нельзя было сделать карьеру, причем все молодые люди, искавшие счастья, старались устроиться в Петербурге, по возможности в гвардейских полках.

Старший из братьев Зубовых, Николай, служил в гвардии недолго, перешел в армию и сумел там обратить на себя внимание Суворова, с которым был в турецком походе. Следующие его братья, Дмитрий, Платон и Валериан, не последовали его примеру и продолжали оставаться гвардейцами, предпочитая жизнь в столице при дворе тягостям похода. Платон и Валериан служили в Конном полку и ничем не отличались от прочих офицеров вплоть до внезапного возвышения Платона.

Как это случилось, он и сам хорошенько не знал. Ни о чем он не мечтал, ни о чем не раздумывал. Родители определили его с братом в Конный полк и высылали им, сколько могли, денег на содержание. Жили они скромно, так как приходилось быть расчетливыми, должны понемножку, но в кутежи и попойки не втягивались, в особенности Платон. Делал он это не по высоте своих духовных качеств, а потому, что в равной мере с остальными богатыми товарищами кутить не мог; вследствие этого он предпочитал лучше вовсе не участвовать в их широкой жизни. Сидя, бывало, у себя за клавесинами, он играл чувствительные мелодии и как будто чего-то ждал от жизни, но чего именно, сознательно не обдумывал.

И вдруг неожиданно-негаданно судьба поставила его на такую высоту общественной лестницы, о которой он и не мечтал. Своим возвышением он был обязан самому простому случаю, и никаких покровителей особенных, ни сложной интриги для того, чтобы выдвинуть именно его, а не кого-нибудь другого, не было.

Когда занимавший до него его место Дмитриев-Мамонов, по мнению всех, сделал непростительную глупость, влюбившись в княжну Щербатову и рискнув испросить у государыни разрешение жениться на ней, ближайшие к императрице лица, чтобы услужить ей, поспешили найти ему заместителя.

Попался под руку Платон Зубов на дежурстве, и они взяли его, потому что внешность его соответствовала тому, что было нужно.

Платон Зубов был обязан всем покровительству Марии Саввишны Перекусихиной, статс-дамы Анны Никитишны Нарышкиной и личного камердинера императрицы Захара Зотова. Эти три лица нашли в Платоне «подходящего паренька», потому что он был «тихенький», и «случай» его получил осуществление.

И «тихенький» Зубов стал на головокружительную высоту непредвиденно и неожиданно для всех. Пока прочили и гадали, кто займет место Дмитриева-Мамонова, и высчитывали, у кого из придворных есть «шансы», это место занял простой дежурный, двадцатидвухлетний секунд-ротмистр Конногвардейского полка.

Однако высота, на которую попал Платон Зубов, несмотря на всю свою головокружительность, не вскружила ему головы настолько, чтобы он потерял ее. Необщительный, не болтливый, а молчаливый и сдержанный обыкновенно и прежде, он теперь сделался еще более необщительным и сдержанным. Но нельзя было упрекнуть его при этом в неприветливости. Напротив, он глядел на всех как будто благосклонно и улыбался, но никто не мог с уверенностью сказать, что таилось за этою его благосклонною улыбкою. Он, казалось, улыбался и запоминал все кругом, и отмечал в своей памяти, кто и как к нему относится и кто ему нравится и кто нет.

Эта его манера держаться, в сущности, наиболее соответствовала тому положению, которое ему пришлось занять, и создавала вокруг него некоторый трепет. Разгадать Зубова сразу не могли и потому боялись. Это послужило к тому, что, в то время как его предшественник Дмитриев-Мамонов не пользовался никаким особенным вниманием и доказательством преданности со стороны придворных тузов (напротив, они играли на том, что они его поддерживают и помогают ему), Платон Зубов с первого же месяца своего возвышения был окружен искательством, и его приемная с утра наполнялась видными сановниками и посевшими на службе вельможами.

Те же, кто знал Платона Зубова ближе, например товарищи по полку, понимали, что его манера держаться происходит вовсе не от его ума и каких-нибудь особенных способностей, а, напротив, является следствием его ограниченной глупости, природной трусости и лени. Чигиринский давно заметил, что Платон Зубов молчит потому, что ему

просто лень разговаривать, так как для какого ни на есть разговора нужно все-таки думать, а «Зубову думать нечем». Улыбается же он потому, что привык казаться любезным, так как только любезностью и мог взять на положении молоденького и ничего не знающего офицера без средств и связей. И маска этой улыбки так и осталась у Зубова, потому что он не умел придать никакого иного выражения своему лицу. Не совался же он в рассуждения и казался сдержанным потому, что в полку его столько раз товарищи сажали в дураках, дружно высмеивая его глупость, как только он совался с рассуждениями, что он предпочел раз навсегда сделать вид, что он — вовсе не дурак, а даже и очень себе на уме.

Но статности фигуры и миловидной красоты лица никто не отрицал у Платона Зубова. Что он — красавчик, все это находили и повторяли в один голос; это он и сам знал и щеголял своей красотой.

IV

Сознавая свою красоту, Зубов стал заботиться о ней особенно тщательно с тех пор, как попал в честь и знатность. С утра, пока в его приемной толпились важные сановники в ожидании чести быть принятыми, он посвящал свое время такому же уходу за собою, как могла это делать разве только молодая кокетливая женщина.

Того широкого размаха барственности и расточительной щедрости, которою отличался Потемкин, у Зубова и тени не было. Пышность и роскошь, которыми он окружил себя с первых же дней своего могущества, выказывали только его жадность и сквалыжничество. Несмотря на свою склонность к музыке, он и не думал покровительствовать искусствам, и ни один художник, ни один музыкант не был поощрен им. Он не приобретал ни картин, ни ценных вещей, выдающихся искусством отделки, но покупал себе необделанные самоцветные камни и прятал их в шкатулку, причем любимым занятием его было, открыв шкатулку, пересыпать камни из одной руки в другую.

Единственно, к чему еще имел кажущееся пристрастие Зубов, это к нарядам и к всевозможному платью, но и то потому, что это платье приносили и подавали ему помимо его заказов и распоряжений, так что ему оставалось только выбирать любое.

Все эти черты характера определились у Зубова очень скоро и, конечно, немедленно были подмечены окружающею его челядью, приставленную к нему в качестве при-

слуги. Его парикмахеры, портные, камердинеры, выездные и дворецкие сразу угадали, как именно надо служить ему, и окружили его целой системой сплетен, наущничанья, доносов и шпионства. В глаза Зубову все старались, разумеется, аттестовать себя друзьями, а за глаза все ему были враги, потому что завидовали ему и злорадно мечтали о том, что он ведь может так же легко сойти на нет, как легко и неожиданно для всех возвысился.

Наблюдали и шпионили за ним, но подметить пока ничего не могли, потому что для Зубова слишком была заметна перемена между тем, что он был и что стал, и он слишком боялся упустить упавшее на его голову «счастье». Он боялся потерять это счастье и с трепетом душевным прислушивался ко всему тому, что ему нашептывали.

При дворе императрицы боролись тогда два течения, или две силы: влияние цесаревича Павла Петровича и своевластие светлейшего Потемкина. Все остальные маленькие стремления, подчас даже принимавшие облик значительно-сти, все-таки так или иначе примыкали к одному из этих противоположных полюсов придворной петербургской жизни того времени.

Может быть, будь Платон Зубов умнее и пожелай рассудить и выбрать, кого и как ему держаться в его новом положении, он сбился бы, запутался бы и оказался бы не в силах разобраться в тех тенетах, которые плелись во дворце в ежедневных закулисных буднях. Но он не рассуждал и не раздумывал, а инстинктивно начал действовать, с чисто животным самоохранением огрызаясь в ту и другую сторону. А так как он находился ближе всего к источнику всех благ и милостей, то и имел возможность воздействовать. И мало-помалу как бы само собою образовалось третье течение — его, Платона Зубова, старавшегося без разбора сокрушить все, что могло так или иначе вредить ему. При этом он не разбирал важного от неважного, действовал огулом, и в этом, пожалуй, был залог его успеха.

Зубов считал себя на такой высоте, где равного ему не может быть, так как всякий, кто смел рассчитывать сравняться с ним, тем самым становился его соперником, а этого было достаточно, чтобы он явился его злейшим врагом. Поэтому дружбы, всегда предполагающей союз равноправных, не могло существовать для Зубова. Он знал теперь людей, льстивших и пресмыкавшихся перед ним (их было большинство) и открыто выказывавших ему свое презрение. Таких было немного, но они все-таки существовали, и их особенно ненавидел Зубов.

Каждый день во время туалета, пока парикмахер тщательно занимался его прическою, подавали ему на золотом подносе груды писем и записок. Тут были приглашения на всевозможные балы, празднества, обеды, спектакли, так как все, разумеется, наперебой желали видеть у себя такую персону, какой стал Зубов, а многие нарочно тратили тысячи, чтобы задать для него пир. Затем здесь были просьбы и жалобы по самым разнообразным личным делам и, наконец, целый ряд анонимных писем с доносами, предупреждениями и всякими наветами, которые сочинялись либо ярыми интриганам, либо просто злыми людьми, рассчитывающими таким образом отомстить и разделаться со своими врагами.

Приглашения Зубов отбирал и сортировал, одни — отбрасывая, другие — оставляя. Просьбы и жалобы он разрывал не читая; что же касается анонимных писем с доносами, то их он тщательно собирал, прочитывал с большим вниманием и терпением и прятал в особый портфель, старательно и аккуратно прикладывая одно к другому те из них, которые относились к одному и тому же лицу.

Между прочими у него набрался порядочный запас анонимных сведений о его товарище по полку Сергее Проворове, таком же секунд-ротмистре, каким был и сам он еще недавно. Тайнственные корреспонденты, не подписывавшиеся своими именами и заверявшие в своей преданности и безусловной готовности принести всякую пользу, предупреждали Зубова, чтобы он остерегался секунд-ротмистра Проворова, который сильно рассчитывает рано или поздно занять его место и обладает какими-то таинственными ходами, которыми он может воспользоваться для достижения этой цели. Ведь необходимо принять во внимание, что и случайное возвышение самого Зубова произошло как раз на дежурстве, которое он занял вместо Проворова, что дает последнее в особенности надежду считать свои мечты осуществимыми.

Зубов никогда не был любим в полку, взаимно тоже не любил вообще товарищей и держался от них в стороне. Но среди этих товарищей был кружок так называемых «теплых ребят», которые особенно изводили его своими насмешками и против которых он таил особенную злобу. Главным коноводом этого кружка был ротмистр Чигиринский, а его последователем — Проворов.

Зубов давно уже не без злорадного удовольствия помышлял о том, как теперь посчитаться с ними. Анонимные

же письма, предупреждавшие его еще об опасности со стороны Проворова, доказывали ему уже прямую необходимость взяться за дело самым серьезным образом.

V

Когда пришла очередь дежурить опять полку Конной гвардии в Царском Селе, Зубов был осведомлен об этом, потому что велел подавать себе ежедневно записку о том, какие воинские части занимали караулы во дворце. Увидев в списке дежурящих офицеров имена Чигиринского и Проворова, он осклабился злорадною улыбкою. Ему было приятно сознавать, что вот они там где-то дежурят и должны будут ночь не спать и в бессонную эту ночь на дежурстве обдумывать свои делишки — как достать денег или беспокоиться о своей лошади, которую, того и гляди, опоят или иначе как-нибудь испортит конюх, а он, Зубов, в свое удовольствие нежится тут же, во дворце, который они стерегут, и не только ни о чем не беспокоится, но стоит только ему пожелать, и они были бы очастливлены. Захочет он — и они получают награду или солидный куш денег и смогут себе купить еще двух лошадей, заплатить долги и кутнуть в свое удовольствие.

Но он этого не захочет! Тут они лебезят и пресмыкаются пред ним, как и лебезят, и пресмыкаются теперь сотни вельмож — не им чета. Конечно, и они не отстанут от других, и им, вероятно, захочется получать что-нибудь через их «бывшего товарища».

Хорошо же, он покажет, какой он товарищ! Он сначала даже поощрит их искательство, сделает вид, что и не помнит их надругательств, а потом, натешившись их унижением, даст им щелчок, просто скажет: «Пошли вон» — и прогонит их, как лакеев, а затем... затем сосчитается с ними, как только можно.

Как именно он будет считаться с ними, Зубов и сам еще не знал хорошенько, но в том, что это будет сделано, он не сомневался, и чем скорее, тем лучше.

А пока мысль просто повелиться перед своими недавними однокашниками по полку так понравилась Зубову, что он, взяв трость и шляпу, отправился гулять в парк вокруг дворца, рассчитывая, что, вероятно, встретит кого-нибудь из однополчан, потому что это был час как раз проверки постовых часовых.

И в самом деле, стоило ему только сделать несколько шагов по парку, как он издали увидел шедших ему на-

встречу Чигиринского и Проворова. Они шли и весело о чем-то беседовали. Сергей Александрович держал Чигиринского под руку и смеялся.

«Вот они сейчас увидят меня, — мелькнуло у Зубова, — и лица у них станут заискивающе-почтительными. Любопытно!»

Но конногвардейцы приближались и, казалось, так были поглощены своим разговором, что даже не замечали Зубова. Наконец они совсем поравнялись с ним и все-таки не оказали никакого внимания по отношению к нему.

— Господа, — резко остановил их Зубов, повышая голос и встряхивая плечами, где блестели новенькие его полковничьи эполеты, — отчего вы не отдали мне чести?

Чигиринский, приостановившись и обернувшись, небрежно кинул ему в ответ: «А разве ты потерял ее?» — а лицо Проворова озарилось презрительной усмешкой.

Этого уже не мог стерпеть Зубов.

— Господин ротмистр, — крикнул он, побагровев, — по воинскому артикулу вы обязаны салютовать вашему полковнику, в каком чине я нахожусь, и вам должно быть это известно.

— Господин полковник, — спокойно ответил Чигиринский, — по воинскому артикулу я должен салютовать при встрече только генералу, полковнику же салют полагается только в строю.

Вслед за тем Чигиринский взял под руку Проворова и, ясно показывая, что не желает задерживаться с Зубовым, пошел дальше, как будто ничего особенного не случилось.

Когда Зубов чуть не бегом вернулся во дворец, в свои комнаты, с ним сделалась истерика.

Чигиринский же с Проворовым продолжали свой путь, и им после встречи с Зубовым стало еще веселее.

— А знаешь что? Ведь он нам теперь будет непременно мстить за это, — сказал Проворов.

— Почему же «нам»? — ответил вопросом Чигиринский. — Ведь сию полную остроумной резвости беседу вел с ним я один. За что же обрушит он гнев свой на тебя купно со мною?

— За то, что я тут присутствовал и явно держал твою сторону.

— А ты боишься?

— Чего это?

— А вот что этот сударь будет мстить нам?

— Да я думаю так, что все равно тут, бойся или не бойся, от его злобы не уйдешь. Так уж лучше наплевать —

что будет, то будет. Надо, по-моему, делать то, что считаешь порядочным и честным, а там пусть происходит то, что должно совершиться.

— Правильно! Ну а скажи теперь, что в данную минуту ты считаешь порядочным и честным сделать?

— В каком смысле?

— В смысле направления твоих дальнейших шагов. Я так полагаю, что самое порядочное для тебя теперь направить их в Китайскую деревню. Сознайся, что я прав?

Чигиринский угадал верно. Да и сделать это ему было немудрено: Проворов действительно собирался пойти в Китайскую деревню, чтобы еще раз попытаться найти домик уже не фрейлины Малоземовой, а тот, где жила виденная им незнакомая девушка.

— Слушай, Чигиринский, если ты будешь смеяться, я никогда ничего тебе рассказывать не буду, — обидчиво произнес он.

— Ну, пустяки! Я вовсе не смеюсь над тобой. Ну, иди, иди, я тебе мешать не буду! — И с этими словами Чигиринский отпустил руку товарища.

Они были уже у мостика с китайскими фигурами, и Проворов устремился к деревне, оглянувшись для того, чтобы убедиться, что Чигиринский не смотрит ему вслед. Но тот повернулся и шел уже по направлению к дворцу.

В Китайской деревне опять нельзя было никак ничего распознать. Все домики казались так похожими один на другой, что Проворов снова остановился, беспомощно оглядываясь. Теперь он желал одного: найти тот дом, где жила фрейлина Малоземова, чтобы никогда уж не останавливаться перед ним.

Пока он стоял, теряясь и раздумывая, окно над розанами пред ним распахнулось, и старая фрейлина с жеманной улыбкой выглянула из него и сказала певучим голосом:

— Мсье Серж! Я знала, что вы придете... Я ждала вас. Так суждено самим небом!

VI

Аглая Ельпидифоровна Малоземова, пожалованная во фрейлины покойною императрицею Елизаветою Петровною более сорока лет тому назад, весь свой долгий век ждала появления того сказочного королевича, который придет за нею, чтобы назвать навеки своею.

Шли годы, а никто не приходил, оспа испортила и без того некрасивое лицо Малоземовой, она состарилась, но не

унывала и продолжала ждать. Ни связей, ни важных знакомых, ни именитого родства у нее не было. Попала она во фрейлины только благодаря своей русской фамилии и хорошему русскому происхождению.

Когда императрица Елизавета Петровна после совершенного ею переворота вступила на престол, началось гонение на все немецкое, и государыня старалась окружить себя исключительно русскими людьми. Тогда на первых порах между другими была произведена во фрейлины и Аглая Ельпидифоровна Малоземова, дочь одного из лейб-кампанцев, способствовавших Елизавете Петровне вернуть себе отцовский престол.

С тех пор Малоземова не пропускала ни одного придворного бала, но ни разу никто не сжалился и не пригласил ее ни на один танец, хотя она усердно училась этому искусству и брала уроки танцев, дорого платя учителям. Бедная, она была обречена на вечное сидение у стены. Кавалеры, самые завалящие, самые малозначащие, все, как один, обходили ее, а она не смущалась, не унывала и ждала, ждала.

Каждый раз, собираясь на бал, она мечтала, что вот на этот раз встретит «его», и он придет. Ее две компаньонки гадали ей и на картах, и на кофейной гуще и предрекали непременно исполнение ее желаний, что-де есть на свете пригожий добрый молодец, который тоскует по ней, сокрушается и явится перед нею, как лист перед травой.

Малоземовой так хотелось, чтобы это случилось, что она верила этим предсказаниям, а приживалкам-компаньонкам только этого и надо было. Они изошрялись, как только могли, не стесняясь вранья, и расписывали даже внешность готового, по их уверениям, жениха. Он был военный, «шантрет», с соколиным взглядом, статной фигурой и с очень звучной фамилией.

И каковы же были радость и торжество маленького мирка фрейлины Малоземовой, когда она, вернувшись с последнего бала на пруду, торжественно объявила о случившемся, то есть о том, что сидит она на бале в танцевальном павильоне и ничего не ожидает, а так, обмахивается веером, и вдруг подлетает к ней камер-юнкер Артур Эсперович Тротото и говорит: «Позвольте представить вам человека, который...» И тут он так упоительно выразился, что просто и повторить нельзя, это можно только чувствовать. А рядом с ним стоит «он», «шантрет».

— Фигура статная, — подсказала одна компаньонка.

— Орлиный взгляд, — подхватила другая.

— Все, все! — подтвердила Аглая Ельпидифоровна. — Я подняла руку, положила ему на плечо, и мы закужились вдруг в упоительном вальсе.

Она так часто представляла себе в мечтах, как все это будет, что теперь действительность сливалась с мечтами, и она рассказывала, фантазируя и сама того не замечая.

Компаньонки ахали и в благоговейном умилении повторяли проникновенным шепотом:

— Мы говорили, мы говорили... уж карты не солгут, уж вот все произошло как по писаному, как есть все!

На другой день после бала и своего первого в жизни вальса шестидесятилетняя Аглая Ельпидифоровна вместо двух часов, которые она просиживала перед зеркалом обыкновенно, просидела четыре. Она вся была вытерта розовой водой, нарядилась в белое кисейное платье с розанамми и на голову надела тоже венки из роз.

Весь эпизод бала был рассказан ее компаньонкам снова, они же потребовали нового повторения, и она повторяла еще, каждый раз с новыми подробностями. Она была уверена, что мсье Серж, или просто Серж, как она называла Проворова заочно, поспешит сейчас же, то есть на другой день после бала, к ней.

Когда же Проворов не приехал, Малоозимова немедленно объяснила себе это тем, что, вероятно, он не знал, где она жила, а может быть, и считал не деликатным явиться к ней, в ее девичий «уголок», не представившись ее родителям. Он ведь и не знает, что ее родители умерли.

Аглая Ельпидифоровна заставляла компаньенок гадать, что станет дальше. Те не стеснялись в предсказаниях: одна по тщательном рассмотрении кофейной гущи вещала, что, мол, королевич, краше которого не было на земле, сам придет за своею желанной; другая раскладывала карты, читала в них неожиданность «червонного интереса в собственном доме», потому что бубновый король, который самый «он» и есть — ну вот голову снимите сейчас! — только и думает что о своем предмете сердечного влечения.

Аглая Ельпидифоровна верила и гуще, и картам, так как им теперь уже, раз они столь дивно и явственно предсказали главное, не верить нельзя было. Она ждала, каждый день натираясь розовой водой и украшая себя невинными туалетами моды прошлого царствования.

Целый день она сидела теперь у окна, боясь пропустить предсказываемого гаданиями появления Сержа, и даже гулять почти не выходила в парк.

Компаньонки сидели с нею и выслушивали в тысячный раз рассказ о бале или повторяли свои предсказания, стараясь по возможности расцветить их новыми узорами.

Когда же, наконец, перед окном появился Проворов, Малоземова тихо ахнула, всплеснула руками и, высунувшись, окликнула его. Иначе поступить она не могла. Ей казалось, что совершающееся выше человеческого разума и никак не может уже войти в рамки обыкновенной человеческой жизни.

— Мсье Серж, — сказала она Проворову, — я знала, что вы придете, я ждала вас; так суждено самим небом.

Проворов вздрогнул и остановился, потом взглянул на мумию-фрейлину и опрометью бросился бежать прочь, не останавливаясь.

— Понимаю, — воскликнула Аглая Ельпидифоровна, тронутая до слез, — понимаю... он хотел инкогнито побывать у меня под окном и желал видеть меня наедине. Очевидно, эти дуры помешали ему... Какая тонкая деликатность с его стороны.

И она обернулась к «этим дурам», то есть компаньонкам, чтобы разбранить их, зачем они помешали. Но «дур» уже не было. Как только показался Проворов, они обе юркнули под стол, именно чтобы не мешать, и теперь, пыхтя и сопя, вылезали на четвереньках.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Под семисвечною люстрой снова сидели за покрытым красным сукном девять человек, на этот раз под председательством доктора Германа. Это было чисто деловое собрание избранных главарей без всяких атрибутов, церемониалов и обрядов, рассчитанных на человеческое воображение. Собравшиеся здесь, по-видимому, не нуждались в искусственном и нарочитом взвинчивании и, так сказать, «внушении» через мистическую обстановку. Они хорошо знали друг друга и свое дело, то есть к какой цели направлять и куда вести деятельность масонов в России, которых они были тут главарями.

Конечно, главною их целью было приобретение прочного и по возможности непосредственного влияния на тот источник, откуда исходила вся сила государственной власти. Но до сих пор им это не удавалось. Императрица

Екатерина II не только не была склонна к таинственности и магическим опытам, но даже сама в своих литературных трудах обличала масонство и писала на него сатиры.

При русском дворе ничего не мог поделать даже приезжавший нарочно в Россию знаменитый кудесник, маг и чародей Калиостро, основавший в Петербурге ложу египетского масонства и кончивший тем, что его выслали за границу по распоряжению властей. А этому Калиостро, именовавшемуся титулом графа, никак нельзя было отказать в очень сильных способностях к интриге и далеко незаурядной ловкости. Во Франции он имел влияние при дворе Людовика XVI и там был руководителем подпольной интриги против этого короля и его супруги Марии Антуанетты. За границей знали Калиостро, и там он имел возможность действовать, у нас же он добился лишь того, что его выслали из Петербурга.

Расчет масонов воспользоваться падением Дмитриева-Мамонова, чтобы поставить на его место своего человека, тоже не удался у них. А между тем в царствование Екатерины даже многие вельможи принадлежали к обществу масонов, или вольных каменщиков, и все-таки они не могли добиться никакого серьезного значения.

Девять главарей, собравшихся под семисвечной люстрой, были очень серьезны и казались опечаленными.

— Нет, — произнес доктор Герман, — недаром великий Копта*, провожая меня в Россию, сказал мне, что в этой стране наше братство встречает какое-то странное неизведанное препятствие.

— Да, — подтвердил сидевший справа от доктора Германа, — ведь и сам он, приехав в Россию, не имел здесь успеха.

— Мы думали, — продолжал доктор, — что здесь действует противоположное масонам тайное общество, но по тщательным исследованиям оказалось, что подобное предположение не подтверждается. Действительно, в России возникло несколько подпольных кружков, ставивших себе целью противодействие работам вольных каменщиков, но они вскоре падали сами собою, потому что были лишены каких бы то ни было занятий. И тем более странно, что все мастера, приезжавшие в Россию для утверждения масонской работы, неизменно встречали противоположную волну. В этом, к сожалению, я сам должен был убедиться

* Под именем «великого Копты» был известен среди масонов граф Калиостро.

только что, когда столь тщательно подготовленный план относительно Сергея Проворова потерпел крушение.

— Насколько мы можем понять, действительно что-то случилось: он не занял места Дмитриева-Мамонова.

— Случилось то, что он отказался, так как не пожелал пойти на условие безапелляционного подчинения нам. Он ни за что не хотел связывать себя обязательством, находя, что это будет предательством с его стороны, и ничем нельзя было соблазнить его. Он твердо держался, не отступая от предрассудка, называемого в общегитии «честью». Эта честь ему дороже всех благ, которые обещало ему предложенное положение. Мало того! Он, по-видимому, и теперь, после того как отказался, не чувствует ни сожаления, ни зависти к заменившему его Зубову: на последнем балу, когда он смотрел на возвышение, где сидела государыня, окруженная придворными, склонявшимися пред Зубовым, ему шепнули, что он мог бы быть на его месте, но он остался совершенно равнодушным к этому и даже в лице не изменился, а обернулся лишь, чтобы посмотреть, кто мог ему шепнуть на ухо.

— Что же вы сделали с ним после того, как окончили свой разговор после его отказа?

— Конечно, поступил по нашему обычному в таких случаях приему: сказал, что наш разговор был только испытанием и что он признан достойным быть посвященным в степень масонства.

— Значит, его нужно причислить к неисправимым идеалистам, которых, таким образом, станет среди нас одним больше.

— Ну что ж! И идеалисты нужны в наших рядах. Ведь они создают в глазах общества уважение масонству. Надо только, чтобы эти идеалисты были открыто известны как масоны... Впрочем, это — подробности, и не в них дело; нам нужно решить вопрос, что предпринять ввиду нашей неудачи. Мы сошлись сегодня для того, чтобы обсудить, что делать.

II

На этот прямо поставленный вопрос стали давать ответы по очереди.

Один сказал, что, по его мнению, следует постараться достичь падения Зубова и немедленно поставить на его место своего надежного человека.

Другой сделал предложение: вместо того, чтобы свергать Зубова, привлечь его самого на сторону масонов.

Третий предложил получить влияние на императрицу иным каким-нибудь путем, оставив в покое людей, находившихся «в случае», потому что эти люди могут меняться от простого каприза.

Четвертый посоветовал приобрести масонам влияние в России на духовенство и действовать через него.

Пятый сказал, что нечего задаваться какой-то расплывчатой целью «влияния вообще», а просто нужно ставить себе каждый раз определенные частные задачи и достигать желаемого в отдельных случаях.

Шестой заявил, что главное во всяком деле — деньги, и если центральный союз за границей хочет, чтобы масоны получили желаемую силу и значение в России, то пусть не скупится на присылку сюда денег.

Седьмой высказал соображение, что того, чего добились масоны в России, на нынешнее время достаточно и что следует развивать дело мало-помалу, так как всякий скачок вреден и может грозить потерей даже того, что достигнуто.

Наконец, восьмой предложил сплотиться вокруг недавно еще всесильного князя Потемкина Таврического, поддержать его слегка пошатнувшееся могущество и укрепиться, таким образом, через его посредство.

Председествовавший доктор Герман выслушал всех внимательно, не перебивая, а потом заявил:

— Все эти предложения очень хороши и могли бы быть с успехом использованы, но вы упускаете из виду одно обстоятельство: волю самодержавной императрицы всей России, Екатерины. Вы так или иначе желаете влиять на нее, и все сделанные вами предложения сводятся к этому. Но опыт двадцати семи лет, в продолжение которых она царствует, показал, что эта воля непреклонна, и если она что-нибудь определенно положила себе, то никакие силы не могут заставить ее изменить свое решение или мнение. А каково ее мнение о масонах, мы знаем. Значит, какие бы мы ни придумывали планы действий, нам ничего нельзя добиться, потому что невозможного достичь не в состоянии даже наше совместное стремление. Императрица упорна и настойчива, масонов же настолько недолгобливает, что даже сама пишет на них сатирические произведения.

— Что же тогда делать? — спросили в один голос присутствующие.

— Ждать! — твердо ответил Герман.

Ропот недовольства прошел по собранию.

— Ждать, — заговорил сидевший рядом с доктором почтенный человек, — ждать! Но ждать хорошо, когда имеешь более или менее определенный срок, когда видно впереди нечто такое, на что можно надеяться; между тем наше положение в России, по-видимому, вы сами признаете совершенно безнадежным, и ждать в таком положении равносильно отказу от всякой деятельности, а это противно всем статутам нашего братства.

— Прежде всего, статуты братства вольных каменщиков, — спокойно возразил Герман, — предписывают полное и безусловное повиновение старшим степеням, и я, как старший из вас по степеням, мог бы потребовать у вас подчинения без всяких объяснений. Но на этот раз, ввиду важности дела, о котором мы беседуем, я дам вам объяснение, чтобы вы могли действовать в дальнейшем сознательно. Нам не на что надеяться при Екатерине, но это не значит, что нужно сложить наше оружие. Масонские треугольник, шпала и светильник не для того вручены нам, чтобы мы бездействовали. Но я сказал, нам надо ждать, и, конечно, имел в виду определенный момент, с наступлением которого должно явиться наше торжество — понимаете ли, полное торжество, и не гадательное, не воображаемое, а действительное, осязаемое! Императрица Екатерина не вечна. Годы ее таковы, что в более или менее близком будущем можно предвидеть естественный конец ее царствования. Составленные по этому поводу гороскопы все доказывают одинаково: через семь лет в России будет новый император. Наследник цесаревич Павел Петрович взойдет на престол. Вы настолько посвящены в дела, что знаете, как он относится к братьям-масонам и как увлекает его все таинственное. Мы можем рассчитывать, что переход власти в его руки будет равнозначен переходу ее к нам, и мы сразу станем хозяевами в России. Ведь Павел Петрович — не только надежная опора для нас, но он настолько уже находится под нашим влиянием, что станет просто нашим оружием. Вот и все! Через каких-нибудь семь лет власть в России сама собой перейдет к нам. Кажется, стоит подождать и вооружиться терпением. А пока пусть императрица Екатерина действует против масонов, пусть пишет на них сатиры, пусть даже воздвигает гонение на братство вольных каменщиков! Тем лучше для нас, потому что, чем круче с нами будут обходиться в Петербурге, тем благосклоннее будет к нам Павел Петрович в Гатчине. Ведь каждому известно, что он поступает наоборот тому, что делают императрица и ее правительство. Достаточно опалы при боль-

шом дворе, чтобы заслужить полное благорасположение у наследника. Итак, будем ждать, потому что в конце концов нас ждут торжество, власть и могущество в России!

Эти соображения, по-видимому, произвели то впечатление, которое желал вызвать доктор Герман, то есть все почувствовали безусловную их справедливость.

Действительно, склонность наследника престола Павла Петровича ко всему таинственному и его пристрастие к так называемым оккультным, или герметическим, наукам были общеизвестны; кроме того, все знали и о его стремлении во что бы то ни стало действовать наперекор всему тому, что делалось императрицею, ее двором и ее сановниками. Поэтому масоны вполне могли рассчитывать на Павла Петровича и ждать его воцарения.

— Теперь же будем стараться об одном, — заключил доктор Герман, — как можно лучше укрепиться в Гатчине у Павла Петровича и направить к этому все наши силы и способности, все наши желания и волю!

И все присутствовавшие враз дружно ударили согнутым пальцем по столу и произнесли в один голос:

— Fiat!

III

Проворов, живший до сих пор в полной беззаботности и не думавший о завтрашнем дне, вдруг ощутил довольно заметную перемену в окружающей его жизненной обстановке. В общем, ему и до сих пор жилось не особенно легко в смысле житейских благ, но все же как-то так выходило, что он не думал о завтрашнем дне, и дела его катились сами собою, без серьезных заторов и ощутительных крушений. А тут вдруг все кредиторы, словно сговорившись, накинулись на него и стали требовать денег. Началось с портного, а потом и пошло. Начали приставать, надоедать хуже горькой редьки.

Проворов велел денщику не пускать к себе никого. Но кредиторы, которых денщик гнал вон, обиделись, грозили, что будут жаловаться начальству.

Конечно, их жалоб бояться было нечего: начальство всегда принимало сторону своих офицеров, и из жалоб поставщиков никогда ничего не выходило, но все-таки их приставания были несносны, и вся эта возня с ними отчаянно изводила Проворова.

Однако эти приставания кредиторов и неприятности оказались еще только цветочками, за которыми последова-

ли и ягодки. Последние состояли в том, что Проворову, точно по мановению некой волшебной палочки, был прекращен кредит. Это было уже хуже и грозило гораздо более серьезными осложнениями, чем докука от приставаний неотвязчивых поставщиков.

Дошло до того, что нельзя было зайти в кондитерскую Гидля и спросить там чашку шоколада. Не верили и перестали отпускать даже в кондитерской Гидля! Это являлось унижительным, и Проворову пришлось вовсе прекратить посещение кондитерской.

Вместе с тем и товарищи по полку стали как будто косяться на Сергея Александровича и избегать его общества. В знакомых домах принимали его сухо, а там, где давались балы и куда до сих пор всегда приглашали его наравне с остальными офицерами, как будто забыли о его существовании и не присылали ему пригласительных билетов.

Все это не на шутку беспокоило Проворова и ставило его в отвратительное положение. Он был теперь в таком состоянии, что, просыпаясь, с утра думал о том, какая новая гадость может ожидать его сегодня. И действительно, каждый день приносил ему нравственное страдание тою или иною житейской мелочью.

Сергей Александрович скучал, томился, осунулся весь, побледнел и ходил злой, недовольный, враждебно настроенный ко всему окружающему. Как на грех, и Чигиринский уехал на охоту и пропал недели на две, так что Проворову негде было перехватить хоть немножко денег или хоть кутнуть на счет приятеля.

Мало-помалу нравственная пытка, которой подвергался Сергей Александрович, до того ожесточила его, что он стал раздумывать о том, да стоит ли жить, на самом деле, если все так слагается скверно в этой жизни и если нет в ней просвета?

А откуда было ждать этого просвета Проворову, для которого будущее могло рисоваться лишь в самых мрачных красках? Он отлично сознавал, что, если так продолжится еще некоторое время, ему не представится возможности оставаться в полку.

Выходит, в отставку? Переводиться в армию? Но это значило отказаться от всякой будущности, от всего, что рисовалось в мечтах и что красило жизнь надеждою на радость и счастье. В его годы жизнь сама по себе не представляет ценности, и, когда она грозит перейти в прозябание изо дня в день, она становится тягостью, кажушейся лишней и ненужной.

«Нет тебе выхода и нет тебе просвета», — повторял себе Проворов, а мелкие уколы самолюбия и мелкие дрязги и унижения сыпались на него с неудержимою стремительностью.

Дошло до того, что он несколько раз рассматривал более внимательно, чем это нужно было, свой пистолет и раз даже поймал себя на том, что приложил его к виску. Ведь что, в самом деле? Один только раз «чик» — и готово, и все кончено, и нет всей этой гадости и самого нет... все!

Ночами Проворов спал беспокойно, вернее сказать, большею частью и вовсе не спал, а находился лишь в каком-то полузабытьи, в котором чувствовал всего себя и которое не давало ему ни отдыха, ни успокоения.

Однажды, когда Проворов находился в состоянии такого полубодриствования, ему вдруг померещилось, что перед его глазами на некоторой высоте над ним явились золотистые лучи и стали собираться в светлый образ, очертания которого он узнал.

Это была «она», несомненно, «она». Он не только видел, но, главным образом, чувствовал ее присутствие. Она была прозрачна, словно соткана из золотистого эфира, и еще более прекрасна, чем тогда, когда он увидел ее в окне Китайской деревни.

Это не был сон, но это и не была полная явь. «Она» явилась, как видение, как неземное существо, принявшее человеческие формы, оставаясь вместе с тем воздушной.

«Вот для кого и для чего стоит жить, — решил сейчас же Проворов, ощутив вдруг необыкновенную легкость и прелесть своего существования, — а все остальное — пустяк!»

Между ним и видением, столь ясно показавшимся ему, ничего не было сказано, но они и без слов поняли друг друга. По крайней мере, Проворов понял смысл своей жизни, понял, что они рано или поздно встретятся и навеки будут принадлежать друг другу и что это случится обязательно, потому что так предопределено самим Провидением.

IV

Утром пришел Чигиринский, он вчера поздним вечером вернулся с охоты и первым делом решил навестить приятеля.

— Ну что, как ты? — спросил он, окидывая взглядом Проворова с ног до головы. — Что это ты, что с тобой приключилось, болен ты, что ли?

— А что?

— Да вид уж очень скверный, — совсем зеленый и похудел сильно.

— Все пустяки! — весело махнул рукою Проворов. — Теперь все для меня — пустяки... понимаешь ли, я видел ее!

— Батюшки мои! Я и забыл, что ты, несчастный страдалец, влюблен, а ваша братия — влюбленные — всегда зеленеет, худеет и имеет вид, словно больна по крайней мере желтухой.

— Нет, Ванька, ты не смейся! Я тебе сказал, как другу.

— Да я не смеюсь. Я говорю только, что теперь понимаю, отчего у тебя вид такой изнуренный. Ну хорошо! Где ж это ты ее видел?

— Во сне.

— Послушай, Проворов, — расхохотался Чигиринский. — как хочешь, а я не могу серьезно относиться к твоим сновидениям. Мало ли что грезится! Это все — фантазии!

— Да нет же! Для меня был почти вопрос жизни и смерти. Так дольше существовать я не мог... и вдруг явилась «она».

— Ну хорошо, об этом потом. Твои сны от тебя не уйдут и всегда при тебе останутся. А вот я тебе привез действительную весть, касающуюся нас с тобой обоих.

— Неприятное что-нибудь?

— Почему же ты сейчас думаешь, что уж непременно неприятное?

— Да к этому я уже привык в последнее время. Для меня теперь что ни день, то какая-нибудь гадость непременно случится. Ну, говори, что такое ты привез?

— Да видишь ли, с охоты я возвращался через Царское Село, остановился там на день и узнал...

— Какая нам предстоит мерзость? Понимаю. Ну, выкладывай!

— Мерзость или нет, это, брат, еще — вопрос. Все в жизни относительно и все имеет свою светлую и темную стороны. Дело в том, что, по-видимому, мы очень обозлили Платона Зубова.

— Ну и что ж из этого?

— А то, что он собирается нам мстить. Ты же сам понимаешь, что теперь он — человек, имеющий возможность все сделать, что хочет.

— Да-а! — раздумчиво протянул Проворов. — Теперь я понимаю многое... теперь я понимаю все, что случается со мною в последнее время, все эти гадости.

— А что с тобой случается?

— Да, помилуй, нет прохода от кредиторов, надоедают с утра до вечера.

— Ну, это неважно.

— В долг перестали давать.

— Это хуже!

— И в городе чуждаться меня стали: не зовут никуда, многие едва кланяются, а то и вовсе не отвечают на поклон.

— Может, это тебе кажется, ты преувеличиваешь?

— А с чего мне преувеличивать? Я могу назвать именно тех, кто меня знать не желает. — Проворов назвал целый ряд известных в Петербурге того времени имен.

Чигиринский выслушал очень внимательно и потом спросил:

— Хорошо! Но что же это имеет общего с Платоном Zubовым?

— А то, что теперь для меня ясно, что все это происходит по его проискам.

— Ну и дурак! Станет тоже Zubов теперь возиться с твоим портным или седельником или интриговать против тебя у Елагина и Куракина, чтобы тебе напакостить!

— Но позволь! Ведь все они точно сговорились или кто ордер такой им дал. Ведь все, от ничтожного портного до Елагина и князя Куракина...

— Ну, говорят тебе, что попал ты пальцем в небо и не ковырай дальше. В твоих неприятностях Платон Zubов, конечно, ни при чем. Тут я вижу нечто другое.

— Что же именно?

— Да ничего больше, как махинация масонов. Ты не пожелал подчиниться их воле и тем спутал их расчеты, а этого они не прощают.

— Но ведь они же сами признали меня достойным степени, ведь я же рассказывал тебе, как это было.

— Ну да, и нет сомнения, что тебя признали достойным степени лишь для виду, чтобы заставить тебя молчать о том, на какую подлую роль подбивали тебя братцы вольные каменщики. На самом деле они, очевидно, так злы на тебя, что готовы сварить в ложке воды, ну вот и стараются сделать это. Все лица, которых ты назвал и которые перестали тебя звать — масоны. Елагин — масон, Куракин — тоже и все остальные. Это ясно показывает, откуда идет дым, чтобы тебе глаза выесть. А ты, брат, не поддавайся!

— Но неужели масоны настолько сильны, чтобы так нагадить человеку?

— И это вовсе не доказывает их силы. Что за вздор! Напротив, тут их слабость вырисовывается. Ну что же это за воздействие, если оно ограничивается грубой силой, чисто материальными пустяками? Большого-то и нет у них ничего в запасе! Пугать или устрашать житейскими невзгодами в мелочах или даже хотя бы убийством можно только трусов. Ну а если люди не боятся такой ерунды, как материальные лишения или даже смерть, то масоны бессильны. Ну, как же это не доказывает их слабости? Смеху подобно, право! Ну, твой портной или седельник, конечно, непременно участвуют в какой-нибудь масонской ложе, потому что им лестно быть в одном обществе с титулованными и высокопоставленными, ну, им объявили, что ты — враг братства, и они стали делать тебе всякие неприятности, а высокопоставленные масоны перестали приглашать тебя.

— Все-таки это неприятно.

— Вздор! Все эти неприятности выеденного яйца не стоят. Нет, брат, Платон Zubov приготовил нам сюрприз посерьезнее.

Проворов опять весело махнул рукой и сказал:

— Все равно! Что бы ни случилось, я теперь готов все перенести, лишь бы заслужить свое счастье.

— Это ты опять про свои любовные эмпиреи?

— Да, опять. Называй как хочешь, но с сего дня я верю в свое счастье и верю, что я и «она» встретимся в жизни для того, чтобы соединиться навеки.

— Но ведь ты даже не знаешь, как ее зовут и кто она: может быть, это — какая-нибудь принцесса.

— Все равно!.. Или нет, не все равно. Это ты хорошо сказал. Я теперь буду мысленно называть ее не иначе как принцессой. Моя принцесса! Пусть она будет принцессой — я буду достоин ее. Я стану достойным ее, чего бы мне это ни стоило. И мне теперь ни масоны, ни Zubovy не страшны. Пусть они делают со мной что хотят!

Проворов говорил, и глаза его горели и щеки покраснелись. Чигиринский смотрел на него с удовольствием.

— Молодец, Сергей!.. Люблю. Ловко, брат, молодцом! Так ничего не боишься?

— Ничего.

— Так собирайся в действующую армию!

V

— То есть как это — в действующую армию? — переспросил Проворов.

— Да так, — пояснил Чигиринский, — в действующую армию против турок: сражайся с неверными. Этот сюрпризик приготовил нам Зубов, как бывший добрый товарищ. Мы назначены в действующую армию.

— И это-то есть та неприятность, которую ты привез из Царского?

— Да, эту весть я привез из Царского Села и ручаюсь тебе за ее достоверность. Но только я не говорил, что это — неприятность: напротив, я только что объяснял тебе, что все относительно и зависит от того, как смотреть на вещи. Конечно, для нас с тобою, полагаю, оно иначе: если мы — военные, то наше дело — воевать.

— Ну еще бы! — подхватил Проворов. — Конечно, кроме воодушевления, во мне ничего иного не может вызвать известие, что нас посылают на войну. Что же, кроме нас еще отправляются гвардейские офицеры?

— Нет, господин Зубов позаботился только о нас двоих.

— Тем лучше: значит, мы как бы выделены, отличены...

— Правильно! Так ты, я вижу, несколько не огорчен, а, напротив, рад?

— Ну еще бы!

— Ну вот я и рад, что не ошибся в тебе. Видишь ли, что касается меня, то мне так надоела тут, в Петербурге, вся эта канитель, что я все равно — не пошли меня Зубов — сам попросился бы к туркам. Если другие воюют, чем мы хуже их? Наше дело там, где сражение идет, а не где танцуют, сплетничают да занимаются масонскими бреднями. Я рад, что и ты с охотой готов идти.

— Да еще бы не с охотой! — воскликнул Проворов. — Пойми, ведь это — единственный для меня выход; ведь это сразу прекращает все мои невзгоды, всю эту житейскую дрянь, всю мелочь. Подумай: помимо всего, что может ждать меня на войне: заслуги, подвиги, чины и положение, взятые в бою, честно заработанные, я сразу разделяюсь со всей путаницей в своих делах; одним взмахом все кончится — уехал на войну — и дело с концом! Да ведь все это так великолепно устроивается, что лучше и не надо.

Вдруг в самый разгар этой горячей, погонявшей слова одно за другим речи Проворов оборвался и замолчал, несколько растерянно взглянув на приятеля.

— Что с тобой? — удивленно спросил тот.

— Нет, ничего. Я вдруг вспомнил, подумал о «ней»... Ведь если мне уехать... Нам когда нужно уехать?

— Дана всего неделя срока. А я думал, что мы отправимся еще раньше. Больше пяти дней нам нечего здесь валандаться.

— Вот видишь, всего пять дней, в пять дней я едва ли отыщу ее, свою принцессу. А мне так хотелось бы увидеть ее хоть одним глазком, хотя имя ее узнать.

— Да ведь ты вот во сне с ней видался, сам же рассказывал.

— Не шути, я тебе серьезно говорю, что мне хочется увидеть ее перед отъездом на войну... понимаешь?.. Хоть один только раз... Увидеть наяву, услышать ее голос. Ты не смея тут смеяться!

Проворов был в таком волнении, что с трудом произносил слова и чуть не задыхался. Чигиринскому стало жаль его, и он сказал:

— Послушай, у меня есть средство...

— Какое средство? Что ты говоришь? — взволновался еще больше Проворов. — Ты придумал что-нибудь для того, чтобы узнать, кто она? У тебя явилась нить, ты догадываешься?

— Постой, погоди! У меня просто есть средство, действующее замечательно успокоительно, вот и все... лепешки такие. Мне дал их какой-то доктор. Я думал, шарлатанство, ан, оказалось, и вправду очень действенные.

— Какие там еще лепешки? — недовольно возразил Проворов. — Никаких мне успокоительных лепешек не надо, потому что я совершенно спокоен. и все это — вздор!

— Ну, хорошо — пусть вздор, а все-таки попробуй съесть лепешку. Не беспокойся: не отравлю, и ничего тебе не сделается от этого, — и Чигиринский протянул товарищу фарфоровую коробочку в виде табакерки, наполненную маленькими кругленькими буро-зелеными лепешками.

Проворов взял одну, машинально положил в рот и сейчас же ощутил вязущий вкус быстро тающего снадобья.

— Что это такое? — спросил он.

Но не успел Чигиринский ответить, как глаза его товарища стали неудержимо слипаться. Проворов перестал понимать, что происходит вокруг, и скоро почувствовал, как весь он погружается в томную истому, словно его охватывает взбитая мыльная пена и действительность окутывается туманной дымкой движущихся волн, клубившихся и входящих, вливающих одна в другую и одна из другой исходящих. Мало-помалу эти волны приобрели золотистый оттенок и стали движущимися блестящими нитями, быстро-быстро переплетающимися, беззвучно и бесконечно. По-

том все залилось мягким, чарующим светом, и в нем появилась снова его принцесса, такая же прекрасная, как наяву и как в видении. На этот раз видение было гораздо яснее: почти совсем как живая была она перед Сергеем Александровичем.

И он услышал ее голос или, вернее, ему казалось, что он слышит ее голос. Она сказала ему, что если он хочет видеть ее, то пусть придет сегодня на маскарадный вечер, одевшись белым паяцем Пьеро, к Елагину, который сегодня устраивает праздник в своем дворце на острове. Она там будет и найдет его.

Все это она произнесла отчетливо ясно, и Проворов слышал и видел, но сам не мог произнести ничего и не мог ни двинуться, ни шелохнуться, как это бывает во сне, когда чувствуешь себя скованным по рукам и ногам.

Да ему и не хотелось ни говорить, ни двигаться из боязни нарушить очарование виденного им. Казалась, при малейшей неосторожности видение исчезнет.

И оно исчезло. Все покрылось тьмою, и Проворов погрузился в бессознание полного небытия.

VI

Проснулся Сергей Александрович свежий и бодрый, сидя в том же самом кресле, в котором оставил его Чигиринский. Он огляделся, и ему не нужно было усилия, чтобы все ясно вспомнилось. Он посмотрел на часы; по приближительному расчету, сон его длился не более часа.

Первым делом Проворова было пойти и найти Чигиринского. Тот сидел в общей офицерской столовой и там в компании нескольких товарищей уже распивал шипучее вино в честь предстоящего отъезда в действующую армию. Они обстоятельно обсуждали вопрос, какую по этому поводу сделать отвальную.

Сергей Александрович вовсе не был в настроении пить, но должен был взять налитый ему стакан и, чокнувшись со всеми, осушить его.

— Послушай, Чигиринский, мне надо сказать тебе два слова, — шепнул он товарищу.

Тот поморщился и отвел приятеля в дальний угол комнаты, к окну.

— Послушай, что это за лепешку дал ты мне? — спросил Проворов, как только они отошли достаточно далеко от стола, где сидели остальные.

— Право, не знаю! Какой-то наркотик или, по-русски, снотворное, а что именно, не знаю.

— Но это — дивная вещь... это — такой сон... Я опять видел ее.

— Ну и что ж? Доволен ты этим?

— Представь себе, она велела мне быть на маскараде у Елагина.

— Во сне?

— Да, во сне она мне сказала.

— Что за чепуха! Разве свидания когда-нибудь назначаются во сне?

— А между тем это так: она прямо так и сказала, чтобы я был сегодня на маскараде у Елагина.

— Да позволь, есть ли еще у него маскарад сегодня?.. Господа, — и Чигиринский обернулся к офицерам у стола, — сегодня разве есть маскарад у Елагина на острове?

— Конечно, — сейчас же отозвался молодой офицерик, — и билеты еще вчера присланы, они у меня. — Он достал из кармана пачку пригласительных билетов и, перебрав их, нашел два. — Вот один тебе, — сказал он Чигиринскому, — а другой — Проворову.

— И мне есть билет? — воскликнул тот, очутившись у стола.

Не было ничего удивительного, что Елагин в качестве заведующего театром, которого он считался директором, очень часто устраивавший у себя маскарады и всякие торжества, устраивал и сегодня маскарад в своем дворце на острове. Знать того времени жила широко, и всякие пиры и торжества давались то и дело. Не было ничего удивительного и в том, что Проворов, не получавший в последнее время приглашений, получил на этот раз билет; но ему показалось это столь знаменательным, что наяву должно быть продолжение сверхъестественным.

— Я хочу быть непременно сегодня на маскараде у Елагина, — проговорил он.

— За чем же дело стало? — спросил молодой офицерик, передавший ему билет, — и поезжай, если хочешь.

— У меня нет подходящего костюма.

— Так возьми мой, — предложил Чигиринский, — у меня есть костюм белого паяца Пьеро, мне не хочется ехать, а костюм новешенький.

И костюм оказывался именно таким, какой был нужен. Положительно в этом было что-то похожее!

Проворов забыл все свои невзгоды и неприятности, забыл о своем предстоящем отъезде в действующую армию,

который все-таки требовал приготовлений, и мог думать об одном лишь вечере. Он сейчас же потребовал от Чигиринского, чтобы тот немедленно показал ему костюм, и, когда костюм этот был ему дан, примерял его раз пять и вертелся перед зеркалом, оглядывая себя и желая убедиться, хорошо ли сидит на нем одеяние паяца Пьеро.

Время тянулось необычайно медленно, но все-таки наступил час, когда можно было отправиться в маскарад без риска приехать туда слишком рано.

Однако Проворов явился к Елагину одним из первых. Было настолько тепло, что окна и двери на террасу стояли отворенными, и Сергей Александрович быстро обежал парадные, освещенные восковыми свечами комнаты дворца и сад, где зажигали иллюминацию разноцветных лампионов, из которых были сделаны красивые декорации, в особенности на плотках на воде, окружавшей остров. Проворов, конечно, ни на что не обращал внимания, сосредоточив все мысли на своей принцессе, на том, что он увидит ее, что сможет заговорить с нею, узнает, наконец, кто она, и это наступит скоро, сейчас, может быть, сию минуту.

Гости прибывали, толпа их, пестрая и шумная, заполняла дорожки сада, в зале гремела музыка, и там, после официального полонеза, начались веселые оживленные танцы. Но «она» не являлась, и ожидания Проворова были напрасны.

Он тщательно вглядывался в окружавшие его маски, стараясь угадать, которая из них скрывает ту, кого он искал. Он не сомневался, что, встретиться лишь они, он угадает ее без ошибки, без колебания. Но толпа двигалась, костюмы мелькали мимо него, а принцессы не было.

Вдруг Проворов почувствовал, что под его руку просунулась чья-то рука, и неприятный знакомый голос сказал:

— Серж, наконец мы опять вместе!

Он оглянулся — розовая цветочница держала его под руку. Лицо ее скрывала маска, но шея была открыта, и Проворов сейчас же узнал ее большие руки. Это была опять фрейлина Малоземова.

«Позвольте, почему же вы узнали меня?» — хотел он спросить и тут только заметил, что держал маску в руке, не надевая ее. Он поспешил закрыться маской, но было уже поздно: фрейлина Малоземова прилипла к нему.

Первым движением Сергея Александровича было оттолкнуть ее, но на самом деле он не сделал этого: с женщиной он не мог быть грубым. Он шел, сам не зная, что делает, и не имея возможности даже сообразить, что нужно делать.

— Что же вы молчите? — томно прошептала Малоземова. — Разве вы не рады, что мы опять вместе? Впрочем, зачем говорить, когда так сильно чувствуешь?

«И с чего я вообразил, — думал между тем Проворов, — что и в самом деле можно назначить свидание во сне? Мало ли что может привидеться! Но ведь это не значит, что наяву должно быть продолжение сна. Я все время думал о ней и буду думать, вот и увидел ее во сне, и тут нет ничего странного. Не странно тоже, что мне почудилось, что она назначает мне свидание на маскараде у Елагина. Однако почему же на маскараде, о котором я и не думал, почему от Елагина прислан мне билет и что за странное совпадение относительно костюма? Впрочем, может быть, костюм — это простая случайность. Но надо быть сумасшедшим, чтобы ожидать, что я встречу ее здесь... Конечно, вздор! Я и есть сумасшедший... что выдумал тоже!»

И Проворову самому стало смешно от несуразности, к которой привели его мечтания.

— Вам хорошо? — спросила в это время Малоземова.

Но он не ответил ей. Перед ними на дорожке сада, по которой они шли, остановилась другая пара: французский пейзаж и Пьеретта.

И невозможное оказалось возможным.

VII

— Мой милый Пьеро, — сказал Сергею Александровичу незнакомец, одетый пейзажем, — не хочешь ли ты поменяться дамами? Право, моя Пьеретта больше подходит к твоему костюму, чем прелестная цветочница, с которой ты ходишь, а цветочница больше под пару пейзажу, каким являюсь я.

Кто был пейзаж, Проворов не знал, но относительно Пьеретты он не сомневался: «она»! Сердце его билось так сильно, что ошибиться он не мог.

Однако Малоземова, хотя и польщенная, что ее назвали «прелестной», крепко ухватила за руку Проворова и стала возражать:

— Я не хочу отпускать моего Пьеро, я хочу остаться с моим Пьеро!

Но пейзаж оставил свою даму и так властно, спокойно и повелительно подставил свою руку цветочнице, что та повиновалась, а Пьеретта взяла под руку Проворова.

Сергей Александрович схватил ее и побежал вперед, в толпу. Ему хотелось унести на край света, и ему казалось, что сзади у него выросли крылья, и он летит на них, отделяется от земли и не чувствует самого себя, не ощущает своей тяжести.

— Скажите, ведь это — вы, это — вы? — обратился он к Пьеретте.

— Что за вопрос? — засмеялась она. — Ну, конечно, я — это я! Как же вы хотите, чтобы я была какой-нибудь другой?

— Нет, вы мне скажите... Ведь это вы — моя принцесса?

— А кто ваша принцесса?

— Не знаю.

— Так как же вы хотите, чтобы я знала это, если вы сами не знаете?

— Я ничего не знаю, знаю только, что с ума сойду, скажите, это я вас видел?

— Где?

— Во сне.

— Вы в самом деле с ума сошли: хотите, чтобы я знала, что вы видите во сне.

— Да нет, не во сне... там...

— Где это там?

— В Китайской деревне. Скажите мне, как вас зовут, кто вы.

— Вот странный разговор для маскарада. Согласитесь сами, что так в маскараде не разговаривают.

— Простите, но для меня жизнь или смерть.

— В моем имени? Да? Меня зовут Пьереттой.

— Ну да, это — ваш маскарадный костюм.

— Конечно. Только так я могу ответить в маскараде. А кто я на самом деле — уж это вы должны догадаться. Разве маска когда-нибудь скажет вам, кто она такая?

— Нет, прошу вас, не говорите со мной маскарадным обыкновенным языком! То, что случилось со мною сегодня, так необычно, что тут все условности должны быть оставлены.

— Что же с вами случилось?

— Необыкновенное, сверхъестественное!

— Неужели? Сегодня вы узнали, что должны ехать в действующую армию, и это показалось вам столь удивительным?

— Почему вы знаете, то есть откуда вам известно, что я еду на войну?

— Ну, это не так уж трудно: об этом все говорят, и во всем городе известно, что Платон Зубов устроил протекцию двум своим прежним товарищам — конногвардейцам — вам и Чигиринскому, и вас посылают к туркам. А сами вы как к этому относитесь?

— Сам я? Да, конечно, в восторге! Это — лучшее, что может для меня быть. Там я заслужу... и там стану достойным моей принцессы, то есть сделаю такое, что будет достойно ее!

— Это — та принцесса, которую вы видели во сне?

— Нет, не только во сне: я ее видел и наяву, в Китайской деревне. Скажите, вы бывали в Царском Селе, в Китайской деревне?

— Бывала. Там, я думаю, все бывали. В этом нет никакого чуда.

— Нет, вы там жили, то есть вы там живете теперь?

— Нет, никогда не жила и теперь не живу.

«Неужели это — не она?» — мелькнуло у Проворова, и он почувствовал, как краска прилила к его щекам.

К счастью, они были закрыты маской. Выходило ужасно глупо, если он свои бессвязные слова обращал к случайно встреченной костюмированной Пьеретте.

— Знаете что, — произнес он, — приподнимите хоть краешек своей маски, дайте взглянуть хоть уголком глаза, мне надо удостовериться.

— Что за просьба! Разве с этим обращаются к маске? Если вы так будете обращаться со мной, я вас оставляю. — И она сделала движение, чтобы вынуть свою руку из-под его руки.

— Нет, — удержал ее Проворов, — простите еще раз; но, понимаете, я сегодня в забытьи, в каком-то особенном сне видел ту, которая для меня составляет весь смысл, всю радость жизни, ту, для которой я могу жить... она — тот мой идеал, который...

— И вы говорите, что всего только раз видели ее?

— Да.

— Она, значит, очень красива?

— О да, она хороша, как ангел! Но не только ее красота составляет главные ее качества, это — такая душа, такая, которая...

— Да как же вы могли узнать ее душу? Ведь вы видели ее всего один раз. Вы, значит, очень долго разговаривали с ней.

— Нет, я с ней даже и не разговаривал. Она только сказала мне несколько слов. Правда, эти слова были очень важны для меня, очень важны.

— Ну, так как же вы могли узнать ее душу?

— Ах, как вы не понимаете, что в оболочке такой красоты не может быть иной души! Это — ангел, сошедший на землю, понимаете, ангел!

Проворов говорил, а сам старался вслушаться в голос Пьеретты; похож ли он или нет на голос той, которая сказала ему несколько слов из раскрывшегося окна, и не мог никак вслушаться как следует. То ему казалось, что это — она, то его охватывало сомнение, и он испытывал чувство, близкое к отчаянию.

— Ну а как же вы во сне-то ее видели? — спросила Пьеретта.

— Сам не знаю. Меня сегодня утром охватило забытье, и вдруг явилась она, лучезарная и ясная, и сказала, чтобы я приехал сегодня в маскарад к Елагину в костюме Пьеро. И вдруг тут вы, одетая Пьереттой... и нашли меня, и узнали...

— Почему же вы думаете, что я вас узнала?

— Но вы сами сказали, что меня, конногвардейца, посылают вместе с Чигиринским в действующую армию. Значит, вы узнали меня.

— Ваша правда. Только это было проще, чем вам кажется. Я ходила с одним из ваших товарищей, и он указал мне на вас, назвал вашу фамилию и сказал, что я могу интриговать вас тем, что знаю, что вы едете на войну. Костюм Пьеретты на мне совершенно случайно, и наша встреча не имеет никакого отношения к вашему сну. Это — просто маскарадная шутка.

— Для вас, может быть, шутка, но для меня это — вопрос жизни или смерти. Ведь если я действительно встречу с моей принцессой до своего отъезда и она даст мне хоть тень надежды в будущем, то я сделаю нечеловеческие усилия, чтобы быть достойным ее.

— А если вы уедете без надежды?

— А если мне придется убедиться, что все мои мечты и грезы были лишь игрою воображения, то я найду смерть в первом же сражении с врагом.

— Вы не сделаете этого!

— Нет, сделаю. Мне не остается ничего другого. У меня, кроме нее, нет ничего в жизни, и без нее не надо мне этой жизни. Я с радостью еду на войну, потому что если там отдам жизнь, то недаром по крайней мере.

Пьеретта близко склонилась к самому его уху и тихо сказала:

— Надейтесь!

Проворов вздрогнул.

— Ради всего святого, если это — вы, дайте мне уверенность в том. Иначе я буду сомневаться и думать, что это — просто маскарадная интрига и что вы, совершенно чужая мне, воспользовались случайностью и посмеялись надо мною.

— Не сомневайтесь, — еще тише проговорила Пьеретта и добавила вдруг совсем громко и весело, — ну а теперь до свидания! Слышите, я говорю вам «до свидания». — И она оставила его руку.

Сергей Александрович кинулся за ней с такой стремительностью, что она должна была отклониться в сторону, сказав:

— Тише, не растопчите розы, надо осторожнее обращаться с розами!

Это была та самая фраза, которую сказала из окна при прощании девушка в Китайской деревне. Теперь Пьеретта повторила ее слово в слово. Это была она. Сомнений не существовало.

Ровно через пять дней после этого Проворов вместе с Чигиринским уехал из Петербурга к месту их назначения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

В начале девяностых годов восемнадцатого столетия Россия была в союзе с Австрией, где царствовал Иосиф II, личный друг императрицы Екатерины II. Нам пришлось тогда вести войну со Швецией и Турцией при крайне неблагоприятном отношении Пруссии и весьма подозрительных на наш счет намерений Польши, бывшей тогда самостоятельным государством.

Пруссия, вдохновляемая честолюбивым министром Герцбергом, стремилась во что бы то ни стало играть роль вершительницы судеб Европы. Еще с самого начала турецкой войны 1788 года она задалась целью противодействовать усилению России и Австрии на счет Турции. Кроме того, король прусский Фридрих Вильгельм II хотел и сам извлечь тут выгоду, как и Фридрих II Великий в свое время воспользовался первой нашей турецкой войной для получения выгод для Пруссии, завладев тогда частью Польши.

В этих видах Пруссия заключила в январе 1790 года союз с Османскою Портою, которая, по предложению Герцберга, как «добрая союзница», должна была взять на себя, в сущности говоря, издержки по увеличению прусских владений. План Герцберга состоял в том, что Россия и Австрия должны получить земли от Турции, а за это Россия уступит Швеции часть Финляндии. Австрия отдаст Польше Галицию, а Польша, получив Галицию, предоставит Торн и Данциг Пруссии. Швеция же, получив от России Финляндию, отдаст Пруссии принадлежавшую ей тогда Померанию. Вознаграждение же Турции, по мнению Герцберга, тоже было огромно: четыре державы (Россия, Пруссия, Австрия и Англия) ручались на вечные времена за целостность остальных ее владений.

Россия к этому времени заключила торговый договор с Францией, и это сближение между Россией и Францией тоже сильно беспокоило Пруссию. Тогда впервые стали

раздаваться крики о том, что, мол, необходимо «равновесие» в Европе, которое стремится нарушить Россия. Это слово «равновесие» было пущено прусской дипломатией.

Происки Пруссии заставили Данию, союзницу России, отказаться от помощи последней против Швеции. В Константинополе же всякими посулами и обещаниями прусские агенты возбуждали султана к продолжению войны с Россией. Австрия не согласилась на предложение Пруссии, а Екатерина отвергла даже посредничество Пруссии и велела сказать в Берлине, что заключит мир с Портою самостоятельно, когда найдет это нужным, и на условиях, которые сама укажет туркам.

Для поддержания в случае чего притязаний Герцберга прусские вооруженные силы были распределены следующим образом: один сорокатысячный корпус был направлен к восточной границе королевства для вторжения в Лифляндию, а другой, тоже сорокатысячный, двинулся в Силезию, к границам Галиции, в виде угрозы владениям Австрии. Кроме того, имелась резервная армия в сто тысяч человек для подкрепления, сообразно обстоятельствам, обоих этих корпусов.

В Польше не подозревали о своекорыстных соображениях пруссаков. Стараниями посланника Бухгольца там образовалась прусская партия, мечтавшая о великодержавной роли для Польши. Полякам сулили Белоруссию и Киев, и Польша, отвергнув предложенный ей Россиею союз заключила союзный договор с Пруссией. Это было особенно важно для России, потому что Польша находилась в тылу русской армии, действовавшей против турок на Дунае.

Австрия была озабочена восстанием в австрийских Нидерландах и волнениями в Венгрии. Действия же ее против турков были неудачны. Пользуясь этим, Пруссия старалась сеять раздор между союзниками, то есть Австрией и Россиею.

— Что взяли, оставши от нас и соединившись с Австрией? — говорили в Берлине русскому посланнику Нессельроде. — Если бы были с нами, то получили бы все. И теперь, если будете с нами, то все получите.

В другой раз Герцберг говорил:

— Если бы положились на нас, то Крым и Очаков были бы ваши.

Екатерина на донесения Нессельроде об этом ответила на полях: «Зазнались совершенно».

Потемкину она написала:

«Каковы цесарцы (то есть австрийцы) ни были бы и какова ни есть от них тягость, но она будет несравненно

менее всегда, нежели прусская, которая сопряжена со всем тем, что в свете может быть придумано поносным и несносным. Мы пруссаков ласкаем, но каково на сердце терпеть их грубости и ругательством наполненные слова и дела!»

В одной тогдашней записке императрицы находятся строки:

«Молю Всевышнего, да отмстит пруссаку гордость. В 1762 году я его дядюшке возвратила Пруссию и часть Нормандии, что не исчезнет в моей памяти. Не забуду и то, что двух наших союзников он же привел в недействие, что со врагами нашими заключил союз, что шведам давал денег и что с нами имел грубые и неприлично повелительные переписки. Будет на нашу улицу праздник авось либо».

Союзник Екатерины, Иосиф II, скончался 9 февраля 1790 года. Государыня считала это событие тяжелым ударом для себя. Леопольд II, брат Иосифа и его преемник на австрийском престоле, не разделял чувство своего предшественника к России, и с его воцарением нам приходилось надеяться исключительно на свои силы. Опасность со стороны Пруссии и Польши заставила Россию держать против турок лишь самое необходимое количество войск, а большую часть их иметь наготове против нового, более серьезного врага. Против Польши и Пруссии было выставлено нами тридцать шесть тысяч, составлявших так называемый «кор д'арме», или главный корпус, под начальством князя Репнина. Против же турок действовало всего два корпуса: один — под начальством графа Суворова Рымникского (около двенадцати тысяч человек) и другой — Меллер-Закомельского, в девять тысяч. Всеми силами командовал генерал-фельдмаршал князь Потемкин Таврический.

Побуждаемая Пруссией Порты напрягла все усилия для ведения войны. Султан Селим, его родственники и все знатные турки отдали свое серебро на чеканку монеты, все мужчины от двадцати- до тридцатилетнего возраста призывались под знамена.

План турок состоял в том, чтобы открыть наступление на Кавказ сорокатысячным корпусом трехбунчужного паши, сделать сильный десант в Крыму с помощью флота в сорок линейных кораблей, а на Дунае ограничиться оборонительными действиями. Для этого дунайские крепости Килия, Исакача, Тульча и Браилова были заняты сильными гарнизонами. В Измаиле же, самом укрепленном оплоте турок на Дунае, была сосредоточена целая армия в тридцать тысяч человек под начальством прославленного своею храбростью престарелого Мехмета-паша.

Киля, Исака и Тульча сравнительно легко сдались нашим войскам. Не то было с Измаилом. Тут в конце ноября 1790 года собралось до двадцати пяти тысяч русских войск, считая в том числе их и иррегулярные.

Русские лагеря стали полукружием верстах в четырех от крепостных верков.

Измаильская крепость лежала на левом берегу килийского рукава Дуная, на склоне отлогой высоты, оканчивающейся у русла Дуная низким, но довольно крутым скатом. Стратегическое значение Измаила было очень велико. Он был узлом многих сходящихся тут путей. В огромной важности Измаила турки убедились еще в первую войну с русскими (1774 г.). Прежде он был обнесен обыкновенною стеною, построенною еще генуэзцами, но с 1774 года турки сильно укрепили его под руководством европейских инженеров. Крепость заключала внутри своих верков такое пространство, которого было достаточно для помещения целой армии. Для сообщения Измаила с окрестностями служило четверо ворот: Царьградские, или Бросские, и Хотинские — на западной и Бендерские и Килийские — на северо-восточной сторонах города.

На предыдущие сдачи малых крепостей султан сильно разгневался и особым фирманом повелел в случае падения Измаила казнить из его гарнизона каждого, где бы он ни был найден впоследствии.

Дела русских под Измаилом шли весьма худо: наступило сырое и холодное время, а согреться можно было только одним топливом — камышом. В продовольствии чувствовался недостаток. Войска постоянно держались настороже из опасения вылазок и не раздевались на ночь. Появились болезни. Бездействие главных начальников производило расслабляющее влияние на людей. Вели только слабую бомбардировку с наивною надеждою, не сдастся ли от этого крепость. Посылали даже к Мехмету-паше с вопросом об этом, но тот отвечал, что не видит, чего бы ему бояться.

Надо было искать выхода. Собрали военный совет, и в решении его было выражено, что против сильной крепости с многочисленным гарнизоном и артиллерией у осаждающих не имеется осадной артиллерии, кроме орудий морской флотилии, а у полевой — всего один комплект снарядов. «По сим затруднениям, — говорилось в постановлении совета, — ежели не быть штурму, то по правилам воинским должно обложение переменить в блокаду, как гарнизон имеет лишь пропитание на полтора месяца; токмо чтоб

потребные части войск, на то определяемые, достаточный провиант, как и довольно дров на каши и обогрение, с прочими для стояния необходимыми выгодами имели». Это значило просто отойти от крепости и ограничиться наблюдением за нею.

II

Проворов и Чигиринский были под Измаилом в составе Воронежского гусарского полка. Путешествие почти через всю Россию к действующей армии, а затем совместная походная жизнь и общие опасности еще более сблизили их друг с другом.

Проворов настолько хорошо знал приятеля, что уже по чисто внешним признакам, по одному взгляду на него мог распознать, в каком настроении тот находится. Поэтому, когда Чигиринский вошел в землянку и повел плечами, не глядя в сторону Проворова, тот сразу увидел, что Ванька не в духе.

— Это ни на что не похоже! — заговорил Чигиринский. — Представь себе, на военном совете постановили отступить, не пытаясь штурмовать Измаил.

Проворов быстро спустил ноги с соломенной койки, на которой лежал, и воскликнул:

— Да не может быть!

— Вот тебе и «не может быть»! Решили, голубчик, — и все тут.

— Не может быть! — повторил Сергей Александрович. — Я слышал, что все войска под Измаилом подчинены уже графу Суворову Рымникскому и что ему послано в Галац приказание прибыть к Измаилу для принятия начальства над осаждающими корпусами.

— Кто тебе это сказал?

— Адъютант генерала Мекноба. Он получил это известие от верного человека из Бендер.

В Бендерах находилась главная квартира командовавшего всеми нашими силами князя Потемкина и отсюда шли все распоряжения, а вместе с тем и все слухи, которые рождались, повторялись и обсуждались на все лады. Всегда так выходило, что, прежде чем явиться официальному приказу, ему предшествовала изустная молва, более или менее верно характеризовавшая событие.

Назначение Суворова, уже покрывшего себя военной славою, под Измаил в качестве главного начальника, ко-

нечно, было бы радостной вестью для осаждающих, если бы оно действительно случилось.

Чигиринский наморщил лоб, подумал и, покачав головой, произнес:

— Нет, едва ли это верно! Будь Суворов назначен к нам, без него не решились бы собрать здесь военный совет и решить отступление! Подождали бы его.

— Между тем в Бендерах говорят об этом вполне положительно, — возразил Проворов.

— Знаешь, это настолько интересно, что стоит разузнать поподробнее. Надо съездить на флотилию Рибаса. Там должны знать.

— Отлично, поедem вместе.

— Мне недосуг. Надо сдать отчетность по эскадрону. Провались она!

Чигиринский командовал эскадронам, и письменная отчетность, как он выражался, «заедала его с корнем».

— Ну хорошо, я один съезжу, — согласился Проворов.

Его и самого интересовали дальнейшие наши действия, то есть уйдем мы из-под Измаила, ничего не сделав, или и впрямь назначен Суворов, и тогда под его начальством нам можно будет показать себя.

Сергей Александрович отправился верхом кружным путем к Дунаю, обтекавшему Измаил с южной стороны. Здесь, замыкая обложение крепости, стояла флотилия наших кораблей под начальством генерал-майора Рибаса, сподвижника и ярого поклонника Суворова. Рибас непосредственно сносился со стоявшим у Галаца Суворовым, и потому в его штабе могло быть известно все, что касалось героя Рымника. К флотилии Рибаса примыкали верные черноморские казаки на своих «дубах», и наша кавалерия имела с ними частые сношения. Кроме того, у Проворова завязалось уже знакомство и на самих кораблях.

Сделав круг, чтобы обогнуть Измаил, Сергей Александрович скоро добрался до черноморских казаков, оставил у них лошадь и на лодке переправился на знакомый корабль.

Здесь о назначении Суворова ничего не знали и считали этот слух вымышленным. Наоборот, уже было официально известно о решении военного совета отступить от Измаила, и Рибас уже отдал приказ по флотилии идти завтра к Галацу. Остальные войска с завтрашнего дня тоже должны были начать передвижения, удаляясь от стен Измаила.

Все это было неутешительно, и Проворов в подавленном настроении стал тянуть крепкий ром, которым угостили его моряки.

Когда он стал собираться назад к себе, на северную сторону, его начали уговаривать остаться, что, мол, куда он поедет на ночь глядя и что ему лучше переночевать на корабле, где все-таки в тысячу раз удобнее, чем в землянке, а завтра чуть свет отправиться на северную сторону.

— Да и с дороги теперь, того и гляди, собьется, — сказал знакомый Проворову офицер. — А кстати, я стою сегодня на вахте и моя койка свободна. Прилягте у меня.

Предложение было соблазнительно, и Проворов поддался уговору.

Очутившись в теплой и очень уютной каютке и растянувшись на мягкой койке, Сергей Александрович почувствовал такое блаженное состояние, что ему жаль было спать. Мысли у него закружились и поплыли куда-то в сторону, и он, не имея возможности сосредоточиться, ощутил чувство, точно плавает в воздухе, как бы качаясь из стороны в сторону. На самом деле корабль слегка покачивало разведенной ветром волной, и на сухопутного человека это производило впечатление.

В соседнюю каюту вошли и стали разговаривать, причем каждое слово доносилось до Проворова вполне ясно.

— Здесь мы можем говорить свободно, — сказал один голос, показавшийся Сергею Александровичу знакомым, — нас никто не услышит.

— О да, вполне, — ответил другой.

— А рядом в каюте никого нет?

— Никого, ее хозяин стоит на вахте, и, по всей вероятности, она заперта.

«Надо бы дать им знать, что я тут и слышу все их разговоры! — пришло в голову Сергею Александровичу. — Кашлянуть, что ли?»

Но в это время незнакомый голос таинственно произнес:

— Я должен сообщить вам о гусарском офицере Воронежского полка, некоем Чигиринском.

«Нет, дудки, — решил Проворов, — если речь идет у них о Чигиринском, — это становится любопытным, и я буду слушать».

— Это — тот, который переведен из гвардии вместе с другим, Проворовым, кажется?

«Где я слышал этот голос?» — соображал между тем Сергей Александрович.

— Да, — подтвердил другой. — Проворов не представляет собою ничего замечательного. Зато Чигиринский — совсем другое, — продолжал голос, — это — замечательно хитрый и умный человек.

— Просто-напросто легкомысленный кутила, и больше ничего.

— Он лишь прикидывается таким, чтобы лучше скрыть свои действия, а на самом деле под личиной его легкомыслия скрывается один из самых серьезных противников братства вольных каменщиков.

— Может ли это быть? Простой прокутившийся гусарский офицер — и вдруг один «из серьезных врагов братства»? Позволю себе думать, что с такими ничтожными людьми братству и считаться нечего.

— Вы не знаете России и русских, доктор, я вам говорю, что Чигиринский только прикидывается простаком, а на самом деле он опаснее, чем кто-либо.

«Да это — доктор Герман, — сообразил Проворов, — ну, конечно, он».

— Чем же он может быть так опасен братству? Когда я приехал в Россию, мне никакого предостережения относительно него дано не было, — проговорил доктор Герман.

В том, что это был именно он, Проворов уже не сомневался.

— Чем он опасен? — повторил другой голос. — Оказывается, что документы, которые вы привезли из Франции русским братьям и передали в великую ложу Астреи...

— Ведь эти документы пропали.

— Вот именно, они пропали из тайного хранилища великой русской ложи совершенно непостижимым способом. Как они исчезли, мы не могли узнать, а между тем важность этих документов вам, конечно, известна.

— Ну еще бы! Там все, относящееся к участию масонов во Французской революции, установлены все их действия в этом отношении.

— И кроме того, весь разработанный план действий масонов в России на многие годы вперед, то есть тщательно разработанный проект того, что делать масонам в России, чтобы в конце концов, не считаясь с отдаленностью будущего достижения цели, привести и Россию тоже к революции и через нее добиться полного утверждения и влияния масонства. Ведь это очень серьезно. Ведь если эти бумаги попадут в руки императрицы, то песня масонов навсегда спета в России.

— А вы уверены, что документы уже не в руках императрицы Екатерины? Последние гонения на масонство заставляют предполагать возможность этого.

— Нет, документы, эти важные для нас документы, находятся сейчас в руках гусара Чигиринского.

— Так вот, значит, чем он опасен? — воскликнул доктор Герман.

— Теперь вы сами видите!

— Но Чигиринский знает о значении этих документов?

— Очевидно, потому что он бережет их сверток как зеницу ока, всегда носит их при себе и никогда не расстаётся с ними.

— Но как же они могли попасть к нему?

— Это непостижимо. Никто не знает как, но факт, что они у него. Это установлено наблюдением. Трехцветный пакет с документами, который вы привезли из Франции и который пропал в ложе Астреи, находится у Чигиринского. Его видели наши братья.

— Странно что-то. Если Чигиринский знает, какие у него документы, то отчего же он не представил их куда следует, а возит с собою? Проще было бы давным-давно передать их государыне.

— Очевидно, он не имел на это времени. Ведь для того, чтобы передать что-либо государыне, нужны время и случай, а это не так-то легко. Чигиринский слишком поспешно был отправлен в действующую армию. Документы, как уже установлено расследованием, пропали как раз накануне его отъезда из Петербурга на юг. Значит, он не имел времени распорядиться с ними иначе, как только взять их с собою, и теперь возит их всегда при себе.

— Ну что ж, если документы у Чигиринского, тогда это с полгоря: надо взять их у него, чего бы это ни стоило, хотя бы ему пришлось заплатить за это жизнью. Но откуда мог взять кутила-гусар такую важную вещь?

— Повторяю вам, этого никто не знает. Даже нельзя найти более или менее правдоподобную догадку относительно этого.

— Значит, участь Чигиринского решена. Документы должны быть отобраны у него, у живого или мертвого.

— Опасаюсь, что живым он не дастся. Придется прибегнуть к крайнему средству.

— Только помните, что лишение человека жизни должно применяться нами лишь в самом крайнем случае, если без этого нельзя обойтись.

— Ну, я думаю, что тут более, чем крайний случай. Итак, вы уполномочиваете нас действовать согласно обстоятельствам? Мы не могли ничего предпринять без вашего разрешения, раз вы нам указаны как старший.

— Само собой разумеется, что без меня вы не вправе были брать на себя такое важное решение. Ведь, как хотите, дело идет о лишении человека жизни!

— Разве нам впервой? И потом, знаете, там, где война и где люди умирают десятками и сотнями, — одним офицером больше или меньше...

«Ну, попадись только ты мне!» — подумал Проворов, не проронив ни одного слова из слышанного разговора масонов.

Сначала он думал выскочить из каюты и немедленно расправиться с доктором Германом и его собеседником, но сейчас же одумался, поняв, что, во-первых, такая расправа на корабле, где он пользовался гостеприимством, совершенно неуместна, а во-вторых, не было никаких данных, что он сможет справиться один против двоих. Не лучше ли поэтому было просто поспешить к Чигиринскому, предупредить его об опасности и вместе с ним обдумать, как действовать дальше?

Проворов выждал, пока доктор Герман и его собеседник, окончив разговор, ушли из соседней каюты, и, притворив дверь, на цыпочках пробрался к вахтенному мостику, где дежурил офицер, в каюте которого он остался было спать, и сказал ему, что лучше поедет к себе, потому что у него сердце не на месте, так как он не знает, что делается там, на северной стороне, и нет ли неприятельской вылазки.

Офицер стал успокаивать Проворова, что на противоположной стороне крепости все тихо, но Сергей Александрович все-таки отбоярился от него и, получив лодку, переправился на берег. Там он нашел у казаков свою лошадь и поскакал во весь дух к расположению полка. Все время в пути он покачивал головою и мысленно произносил про себя: «А каков Чигиринский!»

III

Светало. Проворов ходил по крошечному пространству землянки в таком волнении и беспокойстве, какое ему никогда еще не приходилось испытывать. Он уже давно вернулся с той стороны Измаила, с Дуная, и думал, что найдет Чигиринского или спящим, или занятым писанием отчетов, чтобы кончить их к определенному сроку. Но Ваньки не было. Вестовой, подававший Чигиринскому лошадь, доложил Проворову, что тот уехал вскоре после него, а куда — неизвестно.

Сергей Александрович терялся в предположениях, и ему уже казалось, что его приятель вовсе не вернется, что злоумышление, о котором он случайно узнал из разговора на корабле, уже совершено и Чигиринского нет в живых, а важные для масонов документы уже в их руках.

Наконец, когда уже совсем рассвело, у землянки послышался топот лошадиных копыт, и Проворов, высунувшись из двери, увидел Чигиринского, соскакивающего с седла, и воскликнул:

— Наконец-то ты! Я тут тебя жду не дождусь, просто вымотался весь... С тобой, брат, ничего не случилось?

Чигиринский вошел в землянку, тщательно запер дверь и пристально взглянул на Проворова при свете глиняной лампы с плавающим в зеленом масле фитилем. Он был очень серьезен и бледен.

— А я думал, что ты останешься ночевать на корабле, — вместо ответа сказал он приятелю.

— Я было хотел, но, представь себе, что я узнал! — И Сергей Александрович, торопясь, несвязно и поспешно рассказал все, что произошло с ним. — Ты можешь себе представить, что было со мною, когда я приехал сюда и не застал тебя. Всю остальную ночь до самого рассвета напролет я не спал — все тебя ждал.

— Что ж, ты думаешь, что господа масоны так уж быстры в своих действиях: сейчас решили покончить со мною и сейчас же привели это в исполнение? — усмехнулся Чигиринский. — Авось проживем еще!

— Да я ничего определенного не думал, но все это так странно и неожиданно. Ты — и вдруг масонские интриги! И откуда ты взял эти документы, как они к тебе попали и отчего я ничего не знал об этом?

— А ты уверен, что эти документы действительно у меня?

— Да как же, если они говорят?

— Мало ли что могут говорить масоны? Известно, они — фантасты.

— Но ведь они говорили, что путем «наблюдения» за тобой они установили, что документы у тебя. Ведь это значит, что за нами наблюдают, что мы и шага не можем сделать без их глаза.

— Это ты рассуждаешь правильно. Но, раз мы так или иначе соприкоснулись с масонами, нет ничего удивительного, что они не оставляют нас своими милостями. Ведь и тебя они старались допечь в Петербурге, но у них ничего не вышло из этого, а, наоборот, обстоятельства сложились

в твою же пользу. По крайней мере, ты не жалеешь, что попал на настоящее дело, то есть в действующую армию?

— Конечно, не жалею и очень рад походной жизни, хотя...

Чигиринский нахмурился.

— Хотя — что? — переспросил он.

— Хотя потерял надежду видеть ее, мою принцессу.

— А-а, ты не забыл еще о ней?

— Да ты с ума сошел, Чигиринский! Разве я могу забыть о ней? Разве можно забыть о ней? Мне — и вдруг забыть о ней! Да это значило бы расстаться с жизнью!

— А я, признаюсь, полагал, что увлечение ею прошло, что ты и не думаешь о своей принцессе. Ведь ты ни разу с самого нашего отъезда из Петербурга не заговорил о ней со мною.

— Да что ж заговаривать? Во-первых, ты всегда относишься к подобным разговорам с насмешкой, а это мне очень неприятно, а во-вторых, уж очень тяжело беречь тяжесть разлуки.

— А во сне, как тогда, ты ее не видишь?

— Нет, как тогда, я ее не видал ни разу, то есть так отчетливо; но зато она просто снится мне часто, и это вознаграждает меня за всю тоску по ней.

— Станный ты человек, Сережка! Влюбился в какое-то сонное видение.

— Как — сонное видение? Я ее видел не только во сне, но и наяву. Прежде всего в Китайской деревне.

— А ты можешь поручиться, что это тоже не был сон?

— А маскарад у Елагина?

— Еще более вероятности, что и маскарад был только продолжением сна, в котором ты видел ее.

— Ну нет, брат! А впрочем, может быть, и вся наша жизнь — сон, от которого мы просыпаемся после смерти.

— И никакого воспоминания о котором у нас не останется.

— Нет, на это я не согласен. Я буду помнить о своей принцессе всегда, сколько раз и где я бы ни просыпался.

— И ты надеешься когда-нибудь встретиться с ней? Да? Ну а если эта надежда не сбудется?

— Ну что ж! Я буду доволен тем, что у меня была эта надежда, и скажу, что полное счастье в человеческой жизни невозможно.

— А встреча с нею разве была бы полным счастьем?

— Ну еще бы! И знаешь, я все-таки жду этой встречи.

— Почему?

— Она мне сама сказала на маскараде у Елагина: последним ее словом было «надейтесь».

— Она это сказала тебе? Но разве ты уверен, что под костюмом Пьеретты была именно она?

— О да! Без всякого сомнения!

— Вот как! Даже без всякого сомнения! Но почему ты так уверен?

— Опять-таки она сама мне оказала себя.

— То есть как это — «оказала»? Назвала себя, что ли?

— Нет, но она сказала мне фразу, которую знали только она и я.

— Вот как! Между вами, значит, уже завелись секреты, известные только вам одним?

— Ну, не совсем секреты, а так...

— Не ожидал я, чтобы ты так, от нескольких встреч и от сонного видения, впечатлился. Ведь это, брат, пахнет тем, что будто ты, друг мой милый, свихнулся. Видал я много вашей братии, пострадавшей от этой самой любовной канители, но такого, как ты, право, не видал.

— Ну вот, ты опять смеяться начинаешь! Поговорим в таком случае лучше о тебе.

IV

— Да что обо мне разговаривать, — сказал Чигиринский, поправляя фитиль в лампе, — разве эта тема интересна? Дело не во мне...

— Как — не в тебе? — воскликнул Проворов. — Позволь! Разве даром я мучился всю ночь? Разве тебе не предстоит необходимость беречься сколь возможно? Ведь я же своими ушами слышал, что собираются убить тебя. Наконец, если у тебя есть документы против масонов, их надо сохранить.

— Зачем?

— Как — зачем? Чтобы передать их в руки правительству, чтобы они не пропали... Надо, чтобы козни масонов были открыты.

— Это — твое мнение?

— Не только мнение, но и глубокое убеждение.

— Так что, если бы со мной что-нибудь случилось, ты взялся бы сохранить эти документы и доставить куда следует?

Проворов задумался на мгновение, а затем серьезно ответил:

— Да, взялся бы.

— Хорошо! Значит, я могу рассчитывать на тебя?

— Постой, но ведь с тобой не должно же ничего случиться, ведь можно принять меры. Прежде подумаем, как обезопасить тебя. Разве нельзя, например, сделать так, чтобы масоны уверились, что у тебя нет никаких документов, что это — просто сказки и что ты им ничем не опасен?

— План недурен как идея, но дело в том, что вольные каменщики хитрее, чем ты думаешь, и не так-то легко обмануть их.

— Значит, ты в самом деле опасен им?

— Да.

— Эти документы действительно у тебя? Откуда же ты достал их?

— Случайно. Они ко мне попали... Ну да не все ли тебе равно?.. Есть — и конец! Ты только помни, что обещал мне в случае чего доставить их по назначению.

В это время на дворе стояло уже совсем утро, денщик, взятый в качестве переводчика для сношений с местным населением из молдаван, принес горячий сбитень и кучку солдатских сухарей на деревянной тарелке.

— Вот кстати, — обрадовался Проворов, — после бессонной ночи славно выпить горячего и поглотить хоть сухарь. — И он протянул руку к чайнику, а другою взял с тарелки сухарь.

— Что ты делаешь? погоди! — остановил его Чигиринский и, выхватив у товарища сухарь, спрятал его в карман, а затем, захватив еще несколько сухарей, сказал Проворову: — Пойдем, посмотрим чистку лошадей.

— Дай хоть глоток выпить.

— Поспеешь... потом... иди!

Проворов сообразил, что Чигиринский, очевидно, имеет свои причины поступать так, и последовал за ним, хотя не понимал, зачем это было нужно.

Они вышли из землянки.

Лагерь просыпался, и военный день начался: привязанных к коновязям лошадей сводили уже на водопой и теперь чистили. Собаки, считающиеся у мусульман нечистыми животными и презираемые ими, прикармливались в нашем лагере солдатами, а то и так бродили, поедая всякие отбросы. Чигиринский кинул первой попавшейся собаке взятый им с собою сухарь. Она жадно набросилась на него, куснула раза два и проглотила, почти не разжевав, затем завизжала, завертелась, упала, вытянулась и издохла.

— Сильнодействующий яд! — сказал Чигиринский. — Я так и думал.

Проворов смотрел, разинув рот, и не верил своим глазам.

— И этот яд предназначался нам? — проговорил он.

— А то кому же еще? Господа масоны уже имели, значит, время принять свои меры.

— Но, послушай, ведь нам теперь ничего нельзя есть: ведь это становится серьезно.

— Да, более или менее серьезно, но все-таки сбитня мы напьемся.

— Приходится сказать, я и съел бы чего-нибудь с удовольствием.

— И съедем... Вот хотя бы у Сидоренко. Пойдем к нему в землянку! У него мы можем есть и пить в безопасности.

Сидоренко был командиром соседнего эскадрона, и у него тоже была землянка, хотя и не такая «роскошная», как у Чигиринского с товарищем.

Мысль пойти поесть к Сидоренко показалась Проворову гениальной.

В землянке у Сидоренко было столько народу, что для того, чтобы впустить новых гостей, пришлось двум офицерам выйти.

Угощение, стоявшее на столе, было из ряда вон выходящим. Тут были ветчина, хлеб, водка, сельдь, малороссийская колбаса, соленые огурцы. Всего этого давно уже не было под Измаилом, так как провизия давно иссякла и приходилось пробавляться солдатскими сухарями.

Проголодавшийся Проворов не заставил повторять приглашение и немедленно принялся за еду, но Чигиринский потребовал объяснения.

— Сидоренко, откуда у тебя такое благополучие?

— Как — откуда? Первый маркигант уже прибыл.

— Какой маркигант?

— Как, да ты, верно, ничего не знаешь? Ведь Суворов назначен командующим всеми силами под Измаилом.

— Это и мы слышали, только едва ли это верно: ведь мы отступаем.

— Нет, брат, с Суворовым не отступают; уж где Суворов, там отступления быть не может.

— Да разве он здесь?

— Здесь. Сегодня ночью верхом прискакал один с казак... прямо из-под Галаца. А утром оттуда явился первый маркигант с провизией. Я перехватил его раньше других — кушай на здоровье.

— Так Суворов с нами?

- С нами, брат, ура!
- Ура-а-а!
- И войска идут за ним.
- Значит, Измаил возьмем!
- Возьмем. Ура!

V

Суворов под Галацем получил предписание и собственноручное письмо от светлейшего, предоставлявшего ему полную свободу действий под Измаилом с подчинением ему всех находившихся там войск и генералов. Получив такое предписание, давшее ему неограниченные полномочия, Суворов, не медля ни минуты, отправил из-под Галаца из своего корпуса все, что можно было, войска и приказал своим маркитантам тотчас же отправиться под Измаил с провизией, а сам поскакал. Еще с дороги он прислал приказ о возвращении войск, уже начавших отступать.

Из числа войск, находившихся под Галацем, Суворов направил к Измаилу свой любимый, недавно им сформированный Фанагорийский гренадерский полк, двести казаков и охотников Апшеронского мушкетерского полка с тридцатью осадными лестницами и тысячью фашинов. Поручив команду над оставшимися полками под Галацем князю Голицыну, сам он поехал с конвоем из сорока казаков под Измаил, до которого от Галаца было около ста верст. Но вскоре нетерпеливый вождь оставил свой конвой и поскакал с удвоенною скоростью в сопровождении всего лишь одного казака.

В ночь на 2 декабря 1790 года Суворов появился под Измаилом, и войска сразу оживились, повеселели и почувствовали бодрость. По всему лагерю уже шло ликование, так как состоять под начальством Суворова было само по себе как бы боевым отличием.

В землянке Сидоренко шумно справляли праздник по случаю прибытия Суворова.

— Где ж вы пропадали, что ничего не знаете? — спрашивали у Чигиринского с Проворовым.

Но ни тот, ни другой, конечно, не объясняли, почему они сидели, забившись в свою землянку, и никого и ничего не видели. Наевшись и разделив общую радость и прокричав еще и еще раз «ура!», они оставили гостеприимную землянку, чтобы уступить в ней место вновь прибывшим офицерам.

— Знаешь, о чем я все думаю? — сказал Проворов, как только они остались вдвоем, — ведь, значит, этот денщик-молдаванин отравил сухари... вот негодай!

— Нет, — ответил Чигиринский, — я думаю, ты ошибаешься. Тут дело сложнее, и денщик не виноват. Он и сам не знал, что подает нам.

— Но во всяком случае это — дело масонских рук.

— И очень грубое, как, впрочем, и все, что они делают.

— Грубое или нет, а все-таки они действуют, и в достаточной степени поспешно. Что же мы будем делать, чтобы обезопасить себя?

— Да ничего. Будем жить, то есть постараемся быть живы. А главное, что теперь предстоит нам делать, это — брать вместе с Суворовым Измаил.

Так, разговаривая, они дошли до своей землянки. Первым отворил дверь в нее Проворов и, отшатнувшись, сейчас же захлопнул ее.

— Посмотри, — обернулся он к Чигиринскому, — я говорю тебе, что молдаванин — негодай: он преспокойно растянулся на твоей койке и дрыхнет, точно нас уже нет на свете, и он тут — полный хозяин!

— погоди, — стал было останавливать его Чигиринский, но Проворов не слушал и снова юркнул в землянку.

Войдя тоже туда, Чигиринский уже застал его за тем, что он безжалостно тряс за плечо лежавшего на койке денщика-молдаванина. Последний мотался в руках Проворова из стороны в сторону, не подавая признаков жизни.

— Да, кажется, он умер! — в ужасе воскликнул Сергей Александрович, не оставляя денщика.

— Вот видишь, — сказал Чигиринский, — я был прав, говоря, что бедняга не подозревал, что принес нам отравленное угощение. Видишь? — И он указал на зажатый в пальцах правой руки денщика сухарь.

— Он отравился и умер!

— Опять решение слишком скорое! — улыбнулся Чигиринский. — Пусты! — Он отстранил приятеля и, нагнувшись к молдаванину и положив ему на лоб руку, спросил тихо и очень ласково: — Ты можешь отвечать мне?

Тут Проворов увидел нечто, как ему показалось, сверхъестественное: губы денщика зашевелились, и он, продолжая спать, ответил:

— Да!

— Ты не успел еще отведать сухарей и сбитня?

— Нет.

— Значит, мое приказание тебе заснуть было сделано вовремя.

— О да!

— Ты, значит, не знал, что сухари и сбитень отравлены?

— Нет.

— Но теперь ты видишь это?

— Да! — отвечал сонный.

— А ты можешь увидеть, кто отравил их?

— Нет.

— Постарайся!

На лице молдаванина выступило выражение усилия.

— Не могу, — произнес он.

— Смотри на сухари! Где они лежат?

— На тарелке.

— Кто их положил?

— Я.

— Они еще без яда?

— Да. Несу тарелку и чайник со сбитнем к вам. Меня встречает важный господин.

— А! Что он делает?

— Он спрашивает меня, как пройти к вам. Я ему говорю, что вот несу для вас сухари и сбитень и что он может идти за мной. Он видит, что у меня расстегнута пуговица, и говорит, что в лагерь приехал сам Суворов, что он очень строг, если он увидит мою расстегнутую пуговицу, то велит расстрелять меня, — он такой строгий и так стоит за дисциплину. Я не могу застегнуть пуговицу, у меня в руках чайник и тарелка с сухарями. Важный господин предлагает мне поддержать чайник и сухари — он такой добрый и спасет меня от гнева Суворова, который ходит уже по лагерю. Я даю ему чайник и тарелку и отворачиваюсь, чтобы застегнуть пуговицу.

Лицо денщика вдруг выразило испуг, и он воскликнул:

— Ай, ай, господин, что вы делаете? Вы всыпаете яд в чайник и на сухари... Такой важный господин и делаете так дурно... ах, как дурно!

— Ловко и находчиво было обделано! — проговорил Чигиринский и, снова обращаясь к денщику, спросил его: — Ты можешь сказать, кто этот важный господин?

— Нет.

— Ты его никогда не видел?

— Никогда.

— Посмотри поблизости от нас, его нет теперь в лагере?

— Нет.

— Смотри кругом, хорошенько... Подальше!

— Ах, вот я его вижу! Он идет сюда к вам. Ведь он уже приближается.

— Он на вид спокоен?

— Да.

— Скоро он тут будет?

— Сейчас. Вот он повернул к землянке... он у двери... он подымает руку, чтобы стукнуть...

В дверь раздался осторожный стук.

Проворов невольно вздрогнул. Несмотря на слова сонного денщика, он не верил в возможность этого стука, и последний испугал его.

— Кто там? — спросил Чигиринский.

— Чигиринский, это — вы? — спросили снаружи.

— Да, это — я. А кто спрашивает?

— Камер-юнкер Тротото.

VI

Чигиринский быстро отворил дверь землянки и очутился лицом к лицу с камер-юнкером Тротото.

— Ах, моя радость! — немедленно всплеснул руками тот. — Ну как я рад, что вижу вас в добром здравии! Вот поистине праздник для души! Ах, и вы, душа моя! — обернулся он в сторону Проворова. — Вы тоже тут? Ну как я рад!.. Вы, конечно, слышали, что лучший наш полководец Александр Васильевич Суворов принял начальство над войсками под Измаилом и уже прибыл сюда. Вот радость, не правда ли, радость моя?..

— Вы меня простите, Артур Эсперович, — произнес несколько строго Чигиринский, — но у нас тут мертвый.

— Что, — закричал Тротото, — где мертвый, какой мертвый? Вот этот brave гусар, лежащий на этой койке? — И он не без брезгливости показал на неподвижно лежащего и погруженного в оцепенение денщика-молдаванина.

— Да, вот этот гусар, — подтвердил Чигиринский.

— Убит?

— Нет, отравлен.

Камер-юнкера Тротото передернуло. Как он ни привык владеть собой, но, видимо, неожиданная решимость Чигиринского поразила его.

— Ах, моя радость! — проговорил он, отступив шаг назад. — Но почему же вы думаете, что он отравлен?

— Потому что я сделал опыт: бросил один сухарь собаке, и она моментально издохла, как только проглотила его.

Тротото вдруг преподленько хихикнул и уверенно протянул:

— Я думаю, это турки отравляют русские сухари. А это был ваш денщик?

— Да, это был мой денщик.

— Ну, тогда я не буду мешать вам. А знаете, раз вы остались теперь без прислуги, не придете ли обедать к нам на бригадину: все будут очень рады. Приходите, у нас много иностранцев. Все жаждут боя. Приходите, радость моя! Рибас дал нам помещение на одной из бригадин, и у нас там прекрасно. Вы не пожалеете. Дайте слово, что придете, согласитесь! Лучше, чем питаться здесь отравленными турками сухарями, прийти пообедать на бригадину.

— О, благодарю вас, — горячо произнес Чигиринский, — мы непременно придем на бригадину сегодня же.

— Так до скорого свидания, моя радость... ждем! — И Тротото, послав воздушный поцелуй, затворил дверь.

— Что ты делаешь? Ведь он нас зовет обедать опять для того, чтобы отравить, а ты соглашаешься? — воскликнул Проворов.

— Конечно, никто из нас не пойдет к нему обедать. Надо же было как-нибудь отделаться от этого господина. Ну и шкура же у него! Ведь не поморщился, когда я сказал ему о яде!

— Все это так невероятно и неожиданно, что я просто глазам не верю, — пожал плечами Проворов.

— То ли еще бывает? Встань! — приказал Чигиринский сонному денщику.

Тот вскочил и остановился с открытыми, неморгающими глазами.

— Ты проснешься сейчас, — сказал ему Чигиринский, — и забудешь все, что произошло с тобой с тех пор, как ты понес нам сухари и сбитень. — И он дунул в лицо молдаванину.

Тот встряхнулся и как ни в чем не бывало продолжал стоять перед Чигиринским.

— Брось этот сухарь, он воняет чем-то, — приказал ему тот, — и ступай к себе!

Денщик немедленно бросил сухарь и пошел.

— Послушай, — сказал товарищу Проворов, — теперь объясни мне, что все это значит?

— То есть что именно? Объяснить, как попал камер-юнкер Тротото в масоны и стал отравителем, я не могу, но думаю, что это было не особенно сложно для такого человека, как этот Артур Эсперович.

— Нет, я спрашиваю про этот чудодейственный сон молдаванина. Ведь что ж это? Колдун ты, что ли?

— Нет, это кажется волшебством только не знающим, в чем дело, а между тем сила внушения, опыт, который ты видел только что, существует и действует так же просто, как и всякая другая сила. Впрочем, нет, не как всякая другая сила: внушением можно действовать на расстоянии, когда мы ушли отсюда, оставив здесь отравленный сбитень и сухари, я вспомнил, что и тем и другим может соблазниться денщик и, отведав, отравиться. Возвращаться в землянку все равно не имело смысла, потому что мы отошли настолько далеко, что поспеть вовремя было невыносимо. Тогда мне пришло в голову испытать над молдаванином, поддастся ли он на расстоянии моему внушению. Я издал приказал ему заснуть в ту же минуту у меня на койке, и это оказалось вовремя, потому что бедняга как раз уже держал отравленный сухарь, чтобы съесть его. Он заснул и пробыл в состоянии особенного сна до нашего прихода.

— И так можешь заставить спать и слушаться тебя всякого, кого хочешь?

— Нет. Для этого надо, чтобы человек обладал известной впечатлительностью. Всех и каждого я не могу заставить спать.

— Чудеса! Кто бы мог сказать, что ты, Ванька Чигиринский, и вдруг обладаешь такой чудодейственной силой.

— Да и никто не скажет этого, потому что никто, кроме тебя, не знает об этом, а ты, я уверен, сумеешь молчать.

— Я полагаю, что сумею, тем более что в этой силе наш выигрышный козырь. С ним масоны не страшны нам.

— Пожалуй, не страшны, только надо умеючи обращаться — возни много!

— Ну что ж, повозимся. Где, например, мы сегодня будем обедать? Неловко снова идти к Сидоренко.

— Поедим солдатской каши из общего котла.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

С прибытием Суворова под Измаил закипела деятельность. Каждый час был на счету. Войска расположились полукружием верстах в двух от крепости; их фланги упирались в реку, где стояла флотилия, довершавшая обложение.

Несколько дней кряду производились рекогносцировки. Десятого декабря Суворов собрал военный совет, имея в виду воодушевить главных начальников.

Обсуждений и долгих разговоров не было. После нескольких слов о том, что отступление от Измаила будет равно нашему поражению и что нам нужно либо взять город, либо умереть, казак Платов, которому, как младшему в совете, приходилось первому подать голос, громко сказал: «Штурм!» — и все остальные присоединились к нему.

Суворов обнял Платова, а затем перецеловал всех остальных и заключил совет резолюцией:

«Сегодня молиться, завтра учиться, послезавтра — победа либо славная смерть».

Участь Измаила была решена.

На другой день, 10 декабря, с восходом солнца началась подготовка штурма огнем фланговых батарей и судов флотилии.

Непрерывный грохот орудий с нашей и с турецкой сторон действовал на Проворова возбуждающе. Он не чувствовал ног под собою и летал с одного места на другое, готовя эскадрон к ожидавшемуся бою. Он справлялся о состоянии каждой солдатской лошади, осматривал амуницию, пробоval, остро ли отточены сабли, отдавал приказание за приказанием и объяснял солдатам, в чем будет заключаться задача их полка. Они должны были стоять вместе с остальной конницей в резерве за колонною генерала Мекноба, назначенной к штурму большого северного бастиона. Конница предназначалась для того, чтобы на случай вылазки неприятеля из крепости успеть отразить его.

Целый день Проворов был занят таким образом, Чигиринский же оставался в землянке и писал с утра до вечера. Чем он был занят и что писал, Проворов не знал, но только был уверен, что это — не отчетность, так как слишком нелепо было заниматься отчетностью накануне решительного боя.

В ночь на одиннадцатое декабря Суворов ходил от одного бивачного огня к другому и, подходя, спрашивал, какой полк, припоминал минувшие бои, иных узнавал в лицо и называл по имени и всех хвалил, повторяя на разные лады:

— Славные люди, храбрые солдаты. Прежде они делали чудеса, сегодня превзойдут себя. Молодцы!

В этих словах не было ничего особенного, но они действовали магически, и та кучка людей, к которой подходил

Суворов, как бы вырастала, становилась сильнее и получала непреодолимую уверенность в победе. Никто и не думал о том, что, в сущности, взятие Измаила при том гарнизоне, который в нем был, и при наличности тех сил, которыми располагали русские, совершенно немыслимо, так как и по опыту, и по военной теории для овладения крепостью необходимо иметь значительное превосходство в людях, идущих на штурм: им нужно преодолеть не только врага, но и укрепления, за которыми тот прячется. Под Измаилом же русских было гораздо меньше, чем сидевших за его валами турок. Сама же крепость была «без слабых мест», как доносил Суворов Потемкину.

Однако, несмотря на это, уверенность в том, что она будет взята, была непоколебима и увеличивалась с каждым словом, произнесенным Суворовым.

Проворов, сияющий, ворвался в землянку, где Чигиринский все еще писал, и, запыхавшись, проговорил:

— Ты знаешь, сейчас мы говорили с Суворовым.

— Кто это — «вы»?

— Солдаты и офицеры у костра. Мы сидели и грелись... ну, говорили про завтрашний день, разумеется. Понимаешь — велено проверить все карманные часы; штурм ровно в пять часов, пока еще темно, по третьей ракете, понимаешь? Теперь понятно, почему все эти дни перед рассветом пускали в лагере ракеты. Суворов, чтобы не встревожить турок сигнальными ракетами во время штурма, приучал их заранее, пуская ракеты ежедневно.

— Как же ты с Суворовым разговаривал? — спросил Чигиринский.

— Да вот я ж тебе рассказываю. Сидим у костра... завтра штурм в пять часов... ну, обсуждаем. Говорим, что штурм надо бы еще подготовить, еще наддать жару туркам, понимаешь? Ну и вообще разговариваем... Мне надоело слушать, потому что, по-моему, все эти рассуждения зря всегда выходят. Я вскочил и говорю: «Все это — вздор, никаких рассуждений. Мы должны завтра стоять в резерве на случай вылазки неприятеля, и я буду стоять и ждать и желаю одного только, чтобы турки поскорее вылезли, а там, будь их хоть все полчища Магомета, мы ударим на них, сомнем и разобьем вдребезги — вот и все, только пух и перья полетят, чтоб им пусто было!» И только я сказал это, как вдруг сзади мне положили руки на плечи, и слышу я: «Помилуй Бог, хорошо! Молодец, офицер, славный офицер!» Обернулся, а это он сам стоит... Суворов... Я не узнал его, а почувствовал, что это — он. Он тут был как будто

маленький, съежившийся, но руки, пальцы — прямо железные. У меня сердце так и забилося. Не могу тебе передать, что я тут почувствовал. А он уже повернулся и пошел дальше в темноту. И понимаешь, достаточно было только двух-трех его слов, и все ожили. Он только подошел...

— Нет, он не только подошел, он сделал больше, он в н у ш и л вам победу, внушил, что вы должны одержать эту победу, и... мы одержим.

— Значит, по-твоему, он тоже обладает силою внушения?

— Ну, разумеется! Без этой силы ни один полководец обойтись не может, и у Суворова она очень велика. То, что он делает сейчас вот, обходя лагерь от костра к костру и внушая людям победу, — половина успеха; другую половину выполняют его военный гений и русский солдат. Мы победим завтра!

— Победим, Ванька, и будем праздновать с тобою победу.

— Нет, Проворов, погоди, выслушай серьезно! Ты будешь завтра праздновать победу, но обо мне совсем другой разговор.

— Что это значит?

— Все может случиться.

— С тобой?

— Да! Если я завтра буду убит, то вот тебе мое распоряжение: в этой землянке, в углу, вот здесь, я сейчас зарю в вот эту жестянку. — Он показал на стоявшую перед ним на столе жестянку. — В ней будут лежать те документы, о которых ты знаешь. Понял?

— То есть ты хочешь сказать, что если тебя... что, если ты не вернешься, я должен откопать эти документы и доставить их куда следует?

— Совершенно верно! В случае моей смерти я тебе поручаю достать документы. Кроме того, в жестянке лежит тетрадка, которую я только что кончил писать. Это для тебя. Ты можешь прочесть ее и потом уничтожить, чтобы не оставлять лишних улик и вообще не распространять того, что не нужно знать другим.

II

Бивуачные огни остались на своих местах, и костры поддерживались, как будто в лагере ничего особенного не произошло, но на самом деле пехотные части и спешенные,

вооруженные дротиками казаки поползли, соблюдая полную тишину, в глубокой темноте зимней безлунной ночи к укреплениям Измаила, чтобы приблизиться к нему и начать штурм внезапно для турок.

Проворов с эскадрон воронежских гусар под командой Чигиринского стал на место в резерве, сзади колонны генерала Мекноба, уже исчезнувшей в бесшумной темноте. Сергей Александрович вслушивался в окружавший его мрак, и ему казалось, что весь этот мрак шевелится, точно волны ходят кругом. Эскадрон держался смирно. Редко фыркнет лошадь да раздастся кашель.

А там, впереди, чувствуется, что движутся вперед, и берет жуть, доползут ли к сроку достаточно близко, или турки успеют распознать штурм и откроют огонь, чтобы не подпустить.

Время длится. Густой туман, как молоко, спустился на землю, и в его холодной сырости ожидание стало еще более неприятным.

И вдруг Проворову показалось, что все умерло, застыло и перестало действовать. Где Суворов, где Чигиринский, где Сидоренко — теперь ему было безразлично. Но он знал, что она, принцесса, тут, с ним, что душа ее была с ним, а все остальное являлось тщетой и расплывалось в мягком тепле, сменявшем бывший до того времени холодок.

— А? Что? — громко произнес он, просыпаясь от вдруг поднявшегося шума, треска и грохота.

— Начали! Помогите Бог! — сказал Чигиринский, подвезжая. — Ну, Сережка, не посрамите земли русской!

Они пожали друг другу руки и поцеловались.

Проворов пропустил в дремоте сигнальную ракету и очнулся, когда, очевидно, в условленный час грянули орудия стоявшей по ту сторону Измаила на Дунае эскадры. Крепостные батареи стали отвечать.

Крепость кипела огнем и грохотала несмолкаемыми ударами грома, светящиеся снаряды бороздили небо, и клубы освещаемого вспышками дыма тухли и трескались, как бесформенные очертания легендарных чудовищ. Издали, справа, там, где была колонна генерала Ласси, направленная по диспозиции на русские ворота, раздалось «урра-а», и вслед за ним началась трескотня ружей.

Крики перекатились ближе, и «наша», как мысленно называл ее Проворов, колонна, предводимая Мекнобом, ответила криком. Гусары не выдержали и тоже грянули «ура».

— Смирно! — скомандовал Проворов, а самому так и хотелось не только кричать вместе с солдатами, но кинуться в бой туда, где, как было издали видно, вспыхивало пламя, копошились люди у вала, облепляя его, точно муравьи.

Колонне Мекноба приходилось брать обшитое камнем укрепление. Работа была трудная.

Сколько прошло времени, как начался этот ад, Проворов сообразить не мог. Ему казалось, что это было всегда и что так оно и будет, останется навсегда, то есть он будет постоянно слышать грохот и треск и видеть разрывающиеся молнии. Он невольно устремлял взор вперед и жадно впиивался им в то, что происходило на валу. И наших, и турок можно было различать довольно ясно, хотя в общем все это представлялось в виде невообразимой каши. Сознательно, обдуманно, так сказать, и умозаключительно нельзя было сказать, на чьей стороне успех, но чувствовалось всеми, что он будет наш, что мы возьмем его, взяв Измаил.

К Мекнобу потянулись пехотные резервы, видно было, как они перебегали (уже рассвело, и лучи солнца рассеяли туман).

— Наддай, голубчики, наддай! — тихо стонал Проворов, издали следя за рядами, подвигавшимися к месту боя.

Несмотря на то что ему приходилось стоять на месте и сдерживать себя и своих людей в готовности кинуться в любую минуту, он был всем своим существом уже там, с этими вливавшимися в бой новыми рядами. Он видел и пережил вместе с ними то, как они подбежали, как кинулись врассыпную и с победным кликом смешались с массой, барахтавшейся на валу. Толчок свежего, подоспевшего как раз вовремя удара оказал решающее действие: на бастион влезли наши удалцы, турки были смяты, бастион был взят. Победному клику ворвавшихся победителей вторили следовавшие за ними.

К гусарам подскакала группа всадников. Проворов сейчас же увидел впереди Суворова в всегдашнем канифасовом камзоле с зелеными китайчатыми лацканами, который он носил, несмотря на время года, без верхней одежды, только в случае очень сильного мороза заменяя его суконным. Суворов подскакал во весь карьер, круто осадил лошадь перед головным эскадроном и, протянув руку по направлению северного бастиона, только что взятого нами, приказал что-то и поскакал дальше.

От гусар отделились трое и стремительно бросились к бастиону.

— Что такое, что он сказал, что? — стал спрашивать Проворов, но никто не знал, в чем было дело.

Чигиринский подъехал рысью.

— Проворов, — сказал он, — прими от меня начальство над эскадроном. Я вместо подполковника Фриза взял команду дивизионом. Его Суворов послал на бастион, там переранены все батальонные командиры.

«Зачем не меня, не меня послал! — повторял себе Проворов, довольный и радостный выезжая вперед эскадрона. — Впрочем, дойдет и до нас очередь».

Выехав вперед, он мог лучше видеть все раскрывавшееся пред ним пространство. На северном бастионе хозяйничали наши, поворачивая турецкие пушки дулом к неприятелю, но левее, у Бендерских ворот, колонна бригадира Орлова только подошла еще к Талгарарскому укреплению, и часть ее взобралась по приставным лестницам на вал, а другая часть была по эту сторону рва.

«Пора!» — сказал внутренний голос Проворову.

«Куда пора?» — стал соображать он, но в это время Бендерские ворота зашевелились, распахнулись, и целая лавина турок хлынула в ров по направлению спускавшихся туда казаков Орлова.

Однако Проворов со своим эскадроном летел уже им наперерез, увлекая за собою остальной полк. Он не знал, хорошо или дурно он делает, и чувствовал только, что иначе он поступить не мог.

III

— Помилуй Бог, хорошо! — воскликнул Суворов, увидя своевременное движение воронежских гусар.

На подмогу им он немедленно двинул казаков, и два эскадрона Северского карабинерного полка и бегом два батальона Полоцкого мушкетерского. Вылазка была отбита, и турки, отважившиеся на нее, почти все уничтожены, а немногие оставшиеся спаслись, скрывшись в крепости.

Так был охвачен со всех сторон Измаил, и в ранний утренний час его валы были взяты, и неприятель вытеснен из крепостных верков. Но турки все еще превосходили численностью штурмующих, и последним теперь с оружием в руках предстояло брать город, куда отступил неприятель. Каждое здание, каждую улицу, площадь приходилось отбивать врукопашную от врага.

Уже во время боя на валах нами были использованы все резервы, и волей-неволей нужно было довольствоваться силами, какие были. Бросские ворота были открыты казаками, и в них вступили три эскадрона Северского полка, а в Хотинские, отворенные колонною полковника Золотухина, вошло сто тридцать grenадер с тремя полевыми орудиями. В Бендерские ворота вошли воронежские гусары.

Однако Суворов запретил коннице идти внутрь города, пока пехота штыками не очистит ей пути. С ружьями наперевес, с развернутыми знаменами и музыкой двинулись суворовские полки в город. С запада повел их родственник светлейшего, генерал-поручик Павел Потемкин, с севера пошли спешенные казаки Платова, а с востока был Кутузов, с южной — Рибас.

Закипел новый бой.

Узкие улицы были полны турками, из окон каждого дома раздавались выстрелы; стреляли не только мужчины, но и женщины. Кромешный ад усилился начавшимися пожарами.

Около полудня Ласси, первым вошедший на крепостной вал, первым же достиг середины города. Здесь он наткнулся на татар, вооруженных длинными пиками и засевших за стенами армянского монастыря. Ими предводительствовал Максуд-гирей, князь чингисханской крови. Он защищался до последней возможности.

Наконец город был очищен картечью, и к часу дня все главное было сделано. Крепость, тот неприступный Измаил, на который Порты возлагала все свои надежды, пала перед несокрушимой доблестью русского солдата и непобедимым гением Суворова. Немедленно на всех бастионах, где находились пороховые погреба, были поставлены сильные караулы, чтобы турки не могли взорвать их.

Каплан-гирей, брат татарского хана, победитель австрийцев при Журже в 1789 году, сделал попытку отбить Измаил у русских. Собрав несколько тысяч разбежавшихся татар и турок, он повел их на занимавших город русских и напал на черноморских казаков.

Мусульмане кинулись под звуки дикой янычарской музыки, изрубили казаков и отняли у них две пушки. Но два батальона grenадер подоспели на помощь с батальоном лифляндских егерей, и минутный успех турок стоил всем им жизни.

Самое сильное сопротивление оказали турки напоследок в хане, близ Хотинских ворот, куда отступил с северного каменного бастиона сам комендант Измаила Махмет с дву-

мя тысячами отборных янычар. Его атаковал полковник Золотухин с батальоном фанагорийцев. Янычары держались в продолжение двух часов, но были перебиты.

В два часа все колонны пехоты достигли города. Тогда Суворов приказал эскадронам карабинеров и гусар вместе с двумя полками казаков проехать по всем улицам и совершенно очистить их. В четыре часа пополудни победа была завершена — Измаил был покорен.

Комендантом покоренного Измаила Суворов назначил Кутузова, и тот немедленно поставил патрули по всем направлениям. Подбирались убитые, раненым подавалась помощь. Внутри города был открыт огромный госпиталь. Мертвых было столько, что очистить Измаил от трупов удалось лишь через шесть дней. Пленных направляли в Николаев под конвоем казаков, уходивших теперь на зимние квартиры.

Донесение Суворова Потемкину о взятии Измаила было кратко:

«Нет крепче крепости, отчаяннее обороны, как Измаил, падший перед высочайшим троном Ее Императорского Величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю Вашу Светлость».

IV

С той самой минуты, как Проворов выпустил лошадь, всадив ей шпоры в бока, и помчался навстречу выходившим из ворот туркам, делавшим вылазку, он потерял не только сознание времени, но вообще всего окружающего. Схватка с врагом разгорячила его; он махал саблей и рубил направо и налево, забыв о правилах приемов рубки и не отдавая себе отчета, как надо рубить. Движения были размашисты, руками он работал изо всей силы, но руки не устали у него, то есть он, вернее, не знал, устали они или нет, потому что вовсе и не чувствовал их.

И все было великолепно и страшно лихо: великолепно и лихо нес его добрый конь, с которым он чувствовал себя «одним куском», великолепно и лихо рубились наши, и турки тоже рубились великолепно и лихо. Поэтому, когда ряды поредели и уже стало необходимым задерживать в воздухе поднятую саблю, чтобы иметь время подскочить к врагу, стало труднее и, главное, жаль, что эти турки не так уже ловко попадают под удары.

Когда же они бросились назад к воротам, затворили их и завалили камнями так поспешно, что нельзя было проскользнуть внутрь крепости за ними, — стало досадно, зачем приходилось кончать то, что так хорошо шло.

Проворову было решительно все равно, что его воронейцы блестяще отбили вылазку неприятеля, помогли этим колонне Орлова и что благодаря этому Орлов со своими людьми взял крепостной вал. Весь его интерес сосредоточивался на том, что сначала справа показывалась турецкая рожа, потом — слева, и надо было рубить эту турецкую рожу справа, а потом — слева.

Приходилось отъезжать назад, опять к прежним местам. Так было велено через ординарца, и Проворов, отдав приказание, немедленно увлекся тем, чтобы оно было исполнено как можно лучше его эскадроном.

Он собрал людей, выстроил их и повел бодрой рысцой вразвалку, то есть тем аллюром, когда и люди, и лошади имеют вид, что гордятся собою и тем, что вот, мол, как все хорошо они делают.

Отъехав, они несколько раз возвращались к крепостным валам за ранеными и вывозили их, перекинув через седло. По ним стреляли из-за куртин, в особенности из-за той, которая была у Бендерских ворот, но от этого казалось только веселее и, когда приходилось отъезжать в безопасное место, куда не долетали пули, хотелось туда, где было горячее.

Потом Сергей Александрович, стоя опять в резерве, вел очень обстоятельный и подробный спор с Сидоренко о преимуществах конной и пешей службы. Они говорили об этом так страстно, будто вся суть их жизни зависела от решения вопроса, кому лучше на походе — пехотному или конному.

То и дело приходили вести со всего фронта, вести благоприятные. Пора было хоть съесть что-нибудь, но Проворов с Сидоренко долго говорили, не отрываясь и не слушая друг друга.

Когда ворота были открыты и они вошли в Измаил, впрочем, для того лишь, чтобы сейчас же остановиться по ту сторону вала, пока пехота не завладеет улицами крепости, Проворов огляделся и спросил:

— А где же Чигиринский? Кто видел Чигиринского?

Он вспомнил, что его товарищ был назначен дивизионом вместо подполковника Фриза, помнил, что Чигиринский сдал ему командование эскадроном, и они больше не виделись. Никто не мог даже сказать, как и где участвовал Чигиринский в отражении турецкой вылазки. Что он уча-

ствовал в ней, не было сомнения, но никто не мог вспомнить, чтобы видел его во время рубки. Положим, никто никого не мог бы вспомнить в деле (каждый помнил только себя), но Чигиринского нигде не было сейчас, и казалось, что он пропал и раньше. Оставалось предположить, что он упал в самом начале схватки. Раненые были приведены более или менее в известность, но среди них Чигиринского не было.

Проворов забеспокоился, разослал людей с нарочною целью разыскать ротмистра, сам, наконец, ездил, насколько имел возможность отлучиться, но никаких следов Чигиринского не было.

Однако эта тревога о приятеле была поглощена тревогой общего дня, давшего такую смену впечатлений, что масштаб важного и неважного, общего и частного совершенно потерялся, и в конце кондов получилась одна лишь физическая непреодолимая усталость. Проворов клевал в седле носом, безуспешно борясь с одолевавшим его сном. Они уже очистили улицы от турок, они сделали все, они теперь уже не мечтали даже об отдыхе и о той минуте, когда можно будет слезть с лошади, лечь, вытянуться и заснуть. Проворову казалось даже, что этот миг не наступит никогда. И странно! Как только выяснилось несомненное приближение его, то есть как только было получено приказание эскадрону вернуться к своему лагерю, этот миг стал казаться дальше, чем прежде. Но он все же наступил.

«А вдруг я вернусь в землянку, а Чигиринский уже там?» — мелькнуло у Проворова.

Он вернулся в землянку, однако не застал в ней приятеля — она была пуста. И тут, в этой пустой землянке, Сергей Александрович вдруг как-то определенно решил, что с Чигиринским они больше не увидятся.

V

На другой день служили торжественный молебен в присутствии всех войск. После молебна Суворов благодарил войска. Сегодня он опять был обыкновенным, простым человеком. Только когда он подошел к своим фанагорийцам, то на миг стал светлый, радостный, как вчера.

Все ликовали и радовались. Победа была совершенная и тем более значительная, чем труднее она досталась. Не было сомнения, что теперь турки будут просить мира. Войскам предстояли спокойные зимние квартиры и возмож-

ность хорошего отдыха, а главное — сознание блестяще исполненного долга поднимало настроение.

Проворов, увлеченный общим подъемом, не мог не чувствовать себя по-праздничному.

Во время молебна и после него произошел целый ряд счастливых встреч. Многие, которых считали пропавшими, оказались живы и здоровы и появлялись, к радости и удовольствию товарищей. Только не было Чигиринского. Его не находили ни в числе раненых, ни в числе убитых, и в числе живых он не показывался.

Проворов все-таки ждал и надеялся, пока не приехал к нему вестовой, доложивший, что среди трупов, наполнявших вал у Бендерских ворот, был убитый ротмистр. Узнали его по мундиру и эполетам, лицо же его было обезображено до полной неузнаваемости.

Сергей Александрович и Сидоренко ездили, чтобы посмотреть печальную находку, и видели труп Чигиринского; солдаты на ружьях отнесли его к свежим могилам и предали земле.

Это выбило Проворова из праздничной колеи, и он не мог участвовать в торжестве и генеральной попойке, устроенной офицерами после молебна по случаю одержанной победы. Он ушел в землянку и заперся там, заложив дверь болтом.

В землянке он был один. Он зажег фитиль глиняной лампы и при ее свете с помощью кинжала принялся откапывать зарытую в углу жестянку. Он считал своею обязанностью исполнить волю покойного, совершенно точно сказавшего, что надо было делать в случае его смерти.

Когда Проворов добрался до жестянки, зарытой неглубоко, кинжал стукнул о ее крышку; он не без суеверного трепета ощутил как бы непосредственную связь между ним и умершим Чигиринским. Всего лишь третьего дня ночью последний зарыл эти документы, и вот земля еще не успела утоптаться, а он должен доставать их, как бы протягивая через эту землю руку зарытому в ней товарищу.

В жестянке лежали документы, обернутые в кожу, перевязанные черным шелковым шнурком и запечатанные большой треугольной печатью главной масонской ложи. Проворов вынул их, повертел в руках и спрятал в карман пока, решив потом обдумать, как с ними лучше поступить, чтобы сохранить их.

Под документами лежала тетрадка, написанная рукою Чигиринского. Сергей Александрович взял ее, присел к столу и, развернув, стал читать.

«Меня не будет, когда эти строки попадут тебе для прочтения, — писал Чигиринский, начиная с прямого обращения к приятелю, — и случится это послезавтра, так как я знаю наверное, что после штурма Измаила мы с тобою не увидимся. Прощай, Сережа! Не поминай лихом и верь одному, что вовсе я не был на самом деле таким легкомысленным кутилой, каким притворялся.

А притворялся я потому, что это было единственной моей защитой против масонов: ведь им не было смысла опасаться и преследовать бесшабашного кутящего пропойцу. Я был одет для них броней этого моего кажущегося легкомыслия и жил спокойно, потому что они считали меня ничтожеством, безопасным для них.

Теперь они знают, что ошибались и что я владею губительным для них секретом. Они сделают все возможное, чтобы погубить меня, и мы с тобою больше не увидимся. Сохрани по возможности документы и доставь их куда следует.

Теперь слушай! Самый серьезный и важный завет, следовать которому прошу неотступно, состоит в том, чтобы ты не соблазнялся участием в тайных обществах. Если дело хорошее, честное, то оно не может требовать тайны и не должно скрываться под покровом черных занавесок и под сводами чуть ли не гробовых склепов. В тайных обществах направляющая сила скрыта и неизвестна, и, будучи членом тайного общества, ты не знаешь, чьему делу ты служишь и какая это сила, которой ты повинешься, и куда ведет она. Какие бы заманчивые перспективы ни открывали там, какие бы ни ставили соблазнительные цели, не верь ничему, если ты твердо знаешь, кто именно в конце концов руководит тобою и кому в конечном результате ты содействуешь. И чем соблазнительнее будут предложения и обещания, тем осторожнее относись к ним, чтобы не попасть в ловушку и не стать орудием людей, которые действуют как враги твоей родины. Особенно опасайся вступать в тайные общества открытые, которые будто бы являются противомасонскими. Такие общества, направляемые против масонов, часто учреждаются самими же масонами для того, во-первых, чтобы лучше распознать своих противников, а во-вторых, объединив их в тайное общество, втянуть в губительную историю и запутать в какой-нибудь такой гадости, от которой потом не отделаешься ни пестом, ни крестом. Если же тайное противомасонское общество основано даже людьми, истинно считающими вольных каменщиков вредными для человечества, все-таки в конце

концов туда под видом энергичных деятелей, пользуясь своим опытом тайных организаций, проникают сами же масоны, быстро захватывают власть и ведут сочленов, куда им нужно, а наивные слепцы работают на пользу вольных каменщиков, воображая, что борются против них. Нельзя, желая уничтожить тьму, держать свет под глиняным горшком, нельзя учреждать тайные общества для утверждения правды и истины.

Что же делать? Как же бороться с масонством, если оно в корне своем вредно и идет против России?

Вот в ответе на этот вопрос и заключается главная цель настоящих моих записок, из которых ты увидишь, кто такой и что такое был, собственно, я!»

VI

Проворов низко склонился над рукописью и продолжал читать.

«Вот видишь ли, — читал он дальше исповедь Чигиринского, — для того чтобы противодействовать такому тайному обществу, как масонство, не нужно собираться в отдельные тайные кружки, ибо, во-первых, то, что знают двое или трое, уже перестает быть тайной, а во-вторых, твои сообщники могут легко испортить то, что тобою сделано, или ты можешь напортить им. Единственная и опасная для масонов борьба против них — та, что ведут отдельные люди, о которых они не знают: эти неизвестные им люди, никак не подозреваемые ими, имеют возможность действовать ежеминутно, длительно, постоянно, соображаясь лишь с тем, выгодно ли это может быть вольным каменщикам или нет, и если выгодно, то воздерживаясь от действий, которые клонятся к выгоде масонства. Вот и все. Только такой «заговор» против масонства людей «самих собою», без образования тайных обществ, может быть опасен масонам и действителен против них. Все остальное, все иные виды борьбы уже использованы и известны им и могут служить лишь им на пользу, потому что у них уже выработаны долголетние приемы противодействия. Каждому же единичному усилию они противодействовать не в состоянии, так как, действуя все вместе, они должны напрягать слишком много усилия на сравнительно маленькие нападения, и между тем среди этих отдельных маленьких источников нападения могут попасться весьма опасные силы.

Такой опасной силой был я. Дело в том, что от природы я обладал способностью усыплять нервных людей и затем делать им внушения сообразно моей воле. Как и почему развил я в себе эту способность, не буду тебе описывать, потому что, с одной стороны, это может показаться тебе невероятным, а с другой — в данном случае это знать тебе не необходимо. Достаточно сказать тебе, что при известных обстоятельствах я как бы обладал, например, шапкой-невидимкой. Стоило мне внушить нескольким людям, даже целому собранию их, чтобы они меня не заметили, не видели, и я мог бы входить к ним как бы прикрытый шапкой-невидимкой. Они не подозревали, что я нахожусь в их среде, и говорили все, не стесняясь, а между тем я присутствовал тут, все видел и слышал. Подобным «массовым» внушениям не удивляйся. В Индии факиры производят их, показывая даже фокусы. Бросает, положим, факир вверх веревку, она виснет сама собой в воздухе, и по ней карабкается вверх обезьяна. Все это видят, а между тем веревка, конечно, в воздухе повиснуть не может и, подкинута вверх факиром, падает обратно на землю, так что никакая обезьяна лезть по ней не может, но факир внушает толпе, чтобы она видела лазающую по веревке обезьяну, и та видит.

Обладая силой внушать свою волю сразу целым группам, отдельные личности я подчинял совершенно легко. Большинство из них исполняло все, что я приказывал им, беспрекословно. Вследствие этого мне не нужно было никаких обществ, никаких братств для борьбы против масонства, и я действовал единолично и противопоставлял их хитро обдуманному совместному козням свою единоличную волю без помехи.

Насколько действия мои были успешны, можешь судить по тому, что, несмотря на все старания масонов раскинуть свою сеть по России, несмотря на затрачиваемые ими на это средства, им ничего не удалось достигнуть у нас. Никто не знает и, вероятно, не узнает, что причиной этого был легкомысленный кутила, совершенно несерьезный человек Ванька Чигиринский. Я говорю «никто не узнает», потому что ты должен сохранить это в тайне, ибо болтать тут нечего. Почему мы знаем, сколько еще таких, как я, работает в одиночку, защищая Россию от масонской кабалы? Мешать им излишней болтливостью, давая знать масонам, чтобы они остерегались, конечно, незачем; напротив, надо помочь им.

Одному, в особенности тому, кто владеет, подобно мне, силой внушения, сподручнее управляться без всякого «тай-

ного общества», обыкновенно сводящегося к кукольной комедии переодеваний и нелепых по существу ритуалов.

Организация тайного общества хороша разве для взаимного шпионства и вообще для установления «наблюдения». Да еще дисциплина обыкновенно довольно развита у таких «братств», как масонство. Но скажи, пожалуйста, зачем мне шпионы и наблюдения, если я лично в своей шапке-невидимке могу присутствовать при любом заговоре или, усыпив человека, могу заставить его рассказать все, что он знает и даже что он думает? Пример этому ты видел на денщике-молдаванине, благодаря которому мы узнали, что камер-юнкер Тротото подсыпал яду, чтобы отравить нас. Согласись также, что мне не нужна никакая дисциплина, раз я путем внушения могу приказать почти любому человеку все, что мне вздумается или, вернее, все, что найду нужным и полезным.

Я поставил себе задачей разоблачение масонской деятельности и выполнил это, раздобыв документы, уличающие их, и твердо уверен в том, что эти документы будут переданы государыне или наследнику и сохранятся на все времена в секретном архиве как улика с тем, чтобы навсегда помешать деятельности масонов в России. Теперь, когда ты знаешь все, что касается моей работы на общественном, так сказать, поприще, я считаю долгом сказать тебе о тебе самом. Насколько мне думается, ты уже не так сильно вздыхаешь по той «принцессе», как мы называли ее — предмет твоих мечтаний. Хотя ты и говоришь, что не забыл ее, но на самом деле ты заговаривал о ней реже и, вероятно, вспоминал о ней еще реже, чем до похода. Я вполне понимаю, что в походе быть влюбленным трудно. Но пусть это твое видение, эта твоя принцесса так и останется для тебя «видением». Ведь ты грезил ею во сне. Думай, что это я тебе внушил эту грезу, а на самом деле ее не существует. Или нет, она существует, но только в твоем сне. Может быть, тебе будет тяжело отказаться от мысли, что она существует во плоти, но подумай, ведь зато она всецело принадлежит тебе, и никто другой «обладать» ею не сможет, потому что никто другой не сможет мечтать твоею мечтою. Я внушил тебе представление о принцессе, и пусть так это и останется плодом внушения, мечтою, сном, и пусть она растает и исчезнет вместе с новою открывшейся для тебя деятельной, походной, военной жизнью. Почему знать, может быть (и я почти уверен в этом), ты раньше или позже встретишь на своем пути девушку, которая тебе понравится и которую ты найдешь достойной себя. Не от-

ворачивайся от своего счастья! Будь счастлив по-земному, живи на земле, а мечты оставь сновидениям».

VII

«Нет, он с ума сошел!» — говорил сам с собою Проворов, ходя по маленькому пространству землянки.

Рукопись Чигиринского, только что прочитанная им, лежала на столе, освещенная масляною лампою.

— Нет, он с ума сошел, — повторил он вслух, поворачиваясь. — Как это, чтобы я забыл мою принцессу... нашел другую и был счастлив «по-земному, живя на земле»? Да без нее, без мысли о ней я и жить-то не хочу вовсе! Вот что!.. Он говорит, что внушил мне этакий сон. Но какое имеет он право внушать? Впрочем, я не то... все равно, если даже и внушил... но ведь тогда она не существует... Как же это так?

Проворов почувствовал, что запутался в своих мыслях, сел на койку, оперся локтями о колени и закрыл лицо руками. Он вспомнил, что ведь когда он увидел свою принцессу в первый раз в окне домика Китайской деревни, то сейчас же встретился с Чигиринским. Значит, последний был тут поблизости. Это являлось теперь в связи с полупризнанием (Проворову хотелось верить, что это — лишь «полупризнание»), сделанным в рукописи, весьма знаменательным. И потом, когда он уснул в кресле и увидел принцессу, а она ему во сне сказала, чтобы он приходил к Елагину на маскарад, опять тут же был Чигиринский. Он ведь мог знать о том, что маскарад назначен у Елагина.

«Батюшки! — вспомнил Проворов. — Да ведь костюм-то Пьеро, который мне нужно было надеть, тоже был готов у Чигиринского и пришелся на меня, как будто был сшит по моей мерке, точь-в-точь... Опять тут, значит, были его штуки. Но если это так, то зачем он это делал? Все это так сложно, что и понять ничего нельзя, и сообразить. Если вспомнить все обстоятельства, то, действительно, выходило, будто все было подложено и внушено Чигиринским. Но зачем это было нужно ему?

А слово принцессы: «Надейтесь», — а фраза, которую она повторила о розах на маскараде! — пришло вдруг в голову Проворову, — ведь Чигиринский даже и не знал, что она дала опознать себя этою фразою на маскараде, и даже удивился этому».

Опять новые соображения закружились у него в мыслях, соблазнительно клонившиеся к тому, что его принцесса существует и что он видел ее во плоти, несмотря на признание Чигиринского в рукописи.

«Но зачем это ему было нужно?» — предлагал он себе в сотый раз вопрос и не находил ответа.

В дверь постучали, и так настойчиво и властно, что сразу было видно, что не перестанут стучать, пока не отворят.

— Кто там? — спросил Проворов.

Ответа не было, но стук повторился.

Сергей Александрович поспешно сунул тетрадку назад в жестянку и бросил в разрытый угол землянки плащ, чтобы прикрыть яму и вырытую из нее землю. Затем он подошел к двери и снял болт.

Дверь моментально отворилась, в землянку втерся, не спрашивая разрешения войти, камер-юнкер Тротото. Он был свеж, румян и улыбался.

— Радость моя! — начал он, разводя руками, как будто вместе с Проворовым хотел обнять весь мир. — Я пришел соболезновать вам... Какая утрата, какая ужасная утрата!

— Вы о чем это, собственно? — осведомился Проворов.

— Как о чем? О смерти вашего друга Чигиринского. Подумать только, такой молодой и уже убит! Какая потеря для вас, прелесть моя! Я думаю, ужасно потерять молодого друга. Ведь дружба, сие священное чувство... Ужасно!

Тротото говорил, а глазки его так и бегали кругом; он явно высматривал и хотел найти что-то.

— Что же делать — война! — коротко ответил Проворов.

— О да, — подхватил Тротото, — война! Я всегда говорю, что война есть ужасное явление. Но знаете, моя радость, я ведь к вам пришел по делу. Я пришел к вам по поручению братства масонов. — И Тротото сделал рукою знак, открывавший, что он принадлежит к довольно высокой степени, которой, по статусу, Проворов, как неофит, должен был беспрекословно повиноваться. — Вот видите, мой милый, после смерти вашего друга должны остаться документы. Вы, вероятно, знаете, что он тоже принадлежал к братству вольных каменщиков?

— Кажется.

— Не «кажется», моя радость, а в действительности так: он принадлежал и носил кольцо на руке и треугольник на ленте на груди под камзолом. И вот ему, как масону,

были поручены документы на хранение. Теперь, после его смерти, он должен вернуть их...

— То есть как это — он должен вернуть их, если уже умер?

— Ах, моя радость, это — только игра слов! Я хочу сказать, что теперь, после смерти вашего друга, документы должны быть возвращены... Вы слышали что-нибудь о них?

— Право, я не знаю, что вам ответить: мало ли о каких документах я слышал на своем веку, но если я не знаю, о каких именно вы говорите, то как же вы желаете, чтобы я вам ответил?

— Ваши слова похвально доказывают вашу скромность и ваше искусство в диалектике. Но я вас спрашиваю, известно ли вам, остались ли после смерти вашего друга Чигиринского документы или нет? Если известно и документы у вас в руках — какие бы они ни были, — дайте их мне, я их рассмотрю, и, если это не те, которые нужно, верну их обратно.

— Послушайте, Артур Эсперович, ведь это пахнет насилием.

— Ах, моя радость, теперь нет тут никакого Артура Эсперовича! Пред вами брат-масон и гораздо высшей, чем вы, степени, и вы обязаны повиноваться ему.

— Извините, но я не считаю себя обязанным повиноваться. Ведь я ни в какую степень посвящен не был и никаких обетов не давал. Я был только неофитом.

— О, это — недоразумение! Вы были признаны достойным посвящения, вас испытывал доктор Герман!

— Но за этим испытанием ничего не последовало. Меня никуда не посвящали.

— Ах, какое важное упущение! Но, моя радость, все равно вы и в качестве неофита обязаны повиноваться. Ведь вы же будете посвящены.

— Нет, покорно благодарю!

— Но разве вы не жаждете узнать свет истины?

— Полноте, какая же это истина! Вам нужны какие-то документы, и вы желаете получить их через меня, заставляя повиноваться вам. При чем тут свет истины, скажите, пожалуйста? Тут дело идет о документах, а не об истине.

— Но путем повиновения вы познаете истину.

— Нет, путем моего глупого, извините за выражение, повиновения вы получите только документы, а на каком основании? Только потому, что уговорите меня, как ребенка, играть в масонство. Ты, дескать, — масон, и я — ма-

сон, и потому ты мне повинуйся, и дело с концом. Нет, дудки! Я не так уж глуп.

— Но, моя радость, подобным образом никто никогда не говорил, когда речь заходила о братстве вольных каменщиков.

— Ну вот, а я говорю.

— Но ведь вы косвенно признаете, что документы у вас есть, только вы не желаете отдать их.

— Я не сказал вам, что документы у меня, и не мог сказать, тем более что не знаю, какие именно документы вам нужны.

— Но, моя радость, помните, что вы можете понести наказание за неповиновение. Братья-масоны карают очень сурово за неповиновение.

— Например?

— Например... ну, я не знаю. Ну, для вас может быть навсегда закрыт путь к познанию света истины.

— Но ведь надо еще доказать, что масонство обладает этим светом.

— Но это доказано веками.

— Под спудом, в тайниках лож, из которых масоны боятся выйти на свет... Нет, все это нестрашно и незанятно.

— Но есть вещи более страшные.

— Отравы, кинжал?

— Может быть.

— Послушайте, господин Тротото, вы, кажется, хотите пугать меня смертью, и когда же? Во время войны, в действующей армии, где каждый день грозит смертельная опасность! Право, даже смешно!

— Ну, именно смешно: ведь я, моя радость, пошутил только, ведь я несерьезно говорил... Ну, конечно, все это — вздор. Надо справиться хорошенько: может быть, ваш друг Чигиринский еще при жизни вернул документы, и тогда все хорошо, и нам не о чем заботиться. До свидания! Большое спасибо за очень интересный разговор. До свидания!

Проворов проводил Тротото и, взяв тетрадь, пошел и бросил ее в костер, который разложили солдаты, чтобы греться. Документы, оставленные Чигиринским, он спрятал у себя на груди под камзолом.

«Что бы ни было, а ее я не забуду!» — решил он, глядя на сворачивающиеся в огне листы тетрадки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Часть войск была расквартирована на зиму в Измаиле, остальные полки направились на зимние квартиры в Бессарабию и на юг России. С ними потянулась целая армия лиц, состоявшая из иностранцев, статских, всякого рода авантюристов и искателей приключений, явившихся под Измаил ради сильных ощущений. Многие из них принимали участие в штурме и показали себя героями.

Камер-юнкер Тротото не участвовал в бою, предпочитая оставаться в это время на эскадре Рибаса, на палубе находившейся вне выстрелов бригаантины. Он рассчитывал и вернуться в Россию на эскадре же, но доктор Герман, приехавший под Измаил почти за день до появления Суворова, предложил ему довезти его до Бендер в своей дорожной берлине. Экипаж был удобный, общество доктора приятно, а Бендеры были заманчивы, потому что там жил светлейший Потемкин, проводя время так пышно и весело и в такой роскоши, что разве в Париже можно было найти только что-нибудь подобное. Камер-юнкер Тротото побывал уже в Бендерах при «дворе» Потемкина, и ему очень хотелось снова вернуться туда.

Тротото с доктором Германом хорошо пообедали на восточный манер в Измаиле, наелись баранины, вкусно приправленной чесноком, и запили бутылкой старого венгерского. В покойной берлине ехать было очень приятно, и Артур Эсперович чувствовал себя превосходно.

— Радость моя, — сказал он доктору по-французски, — как хотите, но необходимо эту историю с документами покончить. Ведь эти документы важные... если они попадут в руки русского правительства, тогда я не знаю, что произойдет.

— Хорошо, все это мы знаем. Что же вы намерены делать?

— Ах, моя радость, с этим Чигиринским уже покончено! Теперь надо навсегда покончить с Проворовым. Ведь документы у него, в этом нет сомнения. Конечно, Чигиринский передал их ему. Потому что на Чигиринском, труп которого я нашел и осмотрел, никаких бумаг найдено не было. Он не носил их на себе в последний день, за это я вам ручаюсь. Таким образом, они у Проворова. Да и по разговору его видно было, что они у него. Он лгать еще не умеет и прямо сказать, что доку-

ментов у него нет, не хотел. Но если бы вы слышали, как он дерзко разговаривал со мною, несмотря на то что я сделал ему знак своей степени! Он сказал, что вовсе не желает подчиняться. С такими людьми стесняться нельзя, дисциплина прежде всего!

— Опять вы хотите прибегнуть к крепким мерам?

— Что называют, радость моя, «крепкими мерами»? По-моему, это не более как печальная необходимость!

— Вы уж одного ни в чем не повинного человека чуть не отравили? Помните, денщика-молдаванина.

— Ах, этого бедного малого? Но ведь это был только простой денщик, и больше ничего. А вы откуда знаете эту историю, доктор?

— Пора вам увериться, наконец, мой милейший камер-юнкер, что я всегда знаю все, что мне нужно знать.

— Это очень хорошо, доктор, но, насколько я понимаю, вы против того, чтобы поступить с Проворовым по его заслугам?

— В чем вы его обвиняете?

— В неповиновении высшей степени.

— Так что, неповиновение высшей степени должно наказываться смертью?

— Зачем говорить «наказывать»? Тут дело не в наказании, а просто в том, чтобы устранить вредного нам человека, не желающего подчиняться старшим, и достать документы.

— Берегитесь, чтобы не произнести в таком случае смертного приговора самому себе! Ведь если вы считаете достойным смерти того, кто не повинуется старшей степени...

— Безусловно!

— То вы сами будете подлежать смерти, если ослушаетесь в свою очередь.

— Я ослушаюсь? Но при каких обстоятельствах и кого я ослушаюсь?

— Меня. Вы знаете, что я старше вас в братстве и что вы обязаны повиноваться мне?

— Знаю и повинуюсь.

— Ну так вот, я вам запрещаю трогать Проворова! Мало того, за его жизнь вы ответите собственной жизнью даже в том случае, если будете и непричастны к его смерти.

— Но, моя радость, это же ужасно! А если кто-нибудь другой покусится на него... или он сам сделает такую гадость, что умрет?

— Что делать, камер-юнкер? Постарайтесь, чтобы этого не случилось! Уж теперь ваше дело оберечь его. Вы ответите своей жизнью. Я не шучу.

— Ах, моя радость, я и сам понимаю, что такими вещами не шутят, в особенности среди братьев-масонов! Но неужели жизнь молодого Проворова так дорога для вас?

Доктор неприятно рассмеялся.

— Мой милейший камер-юнкер, имейте в виду, что для меня ни дорогих, ни близких нет. Для меня важно только дело, которому мы служим.

— Но разве дело требует, чтобы Проворов непременно жил?

— Разумеется! Ведь если Чигиринский не носил при себе документов, а куда-то, очевидно, спрятал их, то, по всей вероятности, он научил этой хитрости и Проворова.

— Да, это соображение приемлемо и более или менее правдоподобно.

— Ну а если Проворов спрятал куда-нибудь документы, то, покончив с ним, мы навеки погребем возможность достать их, так как он унесет в лучший мир с собою тайну их местонахождения. Вот тогда за этой тайной и придется немедленно отправить вас в этот мир, авось вы сообщите оттуда, что узнаете.

— А знаете, моя радость, ведь это верно, ведь это очень верно. Надо и вправду сначала выпытать секрет, где документы у Проворова.

— Вот это будет более похоже на дело.

— Но только почему же именно я должен блюсти его жизнь? Нельзя ли поручить это кому-нибудь другому?

— У меня нет, кроме вас, никого свободного под рукою, а вам все равно нечего делать.

— Но где же я его теперь найду?

— Там же, вероятно, где вы хотели его найти, чтобы «кончить» с ним, как вы сказали, — в Бендерах.

— Правда! Резон всегда на вашей стороне, радость моя доктор, ведь Воронежский гусарский полк завтра выступает в Бендеры.

II

Воронежский гусарский полк был послан Потемкиным Суворову, нуждавшемуся под Измаилом в кавалерии, и, выполнив свою задачу, направлялся в Бендеры, где следовало празднество за празднеством по случаю блестящей

победы русского оружия. Погруженный в пышность Потемкин рад был каждой возможности блеснуть роскошью своих пиров (без них ему было скучно) и, конечно, не мог упустить такую благодарную причину, как победа, чтобы не отпраздновать ее достаточным образом. Прибытие и встреча лихого Воронежского полка, геройски показавшего свою доблесть, входило именно в ряд этих торжеств.

Для въезда были устроены арки, молодые девушки бросали цветы и венки, доставленные из оранжерей, играла музыка, и дома были увешаны флагами. Сам светлейший на коне, окруженный блестящей свитой, выехал навстречу полку и, пропустив его церемониальным маршем, благодарил и от своего имени, и от имени государыни. Солдатам был устроен обед в нарочно сколоченном для этого бараке, затынутом материей цветов полка. Офицеры были приглашены к столу светлейшего, у которого вечером, после обеда, должен был состояться бал.

Проворов чувствовал, что у него разбегаются глаза от всего, что его вдруг окружило в Бендерах после более или менее суровых условий боевой жизни. Эти цветы среди зимы, эти красивые молодые восточные лица женщин и девушек, флаги, арки, музыка, блеск Потемкина и его ласковое обращение — все это кружило ему голову и действовало на него опьяняюще. Но это опьянение не было похоже на то, что Сергей Александрович испытывал в бою, где тоже кружилась голова и все мелькало кругом. Там, в бою, было упоение самозабвения, здесь, напротив, как-то особенно чувствовалась нега всего тела в богатых, устланных коврами покоях, теплый воздух которых был пропитан одуряющим запахом восточных курений.

Потемкин казался очень любезным и внимательным хозяином и находил приветливое слово для каждого.

Своею любезностью он, видимо, хотел оттенить досадную сцену, происшедшую между ним и Суворовым, когда победитель Измаила явился к нему в Бендеры. Потемкин поспешил на лестницу, чтобы встретить Суворова, но едва успел спуститься несколько ступеней, как тот взбежал наверх. Они обнялись и несколько раз расцеловались.

— Чем я могу наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич? — спросил Потемкин.

— Ничем, князь, — ответил Суворов, — я — не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и государыни, никто наградить меня не может.

Потемкин побледнел, повернулся и пошел в зал и теперь желал показать, как он умеет быть мил и любезен с людьми, достойными его расположения.

Проворов в числе других был очарован его обхождением и данным им праздником. Он с восторгом обедал и сделал честь кушаньям и винам, охотно танцевал и ухаживал за дамами, которых был целый цветник.

Тут действительно оказывался целый штат, своего рода двор, где все и всё были заняты одной персоной — самым светлейшим. Только и разговора было о том, в каком он сегодня настроении да что он сказал или к кому обратился. Здесь говорили не о погоде, а о расположении духа светлейшего, здесь не было других успехов, кроме милостивого обращения Потемкина, всей обратной стороны всего этого Проворов не разглядел так сразу. Его поразили пышность, блеск, кажущееся веселье и утонченная вежливость. Ему вспомнился Петербург.

Камер-юнкер Тротото чувствовал себя как рыба в воде. Он порхал из зала в зал, из гостиной в гостиную, и всюду у него были знакомые, всем он протягивал руки и неизменно приветствовал всех: «Ах, радость моя!»

Нельзя сказать, чтобы все были одинаково рады ему, но его знали все и встречали улыбкой, не лишенной полунасмешливого снисхождения.

— Ах, моя радость! — раскинул он обе руки перед Проворовым, встретясь с ним.

— Здравствуйте, — поспешно ответил тот на ходу, — простите, я тороплюсь к даме, чтобы танцевать.

— Танцуйте, моя радость, танцуйте!

Найдя Сергея Александровича, Тротото не выпускал уже его с глаз. Он тщательно следил, с кем Проворов танцует и нет ли в зале кого-нибудь, кому он отдал предпочтение. Но, по правде сказать, все танцевавшие женщины и девушки были красивы и молоды одинаково, и Проворов веселился среди них беззаботно и без всякой предвзятой мысли, и танцевал не по выбору, а просто с той дамой, которую ему приходилось случайно приглашать. Тротото никаких выводов и наблюдений сделать не мог.

III

При разъезде по окончании бала на лестнице Тротото опять поймал Проворова и спросил:

— Радость моя, вы что теперь делаете?

— Да вот жду Сидоренко. Мы остановились с ним на одной квартире, так вместе и поедем.

— Ах, моя радость, я спрашиваю, куда вы едете после бала?

— Да домой, конечно. Куда же еще?

— Но, моя радость, кто же едет домой здесь, на Востоке?

— Разве здесь Восток?

— Ну, все равно: полувосток — все равно что Восток; поедем, я вас отвезу. Надо пользоваться, моя радость, молодостью и жизнью и веселиться по местным условиям, иначе страны, посещаемые нами, не принесут нам в смысле путешествий никакой пользы.

Проворов был разгорячен впечатлениями всего сегодняшнего разгула, нервы у него были приподняты, спать не хотелось.

— Ну что ж, все равно, поедемте! — сказал он, как бы мысленно махнув рукой.

Тротото усадил его в берлину, которую, очевидно, одолжил ему на сегодняшний вечер доктор Герман, и они поехали.

Возница из местных жителей, по-видимому, знал, куда ехать. Берлина выехала почти на окраину и остановилась у дома почти восточного характера, с резным балконом, обнесенным сквозною балюстрадой. Эта легкая, красивая, вероятно, летом среди зелени постройка теперь, зимнею ночью, с дувшим из степи холодным северо-восточным ветром, казалась особенно неладною и совершенно не к месту. Но огонек очень приветливо светился в окне, и на трехкратный стук Тротото в дверь она гостеприимно отворилась.

Они вошли в маленькую прихожую, жарко натопленную и устланную циновками. Встретила их старуха в платке с закрытою нижнею частью лица, обменявшаяся с камер-юнкером какими-то, очевидно условными, невнятными словами так, что трудно было разобрать, на каком языке они произнесены. Старуха держала в руке глиняный светильник. Запах одуряющих пряностей охватил Проворова, как только он вступил сюда.

Старуха приподняла занавеску, и Тротото провел Сергея Александровича через темный, низкий проход в комнату, всю обвешенную коврами и шелковыми материями. У стены на полу лежала груда подушек, розовый фонарь сверху разливал мягкий свет.

Тротото с таинственным видом, как бы боясь нарушить торжественность минуты, показал на подушки и сам поместился на них, приглашая Проворова сделать то же самое.

«Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет!» — подумал Сергей Александрович, укладываясь на подушках.

Черный евнух в необыкновенно роскошной одежде принес на маленьком низеньком восточном столике кофе. Раздались звуки зурны, сначала тихие, как будто робкие, но потом делавшиеся все громче и настойчивее. Ткани на стене раздвинулись, и, покачиваясь в такт музыке и мелко перебирая маленькими ножками, шурша шелком и развевая большим кисейным шарфом, показалась турчанка-танцовщица. Танец был ленивый, но вместе с тем необычайно страстный. Все движения турчанки были направлены в сторону Проворова, и видно было, что она танцует только для него одного.

Сначала Сергей Александрович смотрел на нее с любопытством и, кроме любопытства, ничего не ощущал, но потом мало-помалу стал увлекаться. Он приподнялся и, опершись на руку, глядел, не сводя взора, на танцовщицу. До сих пор он только слышал про красоту турецких женщин, но никогда не видел ни одной из них, или если и видел, то это были ненастоящие. А эта была действительно поразительно красива: большие круглые глаза с длинными ресницами, маленький девственно очерченный рот с блестящими, ровными, как жемчуг, зубами и раздувающиеся розовые ноздри.

«Так вот они какие, турецкие женщины! — думал, глядя на нее, Проворов. — Красивы, очень красивы... и эта, вероятно, красивее их всех...»

Танцовщица сделала поворот и умелым, рассчитанным движением с необыкновенной грацией упала на ковер почти совсем рядом с Проворовым. Он оглянулся — возле него камер-юнкера Тротото не было, тот исчез куда-то. Он был с глазу на глаз с красавицей турчанкой. Она была тут и являлась самою действительностью.

«Ну что ж, — подумал Сергей Александрович, — ведь та, моя «настоящая», была только в грезах, в отвлечении, а эта вот тут, и стоит только протянуть к ней руки. Та же недосыгаема. Неужели же мне весь век довольствоваться одной отвлеченностью, одной грезой, сном? Ведь сам Чигиринский написал мне, что это он только внушил мне видение, а тут вот на самом деле».

Турчанка, видя, что ее чары недостаточно подействовали, вскочила и под усилившуюся частушку музыки завер-

телась, закружилась почти с бешеной быстротою, точно с каким-то отчаянием.

Проворова вдруг словно осенила мысль, что само сопоставление того, что происходило сейчас перед ним, с тем, что он называл своей «грезой», было почти кошунственным, — такая разница была между тем и другим.

«Что я, с ума схожу, что ли? — решил он. — Это, должно быть, пряные курения действуют на голову. Да ведь чтобы приблизиться к этой, необходимо забыть мою грезу, проститься с ее чистотою навсегда! А разве это возможно? Ведь проститься с нею — значит потерять жизнь, а потерять жизнь, что же останется?»

Турчанка, закружившись снова, упала на этот раз как бы в полном изнеможении. Проворов поглядел на нее, и ему стало жаль ее.

В самом деле, несчастная! Кто она и что она? Что заставляет ее так вот кружиться перед совсем чужим человеком, которого она видит в первый раз, и сразу, без слов, быть готовой отдаться его близости? Не может быть, чтобы ее толкала на это любовь к деньгам, одна жадность получить плату, может быть, даже высокую: она была слишком молода и слишком наивны были ее усталые, грустные глаза.

Турчанка снова лежала на ковре, совсем близко, возле Проворова. Он поглядел: несомненно, он испытывал к ней одну только жалость. Конечно, целый ряд несчастий и горя привел ее к необходимости так вот отдаваться капризу постороннего, незнакомого ей человека. И чем больше думал он в этом направлении, тем светлее и легче становилось у него на душе и тем дальше становился он от танцовщицы и ближе был к своей грезе. Он протянул руку, коснулся волос турчанки и, отечески-нежно проведя рукою по голове ее, сказал с глубоким чувством сожаления:

— Бедная, бедная!

Она дрогнула, подняла свои длинные, темные ресницы — они дрожали у нее — и, как-то странно рассмеявшись, сказала: «Не понимаю русский!» — а затем убежала.

Из-за занавесок выглянула старуха, испуганная и растерянная, и тотчас же скрылась.

Появившийся вновь через некоторое время Тротото застал Проворова лежащим на подушках и смотрящим перед собою как бы вдаль, совсем далеко от того места, где находился.

— Радость моя, вы сегодня, видно, не в духе? — спросил он, раскидывая, по обыкновению, руками.

— Нет, совсем напротив, — ответил Проворов, чувствующий себя в отличном, как никогда, расположении духа, — но только отвезите меня, пожалуйста, домой!

IV

— Нет, это — какой-то сверхъестественный человек, — сказал в ту же ночь камер-юнкер Тротото доктору Герману, с которым он остановился в одной и той же гостинице, но в разных номерах и который ждал его возвращения, очевидно, чтобы узнать, насколько было успешно предприятие камер-юнкера по отношению к Проворову. — Нет, моя радость, это, право, какой-то сверхъестественный человек! Представьте себе, я после приема у светлейшего посадил его в вашу берлину и отвез к известной старухе, располагающей самыми красивыми женщинами Востока...

— Ну уж и самыми красивыми! — улыбнулся доктор.

— Ну, все равно, одними из самых красивых женщин на всем Востоке... словом, просто прелесть! — Тротото поцеловал кончики пальцев. — И представьте себе, что случилось! — продолжал он. — Господин Проворов остался равнодушен к восточному танцу, с мастерством исполненному ради него и возле него. Расчет мой был, как я думал, безошибочен: я думал, он увлечется танцем и женщиной, — все это было у меня подготовлено, и старуха научила женщину, как и что делать, — и тогда будет в наших руках. Сонного мы его обыщем, и если даже ничего не найдем, то под влиянием страсти он проболтается. Понимаете, страсть ведь — самый сильный рычаг для влияний на человека! И вдруг он не поддался ее очарованию! Я теперь просто теряюсь. Я употребил такое сильное средство, и вдруг оно не подействовало. Это — какой-то сверхъестественный человек!

— Неужели он не поддался искушению? — переспросил доктор.

— Представьте себе, не поддался. Я на его месте давно отдал бы все документы, все, что у меня спросили бы, за обладание этой женщиной, а он и усом не повел.

— Не надо всех судить по себе. Проворов, очевидно, выше той материальной, чисто телесной любви, о которой вы говорите.

— Но, моя радость, разве может быть иная какая-нибудь любовь, кроме телесной? Ведь если женщина красива, то она телом красива, и лицом, а лицо ведь — то же тело.

— Есть духовная красота.
— Ну нет! Какая там ни будь духовная красота, а если с лица мордоворот, то ничего не поделаешь.

— Это вы так думаете, господин камер-юнкер, а такие люди, как Проворов, очевидно, могут любить и существо бестелесное.

— То есть как же это — существо бестелесное?

— Ну, мечту, например, грезу...

— Ерунда! Пустяки! Никогда не поверю, что это возможно. Как? Отказаться от обладания прелестной женщиной ради какой-то бестелесной грезы? Вздор! Не может этого быть! И почему вы знаете, что Проворов отказался ради какой-то там грезы? Может быть, он просто имел какую-нибудь самую простую причину.

— Мой милый камер-юнкер, пора уже вам убедиться, что я всегда знаю все, что мне нужно знать. Но все равно, из всего этого я вывожу одно лишь заключение: вы очень плохо исполнили свою обязанность, и деньги, которые я вам дал на расходы, истрачены совершенно зря.

— Но, моя радость, вы мне поставили невозможные условия, чтобы жизнь этого человека оставалась неприкосновенной...

— И подтверждаю еще раз, и повторяю вам, что вы ответите своей собственной персоной, если с ним случится что-нибудь серьезное. Хороши б мы были, если бы вы с ним предприняли вместо вашего глупого танца нечто смертельное! Поймите, господин Тротото, что если умрет Проворов, то вместе с ним умрет и тайна о том, где он скрыл необходимые нам документы. Ведь тогда нам придется искать их по всему земному шару, и притом наобум.

— Ну хорошо! Если так, если вы меня упрекаете и говорите, что я напрасно истратил только деньги...

— Безусловно, напрасно. Вы видите это по результатам.

— Но я не знал, что Проворов окажется таким.

— Надо было спросить меня.

— Сожалею, что не сделал этого. Но все же я узнаю от Проворова тайну, где спрятаны документы.

— Каким образом?

— Это — мое дело.

— Но вы то же самое говорили и сегодня утром. Вы уверяли, что достанете у Проворова документы, только вам нужны моя берлина и тысяча рублей. Я предоставил вам и то, и другое, и что же? Ничего не вышло, кроме неудачи.

— Но теперь я у вас ничего не спрашиваю, я обойдусь сам.

— Зато я вас спрашиваю теперь, что вы намерены предпринять?

— Я намерен действовать для блага братства масонов и, согласно нашим статутам, никто, кроме великого магистра, не может заставить меня ввиду той степени, в которой я нахожусь, открыть мои намерения, если я нахожу необходимым сохранить их в тайне для блага братства.

— Но вы знаете, что я обладаю высшей степенью, чем вы?

— Все равно я обязан беспрекословно повиноваться только великому магистру.

— Вы за это ответите.

— Я знаю, что могу подвергнуться ответственности, если не докажу, что в деле необходима была тайна даже от брата высшей степени.

— Я приказываю тебе говорить! — произнес повелительно доктор и сделал в воздухе рукою мистический масонский знак.

Тротото понял значение его и воскликнул, склоняясь:

— Вы — великий мастер! Простите, я не подозревал этого, раз вам неужгодно было открыть раньше свое звание знаком.

— Но теперь я открыл и требую повиновения. Что вы намерены предпринять относительно Проворова?

— Достать у него документы.

— Но каким образом?

— Дело в том, мастер, что места здесь дикие и возможны всякие неожиданные происшествия. Тут кругом работают турки-контрабандисты, они же и бандиты. Если поручить им это дело...

— Но вы помните, что вы отвечаете. Но все же я узнаю о Проворове!

— О, будьте покойны, он останется жив, цел и невредим! Его только схватят бандиты, когда он отправится со мною, — я его уговорю, — на прогулку за город, и затем он будет посажен, связанный очень крепко, в уединенное место, и ему не дадут ни есть, ни пить до тех пор, пока он не скажет, где у него спрятаны документы. Вот и все!

— Опять глупость! — вырвалось у доктора, который, казалось, разгневался на этот раз.

— Но почему же глупость? Это средство давно испытано, и не было примера, чтобы оно не подействовало. Когда человек хочет кушать и в особенности пить, тогда он сде-

ляет все, что угодно, лишь бы ему дали кусок хлеба и глоток воды.

— Это глупо! — повторил доктор Герман, — потому что опять основано на расчете чисто телесного, физического свойства. Когда вы поймете, что физическая пытка действительна только против людей с таким складом, как у вас, то есть грубо животным.

— Но, моя радость, мастер, вы ошибаетесь! Я очень деликатного склада.

— И все-таки вся ваша деликатность сводится к чисто животной чувственности. Ваш план нелеп, потому что, во-первых, Проворов не сдастся так легко живым вашим контрабандистам, а во-вторых, нет вероятия, что вы добьетесь от него чего-нибудь физической пыткой, если не добились ничего при помощи пытки нравственной, которую вы ему устроили соблазнительным танцем.

Тротото задумался и после продолжительного молчания развел руками.

— Но в таком случае что же делать? Я уж совершенно не знаю.

Доктор Герман, ходивший в это время по комнате, наконец повернулся к своему собеседнику.

— Надо, — сказал он, — изучить и узнать человека и обстоятельства, относительно которых приходится действовать. Знаете вы Проворова? Изучили вы его характер, привычки?

— Нет, я только бегло знаком с ним и изучать не имел времени.

— Ну, так дайте мне присмотреться к нему, а тогда я вам скажу, что делать.

V

На другой день Проворов получил записку на сильно надушенной бумаге, довольно странного содержания:

«Амур мечет свои стрелы, и сердце бьется, истекая алой кровью. Ежели помыслы Ваши так же чисты, как Ваши поступки, — сие Вам даст право на душевное вознаграждение. Приходите».

Дальше следовал адрес гостиницы и был указан час, когда нужно было постучать у определенного номера.

Гостиница находилась среди города, в людной его части, значит, опасности никакой не предвиделось: Проворову все равно было нечего делать, и он решил пойти.

В определенный час он явился в гостиницу, пропитанную запахом жареного лука и бараньего сала, и, поднявшись в коридор верхнего этажа, постучал в дверь с указанным номером.

«Будь что будет, — подумал он, — во всяком случае это занято».

Подобные записочки и назначения свиданий были очень обычны в то время, и потому Проворова ничуть не удивило полученное им приглашение.

Но когда он, после того как на его стук ответили: «Войдите», — отворил дверь и очутился в низенькой комнатке гостиничного номера, его удивлению не было пределов. Ему стало сразу и смешно, и обидно.

Пред ним восседала на софе в пышном роброне и высокой пудреной прическе фрейлина Малоземова.

— Да, Серж, это — я, — приветствовала она, обмахиваясь веером, улыбаясь, закатывая глаза и кокетливо выставляя ножку на положенную перед нею подушку. — Вы не ожидали видеть меня?

Проворову невольно пришло в голову сравнение этой расфранченной старой девы с той восточной красавицей, которая танцевала перед ним прошлой ночью.

— Нет, решительно не ожидал! — произнес он, не соображая, то ли он говорит, что нужно.

— А между тем вот я, перед вами.

На взгляд Проворова, она постарела еще больше, чем была.

— Н-да, — неопределенно промычал он.

Все, что угодно, но уж Малоземову он никак не думал встретить в Бендерах!

— Для милого дружка семь верст — не околица, — сказала она. — Конечно, я могла бы рассказать вам, что я тут совершенно случайно, что я ехала мимо и вот по дороге заехала... или заблудилась, или вообще что-нибудь в этом роде... Но я, Серж, не умею лгать. А вам... разве я могу лгать? Я говорю вам правду, то есть скажу вам правду, потому что, Серж, я так невинна, что не умею лгать. Я приехала сюда, чтобы видеть вас. Да, чтобы нам встретиться, я сделала этот путь в действующую армию.

Сергею Александровичу стало неловко, и он не знал, что ему надо было сделать или произнести на эту речь.

— Покорно вас благодарю, — сказал он, краснея от того, что сейчас же почувствовал, как это вышло глупо.

— Ах, нет, не благодарите! Не надо слов! — заявила Аглая Ельпидифоровна. — Будет лучше молчать и на-

слаждаться созерцанием... Или нет, — тут же подхватила она, как бы сама себя перебивая, — будем лучше разговаривать. У нас ведь так много что сказать друг другу... Я сделала огромное путешествие, чтобы увидеть вас, и не знала, как и где найду вас. Ах, это было ужасно! Я ехала день и ночь, то есть ехала днем, а ночью ночевала... и не знала даже, живы ли вы... Что я пережила! Это было ужасно. Ну вот, я приехала в Бендеры, где находится двор светлейшего. Здесь я думала разузнать о вас и все прочее. Я положила себе, что, чего бы мне ни стоило, я вас найду, хотя бы под Измаилом, который вы так храбро взяли. И вдруг — представьте себе — какое совпадение: здесь, в Бендерах, я узнаю, что Воронежский гусарский полк стоит именно здесь и что вы тоже тут со своим славным полком. Ведь ваш полк покрыл себя неувядающей славой! Скажите, ваш полк покрыл себя неувядающей славой?

Проворов молчал.

«Как же мне теперь удрать отсюда и отделаться от нее?» — думал он.

А Малозимова между тем продолжала тараторить:

— Ну, конечно, ваш полк покрыл себя славой вместе с вами; я уверена, что вы — герой, что вы ужасно какой герой! Скажите, вы много турок убили?

Сергей Александрович, пожав плечами, пробормотал:

— Право, не знаю.

— А я знаю, что много, наверно много, потому что вы — герой. Ведь я все знаю... я все знаю. Я только вчера приехала, так что не могла быть на приеме у светлейшего, но все знаю. Мне известно, что вас испытывали... как это сказать?... Ну да, восточным соблазном...

— Что-о-о? — удивленно протянул Проворов.

— Ну да, я знаю, что перед вами танцевала красивейшая женщина Востока — нечто вроде одалиски, так, кажется, это называется... и вы не обратили никакого внимания.

Сергея Александровича даже в жар кинуло. Откуда могла знать эта приехавшая только что из Петербурга придворная развалина то, что случилось с ним вчера? На миг у него даже мелькнуло сомнение, уж не эта ли фрейлина встречала его в виде вчерашней старухи со светильником? Но это показалось настолько несуразным, что он отогнал эту нелепую мысль.

«Очевидно, господин Тротото наболтал что-нибудь, вот и все», — сообразил он, успокаиваясь.

— Да, — продолжала Аглая Ельпидифоровна, — только влюбленный и сильно любящий человек может устоять перед таким соблазном. Мне ведь все известно, я знаю, кого вы любите, — и она, хитро улыбаясь, канальски лукаво взглянула на него из-за веера.

Сергей Александрович сидел как каменный.

— Понимаю. Вы скромны, как всегда. Но, Серж, знайте, что истинная любовь всегда достигнет желаемого... всегда! Сильное чувство вызывает в любимом существе соответствующее... как бы это сказать?... ну, одним словом, и так дальше... словом, вас ждет награда... за вчерашнее мужество или, вернее, доказательство вашей любви к предмету. Я все знаю! Мне известно даже, чего вам следует бояться... Вы знаете, чего вам нужно бояться?

«Знаю, да не скажу, — подумал Проворов. — Прежде всего тебя, матушка!»

— Вам нужно бояться козней ваших врагов, желающих во что бы то ни стало достать у вас документы, которые вы храните.

— Вот оно что! — проговорил Проворов. — О каких документах вы говорите?

— Я вам говорю, что знаю все. И больше всего вам надо бояться камер-юнкера Тротото, который — самый ужасный ваш враг, и доктора Германа, который стоит в этой самой гостинице. Но главным образом камер-юнкер Тротото желает достать у вас документы.

«Нет, значит, это не камер-юнкер разболтал ей. Что за странность?» — удивился Проворов и спросил:

— Откуда вы все это знаете?

— Я вам говорю, что все знаю, то есть все, что касается вас: сердце сердцу весть подает... Вчерашняя восточная пляска была устроена, чтобы, опьянив вас, заставить увлечься страстью, а затем обыскать вас и похитить документы. Должно быть, им очень уж нужны эти документы.

— Послушайте, Аглая Ельпидифоровна! — заговорил Проворов внушительно и серьезно. — То, что вы говорите, очень важно для меня. Поэтому прошу вас сказать, каким образом вы узнали об этих документах и об опасности, грозившей мне? Я вас очень прошу сказать мне: это важно для меня.

— Хорошо, я ни в чем не могу отказать вам — слышите? — ни в чем! Поймите это и сделайте прямой отсюда вывод. Все, что вы потребуете...

— Но я прошу только относительно документов.

— Только это? Хорошо, я расскажу вам. Вот видите, тут дело случая... Понимаете, случаем все-таки руководит Провидение. Так и это было нечто провиденциальное. Вчера я очень устала с дороги... у меня болела голова... неизвестность о вас и прочее... ночью я рассердилась на Нимфодору...

— Кто это — Нимфодора?

— Ах, это — одна женщина... дама... она живет у меня... как это называется? Наперсница или просто приживалка. Их две у меня. Они гадают мне: одна — на картах, другая — на кофейной гуще... в дорогу я взяла одну с собой, ту, которая мне предсказала. Ах, Серж, вы знаете, она предсказала мне, что я буду счастлива!

— Вы говорили, что прогнали Нимфодору ночью?

— Да, прогнала, так как ничего иного не могла сделать; она, вероятно с дороги, храпела, как гром. Поразительно! Так вот, я прогнала ее, она вышла в коридор, но боялась ходить там в темноте в незнакомом месте. Она оделась и вышла на галерею, которая идет вокруг всего дома. Вы представляете себе?

— Да, да, представляю.

В гостинице, по образу всех богатых домов на Востоке, второй этаж был обнесен резной галереей, куда выходили окна из всех комнат. Летом эта галерея являлась постоянным местопребыванием всех приезжающих.

— Нимфодора вышла на галерею, — продолжала Малоземова, — и вдруг видит, из одного окна сквозь щели ставней идет свет! Это показалось ей подозрительным. Она подкралась, почти подползла к окну и припала к щели. У этой Нимфодоры прямо врожденная способность подглядывать и подслушивать. Она припала к щели и все видела и слышала.

— Да что ж именно видела и слышала? — воскликнул Проворов с нетерпением, так что Малоземова вздрогнула.

— Весь разговор доктора Германа с камер-юнкером Тротото, — поспешно пояснила она. — Они говорили по-французски, и хотя Нимфодора плохо понимает, но все-таки понимает, а чего не поняла, то догадалась чутьем... У этой женщины удивительное чутье, она гадает тоже великолепно. Я ей велела сегодня гадать на вас, и она говорит, что вам предстоит счастье, что венец ваших желаний достигнет блаженства, как говорят поэты. Ах, Серж!..

Фрейлина вздохнула, закатила глаза и склонила голову набок. По ее расчету, Проворов должен был в эту минуту

увлечься и сорвать с ее ланит или с уст горячий поцелуй. Но он предпочел спросить:

— Что же еще услышала Нимфодора? Ради Создателя, сообщите мне, потому что ведь это может грозить моей жизни!

— Да, Серж, тут дело идет о вашей жизни.

Аглая Ельпидифоровна передала все содержание разговора доктора с камер-юнкером Тротото и пояснила, что господина Тротото Нимфодора знала еще в Петербурге, а о докторе Германе разузнала сегодня с утра в гостинице.

— Так они желают присмотреться ко мне и затем действовать согласно обстоятельствам! — сказал Проворов. — Ну, хорошо же! Значит, мне надо как можно скорее уезжать и не дать этому доктору возможности составить ясное понятие обо мне и выработать план, как завладеть документами.

— Серж, — продолжала Аглая Ельпидифоровна, — доверие за доверие. Мне ужасно хочется знать, что это за документы у вас, которые так добиваются получить господин камер-юнкер и господин доктор? Вы мне можете сказать?

— Разумеется! — ответил сейчас же Проворов без малейшего колебания. — Эти документы касаются наследства, которое я должен получить со временем. Ну а доктор Герман, очевидно, желает воспрепятствовать этому, чтобы наследство досталось тому лицу, которому он покровительствует.

— Кто же это лицо?

— Не знаю, это — для меня тайна.

— Ну а при чем же тут камер-юнкер?

— А просто помогает доктору за деньги.

— Да, деньги, деньги! — вздохнула Аглая Ельпидифоровна. — Но только как же это так? Я только что приехала, и вдруг вы говорите, что уезжаете... сейчас же?

— Я и без того хотел воспользоваться временем зимних квартир, — пояснил Проворов, — и уже просил отпуска, чтобы съездить в Петербург немного освежиться.

Он и в самом деле подал рапорт об отпуске, как только кампания была закончена и стало известно, что полк идет на зимние квартиры; но в Петербург он ехал для того, чтобы отвезти туда оставленные ему Чигиринским документы. Конечно, он не считал нужным говорить об этом Малоземовой, равно как и посвящать ее в то, что бумаги были масонские. Поэтому он дал ей первое пришедшее в голову объяснение о наследстве.

— Но как же я останусь здесь? — с отчаянием в голосе спросила Аглая Ельпидифоровна.

— Ну, что ж такое, поедемте назад вместе, — предложил вдруг храбро Проворов.

— А в самом деле, — подхватила, обрадовавшись, Малоземова, — у меня дормез очень покойный, и к дороге я уже привыкла, а вы меня будете эскортировать... О, с вами я не буду ничего бояться!

Само собою разумелось, что такая невинная девица, каковою была фрейлина, не могла предложить молодому человеку место в своем экипаже. Но Сергей Александрович и не желал. Сопровождать же в виде защитника госпожи Малоземовой в пути, едучи в отдельном экипаже, он, конечно, мог. Условия светских приличий разрешали это.

VI

Отпуск был получен Проворовым очень легко, и он немедленно принялся за приготовление к отъезду. Фрейлина Малоземова тоже стала собираться. Ее сборы были недолгие, потому что, в сущности, она была еще на пути и, едва приехав в Бендеры, не могла успеть разложить свои сундуки и баулы. Во время этих сборов Проворов неожиданно высказал большую предупредительность по отношению к фрейлине и постоянно виделся с нею, к ее вящему удовольствию. Вследствие этого она, приехав ради него «на край света», с радостью снова готова была сделать только что совершенный ею огромный путь.

Приготовления к отъезду делались по возможности тайне, но тому, кто неусыпно следил за Проворовым, то есть Тротото, стало известно все до малейшей подробности. Камер-юнкер заволновался, кинулся к доктору Герману, но оказалось, что тот неизвестно куда уехал, хотя номер в гостинице оставил за собою, сказав, что скоро вернется.

Наконец, накануне назначенного дня отъезда Проворова и фрейлины Тротото застал доктора у него в комнате.

— Радость моя, что вы делаете! — воскликнул он, вбегая. — Ведь вы обещали следить за молодым человеком и изучить его, чтобы поступить сообразно обстоятельствам, и вдруг исчезаете. А знаете ли, что случилось? Конечно, дела, по которым вы отлучались, вероятно, очень важны и спешны, но все-таки нельзя же так оставлять и это дело, которое тоже очень важно. Вы ведь и не знаете, что случилось, и опоздай вы на один день...

— Ничего еще особенного не случилось, — спокойно проговорил доктор. — Правда, Проворов с фрейлиной Малоземовой уезжает завтра, но ведь он еще не уехал.

— Вы это знаете? — удивленно переспросил Тротото, разводя руками. — Но в таком случае вы все знаете!

— Да больше-то и знать нечего, — улыбнулся доктор, — уезжают, и все тут.

— Но ведь он уезжает, чтобы увезти документы.

— Вот именно. Значит, остается нам рассудить, как он повезет документы, чтобы иметь возможность перехватить их.

— Но как же вы говорите «рассудить»? Разве это можно рассудить? Это нужно узнать, попытаться, а до завтра это сделать нельзя — времени осталось слишком мало.

— Времени у нас осталось больше, чем нужно. Все это может быть решено нами немедленно, только надо рассудить логически. Как вы думаете, почему такой молодой человек, как Проворов, вдруг вызвался ехать со старой фрейлиной?

— Не знаю, этого вопроса я не задавал себе. Да, это действительно странно. Ведь если бы почтенная Аглая Ельпидифоровна слыла за богатую женщину, то было бы ясно, что он увивается за ее деньгами; но, насколько известно, никто ее богатую не считает. Или, может быть, у него извращенный вкус, и он просто влюбился в нее?

— В эту Аглаю Ельпидифоровну?!

— Да, это невозможно, — подумав, согласился Тротото. — Невозможно, чтобы он обратил внимание на девицу Малоземову, после того как отверг такую прелестную восточную женщину, как та, которая танцевала перед ним.

— Так, значит, почему же он собирается с нею в дорогу?

— Не знаю и ума не приложу.

— Да потому, очевидно, что хочет спрятать у нее свои документы. Он рассчитывает, что за ним могут следить, что в один прекрасный день могут обокрасть его, а фрейлина Малоземова довезет документы в сохранности, потому что никто не догадается, что они у нее... Поняли?

— Понял. Знаете, моя радость, это гениально! И вот это вы сообразили такую комбинацию? Мне бы никогда не пришло это в голову. Но и Проворов хитер. Что же теперь вы думаете делать?

— Нужно обратить главное внимание во время их путешествия на вещи госпожи Малоземовой. Документы будут в ее вещах.

— Да, это очевидно. Но только, знаете, этот Проворов хитер лишь на первый взгляд, а если разобрать, то он действует неосмотрительно.

— Почему?

— Да как же, моя радость! Согласитесь, если он посвящает в тайну такую особу, как Аглая Ельпидифоровна, то это очень неосмотрительно с его стороны. Она не утерпит, чтобы не сказать хотя бы своей приживалке, как ее там зовут...

— Нимфодорой.

— Вы и это уже знаете?... Поразительно! А если узнает Нимфодора, тогда узнает весь свет. Разве так можно держать секреты?

— Но я думаю, что ни Нимфодора, ни сама Аглая Ельпидифоровна ничего не будут знать.

— Как же это так? Вот я опять становлюсь в тупик, моя радость.

— Насколько я могу судить о Проворове, он, вероятно, рассчитывает найти возможность подсунуть пакет с бумагами в вещи Малоземовой так, чтобы она сама этого не знала, куда-нибудь в ее дормез или в один из баулов, и затем следить за целостью тайника, что ему легко будет сделать, так как он неотлучно будет следовать за экипажем старой фрейлины.

— Значит, нужно будет следовать за ними и перехватить пакет?

— Нет, мы поедем впереди. Они выедут завтра, а моя берлина готова везти нас сегодня.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Тротото выехал вместе с доктором Германом в его берлине из Бендер по дороге к северу.

Камер-юнкер не понимал хорошенько, зачем они выехали впереди тех, за кем им надобно было следить. Он очень боялся, что они попадут впросак и что Проворов с Малоземовой, узнав, что они выехали, изменят свои планы и останутся в Бендерах. Но как ему ни хотелось получить ответ на мучившие его сомнения, он боялся надоедать доктору с вечными вопросами и требованиями объяснений.

К тому же высокая степень великого мастера, которою был облечен доктор, уверенность, с которою тот говорил и

делал все, и его соображения событий, казавшиеся Артуру Эсперовичу гениальными, внушили ему такую веру в Германа, что он готов был беспрекословно подчиняться ему. Вот только любопытство мучило камер-юнкера, но он знал, что доктор Герман не любил любопытных.

Они ехали без всяких объяснений на север в течение целых суток, покинув Бендеры утром, и к вечеру второго дня свернули с большой степной дороги в сторону. Доктор продолжал хранить молчание. Тротото боялся спрашивать его.

Берлина, прокативши недолго по проселку, въехала на большой двор господской усадьбы, обнесенной со всех сторон каменной стеной с бойницами и башнями по углам. Длинное одноэтажное, тоже, видно, приспособленное к защите на случай вооруженного нападения здание служило господским домом. Ворота распахнулись перед берлиной, и двое вооруженных с головы до ног людей в восточном одеянии затворили их за нею. Экипаж подъехал к крыльцу, но никто не вышел навстречу.

Доктор сам довольно легко отворил дверцу и с ловкостью молодого человека спрыгнул на землю, вовсе не заботясь о том, что некому было откинуть подножку. Спрыгнув, он помог камер-юнкеру тоже сойти.

Тротото последовал за доктором, который шел, видимо, отлично зная дорогу. Через просторные сени они вошли в большую прихожую, где не было ни души. Здесь они сняли верхнее платье, затем миновали длинную горницу с колоннами, очевидно зал, потом прошли через две гостиные: одну — в чисто французском стиле «помпадур», другую — в восточном вкусе, и очутились в столовой. Комнаты были хорошо натоплены и освещены масляными лампами.

В столовой по стенам на полках стояла богатая серебряная посуда. Большой камин в виде массивного очага приветливо пылал, а против камина был накрытый на два прибора и уставленный всякими яствами и питьями стол с высоким канделябром посередине. Восковые свечи канделябра были зажжены и разливали тонкий аромат курения.

— Сядемте, господин камер-юнкер, и закусим с дороги, — предложил доктор. — Вероятно, вы проголодались?

— С большим удовольствием! — подхватил Тротото, не заставляя повторять приглашение и усаживаясь. — Но скажите, пожалуйста, где мы?

— У одного из молдаванских помещиков. Хотите начать с чарочки настоящей польской старой водки? Она не-

дурна... и закусить икрой, это возбуждает аппетит, — предложил доктор, как будто он только что распорядился, чтобы накрыли этот стол, а не приехал вместе с Тротото в берлине.

— Но откуда же у молдаванских помещиков такой вкус и такое богатство?

— Вкус — дело условное, что же касается богатства, то здесь, в Молдавии, встречаются такие крезы, как, например, князья Кантакузены, у которых в приемных комнатах стоят открытые мешки с золотом, и гости могут брать себе оттуда горстями, сколько им вздумается*.

— А мы случайно не у князя Кантакузена? — спросил Тротото, внимательно оглядываясь, словно ища глазами, нет ли где-нибудь открытых мешков с золотом.

— Нет, мы случайно не у князя Кантакузена.

— А хорошо бы сделать ему визит. Ведь вежливость требует этого.

— Нет, Артур Эсперович, визита к князю Кантакузену мы не сделаем, и нам придется довольствоваться этим скромным ужином.

— Но, моя радость, этот ужин — вовсе не скромный, напротив, он великолепен... Здесь все, как в сказке! Я только боюсь, что, пока мы тут благоденствуем, наши птички, за которыми мы охотимся, улетят!.. Что за странная идея явилась у нас отправиться впереди дичи вместо того, чтобы следовать за ней по пятам!.. Понять не могу это!

— Уж видно, такая ваша доля — ничего не понимать и ждать объяснения для всякого пустяка.

— Ах нет, радость моя! Когда мне хорошо растолкуют, я всегда отлично пойму. Скажите мне, зачем мы уехали вперед? Ведь они могут остаться в Бендерах.

— Навсегда?

— Нет, не навсегда, но, положим, на очень долгое время.

— Тогда и мы пробудем здесь это долгое время и подождем, пока они приедут сюда.

— А если они не приедут?

— Не могут не приехать. Куда бы они ни двинулись из Бендер, если только не хотят попасть к туркам, то должны проехать по этой дороге и остановиться здесь.

— Даже остановиться здесь? Это каким образом?

— Ну, это — мое дело!

* Исторически верно

— Конечно, это гениально, но, радость моя, доктор, позвольте считать, что на этот раз вы не правы. Все-таки безопаснее было ехать за ними, как я сказал, по пятам и не терять их из виду.

— Но если мы не теряли бы их из виду, то и они должны были бы видеть нас, приняли бы свои меры, и мы, что называется, спугнули бы их. Всякий, за кем следят, очень чутко относится к тому, что происходит сзади него, и почти никогда не обращает внимания на то, что делается впереди.

— Опять, моя радость, я должен признать, что и это соображение гениально, как и все ваши остальные. Когда же можно их ждать?

— Сегодня ночью.

— Так скоро?

— Да, они едут скорее нас, на переменных, тогда как мы ехали на своих, с двумя подставами только.

— Позвольте, вы говорите мы ехали «на своих», но значит ли это, что вы тут — хозяин, и я имею честь быть у вас в гостях?

— Догадка ваша не лишена справедливости. Да, я тут — хозяин, и вы у меня в гостях.

— Очень приятно, доктор, — воскликнул Тротото. — Я подымаю бокал за ваше здоровье!

— А я — за ваше!

II

Тротото довольно много пил и ел за ужином и вследствие этого ему спалось тяжело. После ужина сам доктор отвел его в спальню, обставленную со всеми удобствами, и сказал ему:

— Вот что, Артур Эсперович, закройте вашу дверь на ключ и оставайтесь тут до тех пор, пока я приду к вам.

— Но, моя радость, а если мне будет скучно? — поморщился и спросил Тротото.

— Что делать — поскучайте!.. Впрочем, лягте спать и постарайтесь хорошенько заснуть — во сне скучать не будете. Так или иначе, вам необходимо быть в заключении, пока я приду, а то Проворов, или Малоземова, или Нимфодора могут увидеть вас, и тогда все дело будет потеряно: они догадаются, что попали в ловушку.

— Но вас ведь они тоже могут увидеть, и тогда тоже догадаются.

— Меня они не увидят, будьте покойны. Уж вы только не показывайтесь никуда из своей комнаты.

Доктор простился и ушел, а Тротото запер дверь и лег спать на большую кровать под балдахином.

Но легко было доктору сказать: «Постарайтесь заснуть», — сделать же это оказалось гораздо труднее. Новое ли место было тому причиной, непривычная ли обстановка или съеденный обильный ужин и, главное, выпитое вино, — но только Тротото ворочался на мягкой постели и все время чувствовал самого себя, свое тело. Сердце билось и в виски стучало, и если он забывался дремотой, то ему чудились совсем несуразные нелепости: он видел себя великим магистром, у которого в животе устроена водяная мельница с неповорачивающимся жерновом, а фрейлина Малоземова дразнила его по этому поводу из-за спины Проворова документами.

Среди ночи он слышал на дворе возню и шум. Там раздавались говор и брань, очевидно, кучеров и конюхов. Тротото понял, что, должно быть, приехала Малоземова с Проворовым и что случилось все именно так, как предполагал Герман. Он даже встал с кровати и, подойдя к окну, приподнял штору, чтобы посмотреть, что делается на дворе, но окно снаружи было плотно затворено ставней, и решительно ничего не было видно. Артур Эсперович ограничился тем, что поправил масляный ночник, горевший в комнате, и, снова легши спать, впал в почти бредовое забытие.

Вдруг он вскочил. На этот раз на дворе кричало много голосов, топали, суетились и бегали. Сначала ничего нельзя было разобрать, потом камер-юнкер явственно различил испуганные крики:

— Пожар, пожар!

Он заметался по комнатам и не сразу сообразил, что естественнее всего кинуться к двери, чтобы спастись от угрожающей опасности. Однако дверь оказалась запертой на ключ снаружи. Тротото пробовал потрясти ее, но безуспешно: сделанная из массивного старого дуба, она была крепка, как железная. На дворе продолжали бегать и кричать. Тротото стал неистово стучать в дверь кулаками и ногами и орать во все горло:

— Пожар, на помощь, на помощь, человек погибает!

Кулаков и ног ему показалось мало, и он схватил стул и принялся колотить стулом. Его заперли на ключ и теперь в суматохе пожара, очевидно, забыли о нем... он тут сгорит, задохнется в дыму. Ему казалось уже, что

он испытывает предсмертные муки, что последний его час пробил.

Между тем крики на дворе затихли: там, по-видимому, успокоились и перестали бегать. Тротото тоже перестал стучать в дверь и подошел к окну. На дворе уже смеялись — хохот доносился очень определенно, — затем поговорили еще и разошлись.

«Очевидно, была фальшивая тревога», — сообразил несчастный камер-юнкер, обливаясь потом от избытка волнения и от физической усталости после упражнений со стулом.

— Ну, ночка! — произнес он вслух сам себе.

Убедившись, что на дворе все тихо, он опять прилег, но его глаза открывались помимо его воли, и он вглядывался в полусумрак едва освещенной ночником спальни, не без труда следя за мелькавшими одна за другою бессвязными мыслями:

«Ну, хорошо, что была напрасная тревога, — думал он, — но кто поручится, что сейчас не вспыхнет настоящий пожар? А кто будет тогда? Моего стука никто не слышал и никто не явился ко мне, а я заперт. Кто имел право запретить меня? Если этот доктор Герман — великий магистр, то все-таки он не имеет права запираить меня на случай пожара... А вино у него великолепное! Что правда, то правда! Но вино — вином, а я не хочу сгореть вместе со всем домом, да и вообще не хочу быть под ключом. Я, наконец, имею придворное звание... Что он, в самом деле, думает?.. Не хочу быть под замком!»

Тротото встал, решительно направился к двери, постучал и прислушался. Полное безмолвие было ему ответом.

— Ах, если так! — вдруг крикнул камер-юнкер во весь голос и только что собрался снова приняться колотить в дверь, как она отворилась и на ее пороге показался Герман.

Доктор не мог сдерживать искреннюю улыбку при виде зрелища, которое являл собою господин камер-юнкер, стоявший с поднятыми кулаками в полотняном спальном халате и в ночном колпаке.

— Что с вами? Тише! — произнес он успокоительно.

Доктор был в своем черном обыкновенном кафтане и, по-видимому, не раздевался и не ложился спать с вечера.

При появлении Германа Тротото сразу стих и даже как будто сконфузился.

— Я ничего, — бормотал он. — Меня тут случайно заперли, а между тем нам угрожала опасность пожара.

— Да, да, в самом деле, — протянул доктор, входя. — Только я могу успокоить вас, никакой опасности не угрожало.

Он сел в кресло и положил ногу на ногу, как человек, собирающийся начать разговаривать.

— А пожар? — спросил Тротото.

— Я сейчас объясню вам.

— Дело в том, что я и сам сообразил, что все это была фальшивая тревога.

— Давшая возможность получить документы.

— Что вы говорите? Документы получены вами?

— Вот они! — И доктор, вынув из кармана пачку документов, перевязанных черным шнуром, положил их на стол перед удивленным Тротото.

— Каким образом вы достали это и как помогла вам тут фальшивая тревога пожара? — воскликнул тот. — Я ничего не понимаю.

— А между тем это так, — ответил доктор. — Фрейлина Малоземова приехала ночью в сопровождении Проворова, как я и ожидал.

— Почему вы знали, что они приедут, и ждали их?

— Мой милый Артур Эсперович, это произошло просто: стоило только подкупить бравых молдаван, везших дормез фрейлины, и на повороте с большой дороги к моей усадьбе колесо в дормезе оказалось настолько ненадежно, что явилась настоятельная необходимость заехать куда-нибудь для его исправления. Ну, конечно, фрейлина Малоземова отдала предпочтение скромному жилищу иностранца-помещика, европейца, и вот она у меня в гостях вместе с кавалером Проворовым.

— Гениально! — воскликнул Тротото. — Но документы, документы... Как вы достали их?

— Если вы помните, для этого необходимо было прежде всего узнать, куда их прячет Проворов. Ну, как только Малоземова и ее кавалер стали располагаться у меня на ночлег, на дворе была поднята тревога пожара. Проворов стремглав кинулся из дома к дормезу и открыл место, где у него были спрятаны документы... представьте себе: просто-напросто в привязанном бауле сзади кузова.

Тротото закатил глаза под лоб и еще раз воскликнул:

— Гениально!

— Проворов успокоился, узнав, что тревога оказалась фальшивой, — я очень извинялся перед ним за беспокойство, — и велел перенести баул в отведенную ему комнату, где он спит теперь крепким сном.

— Понимаю!.. Достать документы из баула было делом одной минуты, и они у вас!

— Вы замечательно догадливы, Артур Эсперович.

— Ну еще бы! Вероятно, Проворов спит не без данного ему в питье средства... Что вы ему дали?

— Ну, это к делу не относится. Теперь речь должна идти о вас.

— Обо мне? — удивился Тротото. — Но при чем же тут я, радость моя?

— Ну как же! Ведь документы достали вы.

— То есть как это — я? Этого я тоже не пойму хорошенько.

— Само собою разумеется. По некоторым соображениям я не хочу, чтобы знали, что это дело — моих рук, и уступаю всю честь успеха вам.

— И дадите знать в ложе, что я спас братьев от серьезной беды?

— Вот именно, и надеюсь, что братство не оставит без внимания ваших заслуг и наградит вас по крайней мере возведением в несколько высших степеней сразу.

— Доктор, чем мне отблагодарить вас?

— Ничем, только строгим исполнением своего долга.

— В этом отношении я весь к вашим услугам.

— Отлично. Значит, вы оденетесь сейчас и поедете по направлению Петербурга.

— Зачем?

— Да чтобы как можно скорее отвезти документы. Я поручаю их вам самому доставить.

— В Петербург?

— Нет, вы поедете отсюда лишь по направлению Петербурга, чтобы запутать свой след, а затем свернете в Австрию и через Германию отправитесь во Францию, где передадите документы братьям.

— Значит, вы отправляете меня за границу, даже в Париж? Но это восхитительно. Только, моя радость, как же средства? У меня личных средств не хватит.

— На первое время вы получите от меня, а затем я вам дам маршрут и указания, где вам будут выдавать все, что вам нужно.

— Но, моя радость, это чудесно. Я в восторге! Только как же это вы говорите, чтобы одеться и ехать? Вот видите, я что-то плохо спал эту беспокойную ночь, и мне хочется отдохнуть. Я засну до утра, а завтра с новыми силами двинусь в путь. Это будет очаровательно!

— Господин камер-юнкер, вы поедете немедленно, иначе вам не видать документов, и я поеду сам вместо вас. Дело слишком важно, чтобы откладывать его!

— Ну зачем же, моя радость, такие крайние меры? Я только беспокоюсь насчет экипажа. Или вы дадите мне свою берлину?

— Вы поедете в бричке Проворова.

— А он сам?

— О нем не беспокойтесь: это будет мое дело.

— Но вы намекали насчет денег и подорожной, то есть маршрута.

— Все уже готово. Когда вы оденетесь, я передам вам портфель со всем, что нужно.

Менее чем через час после этого из ворот усадьбы выехала бричка, и в ней сидел закутанный в салоп Тро-тото.

III

Отъезд Артура Эсперовича совершился настолько негласно, что никто в доме не знал, кто именно отправился в бричке. Впрочем, никто и не видел, как Герман привез камер-юнкера накануне, потому что никто не встречал их. Даже поднявшаяся с петухами Нимфодора могла узнать лишь, что сопровождавший их экипаж-бричка уже отправилась в дорогу, а так как она не могла предположить, что в бричке уехал кто-нибудь другой, кроме Проворова, то была уверена, что именно он и поспешил вперед. Она в свою очередь поспешила разбудить госпожу Малоземову, и та, узнав, что брички уже нет, заторопилась ехать, тем более что ей доложили, что теперь колесо дормеза в полной исправности и доедет хотя бы до самого Петербурга без всякой починки.

Малоземова велела очень благодарить гостеприимного хозяина, давшего ей приют, и извиниться перед ним, что она столь стремительно уезжает. Одного лишь не могла она понять: почему Проворов, не сказав ей ни слова, так вдруг уехал и что это могло значить? Но так как она, как все люди, которым не везет в жизни, способна была всегда фантазировать в сторону благополучия, то у нее сейчас же явилось соображение, что молодой человек, очевидно, полетел вперед, чтобы приготовить ей достойное помещение на следующей остановке, где, вероятно, и подождет ее. И, убаюканная мечтой о близкой встрече, старая фрейлина

катила вперед, давая возницам на водку, чтобы они везли ее как можно скорее, и не подозревая, что с каждой минутой все более и более удаляется от Проворова.

Первый переезд был сделан ею так быстро, как только это позволял сделать тяжелый дормез, который лошади тащили изо всех сил. Сидя в экипаже, Аглая Ельпидифоровна при помощи Нимфодоры тщательно занялась своим туалетом, так что, когда она прибыла к остановке, она уже была и набелена, и нарумянена, и трехэтажный парик плотно сидел у нее на голове.

Для ее приезда действительно тут все было готово, комната устлана ковром и целый ряд обдуманных мелочей был устроен заботливой рукой. Все было так тонко и внимательно обдумано, что Малоземова не могла не прийти в восхищение и удивлялась только, откуда молодой офицер мог быть таким хозяйственным.

— О да, это будет идеальный муж! — восторженно решила Аглая Ельпидифоровна.

Впрочем, ее восторженности пришлось сейчас же сократиться, так как на ее вопрос, где же молодой человек, приехавший в бричке и распорядившийся всем этим, ей ответили, что он уже отправился дальше, чтобы на следующей остановке, как он сказал, так же все приготовить для нее.

— Ах, как это мило! — сказала Малоземова Нимфодоре. — Ты понимаешь, какая нежная заботливость и какая деликатность! Он не хочет быть назойливым, он боится помешать мне, скомпрометировать девицу, и вот скачет вперед, чтобы оставить следы, отравленные нектаром амура, или что-то в этом роде, как говорят поэты. Ах, Нимфодора, какое счастье любить и быть любимой!..

Аглая Ельпидифоровна не задержалась на остановке и устремилась дальше, надеясь на следующей увидеть Проворова. И там все было готово для нее, даже пудра, но ей опять сказали, что молодой человек, распорядившись всем, уехал вперед.

Малоземова плакала от умиления и, сменив почтовых лошадей, отправилась в ночной переезд, оплатив нарочных с фонарями. Она уже привыкла спать в дормезе и рассчитала, что Проворов, вероятно, остановится на ночлег, и таким образом она его догонит.

Однако, как ни привыкла Малоземова, ночной переезд был совершен ею не так-то уж легко, и наутро, подъехав к станции, она опять узнала, что тут все готово к ее приему, и молодой человек ночью укатил в бричке.

Это показалось уже столь поразительно, что Аглая Ельпидифоровна всплеснула руками и сделала вид, что упала в обморок. Но, быстро очнувшись, она немедленно потребовала лошадей.

Таким образом, в течение трех суток продолжалась эта погоня Малоземовой за бричкой, и наконец на четвертые утром она узнала, что ехавший в бричке молодой человек, очевидно, настолько изнемог от усталости, что дальше ехать уже был не силах и спал крепким сном в станционном помещении, за перегородкой, откуда доносился нежной фистулой его храп.

— И храпит-то как восхитительно! — шепнула фрейлина Нимфодоре, — не то, что ты, когда примешься заворачивать!

Она была в восхищении, что добилась, наконец, своего, и немедленно отправилась в дормез делать свой туалет, распорядившись, чтобы был приготовлен завтрак. Ее особенно тешила мысль, что вот сколько времени он приготовлял все для нее, а теперь проснется и найдет завтрак, оборудованный ее попечением. Они сядут за стол и будут кушать вместе.

Аглая Ельпидифоровна не велела будить молодого человека и приказала доложить ей, когда он проснется и встанет, причем строго-настрого запретила сообщать ему, что она здесь. Она хотела сделать Проворову сюрприз.

IV

Проснувшись, Тротото с удовольствием потянулся в сознании, что первая часть возложенной на него доктором Германом задачи была выполнена и закончена. Он действовал относительно Малоземовой согласно точным указаниям, данным ему доктором, приготовлял все для нее на станциях и стремглав летел день и ночь. Эта остановка была последнею, и отсюда он должен был свернуть в сторону от тракта на Петербург, по дороге на Варшаву, чтобы ехать за границу.

По расчету, Тротото должен был сильно опередить Малоземову, от которой, конечно, трудно было ожидать, что она сможет также ехать день и ночь. Конечно, он был рад теперь, что мог разделаться с ней и свернуть с пути, оставив ее на произвол судьбы, завезя ее достаточно далеко, чтобы она не скоро могла вернуться назад. Все это было обдуманно и предначертано доктором Германом.

Вымывшись и переодевшись, Тротото обрадовался, когда ему сказали, что его ждет завтрак. Он вышел, потирая руки, в общую комнату станционного помещения и вдруг весь съежился, увидев за накрытым для завтрака столом наруганную и накрашенную Аглаю Ельпидифоровну, томно улыбающуюся ему навстречу.

При виде его лицо ее, как внезапно увядший цветок, изменилось и глаза беспомощно, растерянно забегали.

— Ах, это — вы!.. То есть как же это вы? — заговорила она. — Ах какая неожиданная встреча!.. Вот гора с горой не сходятся, а человек с человеком — всегда! — И она, с надеждой во взоре обернувшись, посмотрела, не идет ли сзади него тот, кого она ждала.

— Ах, моя радость, Аглая Ельпидифоровна! — расшаркиваясь и раскидывая руками, очаровательно-сладким голосом, певуче произнес Тротото. — Позвольте и мне со своей стороны выразиться в том смысле, что эта поистине неожиданная и вместе с тем высокоприятная встреча удивительна. Я совершенно не ожидал встретить вас... Так это ваш дормез стоит во дворе и был виден мною из окна?

— Да, это — мой дормез! — окончательно теряясь, пролепетала Малоземова. — Вы, значит, выехали почти вслед за мной из Бендер?

— Да!

— И вместе со мной выехал в бричке, которая тоже стоит на дворе, Сергей Александрович Проворов. Он, вероятно, здесь, раз его экипаж тут. Вы его не видели?

— Ах, моя радость, Аглая Ельпидифоровна, — размахнул опять руками Тротото. — Тут нет никакого Проворова! Мы с ним переменились экипажами, и в этой бричке приехал я.

— Ка-а-а-ак вы? — взвизгнула, забывая всю свою жеманность, старая фрейлина. — Позвольте... а эти приготовления, которые я встречала на всех предыдущих остановках?

— Эти приготовления делал я.

— Для меня?

Тротото потупился и помотал головой.

— Радость моя, Аглая Ельпидифоровна, здесь произошло роковое недоразумение. Приготовления эти я делал для француженки, которую светлейший отправил в дормезе из Бендер, а меня просил ехать впереди.

Он соврал первое, что ему пришло в голову, чтобы только как-нибудь разделаться с этой историей.

— Но Проворов... где же Проворов? — воскликнула Малоземова.

— Он, должно быть, остался у молдаванского помещика, где мы все ночевали четверо суток тому назад.

Аглая Ельпидифоровна, только теперь почувствовав всю остроту разочарования, поняла весь ужас того, что она, фрейлина Малоземова, беспорочность которой не могли сопоставить даже завистники, пользовалась приготовлениями, сделанными для какой-то француженки. Время было упасть в обморок, и она не преминула сделать это.

У Тротото в кармане всегда была на случай дамских обмороков нюхательная соль. Он стал делать вид, что приводит Аглаю Ельпидифоровну в чувство, а она сделала вид, что очнулась от обморока.

— Ах, какое недоразумение, какое недоразумение! — повторял Тротото, увидев, что Малоземова открыла глаза.

— Да как же вы переменялись бричкой-то? — спросила она.

— Совершенно непостижимо! — стал объяснять он, путаясь. — Я, собственно, совсем не хотел, но как-то это так вышло... Да, насколько помню, Проворов купил коляску у помещика... то есть, собственно говоря, помещик продал ему коляску... Ах, моя радость, Аглая Ельпидифоровна! — воскликнул Тротото, совершенно запутавшись. — И право, не знаю, что сказать вам... Так вышло — и конец!

Как ни была наивна и простодушна старая фрейлина, все же объяснение камер-юнкера показалось ей очень сомнительным. Какое-то смутное беспокойство зародилось у нее, и она непременно решила попытаться у этого господина чего-нибудь более определенного.

Но тут она заметила, что Нимфодора делает ей из-за двери какие-то выразительные знаки, потрясая в воздухе руками и мотая головой. Фрейлина вспомнила, что эта приживалка была всему причиной, потому что у молдаванского помещика она подняла ее ни свет ни заря, сказав, что бричка уехала, и, вскипев против Нимфодоры, вскочила и направилась к двери.

Тротото воспользовался этой минутой и шмыгнул за перегородку, не соблазняясь даже завтраком. Он пошел, чтобы распорядиться о лошадях себе и, уехав как можно скорее за границу, оставить за собой всю эту историю с фрейлиной.

Аглая Ельпидифоровна, кинувшись к приживалке, топнула на нее ногой и сердито прошипела:

— Это ты все наделала!

Однако Нимфодора не испугалась, потому что, казалось, была так уже перепугана, что этот ее испуг не мог увеличиться больше. Продолжая махать руками и с трудом переводя дух, она могла только выговорить:

— Благотельница, пойдемте отсюда в карету!.. Что я вам скажу-то!

Аглая Ельпидифоровна, расстроенная всем происшедшим, согласилась на ее предложение.

Нимфодора накинула фрейлине салоп, повлекла ее за собой и, только когда они были в дормезе и она захлопнула его дверцу, облегченно вздохнула, а затем не своим голосом, чуть слышно проговорила:

— Бежим отсюда как можно скорее... потому что ведь это — он... он!

— Кто он? — стала спрашивать Малооземова, ничего не понимая, но по слишком большому перепугу Нимфодоры чувствуя что-то неладное.

— Он... тот самый, — продолжала та, — которого я видела в гостинице, в Бендерах...

— Камер-юнкер Тротото?

— Ну да, он самый... Он разговаривал с этим черным доктором, и они злоумышляли против Сергея Александровича.

— А ведь в самом деле! — воскликнула фрейлина. — В самом деле, он собирался совершать злодейские поступки... Ахти, беда!.. Ведь и в самом деле... Ведь он, злодей, ехал в бричке Сергея Александровича.

— В бричке, умереть сейчас, в бричке, — подтвердила Нимфодора.

— А когда я спросила его, откуда он взял этот экипаж, он стал путаться и нести такую околесицу, что ничего не разобрать. Теперь все понятно: мы ночевали в разбойничьем гнезде, они ограбили и убили мсье Проворова, а затем гнались за мной.

— Ах, страсти какие! — ужаснулась приживалка.

Аглая Ельпидифоровна стала качаться в карете и, кидаясь от одного окна к другому, бормотать:

— Немедленно к полицеймейстеру... к совестному судье его!.. Где тут совестный судья? Дайте мне полицеймейстера! Я требую, чтобы его немедленно арестовали именем закона! Убийца! Грабитель!

Мало-помалу ее вопли перешли в истерику, она стала биться внутри стоявшей посреди двора кареты, так что отъезжавший в это время Тротото, которому успели подать

лошадей, заблагорассудил лучше не идти к ней прощаться и отбыть без соблюдения обычной вежливости.

V

Проворов спал очень крепко и очень долго. Сколько именно времени продолжался его сон, он не мог сразу сообразить проснувшись, потому что часы его остановились. В окно светили лучи склонявшегося к западу солнца — очевидно, было далеко за полдень.

Проворов стал припоминать, не без труда восстановив в своей памяти события: они ехали по большой дороге; в дормезе испортилось колесо; пришлось свернуть, и вот они в незнакомой усадьбе, где он теперь проснулся. А ночью была тревога пожара.

«Баул с документами!» — вспомнил он и, приподнявшись на постели, оглядел комнату.

Баул стоял у двери на том самом месте, куда он велел поставить его, когда его отвязали от экипажа и принесли в отведенную ему комнату. Он попросил у Малоземовой, с которой они сговорились ехать вместе, один из бесчисленных сундуков, облепивших ее фундаментальный экипаж, для своих вещей, и спрятал туда вместе со своими вещами документы, надеясь этим лучше скрыть их. Он был уверен, что никто не догадается о его хитрости, и не подозревал, что доктор Герман был хитрее его и, сообразив сейчас же, в чем дело, объяснил все камер-юнкеру Тротото. Теперь баул стоял в его комнате, и Сергей Александрович был спокоен за документы.

Проворов принялся одеваться и надел как раз тот самый шлафрок, который был на нем тогда, много времени тому назад, в Царском Селе на дежурстве, когда вдруг перед ним неожиданно появился доктор Герман. Он почему-то вспомнил именно это, посмотрев на шлафрок, и, подняв голову, обомлел от удивления: перед ним так же неожиданно, как и тот раз, стоял доктор Герман.

Проворов протер глаза. Нет, ему не казалось: Герман стоял перед ним живой.

— Добрый день, — сказал доктор, — я вам говорю «добрый день», потому что утро давным-давно прошло и даже полдень прошел. Заспались вы!

— Но позвольте, — удивился Проворов, — каким образом вы вошли сюда? Я отлично помню, что запер дверь на ключ.

— Она и осталась запертою, как была.

— Но как же вы вошли?

— Через стену.

— Не морочьте меня, пожалуйста! Я отлично знаю, что через стену нельзя пройти человеку.

— Отчего же, если, например, в стене сделан потайной проход... вот как в этой? — И доктор, подойдя к стоявшему плотно у стены шкафу с книгами, надавил какую-то кнопку, и шкаф, бесшумно отодвинувшись, открыл замаскированное им отверстие в стене. — Я не виноват, — пояснил он, — что вы так задумались, что и не заметили, как я вошел.

— Но позвольте! — проговорил Проворов. — Откуда же вы взялись и почему вам тут известны потайные проходы в стенах?

— Потому что я тут — хозяин.

— Если б я знал это, то ни за что не согласился бы просить гостеприимства.

— Почему же так?

— Просто потому, что я боюсь вас. Я вам говорю откровенно, вот видите: я ничего не ел бы и не пил бы в вашем доме.

— А между тем сегодня ночью, вернувшись в эту комнату после напрасной тревоги, вы выпили приготовленный для вас стакан оршада, в котором было снотворное... не беспокойтесь, вполне безвредное: оно только заставило вас спать крепче и дольше. Этот сон подкрепил вас. Откровенность за откровенность.

— Да я вовсе не нуждался в подкреплении, я не просил вас.

— Но теперь, надеюсь, не раскаиваетесь, после такого хорошего отдыха?

— Я раскаиваюсь, что попал к вам. Да, раскаиваюсь, потому что знаю все... — вдруг выговорил Проворов, уже не владея своими словами и произнося их помимо своей воли.

Доктор стал серьезен.

— То есть как же это «все»? — переспросил он, хмурия брови. — Что вы, собственно, подразумеваете под этим?

— Я знаю все, — твердо повторил Проворов, решив, что если уж у него раз вырвалось это признание, то он скажет все, что знает. — Я знаю ваш разговор, который вы вели с неизвестным мне лицом в каюте незадолго перед штурмом Измаила.

Доктор опять улыбнулся, почти рассмеялся и ответил:

— Ну еще бы! Раз вы сидели рядом тоже в каюте, то, конечно, все слышали.

— А вы откуда знаете это?

— Но если вы «все» знаете, как говорите, тогда вам, значит, нечего спрашивать, а мне — вам рассказывать, если вы все знаете.

— Нет, я не подозревал, что вам было известно, что я сидел рядом, — несколько сконфуженно произнес Проворов и сейчас же, чтобы вновь приободриться, добавил: — Кроме того я знаю, о чем вы говорили с камер-юнкером Тротото в Бендерах, в гостинице.

— Это после вашей поездки с ним к старухе, когда нас подслушивала приживалка госпожи Малоземовой?

— Вы и об этом осведомлены! — разочарованно протянул Проворов.

Вместо того чтобы ему, как он думал, поразить доктора, вышло, что доктор поражал его.

— Да, этот господин камер-юнкер — очень легкомысленный человек, — сказал Герман, как будто все было очень просто и вполне естественно.

— Не легкомысленный, а негодяй и предатель, способный на какое угодно преступление, — с негодованием воскликнул Проворов, — и то, что вы возитесь с ним, вовсе не рекомендует вас самого.

— Но если вам верно передала наш разговор приживалка госпожи Малоземовой, то вы должны знать, что я не одобрил предложений — согласен с вами, очень гнусных, — господина камер-юнкера относительно вас, и поэтому он не привел их в исполнение.

— Все равно, порядочному человеку не надо было и разговаривать с ним, раз он такой!

— Так что вы предпочли бы, чтобы я воздержался от разговора с ним, а он стал бы проделывать из-за угла над вами свои гнусности, до отравления включительно?

Проворову пришлось прикусить язык. Он не мог не почувствовать, что Герман прав и действительно оказал ему услугу, не позволив Тротото принять крепкие меры. Но все-таки ему не хотелось сдаться.

— Просто не следует даже быть с таким господином под одной кровлей, — сказал он.

— А между тем сегодняшнюю ночь вы ночевали с ним именно под одной кровлей.

— Камер-юнкер Тротото здесь?! — воскликнул Проворов, вскочив как ужаленный.

— Был здесь, — поправил доктор. — Я полагал, что вы знаете, что он уже уехал, и притом в вашей бричке.

— Как в моей бричке? А госпожа Малоземова?

— Она уехала вслед за ним ранним утром.

— Вот это мило!

— Милейший секунд-ротмистр...

— Я уже произведен в ротмистры.

— Поздравляю вас! Итак, милейший ротмистр, несмотря на ваше уверение, я вижу, что вы не только «все» не знаете, но даже, вернее, ничего не знаете!

— Да, того, что случилось сегодня ночью, я не знаю, потому что спал непробудным сном благодаря вашему снотворному.

— То-то я и удивился, когда вы сказали, что знаете «все».

— Да бросьте вы, пожалуйста, эти попреки! Заладили одно, в самом деле! Почему и каким образом уехал господин Тротото в моей бричке? Я желаю знать, как это могло случиться.

— Очевидно, он очень торопился, а другого экипажа не было.

— Странно... Куда же он торопился?

— Отвезти документы за границу.

— Документы? Какие документы?

— Масонские, пропавшие в свое время из великой логи.

— Что вы говорите! Откуда же он взял их?

— Ему дал их я.

— Позвольте, тут что-нибудь да не так.

У Проворова все спуталось в голове. Одно было только ясно, что Герман был прав: он ничего не знал.

Сергей Александрович кинулся к баулу, открыл его и принялся перебирать вещи. Он быстро выкинул лежавшие сверху и стал шарить вниз. Не найдя того, что искал, он взялся снова за выброшенные вещи и нетерпеливо пересматривал их, потом выпучил глаза и уставился на доктора Германа.

— Не трудитесь искать, — сказал тот спокойно, — пока вы спали, я вынул документы из баула, чтобы отдать их камер-юнкеру Тротото.

— Вы сделали это?

— Да, и гораздо спокойнее, чем вы теперь их ищете: не раскидывал так вещей.

— Но, позвольте, ведь это же — воровство! Вы зазываете меня к себе в дом, кладете в комнату с потайным

входом, опаиваете меня сонным зельем, входите ко мне и тащите из моего баула документы. Ведь это — воровство, грабеж. Я буду жаловаться! Вы украли у меня документы!

Герман, не торопясь, произнес ровным голосом:

— Вы настаиваете на словах «воровство» и «украли»!

— Да как же иначе назвать то, что вы сделали? — закричал Проворов.

— По-моему, я только вынул документы — выразимся более мягко, — похищенные из масонской ложи, вы, вероятно, знаете кем. Так что если уж говорить о присвоении чужой собственности, то нужно начать по справедливости с деяния, совершенного в ложе. Вы этого не находите?

Сергей Александрович молчал, чувствуя, что поставлен в тупик и что ему, по существу, нечего ответить. Но от этого он нисколько не успокоился, а, напротив, сознав свою неправоту, только больше разгорячился.

— Все это может быть, и в известном споре вы сильнее меня, так как я университета не кончал и вашей казуистики не знаю, но только вот что скажу вам: документы я получил от приятеля, который умер и которому я обещал доставить их...

— В руки правительству или даже самой государыне.

— Может быть, и так!

— Благодарю вас за признание. Как хотите, но ведь вы же должны знать, какую опасность для нас, масонов, представляет ваше намерение поступить подобным образом. Значит, вы легко отсюда можете вывести заключение, насколько я доволен, что взял у вас эти документы.

— Но вы их мне отдадите.

— Если б я даже и хотел сделать это, то не мог бы, я ведь сказал вам, что их увез за границу камер-юнкер Тро-тото.

— Не может быть!.. Я этому не верю.

— Отчего же вы не верите? Напротив, неблагоразумно было бы с моей стороны оставлять такую ценную вещь у себя.

— Все равно. Я требую, чтобы вы вернули мне бумаги.

— На каком же основании вы требуете?

— На том основании, что я так хочу.

— Слабое основание.

— Послушайте, доктор, я даю вам на выбор: или вы вернете мне бумаги, или кончите счеты с жизнью.

— Вы хотите убить меня?

— Нет, я только угрожаю вам смертью. Я хочу получить от вас документы.

— Совсем как камер-юнкер Тротото: он тоже ведь хотел убить вас, чтобы получить документы.

Проворов опять осекся. Опять слова доктора были справедливы, так что против них ничего нельзя было сказать.

— Камер-юнкера Тротото, — продолжал доктор, — я остановил от его безумного намерения...

— Но меня вы не остановите, и я вам повторяю: или верните документы, или готовьтесь к смерти!

— Но, молодой человек, почему же вы думаете, что я так поддамся вам и не буду защищаться? Отчего вы так уверены, что именно вы сильнее меня, а не я — вас?

— Может быть, защищаясь, и вы меня убьете, я не спорю... Что ж? Туда мне и дорога! Я щадить себя не намерен, но и вас тоже не пощажу.

— Пойдите, будем говорить спокойно и разумно! Согласитесь, что если я должен убить вас, по-вашему, или, что, конечно, хуже, я буду убит, то, по крайней мере, я желаю знать хоть те основания, по которым я должен совершить преступление или расстаться с жизнью.

— Вы не совершите никакого преступления — вы будете защищаться.

— Это хорошо сказано, но все-таки не объясняет всего. Ведь если вы меня убьете, все равно вам несдобровать, так как придется отвечать за убийство. Вы у меня в доме, вас схватят, отправят к властям и так далее. Значит, видите, сколь неравны наши с вами положения: я не буду отвечать, даже в случае, если нанесу вам смертельную рану, а вам предстоит выбор между смертью от моей руки и каторгой.

— Все равно, мне терять нечего.

— Но вы еще молоды, у вас вся жизнь впереди.

— Ничего у меня впереди нет.

— Как нет? А ваша служба? Вы так хорошо начали ее, вас ждут чины, ордена.

— Для кого и для чего? Это не может тешить меня.

— А вам непременно хочется жить для кого-нибудь?

— У меня никого нет. Был у меня друг, товарищ, но он убит, и вы хотите лишить меня возможности исполнить данное ему перед смертью обещание.

— Мало ли что у вас впереди!.. Вы встретите девушку, которую полюбите.

— Никого я не полюблю. Понимаете, той, которую я люблю, не существует, это была мечта, и она разрушена, ее уж нет.

Проворов был в состоянии полного отчаяния. В эту минуту ему казалось, что все для него погибло, вся его жизнь была разбита.

После своей принцессы, которую, как оказалось, он грезил только во сне, он никого не мог полюбить, так как, хотя и во сне, она была столь прекрасна, что ни одна девушка наяву не могла сравниться с нею. Единственно, что заставляло его жить и действовать, была возложенная на него покойным Чигиринским задача — сохранить и доставить документы, но они были нагло и вероломно похищены, и этот доктор, нисколько не стесняясь, как будто дразня его, говорил об этом, словно в насмешку.

Сергей Александрович негодовал, обезумел от гнева и возмущения и с хитростью безумного нарочно тянул разговор, а сам в это время исподтишка высматривал, чем бы ему нанести удар этому Герману.

Вдруг он увидел в груди выброшенных из баула вещей небольшой турецкий нож, купленный им под Измаилом и понравившийся ему отделкой рукояти. В этот момент в глазах у него потемнело, и он, схватив нож, кинулся на доктора так, что тот, не ожидая этого, не успел даже отпрянуть и протянуть руки для своей защиты. Они покатались вместе на пол.

Некоторое время длилась безмолвная, со стиснутыми зубами, борьба. Проворов был сверху. Доктор не в состоянии был долго противиться ему. Сергей Александрович успел ранить его и чувствовал, как слабеет его противник. Парик доктора упал, лицо его изменилось и что-то знакомое мелькнуло в нем.

— Оставь! — прохрипел он. — Сумасшедший... я — Чигиринский!

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Проворов очнулся от забытья или глубокого обморока, в который он впал, и смутно стал припоминать, что случилось. Он лежал теперь на постели в другой, незнакомой ему, комнате, не той, где провел ночь и где произошел разговор с доктором Германом, кончившийся так неожиданно. Эта комната была больших размеров, но обставлена гораздо скромнее. Однако кровать, на которой он лежал,

была очень удобна; все его вещи и малоземовский баул перенесены сюда и сложены у стены, против постели.

Очнувшись, Сергей Александрович долго смотрел в потолок, совершенно не зная, что ему делать. Шевелиться он мог свободно, значит, нигде никакого повреждения он не получил, а если он нанес рану доктору Герману, то так тому и надо за все то, что он хотел сделать и сделал.

Но в ушах Проворова определенно и отчетливо звучали слова, произнесенные доктором Германом, назвавшим себя Чигиринским.

Труп, найденный после взятия Измаила и принятый за пропавшего без вести ротмистра, был обезображен до полной неузнаваемости, значит, если Чигиринский по каким-либо причинам нашел нужным скрыться, то сражение под Измаилом давало ему полную возможность сделать это.

Когда Проворов думал о приятеле безотносительно к другим обстоятельствам, то готов был верить, что тот был жив, — главным образом потому, что ему хотелось в это верить. Но как только он это неожиданное появление как бы с того света своего приятеля ставил в связь с последними событиями, так получалась полная нелепость, и факты начинали противоречить один другому.

Доктор Герман и Чигиринский являлись одним и тем же лицом, и вся история с документами получала совершенно невероятное освещение. Герман хранил документы, а Чигиринский похитил их у него и старался скрыть, завещав ему, Проворову, доставить их во что бы то ни стало в Петербург. Затем масоны, среди которых один из главных был Герман, узнали, что документы у Чигиринского и старались всеми правдами, и в особенности неправдами, достать их, и наконец доктор добился своего при помощи совершенного им вероломства. Каким же образом после этого мог быть этот доктор одним и тем же лицом с Чигиринским? Но, разумеется, это — вздор, и раненый Герман проговорил свои слова только для того, чтобы он, Проворов, отпустил его. Очевидно, это была увертка, и она подействовала, потому что так ошеломила его, Проворова, что он впал в обморок, иначе для него необъяснимый.

Обдумав и разобрав все это, Сергей Александрович успокоился относительно Чигиринского, убедившись, что имеет дело с самым настоящим доктором Германом. Ни щадить, ни жалеть, ни церемониться с ним было нечего и так и надо было схватить нож и порешить с ним одним ударом.

И Проворов с некоторым горделивым самоудовлетворением вспомнил, как этот отвратительный человек, смятый, хрипел под ним.

Что же теперь делать?

Прежде всего, конечно, встать и привести себя в бодрствующий вид.

Сергей Александрович стал одеваться, причем у него невольно мелькнула мысль, что вот он ранил, может быть смертельно, хозяина этого дома, а его тут так бережно уложили в постель в просторной, хорошей комнате.

Странно это было, но это соображение только мелькнуло у него и сейчас же заслонилося. В последнее время с ним происходило столько странностей, что на мелочи он уже перестал обращать внимание.

Одевшись, Сергей Александрович попробовал выйти из комнаты и отворить дверь, чтобы посмотреть, куда она ведет. Она вела в коридор, длинный и широкий, по одну сторону которого были окна, а по другую — двери. Проворов перешагнул через порог, осторожно ступив, как бы пробуя, не провалится ли под ним пол. Но пол не провалился, и он беспрепятственно прошел по всему коридору. В конце коридора дверь была тоже не заперта, и, отворив ее, Сергей Александрович очутился в сенях, из которых был ход на крыльцо, на двор. Значит, он был на свободе и мог идти, куда хотел.

Проворов вышел на крыльцо и, пожившись всем телом, с удовольствием вдохнул холодный воздух.

Какой-то человек, видимо из здешних, проходил по двору и спокойно взглянул на него, как будто в том, что он вышел, не было ничего особенного. Сергей Александрович попробовал окликнуть его. Тот отозвался, но это был молдаванин, ни слова не понимавший по-русски, улыбающийся и пожимавший плечами на все обращенные к нему по-русски вопросы.

«В доме как будто ничего не случилось; ведь если бы хозяин был серьезно ранен, этот человек вел бы себя со мной совсем иначе!» — подумал Проворов и, вполне довольный своей рекогносцировкой, пошел назад.

Но когда он вернулся в коридор, то заметил, что все двери были одинаковы, и которая из них вела в комнату, где он только что лежал и где были его вещи, он распознать не мог. Однако он помнил, что его комната была в другом конце коридора, и пошел туда.

Подходя, Проворов издали увидел, что третья дверь от конца была настолько приотворена, что в нее были видны

и кровать, и его вещи, так что он уже не мог ошибиться комнатой. Между тем он отлично помнил, что, уходя, плотно запер дверь, которая даже щелкнула при этом. Он положительно помнил, что это было так, а между тем дверь оказалась отворенной, значит, пока он ходил, тут кто-то был. Это произошло на Проворова жуткое и неприятное впечатление. Но в комнате все было цело и оставалось на прежних местах.

II

Сергей Александрович взглянул на стол, увидел, что на нем стоит большой серебряный поднос с графином вина, большим стаканом и тарелкой очень аппетитных и разнообразных бутербродов. Первым его движением было взять и начать есть. В последние сутки он почти только спал и ничего не ел. Но, едва протянув руку к подносу, он снова отдернул ее, вспомнив, что в питье, которое было поставлено ему на ночь, было налито снотворное, как в этом признался сам доктор Герман. Если в питье ночью было снотворное, то весьма вероятно, что и теперь, после всего случившегося, ему могли положить в еду яду. Принесли этот поднос в комнату без него, и он даже не видел лица человека, принесшего его. Еда появилась как бы украдкой и потому была подозрительна, и, как ни хотелось Проворову есть, он отстранился от стола и, засунув руки в карманы, стал ходить по комнате, чтобы заглушить как-нибудь голод.

Но как ни отвертывался от стола Сергей Александрович, как ни старался думать о другом и сосредоточиться на подробном мысленном обсуждении того, что ему делать, он невольно косился на соблазнявший его поднос и испытывал муки голодного человека, перед которым поставили еду и который не может до нее дотронуться. Наконец это стало невыносимо, и он решил снова отправиться по коридору на двор, чтобы там хоть напиться воды из колодца.

Спускались уже сумерки, двор был совсем пуст, и Проворов, подняв из колодца ведро, припал губами к воде, но сделал лишь несколько глотков, потому что вода была совсем ледяная. Этих нескольких глотков ему показалось достаточно, и он, успев озябнуть, снова вернулся домой.

И на этот раз опять без него в комнате были. Там оказались спущены шторы и была принесена зажженная лампа под красным шелковым абажуром. Это уже не могло

явиться вторичною случайностью. Очевидно, за ним следили и были осведомлены, когда он уходит.

Проворов вспомнил про потайной ход, имевшийся в его прежней комнате, и ему почудилось, что эта комната, в которой он сейчас, не только с тайниками, но и с отверстиями для подглядывания, и что повсюду смотрят на него невидимые глаза, и вот сейчас, даже сию минуту, на него глядят, а кто и откуда — он не знает!

Ему захотелось уйти... уйти куда-нибудь. И разве это было невозможно? Разве нельзя было пойти сейчас в конюшню и велеть запрягать?

То есть велеть-то, конечно, можно было, но кто его послушает? К тому же в его бричке отправился почему-то камер-юнкер Тротото, и, чтобы ехать, надо было прежде достать экипаж.

Уйти пешком? Так уйти, в чем есть... Кто его посмеет удержать? А если посмеет, тогда защищаться.

Да ведь никого и нет на дворе... Уйти, и конец!

Но, поймав себя на этой мысли, Проворов постарался сейчас же отбросить ее как совершенно неприемлемую: уйти потихоньку значило постыдно бежать, словно струсил и желаешь замести следы. И куда, наконец, было бежать ему, зачем?

Сергею Александровичу пришло на ум, как он ясно и убедительно доказывал доктору Герману, что ему ничего уже не оставалось в жизни ни желать, ни ждать. Жизнь его была кончена, и впереди не было ничего — полная безнадёжность и пустота. А теперь еще присоединилась эта рана, нанесенная господину Герману, суд, волокита, ответственность!

А что, если кончить с собой и прекратить все тяготы?

И точно будто это был ответ судьбы на подобный вопрос, Проворов вдруг тут только заметил, что на подносе, в то время как он уходил, была положена записка. Тщательно сложенная розовая бумага лежала возле самой тарелки. Ее не было прежде, и она, должно быть, была принесена вместе с лампой.

Проворов испытывал острое чувство любопытства, взял записку и стал разворачивать ее. Бисерным, но четким почерком было написано:

«Не бойтесь есть. Вы голодны. Вас не отравят. Будьте уверены. Ждите! Не растопчите роз. Надо осторожнее обращаться с розами!»

Последняя фраза, прочтенная Проворовым, вдруг перенесла его от отчаяния на верхи блаженства. Ведь это была

та именно фраза, которую сказала ему его принцесса в Китайской деревне, в Царском Селе и которая уже послужила им однажды условным паролем для свидания в маскараде. Ведь эту фразу знали только они вдвоем, и, кроме принцессы, никто не мог написать ее ему, и, кроме него, никто не мог понять ее значение.

Не могло быть сомнения, что эту записку писала она, хотя записка и не была подписана. Этот милый, прелестный почерк не мог лгать, эта пахнувшая нежным ароматом розовая бумага не могла быть двуличною. Наконец, эти слова: «Не топчите роз» — не могли быть написаны никем, кроме нее! Она, значит, тут, она близко, она имела возможность сообщаться с ним.

Проворов жадными, жаркими губами прикоснулся к записке и поцеловал ее.

Вот как мы не знаем, что сулит нам жизнь не только завтра, но сегодня, через миг. Один миг тому назад он был в полном отчаянии, и им овладела сумасшедшая мысль о самоубийстве, но стоило увидеть эту розовую записочку, и все изменилось! О нет, теперь он хочет жить! Теперь он сделает все возможное, чтобы дожить и дождаться той счастливой минуты, когда он увидит ее!

Увидит, но как? Ведь он уже знает, что она грезилась ему только во сне, под влиянием внушения Чигиринского. Да ведь последнего нет в живых, и, значит, внушать он больше не может.

«Но доктор назвал себя Чигиринским, — вспомнил Проворов, — и действительно, когда с него слетел парик, он как будто стал похож на него».

Запутанные, беспорядочные мысли закружились в голове Сергея Александровича, напрасно старавшегося собрать их. Они кружились, как снежинки в метель, сбивая и заставляя исчезать одна другую.

«Чигиринский жив... действует своим внушением... тогда, значит, и эта записка — тоже сон!»

Но бутерброды, поднос, вино, лампа, холодная вода на дворе из колодца. Разве может все это присниться так ясно, так подробно? Разве можно, наконец, во сне ощущать такой голод, который прямо переходит в физическую муку?

И чтобы доказать себе, что он не спит, Проворов стал с жадностью уничтожать один за другим бутерброды, не успевая даже прожевывать их хорошенько. Стакан вина тоже был вкусен и, видимо, подействовал так подкрепляюще, что опять-таки ощутить это во сне было невысказанно.

«Что же, в самом деле, сплю я или не сплю?» — недоумевал Сергей Александрович.

С одной стороны, эта еда, в особенности ее вкус, — самая настоящая, по-видимому, действительность, с другой — записка от видимой им только во сне принцессы должна быть сном.

Но если сон зависит от внушения Чигиринского, то выходит, что последний жив, а если он жив, то Проворов ранил его под видом доктора Германа, и он уже, может быть, умер и не жив!

Получалась путаница, казавшаяся безысходною.

И, вертя розовую записку, Сергей Александрович перечитывал ее и старался вспомнить, разве можно во сне так вот перечитывать записку и подробно рассматривать каждую ее складку?

И то ему казалось это невозможным, то, наоборот, он решал, что во сне все возможно.

III

Утолив голод и выпив вина, Сергей Александрович почувствовал, что как будто успокоился настолько, что может рассуждать теперь вполне здраво и обстоятельно. Ни уезжать отсюда, ни покончить с собою он больше не желал.

Он сознавал это точно и определенно. Что бы ни было, он останется здесь до тех пор, пока вся эта путаница выяснится.

Но для того чтобы путаница выяснилась, необходимо было действовать, что-нибудь предпринять. Сидя же в одной комнате перед подносом с пустою тарелкою из-под бутербродов, ничего, конечно, нельзя было добиться.

Проворов встал и храбро пошел к двери.

Он вошел в коридор и хотел было покричать слугу или вообще позвать, чтобы откликнулась какая ни на есть живая душа, но не сделал этого, боясь нарушить царившую тишину и обеспокоить ту, которая незримо для него была где-то здесь поблизости. И он счел за лучшее просто опять потихоньку пройти по коридору, на крыльцо, в расчете, что, может быть, по возвращении и в третий раз найдет что-нибудь новое в комнате. Ему уж это понравилось.

Проворов медленно направился по коридору, но затем быстро высунулся только в наружную дверь и сейчас же стремглав кинулся к себе назад. Он хотел своей поспешностью поймать в комнате того, кто был там в его отсутствие.

Однако, влетев в комнату как бешеный, он таки никого не поймал там. Очевидно, теперь уж никто и не заглядывал сюда без него, потому что и лампа, и поднос с пустой тарелкой, и графин — все стояло на прежнем месте, как он оставил.

Сергею Александровичу стало стыдно за свою уловку, почти равную мальчишеской выходке.

Но топтаться на одном месте было скучно, и когда, наконец, Проворов увидел в коридоре большого, здоровенного гайдука, то очень обрадовался этому живому человеку, тем более что гайдук шел именно к нему и знаками стал показывать, чтобы тот следовал за ним. Это был румын, не понимавший или не желавший понимать по-русски, но очень дружелюбно улыбавшийся и почтительно кланявшийся.

Видно было, что к Проворову тут враждебных чувств не питали. Он последовал за румыном, и тот провел его в другую от коридора сторону, через несколько богато украшенных комнат, в спальню, ту самую, где ночевал Проворов и где произошла между ним и доктором Германом сцена, закончившаяся не совсем обычно, трагически.

Там, на знакомой Проворову постели, на высоко взбитых подушках, под белым пикейным одеялом, лежал Чигиринский, почти вовсе не изменившийся с тех пор, как Сергей Александрович видел его в последний раз под Измаилом. Только лицо его было бледное, и взгляд казался усталым. Он смотрел на приятеля, и его глаза улыбались.

Первым ощущением Проворова была радость, охватившая его при виде Чигиринского. Он протянул руки, и у него вырвалось:

— Ванька, так это и правда — ты?

— Тише, не растормоши меня! — ответил Чигиринский. — Мне надо лежать не двигаясь.

— Что с тобой? Что-нибудь серьезное?

— Вот это мило! Сам полоснул да и спрашивает!

— Ах да, ведь это я тебя! Но вольно же было тебе притворяться этим доктором! И не понимаю, зачем это? Как это ты мог оказаться доктором Германом, то есть доктор Герман — тобой? Это — что-то сверхъестественное и необъяснимое.

— погоди, об этом после... Мне нельзя много говорить... много крови вышло... я еще слаб.

— А что, разве правда — серьезно? Господи, если бы я знал только!

— Ну, уж что было, то было! Я сам виноват — слишком понадеялся на себя. Потом обо всем переговорим, и я тебе все расскажу, а теперь я позвал тебя, только чтобы сказать, что ты у меня в доме и можешь быть совершенно спокойным.

— Да что тут обо мне говорить. Рана у тебя неопасная? Кто тебя лечит? Есть у тебя доктор? Хочешь, я сейчас верхом съезжу за доктором? Скажи только куда.

— Ничего, брат, этого не нужно; что другое, а раны лечить в этих местах умеют без всяких докторов и даже гораздо лучше их. Тут ведь с незапамятных времен идет поножовщина с турками, и, слава Богу, научились и драться, и ухаживать за ранеными. У меня, в сущности, все оказалось пустяками, а тут и более серьезные случаи могли бы выходить.

— Да наверно ли ты знаешь, что рана у тебя неопасная?

— Знаю и уверен в этом. Лечить какие-нибудь там другие болезни здесь, конечно, не умеют, но всякие поранения здесь каждый старик сумеет безошибочно определить, а меня лечит один, известный на всю округу. Ну, прости, я устал! Поди пока к себе. Хочешь, тебя проведут в библиотеку? Возьми книги, а завтра, верно, уж у меня настолько будет силы, что я смогу побольше говорить.

IV

«Ай-ай-ай! Что я наделал! — говорил Проворов, хватаясь за голову и шагая по библиотеке, в которую его провели. — И надо же так, чтобы я не узнал его!.. Впрочем, он сам виноват!»

И, не стараясь уже распутать сплетшуюся паутину неразгаданного сочетания обстоятельств, Сергей Александрович стал мысленно в тупик еще перед новой загадкой относительно его принцессы, которую он считал своею грезой. Теперь он уже верил в действительность ее существования, так как ее записка была с ним, и, конечно, являлось невозможным, чтобы вся эта цепь событий, связанных с нею, до раненого Чигиринского включительно, виделась ему во сне.

Но если принцесса существовала на самом деле и жила в этом доме, то какое отношение она имела к Чигиринскому?

Этот вопрос все время вертелся у Проворова, когда он говорил с воскресшим так неожиданно приятелем, но боязнь быть нескромным удержала его. Почему знать? Может быть, принцесса не хотела, чтобы здесь, в доме, стало известно о ее записке, и ему было приятно думать, что эта записка является тайною между ними.

Но ведь принцесса в тот первый раз, когда он увидел ее в Китайской деревне, заговорила с ним, чтобы предупредить его относительно доктора Германа, чтобы он был осторожен; значит, она должна относиться к этому доктору недружелюбно, а доктор оказывается Чигиринским, а она живет в доме Чигиринского, то есть доктора Германа.

— Нет, тут можно с ума сойти! — произнес вслух Проворов. — Чем больше думаешь об этом, тем больше путаешься!

Библиотека была обставлена роскошно, как, впрочем, и все остальные комнаты, которые видел Проворов. Вдоль стен были шкафы с книгами, и их красные сафьяновые корешки с золотым тиснением красиво ровнялись по полкам, обрамленные вычурными стеклянными дверцами. На шкафах стояли бюсты греческих философов, посередине находился покрытый темно-зеленым сукном с шелковой бахромой стол, освещенный висячей лампой под зеленым тафтяным абажуром, на столе лежало несколько книг, вынутых из шкафа и оставленных здесь.

Проворов взял одну, лежавшую отдельно, и стал перелистывать ее. Это был том сочинений Мармонтеля, которые Проворов уже читал. Но времени у него было более чем достаточно, и он все равно, Мармонтеля так Мармонтеля, стал читать со середины.

Углубившись в чтение, Сергей Александрович незаметно для себя пробежал несколько страниц, машинально переверачивая их, как вдруг его внимание было привлечено золотообрезным листиком бумаги, выпавшим из книги. Листик был исписан мелким, бисерным почерком, который он сейчас же узнал. Глаза его впились в написанное, и у него не было даже колебания, можно или нельзя читать, он не успел даже подумать об этом. Почерк был несомненно принцессы, эти книги были оставлены, вероятно, ею, и, очевидно, исписанный листок был забыт ею в книге. Проворов стал читать, потому что иначе и не мог бы поступить.

«Он сегодня приехал, — читал он, — живой и здоровый; я не ожидала, что так обрадуюсь этому. Конечно, я

ехала из Петербурга, чтобы увидеть его, но не знала, что приближение свидания заставит мое сердце так биться. Когда я ехала, то не знала, жив ли он; последнее сведение, которое я имела о нем, было из-под Измаила, до того, как эта крепость пала. Я знала, что они все будут участвовать в штурме, потому что Воронежский гусарский полк был послан на помощь в распоряжение Суворова. Когда я узнала теперь, что все благополучно и он невредим, то очень обрадовалась; но это было совершенно не то, что я чувствую теперь, когда он приехал сам и мы находимся с ним под одной крышей. Сознать это мне и странно, и почему-то страшно. Я еще не видала его — он приехал ночью — и не могу себе представить, что вот он сегодня войдет, поздоровается и будет, как все. Мне кажется, что он должен быть совсем особенным и все делать необычайно. Неужели мы с ним будем говорить о погоде, о дороге, об удобстве или неудобстве экипажа? У меня захватывает дух, когда я только думаю об этом. Я знаю, что все это — глупости, что я, конечно, выдержу себя и виду не покажу: но для этого нужно пережить внутри себя все, чтобы быть готовою, а в моих письмах к тебе я переживаю именно те чувства, которые хочу скрыть от всех других. Пока оставляю перо: скоро придут звать меня к завтраку. Ах, милая Лиза, сколько нового и прекрасного я узнала о нем! Это — настоящий герой, и его любовь столь возвышенна, что далеко превзошла границы земного. После нашего свидания буду продолжать».

Несомненно, это было начатое письмо, писанное к неведомой Лизе, которую принцесса называла «милой» и которая поэтому была мила и Проворову.

Лиза, конечно, была мила. Но кто был этот «он», о котором шла речь в письме?

«Очевидно, это — Чигиринский!» — решил Сергей Александрович сразу, и ревнивое чувство откуда-то из глубины всплыло наружу.

Но Чигиринский был ведь под видом доктора Германа, неужели же доктор Герман является героем? Да нет же! Ведь она сама же предупреждала его, Проворова, относительно доктора!

«Но внушение! Внушение!» — вдруг вспомнил Сергей Александрович, как будто начиная понимать.

Ведь Чигиринский сам в оставленной рукописи признавался, что имел поразительный дар внушения и мог заставить каждого переживать и видеть все, что ему было угодно.

«Мне он внушал, чтобы я грезил принцессой, а ей мог внушать, чтобы она грезила им самим, хотя бы под видом доктора Германа, — соображал Проворов. — Фу, как все это неприятно и даже мерзко! Но хуже всего то, что я прочел чужое письмо. Просто отвратительно! И поделом мне, не читай другой раз чужих писем! Теперь все стоит вверх дном... Зачем я, в самом деле, читал? Вот оно выходит, что правильно говорится, что всякий дурной поступок несет сам в себе и наказание».

И Проворов ужаснулся той нравственной бездне, в которую, ему казалось, он попал. Вчера в пылу гнева он нанес рану человеку, которого считал своим злейшим врагом, и человек этот оказался его другом. И вышло, что под видом врага он чуть не убил своего единственного преданного друга. А сегодня он дошел до того, что прочел письмо, и вот теперь должен раскаиваться в этом.

Теперь, в эту минуту, Сергей Александрович желал лишь одного, чтобы перед ним явилась принцесса и он мог признаться ей в своей гнусности (иначе он не мог назвать свой поступок), а затем будь что будет!

Он поднял глаза и посмотрел на дверь, точно его толкнуло что-то.

В дверь библиотеки входила та, которую он называл принцессой.

V

Говорят, что, когда чего-нибудь желаешь всеми силами души, оно непременно случится. Так случилось теперь и с Проворовым. Он увидел, что принцесса входила в библиотеку, где он сидел, как раз в ту минуту, когда он желал этого, но, увидев, сейчас же подумал:

«Нет, лучше не надо! Я не могу признаться ей, что прочел ее письмо... это ужасно!»

Должно быть, у него в этот миг было очень изменившееся лицо, потому что принцесса остановилась и почти испуганно взглянула на него.

— Простите меня, — заговорил он, — но я не имею права... говорить с вами... то есть, напротив, я хочу вам сказать... Впрочем, может быть, я опять вижу вас только во сне, в сновидении?

— Ах да, — сказала она, — брат рассказал мне все, как вы меня видели во сне, внушенном им, и как он устроил тогда нашу встречу в маскараде у Елагина!

«Брат? — соображал Проворов. — Какой брат, о каком брате она говорит?»

— О каком брате вы говорите? — произнес он вслух. — Нашу встречу в маскараде устроил Чигиринский... у него был и костюм готов для меня.

— Ваш Чигиринский и есть мой брат! Я думала, он уже сказал вам об этом.

— Он ничего не говорил мне, — произнес Сергей Александрович, а у самого в ушах так и звучал ее чудный голос: «Брат, брат... ваш Чигиринский и есть мой брат».

Так вот оно что!.. И как это просто, и как он сам не мог догадаться об этом? Ведь иначе и быть не могло: если она находится теперь в этом доме Чигиринского, то лишь потому, что он — ей брат; это должно быть известно малолетнему ребенку, а он не мог ничего понять.

— Нет, он ничего не говорил мне, — повторил он. — Но, наверное, он и вам ничего не говорил.

— О чем?

— О том, что ведь это я ранил его вчера... вы знаете это? Я виноват... Теперь он мучается, и я этому виною.

Лицо принцессы перестало улыбаться, но глаза смотрели по-прежнему радостно и счастливо.

— А вы очень тревожитесь за моего брата, вы очень любите его? — спросила она.

Проворов захлебнулся от счастья.

— Люблю ли я его? Разве можно об этом спрашивать? Ведь если б я мог только предполагать, что доктор Герман — он...

— А вы ничуть не узнавали его под видом доктора? Я тоже долгое время не узнавала; только потом он открылся мне, когда убедился, что я не болтлива и могу, когда нужно, помогать ему.

— Можете вы ответить мне на один вопрос? Если нет, то так и скажите, просто и прямо.

— Хорошо, спрашивайте!

— Что, тогда, в Китайской деревне, когда вы предупредили меня относительно доктора Германа, вы знали уже, что этот доктор — видоизмененный ваш брат?

— Знала. Он мне сам велел сделать это. Он сказал, что вы пройдете мимо окна и что я должна отворить окно, окликнуть вас и предупредить.

— Но он незадолго перед этим сам разговаривал со мной под видом доктора.

— Да, и, вероятно, не хотел обманывать вас, то есть боялся, что его обман зайдет слишком далеко. Впрочем,

он лучше сам расскажет вам все, когда силы вернутся к нему.

— А вы уверены, что это будет, что он выздоровеет? Опасности никакой нет?

— Нет, никакой! Рана неглубокая, в сущности, повреждена только кожа. Крови вышло много, и он ослабел; все-таки, вероятно, будет лихорадка.

— А теперь ее нет?

— Нет, он спит только.

— Так, значит, я видел вас живую там! — воскликнул Проворов. — Китайская деревня не была сном, а ваш брат в рукописи, оставленной им мне, писал, что вы были для меня только грезой, несбыточной мечтой.

— А мечта, однако, сбылась.

— Да, но лучше бы, пожалуй, чтобы... не сбывалась.

— Вот как? Почему же? — с оттенком даже легкого испуга спросила принцесса.

— Потому что... Потому что... Я не достоин видеть вас.

— Это вы все мучаетесь по поводу брата? Но ведь все оказалось к лучшему, то есть я хочу сказать, что и во всяком дурном есть также и хорошая сторона. Рана, слава Богу, легкая, и опасности нет, но зато вы узнали, что мой брат жив и скрывается под видом доктора Германа, и он как бы воскрес для вас.

— Не понимаю, зачем это ему понадобилось! — сказал Проворов и подумал: «И она же утешает меня».

— Очевидно, иначе нельзя было, — пояснила она. — Конечно, на то были серьезные причины.

— Но все-таки он ведь обманул меня, — проговорил Проворов и сейчас же вспомнил, что не ему, вероломно прочитавшему чужое письмо, говорить о том, что кто-нибудь обманул его. — Впрочем, нет, — подхватил он вслух, — мне нельзя так говорить, я сам сделал ужасную вещь.

— Вы начинаете тревожить меня. Что сделали еще вы?

— Я... я прочел ваше письмо, — выговорил через силу Проворов и закрыл лицо руками.

Ему казалось, что все погибло и возврата к возможности счастья нет.

— Какое письмо? — переспросила принцесса с искренним удивлением.

— Вот это... этот листок... — И Сергей Александрович дрожащей рукой передал ей найденный им в книге листок, исписанный ее рукой.

Чигиринская еще раз удивленно посмотрела на Проворова и, грустно покачав головой, укоризненно произнесла:

— Зачем вы сделали это?

— Простите, я люблю вас! — вырвалось у Проворова совершенно помимо его воли, словно это говорил не он, а совершенно другой, посторонний ему человек.

«Сейчас она возмутится моей дерзостью и с негодованием отвергнет меня», — решил он.

Но принцесса не отвергла, не ахнула, не убежала, как это сделала бы жеманная барышня, а, услышав вырвавшееся у него невольное признание, которым он хотел оправдать свой поступок, просто и откровенно ответила:

— Я это знаю.

Дрожь, как от озноба, пробежала по всему существу Проворова.

— Вы это знаете и говорите это мне?

— Да, знаю, и знаю от брата, что ваша любовь ко мне подвергалась испытаниям и выдержала их, преодолела соблазн, и это в то время, когда вы считали меня только мечтою. Я думаю поэтому, что ваша любовь не изменится ко мне теперь, когда мы встретились наяву.

С этими словами принцесса протянула Проворову руку.

— Да что ж это, что ж это? — бессвязно залепетал он, припадая губами к ее руке. — Что ж это? Если это — не сон, то это — другой, райский мир. На земле не может быть такого счастья... не может быть... Вы — ангел... Да, на земле не может быть счастья, — повторил он и, отпустив руку девушки, грустно поник головой.

У него было такое страдальческое лицо, что ей стало жалко его.

— Что еще? В чем дело? — спросила она.

— Все то же письмо, этот листик, — вздохнул он. — Там вы пишете о ком-то, который вам дорог.

— Глупый, ведь это же я писала о вас!

Обе руки принцессы теперь протянулись к Сергею Александровичу, и в тихой, уютной библиотеке, озаренной зеленым полусветом лампы, родился девственный поцелуй и несколько секунд жил, замирая, и две души, разделенные, соединились в одну, чтобы не расставаться навеки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Имя ее было Елена, и Проворову, разумеется, казалось, что лучше, благозвучнее этого имени нет на свете. Ему чудилось даже, что всегда, с самого детства, он только и любил это имя и из всех женских имен только оно и нравилось ему.

Чигиринский был еще слаб, и они не сообщали ему о своем объяснении, но между ними в те несколько дней, пока здоровье Ваньки шло на поправку, было все переговорено и обсуждено.

Кроме брата, у Елены не было близких родных; отец и мать умерли давно, и Чигиринский заменял ей всех. В Петербурге она держалась в стороне от большого общества, была на положении еще маленькой и не выезжала в большой свет, где мог бы видеть ее Проворов или вообще молодые люди. Товарищам же Чигиринский никогда не говорил о сестре, потому что полк с его интересами, и если не грубостью, то, во всяком случае, суровостью, был другим миром, далеким от Елены.

Однако Елена иногда любовалась издали и на блестящие парады, карусели, и на кавалькады офицеров и некоторых из них знала по рассказам брата. Проворова она отличала давно и знала его в лицо, а затем ей пришлось заговорить с ним; и из всего, что она потом узнавала о нем по бесконечным рассказам брата о приятеле, она убеждалась, что он любит ее и его любовь беззаветна. Мало-помалу Проворов с его влюбленностью в нее, как в сновидение, стал казаться ей совершенно исключительным человеком, идеальным, выше обыкновенных людей.

Она, конечно, не могла разобрать, что он просто понравился ей с первого же взгляда и что все остальное было лишь развитием того первого толчка, который, как бы по предопределению, свивает жизнь двух людей иногда удачно, а иногда и нет.

Словом, когда им пришлось встретиться, их чувства друг к другу были настолько развиты мечтательностью, что только и могли разрешиться соединением двух сердец. Но им все это казалось гораздо более знаменательным, из ряда вон выходящим, неземным, небывалым.

Они удивлялись, как это они так понимают друг друга, и думали, что, очевидно, их единение на земле было уготовано в предвечные времена, когда на земле еще не было

людей и только души человеческие витали в необъятном пространстве мира. Мир являлся для них гармонией, и в этой гармонии они сливались.

И еще, и еще говорили они и находили новые подтверждения тому, что им нельзя было не встретиться, так как тогда и мир не мог бы существовать.

Они были счастливы, и в этом счастье весь мир заключался в них самих и потому весь мир казался им счастливым. Они воображали, что никто раньше не испытал ничего подобного, и не только не испытал, но даже и понять не в состоянии, так глубоко все это. Они были уверены, что с полной серьезностью хранят свою великую тайну мироздания и иногда только значительно и проникновенно обмениваются взглядами, на самой же деле их лица радостно улыбались наивно, блаженною улыбкою, и больной Чигиринский с первого же взгляда на них догадался, что они объяснились, в первый раз поцеловались и, как все влюбленные, переживают глупое, но радостно-счастливое время просветленной взаимности.

Впрочем, действительно, внешнее положение их влюбленности для того времени было не совсем так, как у всех. В богато обставленном, роскошном и уютном доме Елена, не неся никаких забот и обязанностей, была полной хозяйкой, то есть могла распоряжаться всем, как хотела, и, главное, самой собой и своим временем. Они целые дни или сидели у постели Чигиринского, или вдвоем в библиотеке, и никто им не мешал, не было строгих глаз, которые бы молча, настойчиво следили за ними.

Особенно приятны были для них обеды и завтраки в столовой, где весело трещал камин и подавались самые вкусные вещи с обилием сластей, до которых и Проворов, и Елена были большими охотниками.

— Как это все случилось и почему, я не понимаю! — сказал однажды Сергей Александрович. — Но я рад, что случилось так, а не иначе, и мне даже теперь не хочется узнавать подробности, так все хорошо и отлично.

— Нет, а мне напротив, — возразила Елена. — Конечно, мне многое известно, но подробностей я не знаю, и мне хочется узнать все. Отчего, например, брат тогда знал, что вы придете именно в Китайскую деревню, и был так уверен в этом, и подробно объяснил, что я должна была сказать?

— Но ведь о розах он ничего не говорил... это уж вы сами?

— Да... о розах я сказала сама.

— Все это — судьба! — произносил Проворов и значительно покачал головой.

II

Через несколько дней здоровье Чигиринского стало совсем хорошо, и первым делом он был посвящен сестрой и приятелем в то, что между ними выяснены их чувства.

— Ну и слава Богу! — сказал он. — Я очень рад и всегда был уверен, что этим должно было кончиться.

Проворов при этом не упустил случая, чтобы значительно покачать головой, как бы говоря:

«Вот видите, и он согласен, что тут было высшее предопределение».

Ему страстно хотелось говорить с Ванькой о его сестре, и о самом себе, и о своем чувстве любви к ней, но Чигиринский заставил его серьезно выслушать свой рассказ с объяснениями его действий.

— Уж раз тебе известно теперь, что я и доктор Герман одно и то же лицо, так по крайней мере надобно, чтобы ты знал все, чтобы нам условиться и обдумать, как нам действовать дальше. Дело ведь очень серьезно, и, если мы не предусмотрим всего и не примем мер, это может грозить и тебе, и мне смертью.

— Я ничего не боюсь! — восторженно воскликнул Проворов.

— Подожди, не горячись! Я знаю, что ты ничего не боишься, но нам нужно быть осторожными ради нее. — И он показал на Елену.

— Да, ради нее... Конечно, тут нужна осторожность.

— Ведь этакая ты горячка! — продолжал Чигиринский. — У меня все было так хорошо налажено, так хорошо сцеплялось, и вдруг ты все испортил этой своей выходкой!

— Но почему же испортил? Ведь я зато нашел тебя, и ты как бы воскрес для меня, вернулся, и я встретился с Леной, — убедительно проговорил Проворов, не замечая, что повторяет ее слова, сказанные ею ему в утешение.

— Все это случилось бы и без того, но во благовремение, то есть тогда, когда это было можно и нужно, а теперь ты все спутал. Но погоди: что сделано, то сделано и прошлого не вернешь. Теперь слушай! Я начну с начала. Для того чтобы узнать тайны масонов, я уже давно вошел в их среду и, благодаря своей способности действовать внушени-

ем, достиг среди них, как обладатель высшей силы, высоких степеней. Я бывал за границей, там узнал всех верховных руководителей масонства и добился того, что был назначен главным тайным блюстителем всех лож в России. Наконец, было получено известие, что в Петербург едет доктор Август Герман, о котором я, как посвященный почти во все тайны братства, знал, что он — великий мастер. Я должен был встретить его в Петергофе в день его приезда, чтобы прямо оттуда привезти его в Царское Село на заседание девяти главарей масонства в России, нарочно съехавшихся для торжественной встречи великого мастера. Я знал, что он должен был привезти важные документы. Кроме документов, он привез известие о взятии Бастилии.

Я встретил его, мы обменялись знаками, и я сейчас же узнал, что это — человек большой силы и что недаром он избран великим мастером. До того мы не встречались.

Наша встреча произошла в подвале одного маленького масонского дома в Петергофе. Здесь мы могли говорить так, что никто не имел возможности подслушать нас. Такой скрытной уединенности потребовал от меня приехавший Герман, и я, обязанный повиноваться ему как старшему, тут же заподозрил опасность и насторожился.

Подвал был довольно обширный, приспособленный для масонских собраний, освещенный тремя восковыми свечами.

Едва мы вошли, Герман резко обернулся ко мне с протянутыми руками. Я почувствовал исходящий из него ток магнетизма, настолько сильный, что он, наверно, усыпил бы меня моментально, если бы я не был готов к противодействию. Явно было, что в подвале он рассчитывал лишить меня сознания внушением и заставить меня говорить в бессознательном состоянии.

Встретив от меня обратный ток, он удивился и постарался усилить свое влияние. Я в свою очередь делал усилия, чтобы заставить его потерять сознание. Между нами, так сказать, началась как бы дуэль или единоборство.

Мы боролись молча. На моей стороне было преимущество молодости, но Герман был гораздо опытнее меня, и ему были известны приемы магнетизации, которых я не знал и которые я воспринимал, как бы практически учась им. Это был для меня урок некоторых пассов, действовавших почти механически и впоследствии во многих случаях весьма успешно примененных мною.

Мне было тяжело, я изнемогал, но видел, что и моему противнику нелегко.

Вдруг он упал навзничь и остался недвижим. Я нагнулся над ним, думая, что он только побежден в борьбе магнетических токов, но должен был убедиться, что он мертв: сердце его не выдержало напряжения и разорвалось.

Признаться, я не ожидал такой развязки. Конечно, я мог взять бывшие при нем документы, которые он вез, и официально объявить о смерти приезжего. Врачи дали бы свидетельство, что он скоропостижно умер от разрыва сердца, но в таком случае мне нельзя было бы воспользоваться документами. Власти, разумеется, не заподозрили бы ничего, но масоны, ждавшие этих документов, сейчас же поняли бы, в чем дело, если бы их не оказалось при докторе Германе. И мне пришлось в голову другое: этого доктора никто не знал и никто не видел в Петербурге, и я решил разыграть его роль, привезти, будто бы это он, документы и затем проделать комедию их похищения, с тем чтобы самому же найти их.

— Как самому же найти? Зачем? — воскликнул Сергей Александрович.

— погоди! — вновь остановил его Чигиринский. — Не перебивай! Все будет понятно потом. Труп господина Германа я закопал тут же, в подвале, а сам, изменив лицо, то есть стянув кожу в морщины при помощи коллодиума, который всегда был со мной, и надев синие очки и платье доктора, сел в его дорожную карету и, выехав в Царское под видом знатного иностранца, попал прямо на заседание масонов, на которое я чуть было не опоздал.

Дальше известно тебе многое, но еще не все...

III

— Дальше, — перебил друга Проворов, — мне известно, что ты вместо того, чтобы представить эти документы куда следует, совершил целый ряд совершенно непонятных действий. Ну, хорошо, если уж так приходилось, что тебе нужно было взять документы с собой в действующую армию, то зачем тебе нужна была мнимая смерть под Измаилом? Зачем тебе нужно было оставлять эти документы мне и самому же их вместе с Тротото похищать у меня, с тем чтобы отправить за границу?

— Твое недоумение, — ответил Чигиринский, — лишь убеждает меня, что я действительно хорошо обдумал, если и ты, зная уже многое, не в силах догадаться, зачем нужно мне действовать так, а не иначе. Послушай, Проворов!

Подумай: если бы я поступил по-твоему и, как ты говоришь, препроводил документы куда следует, братство вольных каменщиков считало бы их утраченными для себя и, во-первых, сделало бы все возможное, чтобы найти их, и затем не пощадило бы ничего, чтобы противодействовать там, где это нужно, против сделанных путем документов разоблачений. Масоны объявили бы эти документы подложными, сплели бы целую сеть, и масонство всего мира поднялось бы ради самозащиты. А когда масонство всего мира подымется, против него, пожалуй, не устоять нам с тобой. Значит, для меня правильнее и выгоднее всего было взять поиски этих документов в свои руки, под видом доктора Германа, заверив братство именем великого магистра, что они будут найдены во что бы то ни стало.

— Но ведь это же был большой риск... даже громадный! Или ты уж так похож на этого доктора, что можешь во всех подробностях, до тонкости разыграть его роль?

Чигиринский усмехнулся и покачал головой.

— Я совершенно не похож на него. Но дело в том, что посвященные в высшие степени масонства почти никогда не бывают на людях в своем естественном виде, все равно как агенты сыска, а всегда под той или иной личиной. Доктор Герман, явившись в Россию, тоже принял на себя личину, которую он мог видоизменить в случае надобности: значит, немудрено, если я выдавал себя за него и в ином виде! Важно было то, что документы пропали и я их отыскиваю в качестве доктора Германа. Сомневающихся же должны были убедить опознательные знаки, которые все мне известны, и, главное, сила, которой я обладаю. Теперь слушай! Во время нашего долгого пути я самым тщательным образом скопировал все документы, работая над этим по ночам.

— А я думал, что ты пишешь свой дневник! — сказал Проворов.

— Нет, я упражнялся в копировании и после долгой работы и многих неудач добился того, что в совершенстве воспроизвел доставшиеся мне масонские бумаги... Понимаешь теперь?

— Нет, ничего не понимаю! — искренне ответил Проворов.

— Это оттого, что у тебя мысли другим заняты! Ну да уж что с тобой поделаешь! Моя подделка была готова как раз под Измаилом, и в ночь накануне штурма я написал рукопись, которую оставил тебе вместе со скопированными документами.

— Что же ты сделал с подлинниками?

— Ну, как ты, брат, думаешь, что я сделал с подлинниками?

Проворов ударил ладонью по лбу.

— Понимаю! Подлинные документы остались у тебя?

— Ну, разумеется, догадался, слава Богу! Видишь ли, когда у меня документы были готовы, я дал знать представителю масонства под Измаилом камер-юнкеру Тротото, что местонахождение их известно, то есть что они у секунд-ротмистра Чигиринского. По правде сказать, я не ожидал, что этот щупленький и ничтожный Тротото окажется глубоко преступной натурой, способной на крайние мерзости. Ты помнишь историю с нашим отравлением?

— Помню.

— Ну, так после этой истории я окончательно убедился в необходимости обезопасить нас с тобой как можно скорее, потому что одного глупого Тротото было достаточно, чтобы не быть спокойным за наше существование. Но в братстве могли найтись люди и поумнее его, и вместе с тем не менее решительные, чем он. Теперь план у меня был таков: после штурма Измаила я исчезаю как без вести пропавший...

— Но ведь нашли твой обезображенный труп?

— Ну, он, должно быть, был сильно обезображен, и уж в этом я неповинен! Впрочем, после каждого кровопролития случаются такие ошибки! Все равно, я пропал без вести, но вы даже нашли мой труп, и я исчез.

— Вместе с подлинными документами?

— Ну, разумеется! Ты хранишь подлинные копии и делаешь это совершенно искренне, потому что уверен в их подлинности.

— Но отчего же ты не рассказал мне раньше всего этого? Я сумел бы сохранить тайну, но по крайней мере не переживал бы горя при твоей смерти!

— Милый мой, в масонском братстве есть люди, которые читают в мыслях у таких неопытных, как ты, и ты мог бы выдать, сам того не зная, поэтому необходимо было, чтобы ты совершенно искренне разыгрывал свою роль.

— Неужели Тротото может читать в чужих мыслях?

— Нет, он едва ли. Но, может быть, возле тебя был кто-нибудь из тайно посвященных. Под видом доктора Германа я всё время сберегал тебя и, сказав камер-юнкеру, что он своею жизнью отвечает мне за твою жизнь, направлял его. Однако ты хранил порученное тебе не без хитрости и остроумия. Эта твоя выдумка с баулом Малоземовой была недурна, и, конечно, Тротото попался бы и, вдавшись в

обман, потерял бы след. Но тогда к тебе приставили бы более опытного. Необходимо было разрубить гордиев узел, и я завлек тебя с Малоземовой сюда и распорядился с твоим баулом, зная, что потом, когда я откроюсь тебе, ты ничего не будешь иметь против этого.

— Да, теперь-то, конечно, я ничего не имею.

— Ну, еще бы ты имел что-нибудь против, когда дело шло о твоём же спокойствии и безопасности! Ведь теперь, когда документы, или, вернее, копии с них, господин Тротто привезет заграничным заправилам-масонам, они успокоятся на том, что серьезная улика против них исчезла, так как они получили назад документы, обличающие их. Они будут хранить их за девятью замками и семью печатями где-нибудь в тайнике старого рыцарского замка и не только перестанут преследовать тебя, но и забудут обо мне, как об убитом под Измаилом Чигиринском. Теперь мы в безопасности, можем сохранить подлинные документы и, выждав удобный момент, представить их в полном секрете, так что никто из братства и подозревать не будет, что песенка масонства в России навсегда спета. Надеюсь, что эти документы сохранятся в тайных архивах Петербурга и будут известны только тем, кому это будет нужно.

IV

— Все это хорошо, — сказал Проворов, — но как же теперь быть с доктором Германом? Ведь надо же как-нибудь его...

— Ликвидировать? — подсказал Чигиринский. — Это было бы очень легко, не вмешайся ты со своим ножом.

— Да уж будет... не упрекай его! — тихо остановила Елена, присутствовавшая при разговоре. — Он и без того, — показала она на Проворова, — достаточно мучается этим!

— Да я не упрекаю, а только говорю, — возразил Чигиринский. — У меня все это было обдуманно и налажено. Доктор Герман должен был отправиться в Крым и там исчезнуть, причем на берегу моря были бы найдены его шляпа и трость и стало бы известно, что он утонул, причем все полицейские формальности были бы, конечно, соблюдены и память о нем канула бы в Лету, затем появился бы на свет Божий Чигиринский, и все вошло бы в обычную колею!

— Ну а этот дом, а это поместье? — спросил Проворов.

— Этот дом и это поместье куплены на имя сестры и брата пропавшего без вести под Измаилом Ваньки Чигиринского, тоже Чигиринского, Клавдия, как две капли воды похожего на Ваньку, с которым они — близнецы, и от всей души сокрушающегося об утрате горячо любимого им Ваньки.

— А у тебя действительно существует такой брат?

— Нет, только на бумаге, но зато бумаги все эти в порядке, и, чтобы достать их, мне пришлось немножко раскошелиться. Законной же хозяйкой всего этого состояния считается одна Лена.

— Хорошо! Так ведь в сущности ничего не изменилось!.. Ну что ж? Ну, тебя здесь знают под именем Клавдия Чигиринского, но ведь все это не мешает в один прекрасный день прибыть доктору Герману со всеми его документами в Крым и там утонуть с оставлением шляпы и палки на берегу моря.

— Да, видишь ли, здесь-то меня под видом доктора Германа никто и никогда не видал! У меня тут такой обычай, что, когда я приезжаю, никто не смеет показываться мне и готовый ужин ждет меня в столовой на столе. Так и на этот раз: я приехал с камер-юнкером Тротото в облиии доктора Германа, и никто не знал об этом, потому что мы, никем не встреченные, прошли прямо в столовую, а затем в свои комнаты. Знали только, что приехал хозяин, и больше ничего. Ночью в темноте слышали мой голос, а утром видели меня в своем виде. Для тебя я нарочно опять переоделся в доктора; думал убедить тебя, а в крайнем случае просто заставить внушением или забыть о пропаже у тебя документов, или отнестись к этому спокойно, как к событию совершившемуся и непоправимому. Но ты пырнул меня ножом. В последнюю минуту я успел дать тебе знак, и ты упал без сознания, но я сам свалился, нас поднимали люди и видели, что я был переодет.

— Нет, этого никто не видел, — перебила Елена.

— Как никто не видел? — удивился Чигиринский. — Как же тогда все это произошло?

Елена опустила глаза и, в смущении понижая голос, проговорила:

— Я стояла за дверью потайного входа...

— И слушала наш разговор?

— Мне хотелось слушать его голос... И кроме того, я словно предчувствовала что-то недоброе. Я не успела показаться вовремя, и, когда выскочила из-за двери, вы уже оба

лежали на полу. Я, не раздумывая, как бы по чутью, что надо было делать, схватила твой упавший парик, сняла с тебя очки и позвала на помощь людей, сказала им, что барин случайно ранен. Мы положили тебя на постель тут же, а Сергея отнесли в его теперешнюю комнату.

Елена в первый раз назвала Проворова просто Сергеем, и это было так прелестно, что он в эту минуту забыл обо всем и восторженно глядел на нее.

— Да, вы прочли мое письмо, — обернулась она к нему, — а я подслушала ваш разговор! Значит, мы с вами квиты.

— Какое письмо? — поинтересовался Чигиринский.

Елена и Проворов потупились и покраснели. Относительно прочтенного письма им обоим и не хотелось, и совестно было рассказывать.

— Это ничего, так!.. Там одно письмо... — уклончиво сказала Елена.

— Да, это так, — сказал и Проворов, отворачиваясь.

— Я сама вымыла тебе лицо, — поспешила продолжить свой рассказ Елена, — и уничтожила все твои снадобья; так что, когда явился лекарь, никаких следов твоего переодевания уже не оставалось.

— Вот это хорошо! — похвалил Чигиринский. — Таким образом, все обстоит благополучно и ничто не нарушено. О приезде сюда доктора Германа знает только один Тротото, но он теперь далеко, вероятно за границей.

— А если он вдруг почему-нибудь замешкался и вернулся?

— Не думаю... А впрочем, мы, вероятно, скоро получим от него известие.

V

Весь проведенный Чигиринским план действий Проворов, конечно, одобрял и мог только удивляться поистине исключительной находчивости приятеля, с которой тот обставил это сложное и вместе с тем опасное дело.

Действительно, лучше нельзя было и придумать.

Масонская организация никогда не узнает, что изобличающие братство документы вовсе не хранятся в его хранилище, содержимое которого полностью известно только особам исключительно высокого положения. А масонство станет действовать в гордом сознании, что его тайны никому не известны.

Все это было хорошо, но во всей этой истории Проворов не мог уяснить себе, зачем понадобилось Чигиринскому столь необыкновенно скрывать от него Елену и вообще окружить свою сестру не совсем обычным для молодой девушки ее круга образом.

И, улучив минуту, когда они остались с Чигиринским вдвоем, он без всяких экивоков, прямо спросил его:

— Скажи, пожалуйста, зачем ты так беспощадно испытывал мое терпение относительно твоей сестры и, в сущности, всячески мешал, чтобы мы свиделись, пока сама судьба не свела нас?

— Вот видишь ли, уже в самом твоём вопросе, в сущности, есть и ответ, — произнес Чигиринский. — Ты верно сказал, что я испытывал, но не столько твоё терпение, а и самого тебя! Сказать тебе по правде, я на своём веку не видывал ни одного счастливого брака и потому, когда Лена осталась у меня на руках и я стал ответствен всецело за её дальнейшую судьбу, положил себе сделать всё возможное, чтобы оградить её от несчастья и устранить от неё всех претендентов, которые могли бы явиться, потому что никого на свете не считал достойным её.

— Это ты прав! — воскликнул Проворов. — Это верно!

— Поэтому, — продолжал Чигиринский, — я не выводил её в свет, да, кстати, она и молода была очень, но, конечно, старался доставить ей возможные развлечения. Из всех же принадлежащих к петербургскому обществу людей она знала только тетушку Аглаю, у которой гостила иногда в Царском Селе, в Китайской деревне.

Проворов стремительно вскочил со своего места и с видом опытного мореплавателя, неожиданно для себя открывающего Америку, проговорил:

— Так вот оно что... так Аглая Ельпидифоровна Малоземова — её тетка?

— Ну да, — подтвердил Чигиринский, — потому-то ты и увидел Лену в окне домика, где жила Малоземова, и потому-то и произошло всё это недоразумение со старой фрейлиной.

— Ах, как это глупо и вместе с тем великолепно! — воскликнул, хохоча, Проворов. — Ну, хорошо! Но зачем же тогда ты устраивал это наше свидание в маскараде у Елагина?

— Да ведь что поделаешь!.. Лена сама попросила меня.

— Она сама попросила, чтобы нам увидаться?

— Да, и я не мог отказать ей в этом, потому что это было бы похоже на насилие, имеющее характер запрета. И

потом, если уж выбирать Лене кого, то пусть лучше, думал я, будешь ты.

Проворов, растроганный, со слезами на глазах, полез целоваться с Чигиринским. Он, правда, хотел бы как-нибудь совсем по-особенному выразить чувства, в настоящую минуту бушевавшие его, встать на голову, что ли, или перепрыгнуть через стену, но на самом деле мог только обнять своего приятеля и крепко стиснуть его.

— Тише ты! Задушишь! — освободился тот. — Я ведь только говорю, что из всех зол ты для Лены, может быть, наилучшее, но все-таки — зло! Само собою разумеется, что я все-таки хотел оградить ее и от тебя и потому совершенно не покровительствовал вашему сближению и ничего не делал для него. Но тебя мне все-таки было жаль, и, когда нам пришлось расстаться, я написал тебе, что Лена была для тебя мечтою, сновидением, чтобы успокоить тебя и остудить твой пыл и молодую горячность. Я никак не ожидал, что ты останешься верен ей даже как мечте и выдержишь даже такое испытание, какое приготовил тебе этот Тротото в Бендерах после бала у светлейшего. Узнав о твоей стойкости, я волею-неволею должен был признать, что ты любишь Лену совсем исключительно, и это дает мне уверенность, что ты сделаешь ее счастливой.

Проворов хотел распространиться о том, что приложит, дескать, все старания, но он молча сидел и смотрел перед собой как замороженный, чутьем сознавая, что говорить тут не нужно.

На дворе в это время послышалось движение, раздалось хлопанье бича и звонкая труба почтальона проиграла торжественный сигнал.

— Что это такое? Кто-то приехал? — нахмурился Чигиринский и, встав, подошел к окну. — Я никого не жду. Неужели опять какой-нибудь посетитель, свернувший к нам с большой дороги?

На двор въезжал огромный, обвешанный сундуками и баулами дормез.

— Батюшки! — всплеснул руками Проворов, подходя тоже к окну и узнавая экипаж. — Ведь это — фрейлина Малоземова!

— О ней-то мы и забыли! — как бы с какой-то безнадежностью вырвалось у Чигиринского. — А ведь, чего доброго, она может нам помешать! Ведь она не подозревает, что Лена у меня и что я жив и разыгрываю для посторонних своего отсутствующего брата-двойника. А ведь она —

единственная наша родственница и одна только и знает, что у меня никогда никакого брата не было.

— Дело выходит пренеприятное, — согласился и Проворов, раздумывая и напрасно сияясь найти какой-нибудь выход.

А на дворе в это время уже ураганом выскочила из дормеза приживалка Нимфодора и во всю мочь кричала. В ворота же въезжали верхом казаки.

— Это совсем уж глупо! — даже с оттенком тревоги произнес Чигиринский. — Поди узнай, в чем там дело! — сказал он Проворову. — Очевидно, они явились спасать тебя, и один твой вид успокоит их. Ни обо мне, ни о Германе ничего не говори. Ври что знаешь... потом разберемся.

Проворов поспешил по знакомому ему коридору на крыльцо и, выйдя, должен был убедиться, что предприимчивость старой фрейлины и ее приживалки зашла слишком далеко. У казаков был решительный вид, а Нимфодора неистово кричала:

— На абордаж!.. На приступ!.. Взять это разбойничье гнездо... Моя госпожа, фрейлина Малоземова, все доложит светлейшему! Здесь, в этом доме, убили гусара ее величества, господина Проворова.

Увидев выходявшего на крыльцо Сергея Александровича, она вдруг осеклась, присела и замолкла, потому что рот ее раскрылся от удивления и неожиданности, а глаза устали неподвижно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тысяча семьсот девяносто шестой год застал Проворова счастливым супругом Елены, отцом двух детей, из которых старшему уже приходил к концу пятый год, и владельцем большого поместья в благословенном крае южного берега Крыма.

Женившись на Елене, Сергей Александрович вышел в отставку и, получив на льготных условиях землю во вновь утвержденном за Россией владении, сделался одним из первоборников русского землевладения среди местного мусульманского населения.

В этой новой для него деятельности было много увлекательного, были широкий размах, борьба и творчество, и эта борьба и творчество не позволяли опускаться и зарастать обыденщиной.

Женился Проворов не совсем обычным образом, и его Лена не была похожа на остальных женщин, и он для своей принцессы хотел создать совсем особенную, сказочную обстановку.

Дом у него был на скале, в виде осененного кипарисами восточного замка. Прислуга ходила в роскошных азиатских одеждах. Комнат было немного, но отделаны они были с азиатскою и вместе с тем чисто европейскою, парижскою роскошью. Восточные ковры, кубки и курильницы, и парижская мебель, и ткани, и бронза.

Никаких знакомств Проворовы не вели, и если случилось им принимать официальных лиц или заглядывал к ним какой-нибудь сбившийся с пути проезжий, то эти гости переносились в сказочный мир «Тысячи и одной ночи».

Сергей Александрович был счастлив, как только может быть счастлив человек на земле. Он энергично делал свое дело, занимался землею, насаживал виноградники и разводил стада.

Проворовы жили своей особой жизнью, но все-таки известия извне доходили до них, и они следили за тем, что совершалось в мире, получали издававшиеся в Москве и Петербурге «Ведомости» и выписывали заграничные газеты.

О новостях из Петербурга им сообщала тетушка Аглая, довольно аккуратно присылавшая письма.

Тетушка Аглая, явившаяся в последний момент чуть было не помехой к свадьбе Проворова и Елены, сменила гнев на милость и благословила племянницу на замужество. Ей сказали тогда, что поместье и дом, в котором она ночевала по дороге, принадлежали Елене, которая, дескать, приехала из Петербурга после ее отъезда. То обстоятельство, что камер-юнкер Тротото уехал в бричке Проворова, исключительно свалили на самого Артура Эсперовича и объяснили Малоземовой его поступок тем, что, очевидно, он был пленен ею, а она этого не заметила или не хотела понять.

Старая фрейлина была этим очень польщена и волей-неволей утешилась.

Относительно же Проворова она со свойственной ей сентиментальностью ударилась в сторону жертвы и, вздыхая и томно закатывая глаза, говорила Елене, что браки — деяние неземное и что она отдает ей Проворова. Конечно, никто не может оценить достаточно высоту ее поступка, но они, девицы, то есть Елена и сама Аглая Ельпидифоровна, одни могут понять друг друга и заключить союз дружбы любящих сердец.

— Мы будем любить его вместе! — вздыхала тетушка Аглая.

Ей не перечили, но в Петербург ее все-таки отправили, и она согласилась, что любить можно и издали.

Эта ее любовь стала выражаться в бесконечных ее письмах, которые иногда даже не были лишены интереса, и из них Проворовы подробно узнавали, что происходит в Петербурге.

Венчались в Екатеринославе, в новом, только что отстроенном Потемкиным соборе.

На свадьбе Чигиринский, который в своем виде не показывался тетушке Аглае, присутствовал под именем доктора Германа.

Затем доктор Герман всплыл в последний раз уже в Крыму для того, чтобы утонуть недалеко от Севастополя. Там были найдены на берегу моря его вещи, и, согласно всем формальностям, было установлено, что явившийся в Севастополе проездом иностранный подданный доктор Август Герман «несчастливо погиб через потопление», о чем и составлен надлежащий протокол с соответствующим подписанием и наложением казенной печати.

Чигиринский путешествовал за границей под именем Клавдия вместе с графом Алексеем Орловым и, между прочим, присутствовал при встрече последнего со знаменитым графом Сен-Жерменом. Он был в числе тех многих, при которых Орлов назвал графа Сен-Жермена отцом переворота 1762 года, возведшего Екатерину II на российский престол.

В обществе того времени ходили слухи, что через графа Сен-Жермена масоны надеялись получить влияние на императрицу Екатерину, но их расчеты не оправдались, и исторические данные показывают, что братство вольных каменщиков употребило все усилия, чтобы заинтересовать цесаревича Павла Петровича, действительно имевшего склонность ко всему таинственному и мистическому, так что были полные основания к тому, что с его воцарением масонство приобретает в России влияние и могущество.

Весть о смерти Екатерины Великой разнеслась очень быстро по России, и почему-то сразу молва оказалась неблагоприятною для Павла Петровича. Говорили, что вот скончалась государыня, которая была добрая и великая, а новый государь будет очень суров и несправедлив. Очевидно, кто-то умышленно старался о распространении подобных слухов, потому что ведь, в сущности, никто не мог знать, каким будет государь Павел Петрович.

Не следует забывать, что со смерти Петра Великого, если не считать кратковременных и несамостоятельных царствований Петра II и Петра III, Россией правили в течение трех четвертей столетия женщины, так что после этого строгий режим нового императора, не терпевшего ни изнеженности, ни мечтательной расслабленности и требовавшего от каждого неуклонного исполнения долга, мог показаться тяжелым, в особенности для высших чинов и придворных, привыкших к полной распушенности.

Провинция была отголоском Петербурга; власти в провинции перетрусили, засуетились и, конечно, переборщили в своем усердии, наделав глупостей. Главное внимание было обращено на внешность, и стремление к мундирной муштровке дошло до того, что даже жены гражданских чиновников понашили себе платья с камзолами, украшенными шитьем и петлицами, присвоенными чинам их мужей.

В Проворове (так называлось крымское поместье Елены и ее мужа) все эти преувеличенные потуги выслужиться перед Петербургом вызывали невольную улыбку. Проворов знал императора Павла Петровича, не сомневался, что это — государь блажелательный, сильный волею и замечательный по своим душевным качествам человек, настоящий рыцарь долга и чести.

Со дня на день Сергей Александрович ждал приезда Чигиринского, который изредка наезжал к ним в Крым, обыкновенно летом, через Константинополь, по морю на корабле. Он гостил иногда подолгу, рассказывал о своих путешествиях и играл с племянниками, которым привозил чудные подарки.

На этот раз Клавдий — потому что бывший Ванька давно уже стал Клавдием — приехал несколько ранее, чем обычно. Весна была в полном разгаре, и розы цвели особенно пышно в садах у Проворова, имевшего особенное пристрастие к этим цветам. Целая долина была засажена розовыми кустами, и их нежный аромат наполнял воздух.

— Знаешь, — сказал Чигиринский, здороваясь, целуясь и обнимаясь, — много я на своем веку объездил мест и видал природных красот, но такого рая, как у вас тут, не видывал нигде! Каждый раз, как я приезжаю к тебе, как-то всегда по-новому чувствую прелесть этого уголка!

— В нынешнем году ты приехал раньше, — ответил Сергей Александрович, тоже радостный и довольный, — и потому застал наши розы в полном цвету.

— Чудные розы! — похвалил Чигиринский. — Кажется, никогда не уехал бы отсюда.

— Да кто ж тебе велит уезжать? Оставайся! Я буду крайне рад, а уж о Лене и говорить нечего.

— И рад бы в рай, да грехи не пускают!

— Что у нас тут рай — в этом я с тобой согласен, — усмехнулся Проворов. — Но какие такие грехи могут тебя не пускать сюда?

— Да не сюда не пускают, а гонят ехать дальше!

— Дальше? — изумился Проворов. — Ты от нас намерен ехать не назад, а дальше?

— Да, и чем скорее, тем лучше.

— Так что ты ненадолго к нам?

— До завтра самое позднее — послезавтра надо уж ехать.

— Ты с ума сошел? — воскликнули в один голос Елена и Проворов. — Ты шутишь?

— Нет, не шучу. Надо ехать как можно скорее в Петербург.

Проворов хотел было спросить зачем, но вдруг замолк, сообразив, в чем было дело.

— Ты хочешь везти...

— Тсс... — остановил Чигиринский, — условимся раз навсегда не говорить вслух об этом; в воздухе могут остаться звуки, и этот след звуков, пожалуй, будет услышан. Ну, что у вас дети? Здоровы? Все благополучно?

Был уже поздний вечер, переходивший в южную свежую лунную ночь, и дети уже спали. Проворовы повели приехавшего дядю к племянникам. Он их не будил и только полюбовался на них спящих. Потом ужинали, долго сидя за столом и разговаривая, а потом, уйдя к себе в спальню, Елена с мужем долго еще шептались.

Приезд Чигиринского и его слова о том, что нужно немедленно же ехать дальше в Петербург, напомнили Проворовым о том, что у них отошло уже в воспоминания и о чем они, счастливые своей жизнью, не думали.

Дело шло о документах, которые были спрятаны у них в замке, в нарочно устроенном для этого подвальном тайнике, высеченном в скале. Тогда же, когда их спрятали, было решено отвезти их в Петербург, когда взойдет на престол Павел Петрович, и передать ему, не лишившись возможности сделать это.

Теперь Чигиринский приехал, чтобы исполнить это, и Проворов не хотел отпускать его одного и считал своим

долгом сопутствовать ему, чтобы в случае нужды помочь и быть полезным.

Елена была убеждена, что она не вправе удерживать мужа, но не хотела отпускать его одного и твердо стояла на том, что вместе с детьми поедет тоже.

После долгого тихого шепота было решено всем ехать в Петербург, и Чигиринский на другой день одобрил это решение, согласившись остаться на несколько дней, которые потребовались для того, чтобы сделать необходимые сборы в дальнюю дорогу. Они все трое считали, что в этой поездке была суть их жизненной миссии, завершить которую они должны, и ничуть не боялись этого путешествия, которое представлялось им вполне беспрепятственным и благополучным. Они верили в свое счастье, потому что были по-настоящему счастливы.

**СЛУГА
ИМПЕРАТОРА
ПАВЛА**

ПРЕДИСЛОВИЕ

До сих пор еще не имеет настоящего серьезного описания кратковременное царствование императора Павла Петровича.

Так называемую павловскую эпоху избирали для своих романов многие авторы, и имя этого императора довольно часто повторялось на страницах исторической беллетристики. Но те исторические монографии, которые относятся к его царствованию, далеко еще не исчерпывают предмета со всех сторон и не дают представления о времени Павла Петровича и его управления.

Оттого ли, что мы слишком близки этому времени и оно не отошло еще для нас в историческую перспективу, или оттого, что наша историческая наука разрабатывалась до сих пор под углом зрения немцев, имевших основание не любить Павла Петровича, но мы пока лишены еще настоящей русской истории императора Павла.

Наиболее претендующая из них на полноту биография Шильдера «Император Павел Первый» чрезвычайно односторонняя и написана с предвзятой целью, чтобы не без налета своего рода суеверия доказать, что преждевременная кончина Павла Петровича была как бы логическим следствием «злого дела», как говорит Шильдер, совершенного в 1742 году лишением престола несчастного малютки Иоанна Антоновича.

Конечно, в такие фантастические отвлечения не должен вдаваться серьезный историк, обязанность которого — изучить описываемое им время, дать верное представление о действовавших тогда исторических лицах и угадать чутьем научного прозорливца связь разбираемого им прошлого с последовавшими и будущими затем событиями. А этого-то и нет, в особенности в труде Шильдера, оказавшегося неспособным снять с себя очки рутины, заведомо предпрещающей, что все, что делалось в царствование Екатерины II,

было велико и превосходно и потому должно служить мерлом для оценки всех данных русской истории.

Внешний рост и роскошь екатерининского царствования, слепившие глаза своих современников, до сих пор еще действуют одурманивающе на людей, неспособных отрешиться от навязанных, предвзятых мыслей, несмотря на то что эта пресловутая роскошь и блеск Екатерины Великой стоили таких нелепых и безумных расходов России, что сделанный тогда государственный долг послужил началом того экономического бремени, которое и до сих пор лежит на нас.

Было принято как нечто неопровержимое, что политика Екатерины II отличалась необыкновенной мудростью, но опять-таки только теперь, в самое последнее время, становится ясно, какой обузой было для нас политическое наследие, оставленное нам этой императрицей.

Достаточно упомянуть о вражде к нам Франции и уничтожении самостоятельности Польши и ее разделе.

Слишком поспешные завоевательные действия Потемкина в Турции были, конечно, очень славны и покрыли несомненным блеском русское оружие, но в дипломатическом отношении они оказались совершенно неподготовленными и послужили к раздражению естественной, как оказалось впоследствии, нашей союзницы Франции, на долгое время ставшей враждебной нам помехой в наших отношениях с Османской империей. При Екатерине мы старались ладить с Австрией, заботились о целостности этой случайно собранной из несродных друг другу частей империи и враждовали с Францией, которая помнила эту вражду до самых наших дней. Воюя с турками, мы пренебрегали французскими интересами и тщательно охраняли австрийские. Уничтожением самостоятельности Польши и разделом ее мы также способствовали лишь расширению и увеличению могущества Пруссии и Австрии, являющимися на деле нашими истонными врагами.

Где же здесь политический гений, и не вправе ли мы наконец сказать, что всей неурядицей наших международных отношений, вплоть до императора Александра III, повернувшего эти отношения на истинный национальный путь, мы обязаны ошибками екатерининского царствования?

К чему приводят сейчас нас переживаемые великие исторические события? Волей-неволей убеждают они, что нам необходимо теснейшее единение твердого союза с Францией и создание вновь так называемого «государства-буфе-

ра» из отданной на кормление немцев Польши. Ныне приходится нам в союзе с Францией восстанавливать разделенную Екатериной Польшу, причем к этому мы пришли столетним опытом и жестокою войною с теми самыми немцами, которых мы в течение этих ста лет лелеяли и оберегали.

Император Павел Первый царствовал всего четыре года, но он как бы пророчески предвидел, что рано или поздно, хотя бы через сто лет, необходимо будет прийти к совершенно обратному тому, что делала его родительница. И он, несмотря на все свое отвращение к идеям Французской революции, вступил в союзные отношения с первым консулом Французской республики Бонапартом и первый громко заявил о том, что раздел Польши был ошибкой, которую он не может поправить лишь потому, что это зависит не от него одного, а и от короля прусского и императора австрийского, а они никогда не согласятся на то, чтобы Силезия и Саксония отошли от Пруссии, а Краков — от Австрии.

Преждевременная смерть прервала дни Павла I, и «блестящее» наследие Екатерины Великой с его непомерным долгом и неестественно несоответствующими выгодам России международными отношениями дошло до нас почти во всей своей прелести, и мы, беспомощно разводя руками пред громадностью нашего государственного долга и вражды с революционной Францией, продолжали прославлять блестящее правление Екатерины, желая подобострастно подражать ее будто бы «политическому гению».

Нужно было, чтобы настоящий русский гений императора Александра III, порвав с немецкими традициями, заключил союз с Францией и чтобы дикий разгул немецкой разнузданности открыл нам наконец глаза на необходимость самостоятельной Польши.

Император Павел I сто лет тому назад понимал и то, и другое, а ему в исторической науке не хотели отвести то место, которое ему подобает, и даже люди, симпатично относившиеся к нему, рисковали лишь «оправдывать» его, стараясь выставить тягости, перенесенные им нравственно в детстве и юности. Теперь сами события, в их историческом развитии, оправдывают Павла I, и нет сомнения, что явится настоящий историк, который поймет, что в Павле Петровиче Россия потеряла великого императора.

Насколько Екатерина Вторая была счастлива в людях, ее окружавших, настолько Павел Первый был неудачлив в выборе своих сподвижников.

Соображение, что Екатерина Вторая умела выбирать людей, а Павел Петрович — нет, в корне опровергается выбором Екатериною бездарного Зубова, которому она поручила в конце своего царствования ведение всей иностранной политики. В сущности, Екатерина никого не выбирала, а, наоборот, ее выбирали энергичные и талантливые люди, возведшие ее на престол и затем помогшие ей утвердиться.

Нужно ясно представить себе ту распушенность и тот хаос в государственном управлении, которые существовали при Екатерине, чтобы понять, какой труд должен был нести Павел Петрович и какую ломку пришлось проделать ему для того, чтобы ввести государственный строй в определенное русло.

Чиновники при Екатерине не ходили на службу вовсе, военные одевались в модные кафтаны и с собольими муфточками разъезжали в каретах цугом; беспорядок в финансах дошел до того, что Потешный дворец в Москве содержался на доходы с почтового двора. Начало царствования Павла ознаменовано целым рядом указов именно хозяйственного характера.

Само собою разумеется, что нововведения Павла I порождали недовольство, и чиновники, обязанные являться на службу к шести часам утра, и офицеры, принужденные бросить свои муфточки и перестать кататься в экипажах, были возмущены и роптали.

Этот ропот питался сплетнями, и они распространялись по Петербургу, а оттуда разносились по всей России. На Павла Петровича лгали с остервенением, с нескрываемым злорадством, и эта ложь заносилась в записки досужих людей и до сих пор принимается многими за якобы подлинное свидетельство.

Между тем порядок внутреннего управления, установленный Павлом Петровичем, явился настолько прочным и настолько соответствовал нашему духу, что, при всех своих недостатках, происшедших от поспешности, с которой был введен, устоял неизменно в главных своих чертах до наших дней и позволил России развиваться и укрепиться, остаться великодержавным государством.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

В доме Сергея Александровича Проворова случился сильный переполох.

Плотно и с большим аппетитом поужинав, встал он из-за стола веселый и радостный, поцеловал свою молодую жену и прошел к себе в кабинет, а через некоторое время она, войдя к нему, застала его лежащим в бессознательном состоянии на диване. Что случилось с ним, нельзя было понять. Лежал он не двигаясь, с закрытыми глазами.

Послали за доктором. Пришел какой-то врач, старый немец, живший случайно поблизости, и, определив удар, сказал, что необходимо как можно скорее пустить кровь.

В эту минуту вернулся домой брат молодой Проворовой.

— Клавдий! — встретила та его. — У нас несчастье — у Сергея удар!..

— Что за глупости! — спокойно возразил Клавдий. — Не такие его годы, чтобы с ним могло случиться нечто подобное!

— Однако доктор говорит...

— Какой доктор?

— Не знаю. Я послала за первым попавшимся... тут живет какой-то немец поблизости. Он говорит, надо пустить немедленно кровь.

В это время в кабинет, где лежал Проворов, слуга принес таз, воду и полотенце.

— Ничего этого не надобно! — воскликнул Клавдий и быстрыми шагами прошел в кабинет.

Там доктор засучивал рукава, торопясь приступить к операции.

Клавдий осмотрел зятя, попробовал у него пульс и твердо заявил доктору:

— Оставьте меня одного с ним!

Немец, по-видимому не ожидавший такого решения, удивленно и вместе с тем презрительно посмотрел поверх очков и также не без твердости ответил:

— Если я был призван к больному, я не имею права оставить его без помощи медицины! Больному надо пустить кровь...

— А я вам говорю, что здесь ваши услуги не нужны, по крайней мере сегодня, — продолжал настаивать Клавдий. — Получите за визит и оставьте нас в покое!

Клавдий сдвинул брови, взглянул на доктора и сделал рукой знак. Последний произвел на немца немедленное действие: доктор опустил глаза, взялся за лоб правой рукой и, больше не рассуждая, молча поклонился и вышел из комнаты.

— Унеси все это прочь! — приказал Клавдий слуге, указав на таз и полотенце. Тот немедленно исполнил приказание, и когда Клавдий остался один с сестрой возле лежащего без движения ее мужа, то, как бы думая вслух, тихо произнес:

— Однако господа масоны слишком уж скоро занялись нами! Не ожидал я, что они так поспешат.

— Ты думаешь? Разве это масоны? — с расстановкой спросила его сестра.

— Несомненно. И этот немец-доктор — тоже масон, и, не сделай я ему повелительного масонского знака, он, пожалуй, мог бы натворить бед.

— Клавдий... ради Бога... случилось что-нибудь серьезное?

— Слава Богу, ничего. Смотри, видишь, твой Сергей переходит уже в состояние нормального сна.

И действительно, щеки Проворова порозовели, дыхание стало определенным и ровным, и на диване теперь лежал просто спокойно спавший человек.

Клавдий вздохнул, как вздыхает человек, только что преодолевший большое внутреннее усилие, и сказал, понизив голос до полного шепота:

— Теперь надо оставить его в покое, пусть хорошенько выспится. Надо, чтобы все было тихо вокруг него, чтобы случайный шум не нарушил резко его сна.

— Что же это с ним было? — тоже шепотом спросила его сестра. — Ты говоришь, масоны?

— Потом, потом, — остановил ее Клавдий. — Когда Сергей проснется, я все объясню. Будь совершенно спокойна: ничего серьезного нет, а пока пойди и распорядись, чтобы прислуга в доме ходила на цыпочках и чтобы дети

не шумели, лучше всего сама займи их, а я останусь возле Сергея, когда будет нужно, я позову тебя.

Проворова, видимо, верила брату и послушно последовала его совету.

Когда она ушла, Клавдий запер дверь кабинета и, оставшись один с Проворовым, встал у его изголовья, а затем, протянув над ним руки, стал делать магнетические пассы.

Это потребовало от него нового усилия, и он с настойчивостью продолжал свое дело, как бы борясь с какой-то силой, шедшей извне, издали. Изредка губы его шевелились, и он произносил какие-то непонятные слова. Наконец он выпрямился и, соединив указательные пальцы обеих вытянутых вперед рук вместе, громко сказал, точно приказывая кому-то невидимому: «Я так хочу!» Через минуту он опять глубоко вздохнул, опустил почти в изнеможении в кресло, стоявшее рядом с диваном, где лежал Проворов, и лоб его покрылся крупными каплями пота.

II

Клавдий Чигиринский, шурин и приятель Проворова, только что сделал с его семьей длинное и долгое путешествие из Крыма в Петербург.

Они ехали всем домом на долгих, то есть на своих лошадях, оставив в Крыму новое, только что налаженное хозяйство. Проворов усердно занялся им как один из первых ревнителей русского дела в новой провинции Русского государства и, если бы не важное дело, ни за что не оставил бы своего имения и не потащился бы на север.

Его жена, Елена, посвященная во все его дела, не хотела отпустить его с братом одного и настояла на том, чтобы ехать вместе. Но раз ехала Елена, надо было взять с собой и детей, которых у Проворова было двое, и дети-то, главным образом, и послужили задержкой в пути. Сначала пришлось остановиться в Харькове, а затем дети заболели в Москве, так что Проворовы должны были там нанять квартиру и прожить довольно долго. Наконец они снова двинулись в дорогу и доехали до Петербурга уже по санному пути в трех купленных в Москве возках. Был уже январь 1797 года на исходе.

Остановились Проворовы в доме, доставшемся Елене по наследству от ее тетки, фрейлины Малоземовой. Этот дом

был хотя не особенно пышен, но довольно приличен, поместителен, удобен и уютен.

Чигиринский занял три отдельные комнаты в нижнем этаже.

Обморок с Сергеем Александровичем случился дней через семь после того, как они приехали в Петербург.

Масоны, которых Чигиринский обвинил в происшедшем с Проворовым, тогда снова подняли голову в России с воцарением императора Павла Петровича, относившегося к ним весьма благосклонно еще в бытность свою цесаревичем. Те из них, которые были сосланы Екатериной II, получили прощение, а те из приближенных к новому императору, которые принадлежали к братству вольных каменщиков, считались в большой силе.

Мистический ум Павла Петровича и давнишние его сношения с оккультными обществами были всем хорошо известны, и теперь общее мнение было таково, что с восшествием на престол императора Павла вступила в полную силу власть масонов.

И действительно, эта власть казалась настолько полной, что надо было быть очень сильным человеком, чтобы решиться противоборствовать ей.

Однако Чигиринский с Проворовым были противниками масонов, имея твердые основания считать их вредными для государства вообще и для России в особенности.

Они принадлежали к числу тех необъявленных скрытых врагов масонства, которых (они знали это) много среди православных на Руси и которые, не составляя не только секты, но даже общества или кружка, действуют каждый в отдельности, не зная и часто не подозревая друг о друге, но тем не менее действуют упорно и настойчиво и в полном единомыслии.

Кроме того, у Проворова с Чигиринским была в руках возможность нанести масонам серьезный вещественный удар, и ради этой-то цели они явились в Петербург с воцарением Павла I, предприняв свое далекое путешествие.

В данном случае главным действующим лицом был Чигиринский, обладавший необыкновенной силой внушения, то есть силой так называемого теперь гипнотизма. Эта сила дала ему в прошлом возможность войти в масонские круги и в качестве масона противодействовать всему, чему не сочувствовал он в деятельности масонов.

Он знал по опыту, что вольные каменщики, делящиеся на множество степеней, бывают в известных степенях и добродетельны, вроде, например, известного в то время в

России Новикова, но эти добродетельные люди так и остаются в масонской иерархии на своей степени и дальнейшего посвящения не получают, воображая, что достигли пределов знаний своего общества.

Чигиринский давно проник в руководящие масонские круги, знал, что они такое, а также и то, насколько ими обмануты порядочные люди, попавшие в их среду.

Проворов, не обладавший никакой особенной силой, бывший просто честным, порядочным, чисто русского склада человеком, являлся единственным его помощником вместе со своей женой, которую даже в мыслях не мог отделить от себя.

И вот они втроем явились теперь в Петербург для борьбы с будто бы всемогущими масонами и, по-видимому, в первые же дни своего пребывания здесь подверглись нападению тайной силы, руководимой вольными каменщиками.

Когда после минут сорока спокойного и крепкого сна Проворов очнулся, не отходивший от него Чигиринский позвал сестру и стал объяснять им, как он понимает случившееся.

— Вот видите ли, — заговорил он спокойно, не торопясь, с полным сознанием правдивости того, что сообщает, — вам, конечно, известно, что естество человека в его целом состоит из трех частей или так называемых элементов: духа, нашего материального видимого тела, и тела просвещенного, или астрального, не материального, но все-таки тела, соединенного с материей особым аппаратом, называемым в официальной медицине селезенкой. В официальной медицине существует мнение, что селезенка в человеческом теле — совершенно излишний орган, действующий лишь тогда, когда человек голоден. Совершенно верно, что, когда человек голоден, материальное тело ощущает известный ущерб, а астральное начинает проявляться к деятельности, и деятельность эта обнаруживается прежде всего, конечно, на звене-селезенке, соединяющем астральное и материальное тела. Если человека оставит его друг, то есть высшее руководящее начало в нем, то он делается душевнобольным или сумасшедшим, и два его тела — материальное и астральное, — не разъединенные, но уже не управляемые и не направляемые, будут жить, то есть проявлять внешние человеческие отправления, но человека уже существовать не будет. Когда же с материальным телом разъединяется не только дух, но и астральное тело, то наступает смерть, иначе говоря, то, что мы называем этим словом. Материальное тело остается безжизненным, лиша-

ется поддержки, и мы видим, насколько оно непрочное, так как часто в течение трех дней начинает разлагаться, обращаясь, по слову Писания, в ту землю, из которой создано.

III

Чигиринский говорил, а Проворовы слушали его внимательно, сидя в обставленном новой мебелью кабинете. Этот кабинет был единственной комнатой, которую отделали для себя новые хозяева, оставив все остальные в прежнем виде, как были они при фрейлине Малоземовой. Большая карсельская лампа под абажуром разливала мягкий свет, пол был покрыт ковром, двери и окна завешены тяжелыми гардинами.

— Мир внешний, физический, — продолжал Чигиринский, — имеет дело с телом материальным, которое надо поддерживать посредством питания предметами вещественного мира; если не давать этого питания, человек будет ощущать голод или жажду; кроме того, можно каким-нибудь внешним ударом причинить боль этому телу и нанести такую рану, что будет нарушена связь его с духом и наступит смерть. Все эти эффекты видимы для нас и определенно ощутимы. Но дело в том, что можно также особыми способами воздействовать и на астральное тело. Оно может также получать удары и должно также пользоваться своего рода питанием. Поэтому и астральному телу можно нанести смертельный удар, лишив его питания или дав ему отраву. Кроме того, можно подчинить это астральное тело воле другого человека, и тогда последний будет всецело властвовать над тем, чье астральное тело у него в подчинении. Усыпив материальное тело, можно разговаривать с астралом и требовать от него тех или других действий. Можно на известное время отделить искусственным путем внушения астрал от материального тела, тогда материальное тело человека будет лежать как бы в глубоком обмороке, похожем на полную смерть, а его астрал в это время на довольно далеком расстоянии может даже материализоваться, то есть принять хотя и не осязаемые, но все-таки видимые очертания. Так вот, с Сергеем сейчас проделали такую штуку: он впал в обморок, а его астральное тело в это время было отвлечено в другое место.

— Куда же? — воскликнули с оттенком испуга в один голос Елена и Проворов.

— В заседание великой ложи Астреи. Хорошо, что я с первого же дня нашего приезда следил за господами масонами и знал, что сегодня вечером назначено заседание верховной для России ложи Астреи. Когда я увидел Сергея в обмороке и хлопочущего возле него доктора, ответившего на сделанный ему мною масонский знак, мне сразу стало все ясно: я знал, где собирается ложа, и направил в ту сторону свою волю, которая оказалась сильнее масонской цепи, попытавшейся распорядиться астралом Сергея. Я вернул его и сделал над ним пассы, которые необходимы, чтобы предупредить и на будущее время подобное масонское предприятие. Теперь с этой стороны Сергей совершенно обеспечен.

— Но ведь это же ужасно! — воскликнула Елена. — Ведь масоны могут придумать что-нибудь новое!

— Единственно опасное из всего, что есть у них в распорядении, — возразил Чигиринский, — только и было вот это так называемое насильственное раздвоение астрала с материальным телом. И в этом мы оказались сильнее их. Признаюсь, я сам не ожидал, что обладаю таким током. Как бы то ни было, теперь с этой стороны мы в полной безопасности, и нам только остается благодарить судьбу и масонов за то, что они уже заняты нами и слабее нас. Значит, нам надо, в свою очередь, исполнить свой долг, а затем, не задерживаясь долее в Петербурге, отправиться назад, подальше от масонов и их лож.

— Так что, ты думаешь немедленно же начать действовать? — спросил Проворов.

— Именно немедленно, — подтвердил Чигиринский, — то есть с сегодняшнего же вечера.

— Даже с сегодняшнего вечера?!

— Да, сию минуту, не выходя из этой комнаты.

Чигиринский улыбнулся, протянул руку по направлению к двери и повелительно произнес:

— Спи!

Вслед за этим за дверью послышалось падение тела.

— Ну да, я так и думал! — усмехнулся Чигиринский. — Это Нимфодора подслушивала нас, и мы начнем с того, что узнаем, делала ли она это просто по своей давней привычке, из любопытства, или же это ей поручено и она шпионит за нами.

Нимфодора была одной из двух старых приживалок покойной фрейлины Малоземовой, оставшейся в наследство Проворовым вместе с домом и проживавшей теперь там.

— Встань, отвори дверь и входи к нам! — приказал Чигиринский, опять протягивая руку.

Через минуту дверь отворилась, и Нимфодора с открытыми, но неподвижными, как у лунатика, глазами появилась, послушно повинувась, видимо, не своей, а чужой воле.

— Мое вам почтение! — насмешливо произнес Чигиринский, но Нимфодора остановилась, продолжая без выражения глядеть перед собой.

— Скажи, тебя кто-нибудь подговорил следить за нами и подслушивать?

— Да, — произнесла как-то беззвучно Нимфодора.

— Тебе за это платят?

— Нет.

— Значит, только еще обещали заплатить? Да? Сколько?

— Триста рублей.

— Ого! — воскликнул Чигиринский. — Значит, ради нас не скупятся на расходы!

— Он сказал мне, что и еще даст, если только я буду аккуратно приносить ему сведения.

— Кто же это «он»?

— Доктор Пфаффе.

— Это тот немец, который приходил лечить Сергея Александровича?

— Да.

— Он живет поблизости? Ты его давно знаешь?

— Да, он лечил покойную фрейлину, нашу благотельницу.

— Отлично! Когда ты должна прийти с отчетом к доктору Пфаффе? Сегодня же вечером?

— Нет, сегодня вечером его не будет дома. Завтра утром.

— Хорошо. Теперь ты забудешь навсегда все, что узнала, подслушивая тут у дверей, а завтра утром отправишься к доктору Пфаффе, как он сказал тебе, и заявишь ему, что Сергей Александрович после его ухода очнулся очень не скоро и весь вечер и ночь чувствовал себя нездоровым, а я оставался при нем до двенадцатого часа, и ты видела, как в двенадцатом часу я оделся в шубу и, никому не говоря, ушел из дома. А теперь вернись к себе в комнату, ляг в постель и спи до завтрашнего утра! Ступай!

Нимфодора повернулась и пошла, точно была неживым человеком.

— Ну, а теперь мне пора! — сказал, вставая, Чигиринский.

— Куда же ты? — удивился Проворов. — Ведь теперь еще девятый час, а ты сказал ей, что выйдешь в двенадцатом?

— Сегодня у масонов после заседания ложы Астреи, в двенадцать часов, назначено совещание главарей, и до этих пор мне надо успеть сделать так, чтобы масоны и не подозревали этого.

— А потом?

— А потом я отправлюсь на собрание главарей. Дай мне шкатулку с документами! Я хочу сегодня же закончить наше дело здесь в Петербурге с тем, чтобы можно было ехать хоть завтра.

— Что же ты хочешь делать?

— Это мое дело!

— Ты хочешь действовать один? Может быть, я могу помочь?

— Нет, пока не нужно. Вот если я сегодня не вернусь, тогда дай знать, куда я отправился. Подробный адрес и список главнейших масонов и другие данные, чтобы меня разыскать, вот в этом пакете. В случае надобности распечатай и прочти! — И Чигиринский вынул из кармана пакет и передал его Проворову.

Сергей Александрович видел, что у его шурина уже составлен определенный план действий и расспрашивать его совершенно напрасно, потому что он все равно ничего не расскажет. Поэтому он отворил сделанный в стене над диваном потайной шкафчик и вынул оттуда тяжелую нестерраемую шкатулку, отпер ее секретным ключом и достал перевязанные черной лентой с треугольной масонской печатью документы.

Чигиринский взял их и бережно спрятал не только под камзол, на груди, а и под панцирь, который носил под камзолом.

— Ну, помогай тебе Бог! — сказал ему Проворов прощаясь, а Елена крепко поцеловала брата и молча перекрестила его.

IV

Чигиринский спустился к себе в комнаты, достал свою старую форму Конногвардейского полка, в котором служил, и быстро переоделся. Мундир показался ему только немно-

го узким, но от этого он только плотнее облегал его фигуру.

Плотно закутавшись в плащ, Клавдий вышел на улицу и быстрыми шагами направился к Зимнему дворцу, до которого было недалеко, так как дом Малоземовой был поблизости, на Миллионной.

На углу у дворца стоял часовой, и Чигиринский сразу решил, что, по-видимому, ему везет; часовой был конно-гвардеец, значит, караулы в Зимнем дворце нынче держал Конный полк, а это было настолько на руку Чигиринскому, что лучше этого он и сам бы придумать не мог.

Он подошел к солдату. Тот вытянулся, отдавая честь саблей.

Чигиринский оглянулся. Кругом никого не было; покрытая снегом широкая площадь перед дворцом тоже была пуста и тонула в полумраке, освещенная одними только звездами.

Чигиринский, желая испытать свою силу не вслух, а мысленно, приказал часовому спать, только устремив на него пристальный взгляд, и сейчас же увидел, что лицо часового приняло определенное выражение лунатика.

— Стой смирно! — шепотом приказал ему Клавдий.

Если бы кто-нибудь увидел их так, то подумал бы, что просто офицер разговаривает с солдатом, и только, но даже этого некому было подумать.

— Какой пропуск? — опять, не повышая голоса, прошептал Чигиринский.

Губы часового шевельнулись, и он ясно и послушно произнес:

— Благодать.

— Как зовут офицера, который сегодня в карауле?

— Князь Манвелов, ротмистр...

Чигиринский знал Манвелова, который был при нем еще фендриком.

— Когда я отойду от тебя, — приказал он часовому, — ты проснешься и будешь стоять на часах как ни в чем не бывало.

Вслед за тем, дунув солдату в лицо, он пошел по направлению главных ворот дворца, сказал пропуск и беспрепятственно прошел во внутренний двор.

В свое время Чигиринскому приходилось не раз дежурить в карауле во дворце, и все входы и выходы здесь он знал превосходно.

У маленького подъезда стоял опять часовой, что было, очевидно, нововведением Павла I, потому что при Екате-

рине охрана казалась вовсе не такой строгой. Однако сказанный Чигиринским пропуск дал ему возможность пройти и мимо этого часового, и, войдя во дворец, он без ошибки направился по коридору самым коротким путем к караульному помещению.

Прежде, бывало, эти коридоры были полны народа, по ним сновала придворная челядь, а наряду с ней и придворные кавалеры и дамы, жившие в самом дворце. Теперь их выселили.

Шаги Чигиринского гулко раздавались по каменным плитам пустого коридора; он шел открыто, не стесняясь, потому что было весьма естественно, что в караульное помещение направлялся офицер полка, несшего в этот день караул.

Чигиринский знал, что дежурная комната примыкает к этому коридору и вход в нее через этот коридор. Подойдя к двери, он остановился и прислушался.

В караульной комнате царило молчание, значит, Манвелов был там один. Чигиринский из-за двери приказал ему спать, и так был уверен, что приказание его будет исполнено, что отворил дверь и вошел. Действительно, Манвелов спал, сидя у стола, по-видимому в той самой случайной позе, в какой застало его приказание.

Караульное помещение было все то же самое, как и несколько лет тому назад, когда приходилось здесь дежурить Чигиринскому. Та же висячая лампа с потолка, тот же стол ясеневое дерева, и пыльный шкаф, и изразцовая печка с фигурным карнизом.

Чигиринский запер за собой дверь на ключ и, оставшись один в комнате со спавшим Манвеловым, не стесняясь, придвинул к печке стул, достал из-под панциря на груди пачку документов и кинул их за фигурный карниз на печку.

Убедившись, что пакет брошен удачно и что снизу его не видно, он поставил стул на место, спокойно отпер дверь, вышел в коридор и, плотно закутавшись в плащ, смело пошел обратно к выходу. У самого выхода он приказал издали Манвелову проснуться и, миновав часового, отдавшего ему честь, через внутренний двор направился в главные ворота.

Очутившись снова на площади, Чигиринский вздохнул не без облегчения. Главная и, может быть, самая опасная часть задачи была им выполнена вполне благополучно, без всякой помехи. Судьба как будто благоприятствовала ему.

На площади он повернул по направлению к Невскому, бодро шагая по снегу. На Невском было болеелюдно. Тут были свободные извозчики. Чигиринский подозвал одного из них, сел и велел ему ехать на Канатную улицу.

V

На Канатной улице стоял дом Мятлева, в котором жил теперь князь Платон Zubов.

Отношение императора Павла Петровича после восшествия его на престол к князю Платону Zubову оказалось поистине рыцарским. Из Зимнего дворца бывшему фавориту, конечно, пришлось переехать, но для него был куплен дом Мятлева на Канатной улице, причем и за этот дом было заплачено 100 тысяч рублей из кабинета его величества.

Когда князь переехал в новое свое помещение, император Павел посетил его в сопровождении императрицы, причем произнес достопамятные слова: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Когда подали шампанское, государь сказал: «Сколько здесь капель, столько желаю тебе всего доброго! — Затем, обращаясь к императрице, добавил: — Выпей все до капли!» — и, выпивши сам, разбил бокал. Платон Александрович кинулся императору в ноги, но был поднят с повторением слов: «Я тебе сказал: кто старое помянет, тому глаз вон». Потом подали самовар. Государь сказал супруге: «Разлей чай, ведь у него нет хозяйки».

Однако долго князю Zubову не пришлось пользоваться милостями Павла Петровича. После него оказались такие упущения и такой беспорядок в денежных делах по тем отраслям, которыми он заведовал, что было назначено следствие, и князь Zubов уволился в отставку. Теперь он жил в своем новом доме, никуда не показываясь, отягченный постоянными объяснениями, которые вынужден был давать по всем своим прежним промахам.

Чигиринский в прежнее время бывал у Мятлева и хорошо знал его дом. Он лихо подкатил к подъезду на своем извозчике и, щедро заплатив ему, вошел прямо в вестибюль парадной лестницы.

Здесь сразу уже почувствовалось, что над хозяином тяготеет гнет неблагополучия. Дом был плохо освещен, на лестнице горела всего одна сальная свечка; ни гайдуков, ни лакеев, обыкновенно теснившихся у входа в хоромы важ-

ных господ, не было, и один старый швейцар преспокойно храпел в большом кожаном кресле у колонны.

Чигиринский когда-то был с Зубовым сослуживцем по Конному полку и, конечно, мог велеть доложить о себе с расчетом быть принятым, в особенности теперь, когда князь Платон Зубов, еще сравнительно недавно недосягаемый, был в унижении и в очень тяжелом положении. Но при виде сонного швейцара Чигиринскому пришло в голову явиться к Зубову без доклада.

Он снял свой плащ, повесил его на вешалку и поднялся по парадной, устланной ковром лестнице.

Подъезжая, он заметил, что на фасаде дома светились только три окна большого парадного кабинета, знакомого Чигиринскому. Ему, для того чтобы попасть сюда, надо было пройти зал и две покрытые коврами гостиные.

Чигиринский не встретил никого из прислуги и появился в кабинете неслышно, пройдя по коврам. Кабинет был освещен двумя большими канделябрами, стоявшими на большом покрытом сукном столе, а за столом сидел Зубов, предаваясь своему любимому занятию, к которому пристрастился во время своего могущества. Он сидел и пересыпал горстью драгоценные камни, наполнявшие эмалевый сундучок. Камни пересыпались и, играя светом канделябровых свечей, искрились самоцветными огнями. Это было так красиво, что Чигиринский тоже залюбовался.

Князь Платон поднял глаза, вздрогнул и протянул руки над сундучком с камнями, как бы защищая его от нападения.

— Брось, чего ты испугался? — остановил его Чигиринский.

— Батюшки!.. Чигиринский, это ты? — воскликнул Зубов, обрадовавшись не столько старому товарищу, сколько тому, что его появление, очевидно, ничем не грозило и причин для страха никаких не было. — Но как же ты вошел?

— Ну, это все равно, как я вошел. Слушай, Платоша! Я тебя буду называть так, по-старинному. Дела твои, кажется, очень плохи?

Зубов нервно, суетливо захлопнул сундучок, отодвинул его в сторону и, размахивая руками и беспокойно бегая глазами, заговорил быстро-быстро:

— Видишь ли, собственно, все это — наветы и клеветы... Конечно, это мне будет стоить, но все-таки я не беспомощен. В конце концов я отчитаюсь, потому что... вот хоть бы, например...

— Постой! — перебил его Чигиринский. — Мне вовсе не интересно, как ты будешь отчитываться, и дело не в этом. Денежная отчетность, братец, всегда такова, что ею можно любого человека окрутить, как паутиной.

— Ну да!.. Вот и я то же говорю.

— Ну вот... Значит, если начать распутывать, то это все равно что больше залезать в эту паутину. А хочешь ты сразу, одним махом покончить все?

— Разумеется, хочу.

— Так слушай, что я тебе скажу! Государь в эту минуту, по заведенному им обыкновению, пьет чай в маленькой гостиной и находится в отличном расположении духа. Сейчас же, как можно скорее, отправляйся во дворец и вели доложить о себе, сказав, что ты приехал по очень важному делу!

— Мне ехать сейчас к государю?!

— Да, и велеть доложить, что князь Платон Александрович Зубов имеет сообщить важное государственное дело. Государь примет тебя, а ты передашь ему, что в офицерской комнате караульного помещения за карнизом, на печке, лежат важные документы. Когда государь получит эти документы, он вернет тебе за них свое расположение. Тогда ты скажи ему, что болен, что силы у тебя плохи и что ты просишь позволения уехать за границу. Это единственный для тебя выход!

Зубов слушал, все пристальнее вглядываясь в Чигиринского и морща лоб, как бы с усилием припоминая. Вдруг он вспомнил, побледнел и проговорил с дрожью в голосе:

— Постой... как же это так?.. Ведь ты же Чигиринский, тот самый, который был убит под Измаилом?

Князь Платон живо вспомнил, как пришло известие о взятии Измаила, какие были празднества по этому поводу и как во время этих празднеств при перечислении убитых называли бывшего его сослуживца по Конному полку гусара Воронежского полка ротмистра Чигиринского.

— Пустяки! — усмехнулся Клавдий. — Что ж такое, что я был убит? Это подробность, которая к делу не относится.

— Но как же ты пришел?

— Да вот так и пришел, как приходят с того света. Разве ты никогда не слыхал об этом? А вот ты вместо того, чтобы пучить на меня глаза, исполни немедленно, что я тебе говорил. Я тебе приказываю это...

С этими словами Чигиринский повернулся и вышел из комнаты.

Ни в гостиных, ни в зале, ни на лестнице опять никто его не встретил. В вестибюле он снял свой плащ и благополучно миновал сонного швейцара, по-прежнему храпевшего в своем кресле.

VI

Непосредственно последовать за Чигиринским Zubov не осмелился, да к тому же он так был ошеломлен внезапностью этого появления и странностью разговора, что ему почудилось, будто Чигиринский не вышел из комнаты, а исчез на его глазах, как должно исчезать привидение.

Прошло некоторое время, пока князь Платон решил дотронуться до сонетки и так сильно дернул ее, что чуть не оборвал. Подождав немного, он задергал нетерпеливо и с раздражением крикнул появившемуся слуге:

— Куда вы все запропалились?

Слуга заверил, что все они были на своих местах и что, едва его сиятельство изволил позвонить, он и прибежал.

— Поди узнай, кто впустил ко мне без доклада ротмистра Чигиринского! — неуверенно приказал Zubov.

Эти розыски ни к чему не привели. Лакеи и швейцар клялись и божились, что они все время безотлучно находились на своих местах и что никто не проходил мимо них. Они уверяли, что все время бодрствовали и ручаются своей головой, что никто не проходил.

Причиной упорной лжи лакеев была, конечно, неуверенность, с которой Zubov делал свои расспросы.

Все это кончилось тем, что князь твердо уверился в действительном появлении умершего Чигиринского и с суеверным страхом немедленно приступил к выполнению его приказаний.

Он заторопил, приказывая как можно скорее подать карету, и оделся с совершенно несвойственной для него поспешностью. Руки его дрожали, он не находил того, что было нужно, и, кое-как снарядившись, вздохнул только в карете, дыша ее холодным воздухом.

«Конечно, это был убитый Чигиринский! — рассуждал он. — И вероятно, документы, которые он велел передать императору, весьма важны, если надо было прийти с того света, чтобы сообщить о них».

И князю казалось, что иначе он не мог поступить, как в точности повинуйсь воле выходца с того света.

«Но только при чем тут я? — недоумевал он. — Почему непременно я избран для сношения загробного мира с императором?»

На этот вопрос он сейчас же со свойственным ему себя-любием ответил успокоительно: конечно, судьба, благоприятствовавшая ему до степени того возвышения, до которого он был уже вознесен, теперь послала ему в затруднительном положении помощь и поддержку, совершенно ясно и определенно научив, что ему надо было делать для того, чтобы сразу выпутаться из всех этих надоедливых счетов и отчетностей. Он успокоился и подкатил к Зимнему дворцу, окруженный надеждой и мечтами.

Между тем Чигиринский, выйдя от Зубова, опять нашел извозчика и вернулся на нем на Дворцовую площадь. Здесь он стал ходить, выжидая.

Его расчет хотя и казался ему верным, но все-таки мог и не привести к желанному результату. Однако других — лучших — средств у него не было. Необходимость требовала, чтобы документы были доставлены сегодня же, иначе масонская организация примет свои меры, побороть которые, пожалуй, он не будет в силах.

Явиться лично к императору Павлу для Чигиринского было немыслимо, потому что император не знал его в лицо и, значит, никакой таинственности в этом его появлении нельзя было создать. Другого же, кроме Зубова, или, вернее, более подходящего в данном случае, Чигиринский не знал.

Конечно, целый ряд возможностей мог явиться помехой: прежде всего, решится ли Зубов отправиться так вдруг в Зимний дворец, затем, будет ли он там принят? Впрочем, если только он решится, то все остальное, вероятно, пойдет как по маслу.

Чигиринский знал порывистый и своенравный характер императора Павла и его склонность ко всему необычайному; поэтому он рассчитывал с несомненной уверенностью, что, как только Зубов доложит, что сверхъестественным появлением с того света известился о нахождении важных документов на печке в караульной, государь заинтересуется этим делом и сейчас же сам отправится в караульное помещение и велит достать себе документы.

Итак, самое худшее, что могло случиться, — это то, что Зубова не приняли бы или что он не решился бы исполнить данное ему поручение.

Для этого-то Чигиринский и сторожил теперь, ходя по площади. Он решил, что если Зубов не приедет во дворец,

то ему нетрудно будет опять прежним путем и способом проникнуть в караульное помещение и взять оттуда документы совершенно так же, как он положил их туда.

Однако через некоторое время Чигиринский увидел подкатившую к подъезду дворца богато запряженную шестерней цугом карету с гайдуками на запятках и ливрейным лакеем на козлах. Затем дверца кареты отворилась, из нее вышли, и она захлопнулась. После того карета шагом отъехала от подъезда, сделала полукруг и остановилась несколько поодаль.

Чигиринский выждал время, которого было за глаза достаточно для того, чтобы Зубову выйти назад, если бы он не был принят, затем приблизился к карете и по нарисованному на дверце огромному гербу убедился, что карета действительно принадлежала Зубову.

Расчет его оказался верен: Зубов не только исполнил послушно его приказание и приехал во дворец, но и был принят там. Чигиринский, успокоившись с этой стороны, мог действовать дальше.

VII

До двенадцати часов ночи, когда назначено было совещание главарей масонства, времени еще оставалось много, и Чигиринский отправился туда пешком. Ему было известно, что главари собираются на Петербургской стороне, в маленьком домике, принадлежавшем статскому советнику Аркадию Федоровичу Поливанову.

Этот Аркадий Федорович Поливанов официально в рядах масонов не занимал никакого положения, и никто не знал, что он играет какую-нибудь роль в главной ложе Петербурга. А на самом деле в его маленьком домике на Петербургской стороне собирались главнейшие масоны, руководившие в России делом братства вольных каменщиков.

Среди них не значилось ни одного вельможи, ни одного высокопоставленного лица, тут не было ни одного мастера и ни одного масона, носившего явно высокие знаки ордена. Все эти высокопоставленные лица, вельможи и разные мастера пользовались орденскими знаками, сидели на почетных местах в заседаниях лож, и перед ними делали вид, что они имеют власть и значение, на самом же деле русским масонством руководили собиравшиеся у Поливанова братья, тайно посвященные в высшие степени. Собирались

они туда без всяких знаков и обрядов, просто будто бы у доброго холостяка статского советника сходились его приятели, чтобы провести приятно вечер.

Чигиринский отправился туда пешком через Неву и шел настолько не торопясь, что, когда приблизился наконец к дому Поливанова, там уже все главари были в сборе. Войти ему, пустив опять в ход силу своего внушения, не представляло никаких затруднений, и он внезапно появился в маленьком зале, где происходило заседание. Массоны сидели за столом (их было девять человек), и в первую минуту внезапность его появления поразила их.

— Это Чигиринский!.. Это Чигиринский!.. — полупешепотом воскликнули некоторые из них.

— Да, это Чигиринский! — подтвердил занимавший председательское место. — Это Чигиринский, — повторил он как-то особенно торжественно громко, — тот самый, которого судить собрались мы здесь и которому, как вы видите, внушено, чтобы он явился к нам на суд. — Этого председательствующего Чигиринский не знал и видел впервые. Некоторые же из присутствующих были ему знакомы. Тут сидели сам Аркадий Федорович Поливанов, господин Тротото, век свой не выходивший из камер-юнкерского звания и потому прозванный «вечный камер-юнкер». Было еще несколько знакомых, но председательствующий был неизвестен Чигиринскому.

Слова, которыми тот встретил его, были довольно самоуверенны, и Чигиринскому захотелось сейчас же испытать свою силу над ним. Он тихо мысленно попробовал приказывать ему сделать, в сущности, нелепость — встать и погасить одну из восковых свечей, горевших на столе в канделябре. Председательствующий немедленно встал, дунул на свечку и потушил ее. Он подчинился так легко, что Чигиринский, увидев его слабость, вполне успокоился, а то угроза какого-то неожиданного суда над ним в первую минуту встревожила его.

«Во всяком случае, — подумал он, — вышло довольно удачно, что я попал на их судбище! Теперь посмотрим, это будет даже очень интересно и занятно!»

— Вот так же, как я загасил эту свечку, — снова заговорил председательствующий, — погаснут всякая вражда против братства и всякое злодеяние, направленное против него. Этот неожиданный для нас приход обвиняемого служит совершенным доказательством силы нашего братства. Не вы ли еще вчера сомневались, удастся ли нам вызвать на суд этого человека? И что же мы видим? Он явился к

нам для того, чтобы дать ответ во всех своих тяжких проступках. Брат-обвинитель, прочти вины этого человека!..

Эти слова были обращены к Аркадию Федоровичу Поливанову, видимо исполнявшему роль обвинителя. Тот заглянул в лежавшие перед ним бумаги и начал читать бесстрастным ровным голосом:

— «В середине июня 1789 года в Петербург приехал из-за границы человек, носивший высокое звание в масонской иерархии и именовавшийся доктором Германом. Он был встречен тобою в Петергофе, в доме, принадлежавшем члену нашего братства, и там в подвале ты его убил, скрыл в землю его труп, а одежду его надел на себя и явился к петербургским братьям под видом доктора Германа». Признаешь ли ты в этом себя виновным?

Чигиринский улыбнулся и спокойно ответил:

— Нет!

— Видишь ли, — продолжал обвинитель, — напрасно ты будешь заператься и отнекиваться: следствие велось тщательно и кропотливо в течение многих лет, и все твои деяния установлены самым подробным образом, и в наших руках неопровержимые факты.

— Какой же факт доказывает, что я убил доктора Германа?

— Труп его был найден в земле, зарытым в подвале.

— Но из этого еще не следует, что он был убит мною. Дело было в том, что этот доктор Герман стал испытывать надо мною силу своего гипноза, но завладеть моим астралом ему не удалось: он не вынес своего напряжения и упал мертвым, а я его не убивал!

— Пусть будет так, — произнес председатель, — хотя доказать свои слова тебе нечем. Убийство доктора Германа не исчерпывает всех твоих злодеяний. Ты воспользовался тем, что доктор из-за границы и никто из нас не знал его в лицо. Переодевшись в его одежду, ты выдал себя за него и обманул братьев самым наглым образом!

— Вольно же братьям было поддаваться моему обману! — усмехнулся Чигиринский.

— Да, но зато теперь мы не поддадимся твоей лжи и не поверим никаким твоим оправданиям.

Чигиринский закинул голову и, прищурившись, посмотрел на председательствующего, после чего ответил медленно, с расстановкой:

— Я не унижусь настолько, чтобы оправдываться перед вами, а тем более лгать. Неужели вы думаете устранить меня? Если бы я боялся вас, то, конечно, не только не

пришел бы к вам сегодня сам, но и не приехал бы вовсе в Петербург! А между тем вы видите, что я стою перед вами, и все вы, девять человек, сейчас силитесь воздействовать на меня, я же говорю вам: напрасно! Доктор Герман был несравненно сильнее вас, но все же умер с натуги. Советую бросить и вам, а то, чего доброго, и с вами что-нибудь случится.

При этих словах некоторые отвернулись, а камер-юнкер Тротот нагнулся так, чтобы канделябр закрыл его.

Чигиринский был доволен произведенным впечатлением и спокойно добавил:

— Так что, вы видите, о внушении мне не может быть и речи. Я по собственному желанию пришел к вам и рад, что застал вас как раз за этим судбищем, и буду говорить вам и отвечать не потому, что этого желаете вы, а потому, что я так хочу.

Голос его звучал строго и властно.

Присутствующие на заседании с удивлением посмотрели на него.

VIII

— Да, когда передо мной в таинственном подвале масонского дома в Петербурге умер приехавший из-за границы доктор Герман, я зарыл его труп и воспользовался его бумагами и одеждой и разыгрывал его роль, — продолжал Чигиринский, по очереди рассматривая сидевших перед ним масонов и изучая их лица.

— Это сознание мы занесем в протокол, — заявил председатель и, обратившись к Аркадию Федоровичу, добавил: — Продолжайте, брат-обвинитель!

Поливанов опять нагнулся к своим бумагам и снова стал читать, обращаясь к Чигиринскому:

— «Под видом доктора Германа ты принял верховное управление в главной ложе российской Астреи и похитил оттуда документы, привезенные из Франции доктором Германом и удостоверяющие участие масонов во Французской революции».

— Вы дознались до того, что эти документы похитил я? Что ж, я и это не буду отрицать! — усмехнулся опять Чигиринский.

— «Документы были похищены тобой, — читал между тем обвинитель, — с целью представить их царствовавшей тогда государыне Екатерине Второй, но ты не

поспел сделать это, так как внезапно был отправлен вместе со своим товарищем по полку Проворовым в действовавшую против турок армию. Там вы оба очутились под Измаилом, а ты продолжал все ту же игру, то есть, будучи офицером, изредка переодевался в доктора Германа и делал вид, что будто помогаешь братьям масонам найти пропавшие документы. Игра твоя была хитро рассчитана и очень сложно обставлена. У тебя был расчет запутать братство и погубить его. Под Измаилом, после его штурма, ты, как офицер Чигиринский, пропал без вести и тебя сочли умершим, на самом же деле ты продолжал действовать под видом доктора Германа. Документы ты будто бы оставил своему приятелю Проворову, а потом в качестве доктора Германа достал их и отправил с камер-юнкером Тротото за границу».

— Ну, так в чем же дело и в чем же вы меня обвиняете? — переспросил Чигиринский, опять обводя масонов долгим взглядом.

Ответил ему председательствующий:

— Мы долго не могли понять, зачем тебе нужно было разыграть всю эту историю и похитить документы; сделать самому же вид, что ты нашел их, чтобы отправить за границу...

— Ну, и что же, додумались вы до чего-нибудь?

— После тщательного изучения присланных за границу документов оказалось, что они были довольно искусной копией, иными словами, чтобы успокоить братство, ты вернул им подложные документы, а подлинные оставил у себя.

Чигиринский весело рассмеялся.

— Однако вы долго решали эту задачу, но решили ее совершенно правильно. Ну, конечно, подлинные документы сохранил я у себя, и вам их никогда не получить обратно.

— Мы их получим! — настойчиво произнес председательствующий.

На это Чигиринский ответил одним только словом:

— Попробуйте!

— Ты не должен забывать, — проговорил председательствующий, — что теперь, здесь, ты в нашей власти и что мы можем силой заставить тебя отдать документы. Они слишком важны, чтобы мы остановились перед чем-нибудь!

— Ах, как вы наивны! — покачал головой Чигиринский. — Неужели вы думаете, что, идя сегодня к вам, я так-таки и принес документы с собой?

— Этого мы не думаем, но мы можем заставить тебя сказать, где они находятся.

— Заставить?.. Употребить силу?.. Как это все низко, грубо и ничтожно! Повторяю вам, если бы я вас боялся, то не пришел бы к вам! Значит, испугать вас меня нельзя. Да оно и не нужно: без всяких угроз с вашей стороны я вам откровенно скажу, где теперь документы, о которых вы хлопочете.

Глаза масонов впились в него, и все сидевшие за столом затаили дыхание, вытянув вперед шеи.

— В эту минуту документы находятся в руках императора Павла Петровича.

Эти внушительно произнесенные слова имели действие нечаянно разорвавшейся гранаты. Масоны отшатнулись и с беспokoйством стали переглядываться.

Из всех один председательствующий сохранил хладнокровие. Он успокоительно помахал собранию рукой и сказал Чигиринскому:

— Возле императора Павла, весьма благосклонно относящегося к нашему братству, есть много наших братьев, и они следят за ним неустанно. Будь документы в его руках, мы бы это знали...

— Завтра вы узнаете это! — произнес Чигиринский.

IX

— Завтрашний день еще не пришел, — возразил председательствующий, — и о том, что мы узнаем завтра, теперь нам неизвестно. Но если документы действительно переданы императору, то это лишь отягчает твою вину, и за одно желание предать братство, если даже оно останется невыполненным, ты подлежишь самому строгому наказанию.

— Не хотите ли вы этим сказать, что лишите меня жизни? — усмехнулся Чигиринский, не выказав ни малейшей робости.

— Ты должен сам знать статут нашего ордена: за измену полагается смертная казнь. Брат-палач найдет тебя, если даже ты сумеешь увернуться сегодня от нас, и исполнит свой долг.

— И вы думаете, ему удастся это?

— Мы в этом уверены.

— Но вы забыли одно очень важное обстоятельство, а именно, что я уже лишен жизни и принял человеческий облик лишь для того, чтобы иметь удовольствие беседовать с вами.

Большинство масонов почувствовало себя очень неловко, а камер-юнкер Тротото нагнулся так низко, что совсем ушел под стол.

— Пустые сказки! — опять махнул рукой председательствующий. — Мы отлично знаем, что твоя смерть под Измаилом была фиктивная и что ты потом продолжал действовать под именем доктора Германа, выдавая себя за Клавдия Чигиринского, будто бы двойника и как две капли воды похожего на умершего Ивана Чигиринского. Все это могло обмануть разве очень наивных людей, но не нас! Мы знаем, что теперь ты живешь в доме Проворова под именем Клавдия Чигиринского.

Чигиринский задумался. Все это было совершенно верно, и масоны были осведомлены очень подробно.

Минута наступала более или менее решительная. Но у Чигиринского уже был составлен план действий. Свою силу над председательствующим он уже знал и, внимательно изучив остальных во время этого якобы суда над ним, убедился в достаточной их слабости, чтобы они поддались массовому внушению. Он внезапно шагнул вперед, вытянул руки, сделал два сильных пасса и, собрав всю свою силу воли, приказал им впасть в полный сон. Он даже не ожидал такого быстрого результата: все девять масонов, как один человек, остались неподвижны, почти не изменив своего положения.

Тогда Чигиринский не спеша подошел к столу, взял лежавшие перед братом-обвинителем бумаги, по которым тот читал свое обвинение Чигиринскому, а затем внушительным голосом произнес раздельно, как бы роняя слог за слогом:

— Вы проснетесь завтра утром и, когда проснетесь, будете все, что узнали про меня через свое расследование; вы будете уверены, что подлинные документы хранятся у вас за границей в тайниках, и что сегодня вы видели перед собой призрак умершего Ивана Чигиринского, и что брат его, близнец Клавдий, очень похожий на него, живет в доме Проворова.

Проговорив это, Чигиринский пожелал проверить степень подчинения этих господ своей воле.

Председателю он приказал влезть на стол, упереться руками в бока и сесть на корточки; сидевшему рядом с ним почтенному масону он велел высунуть язык и взять председательствующего за нос. Они немедленно выполнили это. Камер-юнкера Тротото он поставил на четвереньки под стол, а самого обвинителя Аркадия Федоровича Поливанова

заставил сесть верхом на стол и показывать нос всей честной компании. Так он расставил всех девятерых масонов, а одному из них, последнему, велел помочить палец в чернильнице и написать на белой стене комнаты большими буквами: «Дурачки».

Устроив все таким образом, Чигиринский удалился и, закутавшись в свой плащ, зашагал обратно через Неву домой.

Хотя сегодня все кончилось благополучно, но относительно будущего ему все-таки пришлось крепко задуматься. Оказалось, что осведомленность масонов была все-таки довольно подробна, и в те несколько лет, в течение которых он скрылся с их горизонта, они сумели произвести о нем тщательное расследование и не только разузнать более того, что было желательно Чигиринскому, но и вообще докопаться до всей, что называется, подноготной.

Конечно, эти девять человек, которых он оставил в доме статского советника Поливанова, будут послушно исполнять его волю, стоя на том, что он внушил им, но ведь могли быть еще другие члены братства вольных каменщиков, которым стало известно все это расследование. Таким образом, дело осложнилось, и было о чем подумать Чигиринскому.

Поглощенный этими мыслями, он вернулся домой.

Там, несмотря на поздний час, его ждали. Парадная лестница была освещена, и несколько слуг встретили его на ней.

— Что такое? Отчего вы не спите? — спросил Чигиринский, недовольный, что слуги видели его одетым в мундир конногвардейского офицера.

Ему ответили, что Сергей Александрович приказал ждать его и сам с барыней тоже не ложился спать и ждет наверху, в столовой.

— Случилось что-нибудь? — уже с беспокойством опять спросил Чигиринский, помня происшедший сегодня с Проворовым случай.

— Нет-с, слава Богу, ничего не случилось! — ответил лакей. — Велели подать ужин и сидят за столом, разговаривают.

Успокоенный Чигиринский быстро пошел вверх по лестнице вместо того, чтобы идти к себе.

Х

— Наконец-то ты пришел! — радостно встретил шурина Проворов. — А уж мы беспокоились...

— Что ж, и не ложились спать? — спросил Чигиринский, садясь к столу.

— Да где же тут спать? Если бы ты еще промедлил полчаса, я поднял бы тревогу. Ну, что же, по крайней мере, все сделал, все обстоит благополучно?

— Пойдите! — возразил Чигиринский. — Дайте мне сначала поесть чего-нибудь. Я сделал два больших конца пешком и, надо правду сказать, проголодался.

На столе стоял холодный ужин. Чигиринский взял кусок сочной жирной ветчины, налил красного вина в стакан и принялся с удовольствием есть. Потом, утолив голод, он стал подробно рассказывать свои сегодняшние похождения и сообщил все подробно до самого последнего, то есть как он расставил масонов после их заседания.

Елена не могла не рассмеяться, представив себе фигуры этих господ в их несуразных позах.

— Воображаю себе, как проснутся они завтра и какие сделают лица, увидев друг друга в таком смешном положении! — сказала она. — Но, во всяком случае, я очень рада, что ты сделал все, что было нужно, и что мы можем уехать из этого скверного Петербурга опять назад в Крым, в наше имение, где так спокойно и хорошо.

— Вы поезжайте, — ответил Чигиринский, — а мне, к сожалению, надо еще остаться здесь!

— Остаться? — удивились в один голос Елена и Проворов. — Зачем тебе оставаться?

— Для этого есть много причин, — как-то уклончиво ответил Чигиринский, очень усердно принимаясь чистить румяное яблоко.

— Я одного не понимаю, — проговорил Сергей Александрович, подливая еще вина в стакан шурина. — Зачем ты, умея так отлично переодеваться и изменять свой облик, сейчас вот ходишь по Петербургу в своем виде, то есть так, что тебя могут узнать все, которые помнят тебя как конно-гвардейского офицера? Ведь объяснение, что ты — родной брат-близнец будто бы умершего Ваньки Чигиринского, Клавдий, во-первых, очень сложно, а во-вторых, не совсем вероятно.

— Э, брат! Люди настолько просты, что чем невероятнее рассказывай им истории, тем они охотнее будут верить.

А кроме того, ты видишь, хотя бы по сегодняшнему вечеру, мое появление у Зубова в виде призрака сыграло свою роль и принесло пользу.

— Ну хорошо, что сделано, то сделано! Но не лучше ли тебе теперь преобразиться опять в какого-нибудь старика доктора вроде того Германа, которого ты так прекрасно разыгрывал?

— А что, нас тут никто не может подслушать? — перебил Чигиринский и, встав, осмотрел двери. Так как там никого не было, то он вернулся к столу и, принявшись опять за свое яблоко, сказал, сильно понизив голос: — Без переодевания, конечно, обойтись будет нельзя, и я выберу себе какую-нибудь фигуру для того, чтобы бывать в среде масонов и приглядывать за этими господами, чтобы обезопасить их для нас.

— Ну и отлично! — сказал Проворов. — Если хочешь, я возобновлю прежние знакомства в Петербурге и представлю тебя в новом виде, как вновь приезжего из-за границы.

— Все это так, но прежний свой облик я окончательно терять не намерен!

— Да почему же, если это грозит совершенно ненужными осложнениями? — воскликнул Проворов.

— Да видишь ли... тут дело выходит такое... то есть это мое личное дело... Третьего дня я так же, как сегодня вечером, шел через Неву на Петербургскую сторону, чтобы точно узнать дом, где собирались масонские главари. С этой разведки надо было начать! Ну, и тут произошел случай, не совсем обычный для меня.

— Случай?

— То есть не случай, а вернее — встреча. Да, впрочем, это неинтересно!

— Как неинтересно, если это касается тебя? — стал возражать Проворов.

— Да это все очень просто. Я шел и увидел, что на встречу мне неслась запряженная в маленькие санки лошадь, очевидно взбесившаяся, а в санках была девушка, которая, не потеряв присутствия духа, помогала кучеру натягивать вожжи. Это было одно мгновение. Я кинулся, схватил лошадь под уздцы, и мне удалось задержать ее. Ну, и представь себе, что девушка в санках сохранила полное присутствие духа и, когда я стал расспрашивать ее, смеясь, сказала, что это ничего, и интересовалась только, не пострадал ли я как-нибудь.

— И ты узнал, кто была она?

— В том-то и дело, что ничего узнать не мог, так как она не дала мне времени ни на какие расспросы. Я даже лица ее хорошенько не видел, только большие черные глаза блеснули на меня из-под капора! Да еще я знаю, что она говорила с сильным польским акцентом. Но полек много в Петербурге, и я боюсь, что не узнаю ее при встрече! Она же прекрасно видела мое лицо, освещенное луной, и мне хочется, чтобы она узнала меня в моем образе. Вот потому-то я и не хочу менять его.

XI

Через несколько дней, когда Чигиринский сидел внизу у себя в комнатах, к нему вбежал Проворов, оживленный и даже в некоторой степени и взволнованный.

— Представь себе, что я узнал! — заговорил он. — Из самых верных источников: масоны впали в немилость. Зубову же дан рескрипт с позволением ехать за границу, а по дороге заехать в его литовские имения!

Чигиринский не торопясь поднял голову и, с улыбкой взглянув на приятеля, спокойно произнес:

— Что же тут удивительного? Я не сомневался, что это так и будет.

— Да, но все в недоумении, и никто ничего понять не может! Вызванный только что из Москвы масон Лопухин отправлен обратно, Новикову велено оставаться в своем имении, и вообще теперь все чураются братства вольных каменщиков!

— Ну а сами-то они что?

— Среди них самих царит полная растерянность. Они ожидали совершенно противоположного, они ничего не понимают, да и никто ничего понять не может. Все дивятся непостоянству императора Павла Петровича.

— Ну, мы-то с тобой знаем, что он действует в настоящем случае, как, впрочем, и во всех других, чрезвычайно последовательно.

— Да, никто и не подозревает, что до императора дошли подлинные, неопровержимые документы, уличающие масонов. Но ты себе представить не можешь, кто теперь первый и громче всех кричит против масонства и ругает его!..

— Кто же? Вероятно, камер-юнкер Тротото?

— Ну да, он, конечно, он! Он теперь летает из одного дома в другой и наперебой, до охриплости кричит о вреде масонской организации.

— Ну что же! Это еще умнее всего прочего, что он делал до сих пор! Но, значит, действительно масоны обретаются не в авантаже, если камер-юнкер Тротото решился на открытое порицание их!

— Я же тебе говорю, и увольнение Зубова также никто не может понять!

— Какие же ты делаешь из всего этого заключения?

— Во-первых, для меня теперь несомненно, что расчет твой был верен и что документы действительно попали в руки государя через Зубова, так как он получил устраивающий его дела рескрипт, а песенка масонов у нас спета.

— По крайней мере, на время царствования императора Павла, продли Бог дни его жизни!

— Аминь! — заключил Проворов. — А мы, значит, можем теперь ехать! Ты все-таки решаешь остаться?

Чигиринский молчал, задумавшись и глядя мимо Сергея Александровича.

— Чигиринский, я тебя спрашиваю? Ты все-таки желаешь остаться здесь? — спросил его Проворов.

— Да, я так думаю!

— Это все из-за твоей польки? Послушай, ведь ты же видел ее мельком, да и то одни глаза! Ведь не мог же ты влюбиться в нее?

— Ну вот еще какой вздор: влюбиться!

— Отчего же? С тобой это может случиться, как и со всяким другим, но только нужно, чтобы для этого был подходящий, то есть достойный для тебя предмет, а нельзя же так, в самом деле, удовольствоваться лишь тем, чтоб на лету видеть глаза, не зная даже, кто их обладательница и что она такое?

— Ну уж если говорить серьезно, так кроме ее глаз я видел еще весь ее стан, тонкий и прекрасный, затем видел, как она безбоязненно, стоя в санях, помогала кучеру удерживать лошадь. Судя по одежде и по закладке лошади, она должна принадлежать к знатной польской семье.

— Однако она ехала в открытых санях, в одиночку, без гайдуков, без всякого сопровождения?

— У поляков это допускается гораздо свободнее, чем у нас: парадные выезды у них очень пышны, а обыкновенно они ездят попросту.

— Ну хорошо! Ты хочешь отыскать ее во что бы то ни стало? Что же ты для этого намерен предпринять? У тебя есть какой-нибудь определенный план?

— Конечно, есть, и довольно несложный. Ты знаешь, что бывший король Польши Станислав Август Понятовский

вызван в Петербург и с его приездом, вероятно, будут торжества и празднества, на которые явится все польское общество. Очевидно, там будет и моя паненка, я ее увижу и познакомлюсь с ней!

— А потом?

— А потом, вероятно, ничего. Мне просто интересно познакомиться с нею, посмотреть, какова она; хочется, чтобы она меня узнала, вот и все; а после этого, вероятно, я поеду или назад с вами в Крым, или за границу.

— Ну, тогда мы с Еленой подождем тебя, если ты предполагаешь, что можешь поехать с нами.

— Конечно, вероятнее всего, я с вами и уеду! — заключил Чигиринский, вставая и потягиваясь после долгого сидения за книгами.

И они оба пошли наверх к Елене.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Отношения России к Польше при вступлении Павла Петровича на престол представлялись приблизительно в таком виде: Польша уже не существовала как самостоятельное государство; она была разделена Австрией, Пруссией и Россией. Последний ее король Станислав Август Понятовский был, в сущности, ставленником России и принадлежал к партии Чарторийских, враждовавших с партией Потоцких, которая была против России.

Мать Станислава Августа была из рода Чарторийских, а отец его, Станислав же по имени, был мазовецким воеводой. После уничтожения Польши и раздела ее Потоцкие и их приверженцы жили в Петербурге в качестве пленных. Этой же участи был подвергнут и знаменитый польский генерал и патриот Костюшко: Станислав же Август жил на свободе в Гродно.

Вскоре после своего восшествия на престол император Павел прибыл в сопровождении наследника-цесаревича в Мраморный дворец, где в нижнем этаже содержался — правда, под строгим присмотром — раненый пленный Костюшко.

Мраморный дворец служил прежде помещением для Григория Орлова и был выстроен Екатериной II для этого своего любимца. Над входом этого дворца во время пребывания там Костюшки еще красовалась надпись: «Здание благодарности».

Чтобы судить, насколько можно доверять разным якобы документам, дошедшим до нас от прежних времен, достаточно сказать, что посещение императором Павлом польского генерала изображено на гравюре того времени в мрачной темнице, ничего общего не имеющей с роскошным дворцом, в котором на самом деле жил Костюшко.

Павел I сказал этому герою Польши, что давно сожалел о его участи, но не мог ничего для него сделать, теперь же желает вознаградить пленника за все перенесенное им.

— Вы свободны! Я сам желал принести вам эту утешительную весть, — сказал император, а затем, вынув свою шпагу из портупей, подал ее Костюшке, говоря: — Такому храброму воину неприлично быть без шпаги. Вот, возьмите мою!

Костюшко был глубоко растроган и в порыве волнения воскликнул:

— Призываю Бога в свидетели, что пожалованной мне шпаги русского царя я никогда не обнажу против русских*.

Павел Петрович подсел к Костюшке и продолжал разговаривать очень ласково.

Между прочим, Костюшко спросил, будут ли освобождены и другие польские пленные.

— Они будут также освобождены, — ответил государь, — хотя в моем совете многие высказались против освобождения Потоцкого и Немцевича! Но я отпущу и их, если вы мне дадите ваше слово, что принимаете на себя ручательство за их хорошее поведение.

Костюшко ответил, что за Немцевича он ручается, а относительно Потоцкого не может принять на себя какого-либо обязательства, не переговорив с ним предварительно.

Государь остался очень доволен этой осторожностью Костюшко и разрешил ему навестить Потоцкого, когда только он того пожелает.

Затем Костюшко попросил государя позволить ему удалиться в Америку. Император объявил ему свое согласие и обещал даровать ему средства для осуществления этого путешествия.

Присутствовавший при этом свидании великий князь Александр Павлович настолько был растроган этой сценой, что, прощаясь, со слезами на глазах несколько раз обнял Костюшку.

* Костюшко честно сдержал данный им обет и даже по воцарении Александра I ни в 1806 году, ни в 1812 году не последовал с другими поляками за воевавшим с Россией Наполеоном.

Император Павел лично отправился также и к Потоцкому и сказал ему:

— Я знаю, что вы много страдали, что вас долго оскорбляли и преследовали; мои министры решительно противились вашему освобождению, я один держался противного мнения. Господа министры желают водить меня за нос, но, к несчастью, его у меня нет! — сказав это, государь с улыбкой провел рукой по своему лицу, после чего добавил: — Обещайте мне оставаться спокойным! Рассудок должен указать вам на эту необходимость. Новые попытки могут только навлечь на вас новые несчастья. Я всегда был против раздела Польши и признаю его делом настолько же несправедливым, как и недалновидным и в политическом отношении. Теперь, однако, поправить ошибку нельзя! Для восстановления Польши необходимы содействие и согласие со стороны трех держав на возвращение отобранных частей. Но представляется ли вероятным, чтобы Австрия и в особенности король прусский отдали свои доли? Не могу же я один отдать принадлежащую мне часть и ослабить себя в то время, когда они усилились? Это невозможно! Или мне приходится объявить им войну, чтобы принудить их к восстановлению Польши! Но согласитесь, что это еще менее возможно, так как империя моя крайне нуждается в мире. Итак, вы видите, что вам следует подчиниться обстоятельствам и оставаться спокойными.

Потоцкий, тронутый откровенной и милостивой речью государя, дал ему с полным чистосердечием требуемое обещание.

Все пленные поляки были отпущены и покинули Петербург.

Костюшко направился через Швецию и Англию в Америку после прощальной аудиенции, данной ему в Зимнем дворце. Ему было пожаловано огромное состояние в тысячу душ, но, по его прошению, этот дар был заменен деньгами. Ему было выдано из кабинета его величества шестьдесят тысяч рублей и, кроме того, в расходных статьях личного счета императора показано «тысяча шестьсот сорок один рубль тридцать копеек за купленные для генерал-поручика Костюшки разные вещи, одежду и карету».

В то же время особым указом Сенату была объявлена амнистия всем вообще полякам, подпавшим под наказание, заточение и ссылку по случаю бывших в Польше замешательств. Император повелел: «Всех таковых освободить и отпустить в прежнее их жилище, а заграничных, буде пожелают, и за границу. Об исполнении сего Наш Сенат

имеет учинить немедленно надлежащее распоряжение, предписав куда следует, чтобы со стороны губернских правлений и других земских начальств взяты были меры к наблюдению, дабы сии освобождаемые оставались спокойны и вели себя добропорядочно, не входя ни в какие вредные сношения под опасением тягчайшего наказания».

II

Развенчанного короля польского Станислава Августа Понятовского, проживавшего со времени раздела Речи Посполитой в Гродно, Павел Петрович пригласил к себе в Петербург, и тот, прибыв в невскую столицу 27 февраля в карете, прямо направился в Мраморный дворец, назначенный для его пребывания.

Там высокого гостя ожидали император Павел I и великие князья Александр и Константин. Государь окружил безземельного короля царскими почестями и относился к нему с самым изысканным вниманием, тем более что в связи с его путешествием произошло довольно странное обстоятельство, поставившее русское правительство в несколько неловкое положение.

Дело состояло в следующем. Так как путь Станислава Августа в Петербург лежал через Ригу, то ему там была приготовлена торжественная встреча. На улицах была поставлена почетная стража из рижских бюргеров, в доме Черноголовых назначен был парадный обед. Увы! Всем этим почетом воспользовался Платон Александрович Зубов, ехавший через Ригу за границу, а не Станислав Август, который в назначенный день в Ригу не приехал, а прибыл позднее и потому не был почтен встречей.

Как потом выяснилось, все это было подстроено не без умысла; рижские немцы не хотели признать развенчанного короля и поставили на своем — им было приказано приготовить торжественную встречу, приготовить они ее приготовили, согласно приказанию, но встретили не Станислава Августа Понятовского, а князя Зубова. Бюргеры в качестве почетной стражи на улице отдали ему честь, а дворянство накормило его в доме Черноголовых обедом.

Император, узнав об этом, сильно разгневался и подписал на имя барона Петра Александровича фон дер Палена, представителя лифляндского дворянства, распоряжавшегося всей встречей, рескрипт грозного содержания: «Господин генерал-лейтенант Пален, с удивлением уведомился я обо

всех подлостях, вами оказанных в проезде князя Зубова через Ригу. Из сего и я делаю сродное о свойстве вашем заключение, по коему и поведение мое против вас соразмерно будет. Сие письмо можете показать генерал-лейтенанту Бенкендорфу».

Христофор Иванович Бенкендорф занимал в то время место военного губернатора в Риге. Он был женат на баронессе Шиллинг, подруге детства императрицы Марии Федоровны.

По случаю происшествия с князем Зубовым генерал Бенкендорф получил 2 февраля высочайший выговор в рескрипте: «Известясь обо всем происшедшем в Риге, в проезде князя Зубова, удивляюсь, как вы могли допустить все сие сделать и, видя из сего слабость исправления должности вашей, делаю вам за сие выговор».

Рижскому губернатору барону Кампенгаузену император Павел писал от того же числа: «С удивлением известился я о встрече и других почестях, сделанных мещанством рижским князю Зубову при проезде его через Ригу. Как подобные почести никому из частных людей не принадлежат, то я и требую от вас ответа, для чего вы допустили делать оное мещанство, в поступке коего видится одна лишь подлость, что вы им и объявите».

Относительно Бенкендорфа и Кампенгаузена Павел Петрович ограничился этими письмами, но о Палене последовал указ, по которому «генерал-лейтенант фон дер Пален за почести и встречи, делаемые партикулярным людям, как то при проезде князя Зубова, и за отлучку без увольнения в Митаву для провожания его же, выключен из службы».

Гордость напыщенного барона была уязвлена до крайности. В последовавшей за его самовольство каре он видел не только для себя унижение, но прямое оскорбление. Он рассчитывал, что его умышленная ошибка пройдет незамеченной и он избавится таким образом от необходимости ему, немецкому барону, встречать какого-то поляка, ставшего королем из простых смертных и затем развенчанного. Он даже думал, что даст этим тонкий урок императору Павлу Петровичу, что нельзя-де заставить немецкое баронство делать то, что ему неуютно. Ни он сам, ни кто-либо из немецкой знати не ожидали, что в Петербурге решатся на крутые меры «из-за таких пустяков». Они были приучены в предыдущее царствование совсем к иному. Император Павел не побоялся баронства и приобрел вследствие этого в бароне Петре фон дер Палене смертельного врага, затаившего против него злобу.

III

Станислав Август довольно быстро освоился в Петербурге. Вокруг него сгруппировались поляки из партии Чарторыхских, и таким образом создалось подобие маленького двора.

Большого штата прислужников Понятовский иметь не мог, потому что денежные дела его были очень плохи. Этими его делами заведовал камердинер Рикс, давнишний его слуга и доверенное лицо. Он умел угодить своему господину и потому пользовался его доверием и беспредельным значением.

Сам Станислав Август по характеру был человек равнодушный, неспособный увлекаться. Он любил роскошь, и в бытность его королем польским двор его в Варшаве считался одним из блестящих и по изяществу, царившему там, и по легкомыслию нравов. Станислав Август был равнодушен и к женщинам совершенно так же, как и ко всему остальному; и, может быть, оттого они в бытность его королем наперебой старались ему понравиться. Стать метрессой или фавориткой короля считалось тогда в Варшаве большой честью, и знатные польки добивались этой чести, чего бы это им ни стоило. По четвергам у короля бывали собрания, на которых сходились вместе с польской аристократией и поэты, и писатели, и художники.

Когда Станислав Август был лишен престола и переехал на скромное житье в Гродно, он отнесся к этому так же безучастно, как относился к недавнему блеску своего двора. Ни жалоб на свою участь, ни отчаяния он не выказал. Может быть, это происходило оттого, что он верил в свою судьбу и спокойно рассчитывал, что она позаботится о нем. Когда пришло известие в Гродно о том, что вновь взошедший на престол император вызывает его в Петербург, Понятовский это принял без волнения, собрался и поехал так просто, как будто ничего особенного не случилось.

Теперь, поселившись в Мраморном дворце, он ходил по его роскошным комнатам, останавливался у окна, глядя на покрытую снегом широкую Неву, и думал о том, что, пожалуй, ему все-таки нужно дать бал, тем более что обласкавший его император Павел требовал от него, чтобы он держал себя, как владетельная особа. Да и надо было собрать вокруг себя общество. Таким образом, необходимость бала вытекала из самих обстоятельств.

Понятовский позвонил и вошедшему на его звонок лажею велел позвать к себе камердинера.

Через некоторое время пришел старый Рикс и застал Станислава Августа стоящим у окна в бесстрастном созерцании белевшей своим снежным покровом Невы. Камердинер, войдя и, по-видимому, не особенно чинясь, со своего рода ласковой развязностью спросил, спрятав одну руку в карман:

— Что угодно вашему величеству?

— Нужны деньги, — не оборачиваясь, ответил Станислав Август.

— Деньги... деньги! — повторил Рикс, переступив с ноги на ногу. — А если спросить, зачем вам деньги, так этого никто не знает.

— Нет, на этот раз мне серьезно нужны деньги.

— У вас всегда серьезно, а потом окажется пустяки! А впрочем, попросите у императора: он вам, вероятно, даст.

Станислав Август, прищурившись, посмотрел на Рикса и не торопясь направился в смежную комнату, служившую ему кабинетом.

— Не могу же я просить у императора Павла деньги для того, чтобы устроить бал для него же! — проговорил он на ходу.

Рикс прошел за ним в кабинет.

— Вашему величеству угодно дать бал?

— Ах, мне все равно! — ответил Станислав Август, опускаясь в кресло и зевая. — Но этого требует приличие!

Рикс, вероятно, не мог не согласиться с этим доводом. Его расчетливый ум сейчас же взвесил положение и сообразил, что, действительно, со стороны бывшего короля требовалось если не вполне, что называется, показать себя, то, во всяком случае, соблюсти более или менее достойно приличия.

— Ведь роскошью никого не удивишь в Петербурге!.. Здесь в прошлое царствование привыкли к таким празднествам, что после них ничего не может уже быть заметным! — начал говорить Рикс, как бы соглашаясь. — Да и нынешний император терпеть не может мотовства!

— Ну так вот, мне нужны деньги! — подтвердил Станислав Август.

— А чем мы платить будем?

— Ах, какие пустяки! Впрочем, если не хочешь, тогда и не надо! — И Станислав Август, облокотившись на руку,

стал смотреть перед собой, как будто уже думая совсем о другом.

«Положим, — продолжал мысленно рассчитывать Рикс, — теперь, ввиду отношения к нему императора, есть кому заплатить долги. А для того, чтобы они были заплачены, надо поддержать это отношение, а чтобы поддержать его, нужно представительство».

— Хорошо! — проговорил он наконец вслух. — Надо будет постараться достать денег. Только много я не обещаю.

— Постарайся, чтобы хватило! — не спеша добавил Станислав Август, продолжая глядеть перед собой.

Рикс постоял еще некоторое время, подождал, не скажет ли король ему что-нибудь, но тот молчал, и он ушел, озабоченный этими денежными хлопотами, которые вечно взваливал на него господин.

IV

В Польше, в особенности ко времени ее падения, было очень развито масонство, принимавшее близкое и деятельное участие в раздорах всяких политических партий этой лишенной крепкого правительства страны.

Рикс, как близкое к королю лицо, был замешан в братстве вольных каменщиков и сохранил с ними сношения и после падения Станислава Августа.

Большинство денег, которые он доставал за своим ручательством для своего господина, происходило от масонов, никогда не жалевших золота, чтобы держать в руках выдающихся политических лиц. А то, что пренебрегать таким человеком, как Станислав Август, им не было расчета, доказывал хотя бы прием, оказанный ему Павлом Петровичем. Поэтому Рикс так легко обещал достать нужные Понятовскому деньги, вполне уверенный, что достанет их для него у масонов.

Свои сношения с братством Рикс поддерживал в Петербурге через родную сестру свою пани Юзефу, жену бывшего на русской службе поляка. Теперь, приехав в Петербург, он, разумеется, мог через сестру вступить и в непосредственные личные сношения с масонами и, конечно, поспешил сделать это. Сестра познакомила его с немцем — доктором Пфаффе, который, по ее словам, играл в петербургской ложе Астреи хотя и далеко не главную, но все-таки деятельную роль. Между Риксом и немцем было условлено,

что, как только будет надобность, доктор будет приглашен в Мраморный дворец как бы для того, чтобы навестить больного.

После своего разговора с королем о деньгах Рикс послал к Пфаффе нарочного, и тот явился немедленно, напялив на себя свой лучший кафтан и приняв облик серьезного ученого мужа. Его встретил старый камердинер и, к некоторому разочарованию немца, сказал, что не король нуждается в его совете, а только он, его камердинер. Пфаффе поджал губы, но все-таки последовал в отдельную комнату, куда провел его Рикс.

Тут они сделали друг другу тайные масонские знаки своей степени, и Рикс в немногих словах изложил, в чем дело. Немец подумал — кажется, больше для важности, чем для необходимости, — и, наморщив лоб, проговорил тоном прорицателя:

— Я думаю, то есть я полагаю, даже, могу сказать, уверен, что это можно будет сделать и помимо братства: у меня есть знакомый состоятельный человек, и, за верным поручительством, у него можно будет достать необходимую сумму.

— А что вы называете верным поручительством?

— А хоть бы ваша подпись, господин Рикс!

— Что же, я согласен! Только где и как мне найти этого вашего человека?

— О, это вполне порядочный человек! — стал рассказывать Пфаффе. — Он — статский советник, Аркадий Федорович Поливанов. У него свой небольшой дом на Петербургской стороне. Если вы хотите, мы отправимся к нему, и все будет сделано очень скоро. Мы можем поехать хоть сейчас.

Это понравилось Риксу, который не любил откладывать дел.

В его распоряжении во дворце была карета, он велел заложить ее и отправился с Пфаффе на Петербургскую сторону к Поливанову, о принадлежности которого к масонскому ордену не подозревал не только Рикс, но и Пфаффе, имевший с ним давнишние дела.

Как немец и предсказывал, Поливанов был очень сговорчив и легко ссудил тысячу рублей развенчанному польскому королю под ручательство его камердинера.

На возвратном пути Рикс с Пфаффе заехали к пани Юзефе, чтобы напиться у нее чая.

— Я нарочно заехал к тебе, — сказал, между прочим, ей брат, — чтобы предупредить тебя, что в эти дни у меня

будет много хлопот и поэтому не будет времени видаться с тобой.

— Хлопот? Каких же это именно? — стала расспрашивать любопытная Юзефа. — Или, может быть, это тайна?

— Нет, никакой тут тайны нет. Просто король хочет сделать у себя вечер, и мне надо будет заняться приготовлениями.

— Вечер!.. Вот оно что!.. Тогда я надеюсь, что Рузя будет приглашена? О себе я, конечно, не говорю, но мне хочется, чтобы моя дочь была на вечере у польского короля, и ты можешь это сделать для своей племянницы!

— Знаете, господин Рикс, — деловито и внушительно произнес Пфаффе, — у меня есть тоже к вам одна просьба: я очень желал бы, даже больше... я сгораю нетерпением тоже быть приглашенным на вечер к его величеству королю Польши.

V

На другой день утром в приемной прусского посла графа Брюля сидело несколько просителей, невзрачных немцев; среди них доктор Пфаффе тоже ждал своей очереди быть принятым. Просители входили один за другим в дверь посольского кабинета, приглашаемые туда молодым чиновником.

Пфаффе, которому следовало идти в кабинет после почтенного курляндского пастора, наконец дождался, что тот, остававшийся довольно долго у посла, вышел. Доктор, очевидно, был уже не в первый раз на приеме и, как свой человек, ответил полупоклоном на приглашение чиновника войти.

Посол сидел в своем кабинете за большим круглым столом и, взглянув на вошедшего, не здороваясь, коротко спросил:

— Что нового, господин доктор?

Пфаффе склонил голову набок, заложил руки за спину и не без некоторой развязности доложил, стараясь быть как можно короче в выражениях:

— Новости, ваше сиятельство, небольшие, но интересные! Камердинер бывшего польского короля, старый Рикс, обратился ко мне, как масон к масону, с просьбой достать ему денег для устройства вечера, который хочет сделать бывший король для приема государя и петербургского общества.

— И вы пришли ко мне за этими деньгами? — хмурясь, проворчал граф Брюль.

— О нет! — быстро подхватил Пфаффе. — Я обошелся на этот раз без масонского братства!

— И достали деньги? У кого?

— У меня есть знакомый, статский советник Аркадий Федорович Поливанов, он живет в своем доме на Петербургской стороне...

Брюль быстро глянул снизу вверх на Пфаффе и произнес одно только слово:

— Глупо!

— Но что же тут глупого, экселенц? — упавшим голосом произнес доктор. — Я думаю, масонскому братству выгодно заручиться связью с таким лицом, как Станислав Август?

— Послушайте, мой добрый Пфаффе, — заговорил посол, — вы очень аккуратный и исполнительный человек, когда точно действуете согласно данным вам приказаниям, и в этом отношении я вас очень ценю, но только — раз навсегда — бросьте предпринимать что-нибудь самостоятельное!

— Неужели я должен был отказать? — удивился доктор.

— Вы должны были прийти ко мне и спросить, — пояснил Брюль. — Дело в том, что теперь масоны в Петербурге лишились своего значения и вам нужно, впредь до новых обстоятельств, удалиться от них. Мы должны иметь в виду одну только пользу нации. Ну а для нас, немцев, вовсе не нужно, чтобы какой-то шляхтич, ставленник русских, бывший польский король, окружал себя в Петербурге каким-то ореолом и задавал приемы! К тому же вы напрасно воображаете, что достали деньги частным образом. Разве вы не знали, что этот ваш статский советник Аркадий Федорович Поливанов, так же, как и вы, принадлежит к масонскому братству и имеет в нем даже довольно высокую степень?

— Аркадий Федорович Поливанов?! — всплеснул руками Пфаффе. — Кто бы это мог думать!..

— Ну да! И он дал господину Понятовскому, конечно, не свои, а масонские деньги. А вот если бы вы вовремя пришли ко мне и спросили, я запретил бы вам идти с этим делом к Поливанову и помочь таким образом соединиться Риксу с одним из серьезных масонов.

— Но я даже не знал, что он член братства!

— Ну вот теперь знайте и заметьте себе этот случай на будущее: ничего не делайте, не доложив об этом мне.

— О, будьте спокойны, ваше сиятельство, теперь в будущем я ничего не сделаю, не доложив об этом вам!

— Погодите! — остановил доктора Брюль. — Вы пройдете к господину Фелькерзаму и скажете ему от себя... Вы, надеюсь, знаете господина Фелькерзама?

— Господин Фелькерзам — посланник саксонского двора. О, я его знаю очень хорошо, и он меня знает также!

— Ну вот пойдите к нему и скажите от себя, что Станислав Август устраивает у себя вечер и что необходимо, чтобы саксонский посланник был на этом вечере. Только ни слова о том, что это я вас послал!

Пфаффе склонился и совсем уже молитвенным шепотом произнес:

— Слушаю, экселенц!

— А затем побывайте у Рикса и скажите ему, чтобы он не забыл послать приглашение на вечер мне и господину Фелькерзаму. Я предпочел бы, чтобы этого вечера у господина Понятовского вовсе не было, а уж раз состоится, нам волей-неволей нужно быть там.

— Я тоже там буду! — не без гордости вырвалось у Пфаффе.

Но Брюль остановил восторг немца.

— Я думаю, что это будет лишнее! Вы там окажетесь не нужны.

Пфаффе с усилием подавил вздох сожаления и покорно произнес:

— Хорошо, экселенц! Я не пойду на этот вечер.

VI

Мраморный дворец был настолько великолепно обставлен и снабжен таким обилием утвари и посуды, что требовалось очень мало усилий для того, чтобы дать в нем бал или вечер. Поэтому никаких значительных приготовлений со стороны Рикса не потребовалось для задуманного Станиславом Августом празднества. Нужно было только нанять музыкантов, сделать покупки для угощения и достать потребное количество прислуги.

Оркестр искать в то время в Петербурге не приходилось, потому что в любом богатом доме имелись свои крепостные музыканты и всегда была возможность их нанять. Магазины разной гастрономии, сластей и фруктов Петербург тоже был богат, и за деньги можно было достать все что угодно, а прислуга имела в Зимнем двор-

це, и Станиславу Августу можно было воспользоваться ею.

Приглашения были разосланы всему чиновному и знатному Петербургу. На вечер ждали самого государя, и потому в назначенный день съезд в Мраморный дворец оказался такой значительный, что кареты далеко еще от него на набережной должны были становиться в очередь и подвигаться шаг за шагом.

Елена и Проворов наотрез отказались ехать на этот вечер, но Чигиринский отправился на него с твердой уверенностью, что увидится там с незнакомой ему полькой. С этой целью он приехал как можно раньше, в шелковом, расшитом гладью кафтане, чувствуя себя не совсем привычно среди петербургского общества в статском платье. В военном мундире, к которому он привык издавна, ему было бы легче, но он, числясь в отставке, не имел права носить форму.

Придя заранее, он остановился на площадке входной лестницы, внимательно вглядываясь в каждую входившую даму и девушку и стараясь узнать ту, которая поразила его своими глазами при мимолетной встрече посредине Невы.

Мимо него промелькнуло много блестящих, радостных, красивых, задорных и всяких других глаз, но ни одни из них не были похожи на те, которые он искал встретить.

Он нашел немало знакомых, которых знал, когда гвардейским офицером несколько лет тому назад много выезжал в Петербурге. Однако большинство проходило, не обращая на него внимания, а те, которые замечали и узнавали, не выказывали никакой радости, и он со своей стороны тоже рассеянно и равнодушно здоровался с ними, сосредоточивая все свое внимание на одном желании — найти во что бы то ни стало красавицу польку. Но ее не было, хотя много полек, которых сразу можно было отличить и по платью, и по манерам от русских, проходило по лестнице и поднималось в зал.

Наконец, по мере наполнения бесконечной анфилады дворца, приезжающие стали все реже и реже; в зале почувствовалось движение, блестящая толпа прихлынула к дверям и вновь отхлынула от них.

На верхнюю площадку лестницы, где в углу продолжал стоять Чигиринский, высыпали гурьбой знатные персоны в мундирах, и показался сам хозяин, Станислав Август. Все осматривали себя, одергивались и переговаривались сдержанным шепотом. Очевидно было, что сейчас приедет государь. Вскоре снизу на лестницу вбежал как-то особенно

прыткими для старика шагами Рикс и издали сделал выразительный знак Понятовскому. Тот одернул себя и пошел навстречу приехавшему императору.

Чигиринского так давили и теснили в его углу, что он хорошенько не мог рассмотреть, как вошел государь; он только видел группу людей, прошедших довольно быстро между расступившейся толпы, а затем в зале сейчас же раздались торжественные звуки полонеза. Площадка лестницы опустела, можно было вздохнуть свободно.

Чигиринский положительно и твердо знал, что среди прошедших мимо него ее не было. А между тем он всем своим существом предчувствовал, что должен увидеть ее сегодня, что она будет тут.

По лестнице, крадучись и озираясь, поднялось еще несколько запоздалых гостей, но среди них ее опять не было!

Чигиринский ждал до тех пор, пока наконец стало ясно, что приезд закончился и что дальнейшее стояние на лестнице будет совершенно праздным занятием. В зале польский танец, с которого обыкновенно начинался бал, давно уже кончили и танцевали краковяк.

Чигиринский вошел в зал и как-то сразу увидел всех вместе, всех танцующих девушек и женщин, увлеченных и раскрасневшихся, но ни одна из них все-таки не обладала теми глазами, которые помнил и искал Чигиринский.

Он медленно и осторожно пробирался между парами, стараясь держаться настороже, чтобы не мешать танцующим, и вдруг словно удар почувствовал в сердце, как бы подтолкнувший его посмотреть направо.

Он оглянулся. У стены, прижатая к ней танцующими, стояла паненка в белом платье с нежно-палевыми лентами и смотрела прямо на него.

«Это она!» — сказал себе Клавдий и, не думая о том, что делает, направился прямо к ней.

Лицо девушки по внешности оставалось бесстрастным, ни улыбкой, ни движением брови она не выдала себя, но Чигиринский по ее взгляду видел, что она узнала его.

«Это она! Это она!» — повторял он себе, когда подошел к ней: и, прежде чем он успел проговорить ей обычное приглашение на танец, она двинула рукой, чтобы поднять ее ему на плечо, словно ждала именно его и была уверена, что он ее найдет и пригласит танцевать.

Почувствовав ее близость, Чигиринский как-то особенно удачно сейчас же поймал такт, и они пошли по залу, чувствуя оба, что даже сердце у них бьется в такт музыке, и, когда, делая фигуру танца, приходилось расходиться,

Чигиринский, отойдя, не отделялся от своей дамы, а в лад ударял ногами об пол, притопывал и чувствовал, как она ударяет и притопывает своими ножками, как будто в этом огромном, полном народа зале никого не было, кроме них двоих, а когда фигура требовала сходиться, он не ища шел прямо к своей партнерше и она — к нему.

VII

Император Павел Петрович был в отличном расположении духа, с радостным лицом смотрел на танцующих и милостиво беседовал с хозяином вечера Станиславом Августом.

Их окружала группа почтительно склоненных придворных, жадно ловивших не только слова, но взгляды императора.

Несколько вдали, не смешиваясь с этой группой, однако так, чтобы иметь возможность слышать, что говорилось там, держались два человека в посольских, расшитых серебром мундирах. Это были граф Брюль, прусский посол, и саксонский посланник Фелькерзам.

Они стояли в амбразуре окна и, не спуская взора с государя и окружавших его лиц, вполголоса перекидывались отдельными фразами, и им, как представителям немецких государей, неприлично было, по их мнению, вертеться возле отставленного польского короля. С Польшей, разделенной при Екатерине, для немцев было покончено, и теперь они с неудовольствием смотрели на «выходки», как они называли это, императора Павла по отношению к Станиславу Августу.

Фелькерзам донес уже своему правительству совершенно определенно:

«Император считает раздел Польши политической ошибкой со стороны России и не скрывает своего мнения об этом. Он даже заявил Станиславу Понятовскому, что считает страшной несправедливостью все, что было сделано в Польше, и никогда не одобрял этого, и что, не будь в этом деле замешаны другие государства, он охотно восстановил бы польское королевство. А в письме, которым государь на латинском языке пригласил бывшего короля в Петербург, он несколько раз повторил ему: «Не забудь, что ты — гех, то есть король».

Понятно, что на восстановление Польши немецкие дипломаты смотрели враждебно, потому что это, с одной сто-

роны, должно было грозить отторжением отошедших к немцам польских земель и потому было невыгодно для них, а, с другой стороны, было выгодно для России, так как отделяло ее буфером от западных соседей.

И Фелькерзам с Брюлем, сочтя по долгу дипломатических представителей необходимым явиться в Мраморный дворец на вечер к Станиславу Августу, недовольно следили из амбразуры окна за тем, как был милостив император к бывшему польскому королю и как поэтому придворные увивались вокруг Станислава Августа.

— По-моему, в этом нет никакого смысла, — проворчал Брюль так, чтобы его мог слышать только один Фелькерзам.

— Это совершенно противоречит пользе государства! — поддакнул ему тот.

— Если так пойдет дальше, то может кончиться очень плохо!

— О да! — протянул Фелькерзам, отлично понимая, что это «кончится плохо» относится к пользе тех правительств, представителями которых они являлись.

— Вообще, я должен сказать, — заметил Брюль, — что не в одном только польском вопросе, но и во всем остальном русская политика становится на самостоятельный путь.

— И притом бессмысленно безобразный!

— А вы знаете, отчего это? Оттого, что от двора удалены все бескорыстные, преданные делу люди! Нет ни одного, понимающего истинную пользу государства!

Брюль, произнося эти слова, не сомневался, что его собеседник иначе не мог их понять, как в том смысле, что тут речь идет об истинной пользе немецкого государства.

Фелькерзам пожал плечами.

— Что же вы хотите, если императрица, несмотря на свое немецкое происхождение, не желает или не умеет приблизить ко двору настоящих немцев? Для нее фрейлина Нелидова — гораздо более милый друг, чем умнейшие соотечественники, которые были бы в состоянии дать императору Павлу мудрые советы.

— Но в таком случае наше дело, — делая серьезное лицо, сказал граф Брюль, — постараться удалить фрейлину Нелидову и приблизить к императору честных, добрых немцев, которых найдется немало в России, хотя бы в Прибалтийском крае.

Фелькерзам был деловой человек и отлично сознавал, что этот отрывочный разговор имеет существенное, серь-

езное значение. Поэтому он, как бы понимая не только то, что ему говорили, но и что хотели сказать, прямо спросил:

— Вы имеете уже кого-нибудь в виду?

— Отчего же нет? Вот взять хотя бы, например, барона Петра Палена...

— Это тот, который пострадал в Риге за встречу князя Зубова вместо Станислава Августа?

— Да. Великолепная история! — усмехнулся Брюль.

— Прекрасно! — согласился Фелькерзам. — Такие добрые немцы нам были бы очень нужны здесь, в Петербурге!

— Значит, будем стараться.

— Наша обязанность, граф, заботиться о пользе государства, при котором мы аккредитованы.

— Дай Бог, чтобы наши старания увенчались успехом!

VIII

Вернувшись домой с бала, Чигиринский испытывал странное и небывалое для него чувство чрезвычайного душевного подъема и такой легкости, словно он не ходил, а все еще носился по залу в увлекательном и задорном такте размашисто-веселого краковяка.

И главное — он не мог отдать себе совершенно отчет, почему у него было такое ощущение, чем, собственно, вызывалось оно, так как, в сущности, на балу ничего особенного знаменательного не случилось.

То, что он встретил и нашел свою паненку, было весьма естественно, так как она, конечно, должна была быть на чисто польском вечере Станислава Августа; в том, что он протанцевал с ней недурно краковяк, тоже не было ничего особенного, так как он всегда танцевал хорошо, а его дама была грациозна и обворожительна по природе.

Но все, что случилось потом, должно было вызвать скорее разочарование и неудовлетворенность, потому что, когда кончился краковяк, паненка скрылась так быстро, словно исчезла из глаз, растаяв, как видение, и дальнейшие поиски оказались тщетными. Как ни старался Чигиринский, он больше найти ее не мог и должен был удовлетвориться одним краковяком и сказанными во время этого танца несколькими отрывочными словами. Кто она и даже как ее зовут — для него осталось неизвестным, потому что они расстались, прежде чем он успел спросить свою даму об этом.

И, несмотря на все это, Чигиринский чувствовал себя на седьмом небе, радостно следил за биением своего сердца и, закрывая глаза, видел заинтересовавшую его девушку, носившуюся вместе с ним по освещенному залу под звуки увлекательной музыки.

О сне он и думать не мог и, несмотря на поздний час, когда в доме давно уже были потушены огни и все спали, он с застывшей блаженной улыбкой на лице, сняв бальный костюм, надев шлафрок и туфли и куря одну трубку за другой, то ходил из комнаты в комнату, то опускался на первый попавшийся стул или кресло, потом вставал и опять ходил. Он растопил камин, подкладывал дрова и следил за разгоравшимся пламенем.

Сначала все ему доставляло необыкновенное удовольствие, но потом мало-помалу он начал думать осмысленно и последовательно.

«Что за глупость! — сказал он себе. — Ну, она хороша... ну, я ее встретил... мне блеснули ее глаза... потом мы встретились на балу и протанцевали краковяк! Но неужели этого довольно? Ведь я даже толкового слова не сказал с ней и решительно не знаю, не только какова она, но и как ее зовут... Ведь, в конце концов, что это такое? Тут дело идет исключительно об одной внешности: мне понравились ее глаза, приглянулся ее красивый облик (а она красива! очень красива!), и получилось физическое раздражение, влечение тела... Это похоть! — нашел он наконец подходящее слово для названия того, что совершалось в нем, — и больше ничего. Если поддаться этой похоти, то возьмет она верх, и закружишься, и полетишь вниз, а зачем? Из-за чего? Из-за мимолетного удовольствия протанцевать краковяк!.. Нет!.. Надо не поддаваться!»

И, несмотря на то что его рассуждения казались ему совершенно справедливыми и он отлично понимал, что не было никакого разумного основания для его восторга, все-таки, когда он вспоминал танцевавшую с ним польку, его охватывал этот восторг, и он чувствовал, как будто у него вырастают крылья, которые поднимают его над землей.

Наконец Клавдий заснул, сидя в кресле, и в этом положении его и застал слуга, пришедший, по обыкновению, будить его в половине восьмого утра.

Поднявшись наверх к чаю, Чигиринский застал Елену и ее мужа с детьми уже за самоваром. Они встретили его очень весело и стали расспрашивать о вчерашнем.

Клавдий рассказал все подробно, главным образом потому, что в этом рассказе ему захотелось снова пережить

вчерашие впечатления, а затем прибавил, обращаясь к Проворову:

— Понимаешь ли, я теперь не знаю, как быть. Поставить себе целью во что бы то ни стало отыскать паненку и оставить все дела мне кажется несерьезным и даже как будто низким, а махнуть рукой и забыть ее я тоже не имею оснований. Да и зачем это делать, если думать и вспоминать о ней доставляет мне удовольствие?

— Хочешь ли ты знать мое мнение? — спросил Проворов, блаженно улыбаясь и мельком взглядывая на жену. — Видишь ли, или это оттого, что я с Еленой так счастлив, но только я на твоём месте ни за что не отказался бы от своего счастья.

— Да кто же знает, действительно ли тут заключается для меня счастье или это просто случайность? — воскликнул Чигиринский.

— И потом, ты говоришь: «Бросить дела». А какие дела у тебя теперь? Главное ты сделал, документы доставлены, и мы знаем, что они произвели должное действие. Ну что же? Займись своим личным делом!

Чигиринскому не хотелось, чтобы этот разговор замолк, и потому он стал возражать:

— Но теперь не такое время, чтобы можно было предаваться так исключительно своим личным делам! В воздухе чувствуется тревога.

— Знаешь что? — перебила его Елена. — Ты слышал о прорицателе Авеле?

— Да, слышал.

— Попробуй сходить к нему. Говорят, у него поразительный дар прорицания.

IX

Прорицатель Авель был одним из тех пророческих лиц, которые во все времена выдвигаются в русской жизни и иногда имеют на нее влияние как чисто бытовое, особенно свойственное русской жизни явление. Иногда же они, вдруг неизвестно как и откуда явившись, промелькнут, оставив тем не менее свое имя в исторических хрониках. Авель был именно таким вот промелькнувшим.

Дар предсказания он имел замечательный, и это подтверждено многими вполне достоверными свидетельствами. Так, незадолго до кончины императрицы Екатерины II он предсказал это событие весьма определенно и был за это

посажен в Шлиссельбургскую крепость. По воцарении Павла I он был немедленно выпущен и затем, живя в Александро-Невской лавре, пользовался довольно широкой известностью в Петербурге, но, когда предрек и самому Павлу Петровичу близкую внезапную кончину, был снова отправлен в крепость и заточен там.

Елена посоветовала брату пойти к прорицателю как раз во время разгара его славы, когда имя Авеля было почти у всех на устах.

Чигиринский отправился в Александро-Невскую лавру, желая повидаться с Авелем не потому, что рассчитывал сообразовать свое дальнейшее поведение с предсказаниями прорицателя, а потому, что его влекло любопытство посмотреть, что это за человек и насколько справедлива ходившая про него молва.

Он подъехал к лавре на извозчике и слез у ворот, в которые свободно пропустил его служба-привратник. Здесь он стал расспрашивать: можно ли увидеть Авеля и как пройти к нему.

— Вам угодно к Авелю? — приблизился к нему невысокого роста человек с густыми, копной торчавшими во все стороны волосами. — Пожалуйста за мной, я вас проведу.

Чигиринский последовал за ним, и тот повел его по проложенным среди сугробов дорожкам, по лабиринту которых, казалось, без проводника трудно было пройти незнакомому.

Наконец они попали в сводчатый каменный, мощный плитами коридор, и спутник Чигиринского, отворив одну из выходивших в коридор одностворчатых маленьких дверей, ввел в жарко натопленную маленькую каморку с широкою из украшенных синими разводами изразцов печью с лежанкой.

Маленький человек с пышными волосами набожно перекрестился на висевшие в углу с горевшей перед ними лампадой образа и, ласково глядя на гостя, негромко произнес:

— Ну вот вы и у меня!.. Милости прошу.

— Так это вы и есть Апель? — удивился Чигиринский, и ему невольно пришло в голову, что этот маленький человек с большими волосами гораздо более похож на Авессалома, чем на Авеля. — Вот какой странный случай! — добавил он.

— Это вы насчет того, что я вас встретил? — проговорил Апель. — Так тут никакого случая нет. Я ждал, что

вы придете ко мне, потому что нужно было, чтобы вы пришли.

— Вы меня ждали? Но ведь вы меня не знаете и никогда не видели!

— Да, я вас не знаю, то есть не знаком с вами и никогда вас не видел, а все-таки ждал и настолько был уверен, что вы должны прийти, что вышел навстречу к вам к воротам. Ну, да суть не в этом, а в том, что вам от Господа дана огромная сила. Почему это так — не нам с вами судить — пути Господа неисповедимы, а только берегитесь, чтобы не погибнуть.

Авель говорил так просто, что явно было, что он не желал производить никакого впечатления, а говорил только то, что считал серьезным и важным.

И Чигиринский, недоумевавший, когда шел сюда, как ему заговорить с Авелем и с чего начать, сразу увидел, что все сомнения у него отлетели, и с первых же слов Авель начинает разговор, затрагивающий самую суть.

— Да, — согласился он, — я знаю, что не должен употреблять свою силу в личных целях и извлекать из нее выгоду для себя, а если сделаю это, то мне грозит гибель.

Авель пристально поглядел на него, как бы не то дивясь, что он так быстро понял, не то дожидаясь, не скажет ли еще чего-нибудь Чигиринский. Но тот замолчал. Поэтому заговорил Авель:

— Гибель не в этом, то есть не в этом существо ее, а в том, что не надо, чтобы тело брало верх над душой. Надо гнать от себя восторги телесные; это большой соблазн, охватит восторг — человек думает, что он над землей возносится, а глядь, это телесный восторг, а тело-то из земли создано и есть земля, и к ней человека тянет.

— Так что же? Значит, мне оставить увлечение женщиной? — спросил Чигиринский, давая этим вопросом понять, что он, в свою очередь, понимает значение для себя вещей слов прорицателя.

Тот как-то неопределенно покачал головой.

— Уж что вам делать, вы сами будете знать, а только помните, что надо для души жить и тело свое ей подчинять, не давать, чтобы верх на его стороне был.

— Но для этого мне надо иметь определенную цель, знать свое предназначение, — произнес Чигиринский. — Я так полагал, что уже исполнил свое дело, и исполнил совсем бескорыстно, потому что никто не знает об этом, даже и сам государь.

— Служите, служите государю-царю! — вдруг, блеснув глазами, вдохновенно произнес Авель. — Будьте верным слугою ему, он нуждается в этом. Вокруг много зла и всякой нечисти; надо беречь государя, а сам он не бережется, не исполняет прямых указаний.

— Прямых указаний? Каких?

У Чигиринского на миг появилось сомнение, не делал ли Авель каких-нибудь предостережений императору, на которые тот не обратил внимания, и недоволен ли именно этим Авель. Но это сомнение сейчас же бесследно исчезло. Нет, Авель не о себе говорил.

— Императору Павлу, — пояснил он, — было знамение, чтобы он выстроил собор архистратига Михаила, а он на этом месте стал строить замок, дворец, жилище, правда, с церковью Михаила-архангела, но и с театральным залом!

X

Авель упоминал о хорошо всем известном случае, послужившем основанием для начала постройки Михайловского замка. Часовому, стоявшему у старого летнего дворца, явился в лучезарном свете Михаил-архангел и велел идти к государю и доложить, чтобы тот немедленно начал строить на этом месте церковь.

Когда государю доложили об этом, он ответил:

— Я знаю.

Что послужило поводом к такому ответу со стороны государя и было ли и ему какое-нибудь явление, осталось неизвестным, но только Павел Петрович действительно с невероятной быстротой приступил к постройке на месте бывшего Летнего дворца, возведенного Анной Иоанновной, нового замка, названного Михайловским.

Это был замок с церковью, но не церковь, как было сказано в видении часовому.

— И это принесет ему смерть, — проговорил Авель. — Царствование его кончится в этом замке, и так скоро, как не ожидают. Руки злодеев еще не подняты, но уже поднимаются. Ах, зачем он не бережет себя!

— Но, может быть, его можно предупредить, спасти?

— Уж если он не послушал прямого явления, так что же наши человеческие предупреждения?

— Но, зная это, нельзя же оставаться спокойным и бездеятельным! — воскликнул Чигиринский.

— Да, ты знаешь теперь, — подхватил Авель, — и не оставайся бездеятельным, на то дана тебе сила: будь слугой царю.

— Хорошо, только все-таки я бы желал знать, как мне быть и что делать. Мысли у меня затемнены и рассеянны; я не могу найти пути в себе...

— А ты хочешь этого? Да? Ну, тогда соблюди себя; главное, прежде всего над собой поработай!

— Хорошо. Я готов от всего отказаться, лишь бы это послужило на благо.

— Будет ли благо или нет, этого никто сказать не может! Одно только верно, что зла не будет, то есть зла для самого тебя, а и это уже много, очень много.

— То есть что же? Значит, своей службой государю я не принесу пользы?

— Судьбы Господни не в наших руках, а все-таки мы должны исполнять, что довлеет нам. Слушай, что я скажу тебе: смирай себя, берегись змея гордости, а таланта своего не зарывай в землю. Смирись, сложишь и поезжай!

— Ехать? Куда же мне ехать? — переспросил Чигиринский, удивляясь, что Авель подсказывает ему то, что было у него самого на уме и что он не хотел сделать только вследствие своей встречи с красивой полькой.

— Да, смири свою гордыню и поезжай! — подтвердил Авель. — Не думай, что я, мол-де, такой, что всякий искус выдержу, ибо силы у меня таковы. Это великий соблазн. Не надо поддаваться ему, а бежать, бежать от него...

— Куда же ехать?

— В чужие края, к немцам; от тех, которые из них ученые, научись тому, что не открыто еще тебе. Уезжай на три года, сократи себя!

Пораженный этим точным среди неясных слов указанием времени, Чигиринский широко открыл глаза.

— Уехать на три года, когда здесь нужна моя служба? — воскликнул он. — Уж это я совсем понять не могу!.. Как же это так?

— Служба твоя понадобится через три года; если ты сможешь что-нибудь сделать, то только через три года, а пока жди, смирайся и, если надо терпеть, терпи. О себе не спрашивай! Не надо, не надо! — вдруг замахал руками Авель, как бы перебивая самого себя. — Положись на волю Божью, а теперь поезжай! Ровно через три года приезжай назад, будет дело. Не бойся, что долго ждать... Сто лет еще будем ждать... через сто лет будет великая битва с немцами, а потом, Бог даст, с Его благодатью будет построен на

указанном выше месте храм Михаила-архангела... Бедный, бедный Павел!.. — несколько раз повторил Авель, как бы раздумывая вслух, и вслед за тем другим, обыкновенным голосом обратился к Чигиринскому: — Ну, а теперь идите, поговорили!.. Довольно! Простите, если что сказал неладно или не так. Простите грешного!

XI

Авель опять проводил Чигиринского до ворот, и тот, только сев на извозчика, ждавшего его, вспомнил, что, прощаясь, не дал ничего прорицателю, но сейчас же отогнал эту мысль, поняв, что это не надо было делать.

«Нет, не надо!» — повторил он себе, чувствуя необыкновенную душевную легкость и умиленность после беседы с Авелем.

Вспоминая ее, фразу за фразой, Чигиринский видел, что ничего нового, из ряда вон выходящего не было ему сказано. Таких поучений говорилось много, и все это он сам знал и прежде, но никогда до сих пор не вникал в сокровенный смысл этих поучений, не углублялся в них, а теперь вдруг понял, сколько тут было глубины, словно открылся перед ним совершенно новый, неведомый мир. И ему стало очень хорошо.

По мере того как он медленно подвигался на извозчичей клячонке, мысли его приходили все в большую и большую ясность, и наконец, подъезжая к дому, он совершенно точно и определенно сознавал уже, что действительно ему нужно ехать и что это будет удобно во всех отношениях.

Дома у себя на столе он нашел сложенную записку на синей бумаге, запечатанную, по-видимому, перстнем с ма-сонским треугольником.

Записка была адресована на его имя.

Чигиринский поморщился и с недовольным видом взял записку и распечатал ее. Надпись на адресе была сделана измененным почерком, но сама записка была написана нескрываемой женской рукой и очень поспешно: «Пусть мы больше не увидимся, но как можно скорее уезжайте из Петербурга. Здесь вам угрожает серьезная опасность».

Чигиринский, продолжая хмуриться, задумался.

Печать на записке свидетельствовала об источнике, из которого она происходила. Вместо подписи стояла одна только буква «Р».

Что же это было? Действительное предупреждение или какая-нибудь ловушка?

Чигиринский обезопасил себя от собиравшихся у Поливанова главарей, но не знал, существовали или нет в Петербурге еще масоны, посвященные в высшие степени и способные заинтересоваться его деятельностью.

Записка говорила о грозящей опасности, и первым чувством, которое испытал Чигиринский, были задор и непременное желание побороть эту опасность.

«Если так, — мелькнуло у него в голове, — тогда посмотрим, кто кого!»

Но только тут же сразу рождалось недоумение: как же это так? Если масоны желали строить ему козни, то зачем же им предупреждать его об этом? Очевидно, в масонской среде у него был друг, который счел своим долгом предупредить его.

Клавдий сейчас же произвел строгое расследование среди прислуги о том, кто принес эту записку, но прислуга вся единогласно заявила, что никто не приносил.

«Нимфодора!» — вспомнил и сообразил Чигиринский.

По расспросам оказалось, что один из лакеев видел, как, действительно, бывшая приживалка прежней владелицы дома входила в комнату Чигиринского.

Для Чигиринского связь Нимфодоры с доктором-немцем, масоном Пфаффе, была установлена, и этого было вполне достаточно, чтобы найти должную нить.

«Ну что же, тем лучше! — повторял он себе. — Посмотрим!»

И он уже составлял себе план действий, как вдруг ему вспомнились слова Авеля: «Смирись, не поддавайся искушению!»

Да, именно гордость, самодовольство заставляли его остаться для того, чтобы принять вызов опасности с твердой уверенностью в своих силах, то есть что никакая-де опасность ему не страшна, вот он какой человек!

И, сознав это, Чигиринский почувствовал в себе омерзение и, как бы в наказание за свою слабость, тут же решил оставить записку совсем без внимания и действовать так, как будто ее вовсе не было. Раньше он решил ехать из Петербурга за границу, значит, надо было остановиться на этом решении и привести его в исполнение, а во всем пусть будет воля Божья.

Чигиринский поднялся наверх к обеду и ни сестре, ни Проворову ничего не рассказал ни об Авеле, ни о записке, заявив только, что едет за границу.

Проворовы поняли, что он решил покончить историю с полькой, оборвав ее своим отъездом, и не стали расспрашивать, не считая себя вправе делать это, раз молчит сам Чигиринский. Да и они сами вздохнули свободно, когда это решение было принято, потому что с отъездом Чигиринского они могли тоже оставить Петербург и вернуться к себе в Крым.

Ровно столько времени, сколько потребовали приготовления к отъезду и формальности для выезда за границу, оставался еще Чигиринский в Петербурге, а затем один, без попутчиков, в зимнем возке выехал на три года.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Прошло три года. Стоял ноябрь месяц, и Чигиринский подъезжал к знакомому дому Проворовых, возвращаясь из заграничного путешествия.

Он, и прежде часто и подолгу ездивший за границу, теперь пробыл там все три года, по преимуществу в Германии, переезжая из одного города в другой и занимаясь в различных библиотеках, делая иногда большие переезды для того лишь, чтобы достать какую-либо книгу.

С сестрой и Проворовым он поддерживал переписку, сообщал им сведения о себе и получал от них известия. Они списались и условились встретиться в Петербурге, куда Проворовы повезли старшего сына в кадетский корпус. Когда подъехал Чигиринский, они уже два месяца с лишком жили в Петербурге, отдав своего мальчика в корпус с осени.

В доме ничего не изменилось. Чигиринский нашел свои комнаты совершенно в том же виде, как оставил их, и они живо напомнили ему его последнее, недолговременное пребывание в столице.

Встреча была самая радостная. Проворов искренне любил приятеля, а сестра даже сама не знала, что так обрадуется его приезду. Она пополнила немного, но оставалась все такой же красивой, как была.

Чигиринского они нашли несколько похудевшим, как бы высушенным, и в манерах у него, и в лице, в особенности в появившихся складках губ, чувствовалось, что молодость его прошла и что он уже вступил в тот возраст, когда мужчина становится солидным.

Он привез всем чудесные подарки, и при первом свидании разговор шел урывками, касаясь главным образом мелочей и личной жизни. Только вечером, когда дети пошли спать, Проворов, закулив в кабинете с Чигиринским трубки, вопросительно глянул на него и проговорил:

— Ну что? Как же дела?

— Еще ничего не знаю, дай оглядеться в Петербурге, — раздумчиво ответил Чигиринский. — Ты уже тут, верно, повидал кого-нибудь и знаешь, что здесь делается?

— Да что же, я вижу только кое с кем из бывших наших! — ответил Проворов, подразумевая под «нашими» бывших из их однополчан-конногвардейцев.

— Ну и что же?

— Да, на мой взгляд, очень тяжело.

— Так это правда, что всем вертит и орудует прежний барон Пален?

— Да! Теперь он графом стал! — подхватил Проворов. — А ты уже знаешь о нем?

— Я знаю, что этот граф Пален — несомненный агент прусского правительства!.. — чуть слышно произнес Чигиринский, наклоняясь к самому уху приятеля. — Только, конечно, об этом ни слова!

— Ты знаешь это наверное?

— У меня есть к тому серьезные данные, но, конечно, надо их проверить.

— Будь осторожен, граф Пален теперь военный губернатор Петербурга и держит его буквально на осадном положении. Шпионство развито до безобразия! Меня в полку так прямо и предупредили об этом. По вечерам, в девять часов, на улицах ставят рогатки, через которые пропускаются одни доктора да повивальные бабки, больше никто.

— Значит, немец делает что хочет?

— Старики сравнивают нынешнее время с бироновщиной и говорят, что, пожалуй, теперь хуже и — главное — теперь во всем винят самого государя, потому что Пален распоряжается его именем.

— Значит, это действительно хуже бироновщины, потому что тогда немец Бирон творил бесчинства, но, по крайней мере, от своего имени, а теперь граф Пален остается в стороне.

— Просто ума нельзя приложить, каким образом завладел он государем! Представь себе: Нелидова удалена от государыни, все преданные Павлу Петровичу люди тоже удалены! Растопчин, Аракчеев — никого нет!.. Один Ку-

тайсов, но он так недалек, что его присутствие ничему помочь не может.

— Да! — протянул Чигиринский, все более и более хмурясь. — Если уж Растопчина и Аракчеева нет, тогда дело плохо! На одного Кутайсова надежды мало! Но об этом я не знал! Это, значит, самая недавняя новость.

— У нас новости каждый день, и слухи носятся самые невероятные. В воздухе такое напряжение, что верят всякому вздору.

— Немцы работают! — воскликнул Чигиринский, как бы отвечая не столько тому, что говорил Проворов, а своим роившимся мыслям. — Ты знаешь, — продолжал он, — я вот три года прожил среди них, видел их близко и прямо могу сказать, что бессердечнее народа нет.

— Однако они довольно ловко умеют устраивать свои дела!

— Ах, эта ловкость! — с раздражением произнес Чигиринский. — Какая-то низменная, пошлая, скорее, хитрость дикого зверя! Немец может орудовать до тех пор, пока не верят, что человек может проделывать то, на что способен немец. А нам-то, русским, следовало бы распознать наконец этих господ! Одного Бирона нам довольно. А разве один Бирон портил нам жизнь? Вот уже около ста лет, как всюду и везде у нас немец! Немудрено, что дожили до Палена. Ну да, впрочем, пока будет о нем! Дай мне оглядеться в Петербурге, а там посмотрим.

И Чигиринский задумался, грустно глядя с потухшей трубкой в руке на догоравшие уголья слабо тлевшего камня.

II

Роль графа Палена при императоре Павле Петровиче вполне выяснена и доказана не только вполне точными историческими данными, но и в собственном его признании, изложенном до наглости откровенно в его разговоре с графом Ланжероном. Ни один историк еще не назвал этого господина его настоящим именем — предатель.

Граф Пален не только был по отношению к Павлу I предателем, но и откровенно хвастался этим и до сих пор еще не получил должного возмездия.

Эта снисходительность исторических изысканий по отношению к такого типа предателю, каким был граф Пален, может быть объяснена только тем, что наши научные изы-

скания до сих пор носили несомненный след немецкой учености, а она щадила немца Палена и если не вполне оправдывала его поступок, то, во всяком случае, находила ему извинения.

Для того чтобы извинить Палена, не жалели теней для очернения императора Павла, и нет той сплетни, нет той клеветы, которые не были бы взведены с этой целью на несчастного императора.

Пален искусно удалил от императора Павла I всех преданных ему лиц и собрал шайку сообщников себе из людей, совершенно недостойных, подобных братьям Зубовым. В качестве военного генерал-губернатора он делал все возможное, чтобы возбудить недовольство против императора и затем с братьями Зубовыми и еще несколькими негодьями играл первенствующую роль вплоть до последнего дня царствования Павла Петровича, то есть его кончины.

Чтобы судить, что за человек был граф Пален, достаточно привести его собственный рассказ в откровенном разговоре с графом Ланжероном.

Чтобы снова увидеть в Петербурге троих братьев Зубовых, удаленных в деревню под надзор полиции, а также графа Беннигсена, Пален в ноябре 1800 года решил действовать.

«Я решил воспользоваться одной из светлых минут императора, когда ему можно было говорить все что угодно, чтобы разжалобить его насчет участи разжалованных офицеров, — рассказывал впоследствии он сам графу Ланжерону. — Я описал ему жестокое положение этих несчастных, изгнанных из своих полков и высланных из столицы, которые видели карьеру свою погубленной, а жизнь — испорченной, умирающих с горя и нужды за проступки легкие и простительные. Я знал порывистость Павла во всех делах, я надеялся заставить его сделать тотчас же то, что я представил ему под видом великодушия. Я бросился к его ногам. Он был романтического характера, имел претензию на великодушие, во всем любил крайности... Два часа спустя после нашего разговора двадцать курьеров уже скакали во все части империи, чтобы назад, в Петербург, вернуть всех сосланных и исключенных со службы. Указ, дарующий им помилование, был продиктован им самим императором».

И как будто бы для того, чтобы не осталось сомнения в его предательстве, Пален с неизъяснимым цинизмом добавляет:

«Тогда я обеспечил себе два важных пункта: заполучить Беннигсена и Зубовых, необходимых мне, и второе — еще усилить общее ожесточение против императора. Я изучил его нетерпеливый нрав, быстрые переходы его от одного чувства к другому, от одного намерения к другому, совершенно противоположному. Я был уверен, что первые из вернувшихся офицеров будут приняты хорошо, но что скоро они надоедят ему, а также следующие за ними. Случилось то, что я предвидел. Ежедневно сыпались в Петербург сотни этих несчастных, каждое утро подавали императору донесения с застав. Вскоре ему опротивела эта толпа прибывающих, он перестал принимать их, затем стал просто гнать и нажил себе таким образом непримиримых врагов в лице этих несчастных, снова лишенных всякой надежды и осужденных умирать с голода у ворот Петербурга».

Вполне достаточно приведенного отрывка собственного, подлинного признания графа Палена для обвинения его в предательстве.

В самом деле, он, обласканный императором Павлом, возведенный им до графского достоинства включительно, имевший огромную власть в качестве военного генерал-губернатора Петербурга, то есть почти диктаторскую, употребляет свое влияние и власть на создание шайки заговорщиков и на то, чтобы, как он сам выражается, «усилить общее ожесточение против императора». Просто подумать страшно: человек получил от государя власть и усиливает общее ожесточение против царя, вместо того чтобы по своей должности, обязанности и присяге оберегать его.

Для всякой другой национальности это было бы чудовищно, но граф Пален действовал как «добрый немец». Политика императора Павла шла под конец его царствования вразрез с видами и желаниями Пруссии, и в действиях графа Палена нельзя видеть ничего, кроме желания доброго немца служить политическим видам забиравшего тогда силу и политическую мощь прусского государства.

Пора же сказать о нем настоящее слово, которое он заслужил своим поведением, — «предатель».

III

На другой день после своего приезда Чигиринский начал свое расследование, как он мысленно называл это.

Первым делом он отправился в Александро-Невскую лавру, чтобы повидать Авеля или узнать о нем какие-нибудь сведения. Но Авеля он не видел и сведений о нем никаких не узнал. На все его расспросы в монастыре уклончиво, робко озираясь, отвечали, что не знают, где Апель, да его хорошенько и не помнят. Правда, жил, дескать, когда-то какой-то, но куда он делся — неизвестно, и никакого Авеля в лавре нет.

Потерпев эту неудачу с первого шага, Чигиринский невольно вспомнил примету азартных игроков: «Если первая карта бита, то за этим непременно последует в конце концов выигрыш».

Ему, между прочим, хотелось также одним из первых дел выяснить, кто был тот друг в масонской среде, который прислал ему записку, предупреждающую об опасности перед его отъездом три года назад из Петербурга. Этот друг теперь мог быть ему полезным.

Он пропал из дома на целый день и вернулся поздней ночью, несмотря на заставляемые рогатками с девяти часов вечера улицы. А на следующее утро он опять рано ушел.

В этот день Проворову подали записку «от господина Чигиринского», как ему доложил лакей. Чигиринский писал, что «податель сего Август Крамер, доктор философии, с которым он познакомился за границей, желал бы повидать и узнать русскую жизнь и потому Чигиринский просит Проворова заняться им».

— Эту записку кто принес? — спросил Проворов.

— Господин, прилично одетый. По-русски понимает плохо, — ответил лакей.

— Значит, все-таки понимает?

— Нет. Даже можно сказать, вовсе ничего не понимает.

— Ну, хорошо! — решил Проворов. — Попроси наверх, ко мне в кабинет.

Август Крамер оказался коренастым человеком среднего роста, типичной немецкой складки.

— Имею честь представиться, — заговорил он на немецком языке.

Проворов плохо мог изъясняться по-немецки и, стараясь заменить недостаток слов любезностью выражения и улыбок, ответил, что он очень рад и все прочее. Он пригласил гостя сесть, тот скромно опустился на стул и попросил запереть дверь на ключ, потому что ему, по поручению господина фон Чигиринского, надо сказать господину Проворову несколько слов под большим секретом.

Когда просьба его была исполнена, Крамер пригнулся к Проворову и тихо произнес по-русски голосом Чигиринского:

— Так, значит, я хорошо преобразился, если и ты не узнал меня?

Проворов смотрел во все глаза и не верил им. Он знал умение приятеля изменять свой облик и знал, что тому известны все способы, каким образом переодеваются самые опытные в этом люди, но, если бы не слышал подлинного голоса Чигиринского, он прозакладывал бы все что угодно, что сидевший теперь против него человек был настоящий немец, ничего общего не имеющий с отставным конногвардейцем.

— Да неужели же это ты? — воскликнул он. — Да когда же ты успел переодеться?

— Ну, это нетрудно! — сказал Чигиринский. — Видишь ли, под этим обликом Августа Крамера я часто хаживал и в неметчине, когда мне надо было появляться в чисто немецкой среде. Сегодня утром я вышел из дома, закутавшись в плащ, так что никто из прислуги не мог разобрать, что вместо меня вышел немец, а затем купил себе в Гостинном дворе готовую шубку, надел ее в магазине, вот тебе и весь сказ! В своем виде теперь мне неудобно являться в Петербурге, и все бумаги на имя Августа Крамера у меня в совершенном порядке.

— Так что, ты будешь жить у нас под видом приезжего немца? — сообразил Проворов.

— Это было бы, пожалуй, неосторожно.

— Согласен. Так что же ты намерен делать?

— С помещением я уже устроился: я нанял комнату тут поблизости, у доктора Пфаффе, к которому имел рекомендательные письма от германских масонов.

— Ну а вещи? Как же ты с вещами поступишь?

— Едучи сюда от заставы, я оставил сундук с вещами Августа Крамера на заезжем дворе. Сегодня съезжу туда, возьму сундук и перевезу его на квартиру Пфаффе.

— Так что, ты явился в Петербург, уже заранее все обдумав?

— Ну, тут обдумывать долго не пришлось! Все это очень просто.

— Так что, теперь прощай Чигиринский?

— И здравствуй Август Крамер! — рассмеявшись, весело воскликнул Чигиринский.

— Ну, а к нам-то ты будешь заходить?

— Ну да, смотря по надобности. А ты дай на всякий случай знать полиции, что я уехал в глубь России. А те-

перь нам надо условиться относительно общего положения, в котором я более или менее уже разобрался.

Проворов приготовился слушать, поудобнее сев в кресло.

IV

— Видишь ли, — продолжал Чигиринский, — в Пруссии теперь царствующий король Фридрих Вильгельм III ненавидит Францию всей душой. Бойтся ли он республики или органически не выносит характера французов, но только ни за что не хочет согласовать свою политику с видами первого консула Наполеона, а, напротив того, делает все возможное, чтобы противодействовать им. Сам Фридрих особенно умом не выдается, но заслуживает уважения: роскошь он не любит, ведет довольно скромный образ жизни, и немецкие бюргеры довольны им как королем. Политику же, я говорю об иностранной политике, ведет Гаугвиц, человек ума и энергии, стремящийся к величию немецкого народа и желающий добиться его во что бы то ни стало. Для этого он не будет пренебрегать никакими средствами. Все они воображают, что обязаны продолжать дело Фридриха Великого.

— Вот я думаю иногда, — перебил Проворов, — в чем, собственно, заключается величие этого «великого» Фридриха? Исключительно только в одной удаче. Поистине — можно сказать — везло ему, и больше ничего! Хотя бы взять Семилетнюю войну: кажется, совсем ему была крышка, даже Берлин был занят нами, словом, будто все пропало, и вдруг смерть государыни Елизаветы Петровны. И единственно по капризу Петра Третьего, преклонявшегося перед гением прусского короля, мы кончаем войну, отзываем наши войска из Берлина и восстанавливаем Пруссию во всей ее неприкосновенной прелести!

— А ведь ты прав! — согласился Чигиринский. — В самом деле, ведь мы были в Берлине господами положения и вдруг как-то так по-глупому ушли назад!.. Конечно, это наши внутренние немцы причиной этому. Ведь и до сих пор мы не можем отделаться от них, и теперь идет в Петербурге работа в пользу Пруссии.

— Неужели ты считаешь графа Палена способным передаваться пруссакам?

— Да что же ему передаваться? Ему и незачем это делать! Он как был, так и остался немцем, больше ничего.

Граф Пален — добрый немец, действующий на пользу отечества и своего короля, который со времен этого Фридриха Великого сидит для каждого немца в Берлине. Конечно, никакого особенного личного величия в нем не было! Весь ум его заключался в цинизме и в доходившей до наглости смелости отрицания. А вся деятельность его сводилась к самому беспросветному немецкому себялюбию. Вся политика Пруссии — сплошной эгоизм, и он поддерживается и теперь, не зная ни Бога, ни совести.

— Но все-таки Пален ведь на русской службе!

— И на русской службе каждый немец служит одному только этому самому немецкому эгоизму. Понимаешь ли, положение теперь таково, что политика России не только не одобряется в Берлине, но там прямо рвут и мечут против императора Павла.

— Не понимаю почему? Ведь мы их не трогаем и никаких покушений на прусские земли не делаем! Что у нас Прибалтийский край — так ведь его государь получил по наследству, и прибалтийские земли уж столько времени в нашем владении, что пора немцам привыкнуть к этому.

— Ну, к этому они никогда не привыкнут!

— Да ведь постой: в Прибалтике немцы были только насильниками. Это не природный их край. Там эсты, латыши; немцы только их захватили для того, чтобы давить местное население.

Чигиринский махнул рукой:

— Все это известно. Но немцы, раз что загребли себе в лапы, уже считают своим неотъемлемым, и завоевание нами Прибалтики они никогда не простят нам. Но в настоящее время дело не в ней. Раздражение прусского двора против государя началось с его отношения к польскому вопросу. В Берлине испугались слов императора Павла о том, что он желает восстановить Польшу. Понимаешь, ведь от Пруссии пришлось бы тогда оторвать солидный кусок.

— Но ведь государь, кроме вызова в Петербург бывшего польского короля, ничего не сделал в смысле приведения в исполнение своих слов. Мало того, он даже сам объяснял, что восстановить Польшу считает делом справедливым, но сделать это не может, потому что это зависит не от него одного.

— Да, но все-таки это угроза, которая уже не так неосуществима, как кажется, и в Берлине понимают это и боятся.

— Ты говоришь, осуществима? Каким же образом?

— А сношения наши с Францией? Франция в Европе — естественная наша союзница, потому что наши интересы только совпадают и отнюдь не противоречат друг другу. Государь с необыкновенной мудростью завел сношения с первым консулом Французской республики Наполеоном.

— Ты думаешь, из этих сношений может выйти что-нибудь?

— Несомненно, они закрепятся союзом, потому что это естественно. Что государь ведет эту политику неспроста и не случайно, видно уже из того, что он, самодержавный монарх, при всем отвращении своем к революции, вошел в дружеские сношения с представителем республиканской власти, вопреки всем проискам и стараниям немцев, как наших доморожденных, так и заграничных. Немцы, кажется, исчерпали все свое влияние для того, чтобы помешать этому.

V

— А ты имеешь какие-нибудь данные к тому, что граф Пален в сношениях с прусскими властями? — спросил Проворов у Чигиринского.

— Прямых и непосредственных данных для этого у меня нет, — ответил тот, — но целый ряд указаний и несомненных улик, которые я имею, указывают не только на его сношения, но и на прямую связь. По крайней мере, он осведомляет Берлин собственноручными записочками, привозить которые из Петербурга поручает курьерам вместе с дипломатическими депешами. Таким образом, в Пруссии, кому следует, известно все до мельчайших подробностей, что делается в Петербурге. Нет, несомненных, прямых доказательств у меня нет, иначе, конечно, я не молчал бы, а давно изобличил бы этого графа Палена, но лично я уверен непоколебимо, что он — не что иное, в сущности, как агент в России немецкого правительства.

— То есть как? За деньги?

— Ну, этого я не думаю, потому что получает он достаточно и в России. А впрочем, кто их разберет, этих немцев? Они ведь расчетливы! Головы не дам на отсечение, что он и денег не получает из Берлина.

— Да, но ты сам говоришь, что немецкие происки остались до сих пор безрезультатными, значит, нечего опасаться и на будущее время.

— Как нечего опасаться? В том-то и дело, что они такой народ, который ни перед чем не остановится.

— Кто это — они? — переспросил Проворов, не поняв.

— Немцы. Убедившись, что влиянием и интригой ничего добиться нельзя, они, того гляди, перейдут от слов к делу.

— Что ты под этим подразумеваешь? Неужели ты допускаешь, что они могут дойти до насилия?

— Очень просто. От них можно ожидать всего, до насильственных действий включительно.

— И граф Пален, по-твоему, может решиться на крайние средства?

— А его теперешнее поведение разве не есть прямое подговаривание этих крайних средств? Вы все тут в Петербурге заняты мелочами и из-за деревьев, что называется, не видите леса, а между тем генерал-губернатор, действуя именем государя, явно создает против него недовольных. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, если бы он не рассчитывал на верняка, действовал ли бы он подобным образом?

— Но ведь это же ужасно!

— Разумеется, ужасно. Я знаю из достоверного источника, что указ о возвращении Зубовых — его рук дело.

— Зачем же ему нужны Зубовы?

— Зубов и его братья озлоблены против Павла Петровича, а мы с тобой знаем характер князя Платона, мстительный и неизменно мелочный. Он пойдет на всякую гадость. А Палену все-таки нужно, чтобы среди его сообщников были русские имена.

— Да, все это чрезвычайно важно и очень серьезно, — проговорил Проворов, невольно взглянув на дверь как бы для того, чтобы убедиться, заперта ли она. — Я и сам чувствую, что сидеть сложа руки нельзя, надо действовать. По-моему, необходимо сейчас же отправиться в полк и через старших довести обо всем до сведения великого князя.

Для Чигиринского было понятно, что Проворов говорит о бывшем их Конногвардейском полке, которым командовал великий князь Константин Павлович. В верности присяге и преданности государю всех чинов полка, от младшего до старшего, он не сомневался.

— К несчастью, у нас нет для этого достаточных данных! — возразил он. — Надо сначала добыть их!

— И ты думаешь успеть в этом?

— Надо постараться добиться во что бы то ни стало. Попробую приглядеться к тому, что делается в масонских кругах.

— Ну а масоны при чем тут?

— Видишь ли, во Франции и Англии масоны имели довольно значительную силу, в особенности в Англии; во Франции же, как тебе известно, они приписывают себе главную деятельность во Французской революции, так что там они на самом деле влияют на правительство или, может быть, делают только вид. Ну а в Пруссии другое дело: там правительство, не обинуясь, взяло масонские организации в свои руки, и прусские масонские ложи — не что иное, как тайные органы немецкой же власти.

— А поляки?

— Польские масонские ложи теперь преданы исключительно оккультным наукам, убедившись, что их деятельность политическая ни к чему хорошему не привела, а способствовала лишь партийной розни и полному крушению королевства. Но здешние масоны-поляки соприкасаются с немецкими, и вот на них я надеюсь до некоторой степени. — Чигиринский посмотрел на часы и, внезапно преображаясь снова в немца, не своим, а измененным голосом произнес по-немецки: — Однако мне пора, а то господин Пфаффе может подумать, что я неаккуратен.

И он стал прощаться с Проворовым.

— Когда же мы увидимся? — заинтересовался тот.

— Не знаю, авось, Бог даст, скоро.

— Я буду ждать все время дома; в случае, если нужна будет моя помощь, я готов всей душой.

— Поцелуй за меня сестру и кланяйся ей! — уходя, шепотом сказал Чигиринский.

VI

Чигиринский, поселившись под именем Августа Крамера у доктора Пфаффе, очень быстро сошелся с ним, разыгрывая в совершенстве немца.

Три года, проведенные им безвыездно среди немцев, прошли для него не даром в смысле отличного изучения их повадок и обычаев. Кроме того, он привез доктору безукоризненные о себе рекомендации от немецких масонов и, сам посвященный в масонские тайны, производил на него большое впечатление, внушающее безусловное доверие.

Доктор Пфаффе считал себя большим знатоком людей и видел в своем жильце серьезного человека, посвященного в гораздо высшую, чем он, доктор, масонскую степень. Да-

же оставаясь наедине, Пфаффе подымал палец и сам себе произносил вслух:

— О-о! Это человек! Да, это есть человек!..

Он заявил Крамеру, что все его знакомства к его услугам, и, когда тот попросил познакомить его с кем-нибудь из польских масонов, он сбежал к старому Риксу и вернулся с известием, что пан Рикс просит их обоих прийти к нему на другой день завтракать.

Бывший польский король Станислав Понятовский уже умер и был с царскими почестями похоронен в Петербурге, а его камердинер Рикс остался жить в русской столице приватным человеком на свой капитал, который он нажил на службе у Понятовского.

Рикс был богатым человеком и мог устроить свою жизнь в полном довольстве. Жил он на Невском проспекте, в доме католической церкви.

Чигиринский, переодетый Крамером, и доктор Пфаффе отправились пешком, потому что день стоял солнечный и слегка только морозный, один из тех ясных зимних дней, которые редко бывают в Петербурге.

Пфаффе жил недалеко от дома Проворова, и им пришлось пройти мимо этого дома.

Чигиринский невольно оглядел окна и замедлил шаги.

— Вам знаком этот дом? — спросил Пфаффе.

— Да, — прямо ответил Чигиринский. — Я знаю, что здесь должны жить люди, неприятные братьям-масонам.

— Вам известно это? Но откуда же?..

— На этот дом мне было указано нашими заграничными братьями в Берлине, за ним нужно следить, и это поручено, между прочим, вам, господин Пфаффе, если не ошибаюсь?

— О да! — подтвердил не без некоторого самодовольства Пфаффе. — За этим домом я слежу очень внимательно.

— У вас там есть кто-нибудь свой?

— Из братьев-масонов никого там нет, но есть одна старая приживалка, которой я плачу деньги, и она дает мне все сведения, которые мне нужны.

— Вы знаете всех обитателей этого дома?

— Да, я их лечу, то есть, когда им нужна помощь врача, они обращаются ко мне. Но опасен, собственно, не сам владелец этого дома и не жена его, а брат этой жены.

— Вот как? Чем же он опасен?

— В это я входить не могу, но только три года тому назад мне было поручено высшими братьями... — Пфаф-

фе тут запнулся и продолжал, как бы нехотя выговаривая слоги:

— Ликвидировать его.

— Каким же путем?

На это Пфаффе ответил одним только словом:

— Сухим.

Чигиринский знал, что на особенном наречии «сухая ликвидация» означала, что человека отправили на тот свет без пролития крови.

— И вы бы рискнули это сделать? — равнодушно и вместе с тем строго спросил Чигиринский.

— Но это было необходимо.

— Как же вы это могли бы сделать?

— Конечно, сразу нельзя было; приходилось выждать удобного случая, он не замедлил бы, наверное, представиться, а тогда несколько капель в питье — и дело было бы кончено.

— А ответственность?

— Какая же может быть ответственность, если мне самому, как доктору, пришлось бы, вероятно, давать свидетельство о смерти?

Эти слова доктор Пфаффе произнес так бесстрастно, что посмотревший на него Чигиринский невольно удивился тому невинному и ясному виду, с которым шел рядом с ним этот немец Пфаффе.

«Да! — подумал он. — Этот человек глуп, хитер и жесток и по своей глупости готов на всякую гадость. Масоны умеют выбирать нужных им людей. Этот доктор, вероятно, великолепен в роли отравителя. Интересно знать, многих ли он отправил на тот свет?»

— Теперь вы оставьте этот дом в покое, — проговорил Чигиринский, — я вас освобождаю от обязанности следить здесь. Ведь ваша «ликвидация» три года тому назад не удалась?

— Ну да! — поспешно стал оправдываться немец. — Этот человек так скоро тогда уехал из Петербурга и до сих пор не возвращался.

— А теперь?

— А теперь он вернулся, и я не знаю, как мне быть: должен ли я следовать данному мне три года назад указанию или у братства другие виды и предназначения?

— Ну вот я и освобождаю вас от этой заботы, дом Проворова я на себя беру.

— Ах, я этому очень рад! — произнес, по-видимому совершенно искренне, Пфаффе. — Это все-таки неприятно!

Так что я завтра же предоставлю вам свою связь с этим домом, то есть познакомлю с приживалкой и скажу, чтобы она уже обращалась к вам. Разумеется, значит, и деньги вы будете платить ей?

— Мне никакой приживалки не нужно, я сам вхож в этот дом и, когда мне будет нужно, стану бывать там беспрепятственно. У меня к господину Проворову есть рекомендательные письма. Братство позаботилось об этом.

— Значит, все отлично! — обрадовался Пфаффе. — Главное, меня это тяготило потому, что я не знал наверное, как поступить, и боялся быть неаккуратным, а я больше всего боюсь быть неаккуратным, господин Крамер!

— О да! Вы добрый немец, господин Пфаффе! — произнес Чигиринский с чувством.

Теперь он знал, какова была та опасность, от которой предостерег его неведомый друг три года тому назад.

VII

Доктор Пфаффе так расхвалил Риксу Августа Крамера, что тот ждал их с большим интересом и удовольствием.

У Рикса в доме жила его племянница, дочь овдовевшей сестры его. Рикс полюбил ее, как родную дочь, и хотел приискать для нее соответствующую партию. Но все молодые люди, которых он знал до сих пор, не годились, по его мнению, в мужья для его прелестной племянницы. Он находил в ней всевозможные совершенства и непременно желал, чтобы муж ее соответствовал этим совершенствам.

Каждый раз, как ему приходилось узнавать о новом человеке, он невольно думал, не будет ли это подходящий жених, и потому очень охотно знакомился с людьми, которых ему рекомендовали с хорошей стороны. Пфаффе же дал такую рекомендацию господину Крамеру, что Рикс ждал его даже с некоторым любопытством.

Крамер, по словам Пфаффе, был, правда, не совсем молодой человек, то есть не молокосос, а солидный, уравновешенный господин, обладавший недюжинным умом и, несомненно, всеми добродетелями, которые только могут быть свойственны и безупречному масону. Несомненно также, что он располагает более чем достатком и что в будущем ему предстоит широкая карьера, на поприще которой он, несомненно, достигнет высоких степеней.

Рикс принял Пфаффе и его спутника в своем кабинете, и там они завели тихую, необыкновенно приличную беседу об отвлеченных предметах.

По обстановке кабинета, которая сделала бы честь любому средневековому алхимику, Чигиринский понял, что Рикс занимается поиском способа делать золото и предан этому до известной степени фанатизма. Достаточно было взглянуть на этот кабинет с ретортами, банками и старыми книгами в кожаных переплетах, чтобы сказать, что хозяин его проводит здесь долгие часы перед очагом, приготавливая снадобья, которые должны якобы решить проблему изготовления золота. Таким образом, нетрудно было найти о чем говорить с Риксом и как говорить, чтобы ему понравиться.

Чигиринский начал издали разговор об алхимии и выказал в нем такие знания, сообщив много интересных и остроумных сведений, что Рикс был уже в восторге от своего гостя, когда толстая, почтенная полька, сестра Рикса, пришла звать их к столу. Рикс с особенным удовольствием повел Пфаффе и Августа Крамера, представив его сестре, в столовую.

Столовая была чисто выбеленная комната с белыми кисейными занавесками на окнах, двумя большими строгими гравюрами духовного содержания и простыми стульями с очень узкими высокими спинками, с решеткой из витых колонок. Стол был накрыт белой скатертью, сохранявшей еще ровные квадраты перегибов того, как она была сложена. Посуда на столе была самая простая, но ценная, старинная, и все тут — и комната, пол ее, мебель, занавески на окнах и сервировка стола — носило безукоризненный отпечаток чистоты и девственной свежести. Несомненно, здесь была видна женская рука.

Чигиринский взглянул и остановился. В дверь, противоположную той, в которую они вошли, одновременно с ними входила та самая паненка, которую он три года тому назад встретил на Неве, с которой танцевал краковяк на балу в Мраморном дворце у Станислава Понятовского. Чигиринский узнал ее с первого взгляда и видел, что она, взглянув на него, совершенно не узнала его.

Прежде всего это доставило ему удовольствие и послужило подтверждением того, что он так хорошо преобразился в немца Августа Крамера, а потом ему пришло в голову, как бы в утешение себе:

«Ну что же? Ведь не может же она три года помнить о какой-то мимолетной встрече!»

Он поглядел на девушку еще раз и окончательно убедился, что она не узнает его.

— Вот позвольте представить вам мою племянницу Рузю, — сказал Рикс.

Рузя церемонно присела Крамеру, тот отвесил ей вежливый поклон.

— Ну а с доктором Пфаффе ты уже знакома, — продолжал Рикс, с нежной ласковостью обращаясь к Рузе.

Та ничего не ответила и, едва удостоив доктора Пфаффе поклона, в продолжение всего разговора не проронила ни слова.

Рикс, его сестра и гости говорили по-немецки, а Рузя молчала, так что Чигиринский думал, что она не понимает этого языка. Но под конец завтрака она вдруг стала оспаривать с неожиданной для молодой девушки резкостью высказанное доктором Пфаффе мнение о том, что во имя долга нельзя совершать преступление, потому что долг искупает всякое действие, направленное к его выполнению. В тоне возражений Рузи была та молодая раздражительность, которая ясно показывала, что она не любит Пфаффе и не только спорит против данных его слов, но вообще противоречит ему во что бы то ни стало, питая к нему враждебные чувства.

Старый Рикс посмеивался, делая вид, что ко всему, что говорила его племянница, нельзя, разумеется, относиться серьезно, но что все это очень мило с ее стороны.

А Чигиринский смотрел на нее и думал о том, что она стала красивее, чем была три года тому назад, что черты ее лица приняли более определенное выражение и что это очень шло ей. Она была в периоде полного развития девичества.

«Она не только хороша, но и умна!» — решил он и с удовольствием слушал страстные, но все-таки последовательные возражения Рузи доктору Пфаффе.

VIII

Вспоминая впоследствии этот свой завтрак у Рикса, Чигиринский все более и более приходил к убеждению, что записку, предупреждающую об опасностях, прислала ему Рузя. Прямых данных к этому у него, разумеется, не было никаких, но он всем своим существом чувствовал, что не ошибается.

Дядя Рузи принадлежал к масонам, и потому она могла так или иначе быть осведомленной о том, что делалось в

кругах вольных каменщиков. Правда, это было не очень вероятно, потому что масоны едва ли бы охотно посвятили молодую девушку в свои сокровенные планы, но не невозможно: ведь Рузя могла как-нибудь случайно узнать о грозившей Чигиринскому опасности.

Но в дальнейшем все соображения окончательно спутывались. Каким образом Рузя, узнав случайно о грозившей Чигиринскому опасности, переслала ему записку при помощи того же самого доктора Пфаффе, который должен был явиться исполнителем злоумышления, как это уже знал Чигиринский? В том же, что записку доставил Пфаффе через Нимфодору, не могло быть сомнения.

Для того чтобы разъяснить эту путаницу, казалось необходимо, чтобы Чигиринский увиделся с Рузей не под видом Августа Крамера, а в своем естественном виде. Но выполнить это было, пожалуй, еще труднее, чем разгадать происшедшее стечение обстоятельств. Кроме того, здесь был замешан личный его интерес, и он не считал себя вправе рисковать достижением поставленной себе общей цели ради этого личного интереса.

Но завязать теснейшую дружбу с Риксом было делом необходимым, и тут Клавдий без всяких колебаний постарался вступить со старым поляком в ближайшие отношения для того, чтобы узнать, как относятся польские масоны, к которым, несомненно, принадлежал Рикс, к императору Павлу и какое положение занимают они по отношению к нему.

Рикс с первого же знакомства с Августом Крамером, выказавшим столь солидные сведения в алхимии, остался от него в восхищении и стал приглашать его к себе уже не только как гостя, но и как помощника в алхимических изысканиях.

В скором времени они просиживали вместе за ретортами долгие часы, в продолжение которых Чигиринский осторожно, отдельными брошенными как бы невзначай фразами выведал у Рикса настроение польских масонов.

Это настроение было не в пользу императора Павла. Польские масоны были возбуждены против него; явно они не хотели выказывать это, но общий тон господствовавшего среди них настроения был враждебен.

— Я одного не понимаю, — отчеканивая слова, спросил по-немецки Чигиринский, с неизменным искусством разыгрывая Крамера, — как вы, поляки, недовольны государем, который по отношению к вам был столь милостив и заявил себя прямо сторонником восстановления Польши?

Рикс, растиравший в это время какое-то снадобье каменным пестиком в каменной ступке, приподнял брови, и на его губах появилась та улыбка, с которой говорят очень осведомленные люди с лицами, не понимающими очень простых вещей.

— Конечно, император Павел выразил желание восстановить Польшу, — ответил он, — но ведь дальше этого желания он не пошел. Те поляки, которых он освободил из плена, как Потоцкий и Костюшко, дали ему слово в верности и, вероятно, будут держать это слово, но нам, остальным полякам, любящим свое королевство, нет оснований держаться императора Павла.

— А кого же?

— Да хотя бы наследника его Александра Павловича.

— Значит, вы думаете выиграть при вступлении на престол наследника?

— А как же нет? Еще бы!.. Теперь, при страшной изменчивости характера императора, мы не можем быть спокойны за завтрашний день, когда нас всех может постигнуть участь любого, высланного совершенно без причины. Когда же взойдет на престол великий князь Александр, он явится настоящим благодетелем поляков.

— Вы в этом уверены?

— Ну еще бы! Ведь князь Адам Чарторыйский — первый друг великого князя и, конечно, станет его первым советником как государя. При Александре поляки займут такое же первенствующее положение, как теперь немцы!

— Вернее, как теперь один немец — Пален!

— Ну, как же нам не желать скорейшего воцарения императора Александра Павловича?

Постоянное повторение того, что у Павла Петровича «изменчивый характер», стало в то время в Петербурге как бы условной фразой, произносимой на каждом шагу. Она была пущена в обращение во всех слоях общества, и Чигиринский постоянно наталкивался на нее.

Теперь он видел, что вожелдения польских масонских организаций простираются дальше, чем можно было ожидать. Там, значит, прямо говорили о том времени, когда вступит на престол великий князь Александр, и желали скорейшего приближения этого времени. Даже масоны-поляки были врагами Павлу Петровичу.

Чигиринский видел, что эта вражда сеялась повсюду опытной и умелой интригой.

IX

Проворов с Еленой довольно долго ждали Августа Крамера. Наконец он пришел, как обещал, и теперь они вторем сидели, запершись в кабинете, приняв всевозможные предосторожности, чтобы не быть подслушанными, и разговаривали, не стесняясь.

Чигиринский, не разыгрывая немца, говорил своим голосом с горячностью, которая вовсе не подходила к степенному облику Крамера.

— Ты пойми, — волнуясь, сказал он Проворову, — что дела зашли так далеко, восстановленных против государя такая масса, что предварительными мерами нельзя действовать.

— Какие же мы с тобой вдвоем только могли бы принять предварительные меры? — грустно спросил Проворов.

— Мало ли какие! Против пущенных слухов не в пользу императора можно пускать обратные в его пользу. С умом пущенный слух может сделать очень много, а для этого вполне достаточно двоих! Наконец, я знаю свою силу... Да ведь мы же, вероятно, и не одни в Петербурге, которые верны Павлу. Возможно было бы подготовить объединение, словом, начать действовать так же постепенно, как действуют враги. Но теперь, к несчастью, у них сделано слишком много в смысле подготовки, теперь надо искать прямого заговора!

— Заговора?

— Да, все данные к тому, что он существует, и весьма возможно, что близок даже к исполнению.

— Неужели кто-нибудь решится?

— Не решится, а... уже решился! Говорю тебе, что теперь надо искать прямых нитей!

— Если это так, то где-нибудь должны же сходиться эти нити?

— Несомненно, они сходятся в руках военного генерал-губернатора графа Палена. Государь обойден им и словно ослеплен. Как нарочно, он делает промах за промахом!

— В смысле политики?

— Нет, здесь он на твердом пути и неуклонно ведет определенную линию. Он сбив во внутренних своих чувствах.

— Что ты хочешь этим сказать?

— А вот на днях проезжаю я мимо строящегося Михайловского замка, леса вокруг него уже сняты...

— Да! Постройку своего дворца государь ведет с необычайной быстротой! Ведь он уже готов и, говорят, даже внутренняя отделка доканчивается! Скоро будет освящение.

— Да. На фризе из порфировых плит этого замка, со стороны главного фасада, невольно бросается в глаза надпись крупными бронзовыми буквами: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней».

— Ну так что же?

— Нехорошо это!.. Не надо! На дворце не годится быть такой надписи. Дворец, хоть и жилище императора, все-таки дом, где обитают люди, а святыня Господня подобает только храму! При виде этой надписи у меня так сердце сжалось и невольно мелькнуло: «Ах, зачем это? Не надо!» И тут мне ясно вспомнились слова прорицателя Авеля, который с необыкновенным выражением жалости и скорби повторил мне несколько раз: «Бедный Павел! Бедный Павел!»

— А ты все-таки был у Авеля? — спросила Елена. — Разве он опять появился в Петербурге?

— Нет, я виделся с ним перед отъездом за границу, а теперь искал его, но не нашел. Мне в лавре сказали, что он исчез неизвестно куда, и говорили о нем так неохотно, точно боялись. Я думаю, уж не сослан ли он опять!

— Ну да! — подтвердила Елена. — Его опять заперли в Шлиссельбургскую крепость за то, что он предсказывал скорую смерть императору.

— Да! — проговорил Чигиринский после долгого молчания. — Павел Петрович как будто не хочет исполнить веления Промысла, и это погубит его! И все-таки мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы помешать злему делу, о котором мы догадываемся.

— Ну а если нельзя помешать?

— Все равно! Догадываться, знать и оставаться в бездействии равносильно тому, что быть в сообществе с злодеями. Невмешательство в данном случае все равно что помощь.

— Уж очень широко ведется дело, — сказал Проворов. — Хотя бы взять указ о помилованных! Ведь этих помилованных теперь даже против их воли гонят из провинции в Петербург. Многие из них обжились там, а теперь являются сюда без всякой надежды на заработок, без возможности получить его. Такой массы озлобленности трудно себе представить... Ах, кстати! — вспомнил Проворов. —

Ты знаешь, ведь и у нас есть новости! Ты помнишь Нимфодору?

— Приживалку покойной тетушки? Еще бы! Она — особа в высшей степени предприимчивая! Ведь она же в сношениях с доктором Пфаффе, он мне еще недавно говорил о ней.

— Ах, боюсь я этого доктора Пфаффе! — с выражением гадливости произнесла Елена. — Я дам себе обещание не пускать его к нам в дом.

— Относительно Пфаффе не тревожься! — успокоил ее Чигиринский. — Я обезопасил вас от него, сказав, что наблюдение за вашим домом беру сам на себя. Так какие же новости про Нимфодору?

— Да представь себе, она начинает входить в моду в Петербурге.

— В каком отношении?

— У покойной тетушки она исполняла роль гадалки, и ее обязанностью было раскладывать карты. Тетушка увлекалась ее предсказаниями и пустила о ней славу. Нимфодора с честью поддерживала свою репутацию, и теперь, представь себе, за ней прислали от графа Кутайсова, дочь которого желает знать свою судьбу и, прослышав об искусстве Нимфодоры, хочет, чтобы та погадала ей. Это уже поистине — залетела наша ворона в высокие хоромы...

— Да, это очень интересно! — согласился Чигиринский. — И знаешь, может быть, этим путем судьба нам даст средство...

Х

Вернувшись домой, Чигиринский застал Пфаффе у себя и первым делом обратился к нему с вопросом:

— Скажите, доктор, как вы делаете, когда вам нужно переговорить с приживалкой Нимфодорой?

— Очень просто! — ответил Пфаффе. — Я посылаю свою служанку Амалию, и госпожа Нимфодора приходит ко мне.

— Не можете ли вы сейчас послать за ней?

Пфаффе самодовольно улыбнулся и не без некоторого торжества заявил:

— Ага, господин Крамер! Напрасно, значит, вы хотели обойтись без нее. Помните, вы хотели отказаться от услуг доброй Нимфодоры?

— А теперь, как видите, она мне понадобилась, и если вы встречаете затруднение в том, чтобы позвать ее, то я могу обойтись и без вас!

— О нет! — подхватил сейчас же Пфаффе. — Это я так только сказал, для примера, в виде шутки. Если нужно, то я сейчас же пошлю за ней, и мы не опоздаем выкурить трубки, как она явится к нам.

Действительно, Крамер с доктором Пфаффе не докурили еще своих трубок, которые зажгли, послав за Нимфодорой, как она явилась в своем старомодном широком шелковом робоне.

— Вот, моя добрая госпожа, — начал Пфаффе на ломаном русском языке, — мой приятель Август Крамер желает познакомиться с вами.

Нимфодора сделала реверанс, долженствовавший показать, что она не чужда высокому тону и отлично знает изящное обращение.

— Вы, говорят, хорошо гадаете? — спросил Чигиринский по-русски, произнося слова с отлично оттененным иностранным акцентом.

— Ах, я не ожидал, что вы так прекрасно владеете русским языком! — воскликнул удивленный Пфаффе.

— Я владею многими языками, но менее всего люблю русский язык и разговариваю по-русски лишь тогда, когда это необходимо! — сказал Чигиринский, отлично разгрывая Августа Крамера.

— Да, претрудный и претяжелый язык, очень неприятный! — подтвердил Пфаффе по-немецки.

— Ну так вот, говорят, вы прекрасно гадаете, — снова обратился Чигиринский к Нимфодоре.

Та скромно опустила глаза, склонила голову и смиренно произнесла:

— Хвастать не могу, но многие высокие особы очень одобряли.

— Вот именно. Об одной из высоких особ мне и нужно знать. Вы были приглашены в дом графа Кутайсова?

Нимфодора, глядя на собеседников серьезными, хитрыми глазками, уклончиво ответила:

— Меня приглашают во многие дома!

— Но вы должны говорить все откровенно! Ведь вы за это получаете деньги! — вмешался в разговор доктор Пфаффе. — Поэтому ответьте прямо на вопрос.

— Деньги деньгам рознь! — без всякого смущения возразила Нимфодора. — Я вам соглядала в доме господина

Проворова, а кроме того, я за те деньги никакой службы нести не обязывалась.

— Сколько же вы хотите за то, чтобы сообщить и еще сведения?

— Смотря какие. За иные и никаких денег не возьму. Например, рассказывать про то, кто о чем у меня гадает, я ни за что не возьмусь. Как можно!

Нимфодора, видимо, ломалась, желая придать себе больше важности и получить побольше денег.

— Она неглупая, но упрямая шельма! — сказал Пфаффе Крамеру опять по-немецки. — Дешево она не станет говорить.

— Она будет говорить! — уверенно произнес тот и, протянув по направлению к Нимфодоре руку, громко приказал ей спать.

Нимфодора, к удивлению Пфаффе, как была, так и осталась неподвижной, с неморгающими, остекленелыми глазами.

— Что ты делала в доме графа Кутайсова? — спросил Чигиринский.

По лицу старухи пробежала судорога усилия мысли.

— Ты сидишь с картами перед дочерью Кутайсова, о чем она спрашивает у тебя?

Нимфодора улыбнулась и ответила, не меняя выражения глаз:

— О чем могут спрашивать молодые девушки: о своей судьбе! За кого ей суждено выйти замуж...

— Что же ты говоришь ей?

— Я говорю, что ей суждено выйти за князя, что он раскрасавец собой, и знатен, и богат.

— Что же, это так выходит по картам?

— Нет... По картам ей выходит совсем другое. По картам ее судьба быть не за знатым.

— Зачем же ты обманываешь ее?

— Мне так приказано.

— Кто же тебе приказал?

— Ольга Александровна.

— Она тебе платит за это деньги?

— Да. Она и деньги мне дает, и платья, и угощением не обделяет. Это не какой-нибудь немец Пфаффе! Это настоящая русская барыня.

— А как ее фамилия?

— Да Жеребцова же, Ольга Александровна.

— А ты знаешь, кого имеет в виду Ольга Александровна?

— Это чтобы женить на графине Кутайсовой? Да брата своего, князя Платона Александровича Зубова.

— А ты называла имя князя графине Кутайсовой?

— Ну как же можно так сразу? С первого раза надобно издалека начать, а потом можно и к точке подойти.

— Так что, сама Кутайсова еще ничего не подозревает?

— Будто ничего... Разбудите меня, мне тяжело.

— Хорошо. Ты сейчас проснешься и пойдешь домой, забыв, что ходила к доктору Пфаффе и что тебя здесь усыпили.

Чигиринский дунул в лицо Нимфодоры. Она встала как встрепанная, поспешно направилась к двери, ни слова не говоря.

Когда она ушла, доктор Пфаффе, сидевший все время молча и боявшийсядохнуть лишний раз, обратился, пораженный, к Крамеру и с неподдельным восхищением воскликнул:

— Знаете, господин Крамер, я слышал, что такие опыты бывают, но никогда ничего подобного не видал и не мог себе представить в реальности. Вы гениальный человек и, несомненно, высокий масон.

XI

Пфаффе продолжал восхищаться, искренне расточая чрезмерные похвалы Августу Крамеру, а тот после ухода Нимфодоры долго сидел в сосредоточенном молчании, видимо погруженный в серьезные соображения.

Жеребцову он знал очень мало, больше понаслышке. Ему было известно только, что она рожденная Зубова и умом наделена гораздо более всех троих своих братьев. Насколько природа обделила по части умственных способностей мужскую часть семьи Зубовых, настолько, наоборот, щедро наградила Ольгу Александровну, заслужившую название в петербургском обществе бой-бабы.

— Вы госпожу Жеребцову знаете? — спросил он наконец у Пфаффе.

— О да! — поспешно ответил тот. — Госпожу Ольгу Александровну я знаю как умную, энергичную особу. Она очень уважаемая госпожа.

— Вы знакомы с ней?

— О да! То есть, если хотите, то, пожалуй, нет! Лично я у нее никогда не бывал, но, имея некоторые связи в

дипломатическом корпусе, я много слышал о ней. Ее очень хорошо знают в дипломатическом корпусе.

— Ведь она — приятельница с бывшим английским послом Витвортом? Кстати, а вы знаете, за что был удален от прусского двора Витворт?

Английский посол Витворт в мае месяце 1800 года должен был выехать из России по именному повелению императора Павла. Этот вынужденный отъезд его возбудил всевозможные толки и догадки, так и оставшиеся в точности не разрешенными.

— Это я не могу вам сказать! — развел руками Пфаффе. — Говорят слишком разное. Одни находят, что отношения с Англией у России очень натянуты, другие считают, что господин Витворт в своей переписке очень неосторожно отзывался об императоре Павле, а переписка эта была перехвачена и доведена до сведения императора. Видите ли, в коллегии иностранных дел генерал Растопчин враждует с графом Паниным...

И Пфаффе стал подробно объяснять, что будто бы Растопчин, враждуя с прямым своим начальником, графом Паниным, бывшим тогда канцлером, перехватил переписку английского посла Витворта, закадычного приятеля Панина, и представил ее государю.

— Ну да! Это теперь неинтересно! — перебил Чигиринский. — Мы говорили о госпоже Жеребцовой.

— О да, конечно! — подхватил доктор Пфаффе. — Мы говорили о госпоже Жеребцовой, которая вращается среди дипломатов.

— Она знакома также и с прусским послом?

— Ну, разумеется, и очень даже хорошо. И я думаю, я не ошибусь, если скажу, что через нее у графа Палена существуют с прусским послом более тесные сношения, чем это кажется.

— А вы уверены, что у графа Палена довольно тесные отношения с прусским послом?

— Как же может быть иначе? Граф Пален — добрый немец, а мы все, добрые немцы, не можем не быть заодно.

— Ну а вы слышали, что эта старуха говорила, что госпожа Жеребцова хочет сосватать своего брата, князя Платона, с дочерью Кутайсова?

— Да, я это слышал. Это было гениально, как вы заставили ее говорить.

— И вы соображаете, что это значит? Если это случится, то положение Зубовых упрочится. Ведь граф Кутайсов — самое приближенное к императору лицо.

— В самом деле! Ведь в самом деле это так! Это очень умная комбинация! Конечно, положение князя Платона Зубова тогда будет гарантировано.

— Ну так вот! Теперь, как вы думаете: госпожа Жеребцова делает это по собственному почину, ради своих братьев, или в этом ей помогают ее политические друзья, которым кажется почему-нибудь нужным или выгодным, чтобы Зубовы упрочились?

— Я полагаю, — стал глубокомысленно рассуждать Пфаффе, — что госпожа Жеребцова настолько умна и дальновидна, что едва ли решилась бы на такое действие, как сватовство брата за Кутайсову, самостоятельно, не заручившись согласием и помощью своих влиятельных друзей. А если они решились оказать ей эту помощь, то имеют на то тоже свои серьезные причины.

— Так что вы думаете, что граф Пален и представители Пруссии считают важным иметь Зубовых в Петербурге?

— Да, я это думаю! — серьезно, видимо взвешивая свои слова, произнес Пфаффе.

— Вы совершенно верно рассуждаете, доктор Пфаффе, и я могу только согласиться с вашими словами.

— О, помилуйте! — воскликнул немец, польщенный таким одобрением.

— Только имейте в виду, что основанием всего нашего разговора был лишь мой опыт со старухой, который принадлежит к одному из действий оккультных знаний. А вы знаете, в какой тайне надо беречь не только сами эти знания, но и все то, что так или иначе соприкасается с ними; а потому как самый опыт, так и наш последующий разговор должен оставаться в полнейшем секрете, хранить который вы обязаны силой масонской присяги.

— Не беспокойтесь, господин Крамер, я знаю многое и умею молчать.

— Я уверен в этом и говорю вам так только, предупреждая на всякий случай. Но вы меня так заинтересовали характеристикой госпожи Жеребцовой, что мне очень хотелось бы познакомиться с ней поближе. Вы мне не можете доставить как-нибудь случай сделать это?

— Наверное не знаю, не могу вам обещать, надо будет спросить у пани Юзефы.

— Это у сестры господина Рикса?

— Да, и матери хорошенькой панны Рузи, — усмехнувшись и хитро взглядывая на Крамера, заключил доктор Пфаффе, считавший себя знатоком человеческого сердца.

XII

На другой же день доктор Пфаффе со своим постояльцем отправился опять на завтрак к старому Риксу, в расчете, главным образом, повыведать от пани Юзефы, не может ли она найти какую-нибудь лазейку в дом к Ольге Александровне Жеребцовой.

Пфаффе, как опытный дипломат, не сразу заговорил о цели их прихода и только во время завтрака, когда подавали жирную баранину с огурцами, маринованными в уксусе, он, прожевывая кусок, произнес с расстановкой:

— Уважаемая госпожа пани Юзефа, не можете ли вы мне, пожалуйста, сказать, имеете вы вход к Ольге Александровне Жеребцовой, рожденной Зубовой?

Пани Юзефа несколько не удивилась такому вопросу; очевидно, и прежде доктор Пфаффе не раз завязывал через нее знакомства.

— Имею! — ответила она, разрезая огурец и тщательно снимая кожу с его четвертушки. — А в чем, собственно, дело? Вы имеет надобность к Ольге Александровне?

— Нет, не я, но вот мой друг Август Крамер хотел бы быть представленным ей.

— Он ищет ее протекции?

— Не совсем, — вставил свое слово Крамер. — Я хотел бы наблюдать русскую жизнь, а мне сказали, что Ольга Александровна — одна из замечательных женщин Петербурга. Мне хотелось бы увидеть настоящую русскую аристократку.

— Хорошо! — произнесла, раздумывая, Юзефа. — Но под каким же предлогом я могла бы отвезти вас к госпоже Жеребцовой? Я не настолько знакома с ней, чтобы просто представить вас как своего приятеля.

— Ну, Юзефа, ты все-таки должна постараться исполнить просьбу нашего дорогого гостя! — внушительно сказал Рикс, видимо обрадованный, что можно оказать какую-нибудь услугу нравившемуся ему немцу.

— Я и спрашиваю, — подхватила Юзефа, — для того, чтобы обдумать, как лучше поступить, чтобы исполнить их просьбу.

— Представьте меня в качестве человека, который знает прошедшее и может отгадывать будущее. Это, вероятно, заинтересует госпожу Жеребцову. Эти дамы любят подобные опыты.

— А вы умеете читать в прошедшем и отгадывать будущее? — спросила, оживляясь, Рузя.

— О да! — воскликнул доктор Пфаффе ободряющим тоном. — Если господин Крамер захочет, он может все!

— А можно вам сделать испытание? — задорно обратилась Рузя к Крамеру.

Тот улыбнулся и, вежливо наклонившись, сказал:

— Пожалуйста.

— Что же, для этого нужны какие-нибудь приготовления? Вы как гадаете — по картам или на бобах?

— Нет, никаких приготовлений не нужно. Мне довольно просто стакана воды.

— Ах, это очень занятно!

— Стакан должен быть хрустальный и через него надо пропустить луч солнечного света! — сказал авторитетно, как знаток дела, старый Рикс. — Наши стаканы чистого хрусталя, из бывшей утвари короля Станислава. Ну а вот солнца, кажется, нам придется подождать сегодня.

— Нам вместо солнца светит паненка, ваша племянница! — опять улыбнувшись, возразил Крамер и, налив себе стакан чистой воды из графина, поднял его на уровень глаз. — Я скажу вам сначала, — произнес он, внимательно вглядываясь в стакан, — что-нибудь из вашего прошлого, чтобы вы могли убедиться, правильно ли я вам буду предсказывать будущее.

Все затаили дыхание, следя за Крамером.

Тот некоторое время молча разглядывал воду в стакане, а потом заговорил:

— Я вижу большой зал, много народа, нарядные туалеты. Это блестящий бал! Все танцуют... танцуют польский танец, очень увлекательный... я забыл, как он называется по-польски, но видел не раз, как его танцуют. Паненка пляшет с молодым человеком, и во всей зале они не видят никого, кроме друг друга.

Он мельком глянул на Рузю: она вспыхнула, сидела с лихорадочно загоревшимися глазами и, не опуская их, глядела на Крамера, порывисто дыша, желая как будто и боясь того, что он будет говорить дальше.

— Вот все исчезло, — сказал он, — опять вижу только туман... Но нет, он рассеивается... А-а! Вот опять я ясно вижу паненку. Она пишет записку: «Пусть мы больше не увидимся, но как можно скорее...»

Рузя вдруг быстрым движением выбила стакан из его руки и, взволнованная, крикнула:

— Не надо, не надо никакого гаданья... Я верю!

Рикс, видя неожиданный эффект, произведенный искусством Крамера, и будучи поражен этим искусством, проговорил почти с благоговением:

— Однако, господин Крамер, вы можете так легко проникать в чужие тайны! Положим, тайны такой девицы, как моя племянница, не могут представлять ничего особенного, но все-таки это ее тайна, и конечно, вы не могли узнать ее заранее.

А доктор Пфаффе, усиленно вытиравший в это время свой кафтан, облитый из расплескавшегося стакана, повторял:

— Это колоссально!

Рузя, после того как выбила стакан из рук Крамера, как бы рассердившись сама на себя за эту выходку, сидела нахмурившись, опустив глаза, молча. Все, конечно, поняли ее смущение и оставили ее в покое.

Это происшествие случилось уже в конце завтрака, и вскоре все встали из-за стола, а когда встали, то Рикс обратился к племяннице и сестре со словами:

— Что же, милые дамы, вы пойдете все-таки на каток, как собирались?

Спросил он это, не совсем веря в то, что получит утвердительный ответ после случившегося, но Рузя совершенно неожиданно вдруг заявила:

— Отчего же, дядя? Я пойду с удовольствием. И вот если господину Крамеру делать нечего, он пошел бы с нами посмотреть, как у нас катаются.

— А в самом деле, — обрадовался Рикс, — это великолепная идея! От нас до катка очень близко — до Полицейского моста рукой подать, и это будет превосходная прогулка.

Крамер выразил согласие не только пойти с дамами, но и кататься на коньках, сказав, что это искусство ему немножко знакомо.

Пани Юзефа облачилась в широкий салоп, а Рузя надела бархатный казакин, отороченный мехом, и круглую шапочку-конфедератку. Шла она молча, со сдвинутыми бровями, рядом с Крамером, и тот, несколько раз взглянув на нее, недоумевал, что, собственно, происходит с ней. Сердится она, что ли? Но если бы сердилась, она не пригласила бы его вместе с ними на каток. Ясно было, что она что-то соображает, упорно и сосредоточенно.

Пришли на каток. Крамер подвязал себе коньки, затем, как опытный конькобежец, выскочил на лед и, сделав по-

лукруг, вернулся с протянутой рукой к Рузе, тоже довольно уверенно державшейся на льду. Она взялась за его руку и покатила рядом, продолжая молчать по-прежнему.

Так, молча, они довольно быстро укатили между другими парами в отдаленный угол катка, к самой стене елок, огораживающих его. Здесь Рузя замедлила ход и пошла совсем тихо.

— Господин Крамер! — вдруг решительно произнесла она. — Я хочу поговорить с вами как с порядочным человеком.

— Я к вашим услугам! — ответил он, стараясь как можно осторожнее вести ее по льду.

— Видите, — продолжала она, — я уже давно заметила, что вы не совсем обыкновенный человек, а сейчас, за завтраком, вы дали доказательство, что обладаете как будто сверхъестественными способностями. С одной стороны, это осложняет дело, а с другой — облегчает его, потому что мне легче быть откровенной. Мне кажется, что вы и без моих слов можете отгадать все. Так вот я и решилась сказать вам! Дядя до такой степени очарован вами, что вы у него через два слова в третье. По его более чем ясным намекам и даже по иным прямо обращенным ко мне фразам несомненно, что он хочет выдать меня за вас замуж... то есть не только хочет, а просто упрямо решил достичь этого во что бы то ни стало! Я его знаю. Ну так вот я со своей стороны должна предупредить вас, что этого никогда не может быть...

— Отчего же?

— Оттого, что мне нравится совсем другой, непохожий на вас!

Улыбка мелькнула на лице Чигиринского.

— Уж это не тот ли, которого я видел танцующим с вами?

Она тряхнула рукой, и у нее с досады вырвалось:

— Все равно! Если вы все можете видеть в вашем стакане, тем лучше для вас, но только я никогда не выйду за вас замуж и предупреждаю вас, чтобы вы и не думали увлекаться мной.

— Почему же вы так уверены, что я со своей стороны могу увлечься вами?

— Потому что, — вдруг вспыхнула она, — если я захочу, то это может случиться...

— Вот как? — сказал Чигиринский, как бы шутя. — А хотите пари держать, что я, Крамер, останусь к вам равнодушен, несмотря ни на что?

— Послушайте, ведь то, что вы мне говорите, почти дерзость!

— Напротив, я хочу только успокоить вас относительно стараний вашего дядюшки.

В глазах Рузи замелькали огоньки.

— А что, если я вам скажу, что вы слишком много хотите взять на себя? До сих пор мне еще не случалось слышать ничего подобного! Хорошо, я принимаю пари... — вдруг заключила она и, вырвав от него руку, ловко и быстро покатила в ту сторону, где сидела ее мать.

Чигиринский смотрел ей вслед, невольно любуясь ее тонким, красивым станом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Пани Юзефа совершенно искренне, с большим жаром расхваливала Ольге Александровне Жеребцовой Августа Крамера как человека, обладающего необыкновенной прозорливостью.

Жеребцова, видная женщина тридцати с лишком лет, была в полном расцвете сил и отличалась энергией и деятельностью, которые не могли идти в сравнение с несколько безжизненным отношением к окружающему ее братьев, в особенности изнеженного и избалованного князя Платона. Она вечно была чем-нибудь занята и устраивала какие-нибудь дела, за кого-нибудь хлопотала и для кого-нибудь о чем-нибудь да старалась. Близкая приятельница бывшего английского посла Витворта, имевшая и другие связи в дипломатическом мире, она не была чужда политических интриг.

В настоящее время она со всей страстностью занялась проектом женитьбы князя Платона Зубова на дочери приближенного к государю бывшего его камердинера, графа Кутайсова. Эта мысль была подсказана ей графом Паленом, который рассчитывал упрочить этим положение братьев Зубовых, необходимых ему в Петербурге как людей, подходящих для его плана.

Сама Жеребцова не преследовала никаких личных целей, в особенности в данном деле. Ей просто нравилась сама мысль женить брата на молодой турчанке, как звали дочь графа Кутайсова, который был из турченят.

Император Павел осыпал его милостями за его службу и преданность и возвел в графское достоинство для того, чтобы показать некоторым кичливым титулованным особам, что он, император, может всякого пожаловать каким угодно титулом.

Между Платоном Zubовым и дочерью Кутайсова ничего не было общего, кроме разве титулов, пожалованных им с высоты престола. Zubов вовсе не думал жениться, а Кутайсова — выходить за него замуж, но это-то и было занято. Тут надо было уговорить одного и очень искусно повлиять на другую, и Ольга Александровна взялась за сватовство со свойственной ей стремительностью.

Вращаясь среди петербургской знати того времени, она вместе с тем, по обыкновению большинства тогдашних бар, с заднего крыльца принимала у себя всякий народ, почему-либо способный заслуженно или нет обратить на себя ее внимание. Пани Юзефа была в числе этого народа и, имея знакомства среди масонов, служила переносчицей некоторых сплетен оттуда, которым Жеребцова придавала значение тайных сведений.

Принесенную Юзефой новость о появившемся гадале-немце она приняла как нечто очень важное и потребовала, чтобы Август Крамер был приведен как можно скорее.

О гадании посредством стакана воды, в котором якобы можно было видеть события и настоящего, и прошлого, и будущего, она слышала и раньше. Граф Калиостро, как известно было, умел смотреть на воду; то же делал и таинственный граф Сен-Жермен. Но Жеребцова никогда не видела ничего подобного и о Калиостро, и о Сен-Жермене знала только понаслышке. Ей невольно пришлось в голову: «А что, как Крамер — новая восходящая звезда вроде графа Сен-Жермена? Ведь если это так, то честь открытия его будет принадлежать мне!» Все это было очень заманчиво, а потому она с жаром отнеслась к известию о Крамере.

Она думала, что пани Юзефа приведет ей немца со двора по черному ходу, но Крамер явился с парадного подъезда, один. О нем доложили Ольге Александровне, когда она сидела у себя в келейном разговоре с братом Платоном, обсуждавшем с ней план своей женитьбы на Кутайсовой.

Почти каждый день повторялось то же самое. Князь Платон после разговора с сестрой уезжал от нее с твердой решимостью, что женится, и давал свое согласие на офи-

циальное сватовство. Но как только он уезжал от нее, решимость покидала его, и он снова приходил к заключению, что ему нет никаких оснований жениться, что Кутайсова ему вовсе не пара и что этот союз для него лично никакой выгоды не представляет, если же это и нужно кому-нибудь другому, то какое ему-то дело до этого. На другой день он ехал к сестре, чтобы наотрез отказаться от исполнения плана, но уезжал от нее вновь настроенный на женитьбу.

Когда доложили о Крамере, и Зубов, и Жеребцова, в сущности, были рады, что явился перерыв или маленькая помеха в надоевшем им разговоре, конец которого им обоим был хорошо известен.

— Кто этот Рамер или Крамер? Я что-то не слышал такой фамилии, — спросил Зубов, рассматривая свои щегольски отточенные ногти.

— Это мне рекомендовали человека с замечательными способностями прорицателя! Говорят, он смотрит в стакан воды и все видит.

— Ах, это я знаю! Это очень интересно... Ты его примешь? Я желаю знать свое будущее в стакане воды! — усмехнулся Зубов, воображая, что он очень мил и сострил очень удачно.

— Да, но я его никогда не видала и совершенно не знаю, такой ли он человек, которого можно принять в гостиной, — сказала Жеребцова нерешительно.

— Все равно! Ведь мы одни! Посмотрим!

Крамера велели просить.

II

При своем появлении Август Крамер произвел неожиданное, более даже чем благоприятное впечатление. Его статная фигура была облечена в отлично сшитый, дорогой, но не кричащий костюм, несомненно, очень солидный и безукоризненного вкуса. Лицо Крамера выражало большое достоинство, и он вошел со сдержанно-непринужденной покладкой, сразу показавшей, что он умеет свободно держать себя в гостиной.

— Простите, что я так врываюсь к вам, — заговорил он по-немецки, — но я взял на себя смелость представить сам себя, считая, что это нисколько не будет хуже представления почтенной пани Юзефы, которая рекомендовала меня вам.

— Mais il est très bien!* — обратилась Жеребцова к брату.

Эта французская фраза вырвалась у нее как восклицание, против ее воли.

Крамер сделал вид, что не заметил этого, но сейчас же перешел на французский язык.

— Позвольте представиться и вам, князь, — с легким поклоном в сторону Зубова произнес он.

Зубов вскинул бровями и, глянув на сестру, сказал по-английски:

— Блестяще!

— О да, в полном смысле джентльмен! — повторила Жеребцова тоже по-английски.

— Какое у вас прекрасное английское произношение! — проговорил Крамер на том же языке. — Сейчас видно, что вы были приятельницей такого чистокровного англичанина, как лорд Витворт.

Удивление Жеребцовой росло. Она даже несколько растерянно посмотрела на гостя и, переходя снова на французский язык, сказала:

— Что же вы стоите, мсье Крамер? Положите вашу шляпу и садитесь!

Крамер шляпы не положил, но сел в одно из кресел в спокойной позе, как человек, привыкший к такой мебели, как кресло.

Жеребцова, убедившись, что он вполне светский человек, экзамен на которого он только что выдержал блестяще, повела с ним разговор, приличный хозяйке изысканной гостиной, то есть не начала сразу о том, что ее интересовало и зачем, собственно, Крамер появился у нее, а спросила, давно ли он в Петербурге и как ему нравится столица. Он ответил, что внешний вид Петербурга ему очень нравится, в особенности Нева, но в обществе он еще нигде не был и потому чувствует себя совершенно беспочвенным иностранцем.

— Вас надо будет познакомить! Мы с братом возьмем это на себя. Вы долго думаете пробыть в Петербурге?

— Право, не знаю! Я путешествую для своего удовольствия, для того, чтобы видеть свет, и совершенно не могу сказать, что мне вздумается завтра! Весьма возможно, что я останусь до конца зимы в ваших снегах, а может быть, завтра же отправлюсь под знойное солнце Индии...

* Однако он очень хорош (фр.)

— А вы были в Индии?

— Нет, никогда.

— Но, кажется, вам известны некоторые индийские тайны, если я не ошибаюсь?

— Простите, но я должен подтвердить вам, что вы ошибаетесь! Никаких индийских тайн я не знаю.

— Однако эта добрая Юзефа рассказывала мне про вас чудеса! Вы видите события грядущего насквозь...

— Ну, это несколько много мне приписывается. Я могу, пожалуй, сказать вам кое-что о сватовстве.

— О сватовстве? О каком сватовстве? — переспросила Жеребцова, встрепенувшись.

Крамер помолчал и пытливо-пристально устремил на нее свои пронизательные глаза.

— О сватовстве, которое вас занимает теперь.

— Это вы говорите обо мне? — спросил довольно наивно князь Платон Александрович.

— Ну да, о вас, князь! — продолжал Крамер. — Не беспокойтесь! — улыбнулся он Жеребцовой, заметив, что та тронула брата за рукав, желая остановить его дальнейшую речь. — Я умею держать секреты и отнюдь не отличаюсь болтливостью. Поверьте, что я сумею сохранить то, что вы не желаете, чтобы было известно до поры до времени.

Жеребцова, несколько не смутившись, сказала:

— Я не знаю, о каком сватовстве вы говорите! Мало ли каких свадеб не заключают в Петербурге.

— Я говорю о сватовстве князя, вашего брата, к графине Кутайсовой, — перебил ее Крамер.

Жеребцова, не ожидавшая такого прямого выпада, осеклась, но, сейчас же овладев собой, проговорила:

— Положим, я была уверена, что этот план известен настолько немногим людям, что до вас он не мог дойти. Но все-таки ваши слова не доказывают какой-нибудь силы с вашей стороны. Вы могли узнать о наших планах как-нибудь случайно, вполне естественным путем.

Она, как умная женщина, видя, что ее секрет открыт, не стала отнекиваться, отрицать и заператься, а на прямые без обиняков слова Крамера тоже потребовала от него прямого ответа.

И он ответил тоже без всяких околичностей.

— Я отлично понимаю, что вам хочется убедиться в моих способностях, и в этом отношении не буду делать «маленького рта» и охотно готов дать вам доказательство, тем более что это было целью моего прихода к вам.

— Отлично! — одобрила Жеребцова. — Откровенность за откровенность. Да, я очень рада была бы убедиться, что вижу в вас действительно необыкновенного человека.

— Ради Бога, не преувеличивайте! Ни на какую необыкновенность я не претендую! Я самый обыкновенный отгадчик! Не колдун, а отгадчик, вот и все...

— Все равно, но мы требуем от вас доказательств!

— Да, мы требуем доказательств вашего провидения! — подтвердил Зубов.

— Хорошо. Угодно вам, я сейчас скажу то, о чем, как вы думаете, никто не знает, кроме вас одних? — внушительно сказал Крамер Зубову.

Тот слегка отстранился и уже не без некоторой робости спросил:

— Это вы насчет чего?..

— Насчет того, как вы перед последним своим отъездом из Петербурга отделались от грозивших вам неприятностей благодаря появлению у вас в кабинете вашего умершего товарища, который сказал вам, каким образом указать государю документы о масонах.

Краска немедленно сбежала с лица Зубова, и он, бледный, дрожащий, замахал руками и почти крикнул:

— Не надо! Я верю. Это вы могли узнать только сверхъестественным путем! Кроме государя, я никому не рассказывал об этом.

— Какие документы? Что такое? — стала спрашивать Жеребцова, видя, как перебеделовался ее брат, и удостоверившись воочию, что, очевидно, это было неспроста и что Август Крамер действительно обладает могущественным даром прозрения.

А он скромно сидел на своем месте, опустив глаза, как будто для него самого это было все самым обыкновенным делом и во всем этом он не видел ничего особенного.

III

Утром, как всегда, пришел доктор Пфаффе к прусскому посланнику графу Брюлю. Тот встретил его приветливее, чем обыкновенно.

— Ага! Господин Пфаффе, вы мне нужны!

— Я весь к услугам вашего сиятельства, — отвечал Пфаффе, расплываясь в счастливой улыбке.

— Дело довольно серьезное! — продолжал Брюль. — Вот видите ли: надо не выпускать из поля зрения одного

высокопоставленного лица и настраивать его соответственно видам истины.

— Можно узнать, кто это лицо?

— Если я предлагаю вам стать в положение наблюдателя, то, само собой разумеется, я не должен скрывать от вас того, за кем вы должны наблюдать... Я подразумеваю князя Платона Александровича Зубова. Имеете вы к нему доступ?

— Очень незначительный. Но если я получу хорошие рекомендации...

— Вы их получите. Князь Зубов с братьями возвращен в Петербург исключительно благодаря влиянию графа Палена, и надо постараться, чтобы князь Зубов относился и продолжал относиться к графу как должно. В случае же уклонения его мысли в этом отношении в сторону немедленно сообщить мне. Вам, как доктору, легко будет войти в доверие и устроить прочное наблюдение. Если понадобятся расходы на слуг, вы будете располагать для этого нужными средствами. Надеюсь, это поручение не затруднит вас?

— Нет, ваше сиятельство, конечно, не затруднит. Но только я осмелюсь предложить вам поручить это дело не мне, а одному умному человеку, который, кстати, завел уже сношения и с князем Зубовым, и с его сестрой Ольгой Александровной Жеребцовой.

При упоминании о Жеребцовой Брюль не без удовольствия улыбнулся и произнес с оттенком некоторого восторга:

— Очень достойная женщина! Кто же этот умный человек?

— Мой приятель, Август Крамер.

— Крамер? Крамер? — повторил Брюль. — Я такого немца не знаю в Петербурге.

— Он недавно приехал прямо из-за границы, из Берлина. Это серьезная голова. Он еще не успел представиться вашему сиятельству и пришел сделать это сегодня. Господин Август Крамер сейчас ждет в приемной. Я ручаюсь вам, что он добрый немец и вполне способен оправдать высокое доверие.

— А он твердый патриот?

— О да! Он сын того Крамера, который был известен в Геттингенском кружке поэтов.

— Геттингенский кружок? — повторил Брюль. — Конечно, это большая рекомендация! И вы говорите, он умный человек?

— Да, ваше сиятельство, очень умный!

Брюль позвонил и приказал появившемуся немедленно слуге позвать Крамера.

Когда тот вошел, Брюль окинул его с ног до головы строгим, испытующим взглядом.

— Вы Август Крамер?

— Да, меня так зовут.

— Давно в Петербурге?

— Более месяца.

— Отчего же вы раньше не представились мне?

— Хотел осмотреться. К тому же не было излишней надобности в излишней поспешности.

— Хорошо. Вот доктор Пфаффе вас рекомендует.

— Я, — смело, без всякого смущения, перебил Крамер, — имею рекомендацию и более солидную для вас, граф, чем любезные слова уважаемого доктора! У меня есть к вам письмо... от господина Гаубвица...

— От господина Гаубвица? У вас рекомендательное письмо ко мне от господина Гаубвица? — с повышенным интересом воскликнул Брюль и, поспешно сломав печать, принялся читать письмо.

Должно быть, Гаубвиц писал довольно лестные вещи о Крамере, потому что Брюль вдруг сделался до чрезвычайности любезным, протянул гостю руку и заговорил не без суетливости:

— Что же вы стоите, господин Крамер? Отчего же вы прямо запросто не пожаловали ко мне, господин Крамер? Садитесь, пожалуйста! — А вслед за тем обернулся к Пфаффе, стоявшему в умилении перед своим приятелем, который, как оказалось, сразу произвел такое впечатление на графа, и сказал тому: — Вы, господин доктор, можете идти. Мы тут побеседуем. До свидания, господин доктор!

Пфаффе, улыбаясь и кланяясь, попятился к двери, а Брюль, усадив Крамера, стал разговаривать с ним пониженным, конфиденциальным тоном.

— Мне господин министр пишет о вас как об очень верном человеке, которому можно поручить любое серьезное дело. Он пишет, что направляет вас ко мне прямо на помощь, на случай каких-нибудь затруднений ввиду теперешнего неустойчивого положения в Петербурге.

— Я рад, граф, быть полезным вам, — ответил просто Крамер.

— Видите ли, я говорил сейчас доктору, что нам нужно установить солидное наблюдение за князем Zubовым, и он сказал мне, что вы могли бы взяться за это дело. Если это

не слишком мелко для вас, то я полагаю, что таким образом вы можете сразу войти в круг петербургского общества.

— С князем Zubовым я уже сошелся и имел случай поразить его.

— Вы где остановились?

— Пока я занял комнату у нашего соотечественника, доктора Пфаффе.

— Вам лучше всего переехать к самому князю Zubову. Русские чрезвычайно гостеприимны, и, я думаю, будет легко устроить, чтобы князь просто пригласил вас к себе в дом гостить.

— Да, это будет очень удобно! — согласился Крамер.

IV

У генерал-губернатора графа Палена был интимный обед с очень ограниченным числом приглашенных, только близких людей, или, вернее, тех, относительно которых Пален считал нужным подчеркивать свою к ним близость.

Среди гостей была Ольга Александровна Жеребцова, сидевшая за столом на почетном месте, рядом с хозяином дома.

Обед не отличался особенной тонкостью кухни; это была обыкновенная стряпня со сладкими соусами и жиденьким супом. Но что у Палена было отлично, так это красное вино, он им вполне справедливо гордился и даже тогда, когда ему приходилось объявлять вызванному к нему лицу приказание государя немедленно выехать из столицы, угощал своим красным вином для того, чтобы смягчить неприятность известия. Так, в Петербурге того времени знали, что значит «выпить стакан красного вина у графа Палена». Но за описанным обедом он пил свое красное вино сам и потчевал гостей без всякой оговорки, исключительно для того лишь, чтобы угостить.

За столом свободного непринуждения не было — все как-то избегали смотреть друг на друга, но, несмотря на это, старались делать вид, что весело, и смеялись неискренним деланным смехом при малейшем к тому поводе, а чаще и вовсе без повода.

Одна Жеребцова оставалась серьезной, очевидно не желая снисходить до подделки веселья. Под конец обеда она улучила минуту и шепнула Палену:

— Мне надо переговорить, граф.

Он закрыл только один глаз, давая этим понять, что готов исполнить просьбу, и, когда встали из-за стола и перешли в гостиную, а мужчины же отправились в бильярдную, чтобы курить, он задержал Жеребцову в маленькой проходной комнате с трельяжем, поставленным так, что за ним очень легко было остаться совсем незамеченными. Они сели на маленьком диванчике за трельяжем, и Пален поспешно спросил:

— Что-нибудь серьезное?

— Нет, — ответила, рассмеявшись, Жеребцова, — пустяки, простая справка! В Петербурге появился один иностранец, по виду очень порядочный человек, но нет никаких гарантий, что это просто авантюрист. Так я хотела просить вас, нельзя ли негласно навести о нем справки и разузнать, может ли он быть достоин доверия?

— А как зовут этого иностранца?

— Он немец, а зовут его Август Крамер.

— Ах, Август Крамер! — воскликнул Пален. — Как это странно! Представьте себе, я тоже хотел говорить с вами именно о нем.

— Вы его знаете?

— Нет, я его не знаю, но имею о нем самые подробные сведения от вполне серьезного лица. О нем имеются самые лучшие рекомендации! Это добрый немец! Он принадлежит к отличной семье, потому что его отец был членом Геттингенского кружка молодых поэтов.

— Какой это кружок молодых поэтов?

— Геттингенский! — повторил Пален, подняв для большей значительности палец. — Это были последователи Клопштока, люди, настроенные высокопатриотично и ставившие идею германизма выше всего. Среди них, между прочим, был известен Крамер, который, конечно, постарался внушить своему сыну правильные понятия.

— Вы, кажется, граф, знаете все и обо всех! — не без восторженного удивления проговорила Жеребцова.

— Это моя обязанность, милая моя барыня! — скромно сказал польщенный Пален.

Но Жеребцова продолжала:

— Конечно, заслуга его отца до некоторой степени говорит в его пользу, но это может еще и ничего не значить. Необходимо знать, каков он сам, что он представляет собой.

— Он имеет рекомендации от господина Гаубвица, все- сильного министра его величества короля прусского Фрид-

риха Вильгельма, и этого я думаю, довольно, чтобы мы ему оказали доверие.

— Да! Если у него есть рекомендация от господина Гаубвица, тогда, конечно, этим все сказано.

— А вы с ним познакомились?

— Да, и он поразил меня своим ясновидением. Он при мне сказал князю Платону такие вещи, о которых тот не рассказывал никому и о которых даже я не знаю.

— Но теперь-то вы их знаете?

— В том-то и дело, что нет. Крамер очень искусен в диалектике. Брату он только сделал несколько намеков, после которых тот побледнел и заставил его замолчать, да и потом он ни за что не захотел мне ничего объяснить. Это про прошлое. А относительно будущего тот же Крамер говорил с нами о сватовстве Платона к Кутайсовой так свободно, как будто это дело известно ему до мельчайших подробностей.

— И что же он предрекает? Это сватовство увенчается успехом?

— В том-то и штука, что он так ловко виляет словами, что никак не добьешься у него прямого ответа. Я и брат, мы беседовали с ним добрый час, а когда он ушел, так и остались ни с чем! Никаких точек над «и»... Вообще, это преинтересный господин.

— Так отчего бы вам не приблизить его? Во всяком случае, по-видимому, это человек очень сильный, а с таким человеком лучше вести дружбу, чем отвергать его. Мне кажется, он был бы отличным ментором князю Платону. Отчего бы вашему брату не пригласить к себе приезжего иностранца, оказать ему гостеприимство? Крамер мог бы переехать к князю в дом и тогда, я думаю, мог бы руководить им! Вот об этом именно я со своей стороны хотел переговорить с вами сегодня. Подумайте об этом, добрейшая Ольга Александровна!

V

Чигиринский, возвращаясь в Петербург из-за границы под видом доктора Крамера, очень хорошо и обдуманно обставил свое вымышленное имя, что было облегчено ему главным образом тем обстоятельством, что он жил и действовал под этим именем в немецких масонских кругах в Берлине, создавших для него даже высокую протекцию все-сильного министра Гаубвица. Имя Крамера, якобы сына

деятельного члена германского патриотического кружка, тоже было выбрано весьма удачно.

Под таким прикрытием Чигиринский мог жить и действовать в Петербурге спокойно, не боясь ничего, так как никто не мог предположить, что Чигиринский и этот типичный немец Август Крамер — одно и то же лицо.

Он так и рассчитывал сначала стереть с лица земли целиком Чигиринского на все время своего пребывания в Петербурге. Но теперь он крепко задумался о том, не рискнуть ли ему хоть на короткий промежуток снова явиться в своем виде. Это было нужно лично для него самого.

После разговора с Рузей на катке невольно радостно билось у него сердце, и он мысленно переживал в воображении по нескольку раз снова сладкое ощущение, которое испытал при словах Рузи о том, что она любит другого, причем этот другой, несомненно, был он, Чигиринский.

Это прямое признание в устах Рузи было особенно ценно, потому что она не подозревала, что под видом Крамера с ней говорит тот, кого она поминала и звала в своих мечтах. Ощущение было необыкновенное и от этого казалось еще заманчивее, приятнее.

Чигиринскому захотелось во что бы то ни стало со своей стороны сказать Рузе от лица Чигиринского, что он ее любит, впрочем, не столько сказать ей словами, а главное — повидаться с ней без всякой причины.

Само собой разумеется, что нечего было и думать о том, чтобы признаться ей, что под обликом Крамера скрывается он, Чигиринский.

Да это и не нужно было делать, потому что стоило хорошенько подумать, чтобы найти несколько способов достичь желаемого, не рассказывая своей тайны. Он, например, просто-напросто мог назначить свидание Рузе, она не постесняется прийти, но весь вопрос, где назначить свидание.

Наконец Чигиринский после долгого размышления решил поступить так: написать Рузе записку от имени Чигиринского с просьбой самой назначить ему место и время, где они могут увидеться.

Предприятие было рискованное прежде всего потому, что было связано с письменным документом, который мог быть перехвачен или каким-нибудь иным путем случайно попасть в чужие руки. Но Чигиринский чувствовал в себе тот подъем особой удали и легкости риска, который обуревают всегда счастливых любовью людей, сознающих себя в

положении счастья, когда кажется все достижимым и возможным.

Он купил в магазине бумагу, очень похожую на ту, на которой была написана предупреждающая записка Рузи, и, запершись в своей комнате, написал на ней измененным почерком:

«Кто остановил Вашего коня на Неве и кто бережет записку: «Пусть мы больше не увидимся, но как можно скорее уезжайте из Петербурга. Здесь вам угрожает серьезная опасность», — хочет увидеться с Вами. Дайте ему знать, где и когда. Ответ положите под обшивку внутри шляпы доктора Пфаффе».

Затем Клавдий сложил свое письмо и спрятал его в карман, еще сам хорошенько не зная, как передаст его по назначению. Он рассчитывал, что случай, несомненно, должен представиться, и не ошибся в своем расчете.

Старый Рикс опять позвал их к завтраку и, благодаря тому, что день был ясный и солнечный, опять настоял на том, чтобы Крамер проводил дам на каток.

Здесь Рузя, в то время как ей надевали коньки, положила свою муфту на подоконник павильона, где отогревались конькобежцы.

Сунуть письмо в Рузину муфту было делом одной секунды, и притом посчастливилось устроить это так, что она, благодаря царившей в павильоне суматохе, и подозревать не могла этого — ей казалось, что Крамер все время, не переставая, разговаривал с ней.

Когда она с муфтой в руках сошла на лед и, покотившись, спрятала в нее руки, то немедленно нащупала зашуршавшую под ее руками бумагу.

В те времена всевозможных любовных авантур и интриг ловко подсунутая записка молодой девушке или женщине была настолько обычным явлением, что Рузя несколько не удивилась. Тайнственных записочек не получали только очень некрасивые, а для хорошеньких они служили как бы знаком отличия, тем более что решительно ни к чему не обязывали.

Рузя взглянула мельком на катившегося рядом с ней Крамера, и его степенно-серьезная и даже до некоторой степени важная фигура, конечно, застраховала его от всяких подозрений. Да, собственно говоря, ему и незачем было подсовывать записочки, потому что он один на один в толпе катался с ней и мог совершенно свободно сказать все, что хотел, не прибегая к тайнственности подметной почты. Совершенно ясно было, что записочку подсунул один из

тех полужнакомых молодых людей, которые — Рузя знала это — вздыхали по ней и катались в оживленной веселой толпе на катке.

— Скажите, пожалуйста, господин Крамер, можете ли вы при помощи вашего искусства ясновидения узнать, где теперь находится кто-нибудь отсутствующий?

— Для этого я должен, во-первых, знать имя этого отсутствующего, а во-вторых, все-таки иметь какое-нибудь о нем понятие.

— И для этого вам надо опять смотреть в стакан с водой?

— Опять-таки это зависит от разных условий: иногда на чистом, свежем и ясном воздухе, как, например, сегодняшний, я могу увидеть без всякого стакана.

— Так что вы можете, пожалуй, ответить мне, если я вас спрошу сейчас?

— Спрашивайте.

— Хорошо. Где теперь находится тот молодой человек, которого вы видели тогда за завтраком, гадая, что он будто бы танцевал со мной?

— Я могу это сказать вам лишь в том случае, если вам очень хочется это знать. Мне непременно нужен флюид вашей воли.

— Да, мне очень хочется знать, где он.

— Он в Петербурге, ближе от вас, чем вы думаете.

Рузя, говорившая до сих пор с большой серьезностью, вдруг звонко расхохоталась и победоносно воскликнула:

— Вот и ошиблись, господин Крамер! Могу вас уверить, что этот молодой человек находится далеко отсюда, он где угодно, только не в Петербурге.

— Очень может быть, что я и ошибаюсь, — усмехнулся, в свою очередь, Крамер. — Мало того, я даже скажу, что очень был бы рад, если бы действительно он был далеко. Но, к сожалению, я все-таки должен настойчиво повторить, что он в Петербурге!

— Почему же «к сожалению»?

— Потому что вы интересуетесь им.

— А вас это задевает?

— Что делать! Ведь мы держим с вами пари, что я должен заинтересоваться вами.

— Разве? Впрочем, что же дальше?

— Дальше?.. Кажется, я начинаю это пари проигрывать.

— Да не может быть! Так скоро!

— Кажется, приходится сознаться, что да.

VI

После катанья Крамер проводил Рузю с матерью до дома, где ждал его Пфаффе в приятном разговоре с Риксом. Он не без важности тоже принял участие в разговоре и, посидев некоторое время, ушел вместе с доктором.

Дома при первой возможности Чигиринский осмотрел шляпу немца и за подшивкой нашел маленький клочок бумаги с надписью:

«Маскарад князя Троекурова. Наденьте голубой польский костюм с белым бантом на плече. Стойте у дверей в зимний сад».

Оказалось, Рузя решила вопрос о месте свидания до гениальности просто.

Близились святки, когда в Петербурге каждый из вельмож, живших открытым домом, считал своим долгом устроить маскарад, одно из любимейших развлечений XVIII века. Выдумка Рузи была тем более удачна, что в маскараде, согласно обычаю, допустима была непринужденность общения и Чигиринский мог скрыть свое лицо под маской, так что ему не приходилось выставляться напоказ.

Князь Троекуров был одним из тех богачей, которые не гонятся за чинами и проживают свое состояние, воображая, что на его век хватит.

Таких бар создавалось много в роскошный екатерининский век, когда задавал тон великолепный князь Тавриды. Все они в конце концов разорились и потомкам своим не передали ничего, кроме долгов, а имени своего не сохранили в истории.

Да, в Петербурге того времени был известен князь Троекуров, и его дом на Фонтанной, великолепно отделанный, служил местом веселых празднеств и пиров, которые с большим искусством и радушием устраивал гостеприимный хозяин.

Чигиринский под видом Крамера отправился к Проворову и потребовал от него достать на свое имя приглашение к Троекурову и дать на этот вечер свою карету и выездных гайдуков.

Все эти хлопоты были сущие пустяки, и на святках, в день троекуровского маскарада, Крамер, переехавший уже к этому времени к Зубову, явился вечером в дом Проворова и там, переодевшись в нарочно заказанный атласный голубой польский костюм, в карете Проворова, сопровождаемый его гайдуками, убежденными, что они везут на маскарад своего замаскированного хозяина, отправился к Троекуро-

ву. Чигиринский надел голубую же атласную маску с густым и длинным шелковым кружевом, так тщательно скрывавшим его подбородок, что нельзя было рассмотреть его лица.

Он нарочно приехал не к самому съезду, а так, чтобы войти, когда на маскараде уже будет значительная толпа, в которой можно было бы затеряться.

В большом зале уже начались танцы, а по ряду гостиных и по галерее вдоль зала ходили отдельные парочки, пользуясь маскарадной свободой.

Чигиринский легко нашел в конце этой галереи большую стеклянную дверь, отворенную в зимний сад, лучший во всем Петербурге и по размерам, и по устройству, и по находившимся в нем растениям. В противоположность яркому свету от множества свечей, заливавшему зал и гостиные, зимний сад был освещен таинственными полутонами разноцветных фонариков, и один только каскад блистал и искрился, освещенный каким-то почти волшебным образом.

Чигиринский, обойдя все комнаты, встал у дверей в зимний сад и терпеливо ждал. Мимо него проходили пары и изредка одиночные мужские маски. Он всматривался, стараясь угадать очертания фигуры Рузи, как вдруг сзади его ударили веером по плечу. Он оглянулся и увидел польку в голубом же, под пару ему, костюме.

Голубой цвет — польский национальный, и потому было весьма естественно, что польские костюмы были голубые.

— Что, поляк, — проговорила полька, — тебе не бывает холодно, когда ты стоишь посреди Невы?

Чигиринский должен был сознаться, что не узнал бы Рузи под маской, — так она была искусно одета, если бы она не подала голоса и не сделала этого намека на их первую встречу посреди Невы, когда ее несла лошадь.

— Не только не холодно, — ответил он, — но порой и очень жарко, когда мчится конь, которого надо остановить.

— Дай мне руку и пройдемся, — сказала маска. — А ты можешь остановить лошадь?

Они пошли под руку по галерее, минуя зал.

— Раз мне случилось остановить! — проговорил Чигиринский. — А ты, полька, танцуешь краковяк?

— Еще бы! Какая же полька не танцует!

— А записочку написать можешь?.. И спрятать ее...

— Немцу в шляпу!

— Да, теперь я вижу, что вы — та, которую я ждал!

— Но я еще не уверена, что я говорю с тем, кого искала.

Чигиринский прошептал, едва шевеля губами:

— «Пусть мы больше не увидимся, но как можно скорее уезжайте»...

— Довольно! Довольно! — остановила Рузя. — Как вы могли догадаться, что эта записка пришла к вам от меня? Впрочем, все равно! Но только больше ни слова об этом; вы мне должны поклясться, что не станете напоминать. Если узнают, что вы были предупреждены мной, мне несдобровать! Это надо забыть так, как будто этого не было.

— Напротив, я именно хотел спросить у вас: как вы узнали о предстоящей мне опасности и решились предупредить меня?

— Говорю вам, не надо вспоминать об этом! Могут услышать. Все, что я могу сказать вам, вот: я узнала случайно! Потом, когда пройдет время, я расскажу, а сейчас лучше удовлетворите мое любопытство и скажите, как попала ваша записка ко мне в муфту?

— Ну, это очень просто: я пришел на каток переодетым и подсунул мое письмо в то время, когда вы разговаривали с каким-то немцем, с которым потом катались.

— Ах, этот немец — странный человек! Вы знаете, он — ясновидец и в последний раз сказал мне, что вы здесь, в Петербурге. Я не хотела верить, как вдруг прихожу домой, а в муфте у меня записка от вас. Я просто начинаю бояться его! Одно средство — приручить его, чтобы он был не врагом, а другом!

Они повернули назад по галерее и теперь входили в зимний сад.

— Как тут красиво! — невольно вырвалось у Рузи.

— Да, очень! — согласился Чигиринский. — Знаете, войдемте в один из гротов!

— Отчего же, войдем! Там нам никто не мешает, и вы можете на минуту снять маску. Я хочу видеть ваше лицо, чтобы посмотреть, изменились ли вы или остались таким же, каким были три года назад.

Они выбрали один из гротов в самом конце зимнего сада и вошли в него.

VII

Грот слабо освещался лишь через входное отверстие рассеянным светом разноцветных фонариков из зимнего са-

да. Нужно было, чтобы глаза привыкли, для того чтобы разглядеть что-нибудь.

Рузя сняла маску и потребовала, чтобы Чигиринский сделал то же самое. Он, охотно подчинясь ее требованию, тоже открыл лицо, и она, вглядываясь, приблизилась к нему, так что он увидел ее большие выразительные глаза совсем возле себя.

— Да, — прошептала она, — совсем такой, каким я помню! Ни капельки не изменившийся! — Она осмотрелась и, разглядев теперь внутренность грота, заметила, что в нем была еще совсем темная ниша со скамейкой, покрытой зеленой подушкой, словно она была сделана из дерна, и предложила: — Пойдемте сюда, здесь совсем укромно!

Они сели на скамейку, держась рука об руку.

— Так вы приехали в Петербург, чтобы повидать меня, и не боитесь никакой опасности? — спросила Рузя.

Хотя Чигиринский и не говорил ей, что именно ради нее только явился в Петербург и, очевидно, она сама себя уверила в этом, но он не счел нужным противоречить, потому что в эту минуту чувствовал себя вполне способным пойти на всякую, даже смертельную опасность, чтобы повидаться с Рузей. Он так и выразил это словами:

— Я ничего не побоялся бы, чтобы видеть вас.

— Но неужели вы не можете сделать так, чтобы уничтожить опасность? А то ведь нельзя же так жить! Ну, хорошо, вы ездили за границу! Но ведь ваши враги могут вас и там найти!

— Ну уж не совсем-то они так всемогущи! Да и не из боязни я уехал из Петербурга. Это было только одно к одному. У меня были дела неотложные и очень важные.

— Значит, вы вернулись тоже для дел?

— Да, и для дел тоже. Я не могу вам лгать, что я приехал сюда для вас одной.

— Должно быть, это очень важные дела, что вы рискуете ради них показываться в Петербурге, где вас подстерегают!

— Положим, в Петербурге я показываюсь в чужом виде, и даже вы не узнали меня на катке, а в своем виде я появился сегодня только ради вас!

— И не побоялись мне открыться?

— Как видите, нисколько.

— Ну а если я предательница?

— Полноте, какие пустяки!

— Ну, конечно, пустяки! — согласилась Рузя, и они замолчали.

В это время в грот вбежала впопыхах еще одна пара и остановилась, ослепленная темнотой, явно не видя сидевших в нише Чигиринского и Рузю. Затем они сняли свои полумаски и наспех поцеловались.

На освещенном пространстве входа в грот ясно обрисовывались их профили, и Чигиринский узнал в молодом человеке кого-то, как будто виденного им раньше. Ему что-то очень знакомое напомнил этот профиль. Но где он видел его? А что он его видел, было несомненно, и притом при каких-то не совсем обычных обстоятельствах.

Поцеловавшиеся заговорили шепотом быстро-быстро.

— Послушай, я не могу так! — сказал он. — Мы точно у кого-то воруем наше счастье и должны искать случайных темных закоулков, тогда как я имею полную возможность прийти и сделать тебе предложение! Скажи, пожалуйста, чем я не жених?

— Погоди! — ответила она. — Только не сейчас, не теперь! Дай улечься этой истории со сватовством Зубова.

— Так это правда? Тебя хотят выдать за Зубова?

— Не меня выдать хотят, а его женить на мне.

«Князь Манвелов!» — вспомнил Чигиринский, узнав наконец молодого ротмистра Конного полка, который был в карауле дежурным в Зимнем дворце, когда он проник туда, чтобы положить на печку в караульном помещении документы о масонах.

— Если так, то я вызову Зубова на дуэль! — решил Манвелов. — Поссорюсь с ним и вызову!

— Постой, погоди, глупый!.. Зачем такие крайние меры? Успеем еще! А пока надо подождать... только ведь подождать! Из этого сватовства ничего не выйдет, я тебе говорю. Его нечего бояться! Разве пока нам нехорошо так? — И собеседница князя, охватив его шею руками, притянула к себе, и они снова поцеловались.

Поцелуй был такой долгий, захватывающий, что Чигиринский как-то бессознательно поднял руки и обнял Рузю, увлекшись примером. Он коснулся ее щеки губами, но сделал это так тихо и осторожно, что влюбленные в гроте, к тому же увлеченные самими собой, ничего не заметили. Рузя отстранилась, сопротивляясь, но, боясь обнаружить себя, не сделала резкого движения. Чигиринский прижал ее крепче.

Наконец влюбленные разошлись, торопясь на люди, чтобы не было заметно их отсутствие из зала. Они надели свои полумаски и убежали.

Рузя тоже вырвалась.

— Это ни на что не похоже! — сказала она, притворяясь сердитой. — Пользоваться безвыходным положением! Вас бы за это следовало оставить здесь одного в наказание!

Чигиринский сидел, опустив голову, и очень виновато, но вместе с тем блаженно улыбался во весь рот.

— Ну, надевайте вашу маску, — скомандовала Рузя, — и пойдемте бродить по залам! Здесь, в гроте, с вами оставаться опасно.

Он послушно надел маску.

Рузя протянула ему руку.

— Когда же мы увидимся? — спросила она.

— Чем скорее, тем лучше! Завтра?

— Завтра? Но где?

— Хотя бы на катке. Кто нам там помешает увидеться?

— Вы будете переодеты?

— Зачем? Я явлюсь в обычном виде. Никто на меня не обратит внимания.

— Нет, ни за что! Я этого не хочу и не допущу! Нет, уж оставим лучше до следующего маскарада! Следующий маскарад через три дня у Яковлева, там будет весь город. Наденьте опять сегодняшний костюм и приезжайте туда. Мы там будем без дяди, а сегодня он тут и мешает мне. Но обойдемте залы и расстанемся, а то могут обратить внимание.

Они пошли, и когда попали в большой зал, там играли краковяк, и пары, притопывая, танцевали с увлечением.

— Вот маленькая графиня Кутайсова со своим кавалером! — показала Рузя на Коломбину и Пьеро, которых они видели в гроте.

Те танцевали с большим увлечением.

— А разве это графиня Кутайсова? — спросил Чигиринский.

— Да, это дочь всесильного теперь Кутайсова. Он вышел из камердинеров императора в графы, а теперь делает в Петербурге погоду. А ее кавалера я не знаю.

— Это конногвардейский офицер князь Манвелов. Его я знаю! — сказал Чигиринский.

Они стояли в первом ряду образовавшегося вокруг танцующих круга, и Рузя, разговаривая, помимо своей воли стала притопывать в такт. Чигиринский взял ее за талию, и они пошли танцевать, весело отдаваясь ритму музыки.

Когда кончился танец, они расстались еще не скоро. Им казалось, что они прошли один только раз по комнатам, а на самом деле они гуляли и разговаривали так долго, что Рикс, одетый в старинный красный бархатный жупан поль-

ского магната, найдя голубой атласный костюм племянницы, стал присматриваться, с кем это она в паре, стараясь угадать, кто этот одетый ей под стать голубой поляк, с которым она не расстанется весь вечер. Рузя заметила, что дядя следит, и, сказав о том Чигиринскому, простилась с ним и направилась прямо к Риксу.

— Дядя, — сказала она, — поедem домой, скучно!

— Скучно, потому что ты ходила все с каким-то одним. Ты знаешь, кто этот поляк, гулявший с тобой?

Рузя увидела, что дядя не спускал с нее взора весь вечер, и, чтобы избежать дальнейших расспросов и каких бы то ни было подозрений, решила солгать, чтобы успокоить старика.

— Не знаю! — ответила она. — Но мне кажется, что это господин Крамер...

Она знала, что благоговевший к Крамеру дядя будет очень рад, что она ходила с ним.

— А разве господин Крамер должен был быть на маскараде?

— Отчего же ему не быть тут! — ответила, стараясь быть как можно наивнее, Рузя. — Запретить это ему никто не может! Впрочем, наверное я не ручаюсь, но кажется мне, что это был он. По крайней мере, я не могла от него отделаться.

— Зачем же тебе было отделяться, если это действительно был господин Крамер? Ну, хорошо, теперь я его поддразню — так прямо и скажу, что мне все известно, что он был на маскараде.

И, нахмурившись было, Рикс развеселился и рассмеялся добродушным, поощрительным смехом.

VIII

В дом Зубова Крамер переехал по настоянию самого князя Платона и Ольги Александровны Жеребцовой.

Дом был небольшой, но вместительный. Крамеру отвели две отдельные комнаты — спальню и кабинет, где он мог, когда хотел, уединиться.

Он не вошел в жизнь князя Зубова как свой или близкий человек и отделил свое существование от распорядка, установленного у князя. Являлся он к нему каждый раз по приглашению, только когда его звали, и настоял на том, чтобы обыкновенно ему подавали завтрак и обед, когда он был дома, в его комнату. Когда же ему приходилось бывать

у Зубова, он приходил к нему со шляпой в руках, как человек, только что приехавший, а не свой, домашний.

Однако Зубов неизменно приглашал его, какое бы маленькое, келейное собрание у него ни было. На эти собрания являлись по преимуществу одни и те же лица: брат Зубова Валериан, его сестра, Беннигсен и еще несколько человек, составлявших как бы свой, один кружок.

При ближайшем с ними знакомстве становилось ясно, что никакой общности жизненных интересов у них не было, но тем не менее казались они связанными. Соединяла их одна какая-то мысль, которую они не высказывали. Но было несомненно, что они держали нечто на уме, говорили полунамеками, значительно покачивали головами, подымали брови и вели себя так, как будто прекрасно понимали друг друга без лишних слов.

Тон и направление давал граф Пален. Съезжались большей частью для карточной игры и, посидев некоторое время за ломберными столами, оставляли карты и шли ужинать, а за ужином-то и начинались разговоры.

Однажды Пален приехал крайне недовольный, даже рассерженный, прямо к ужину, который не подавали в ожидании его. Он принялся есть молча, и кругом все притихло, не желая мешать ему высказаться.

— Нет, это невероятно! — начал, наконец, Пален, будто продолжая вслух ход своих мыслей. — Это невозможно! Дело дошло до того, что мы накануне войны с Пруссией.

— Да не может быть! — слышалось с разных сторон.

— Да! От короля требуют почти невозможного и невероятного. — Пален говорил просто про «короля», как будто всякий должен был знать, что это прусский король и никого другого он не хотел величать этим титулом. — Совершенно невероятные вещи, — повторил он. — От него требуют, чтобы он занял своими войсками Ганновер; и притом в угоду Франции и ее первого консула... этого Бонапарта или как там его зовут... Как будто король сам не знает, что ему нужно занимать своими войсками!

— Но ведь это равносильно объявлению войны Англии со стороны Пруссии! — сказала Жеребцова.

— Ну, разумеется! — со значительным видом протянул князь Платон Зубов, желая своим уверенным тоном показать, что недаром при Екатерине ведал всеми дипломатическими делами.

— Пруссия чего хочет? — продолжал Пален. — Она хочет пользоваться миром и увеличивать свой рост. Ей надо быть сильной и здоровой, и потом, нельзя требовать от

короля, чтобы он пускался на какие-то бессмысленные авантюры ради каких-то общих комбинаций. А мы между тем требуем, чтобы он лез ни с того ни с сего против Англии!

Это «мы» было произнесено с таким презрительным подчеркиванием, точно «мы» были так уж глупы, что ничего другого от нас и ожидать нельзя было.

— Сумасшествие! — пожал плечами Беннигсен.

— Вот именно! — подхватил Пален. — Прямое и определенное сумасшествие! Пора наконец положить этому предел! Дальше так идти не может: нельзя допустить войну с Пруссией! Подумайте, сколько жизней ни с того ни с сего загублено будет зря! Надо остановить, чего бы это ни стоило и какие бы средства ни пришлось принять для этого.

— Я давно говорю, что надо перейти к делу! — вскидывая голову и подымая брови, проговорил Платон Зубов. — Надо спасать Россию! А то мы все собираемся, разговариваем и так на этих разговорах и останавливаемся! Когда-нибудь надо же начать и сделать.

— Когда хотя бы сделать яичницу, надо начать с того, чтобы разбить яйцо, — произнес значительно Валериан Зубов.

— А хватит ли на это решимости? — сильно понизив голос, с расстановкой произнес Пален.

— Да! Хватит! Должно хватить, — вдруг, воодушевляясь, ударил по столу князь Платон.

Пален протянул в его сторону бокал с вином и громко, поощрительно сказал:

— Ваше здоровье, князь!

Кругом зашумели, а Пален, держа бокал в высоко поднятой руке, перекрикивая всех, провозгласил:

— За исполнение нашего общего желания!

За ужином много пили, и Платон Зубов, почти совсем пьяный, закричал:

— По-моему, нужно назначить просто-напросто день — и затем точка, *punctum*.

Пален казался воодушевленным, как никогда, глаза его блеснули, и он остановил Зубова размеренно-рассудительным голосом:

— Дайте немного времени — и мы назначим день, он близится, но еще не настал.

— Мартовские иды опасны для Цезаря, — произнес чей-то голос так, что все слышали, и пояснил: — Так говорили римляне...

— Что же, март месяц близко: он почти у нас на носу! — согласился Пален.

— Да! Чтобы сделать яичницу, надо сломать яйцо, — повторил по-французски Валериан Зубов, видно, понравившееся ему выражение, — и без того обойтись нельзя!.. Что хотите, а без этого обойтись нельзя...

IX

После этого ужина Чигиринский, присутствовавший на нем под видом Крамера, пришел в отведенную ему комнату в таком подавленном состоянии, в каком никогда не был.

Он отлично понимал, что разговор за ужином был не шутка, не пустословие и вовсе не случайность. Ясно было, что создавался заговор в полном смысле этого слова и участники его, по-видимому, были настолько подготовлены, что окончательное решение могло назреть со дня на день. Этого никак не ожидал Чигиринский, он не мог допустить, что дело зашло так далеко.

В настоящее время расстроить созревавший замысел представлялось почти невозможным, потому что он был подготовлен и организован довольно тщательно. Надо было действовать, не теряя времени; значит, оставалось только одно средство раскрыть этот заговор — указать на него.

Но тут возникала новая цепь неразрешимых вопросов. Кому указать? Каким образом? И какие привести доказательства, чтобы поверили этому указанию? О заговоре по своему положению должен был первым узнать граф Пален в качестве военного генерал-губернатора, но к чему же это поведет, если сам же граф Пален — руководитель всего дела и ведет его с безошибочным расчетом, пуская в ход все имеющиеся средства, которые дает ему его власть?

Оставалась еще одна только возможность предотвратить назревавшее злое дело, раскрыв заговор самому государю. Чигиринский, пользуясь силой внушения, мог бы, конечно, проникнуть во дворец, как он уже сделал это один раз, но как ему предстать перед государем с обвинением самого приближенного, всесильного человека? Если бы были еще в руках какие-нибудь вещественные доказательства, которые можно было бы представить, тогда другое дело! Но так, на словах, разве может поверить государь совершенно незнакомому ему чужому человеку, неизвестно как проникшему во дворец?

Однако, теряясь в предположениях и догадках, Чигиринский внутренне, в глубине души, был как-то невозмутимо спокоен, твердо уверенный, что раз нужно, чтобы что-либо было сделано, то сделано будет. Он чувствовал в себе достаточно силы, чтобы найти нужный исход, и знал, что найдет его.

На другой день утром князь Zubov потребовал к себе Крамера, и, делать нечего, Чигиринский пошел к нему, несмотря на усталость после ночи, проведенной им почти без сна от не дававших ему покоя мыслей.

Он застал Zubova за туалетом, который тот производил по привычке так же долго и кропотливо, как и в бытность свою фаворитом. Князь сидел перед зеркалом в пудермантеле, и два парикмахера возились около него. Все было, как прежде, с той только разницей, что прежде во время его туалета в соседней приемной толпились вельможи и вся петербургская знать, считавшая за честь быть допущенной в уборную во время туалета, а теперь один Август Крамер пришел, да и то не с очень довольным видом.

Он вошел, сел, не очень стесняясь, у окна, близко к Zubovu и спросил:

— Вы меня звали? Чем могу вам служить?

Сказано это было таким определенным и серьезным тоном, что Zubov счел своим долгом проговорить с любезностью:

— Если я вас отвлек от занятий, пожалуйста, извините меня! Но я хотел спросить по поводу вчерашнего разговора за ужином...

Крамер слушал, пристально глядя на Zubova, терпеливо ожидая, что будет дальше.

— Я хотел спросить, — продолжал Zubov, — относительно Ганновера... То есть я, конечно, знаю все относительно Ганновера, ведь я заведовал коллегией иностранных дел, но все-таки, может быть, я что-нибудь забыл и хочу возобновить в памяти. Вам, вероятно, это все известно. Скажите, пожалуйста, почему если пруссаки займут Ганновер, как мы совершенно неосновательно потребовали от них, то это будет неприятно Англии?

«Только это?» — подумал Крамер, ожидавший было, что Zubov коснется вчерашнего разговора по существу, и стал объяснять:

— Дело очень несложно: ганноверский курфюрст Георг Людвиг, умерший в 1727 году, был сыном курфюрстерины Софии, родной внучки Иакова I, короля Англии. Эта кур-

фюрстерина была объявлена в 1701 году наследницей престола Великобритании и Ирландии, а от нее ее права на английское наследие получил курфюрст Георг Людвиг. После смерти английской королевы Анны он взшел на английский престол, и курфюршество Ганновер вступило с Англией в личную унию.

— Вот оно что! — подхватил Зубов, показывая этим восклицанием, что все это было для него совершенно ново. — Впрочем, все эти имена ужасно легко вылетают из головы! Но что вы, собственно, называете личной унией?

— А то, что Георг Людвиг, оставаясь курфюрстом ганноверским, стал королем английским под именем Георга Первого. Он переселился в Англию, а в Ганновере назначил наместника, в помощь которому учредил тайный совет. Сын его, Георг Второй, оставил все это, как было, и наезжал в Ганновер на некоторое время погостить. Теперешний английский король Георг Третий живет постоянно в Англии, а управление Ганновера всецело предоставил наместнику, или штатгальтеру, как его называют, и тайному советнику.

— Так что, в сущности, Ганновер — вассальное государство Англии? — спросил опять Зубов.

— Нет! Во время войны Французской республики, образовавшейся после революции, Георг Третий присоединил ганноверские войска, тысяч шестьдесят человек, к англо-нидерландскому войску в Бельгии. Затем, по Базельскому миру, в 1795 году Ганновер был причислен к нейтральной области Германии.

— Ну да! Разумеется, все это я знал! — заявил без смущения Зубов. — Но только я вот чего не понимаю: отчего же Пруссия не хочет занять Ганновер, если он нейтральный, и отчего требовать это нелепо с нашей стороны?

Чигиринский как бы махнул рукой на Зубова, видя, что если продолжать объяснения, то не избежать новых и новых расспросов, и поспешил окончить разом:

— Да ведь вы же слышали, вчера граф говорил, что Пруссия не желает воевать. Ну, и все тут!

Этот довод показался Зубову очень убедительным.

— Да, тогда конечно! — согласился он. — Но какая это трудная вещь — политика! Так это все путается, что просто нет возможности разобраться во всех этих тонкостях. Я знаю только одно, что у нас идет все скверно, из рук вон плохо, и надо быть решительными. Чтобы вышла

яичница, надо расколоть яйцо... вот! — заключил Зубов, очень довольный своей деловитостью и серьезностью.

Он был уже причесан, и Крамер поднялся, чтобы уйти. Зубов его не задерживал.

X

Во время разговора с Зубовым Чигиринский с пристальным вниманием присматривался к нему, стараясь распознать, окончательно ли глуп этот человек или можно еще с ним толково и разумно поговорить и наставить его.

Теперь Чигиринский убедился, что Зубов был лишен всякого смысла и был годеи лишь на то, чтобы действовать, направленный чужим влиянием, если это влияние ловко попадет в жилу его упрямства, которым он обладал в высшей степени, как все ограниченные люди. Пален знал хорошо, что делал, постаравшись получить в Петербурге князя и его брата.

Зубов уже послужил орудием для Чигиринского и, кажется, ему приходилось волей-неволей вывести заключение, что и на этот раз Зубов был единственным человеком, которого он может употребить как орудие для сношения с дворцом.

Первое, что пришло в голову Чигиринскому, — употребить свою силу внушения над слабовольным князем Платоном и заставить его бессознательно служить орудием раскрытия заговора.

Но эта мысль только мелькнула, и Чигиринский понял сейчас же всю несуразность приведения ее в исполнение. Во-первых, внушение имеет свои пределы, и нельзя заставлять человека, даже усыпленного гипнотическим сном, чтобы он говорил или делал что-нибудь противное его собственному существу, например донес на себя, как это требовалось в данном случае. Во-вторых, нужно было, чтобы Зубов при разговоре с государем не повторил в состоянии лунатизма подсказанных ему заранее слов, а рассуждал более или менее сознательно, отвечая на вопросы, которые, несомненно, мог ему предложить государь.

Чигиринский решил применить испытанное им уже средство, якобы появление свое с того света, тем более что теперь проделать это ему было легче, как жившему в одном доме с Зубовым.

Он съездил к Проворову и достал свой старый конно-гвардейский мундир.

«Маскарад так маскарад», — решил он, вешая в шкаф свой мундир с голубым, отороченным лебяжьим пухом костюмом поляка.

Обедал он у Проворова, а к вечеру вернулся домой и погрузился в своей комнате в занятия над книгами.

Лакей принес вечерний чай в комнату, и Чигиринский спросил его, дома ли князь.

Чигиринский, отпустив его, пошел в парадные комнаты, к кабинету Зубова, там ему нужно было сделать небольшие приготовления. Он знал, что Зубов долго в гостях после обеда не любил оставаться и что он, вернувшись домой, непременно пойдет, по своему обыкновению, в кабинет, зажжет там свечи и предастся своему любимому занятию — пересыпанию в шкатулке самоцветных камней. Князь Платон стал проделывать это теперь, запирая дверь на ключ, и потому Чигиринскому понадобились приготовления.

Вернувшись к себе в комнату, Клавдий оставил дверь в коридор отворенной и, делая вид, что углублен в чтение, прислушивался к звукам, доносившимся к нему по коридору, начинавшемуся от парадной лестницы.

На лестнице послышалось движение — приехал Зубов.

Затем по отдельным шорохам, а также шагам и отрывочным словам лакея в коридоре можно было, зная распорядки дома, отлично представить себе все, что делалось. Зубов прошел в уборную, надел халат и, шлепая туфлями, проследовал в кабинет. Один из лакеев, почувствовав себя на свободе, щелкнул языком в коридоре, дворецкий сделал свой обход по комнатам и потушил лампы; на лестнице умолк говор гайдуков, они отправились, как это всегда делалось, в лакейскую играть в карты — и в доме воцарилась такая тишина, что слышно было, как бегают мыши: слышно было, как одна пробежала по коридору, словно там прокатилось что-то. Когда люди затихают, пробуждаются мыши, как верный признак, что люди не нарушат покоя жилища.

Чигиринский, заперев свою дверь, быстро переоделся и, вернув своему лицу природный его вид, стал прежним ротмистром Конного полка екатерининских времен Чигиринским. Затем он неслышно подошел к двери кабинета.

XI

Убедившись, что дверь заперта и что, судя по свету в замочной скважине, Зубов находился действительно в кабинете, Чигиринский был рад, что заранее принял меры и приготовился.

Его приготовление заключалось в том, что он отомкнул обе щеколды, и внизу и вверх, на той створке двустворчатой двери кабинета, которая закреплялась ими, так что, когда замок на другой створке был заперт, то он, если толкнет дверь, не удерживал ее, а обе половинки подавались вперед и растворялись. Чигиринскому стоило только нажать ручку и пихнуть слегка дверь — и она растворилась совершенно бесшумно, потому что и замок, и петли ее были хорошо смазаны.

Зубов сидел, как и следовало ожидать, за столом с зажженными канделябрами и пересыпал драгоценные камни. Чигиринский неслышно подошел к нему по ковру, и тот, инстинктивно почувствовав постороннее присутствие, поднял глаза и обомлел; рука у него дрогнула, и камни рассыпались на стол.

— Ты?.. Ты опять?.. Опять ты?.. — бессвязно и нелепо повторял он.

— Тише! — остановил его Чигиринский. — Зачем шуметь? Все равно это ничему не поможет!

Зубов вскочил и кинулся к широкой ленте сонетки, спускавшейся по стене, и дернул ее. Однако эту ленту Чигиринский предусмотрительно подрезал, так что конец ее остался в руках Зубова. Князь беспомощно и растерянно смотрел теперь перед собой, беспорядочно размахивая руками.

— Да будет тебе, перестань! — даже несколько возвысил голос Чигиринский. — Разве я при первом своем появлении сделал что-нибудь такое, что тебе следует меня бояться? Кажется, напротив, кроме пользы ничего для тебя не вышло!

Зубов, услышав эти рассудительные слова, как будто немного пришел в себя. Он сел на первый подвернувшийся стул у стены и проговорил:

— В самом деле, ты тогда замечательно посоветовал! Но, знаешь ли, только теперь уйди или исчезни! Все-таки лучше, когда тебя нет! А то и запертые двери на тебя не действуют, и сонетки рвутся!

На недалекого Зубова появление Чигиринского через запертую дверь и эта обрвавшаяся сонетка подействовали потрясающим образом.

— Чего же ты, дурак, меня боишься, если я не сделал тебе ничего плохого? Положим, я — привидение, но ведь привидение, очень хорошо сохранившееся, доброе старое привидение, и больше ничего!

— А ты, Ванька, остался все такой же шутник! — попробовал усмехнуться Зубов, называя Чигиринского просто Ванькой, как звали его когда-то товарищи по полку.

— Ну, вот так-то лучше! — одобрил Зубова Чигиринский, стараясь придать ему смелости. — Ты теперь слушай, и будем говорить разумно! Видишь ли, согласишься, что с того света по пустякам люди не приходят! И если я явился к тебе как доброе приведение, то, значит, имею на это веские причины. Ты уже мог убедиться, что в первый раз я к тебе не зря пришел, и все мои указания подтвердились.

— Да, точь-в-точь как по писаному! — произнес Зубов, все еще робея и с трудом ворочая языком.

— Ну, так вот ты опять должен отправиться во дворец...

— Сейчас? — спросил покорно Зубов.

— Нет! Сегодня никакой поспешности не нужно. Можешь сделать это завтра или даже в течение трех дней, но не позже. Однако если отложишь долее трех дней, то помни, что ослепнешь и лишишься языка, а нос у тебя станет сизый и его раздует, как дулю!

Красивое лицо Зубова приняло плаксивое, несчастное выражение.

— Но ведь это же ужасно! Что же я буду делать слепой, без языка и с сизым носом? — воскликнул он.

— Тогда в течение ближайших трех дней поезжай к государю и доложи ему о заговоре, который злоумышляет граф Пален и в котором ты с братом принимаешь участие.

— Я... я... я... — Зубов заикнулся и с трудом выговорил: — Не принимаю... никакого заговора!..

— Послушай, Зубов! Ты, как умный человек, рассуди! Отнекиваться тут нечего — ты видишь, я знаю все так же хорошо, как и ты сам! Из-за того, что вы не назвали всего должными словами, еще не следует, что вы не понимаете того, что намереваетесь сделать. Ну, хорошо, Пален — немец и готов жертвовать своей головой ради пользы своего отечества...

— Я тоже готов пожертвовать, — выговорил Зубов, видимо еще не понимая хорошенько значения своих слов.

— Да ради чего готов ты жертвовать? Ведь отечество Палена — неметчина, ну, он и готов рискнуть, чтобы

уничтожить противное течение прусской политики и сбегать Пруссию от войны. Ну а ты-то ради чего будешь стараться? Конечно, если ваш план удастся, ты можешь получить крупную выгоду, хотя и то едва ли... Ну а если не удастся? Если кто-нибудь другой, а не ты, предупредит государя? А ведь это очень и очень может случиться... Уж будто ты так доверяешь тому же Палену? А что, как все это — только вызов с его стороны, чтобы подвести вас всех? Теперь и разбери: с одной стороны — у тебя риск получить не совсем верную выгоду или быть повешенным, а с другой — если ты откровенно расскажешь государю о заговоре, тебе, наверное, без всякого риска предстоят такие милости, которых ты не имел и при покойной государыне! Кажется, тут и выбирать нечего. А кроме всего этого я тебе опять говорю, как тот раз: послушайся меня беспрекословно! Слышишь? Я так хочу!

И Чигиринский неожиданно повернулся и ушел в дверь так, что Зубов, как ему показалось, и моргнуть не успел.

Когда он опомнился, Чигиринский был уже в комнате Крамера, крепко заперев свою дверь на задвижку.

Он был вполне доволен всем происшедшим и не сомневался, что на Зубова, судя по его натуре, все, что он сказал ему, должно было подействовать. Риска здесь никакого не было. Самое большее, что Зубов мог испугаться и никуда не поехать, тогда пришлось бы изобрести какое-нибудь другое средство.

Во всяком случае, нужно было привести себя опять в вид Августа Крамера.

По начавшемуся опять движению в доме Чигиринский понял, что Зубов поднял тревогу, но это его не беспокоило, потому что в его комнату никому не пришло бы в голову войти, так как, конечно, никто не мог предположить, что ученый немец может явиться в образе умершего русского офицера. Однако самому Чигиринскому нужно было немного разобраться во всем этом, и он решил пойти завтра к Проворову и поговорить с ним.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

На другой день Зубов не выходил из своей спальни; оказалось, он не спал всю ночь, заболел и никуда не хотел выходить и никого видеть.

Он боялся теперь оставаться один в комнате и требовал, чтобы кто-нибудь сидел возле. Лучше всего было бы, чтобы сидел возле него Крамер, но, когда князь спросил о нем, ему доложили, что немец ушел с самого раннего утра и сказал, что до вечера не вернется.

Чигиринский ушел нарочно, потому что знал, что Зубов после вчерашнего непременно потребует его к себе, а он вовсе не хотел допускать такую близость и баловать капризного князя своим присутствием. Поэтому он с утра отправился, неизменно в образе Крамера, к Проворову, где мог отдохнуть с сестрой и зятем, не разыгрывая никакой роли, и поговорить откровенно. Впрочем, ему не столько надо было рассказать Проворову о своих делах или спросить у него совета, сколько хотелось своим рассказом привести самому для себя события и обстоятельства к более строгой последовательности и стройности.

— Понимаешь, — рассказывал он, — это совершенно определенный заговор!

— Это ужасно! — возмутился Проворов. — Но только я удивляюсь одному: отчего ты не поступил за этим ужином так же, как тогда, в заседании масонской организации? Усыпил бы их и силой своей воли заставил забыть все их махинации! Это напрашивается само собой!

Чигиринский нетерпеливо махнул рукой, видимо раздраженный сделанным ему вопросом.

— Не говори пустяков! Во-первых, для того, чтобы использовать свою силу, да еще в такой степени, надо, по крайней мере, дня три готовиться к этому, почти ничего не есть, что я и проделал, когда шел тогда на масонское заседание! А тут я был совершенно неподготовлен, никак не ожидая, что вместо простого ужина, самого обыкновенного, попаду на сборище настоящих заговорщиков. Я считал их недовольными, готовыми брюзжать, но чтобы они составляли ядро и чтобы сам генерал-губернатор граф Пален был главой и заправилкой, это было для меня ново и совершенно неожиданно! Кроме того, есть люди с такой природой, которая не поддается чужой воле, как бы она сильна ни была! Такие люди, напротив, привыкли сами подчинять себе всех, и они сами того не знают, что могли бы легко развить в себе силу, может быть гораздо более значительную, чем моя. Граф Пален — именно такой человек, и потому он имеет то огромное влияние, которым пользуется. Не только нечего и думать заставить его что-нибудь сделать, но даже нельзя прочесть его мысли, если он этого не захочет. Моя сила имеет предел, и все основывать на ней одной невоз-

можно! Надо пускаться на хитрости! Кстати, вот что я хотел попросить тебя!

— Я уже сказал тебе, что ты можешь располагать мной, как хочешь, — проговорил Проворов. — Я буду помогать тебе, несмотря ни на какие опасности.

— Нет, опасности никакой быть не может! Дело решительно ничем не грозит и настолько нечего его бояться, что я даже Елену хочу просить...

— В чем дело? — оживилась Елена, присутствовавшая при разговоре.

— Вот что, друзья мои! Закажите вы себе на завтра по голубому польскому костюму, самому обыкновенному, с откидными рукавами и конфедератками на голове — простые атласные голубые костюмы, такие же, как мой, и поезжайте на бал к Яковлеву, который будет завтра; ты — в качестве поляка, а Елена — в качестве польки.

— Что же, это недурно! — весело сказала Елена. — Мы с Сережей когда-то бывали на костюмированных балах. Он был Пьеро, а я — Пьереттой!

— Ну вот, а теперь будете поляком и полькой.

— Что же нам нужно делать? — поинтересовался Проворов.

— Об этом условимся завтра, когда поедем на бал вместе. Я тоже буду в своем голубом костюме; только, пожалуйста, маски обшейте кружевом так, чтобы невозможно было узнать вас!

От Проворовых Чигиринский вечером заехал к Риксу и застал там несколько гостей, сошедшихся случайно. Рузя была очень оживлена и весела, но при взгляде на Крамера притихла и смотрела на него с каким-то подобострастно-суеверным страхом.

— Что с вами? — спросил он ее потихоньку, уловив удобную минуту.

— А что?

— Да вы как-то особенно сегодня смотрите на меня!

— Если вам известно все, что вы хотите знать, то зачем же вы спрашиваете? — И Рузя потупилась, нахмутив брови.

Чигиринский догадался, в чем дело.

— Это, вероятно, оттого, — проговорил он, — что вы убедились в правдивости моих слов о том, что молодой человек, о котором вы спрашивали, действительно в Петербурге. Вы с ним виделись?

— Это просто невозможно! — воскликнула Рузя. — Вы какой-то всеведущий!.. Знаете, господин Крамер, я вас

очень прошу, оставьте меня в покое и не следите больше за мной, а то так жить невозможно!

— Но если я следил, как вы говорите, то лишь потому, что вы сами просили меня об этом! Вы сами задавали вопросы!

— Хорошо. Больше никаких вопросов я вам задавать не стану и прошу вас об одном: забудьте обо мне!

— Вам, может быть, угодно, чтобы я прекратил посещения вашего дома?

— Ах, я вовсе не хочу с вами ссориться! А кроме того, если вы перестанете к нам ходить, подымется целая история с дядей! Нет, приходите, но дайте обещание, что не будете допытываться, пользуясь вашим прозрением, что я делаю, где бываю и с кем вижусь! Вы — странный человек, господин Крамер!

— Это значит, что вы считаете себя проигравшей пари?

— Ну нет, — поспешила возразить Рузя, — относительно пари вы уже мне признались, что проиграли его вы!

В это время вышел из своего кабинета Рикс, где он сидел запершись, и к первому направился к Крамеру.

— А-а! Очень рад, господин Крамер! — весело приветствовал он гостя. — Оказывается, вы не только опытный конькобежец, но и превосходный танцор!

— Почему же танцор?

— Потому что я видел, как вы с моей племянницей танцевали краковяк в костюмированном балу у князя Троекурова. Вы даже польское одеяние себе сшили голубое, под пару ее костюму!

Теперь Чигиринский был поражен внезапностью, и ему надо было сделать над собой большое усилие, чтобы не выдать своего удивления. Ведь если Рикс знал, что он был в костюме поляка на балу у Троекурова, так, значит, ему было известно, что Август Крамер и Чигиринский — одно и то же лицо. А если так, то ему в виде Крамера нельзя уже будет никуда показываться. Словом, это грозило совершенно непредвиденными и очень хлопотливыми осложнениями, которые были совсем нежелательны в настоящее время, когда надо было действовать без помех и всяких препятствий.

II

Обращенные к Крамеру слова Рикса о том, что он якобы узнал его под костюмом поляка, сильно озаботили Чи-

гирина. В доме Рикса он поспешил замять этот разговор, отделившись общей фразой, чтобы как-нибудь неосторожным словом не испортить вконец дела, не разобрав его как следует и прежде чем оно было разъяснено. Но, вернувшись домой, он все с большей и большей тревогой стал сомневаться, уж не открыли ли масоны его переодевания, тем более что им была известна роль, которую он играл в прошлом, в образе Германа.

Однако тут же у него явилось соображение, что если бы Рикс в качестве масона узнал что-нибудь из сведений братства вольных каменщиков, то он не приветствовал бы так добродушно-радостно и, как всегда, ласково Августа Крамера. По-видимому, он не подозревал в нем никого другого, кроме этого понравившегося ему немца.

«Я понимаю, откуда это происходит, — соображал Чигиринский, ходя в мягких туфлях по комнате Крамера. — Это неожиданное осложнение явилось оттого, что я имел слабость вплести свое личное дело, свои личные отношения к хорошенькой Рузе в исполнение выпавшей на мою долю серьезной задачи».

Это сознание своей вины было ему чрезвычайно неприятно и больно.

«Ну, что же, — сказал он наконец сам себе, — ну, хорошо, я сделал промах и, может быть, за это буду наказан, что же делать! Я все-таки слабый человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Но неужели из-за сделанной мной глупости должны пострадать высшие интересы, которым я служу?»

И невольно размышление подсказывало ему, что, конечно, от его ошибки ничего не может измениться в предначертании этих высших интересов и судьба останется тою же судьбой, весь же вопрос только в том, будет ли он участвовать в проявлениях этой судьбы или нет. Значит, будь что будет, а он не должен складывать оружия и продолжать вести свою линию.

Как бы в ответ на такую мысль в дверь послышался трехкратный масонский удар, и на разрешение войти появился лакей, крайне удививший Крамера своим появлением. Крамер сделал рукой масонский знак, и лакей, в ответ склонив голову, приложил руку ко лбу, что служило для опознания низшей степени (он принадлежал к братству вольных каменщиков).

— Что нужно? — спросил Крамер.

— Его сиятельство князь Зубов лежит без сна в постели и очень просят вас, если вы не легли еще спать, пожало-

вать к ним! — проговорил этот масон, как самый обыкновенный лакей, исполнявший поручение своего барина.

— Хорошо, я сейчас приду к нему! — сказал Крамер, видимо ожидая, что лакей оказал свое масонство недаром, а с какой-нибудь целью, которую сейчас объяснит.

Но тот ничего не объяснил, а сказал все с той же чисто лакейской почтительностью:

— Их сиятельство просят вас пожаловать за мной.

— Ну, за тобой так за тобой! — согласился Крамер и последовал, как был в туфлях, за лакеем, тщательно запеврев за собой дверь на ключ.

Он застал Зубова лежащим в постели в ярко освещенной спальне. Князь пожелтел и исхудал, и его красивые глаза с появившейся сильной синевой вокруг казались на бледном лице еще выпуклее и красивее.

— Вы не спали? Я вас не побеспокоил? Как я рад, что вы пришли! — начал Зубов, оживляясь при виде Крамера.

— Да, меня целый день не было дома, и я не знал, что вы больны, — ответил тот и, обращаясь к лакею, добавил: — Ты можешь идти! Я посижу с князем.

— Ничего, пусть он останется! — произнес Зубов тонком ребенке, привыкшего к своей нянюшке. — Владимир, сядь там, где-нибудь подальше.

Лакей Владимир не заставил повторять приказание и скромно сел в кресло у окна.

— Это ваш крепостной человек? — спросил Крамер Зубова по-немецки.

— Нет, он вольнонаемный, я нанял его за границей, и он понимает по-немецки! — пояснил князь Платон. — Скажите, господин Крамер, ведь вы знаете все: могут мертвые вставать из гроба и приходить с того света к нам?

— И сообщаться с нами?

— Да, сообщаться.

— Видите ли, — стал объяснять Крамер, — это вопрос очень сложный, совершенно не уясненный, и тут существует несколько теорий, изложить которые я вам сейчас не возьмусь, потому что и час уже поздний, да и вы нездоровы! Это только больше утомит вас. В этом отношении надо просто считаться с фактами. Саул у волшебницы вызвал тень пророка, это факт! Может быть, и вам случалось видеть...

— Нет, я о себе не говорю! Я спрашиваю вообще...

— Ну, а вообще, — сухо ответил Крамер, — очевидно, умершие могут являться, если нам в Библии прямо указан пример Саула.

— И что же, надо слушать, что они говорят?
— Если они говорят так громко, что их можно слышать, то отчего же не сделать этого?
— Ну а если они потребуют чего-нибудь неисполнимого?

— Едва ли это может случиться, потому что обращаться с невыполнимым требованием к кому-нибудь — сушая нелепость, а едва ли стоит возвращаться с того света для того лишь, чтобы сделать нелепость. Иногда нам кажется, что какое-нибудь требование невыполнимо, а глядишь — на деле выйдет очень легко!

— Ну а что будет, если не исполнить?

— Часто люди, не исполнившие требования загробного явления, глохнут, слепнут, и нос у них пухнет и становится сизым.

При этих словах Зубов привстал на постели, пораженный тем, что Крамер повторяет слово в слово ту фразу, которой страшал его вчера явившийся к нему с того света Чигиринский. Особенно его страшил пухнувший сизый нос. Князь сегодня несколько раз требовал себе зеркало и смотрелся, невольно представляя себе, какое будет безобразие, когда на его красивом лице вспухнет вдруг огромная сизая дуля. Он был подавлен.

III

Яковлев был подрядчик-золотопромышленник, приобретший колоссальное состояние не только удачливой добычей золота в Сибири, но и огромными поставками, которые он делал в казну во время роскошного царствования Екатерины II и завоеваний Потемкина. Однако легко нажитые деньги он так же легко и тратил, не желая уступать в роскоши настоящим барам. А роскошь была умопомрачительная, привлекавшая к нему на балы и празднества все петербургское общество.

Ближних знакомств, кроме определенных прихлебателей, у Яковлева не было, и запросто к нему никто не ездил, но балы, маскарады и другие празднества его были многолюдны.

Зачастую гости даже не знали хозяина в лицо и говорили, что с Яковлевым случился анекдот, когда у него на балу кто-то из зевавших гостей обратился к нему со словами:

— Какая скука!

— Вам-то хорошо! — ответил Яковлев. — Вы тут гость и можете уехать, когда вам угодно, а я здесь хозяин и волей-неволей должен терпеть эту скуку.

Маскарад у него, на который Рузя позвала Чигиринского, был, как и все яковлевские званые вечера, чрезвычайно пышен и не в меру обилен всевозможными излишествами. Перед входом в большой зал с многочисленными толстыми колоннами бил фонтан из духов для распространения приятного запаха и вместе с тем для того, чтобы гости могли душить свои платки. В зале буфетные столы, поставленные вдоль стен, ломились от всевозможных яств, прохладительных напитков и сластей. Тут были и яблочный квас, и северная морошка, и варенье из имбиря, привезенное с дальнего юга. Кондитерские произведения представляли собой целые марципановые сооружения в виде замков, мостов и башен. В круглой форме желе горела восковая свечка, так что желе освещалось изнутри.

Несмотря на зимний холод, стоявший на дворе, повсюду были цветы из собственных оранжерей Яковлева, выставленные главным образом с расчетом, чтобы они были видны и заметны. В большинстве комнат от расставленных в них растений в кадках образовался сплошной зимний сад со случайными беседками и закоулками в тени.

В столовой, в порядочной величины бассейне, бил другой фонтан — шипучего вина, которое можно было черпать прямо из бассейна серебряными ковшми, находившимися тут же. В большом зале под главной люстрой висел серебряный вызолоченный шар с часами на нем, игравшими четверти и половины. Этот шар был подражанием, потому что такой же висел когда-то на люстре у князя Потемкина на его знаменитом празднестве, данном им в честь Екатерины Великой, в Таврическом дворце.

Чигиринский в своем голубом костюме поляка с белым бантом на плече ждал Рузю у фонтана с духами, делая вид, что любителю тем, как переливается пахучая светлая жидкость, играя отражением огней. Гости в масках и разнообразных костюмах прибывали и проходили мимо в зал.

Чигиринский, внимательно всматривавшийся в их толпу, увидел голубое приземистое домино и рядом с ним в голубом же костюме польку с белым бантом на плече. Несомненно, это были пани Юзефа и Рузя.

Чигиринский ждал их с двойным нетерпением, потому что кроме свидания с Рузей он должен был выяснить загадочные слова Рикса к Крамеру, что тот будто бы был на балу у Троекурова.

Рузя, увидев его, сказала матери несколько громко, что он мог слышать:

— Вот господин Крамер! Можно мне пойти с ним?

Домино поглядело на Чигиринского и, кивнув головой, ответило:

— Мы отлично можем пойти все втроем!

Рузя остановилась.

— Мамочка, — сказала она, — но это же будет смешно, на нас станут показывать пальцами. В маскараде всегда ходят парами, а вдруг мы на смех пойдем тройкой!

— Ну, хорошо, — согласилась пани Юзефа. — Я сяду вот там у стола в большом зале. Ты все-таки подходи ко мне время от времени.

— Да, конечно! — подтвердила Рузя. — Там, кстати, и паштет ваш любимый, и марципаны!

Пани Юзефа, любившая покушать, направилась к паштету и марципанам, а Рузя смело взяла под руку поляка и проговорила:

— Ну что, поляк, ты ждал свою польку?

— Конечно, ждал! — сказал Чигиринский, прижимая к себе локтем ее руку.

— А у тебя какой пароль?

— Пароль у меня — «Нева»... А у тебя лозунг?

— А мой лозунг — «краковяк».

— Скажи, пожалуйста, почему ты назвала меня своей матушке — это ведь она в домино? — какой-то немецкой фамилией?

— Ах, это моя маленькая хитрость! Прошлый раз за нами следил, как я тебе говорила, дядя и видел, что мы слишком ходили вместе и танцевали. После вечера он стал у меня допытываться, кто это был со мной, и я ему солгала, что это господин Крамер.

— Крамер? Это тот немец, с которым ты была тогда на катке?

— Ну да, и которого очень поощряет дядя. Я знала, что он ничего не будет иметь против, если я буду ходить с этим несносным человеком.

Сомнения Чигиринского сразу объяснились, и вполне благополучно; на этот раз не оказалось никакой для него опасности, но все-таки он почувствовал, что это было ему словно предостережением судьбы. Однако что было делать! Уж слишком ему хотелось повидаться с Рузей.

— Разве этот Крамер несносный? — спросил он, продолжая разговор. — Ведь вы же хотели приручить его!

— Но он все знает, и это просто невыносимо! Шагу нельзя ступить! Я боюсь, что он узнает о нашем сегодняшнем свидании. Разве это не несносно? — ответила она.

— Вот что, Рузя, мы должны на некоторое время перестать видаться. Теперь нам надобно ненадолго отдалиться, а потом я дам тебе о себе знать.

— Нет, вы не смейте переходить со мной на «ты», когда называете Рузей!.. Разговаривая со мной как с маскарадной полькой — другое дело! Так принято обычаями маскарада, что маски говорят друг другу «ты». А если вы называете меня моим именем, тогда не смейте!

— Ну хорошо, будь по-вашему!

Они прошли уже большой зал и были теперь в следующей за залом комнате, украшенной беседками из зелени.

— Посмотрите, — остановила Рузя Чигиринского, — прямо перед нами, вот там, стоит такая же точно пара, как я с вами: голубая полька с голубым поляком и по банту у них на плече.

Чигиринский знал, что это Елена и Проворов, одетые так по его просьбе и разыгрывавшие роль, относительно которой он с ними условился.

Он условился с ними на случай, если бы его проделка с переодеванием в Крамера была действительно открыта, как это можно было, казалось, заключить из намека Рикса.

Теперь он знал простое объяснение этого намека, и помощь Проворова должна была служить разве только для мистификации Рузи.

— Да нет! — сказал он ей. — Это не пара живых людей, просто мы видим свое отражение в зеркале.

— Какое же это зеркало, когда они двигаются по-иному, чем мы, то есть, вернее, они стоят неподвижно, а мы двигаемся! — заспорила Рузя. — Я знаю, чьи это штуки! Наверное, это переодетый Крамер. Только кто это с ним и кого он одел в такой же костюм, как у меня?

— Ну, это нетрудно было ему сделать! Он мог попросить любую из его знакомых. Хотите, подойдем к нему и спросим!

— Нет, ни за что! Ну его совсем! Пойдемте от него подальше! — И она круто повернула назад в зал, увлекая за собой Чигиринского.

IV

— Почему же мы должны перестать с вами видеться? — спросила Рузя, когда они очутились опять в большом зале.

— Позвольте мне этого не объяснять! — ответил Чигиринский лишь после того, как сделал несколько шагов молча и, оглянувшись, удостоверился, что кругом все заняты своими разговорами и никто не прислушивается к тому, о чем он говорит с Рузей.

— А если мне все-таки интересно? — настаивала она.

— В свое время вы обо всем узнаете, а теперь дайте мне срок! Сейчас я рассказать ничего не могу, потому что дело не касается меня лично; да и вообще, это не личное дело и говорить о нем я не имею права! Я вам говорю, выждете несколько дней, самое большее — неделю, и тогда я вам снова дам знать о себе, и мы опять найдем возможность видеться. А сегодня вечер наш и постараемся провести его как можно веселее.

Рузя не возражала — она и сама рада была повеселиться.

Они пошли и оглядели все блестящие комнаты, отведали угощения и выпили шипучего вина, зачерпнув его ковшиком из бассейна с фонтаном.

У Яковлева тоже был зимний сад, но без уютных гротов, скорее похожий просто на оранжерею. Вместо прохладной тишины там гремел хор цыган на устроенном для него помосте.

Рузя и Чигиринский послушали цыган, потом танцевали и не заметили, как пролетело время. Они опомнились, только заслышав, что висевший под люстрой шар с часами проиграл одиннадцать часов.

— Батюшки, уже одиннадцать часов, — воскликнула Рузя, — а я ни разу не подошла к мамаше!

— Да, уже поздно! — согласился Чигиринский. — Мне надо собираться.

Они напоследок еще раз обошли гостиные и простились в уголке за группой растений. Рузя проводила Клавдия до вестибюля и там издали увидела стоявшую в ожидании одинаковую с ними пару.

— Опять этот Крамер! — сказала Рузя и, оставив руку Чигиринского, одна направилась обратно в зал.

Он посмотрел ей вслед и, убедившись, что она ушла, поспешно направился к Проворову и Елене, стоявшим в вестибюле, как бы показывая этим, что пора и честь знать.

— Что, устали? — спросил их Чигиринский, подходя.

— Да это, брат, тоска! И нелепая безвкусица, и эта пышность со свечами в желе! Кому это может понравиться? — скороговоркой произнес очень недовольный Проворов.

— Я отвыкла от этой сутолоки! А что касается веселья, то, право, в детской гораздо веселее, — заметила Елена.

— Ну ничего, милушка! Зато мне помогла! — воскликнул Чигиринский. — Большое вам спасибо обоим. Вы в течение вечера ничего не заметили?

— Да нет, кажется, ничего!

— И никто к вам не подходил?

— Кроме какого-то капуцина — никто!

— Да, он обратился к Елене и по-польски сказал: «Не пепшь вепша пепшем, бо пшепепшишь вепша пепшем».

Это была шутивая поговорка, которая звучала: «Не перчи каба́на перцем, потому что переперчишь каба́на перцем».

— А ко мне он, — продолжал Проворов, — обратился на немецком языке, пожелав от всего сердца успеха.

— Когда это было? Давно?

— Нет, только что, когда мы шли сюда. По-видимому, этот капуцин только что приехал.

— Ну, хорошо! Спасибо еще раз. А что же вы на это?

— Мы, как было условленно на случай, если к нам будут обращаться: Елена молча наклонила голову и поднесла палец к губам, а я произнес значительно немецкое: «О, я!» — и затем мы немедленно юркнули в сторону.

— Ну, поезжайте теперь домой, вышло даже лучше, чем я ожидал, — сказал Чигиринский и, простившись с сестрой и зятем, отправился из вестибюля опять в зал.

Он не сомневался, что этот капуцин был не кто иной, как сам Рикс, пожелавший проверить, действительно ли его племянница ходит с немцем.

У Рузи была привычка необыкновенно грациозно при разных соответствующих случаях подымать палец к губам и опускать голову. Потому он и научил Елену поступить так же на случай, если к ней обратятся, не вступая ни в какие разговоры.

Он нашел Рузю возле ее матери в зале, все у того же стола с марципанами, где пани Юзефа сначала покушала, а потом вздремнула, убаюканная однообразным движением маскарата.

Они собирались уже домой, как вдруг Рузя, обернувшись, увидела почтительно склоненную в ее сторону фигу-

ру в голубом камзоле с белым бантом на плече. Она не дала этому человеку подойти к ним, а сама быстро направила к нему и проговорила с нескрываемой досадой:

— Это вы, господин Крамер?

— К вашим услугам! — сказал Чигиринский голосом Крамера и с его акцентом.

— Я так и знала. Мы сейчас собираемся с мамашей домой.

— Это значит, что, нагулявшись с одним голубым поляком, вы хотите поскорее отделаться от другого?

Рузя, испугавшись, что Крамер, заговорив с ее матерью, может выдать, что она не с ним ходила целый вечер, нетерпеливо тряхнула головой.

— Ах, да я вовсе не хочу от вас отделаться! Дайте вашу руку и пойдете! — И она обернулась к голубому домино. — Mamочка, еще один тур! — сказала она в полной уверенности, что идет теперь с Крамером.

Расчет ее состоял в том, чтобы, пройдя с Крамером по комнатам, отвести его подальше от матери и, оставив, вернуться к ней одной и поскорее уехать. К тому же теперь она могла заверить честным словом или клятвой, что действительно ходила на балу у Яковлева с Крамером.

V

Вскоре они заметили в толпе пробиравшегося издали прямо по направлению к ним капуцина.

— Внимание! — сказал Чигиринский своей даме. — Этот капуцин — ваш дядя Рикс!

— Не может быть! — возразила Рузя. — Сегодня его нет с нами, мы здесь одни, а он остался дома.

— Нет, на этот раз вы не уйдете от меня! — настойчиво произнес подошедший Рикс в костюме капуцина. — Теперь я вас не отпущу, потому что сейчас вы очень нужны, господин Крамер!.. Пойдете скорее, вас сестра зовет.

При слове «сестра» Чигиринский вздрогнул. В первый миг ему представилось, что Рикс говорит ему о его, Чигиринского, сестре Елене, которая зовет его, то есть, другими словами, значит, Риксу опять известна проделанная с переодеванием Проворовых махинация. Но сейчас же выяснилось, что здесь он опять впал в недоразумение, потому что Рикс повел их по направлению к голубому домино, то есть к своей собственной сестре, пани Юзефе. Это могло бы быть истолковано Чигиринским как новое преду-

предительное указание судьбы, но он не обратил на него никакого внимания.

Возле пани Юзефы в ее голубом домино стояло другое, черное, обшитое массой дорогих, настоящих кружев. У черного домино был приколот, очевидно напоказ, желтый бантик, рядом же с ним Чигиринский с Рузей узнали под маской Кутайсову, в том самом ее костюме, в котором они видели ее в гроте зимнего сада у князя Троекурова.

— Господин Крамер, — приседая и размахивая руками, плавно заговорила пани Юзефа, — вот Ольга Александровна хочет говорить с вами.

— Я — Жеребцова, — сказала черное домино.

Крамер поклонился и почтительно проговорил:

— Я и без пояснений знал, что это вы! Иначе я никуда не годился бы как отгадчик! Этот титул, кажется, вы уже установили за мной.

— Однако не слишком ли уж много вы берете на себя? — с несколько даже брезгливой насмешкой заметила Жеребцова. — Конечно, после того как пани Юзефа назвала меня Ольгой Александровной, а я сама сказала свою фамилию, вам нетрудно говорить теперь, что вы меня узнали, но если уж вы действительно можете так, без всяких приготовлений, с первого взгляда узнавать даже замаскированных, так скажите, пожалуйста, кто рядом со мной под маской?

— Если бы я был представлен графине, то спросил бы позволения назвать ее, но теперь, раз я незнаком, я исполняю ваше приказание и говорю, что рядом с вами молодая графиня Кутайсова.

Произнесено это было Крамером необычайно спокойно и так просто, как будто он не видел тут решительно ничего особенного, но все, не исключая и Рузи, невольно ахнули.

Чигиринский, разумеется, отлично сознавал, что такое счастливое стечение обстоятельств едва ли когда-либо опять представится, и если Жеребцова или кто-либо из присутствующих сейчас будут заставлять его делать то же самое, то он с позором должен будет сложить оружие, но он действовал на «ура», пользуясь минутой и не заботясь о будущем. Сколько раз в его подобных же поступках, сделанных с отчаянной смелостью, выручала его впоследствии та же смелость. Главное же, в этот момент впечатление было огромное, а пока это только и требовалось.

— Нет, это чудовищно! — воскликнула Жеребцова. — Это необъяснимо чудовищно!

— Да, это не может не поразить! — подтвердил со своей стороны Рикс тоном знатока, понимающего толк в этих вещах.

Пани Юзефа как открыла рот под своей маской, пораженная, слегка присев и растопылив руки, так и осталась.

— Скажите, пожалуйста, что случилось с моим братом? Отчего его нет здесь? — поспешно, с беспокойством стала спрашивать Жеребцова у Крамера. — Он должен быть тут непременно, я жду его. С ним что-нибудь случилось?

Тогда Чигиринскому стало все ясно.

Очевидно, молодая Кутайсова стала проситься на этот маскарад Яковлева; зачем ей это нужно было, Чигиринский знал, но дома графиню не захотели пустить снова в маскарад — это показалось слишком часто, и Ольга Александровна Жеребцова вызвалась шапронировать молодую графиню, то есть повезти ее с собой и смотреть за ней.

С такой важной почетной дамой, разумеется, Кутайсова могла ехать, а Жеребцова приколола свой желтый показной бант к своему домино с тем, чтобы их мог узнать замаскированный Зубов, который, по ее настоянию, должен был приехать.

Но он не приехал, и Жеребцова, не отпуская от себя Кутайсову весь вечер, добросовестно, как строгая патронесса, смотревшая за ней, наконец подошла к пани Юзефе, которая, вероятно, мастерила им костюмы, и потребовала от нее указания, где тут ее знакомый Крамер, чтобы спросить его, что он знает о князе Платоне.

О том же, что Кутайсова проскучала весь вечер возле Жеребцовой, можно было догадаться по ее отнюдь не оживленной фигуре, а главное, потому, что вблизи, но, правда, на почтительном расстоянии, Чигиринский увидел аркадского пастушка, умильно и тоскливо не спускавшего взоров с Кутайсовой. Этот аркадский пастушок был не кто иной, как князь Манвелов, виденный им в гроте.

Все это нетрудно было сообразить и так же легко решить, как комбинацию простого карточного пасьянса.

— Князь Платон Александрович, — ответил Крамер Жеребцовой, — вчера слег в постель и, насколько я знаю, не вставал сегодня целый день.

— Что-нибудь серьезное? — забеспокоилась еще больше Жеребцова. — Я знала, что только важная причина могла ему помешать быть здесь.

Говоря эти слова, она обернулась к Кутайсовой, а та чуть заметно двинула плечом и стала смотреть на аркадского пастушка.

В это время оркестр заиграл менуэт, и в зале стали составляться пары для танца.

— А что же графиня не танцует? — весело спросил Крамер.

Жеребцова, думая, что он хочет пригласить Кутайсову, ответила не совсем охотно.

— Я не знаю... Если она хочет...

Кутайсова под своей маской стояла неподвижно, как каменное изваяние. Жеребцова по-французски представила ей Крамера.

— Мы сейчас найдем кавалера! — весело и резво заявил тот. — Вот аркадский пастушок! Посмотрите, как он мил! Идите танцевать с ним, графиня!

И он, схватив аркадского пастушка за руку, подтащил его и заставил взять руку Кутайсовой.

Фигурка графини в один миг преобразилась, и она поспешно, боясь, чтобы ее не остановили, пошла с пастушком, легко скользя по паркету в такт начинавшегося танца.

Пары задвигались и замелькали по залу.

— Вы знаете, кто этот аркадский пастушок? — строго, почти сердито спросила Жеребцова.

— Нет! — рассеянно ответил Крамер. — Почему же я могу знать? Ведь человеческой памяти не хватит, чтобы перечислить всех присутствующих здесь. По-видимому, это очень милый молодой человек, совсем порядочный, которому чрезвычайно хотелось танцевать, да и графине тоже...

Жеребцова нетерпеливо махнула несколько раз веером.

— Но ведь нельзя же представлять незнакомых!

— Если я сделал не так, простите меня как иностранца, не знающего здешних обычаев! Обыкновенно в маскараде маски танцуют, не будучи представлены друг другу. В этом смысл маскарада!

Жеребцова почувствовала, что Крамер был прав и что она получила урок, и поспешила заговорить о другом:

— Я вас спрашивала о брате: что такое с ним?

— Я думаю, пустяки!.. Вы знаете мнительность князя Платона! Он готов лечь в постель от простой заусеницы.

VI

Князь Зубов третий день не вставал с утра с постели, и Чигиринский, узнав об этом от прислуги, стал опасаться, что его ухищрения были напрасны и природная робость или — вернее — трусость князя Платона преодолееет и он

не решится поехать к государю с откровенным рассказом затейного Паленом дела. У него не хватает этой решимости, несмотря на рассудительные, приведенные ему доводы, что рассказать гораздо выгоднее, чем молчать, так как умолчание влечет за собой риск даже быть повешенным, и несмотря на угрозы сверхъестественного страха, ловко обставленные Чигиринским и в виде выхода с того света, и в виде прорицателя немца Крамера.

Но такие слабовольные люди, как Зубов, обыкновенно пасуют перед малым усилием, которое им нужно сделать сейчас, и, как ни страшатся последствий, все-таки этот страх всегда недостаточно силен, чтобы подвинуть их на то или на другое немедленное действие. Надо было пойти к нему опять и попытаться добиться от него решимости.

Чигиринский пошел в спальню к Зубову и застал его в полном изнеможении.

— Ах, господин Крамер! — вздохнул он. — Вы видите перед собой несчастного человека!

— Почему же несчастного?

— Да как же! Разве легко лежать и сознавать, что завтра начнешь слепнуть и глохнуть и нос станет расти и делаться сизым?

— Но ведь это же не так неизбежно! Это зависит от вас самих!

— Нет, это помимо меня!

— Отчего же? Вам стоит только встать и поехать, попросить аудиенции. Государь вас примет, как это делал прежде...

— Постойте, господин Крамер! Разве я вам рассказывал все?

— Нет, кажется, вы мне ничего не рассказывали.

— Тогда как же вы говорите это, как будто знаете все?

— Ах, князь! Пора же вам привыкнуть, что, когда меня интересует какое-нибудь дело, я узнаю его до малейшей подробности! Немудрено, значит, что я и теперь знаю все.

— Так вы говорите, чтобы я ехал?

— Я вам искренне советую это.

— Значит, ехать, говорите вы?

— Да, ехать и говорить все.

— Но ведь это же значит выдать себя с головой!..

— Ну вот! Зачем же себя? Выдавать себя не нужно! Напротив, вы явитесь в данном случае преданным человеком!

— Да, да! Ведь и в самом деле я являюсь преданным человеком! — согласился Зубов.

— Вот видите! Чего же вам опасаться?
— Ну а вдруг?
— Какое там еще «вдруг»? Вы знаете рыцарский характер императора? Он будет чрезвычайно тронут и наградит вас.

— Он-то наградит, а другим это может не понравиться! — заметил князь Платон.

— А как узнают эти другие, о чем вы будете говорить с государем? Ведь не станет же он рассказывать об этом, а вы и подавно тоже не будете! Надо только, чтобы были приняты меры. Вот и все!

— Но ведь я же совсем болен! Вы видите, я лежу в постели расслабленный и больной и никуда не могу двинуться!

— А вы желаете выздороветь, чтобы сейчас встать и поехать? Да?

— Да, если бы я мог это, но вы видите, я совсем болен.

— А нос-то вдруг станет сизым?

— Ах, этот нос! Не напоминайте мне о нем, ради Бога!.. Я не могу, это выше моих сил!..

— Ну так если хотите сейчас выздороветь и поехать, то закройте глаза и подчинитесь мне... совсем... всецело!.. Закройте глаза!.. Вы спите... слышите?..

Зубов закрыл глаза и остался неподвижен в постели.

— Я приказываю тебе, — произнес Чигиринский громким, но выразительным голосом, — когда ты сейчас проснешься, быть здоровым, встать и ехать тотчас же, куда надо и куда ты боишься отправиться. Пребори всякую робость!

В эту минуту в спальню быстро вошла Жеребцова и громко сказала:

— Здравствуй, Платон, что с тобой?

Крамер, убежденный, что никто не мог им помешать, вспомнил, что Ольга Александровна могла на правах сестры без доклада и предупреждений войти в спальню к больному брату.

— Тише! Тише! — остановил ее Крамер. — Вы видите, он спит, вы его испугаете! Выйдите в соседнюю комнату, я его сейчас разбужу и позову вас.

Эти слова были настолько тверды и требование настолько определено, что Жеребцова подчинилась и на цыпочках вышла из комнаты.

Только что она вышла, лакей Владимир, сидевший на своем кресле у окна во все время разговора Крамера с Зубовым, а при появлении Жеребцовой вставший, подошел

к Крамеру совсем близко и, приложив руку ко лбу, то есть делая масонский знак подчинения, проговорил:

— Куда это вы его посылаете?

Крамер посмотрел на него удивленно, но ничуть не смутился.

— Не знаю! — ответил он. — Очевидно, туда, куда он сам хотел ехать, как вы слышали. Больной хотел выздороветь, и я ему помог в этом!.. Вот и все. А я его никуда не посылал.

Владимир опустил голову и смиренно отошел к окну, а Крамер приблизился к Зубову и три раза дунул ему в лицо.

Тот открыл глаза, улыбнулся и свободно, глубоко вздохнул.

— К вам приехала сестра Ольга Александровна, может она войти? — спросил Крамер и, не дожидаясь ответа, громко сказал по направлению к двери: — Ольга Александровна, пожалуйста!

Жеребцова вошла и быстро заговорила, обращаясь к брату:

— Как же тебе не стыдно было не дать знать, что ты болен? Ведь ты же хотел непременно быть вчера на маскараде у Яковлева! Ах, между прочим, какая там аляповатость была! Настоящий лубок, и я напрасно надевала домино и прикалывала желтый бант, как было условлено. Ты не приехал, и перед графинею было неловко! Спасибо, господин Крамер на маскараде сказал, что ты нездоров, но что это пустяки. Теперь тебе лучше?

Зубов беспокойно заметался в постели.

— Я отлично себя чувствую! Я совсем здоров. Мне надо сейчас ехать... сию минуту... как можно скорее... Владимир, подай мне парадный кафтан и вели закладывать немедленно карету!

Жеребцова в полном недоумении смотрела на брата и наконец воскликнула:

— Постой! Куда ты? Тебя не разберешь: то ты болящий и чуть не умирающий, а то тебе нужно ехать куда-то! Скажи, по крайней мере, хоть куда.

— К государю! К государю!

Жеребцова сразу осеклась.

— Да? Ну, это другое дело! — протянула она. — Но только послушай! Все-таки чрезвычайно неловко перед Кутайсовыми!. Ты из дворца поезжай к ним, все-таки лучше! И я там буду.

— Хорошо! Хорошо! — согласился Зубов. — Только теперь мне надо поскорее.

— Дай честное слово, что ты приедешь к Кутайсовым!
— Даю! Даю! Честное слово, приеду!
— Ну, хорошо! Я тебе верю и ухожу, не прощаясь. Значит, увидимся у Кутайсовых? — И Ольга Александровна вышла из комнаты, пригласив с собой и Крамера. В гостиной она остановилась и спросила его: — Скажите, пожалуйста, что это ему так приспичило? Государь его вызвал, что ли?

— Право, не знаю, Ольга Александровна, он мне ничего не говорил.

— А зачем он едет? Вы не знаете?

— Тоже не имею понятия.

— Но ведь вы можете это узнать!

— Самое лучшее, спросите сами вашего брата, а если это его секрет и он вам не расскажет, то я заранее прошу вас уволить меня от разоблачения чужих секретов.

— Вы всегда себе на уме, господин Крамер, и, кажется, вас никогда нельзя застать врасплах! Между прочим, вчера вы очаровали маленькую Кутайсову! Она просто без ума от вас и в восторге от того, что познакомилась с вами!

— Знакомство довольно странное: мы были в масках, и она моего лица не видела, а я — ее...

— Вот потому-то она и просила меня непременно привезти вас к ним. Приезжайте сегодня, я буду там и представлю вас графу.

Крамер отвесил низкий поклон.

— Непременно приеду, с большим удовольствием.

— Хотите, я отвезу вас сейчас ко мне, мы позавтракаем и потом поедем вместе?

Крамеру осталось только поблагодарить.

VII

Крамер завтракал у Жеребцовой, а потом она повезла его в своей карете к Кутайсовым.

По дороге она завела с Крамером как будто случайный разговор о том, что она завидует ему, что он так вот может, путешествуя, переезжать с места на место, видеть людей, новые места.

— Но все это хорошо, — заявила она таким тоном, будто всецело была поглощена заботой о самом Крамере, — все это хорошо, пока у вас есть силы и охота подвергать себя вечным случайностям и неудобствам кочевой жизни. Но придет время, когда вам захочется отдохнуть!

— Ну что же! Тогда я постараюсь сделать это! — спокойно согласился Крамер.

— Да, но для этого нужны средства! Нужно обеспечение, нужно иметь свой собственный уголок, а ведь вы, насколько я знаю, совершенно бездомны: «Все свое ношу с собой».

— И вполне доволен этим!

— Охотно верю, что до поры до времени это так, но надо же вам подумать о будущем!

— Короче, вы делаете этот подход для того, чтобы предложить мне более или менее крупное вознаграждение? — спросил Крамер.

— Я вам не сказала этого и, кажется, даже не намекнула!

— Ольга Александровна, если вчера я мог узнать ваше лицо, несмотря на покрывавшую его маску, то неужели вы думаете, мне составляет труд сегодня прочесть ваши мысли? Не отнекивайтесь! Вы хотите предложить мне вознаграждение, и я даже знаю за что!..

— Правда, я забываю, что говорю с человеком, совершенно непохожим на других обыкновенных смертных! Пусть будет так, я добьюсь того, чтобы вы были вознаграждены, если вы мне поможете...

— Если я вам помогу женить вашего брата на графине Кутайсовой? — подсказал Крамер.

Жеребцовой стало не совсем ловко, но она постаралась усмехнуться и промолвила, пытаясь овладеть положением:

— С вами приятно говорить, потому что вы всегда идете прямо к делу, без дальних рассуждений и экивоков. Отлично, будем говорить начистоту! Что вы хотите получить за то, чтобы помочь женитьбе брата?

Крамер долго смотрел в окно кареты, грузно качавшейся на своих высоких стоячих рессорах по ухабам петербургской мостовой. Потом он обернулся к Жеребцовой:

— Ольга Александровна! Неужели вы думаете, что всех и все на свете можно купить? Неужели люди не заслуживают в ваших глазах лучшей оценки?

— Не будем, господин Крамер, оценивать людей и удаляться от предмета! Никто вас не хочет купить, а просто-напросто не все ли вам равно, за кого маленькая графиня Кутайсова выйдет замуж? А между тем князь Платон Зубов — блестящий жених и может вполне составить ее счастье. Поэтому, помогая ему, вы нисколько не поступите против своей совести, а будете действовать только как друг

нашей семьи, за вашу же дружбу наша семья, в том числе я первая, готова вознаградить вас всем, чем вы желаете.

— Благодарю вас! Но, видите ли, до сих пор я привык сам делать другим одолжение, а не получать его.

— Не будьте слишком горды и не торопитесь с ответом! Ведь то, что я вам предлагаю, не пустяки, а, напротив, может упрочить вашу судьбу.

— Поверьте, я знаю свою судьбу точно так же, как вашу и вашего брата, — улыбнулся Крамер.

Чигиринский, войдя в роль гадателя, разыгрывал ее в образе Крамера с той профессиональной уверенностью, которая больше всего действует на людей.

«Неужели он и в самом деле выше других?» — подумала Жеребцова, искоса взглядывая на Крамера.

У Кутайсовых они застали самого графа, который принял их; он извинился, что дочь чувствует себя усталой после вчерашнего маскарада, но добавил, что она сейчас выйдет.

Жеребцова стала расхваливать ее и очень ловко перешла на своего брата, весьма убедительно уверяя, что он тяготится холостой жизнью, что он прекрасный человек и может составить истинное счастье той, которой будет суждено выйти за него замуж.

Кутайсов, простой, несложный человек, возвеличенный случайно, потерял уже голову от этого своего величия и, поддавшись уже на происки умной и энергичной Жеребцовой, сам был не прочь породниться со светлейшим князем Zubовым. Он радовался своему почету и блеску и хотел увеличить его еще больше.

— Я не понимаю, — сказал он Жеребцовой, — если князь Платон так увлечен, как вы говорите, моей дочерью, что же он медлит и не поговорит со мной?

— Ах, граф! Неужели вы не знаете сомнений, всегда сопровождающих влюбленность мужчины? Князь Платон не уверен, то есть он не знает, любит ли его молодая графиня!

— Но об этом ее нечего и спрашивать! Я гораздо лучше знаю, кого выбрать ей в мужа, и в этом деле ее мнение не требуется! Я прикажу, так и будет! У вас, в чужих краях, — смеясь, обернулся он к Крамеру, — кажется, на это иначе теперь смотрят, а мы живем по-старому!

Крамер, пристально посмотрев в темно-карие, казавшиеся совсем черными глаза Кутайсова и восточное лицо графа с определенно очерченным острым носом, выдававшим его турецкое происхождение, ответил:

— В каждой стране свои обычаи.

VIII

Дочь Кутайсова не заставила себя долго ждать и, появившись в гостиной, низко присела перед Жеребцовой.

— Так это вы — господин Крамер? — заговорила она бойко и оживленно — Вот вы какой! А я ни за что не узнала бы вас вчера в красивом костюме поляка!

Ее приход как раз совпал с приездом графа Палена.

Тот явился к Кутайсову в очень хорошем расположении духа и сказал, что государь сегодня утром изволил назначить князя Платона Зубова шефом Первого сухопутного корпуса, графа Валериана — директором Второго корпуса, а графа Николая — шефом Сумского полка, так что он может теперь иметь вход ко двору.

— Это уж надо благодарить всецело графа! — пояснил он Жеребцовой, делая в сторону Кутайсова плавный жест рукой. — Это по его просьбе государь оказывает милость вашим братьям.

Лицо Кутайсова осветилось самодовольной улыбкой. Видимо, ему было очень приятно, что его протекция оказала такое сильное влияние.

— А вам, граф, скажу по секрету, — наклонился доверчиво Пален к Кутайсову, — уже пожалован орден Андрея Первозванного и велено заготовить об этом рескрипт.

— Так это правда? — воскликнул Кутайсов. — Вы это знаете наверное?

— Кому же и знать, как не мне, все, что делается во дворце и в городе! Такова уж моя должность! Ах, господин Крамер, здравствуйте, очень рад вас встретить!

— А вы знакомы? — удивился Кутайсов.

— Да, мы встречались у князя Зубова.

— А вот вчера моя дочь видела господина Крамера в маскараде у Яковлева и поразилась ясновидению господина Крамера, — произнес Кутайсов

— Да, в самом деле, это было очень поразительно! — подтвердила Жеребцова.

— Это очень интересно! — сказал Пален. — Как же это произошло?

Жеребцова во всех подробностях рассказала о том, как Крамер узнал их вчера под масками.

— Ну, это просто маскарадная интрига, — улыбнулся Пален, — и в этом нет ничего необыкновенного!

— Ах, нет! Вы не знаете, что господин Крамер действительно может показать в стакане воды все тайное! —

возразила Жеребцова, как бы взяв немца под свое покровительство и желая показать Палену, что она не такая легковверная.

Пален, считавший, что он по должности военного губернатора должен быть осведомлен обо всем, счел своим долгом немедленно же ознакомиться со сверхъестественными способностями Крамера.

— Вы, может быть, покажете нам сейчас маленький опыт? — спросил он у него.

Чигиринский почувствовал, что положение его становится рискованным, но делать было нечего, и он проговорил, пожав плечами:

— Ах, это, граф, такие пустяки, что, право, нечего обращать серьезного внимания!

— Я и не смотрю на это серьезно! — сказал Пален. — Но ведь мы в гостинной, и отчего же нам не заняться пустяками?

— Мне все равно, как вам угодно! — слегка поклонился Крамер, тогда как у него мелькнуло: «Ну как он загнет мне загадку, из которой не вывернусь?»

Но выручила дочь Кутайсова. Она стала просить, чтобы Крамер был настолько добр и погадал ей, непременно ей и никому другому.

— В самом деле! — одобрил Пален. — Скажите графине судьбу, а мы посмотрим, как уадастся опыт.

— Ну, мы-то, конечно, не верим этим пустякам! — важно заявил Кутайсов для того, чтобы показать свою солидность и просвещенность.

— Нет, не скажите, — не согласился Пален, — я знаю этот опыт со стаканом чистой воды! Иногда это бывает поразительно. А господин Крамер — слишком серьезный человек, чтобы, если он говорит, это не было интересно.

Дочь Кутайсова распорядилась уже, чтобы принесли стакан воды, и спрашивала, не нужно ли еще чего-нибудь. Крамер успокоил ее, что больше ничего не требуется, а затем, взяв стакан с водой, отошел к окну и стал рассматривать воду на свет.

— Я вижу аркадского пастушка, — сказал он через некоторое время.

Все посмотрели на Кутайсову. Она вдруг вся вспыхнула.

Крамер взглянул на нее и спросил:

— Вы желаете знать вашу судьбу? Вы выйдете замуж за аркадского пастушка.

— Поразительно! — произнесла Жеребцова. — Мой брат Платон участвовал в живых картинах в Царском Селе в Китайском театре, был одет аркадским пастушком и имел такой успех, что все это и сейчас помнят.

— Я вижу грот в зимнем саду, — продолжал Крамер, — и туда вбегают две маски.

Чигиринский видел, что Кутайсова стоит вся красная, ни жива ни мертва, и почувствовал, что выдаст ее с головой, если расскажет, что было в гроте.

— Говорить дальше? — бросил он отрывисто в ее сторону. Графиня закрыла лицо руками и бессильно опустилась на диван.

— Нет, не надо!.. Довольно!.. Я верю, верю вам! Ради Бога, ничего не говорите!

Пален видел впечатление, которое произвело гадание Крамера на молодую девушку, и понял, что действительно ей сказали что-то значительное для нее, о чем мог узнать только ясновидящий человек. Для него это было убедительно, и он предложил с полной серьезностью:

— Ну а теперь, господин Крамер, посмотрите в стакан для меня, что вы увидите обо мне?

Крамер опустил стакан на подоконник и тяжело вздохнул.

— Нет, граф, не могу! Два раза подряд этот опыт произвести трудно. Он все-таки требует слишком много усилий.

— Ну, хорошо, — согласился Пален, — тогда в другой раз как-нибудь, от меня вы так не уйдете!

IX

Жеребцова очень заинтересовалась предсказанием Крамера Кутайсовой относительно аркадского пастушка и просила его на другой день приехать к ней на обыкновенное ее собрание несколько раньше, желая переговорить с ним.

Собрания людей, вдохновляемых или, вернее, искусно подготовляемых Паленом, по преимуществу происходили у Жеребцовой.

Крамер был аккуратен и приехал, когда еще никого не было. Ольга Александровна встретила его очень любезно и, торопясь, чтобы им никто не помешал, заговорила сейчас же о деле, ее интересовавшем:

— Скажите, пожалуйста, господин Крамер, ваше вечернее предсказание молодой графине Кутайсовой было сделано в каком смысле?

— Решительно ни в каком смысле! Я просто говорил то, что видел!

— Но все-таки вы действовали как друг или враг?

— Ни то ни другое. Я просто говорил правду.

— Но эта ваша правда разумела под аркадским пастушком князя Платона или кого-нибудь другого?

— Видите ли, я, конечно, мог бы уклониться, сказать вам, что не знаю, но я терпеть не могу лжи и сам никогда не лгу, а потому отвечаю вам прямо: нет, под аркадским пастушком я подразумевал вчера не вашего брата, князя Платона, а другого.

— Другого? Кого? Можете вы мне сказать?

— Ни в коем случае!

— Но отчего же? Ведь если мы с вами союзники...

— Нет, Ольга Александровна, никакого союза мы с вами не заключали.

— Ну не будем говорить об этом! А сами вы знаете имя и фамилию этого человека?

— Нет, увольте меня, я вам ничего не скажу, потому что мне иначе придется выдать чужую тайну.

Жеребцова, убедившись, что, сколько она ни спрашивай, ничего не добьется от этого немца, замолчала, все-таки подумав: «Нет, этого я так не оставлю, а добьюсь своего!»

Тут начали съезжаться свои люди и стали составляться карточные партии.

Но прежде чем расселись по ломберным столам, неожиданно, раньше, чем обыкновенно, приехал Пален. Он был так взволнован, каким его никто никогда не видел. Обычно сдержанный, уравновешенный, на этот раз он был неузнаваем. Он как-то растерянно огляделся по сторонам, размахивая руками, и глаза у него бегали, как живчики.

Едва поздоровавшись, он начал рассказывать, не ожидая расспросов, торопясь словами и теряя обыкновенную плавность своей речи.

— Ну, уж я испытал сегодня тяжелые минуты! Я думаю, в моем положении еще никто никогда не был! Представьте себе... — Он огляделся кругом и продолжал: — Кажется, здесь только свои?.. Представьте себе, что случилось со мной сегодня утром! Обыкновенно я являюсь к государю в семь часов утра с рапортом о состоянии столицы. И вот сегодня я вошел в кабинет императора в семь часов утра, чтобы подать ему свой рапорт, и вдруг застаю его озабоченным и очень-очень серьезным. Он запирает дверь на замок и молча смотрит на меня в упор, минуты с

две. Понимаете, что должен был я в это время почувствовать? Потом он говорит наконец: «Граф Пален, вы были здесь в 1762 году?» Я ответил ему: «Да, ваше величество! Но что вам угодно сказать этим?» И он мне сказал: «Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола?»

— Неужели? — спросила Жеребцова. — Так он и сказал?

— Да, так и сказал.

— Но вы, конечно, ответили, что не участвовали?

— Да, я ответил: «Ваше величество, я только был свидетелем переворота, а не действующим лицом. Я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в Конном полку!» В самом деле, я был тогда капралом в конной гвардии, и только через два года меня произвели в вахмистры, а потом, лет через пять, — в ротмистры в армию. Итак, я сказал, что в 1762 году я ехал на лошади со своим полком, ничего не подозревая, что происходит. «Но почему, ваше величество, задаете мне подобный вопрос?» — спросил я, однако. На это император ответил мне: «Почему? Потому, что хотят повторить 1762 год!»

Круг, образовавшийся около Палена, при этих словах расширился. Все невольно отступили назад, но никто не проронил ни звука, и все слушали, затаив дыхание.

— Я затрепетал при этих словах, — продолжал рассказывать Пален, — но тотчас же оправился и продолжал: «Да, ваше величество, хотя я это знаю и участвую в заговоре».

Вздых облегчения пронесся в собрании. Жеребцова подняла голову и с восторгом глянула на Палена. Крамер взглянул на Платона Зубова: тот стоял как ни в чем не бывало, с наивно скучающим видом. Казалось, в эту минуту ему хотелось только одного: поскорее сесть, потому что он устал на ногах.

Пален развел руками и, убежденный, что он изображает Павла Петровича, проговорил:

— «Как? Вы это знаете и участвуете в заговоре? Что вы мне такое говорите?!» — «Сущую правду, ваше величество! Я участвую в нем и должен показать вид, что участвую, ввиду моей должности, ибо как бы я мог узнать, что намерены они делать, если бы не притворился, что хочу способствовать их замыслу? Но не беспокойтесь, вам нечего бояться! Я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно. Не старайтесь проводить сравнения между вашими опасностями и опасностями, угрожавшими вашему отцу! Он был иностранец, а вы русский! Он ненавидел русских, презирал их и удалил от себя, а вы любите их, уважаете и пользуетесь их любовью! Он не был коро-

нован, а вы коронованы! Он раздражал и даже ожесточил против себя гвардию, а вам она предана. Он преследовал духовенство, а вы почитаете его. В его время не было никакой полиции в Петербурге, а ныне она так усовершенствована, что не делается ни шага, не говорится ни слова без моего ведома. Каковы бы ни были намерения императрицы, она не обладает ни гениальностью, ни умом вашей матери! У нее двадцатилетние дети, а в 1762 году вам было только семь лет». — «Все это правда, — сказал император, — но все-таки не надо дремать»*.

Когда Пален кончил, никто не решился заговорить первый, а он с видом победителя или, вернее, фокусника, которому только что удался поразительный опыт проворства и ловкости рук, сказал не без самодовольства:

— Теперь мы более или менее гарантированы! Но все-таки лучше немного повременить и не собираться. Теперь ко всяким собраниям, даже к самым невинным, карточным, конечно, будут относиться с подозрением. Надо немножко усыпить и убаюкать! Но только я желал бы знать, кто мог сообщить императору такие ужасные вещи? Надо найти виновника во что бы то ни стало!

И он подозрительно оглядел всех присутствовавших.

Все стояли одинаково потупившись. Зубов внимательно рассматривал свои ногти.

— Надо узнать, кого вчера видел государь и с кем говорил, — сказала Жеребцова.

— Я сам сегодня просматривал камер-фурьерский журнал, — поспешил заявить Пален. — Государь вчера чувствовал себя нездоровым, после развода никуда не выходил из внутренних покоев и принял там очень немногих: Голеннищева-Кутузова, князя Зубова и, конечно, Кутайсова. Разумеется, все они вне подозрений.

— Ну еще бы! — протянула с уверенностью Жеребцова. — А Растопчин разве не был?

— Он был с обыкновенным докладом.

— Ну вот вам и разгадка! Что же тут дальше искать? Конечно, это Растопчин!

— Да! Да! Это Растопчин, — подтвердил Пален, — другому некому! Надо будет принять меры, чтобы он последовал участи Аракчеева, Линдевера и других.

* Весь этот разговор Палена с императором Павлом исторически верен от слова до слова, засвидетельствован им самим и им самим передан несколько раз разным лицам, которые записали его с точностью, безусловно, тщательной.

Жеребцова опустилась в кресло и облокотилась на руку.

— Против Растопчина ничего другого придумать нельзя! — сказала она, раздумывая. — Он очень хитер и пронырлив! Уж на что Панин — и тот ничего не мог поделаться с ним! Сам пострадал, Растопчин же не только остался, а стал управлять вместо него коллегией иностранных дел!

— Просто возмутительно! — произнес с негодованием князь Zubov.

Он держал себя как ни в чем не бывало, и Крамер, все время следивший за ним, успокоился, что его до наивности непродолимая глупость не даст ему выдать себя. Князь Платон был словно забронирован этой наивностью своей природы, несложной, почти первобытной по уму.

Такие люди бывают или в самой первобытной среде, или, наоборот, в среде упадка и вырождения.

Когда Zubov не ощущал непосредственной опасности перед собой, он был вполне равнодушен и ничто его не озабочивало и не пугало, потому что для этого надо было сообразить о том, что грозило, а соображать он не мог, на это его не хватало.

— Ну что же, — успокоил Пален, — авось и с Растопчиным справимся так же, как справились с другими! Итак, господа, — обратился он ко всем присутствующим, — теперь до поры до времени, как говорит русская пословица, надо быть тише воды, ниже травы! Когда будет нужно, я дам знать, и Ольга Александровна пригласит нас опять к себе. А пока поедом домой, я, по крайней мере, так устал за сегодняшний день, что хочу сделать это немедленно.

И он стал прощаться.

Жеребцова уговаривала было остаться поужинать, но никто не хотел есть, и все поспешили последовать примеру Палена, столпившись в передней и торопя лакеев, вечно сонных. Каждому хотелось поскорее очутиться дома и перестать быть вместе с другими.

Zubov взял Крамера в карету и, когда они очутились там вдвоем, вздохнул и, очень довольный, сказал с чисто детской искренностью:

— Ну уж и натерпелся же я страху! Как он стал рассказывать, а потом посмотрел на меня...

— Ну, что же тут было страшного? — перебил Крамер. — Чего же вам было бояться?

— Да как же! Ведь это вчера я был у государя!... Ведь вы знаете...

— Решительно ничего не знаю...

— Как же? Вы вчера говорили мне, что все знаете!

— Но после вашего разговора с императором мы не виделись, поэтому я никак не могу знать, о чем вы с ним говорили.

— Ведь вы всегда все знаете.

— А этого не знаю и знать не хочу. Да и вам советую забыть, как будто ничего не было.

— А все-таки я, — заключил Зубов, — очень доволен, что я не ослепну, не оглохну и нос у меня не будет сизый.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Первого февраля 1801 года был назначен переезд императора Павла Петровича из старого Зимнего дворца во вновь отстроенный Михайловский замок.

Этот дворец, поспешно отстроенный, носил в своих помещениях ужасающие следы сырости, которая и ко времени переезда императорской семьи была еще чрезмерно велика. Нагреть и осушить воздух не могли и печи, топившиеся день и ночь. Бархат, покрывавший сплошь стены некоторых покоев, подернулся плесенью. Фрески, украшавшие стены, совершенно слиняли. Несмотря на то что в большом зале замка поддерживался огонь в двух больших каминах, в углах его образовался сверху донизу слой льда.

В день переезда императора Павла в Михайловский замок не было даже вахтпарада. Государь поутру, в семь часов, в сопровождении обер-шталмейстера графа Кутайсова, прибыл из Зимнего дворца в замок, к полудню прибыла императрица Мария Федоровна, а затем состоялся обеденный стол, к которому были приглашены обер-камергер граф Строганов, генерал от инфантерии Кутузов, обер-гофмаршал Нарышкин, обер-шталмейстер граф Кутайсов, адмирал граф Кушелев и действительный тайный советник князь Александр Борисович Куракин. За столом государыня изволила пить, как сказано в камер-фурьерском журнале, за здоровье его величества.

Вечером, в семь часов, в театре Михайловского замка состоялось первое театральное представление, французские актеры исполнили две оперы: «Ревнивый любовник» и «Женихи».

На второе февраля был в замке маскарад для дворянства и купечества, на который было роздано три тысячи сто билетов.

Ожидали, что этот переезд из Зимнего дворца будет совершен пышным кортежем, в парадных каретах; говорили, что по Невскому проспекту будут расставлены шпалерами войска по пути следования императорской фамилии. Словом, ждали зрелища, и Рикс пригласил Крамера к себе, чтобы смотреть из окна, выходявшего на Невский.

Крамер явился на приглашение и с трудом пробрался через собравшуюся на улице толпу к дому католической церкви, где жил Рикс.

Но никаких войск не было, и никто не знал, что это значит. Не было известно также никому, что император в семь часов утра проследовал в замок в сопровождении одного только графа Кутайсова.

У Рикса тоже никто ничего не знал, все смотрели в окно и высказывали различные предположения. Одни предполагали, что шпалеры войск отменены потому, что не у всех полков в исправности форма и что только гвардия одета как следует, но ее, занимавшей караулы в городе, не могло хватить на необходимое пространство. Другие выдавали за верное, что торжественный въезд отменен, потому что император захотел совершить свой переезд без всякой пышности, домашним образом.

Всякая карета, проезжавшая по проспекту, вызвала любопытство, и все кидались к окну снова. На улице даже два раза кричали «ура!» каким-то придворным каретам, очевидно приняв их за экипаж императрицы.

Старый Рикс высказывал большое волнение и особенно беспокоился. Он тормозил Крамера, беспрестанно подзывая его к окну и заставляя смотреть на улицу.

— Вот это уж императрица едет!.. Наверное императрица! — воскликнул он. — Господин Крамер, поглядите! Станьте сюда, на мое место!

Крамер подошел к окну и, чтобы лучше заглянуть, оперся рукой о подоконник, а потом, через некоторое время, заметил, что попал пальцами в черную липкую мазь, которой был запачкан подоконник.

Все, и он сам первый, рассмеялись этому.

Рикс объяснил, что, очевидно, это он сам запачкал подоконник краской для печатного станка, которую ему принесли, чтобы он, как химик, испробовал ее. Доктор Пфаффе тщательно исследовал мазь и подтвердил, что это действительно краска.

Крамер пробовал вытереть пальцы бумагой, услужливо поданной ему Риксом, но это помогло мало, так как, сколько он ни прикладывал пальцы, они отпечатывались на бу-

маге, но чище от этого не становились. Пришлось пойти вымыть руки.

Крамер прошел в кабинет к Риксу, где стоял умывальник и, оттерев наконец краску мылом и щеткой, вернулся к остальным, находившимся в столовой.

Чтобы попасть туда, надо было пройти через переднюю, и там по дороге Крамер заглянул на всякий случай в шляпу доктора Пфаффе. За кожаной ее обшивкой лежала узкая лента записки. Чигиринский взял ее и спрятал в карман, опасаясь, что его застанут за чтением. Очевидно, сама Рузя искала сообщения с ним как Чигиринским.

С Крамером она была очень мила и разговорчива и, между прочим, очень настойчиво спрашивала, пойдет ли он на маскарад завтра в Михайловский замок.

— А вы там будете? — спросил он.

Рузя положительно сказала, что не будет.

— Нет, знаете ли, довольно этих маскарадов! — заявил Рикс. — Да и вы, господин Крамер, лучше зайдите завтра ко мне, мы с вами давно не занимались нашими опытами. В самом деле, мы проведем вечер гораздо лучше за делом. Кстати, вы хотели показать мне вашу алхимическую таблицу. Захватите ее с собой.

Крамер сказал, что хотя ему было бы очень интересно посмотреть на новый замок, но он тоже устал от маскарадов и с удовольствием придет к Риксу.

II

Вернувшись домой и запершись у себя в комнате, Чигиринский первым делом достал из кармана полоску бумаги, вынутую им из шляпы Пфаффе, и прочел ее. Там было поспешно написано всего несколько слов: «Михайловский замок. Маскарад. Оденьтесь коричневым монахом. В руках держите книгу Мармонтеля».

Рузя вызывала Чигиринского на маскарад завтра, и выдумка ее была очень находчива, потому что костюм коричневого монаха весьма легко было достать (он был в большом ходу на маскарадах), а книгу Мармонтеля, очень распространенного автора того времени, можно было купить в любой книготорговле.

О своем костюме она не писала, потому что ей или было некогда писать, или она сама еще не знала, в чем будет одета. Очевидно, она сама разыщет монаха по книге, которая будет у него в руках.

Все было великолепно, дело осложнилось лишь тем с первого взгляда, что Чигиринский, согласно обещанию, должен был идти под видом Крамера к старому Риксу.

Но он сейчас же сообразил, что, напротив, это выйдет еще лучше, потому что он успеет от Рикса проехать в карете в Проворову, накинуть там одеяние монаха, которое настолько скроет его благодаря капюшону и суконному языку с отверстиями для глаз, спускающемуся на лицо, что не представляется надобности преобразовываться из Крамера в свой естественный вид. На последнем балу он разыгрывал роль Крамера, оставаясь Чигиринским, а теперь он будет Чигиринским, оставаясь Крамером. Рикс, конечно, будет потом уверять, что Крамер весь вечер сидел у него, и это тем более еще утвердит Рузю в том, что Чигиринский и Крамер — разные лица.

Он сейчас же отправился к Проворову и поручил ему приготовить все нужное для маскарада.

— Как? Опять маскарад? — испугался Проворов. — И опять мне тащиться с Еленой?

— А что же? Разве тебе невогнать? Ты непонятливый?

— Нет, нисколько; если нужно, я не отказываюсь. Я так только говорю! От слова ничего не сделается, — оправдывался Проворов.

— Нет, на этот раз я отправлюсь один, и мне никого не нужно! — успокоил его Чигиринский. — Достань только мне обыкновенный коричневый костюм монаха, надеваемый поверх кафтана, да завтра вечером пошли за мной карету и оставь ее до ночи в моем распоряжении.

— Ты что же, к нам заедешь переодеться?

— Да нет же! — сообразил вдруг Чигиринский. — Я отлично могу накинуть на себя костюм монаха в карете! Это мне еще сподручнее будет! Превосходно, так и сделаю!

На другой день вечером карета Проворова в назначенный час была у подъезда зубовского дома. Крамер вышел — на нем был суконный плащ, — нашел в карете сверток с костюмом монаха и велел ехать на Невский проспект, в дом католической церкви.

Рикс ждал его у себя в кабинете, где между книгами, ретортами и другими алхимическими аппаратами был накрыт маленький столик с ужином и бутылкой старого венгерского вина. Он встретил гостя, потирая руки и высказывая радость несколько преувеличенную, что сразу бросилось в глаза Чигиринскому.

— Как я рад, господин Крамер, что вы пожаловали так аккуратно! Моих дам нет, и мы будем одни. Ну, принесли вы свою алхимическую таблицу?

Чигиринский достал из принесенного им свертка скрученный пергамент, разграфленный на клетки, в которых были понаставлены астрологические знаки и цифры.

Рикс развернул, долго смотрел и наконец проговорил:

— Но тут без ключа ничего не сообразишь!

— Конечно, — согласился Чигиринский. — Но этот ключ у меня есть — я нашел его после долгих трудов и поисков.

Чигиринский не лгал. Он действительно в течение своих многократных поездок за границу много занимался, между прочим, и алхимией по редчайшим старинным книгам древнегреческих библиотек, и в особенности знаменитой в этом отношении библиотеки бельгийского Льежа.

— И он у вас здесь, с собой? — спросил Рикс.

— Да, я захватил и его, потому что без ключа таблица сама по себе ничего не значит.

— А покажите!

— Ну, нет, — возразил Чигиринский, — позвольте не делать этого! Ключ найден мной и составляет мою тайну. Мы можем произвести опыт, я буду руководить по своему ключу, но весь ключ я не могу дать, и вы, как алхимик, должны это понять.

— Ну, что же делать! — покорно вздохнул Рикс. — В сущности, я понимаю вас. Ну, попробуем какой-нибудь несложный опыт, чтобы только убедиться, действительно ли найденный вами ключ верен!

Они оба подошли к очагу, нарочно устроенному в кабинете старика для алхимических хитростей, и стали варить на огне в небольшом яйцевидной формы сосуде на львиных лапках зеленое месиво, следя за песочными часами и подливая в сосуд то из одной, то из другой склянки.

У Чигиринского в небольшом сафьяновом карманном портфельчике был его ключ — маленький четырехугольник пергамента, испещренный тоже знаками и цифрами. Он несколько раз вынимал его из кармана и справлялся с ним. Рикс старался заглянуть, но каждый раз Чигиринский быстро и ловко прятал портфельчик обратно в карман.

Опыт удался как нельзя лучше, и Рикс казался очень довольным.

— Ну, а теперь подкрепим наши силы! — пригласил он. — Мы тут вдвоем и закусим! Здесь есть паштет, который пани Юзефа делает великолепно, потому что сама его любит, и старое венгерское вино.

Он откупорил бутылку и налил в две заранее приготовленные большие рюмки на высоких ножках цветного стекла янтарную прозрачную влагу. Чигиринский заметил при этом, что в одной рюмке вино как будто казалось мутным.

«Уж не хочет ли старый опоить меня сонным зельем, чтобы воспользоваться моим ключом? — подумал он. — Положим, Рузи и ее маменьки нет дома — они, вероятно, отправились на маскарад, но все-таки этот ужин в кабинете с алхимией мне подозрителен!»

— А не лучше ли уменьшить огонь в очаге? — спросил он. — Иначе, пожалуй, атанор* может не выдержать, и тогда все погибнет.

— В самом деле! — испуганно воскликнул Рикс и кинулся к очагу.

Чигиринскому нужен был только один миг, чтобы переставить рюмки. Он это мог сделать в совершенстве, потому что нарочно практиковался в этом, принимая эту предосторожность всегда, когда ему случалось пить вино или что-нибудь другое один на один с масонами. А Рикс был завзятый масон и к тому же страстный алхимик.

Старик, поправив огонь на очаге, быстро обернулся, но Чигиринский стоял уже возле него и внимательно глядел на тлевшие уголья, как будто всецело поглощенный определением степени их жара.

— Так, я думаю, хорошо? — сказал Рикс.

— Да, я тоже думаю, что так хорошо! — повторил Чигиринский.

— Ну, пойдете теперь ужинать!

— Пойдемте, я с большим удовольствием!

— Берите же ваше вино, и выпьем на вечную дружбу!

Они взяли рюмки и чокнулись.

— Нет, нет! До последней капли! — настоял Рикс. — Вот видите, как я! — И он, запрокинув голову, вылил в рот из своей рюмки последние остатки вина. — Вот так! — заключил он.

* Особый сосуд алхимиков в виде яйца на трех львиных лапах, под ним поддерживается огонь

III

Переодевшись в карете в костюм монаха и подъезжая к Михайловскому замку, Чигиринский чувствовал себя в отличном расположении духа, потому что испытывал сознание, что он имеет полное право доставить себе удовольствие посещения маскарада и свидания с Рузей, хотя принятые им меры относительно раскрытия заговора не имели существенных результатов вследствие находчивости Палена и неизмеримой дерзости, до которой тот дошел в своем предательстве. Но все-таки нечто было сделано. Пален объявил перерыв собраний стговорщиков и предложил некоторое время сидеть смирно, чтобы усыпить «бдительность», как он говорил.

Чигиринский знал, что он, участвуя в заседаниях заговорщиков, будет осведомлен, когда они предпримут что-нибудь новое, пока же он мог быть спокоен и предоставлен самому себе. Таким образом, он мог без помехи поехать на маскарад и веселиться там, если это ему нравилось.

К сожалению, на маскараде в Михайловском замке было вовсе не весело, а тоскливо и хмуро.

Стоявший там от сырости туман был так густ, что свечи в люстрах не могли разгореться, трещали и меркли, несмотря на то что этих свечей была гибель — несколько тысяч, и в высоких покоях стояли сумерки. В этих сумерках, сырости и холоде слонялась толпа скучающих масок, не находивших в себе сил веселиться при такой тяжелой обстановке.

Чигиринский был очень рад, что ему пришлось надеть прямо поверх кафтана его суконный костюм средневекового монаха — тот был достаточно теплый и в нем не приходилось ощущать особенно сильно холода и сырости.

Чигиринский рассчитал, что лучше всего ему стать с книгой Мармонтеля в руках где-нибудь на виду при входе в главный зал и ждать, пока Рузя разыщет его сама.

Он не ошибся: вскоре подошла и она, одетая католической монахиней, с косынкой на голове, которая закрывала всю нижнюю часть ее лица, так что были видны одни только глаза. Таким образом, это одеяние требовало маски и Чигиринский узнал Рузю сейчас же по глазам.

— Какая у тебя книга в руках, господин монах? — спросила она, подходя.

— Та самая, которую мне приказали через голову доктора немца, — ответил он.

— Если ты всегда исполняешь так послушания, из тебя, монах, выйдет прок! Пойдем со мной.

Чигиринский дал девушке руку, и они пошли.

— Ты не ожидал, что я так вызову тебя? — начала она. — Я только боялась, каждый ли раз доставляет тебе письма почтовая контора.

— Да, кстати! — сказал он. — Я хотел предупредить: будь осторожнее со шляпой немца! Она может служить почтовой конторой лишь тогда, когда я предупрежу об этом. Хорошо, что на этот раз вышло удачно, а в другой раз может и промах быть...

— А это разве чем-нибудь грозит?

— Главным образом, тем, что я не попаду на свидание. А что, сегодня ты меня вызвала так себе, благодаря лишь удобному случаю? Ты здесь с матерью?

— Нет, я одна. Мамаша думает, что я на Петербургской стороне, в масонском доме, у статского советника Поливанова.

— Вот как? А тебе знаком этот дом?

— А как же! Именно по дороге оттуда меня понесла лошадь на Неве, и тут была наша первая встреча. Помнишь?

— Конечно, помню! Но зачем же ты все-таки едешь к Поливанову?

— Ах, эти петербургские масоны очень смешны! Один камер-юнкер Тротото чего стоит! Они там у Поливанова, в сущности, больше угощаются и пьют. Раз, говорят, допились до того, что их нашли утром в храмине масонской ложи в самых невероятных позах: один другого держал за нос, а камер-юнкер Тротото просто сидел под столом. Вообще, к ним серьезно масоны-поляки не относятся, и дядя Рикс поручил мне изредка наведываться к ним и узнавать, что у них там делается. В тайны настоящих польских масонов он меня не хочет посвящать и говорит, что это не моего ума дело, но на петербургских он смотрит совсем иначе.

— А ты отлично сделала, что вызвала меня сегодня! Я чрезвычайно рад.

— Ну, а что твои дела? Ты освободился от них?

— Нет еще, но имею маленькую передышку.

— Значит, я ничему не помешала и не оторвала тебя? Сначала я вызвала, просто желая воспользоваться случаем маскарада в новом замке, на который так легко было достать билеты, а теперь я крайне рада. Мне нужно сообщить тебе нечто очень важное, о чем я узнала вчера вечером, уже после того, как сунула записку в шляпу доктора Пфаффе.

Они говорили урывками, делая большие паузы, когда кто-нибудь оказывался слишком близко возле них: и у Чигиринского, и у Рузи была отличная сноровка маскарадного разговора, при которой подслушать их было невозможно, несмотря на то что они ходили все время в толпе.

Да и толпа эта была не очень тесная в Михайловском замке. Съехалось почти на тысячу человек меньше, чем было роздано билетов, и Чигиринский с Рузей могли говорить свободно.

— Даже очень важное? — переспросил он голосом, в котором звучала благодушная любовная насмешка.

— Да, очень важное! — повторила она. — Ты не смейся... Сегодня я могу сказать тебе, что ты совершенно свободен; всякая опасность для тебя миновала, и ты можешь более не скрываться! Теперь масоны против тебя ничего не имеют.

— Что такое? Что ты говоришь?

— Говорю то, что знаю наверное! Теперь тебе ничто не угрожает!

— Постой! Я это слышу и понимаю. Но объясни, в чем дело?

— Да, и объясню! — возбужденно ответила Рузя. — Все эти масонские истории мне до смерти надоели, не хочу я в них путаться. Я желаю просто жить, как все другие девушки, быть свободной, веселой, и радоваться, и любить...

— Кого?

— Того, кто заслужит это!

— А я разве не заслужил?

— Это что за самонадеянность?! Пока вы для меня ничего не сделали.

— Как и ты для меня?!

— Нет, я чрезвычайно много сделала. Вот я вам сообщаю, что вы избегли всех опасностей.

— Правда, Рузя, вы предупредили меня и этим сделали очень много! Я не подумал об этом. Так вы все-таки объясните, что значат теперь ваши слова?

— Ну что же! Я вам расскажу и надеюсь, что вы меня не выдадите. Ведь вы меня любите?

— Люблю, Рузя! Клянусь вам, я в жизни своей никогда не обманывал.

— Ну, хорошо! Дядя Рикс думает, что я глупа и могу только забавляться такими пустяками, как эти петербургские масоны; но на самом деле я понимаю гораздо больше, чем он думает. Конечно, во всех этих алхимиях и разных

тайных науках я ничего не разумею, потому что просто не хочу этого и мне скучно. Но я отлично могу сообразить, когда масоны хотят пойти на дурное дело, вроде того, как они хотели отравить вас... Да, отравить! — повторила Рузя. — И я это узнала благодаря тому, что отец Грубер после смерти польского короля поселил нас в доме католической церкви неспроста! Кроме вас, я никому бы не рассказала об этом, но, раз тут дело идет о вас, я рассказываю, и вы должны ценить это!

— Рузя!..

— Ну, хорошо, хорошо!.. Я верю! Отец Грубер, как правочерный член ордена Иисуса, не любит масонов и говорит, что они принесли Польше много вреда. Я, как послушная дочь католической церкви, хорошо известна отцу Груберу, и он верит, что я могу понять гораздо больше того, чем думает дядя Рикс. Он знает, что дядя Рикс — один из деятельных польских масонов, и поручил мне следить за ним с тем, чтобы я осведомляла его, конечно для пользы самого же дяди, обо всем, что тот делает. Для этого отец Грубер предложил нам квартиру в церковном католическом доме с таким расположением, что моя комната приходится стена о стену с большим кабинетом дяди. В толстой стене существует потайной шкаф, из которого не только слышно, что делается в кабинете, но и видно через маленькое, искусно устроенное отверстие. Я слушала в шкафу очень часто, что говорилось и делалось в кабинете у дяди Рикса, когда он там запирался с кем-нибудь, уверенный, что никто их услышать не может. Секрет шкафа был сообщен для этого нарочно мне отцом Грубером, и я обо всем передавала ему.

— Значит, вы от патера Грубера ничего не скрываете? И обо мне ему тоже говорили?

— Нет, зачем же? Ведь он поручил мне следить только за масонами, то есть за настоящими масонами, польскими, чтобы оберегать дядю! И потом, мы с вами ничего дурного не делаем, и то, о чем мы говорим, интересно для нас самих и, право, ни для кого более. Ну, так вот, после того как умер король Станислав Август, мы все переехали в квартиру католической церкви; ранее же этого, когда мы жили у себя, а дядя Рикс — в Мраморном дворце с королем, где ему неудобно было иметь частые свидания с масонами и заниматься алхимией, он приезжал в эту квартиру, или, вернее, в устроенный тут кабинет, и считал себя в полной безопасности. Отец же Грубер наблюдал из тайного шкафа иногда сам, но чаще всего посылал туда меня, по-

тому что я знала все масонские связи дяди, занималась для него перепиской и вообще была осведомлена о многом, что помогало мне легко разбираться в наблюдениях и осведомлять отца Грубера. Вскоре после бала в Мраморном дворце, для которого дядя Рикс достал деньги у масонов при посредстве доктора Пфаффе, я была проведена в шкаф, принадлежавший тогда к квартире самого Грубера. Здесь я услышала совещание дяди Рикса с доктором Пфаффе о каком-то Германе, который оказался смертельным врагом масонов. Дядя получил о нем сведения из-за границы, где этот Герман был судим заочно на тайном съезде масонских делегатов всех стран и присужден к немедленной смерти везде, где бы ни был открыт кем-либо из серьезных истинных братьев-масонов. Они говорили, что этот Герман скрывается теперь в России под видом молодого человека по фамилии Чигиринский. Доктор Пфаффе заявил, что он знает этого Чигиринского и следит за ним в доме его приятеля, где тот живет. На балу, после того как мы с вами танцевали, я спросила у камер-юнкера Тротото, который всех и вся знает в Петербурге, кто был молодой человек, танцевавший со мной, и он назвал мне вас Клавдием Чигиринским, сказав при этом, что отлично знал другого, вашего брата, двойника, который как две капли воды был похож на вас и который сделал большой вред масонам. Для меня это было свидетельством о ваших прекрасных внутренних качествах, потому что отец Грубер всегда говорит, что всякий истинный человек должен быть противником масонства. Вы же принадлежали к семье, которая была, значит, знаменита своим противодействием братству вольных каменщиков. Таким образом, все, что я слышала о вас, говорило в вашу пользу. Представьте же себе мое удивление и негодование, когда я услышала заявление дяди Рикса, что молодой человек, танцевавший со мной краковяк на балу, то есть вы, и есть тот самый Чигиринский, который выдавал себя за доктора Германа! Мне хотелось тогда же крикнуть, что они ошибаются, что это не вы, что это ваш брат, похожий на вас двойник, но я удержалась, потому что, конечно, ничего не достигла бы своим криком, а выдала бы тайник патера Грубера, словом, поступила бы, как глупая девчонка. Дальше они, как истые масоны, решили тотчас же исполнить постановление высших степеней и «наказать предателя», как они выразились, без промедления, как только его настигнут. Решено было применить отраву при помощи записки. Это делается довольно хитро: пишется записка какого-нибудь невинного содержания, а

затем складывается, и под тем местом, где будет печать, наклеивается внутри записки несколько кусочков мелко истолченного стекла, совсем незаметного для глаза. Стекло посыпается порошком, записка запечатывается. С внешней стороны она совсем безопасна, ее можно трогать и держать в руках сколько угодно, но тот, кто станет ее распечатывать, непременно оцарапает слегка, почти незаметно, палец о стекло; под кожу проникнет яд порошка, и этого достаточно, чтобы отравить человека. Такую записку они хотели послать вам.

IV

Маскарад продолжался, несмотря на то что император Павел удалился во внутренние покои в три четверти десятого. Императрица же оставалась до первой четверти двенадцатого часа.

Ряды масок значительно поредели, но и после полуночи все еще не покидали длинной анфилады дворцовых комнат.

Чигиринский с Рузей продолжали ходить, не обращая на себя внимания своими скромными костюмами, и разговаривать. Рузя рассказывала:

— На другой день утром дядя Рикс велел мне, между прочими бумагами, написать записку о том, что «молодая особа, видевшая Вас на балу в Мраморном дворце, интересуется Вами и просит прийти в Летний сад на главную аллею в час дня». На адресе он приказал надписать имя Чигиринского и принести ему эту записку с бумагами же в известный мне кабинет дома католической церкви. Я все это исполнила и затем через отверстие шкафа видела, как дядя Рикс приготовил записку, наклеив стекло и осторожно насыпав порошок, аккуратно сложил и, оставив записку на столе, взял шляпу, после чего ушел домой. Сейчас же бросилась я к отцу Груберу и рассказала ему все. Он похвалил меня и сказал, что, конечно, нельзя допускать убийства и что следует оградить дядю от греха так, чтобы он и сам этого не подозревал. Он велел мне написать другую записку, содержание которой вы знаете...

— Помню наизусть! — сказал Чигиринский.

— И сложить ее точь-в-точь, как сложена первая. После этого он мне показал, что тайный шкаф имеет выход также и в кабинет, столь удачно замаскированный лепными украшениями стен, что нельзя и предположить о его

существовании. Хорошо, что я не знала об этом выходе, иначе мне не выдержать бы! Я выскочила бы в кабинет во время разговора дяди с доктором Пфаффе. Теперь я спокойно взяла составленную дядей записку, сожгла ее в очаге и на место ее положила другую, запечатав ее тут же лежавшей масонской печатью. Удалилась я через шкаф, а потом сидела в шкафу до тех пор, пока не вернулся с доктором дядя Рикс и отдал ему мою записку, которую он бережно и с опаской спрятал, сказав, что имеет возможность доставить ее сегодня же по назначению. Теперь за вас я была спокойна, но все-таки меня интересовало получить от вас какие-нибудь известия. Спросить я ни у кого не смела, даже у патера Грубера, чтобы не выдать ему, что я заинтересовалась вами. Наконец, из тайного шкафа я услышала, как Пфаффе говорил, что вы уехали и что записка никакого действия не имела. Он упрекал дядю, что средство было ничтожно и надо было употребить более сильный состав. А дядя упрекал его в том, что, очевидно, записка не была доставлена по назначению, так как иначе действие ее было бы несомненно и принесло бы должные плоды. Он очень сердился и кричал на Пфаффе, что он знает свои средства и что они действуют идеально, а потому с его стороны не может быть ни ошибки, ни промаха.

— Неужели ваш дядя такой бессердечный человек, что мог так легко отнестись к тому, чтобы отправить на тот свет человека? — спросил Чигиринский.

— Вы не знаете старого Рикса. Многие считают его добродушным, а на самом деле все, кто знает его близко, совсем другого мнения о нем! Вот сейчас к нам ходит Август Крамер, немец, которого привел доктор Пфаффе и о котором вы знаете немножко. Этого немца дядя Рикс очень ласкает и играет с ним в самую искреннюю дружбу, а на самом деле он ему завидует и следит за ним.

— Отчего же он ему завидует?

— Оттого, что тот обладает чрезвычайной силой, которой, по-видимому, самому дяде Риксу никогда не иметь. Дядя говорит, что Крамер нашел ключ к алхимической таблице и может делать золото.

— А он следит за ним? Зачем?

— Он следит, потому что не доверяет никому; это одно из основных его правил. При первом же появлении Крамера он высказывал доктору Пфаффе предположение, не есть ли этот немец тот самый сильный человек, который когда-то выдавал себя за доктора Германа. Пфаффе уверял его, что это невозможно, что Август Крамер — величайший

человек, выше Калиостро, Сен-Жермена. «К тому же, — сказал он, — мы ведь знаем, что под именем Германа был некто Чигиринский, которого мы тоже видели». Дядя возражал, что это явная ошибка, что где же незначительному молодому человеку разыграть роль доктора, известного всем масонам? Не вернее ли, что под именем доктора Германа был не кто иной, как этот Крамер, приехавший так же, как и тот, из-за границы и обладающий такой же, если не большей, силой. Наконец, вчера господин Крамер пришел к нам, чтобы смотреть на переезд царской фамилии из Зимнего дворца в новый замок. Говорили про этот переезд очень много, сообщали, что он будет очень пышный, и Крамер, как иностранец, хотел познакомиться с русскими придворными церемониями. Он пришел к нам, но никакого торжества переезда не было. По Невскому ездили, как обыкновенно, кареты; в одной из них, кажется, проехала императрица — я хорошенько не видела. Вот и все! Но дядя неспроста зазвал немца: он готовил ему ловушку. Чтобы смотреть на улицу, все подходили к окну, и Крамер тоже. Дядя запачкал подоконник краской и позвал его, тот замарал пальцы; дядя подал ему приготовленный заранее лист бумаги, и немец стал прикладывать к ней пальцы, чтобы обтереть их. Получились довольно точные отпечатки пальцев на бумаге, а это дяде Риксу только и нужно было. Я потом слышала его объяснение доктору Пфаффе, когда они заперлись в кабинете, что у каждого человека извилины кожи, которые можно рассмотреть простым глазом, имеют свой рисунок и что этот рисунок никогда не повторяется у различных людей. Поэтому-то очень часто масонские акты скрепляются не подписью, а старинным рукоприкладством, то есть договаривающиеся смазывают какой-нибудь краской, цвета крови, себе пальцы и прикладывают их к рукописи. Это делается для того, чтобы потом можно было легко узнать человека подписавшегося, а также потому, что подделка такой подписи немыслима. В старину так прикладывали руки просто потому, что не умели писать, теперь же этим обыкновением масоны пользуются с более тонким расчетом. Дяде Риксу пришлось в голову установить тождество доктора Германа и подозреваемого им Крамера сличением оттисков пальцев. Он под вымышленным предлогом достал у петербургских масонов пергамент с приложением руки Германа, которую тот сделал в бытность его в Петербурге. Этот пергамент он и доктор Пфаффе сличили с оттиском пальцев Крамера, и — представьте себе! — оба отпечатка точь-в-точь совпали. Надо было видеть торжест-

во дяди! Он говорил, что тут ошибки быть не может, что случайностей никаких не бывает и что нет способа вернее установить, что изменник доктор Герман и Август Крамер — одно и то же лицо. Пфаффе был чрезвычайно поражен, но против очевидности спорить, как он заявил, он не мог и должен был согласиться, что дядя прав. Он хвалил проницательность дяди, удивлялся ей и называл дядю великим масоном. Тут же у них было решено немедленно, без рассуждений, устранить Крамера, чтобы можно было донести верховному совету братства, что воля высших степеней исполнена. При этом дядя, торжествуя, несколько раз повторял доктору Пфаффе, что предположение о каком-то молокососе Чигиринском совершенно неосновательно и что теперь это доказано. Конечно, принимать Чигиринского за доктора Германа было нелепостью, и они решили оставить тебя в покое, так что, понимаешь, теперь всякая опасность для тебя миновала, и ты можешь открыто являться в Петербурге, где угодно. Приходи к нам прямо. Я представлю тебя дяде и матери как кавалера, с которым танцевала тогда на балу в Мраморном дворце и встретилась сегодня на маскараде в Михайловском замке. Уж так и быть, сознаюсь — я им признаюсь, что вместо масонского дома Поливанова поехала сегодня на маскарад. Только, конечно, приезжай к нам не в этом костюме монаха, а оденься как можно лучше. Знаешь, мне от всего этого так весело, что я, кажется, сейчас же сорвала бы с тебя этот суконный покров, чтобы посмотреть на твое лицо!

— Что ты! — испугался Чигиринский, помня, что он оделся монахом, оставаясь Крамером. Теперь же в особенности ему не хотелось, чтобы Рузя знала, что он и Крамер — одно и то же лицо. — Так что бедняга Крамер, — спросил он, — приговорен ими к смерти, потому что, насколько я знаю, на языке масонов «устранить» — значит покончить с человеком навсегда?

— Да! — ответила Рузя. — Пока мы ходили вот тут по маскараду в холоде и сырости, весьма вероятно, Крамер перестал существовать на белом свете.

— Как так?

— Дядя Рикс сегодня велел приготовить ужин на двоих у себя в кабинете, приказав поставить две рюмки и достать бутылку старого венгерского вина. Он собирался ужинать с Крамером, и я сильно боюсь, чтобы он не подсыпал бедняге чего-нибудь в вино.

— Неужели яду? Разве старик способен на что-нибудь подобное? — воскликнул Чигиринский.

— Не знаю. То есть, очевидно, способен, если хотел отравить тебя при помощи записки.

— А тебе известны случаи, что Рикс отравлял кого-нибудь и достигал желаемой цели?

— Нет. Прямых таких случаев я не знаю, но что от этого старика можно всего ожидать, я верю. На самом деле он вовсе не такой почтенный, каким кажется.

— Так зачем же ты продолжаешь жить у него и быть вместе с ним?

— А что же мне делать? — промолвила Рузя. — Я живу вместе с матерью, то есть там, где живет она. А насколько мне сладко жить под кровом старого Рикса, об этом лучше не спрашивай!

— Рузя, я завтра же приеду к тебе свататься. Будь моей женой, тогда никакой Рикс на свете не будет тебе нужен.

— Ну вот! Как же это так? В первый раз приедешь в дом и сейчас свататься! — воскликнула девушка, освобождая руку. — Надо погодить, а там увидим... Уже поздно! Боюсь, дома начнут беспокоиться. Приезжай же завтра без всякой опаски! — И Рузя шмыгнула в дверь и мелькнула в следующей комнате, быстро удаляясь.

Чигиринский не пошел за ней. Он вдруг остановился, вспомнив: «А что же теперь с Риксом?»

Слушая рассказ Рузи, он наслаждался главным образом звуком ее голоса, думал о ней и о себе и только сейчас сообразил, что сам избежал смертельной опасности и что вино потемнело в рюмке не оттого, что в нем было сонное зелье, а оттого, что оно было отравлено. И это отравленное вино старик Рикс выпил до последней капли.

V

Сообразив, что Рикс должен был отравиться, Чигиринский в первую минуту хотел бежать к нему на помощь, но сейчас же вспомнил, что было слишком поздно. Если вино было действительно отравлено, то, с тех пор как Рикс выпил его, прошло столько времени, что яд должен был подействовать, и всякая помощь оказывалась излишней.

«Что же, — сказал себе Чигиринский после раздумья. — Если с ним случилось что-либо, никто не виноват в этом, кроме него самого. Этот яд он сам налил, и самому же ему пришлось его выпить! Так хотела, видно, судьба! Вот уж именно «не рой другому яму — сам в нее попа-

дешь». Господи! Как странно иногда и чудесно складываются обстоятельства!»

Найдя свою карету, Чигиринский велел везти себя к Проворову. Ему не хотелось возвращаться под впечатлением всего только что слышанного в чужой для него дом Зубова.

Дорогой, чем больше он думал о Риксе, тем несомненное становилось для него, что катастрофа для старика была неминуема и что Рузя по возвращении домой не застала его в живых.

Костюм монаха он снял в карете и, став опять Крамером, закутался в плащ. Сделал он это потому, что вспомнил о докторе Пфаффе.

Он остановил карету, не доезжая проворовского дома, у квартиры жившего неподалеку немца. Вход он знал хорошо и легко нашел дверь на лестнице, слабо освещенной лунным светом.

На двери висел, по заграничной привычке, молоток, для того чтобы гости давали знак о себе. Чигиринский стукнул властным, требовательным троекратным масонским ударом. За дверью послышались шаги грузных башмаков служанки Пфаффе Амалии, и затем ее голос спросил изнутри:

— Кто там?

Чигиринский повторил удар.

— Ну да! Да!.. Но я же спрашиваю, кто стучит? — повторил голос Амалии.

— Да отворите же, Амалия! Это, верно, прислали за мной! — сказал за дверью явственно голос самого Пфаффе.

Чигиринский ударил молотком третий раз трижды, усиливая звук.

— Ну, да поскорее же!.. Это за мной приехали от господина Рикса! — опять сказал Пфаффе.

Для Чигиринского вдруг стало все совершенно ясно. Если Пфаффе ждал к себе посланного от Рикса, то не могло быть сомнения, что это было условлено между ними для того, чтобы доктор мог явиться первым и засвидетельствовать естественность смерти Крамера, которого они решили отравить. Он понял также, что в этой решимости старика Рикса не последнее значение имел и ключ к алхимической таблице, получить который так хотелось Риксу. У мертвого Крамера он мог взять этот ключ безбоязненно.

Дверь отворилась. Пфаффе, увидев на пороге Крамера, попятился назад и, открыв от изумления рот, выпучил глаза, не находя слов и не зная, что ему сказать или сделать.

— Что с вами, господин доктор? — спросил Крамер, и его голос зазвучал металлически-резко. — Вы как будто не рады видеть меня?.. Правда, я являюсь к вам не совсем в урочный час. Но мои отношения с вами позволяют мне беспокоить вас, несмотря на время дня и ночи.

— Нет, напротив!.. Напротив!.. Я очень рад!.. — залепетал Пфаффе, обретая наконец дар речи лишь после того, как убедился, что его гость не привидение, а живой человек. — Напротив! Я очень рад! — повторил он. — Вы чувствуете себя, вероятно, не совсем здоровым и хотите, чтобы я помог вам?

— Нет, мой дорогой. — перебил его Крамер, — я чувствую себя превосходно и хочу поговорить с вами ради вашей же пользы и вашего интереса... Амалия, — обернулся он к служанке, — подите к себе и ложитесь спать! Вы больше нам не нужны! А вы, господин доктор, пожалуйста в комнату, и будем говорить...

Пфаффе, не скрывая уже своей растерянности, повиновался и вошел за Крамером в свою комнату, как будто был здесь не хозяином, а гостем.

— Садитесь! — предложил ему Крамер.

Пфаффе сел, как это делают марионетки кукольного театра.

— Видите ли, добрейший господин Пфаффе! — продолжал Крамер. — Вы напрасно думаете, что я, почувствовав себя дурно, приехал к вам, чтобы искать вашей помощи как доктора. Август Крамер ни в какой докторской помощи не нуждается, тем более что вы сами нуждаетесь если не в моей помощи, то в совете...

— О, господин Крамер, я всегда ценю ваши советы!..

— Вот видите ли, добываемый из бруцины алколоид, который употребляют обыкновенно братья-масоны для отравы, — слишком сильный яд, чтобы я мог, выпив его и почувствовав себя дурно, добраться до вас! Значит, одно из двух: или я известного вам угощения Рикса не выпил и потому остался здоров, или обладаю такой сверхъестественной силой, что и бруцина на меня не действует.

— Какая бруцина?.. Почему Рикс?.. Я никакой бруцины не знаю... и господин Рикс — тоже...

Пфаффе бормотал, сам не зная что.

Крамер выждал некоторое время и дал ему оправиться.

— Ну, полноте! — заговорил он наконец. — Вы поддались влиянию этого сумасбродного старика и ждали от него посланного для того, чтобы засвидетельствовать мою смерть. Ну а я вот сам приехал к вам для того, чтобы сказать вам,

что я жив, а некоторое время спустя к вам приедут для того, чтобы позвать вас к Риксу, который умер.

Пфаффе побледнел, словно стал мертвецом и, тяжело дыша, произнес:

— Старый Рикс умер?

— Да, и в этом вам придется удостовериться в скором времени. Он понес должное наказание за то, что не выполнил в точности данных ему приказаний. Ему было приказано найти и устранить человека, который, выдав себя за доктора Германа, нанес большой вред масонству, а он хотел вместо этого покончить со мной для того, чтобы похитить у меня ключ от алхимической таблицы и воспользоваться им.

— Ах, господин Крамер! Вы опять, как всегда, знаете все! — воскликнул Пфаффе.

— Да, я знаю все! Пора же вам наконец привыкнуть к этому. Я знаю весь ваш разговор со стариком и эту проделку с запачканными пальцами. Бумага с отпечатком моих рук у вас?

Растерянный Пфаффе ответил, не думая о том, что говорит:

— Да, господин Крамер, она у меня! Я взял ее как совершеннейшее доказательство того, что я буду участвовать в вашем устранении, потому что выдать свидетельство об естественной смерти...

— Когда заведомо знаешь, что она последовала от отравления, конечно, это соучастие!..

— Ну, так как же мне не взять было бумаги!

— Где она?

— У меня.

— Дайте мне ее!.. Дайте мне сейчас! — приказал Крамер.

Пфаффе вынул из кармана сложенный лист бумаги с отпечатками пальцев и подал Крамеру. Тот взял, свернул ее жгутом и спокойно зажег на свечке.

Пфаффе смотрел, как медленно тлела бумага, и не возражал. Он был в таком состоянии, что находился всецело во власти Крамера и не мог ему ни возражать, ни противодействовать. Известие о смерти Рикса так ошеломило его, что он окончательно потерял душевное равновесие.

— Теперь и рассудите, господин Пфаффе, — начал опять Крамер, — не выгоднее ли вам бросить всякие злоумышления против меня и перестать заниматься делом, которого вам никто не поручал и которое выше ваших способностей и силы?

— Господин Крамер! Даю вам клятву, что никогда не только не предприму ничего против вас, но и вообще не буду делать ничего в тайной области братства без вашего совета и руководства!

— На этот раз я вас прощу и вы не понесете кары, которую заслужили бы. Главным образом виноват Рикс, и он наказан! Довольно. Относительно же доктора Германа и того, кто действовал под его именем, не заботьтесь. Скажите только, один ли вы с Риксом преследовали меня и какого-то глупого, ничтожного Чигиринского или были еще масоны, враждебные им?

— Нет, господин Крамер, ручаюсь вам, что мы были одни. Рикс не сообщал польским масонам своих предположений, желая все дело провести лично и отличиться пред высшими степенями с тем, чтобы самому занять главенствующее положение среди польских масонов. Русские же братья сначала очень ретиво принялись за розыски и как будто нашли улики против Чигиринского, но потом вдруг совершенно оставили это дело. Я всегда говорил, что какой-то неизвестный человек не мог бы разыграть роль высшего масона. Другое дело, когда Рикс высказал предположение относительно вас.

— Я предложил вам забыть об этом, — спокойно произнес Чигиринский. А затем вдруг, даже неожиданно для самого себя, громко приказал доктору Пфаффе: — Спи!

Тот немедленно впал в летаргию, и Чигиринский внушил ему забыть навсегда о докторе Германе.

Но ему пришлось быстро разбудить несчастного немца, потому что в дверь снаружи опять застучал молоток. Это была Рузя, которая приехала за доктором Пфаффе.

Вернувшись домой с маскарада, девушка застала мать спящей и, когда та проснулась, на вопрос Рузи, где дядя, ответила, что он вчера ужинал у себя в кабинете с Крамером и, проводив его, опять заперся у себя и не выходил с тех пор. Они пошли в кабинет и нашли там Рикса, лежавшего на полу мертвым.

Пфаффе задрожал всем телом, выслушав рассказ Рузи, и потребовал немедленно, чтобы и Крамер поехал с ними.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Неожиданная смерть Рикса, определенная доктором Пфаффе как удар, последовавший от переутомления и непосильной для старика умственной работы, не произвела большого впечатления ни на его сестру, ни на племянницу. Они казались только пораженными, но никакого особенно сильного горя не выказывали.

Вскоре же выяснилось, что у Рикса и других близких не было и не нашлось друзей, которые пришли бы его оплакивать.

Похороны были очень приличны, и это все, что можно было сказать о воздаянии должного памяти камердинера бывшего польского короля.

Состояние Рикса, довольно значительное, переходило по закону к его брату, жившему в Варшаве и бывшему с ним и с пани Юзефой в ссоре. Рикс после себя не оставил завещания.

Чигиринский, уже не переодетый Крамером, а в своем виде, явился на похороны. Рузя познакомила его с матерью, и он сразу стал бывать у них запросто, оказывая им множество мелких услуг, в которых они нуждались, попав в очень неприятное в материальном отношении положение.

Квартира в доме католической церкви осталась за ними в продолжение шести недель, а затем они должны были очистить ее, не имея возможности оплачивать ее стоимость, да и патеру Груберу не было основания держать их, потому что наблюдать теперь за Риксом было не нужно и он мог использовать кабинет с потайным шкафом как-нибудь иначе.

Но в течение шести недель кабинет оставался нетронутым, и Крамер под предлогом того, что ему надо было закончить алхимические опыты, начатые с покойным Риксом, просил позволения заниматься в этом кабинете. На самом деле ему нужен был только предлог для того, чтобы отлучаться ежедневно из дома Зубова и, преобразившись в Чигиринского, являться к Рузе и пани Юзефе и проводить с ними время. Но вместе с тем он неустанно следил за тем, когда собрания у Жеребцовой возобновятся вновь.

Наступил март месяц. Девятого числа, в весеннее равноденствие, Зубов наконец сказал Чигиринскому-Крамеру, что сегодня опять соберутся у Ольги Александровны.

Крамер отправился к ним: приехали все обычные посетители этих собраний, опять ждали Палена.

Наконец тот явился и взволнованным голосом сообщил, что Пруссии готовится ультиматум. Русское правительство требует от нее немедленного занятия прусскими войсками Ганновера, в противном случае объявляет ей войну.

Раздались возгласы и выражения недовольства. Пален не стеснялся в выражениях своего гнева.

Из его дальнейших слов было видно, что император Павел принимает меры к ограждению своей безопасности, что ради этого он так торопился с переездом в новый Михайловский замок и даже пренебрег условиями всякой предосторожности в смысле простуды, рискнув занять не просохшее, новое помещение. В Михайловском замке он-де считает себя недосягаемым, потому что там имеются рвы и цепные мосты, да и входы в замок оберегаются часовыми.

Кроме того, Аракчеев и другие приверженные Павлу лица возвращены им в Петербург и находятся уже на пути в столицу.

Граф Пален и все остальные были очень возбуждены и решили собраться через день, вечером одиннадцатого марта.

Чигиринский видел, что наступил момент действовать. Средства, которые имелись в его распоряжении, были уже не так малы, как это могло казаться с первого взгляда.

Во-первых, теперь он мог во всякое время дать знать непосредственно самому императору об опасности через отца Грубера, поручив Рузе предупредить патера. Грубер имел доступ во внутренние покои императора, сумев понравиться императрице Марии Федоровне тем, что умел варить шоколад особенным, известным иезуитам способом. Важно было раз попасть поближе к императору, удержаться же там далее зависело уже от его ловкости, а отец Грубер был умен и ловок.

Во-вторых, Чигиринский надеялся на Конногвардейский полк и преданность государю его офицеров. Проворов возобновил знакомство со всеми прежними товарищами, служившими еще в полку, а также сошелся со многими офицерами других гвардейских полков и там давно уже вел свою линию, подготавливая на всякий случай противодействие каким-либо попыткам повторения 1762 года.

Разница положений теперь и тогда была слишком разительна. Тогда русские люди шли против некоронованного немца, ненавидящего все русское, теперь против русского императора шли немцы во славу германизма.

Чигиринский предложил Проворову, объездив всех, кого он может, и разузнав подробно о настроении, приехать к нему утром одиннадцатого числа в дом Зубова и спросить там Крамера, потому что самому ему, пожалуй, в этот день лучше не отлучаться без крайней необходимости.

Между прочим, десятого числа к нему забежал Пфаффе. Доктор был вне себя от радости и, захлебываясь, стал рассказывать Крамеру, что вот какое счастье выпало на его долю: он едет на родину, в Германию, и имеет при этом даровой проезд, так что дорога ему ни копейки не будет стоить, сделает он ее на казенный счет. Он рассыпался в заочных благодарностях своим высоким покровителям и говорил, гордясь, что высокопоставленные соотечественники не оставили его на чужбине своими милостями.

— Видите ли, господин Крамер, — воскликнул он, — после этого случая скоропостижной смерти несчастного Рикса я много думал о себе и своем положении и пришел к заключению, что голова моя слишком глупа для того, чтобы вести такие сложные и деликатные дела! Да, я слишком глуп для этого и ничуть этого не скрываю, напротив, горжусь. Ну так вот, я попросил одного высокого покровителя, чтобы он дал мне возможность уехать из России навсегда на мою родину. И он дал мне эту возможность. Я получил назначение быть причисленным к штату коллегии иностранных дел и меня посылают курьером в Берлин с депешами русского правительства. Вы только подумайте, как это выгодно: ехать не только даром, но и в полной безопасности, потому что курьера оберегают, и я, как чиновное лицо, поеду с особым паспортом.

— Когда же вы едете?

— Представьте себе, сегодня мне велено готовиться, а завтра выезжать.

— Завтра я желал бы еще видеть вас, — заметил Крамер.

— Но это невозможно. Завтра я должен, получив пакеты в коллегии, заехать к графу Палену по его приказанию и затем прямо уже на тройке отправиться на почтовый двор, где будет все готово для моего отъезда.

— Отлично! Тогда, едучи по Невскому, вы можете на минуту остановиться у дома католической церкви и забежать в квартиру Рикса. Я буду там, в его алхимическом кабинете, и передам вам важные бумаги, которые вы отвезете братьям-каменщикам в Берлине.

— Ах, господин Крамер, нельзя ли мне получить эти бумаги сегодня, потому что я не знаю, как же я завтра смогу...

— Очень просто: вы остановите ямщика и вылезете из саней, приказав ему обождать, а затем через десять минут к нему вернетесь и поедете дальше. Сегодня же я не успею приготовить бумаги — они едва успеют к завтра.

— Вы этого непременно требуете?

— Да, я этого требую, и слушаться меня обязывает вас повиновение братству.

Пфаффе вздохнул и проговорил:

— Что делать! Но зато уже в последний раз. Хорошо, я забегу завтра по дороге.

II

Одиннадцатого марта утром Проворов приехал к Чигиринскому в дом Зубова.

— Есть новости, и большие, — сказал он, когда они заперлись в комнате Крамера. — Сегодня Пален после парада в экзерцисгаузе велел всем гвардейским офицерам ехать к себе на квартиру, а потом явился сам и дал им такой разнос, что никто ничего подобного никогда не помнил. Кажется, если бы можно было их всех посадить под арест, он сделал бы это. Все-таки он приказал им отправляться по домам и сидеть там тихо. В городе прямо говорят: «Мы накануне важных событий».

— Это повторяют все последние дни, — заметил Чигиринский. — Я не сомневался, что сегодняшней день будет решительным. Скажи, кто нынче держит караулы в замке?

— Семеновцы, а внутренний караул, у покоев государя, занимают конногвардейцы. За старшего у них сегодня Андреевский. Я с ним говорил. Он предупрежден и будет смотреть в оба.

— А князь Манвелов?

— Он влюблен в Кутайсову и из-за своей влюбленности все забудет и перепутает.

— Ты не нашел нужным предупредить через него Кутайсова, чтобы он дал знать графине, а она — отцу? — спросил Чигиринский.

— Кутайсов без ума от Зубовых и после получения ордена Андрея Первозванного только и бредит Паленом. Что тут может сделать маленький Манвелов!

— Ну, что ж делать!.. К счастью, у меня уже есть возможность дать знать куда следует иным, более верным путем, а именно через патера Грубера. Ну, спасибо за сообщения! Поезжай и сделай еще, что найдешь нужным и полезным! До свидания! Я поеду сейчас хлопотать.

Крамер проводил своего гостя до лестницы и поехал на квартиру Рикса. Там он засел в кабинете и сделал вид, что занят письмами и составлением бумаг.

Его сильно интересовало, заедет ли Пфаффе или нет, потому что случай был слишком достойный внимания. Посылка курьера в Берлин как раз сегодня наводила на мысли, а возможность иметь в руках письма, которые везет этот курьер, представлялась чрезвычайно заманчивой. Чигиринскому надо было иметь их в руках самое большее на четверть часа.

К сожалению, окна Крамера выходили на двор и в них нельзя было видеть, когда подъедет Пфаффе. А вдруг он не решится и проскачет мимо?

Чигиринский в волнении ходил по кабинету, прислушиваясь.

Наконец в дверь постучали. Чигиринский поспешно сел к столу и громко сказал:

— Войдите! Дверь не заперта.

Пфаффе появился красный и запыхавшийся и, не здороваясь, мог только выговорить:

— Готовы ваши бумаги? Дайте их!

— Сию минуту, доктор! — сказал Чигиринский. — Заприте дверь на засов, присядьте! Мне надо сказать вам несколько слов, которые вы передадите в Берлине,

Пфаффе торопливо задвинул на большой дубовой двери кабинета засов и, приблизившись к столу, присел на кончике стула.

Чигиринский протянул к нему руку, сказав: «Спи!»

Пфаффе, как был на стуле, так и замер без движения.

Чигиринский ощупал быстро пальцами его грудь и убедился, что в боковом кармане Пфаффе шуршала бумага. Он спокойно расстегнул его камзол и вынул два пакета. Затем, положив тот, который был побольше, на голову немца, туда, где кончается лоб и начинаются волосы, он повелительно произнес:

— Чье это письмо? Смотри!.. Ты можешь видеть.

Пфаффе послушно ответил:

— Собственноручное письмо государя к русскому послу в Берлине.

— Читай!

И Пфаффе прочел:

«Михайловский замок, сего одиннадцатого марта. Заявите, милостивый государь, королю, что, если он не хочет принять решения занять Ганновер своими войсками, вы должны оставить его двор в двадцать четыре часа. Павел».

Чигиринский на место большого конверта положил маленький и спросил:

— А это что?

— Это записка графа Палена.

— Читай!

«Его императорское величество, — прочел Пфаффе, — сегодня нездоров. Это может иметь последствия»^{*}.

Чигиринский положил оба пакета назад в карман Пфаффе, сел к столу и, дунув в лицо немца, привел его в себя.

— Вот бумаги, — заговорил он, протягивая небольшой сверток в ту минуту, когда Пфаффе очнулся. — Вы их передадите мастеру ложи Северной Звезды. Ну, а теперь счастливого пути! Желаю вам благополучно вернуться на родину.

Немец с чувством простился с Крамером и стремглав побежал, чтобы поскорее сесть в курьерскую тройку и оставить Петербург навсегда.

Чигиринский был доволен больше, чем мог этого ожидать.

III

Оставалось решить вопрос, каким образом сообщить Рузе о том, что она должна была передать патеру Груберу. Становиться ли опять для этого Чигиринским, то есть ехать к Проворову, переодеваться и терять много времени, или же говорить с ней в лице Крамера?

Чигиринский решился на последнее. Отчего же, в самом деле, не мог Август Крамер сделать важное предостережение? Даже напротив, от его лица оно могло иметь особенный вес и значение.

^{*} Об этой собственноручной записке Палена на французском языке: «*Sa Majesté Impériale est indisposée aujourd'hui. Cela pourrait avoir des suites*», посланной Паленом в Берлин одиннадцатого марта 1801 г., говорит в своей истории Франции Биньон. Затем Тьер свидетельствует, что генерал Бернонвиль, тогдашний французский посланник в Берлине, сообщил о ней особой депешей своему правительству.

Чигиринский вышел из кабинета в переднюю, позвал служанку и велел ей попросить к нему в кабинет паненку. Служанка сказала, что Рузя заперлась в своей комнате и что, когда она запирается там, она не велит себя тревожить.

Чигиринский понял, что это значит: Рузя запиралась у себя в комнате, когда наблюдала в шкафу. Отсюда было несомненно, что она и теперь была незримой свидетельницей всей сцены с доктором Пфаффе.

— Ничего не значит! — приказал он. — Исполните, что я вам говорю! Подите и стучите к паненке до тех пор, пока она не выйдет, и попросите ее сюда, ко мне!

Он достал империал и сунул в руку служанке, и та пошла исполнять приказание.

Через некоторое время пришла Рузя, чрезвычайно удивленная, зачем она понадобилась Крамеру. Тот попросил ее сесть и выслушать его.

— Вы, конечно, — начал он, пристально глядя на то место стены, где можно было предположить таинственный шкаф, — только что слышали из вашего тайника все, что произошло между мной и доктором Пфаффе?

Рузя попыталась извернуться:

— Какой тайник? И что я слышала?.. Я ничего не понимаю...

— Неужели вы не имели еще возможности убедиться в том, что я знаю все, что хочу знать? — прервал ее Крамер. — Так не будем же играть в прятки! Дело очень важное и стоит во сто раз больше тех сведений, которые вы сообщали отцу Груберу о вашем дяде Риксе.

Это было сказано Крамером так определенно, что возражать, казалось, нечего.

— Хорошо! — согласилась Рузя. — Пусть я слышала и знаю, что вы тут проделали сейчас с немцем.

— Вы сообразили, что это значит?

— Нет. Я поняла только, что Россия грозит Пруссии разрывом дипломатических отношений и что граф Пален сообщает в Берлин о болезни государя.

— А между тем государь здоров.

— Да, правда. Мне еще вчера отец Грубер говорил, что его величество чувствует себя прекрасно.

— Ну вот видите! Значит, это извещение о болезни, да еще такой, которая может иметь последствия, — ни более ни менее, как иносказание. Так вот, подите сейчас же к патеру Груберу и расскажите ему откровенно все, что вы знаете, а от меня передайте ему, чтобы он сделал все воз-

можное, чтобы предупредить государя о том, что граф Пален — предатель. Пусть пошлет вдогонку за курьером и найдет у него записку графу. Он готов идти на все, чтобы не допустить войны с любезной ему неметчиной. Ведь патер Грубер живет с вами по той же лестнице?

— Да, и дверь его никогда не запирается. Я сию минуту подымусь к нему, — ответила Рузя.

— И спуститесь сюда, чтобы сказать мне, намерен ли он сию минуту отправиться в Михайловский замок.

Рузя, быстрая, скорая и решительная в своих движениях, кинулась к секретному шкафу, очутилась через него в своей комнате и, схватив широкий плащ и накинув его на себя, побежала к Груберу.

Чигиринский остался ждать и от нечего делать подошел к окну.

Двор был совсем пустынный: какая-то женщина прошла через него с ведром в руках.

Вдруг, с той стороны, где были ворота на улицу, невидные Чигиринскому, потому что они находились по той же стене, что и окно кабинета, появились полицейские солдаты, за ними офицер, и вместе с офицером Чигиринский увидел зубовского лакея Владимира, масона, который ходил у Зубова за ним. Лакей и полицейские оглядывали окна, и Владимир показывал, тыкая пальцами.

«Что это такое?» — подумал Чигиринский.

Не будь здесь зубовского лакея, он, может быть, и не обратил бы внимания на появление полиции. Она была довольно многочисленна в Петербурге и исполняла самые разнообразные обязанности.

Но тут действовал этот Владимир. Чигиринский угадал инстинктом, что тут дело касается именно его как Крамера.

Он увидел дальше через окно, как офицер расставил часть полицейских у всех дверей, выходящих во двор. Значит, были отрезаны все выходы.

Чигиринский задвинул болт на крепкой двери, твердо решившись не сдаваться, если это пришли за ним.

«Ну что же, — думал он, — в крайнем случае, если даже меня арестуют, меня выручит патер Грубер, который должен будет засвидетельствовать, что я дал ему ценные сведения! Этот лакей Владимир был шпионом Палена, приставленным к Крамеру на всякий случай. Только почему же такая поспешность ареста и почему меня ищут даже в чужом доме? Да!.. Сегодняшний разговор с Проворовым? Очевидно, Владимир подслушал его, дал немедленно знать, и сейчас же было послано меня арестовать. Владимир знал,

что я хожу сюда каждый день, и пошел сегодня тоже... Как все это просто!»

В это время раздался стук в дверь.

Чигиринский не двинулся.

«Бояться нечего, — мелькнуло у него. — Государь будет предуведомлен через Грубера, замысел Палена не удастся, и в конце концов окажется арестованным он, а не я».

— Господин Крамер, — раздался голос за дверью, — отойдите! Вы арестовываетесь по приказанию господина военного генерал-губернатора.

IV

В монографии, посвященной царствованию императора Павла Петровича*, историк описывает последний день царствования этого государя следующим образом:

«Наступил понедельник одиннадцатого марта 1801 года. Патер Грубер, пользуясь завоеванным им исключительным положением, явился в Михайловский замок и направился в кабинет государя.

На этот раз патер встретил неожиданное препятствие в лице военного губернатора графа фон дер Палена, который загородил ему дорогу и сказал, что император так занят государственными делами, что не может принять отца иезуита.

С этими словами он быстро вошел в кабинет Павла.

Не желая в этот день по известным ему соображениям допустить иезуита до объяснений с императором, военный губернатор преднамеренно буквально завалил Павла докладами и не давал ему покоя и возможности перевести дух.

Государь приметно начинал терять терпение, раздражался и наконец, при поднесении последнего доклада, обратился к Палену с гневным вопросом:

— Нет ли еще чего-нибудь?

Пален, ловко воспользовавшись таким душевным состоянием Павла, ответил:

— Все, ваше величество, только там, за дверьми кабинета, кажется, отец Грубер хочет еще утомлять вас своим столь известным проектом о соединении русской церкви с латинской.

* *Н.К. Шильдер* Император Павел I Историко-биографический очерк

Государь, уже приведенный в раздраженное состояние, приказал Палену сказать патеру Груберу, чтобы он убрался со своим проектом.

После этого эпизода дневные занятия и установившееся препровождение времени продолжались в обычном порядке».

Об ужине одиннадцатого марта в Михайловском замке сохранился рассказ генерала Кутузова, записанный графом Ланжероном:

«Мы ужинали вместе с императором. Нас было девятнадцать человек за столом; он был очень весел и много шутил с моей дочерью, которая в качестве фрейлины присутствовала за столом и сидела против государя. После ужина он говорил со мной и, пока я отвечал ему несколько слов, он взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал мне: «Посмотрите, какое смешное зеркало! Я вижу себя в нем с шеей на сторону». Ужин кончился в половине десятого; заведено было, что все выходили в другую комнату и прощались с государем. В этот вечер Павел Петрович также вышел в другую комнату, но ни с кем не простился, а сказал только: «Чему быть, того не миновать!»

V

Полковник Конногвардейского полка Саблуков, бывший в этот день дежурным по караулам, записал в своих записках одиннадцатого марта:

«В три четверти десятого вечера мой слуга вошел в комнату и ввел ко мне фельдъегеря. «Его величество желает, чтобы вы немедленно явились во дворец». — «Очень хорошо!» — отвечал я и велел подать сани. Получить такое приказание через фельдфебеля считалось вообще плохим предзнаменованием и предвестником бури. Я, однако же, не имел дурных предчувствий и, немедленно отправившись к моему караулу, спросил офицера Андреевского, все ли обстоит благополучно. Он ответил, что все совершенно благополучно, что император и императрица три раза проходили мимо караула, весьма благосклонно поклонились ему и имели вид очень милостивый. Я сказал ему, что за мной послал государь и что я не приложу ума, зачем бы это было. Андреевский также не мог догадаться, ибо в течение дня все было в порядке. В четверть одиннадцатого часовой крикнул: «К ружью!» Караул выстроился. Император вышел из двери кабинета в башмаках и чулках, ибо он

шел с ужина. Ему предшествовала любимая его собачка шпиц, и следовал за ним дежурный генерал-адъютант Уваров. Собачка подбежала ко мне и стала ласкаться, хотя прежде того никогда меня не видела; я отстранил ее шляпой, но она опять кинулась ко мне с ласками, и император отогнал ее ударом шляпы, после чего шпиц сел позади Павла на задние лапки, не переставая пристально глядеть на меня. Император направился ко мне и сказал по-французски: «Вы — якобинцы!» Несколько озадаченный этими словами, я, не подумав, ответил: «Точно так!» Он возразил: «То есть не вы, собственно, а полк!» Я оправился и ответил: «Пусть уж я, но относительно полка вы ошибаетесь!» Он сказал мне по-русски: «А я лучше знаю сводить караул!» Я скомандовал: «Направо кругом марш!» Корнет Андреевский вывел караул и отправился с ним домой. Собачка шпиц не шевелилась, она все время во все глаза смотрела на меня. Затем император продолжал говорить по-русски и повторил, что мы якобинцы. Я отверг подобное обвинение, утверждая, что оно незаслуженное. Он снова ответил, что он лучше знает, и прибавил, что он приказал вывести полк из города и расквартировать его по деревням, причем сказал мне весьма милостиво: «Ваш эскадрон будет помещен в Царском Селе. Два бригад-майора будут сопровождать полк до седьмой версты. Распорядитесь, чтобы полк был готов к выступлению в четыре часа утра, в походной форме, с поклажей». Затем, обращаясь к двум лакеям, одетым в гусарскую форму, но не вооруженным, он сказал: «Вы оба займете этот пост», — указав на дверь, ведущую в кабинет. Уваров все время улыбался за спиной императора, а верный шпиц продолжал серьезно глядеть на меня. Император затем поклонился с изысканной вежливостью и удалился в кабинет.

Ночь была холодная и дождливая. В главном карауле все дремали. Вдруг прибегает лакей с криком: «Спасайте!» Поручик Полторацкий обнажил шпагу и, обращаясь к солдатам, воскликнул: «Ребята, за царя!» Все бросились за Полторацким, перебежали двор и поднялись по парадной лестнице, но вдруг на верхней площадке появились граф Пален и генерал Беннигсен. Раздалась команда: «Караул, стой!» — а затем они услышали слова: «Государь скончался апоплексическим ударом. У нас теперь новый император Александр Павлович!» В первом часу пополуночи граф Пален явился в Михайловский замок к наследнику цесаревичу Александру Павловичу с известием о скоропостижной кончине императора Павла».

Горесть Александра Павловича была неопишима: он заливался слезами.

В это самое время князь Платон Александрович Zubov разбудил цесаревича Константина Павловича и привел его к воцарившемуся императору. Только с трудом граф Пален уговорил Александра выйти к собранным в Михайловском замке войскам.

— Не будьте ребенком, — сказал граф Пален, — начинайте царствовать и покажитесь гвардии. Благополучие миллионов людей зависит от вашей твердости!

Желание военного губернатора было наконец исполнено. Император Александр обратился прежде всего к Семёновскому караулу со словами:

— Батюшка скончался апоплексическим ударом. Все при мне будет, как при бабушке! В ответ на эти слова раздалось: «Ура!»

Затем государь вышел к войскам, после чего в два часа пополудни сел в карету с цесаревичем Константином Павловичем и отправился в Зимний дворец.

Императрица Елизавета Алексеевна осталась в замке утешать вдовствующую императрицу Марию Федоровну.

ЭПИЛОГ

А что же Чигиринский?

Когда за дверью кабинета раздался голос, оповещающий об аресте, Чигиринский ощутил какой-то особенный прилив сил и несокрушимую уверенность, что он выйдет легко из этого положения.

Он огляделся и в тот же миг весело улыбнулся. Выход нашелся тут же, сам собой.

Чигиринский направился к умывальнику, который стоял в кабинете и в котором он, между прочим, отмывал свои запачканные краской пальцы, удалил маслом, взятым из коллекции бутылок, стоявших на полке возле очага, со своего лица наложенный на него грим, снял парик, спрятал его в книжный шкаф за книги и вернулся к своему естественному виду Чигиринского, человека, вовсе не похожего на Крамера.

Он уже видел, что Рузя, уходя, впопыхах не затворила двери потайного шкафа, и скрылся в нем, причем плотно запер дверь, которая, он знал, так сливается со стеной кабинета, что отыскать ее невозможно. Таким образом, теперь полицейский офицер, стучавшийся в кабинет и гро-

живший выломать дверь, мог приводить в исполнение свою угрозу.

Сначала Чигиринский хотел остаться спрятанным в шкафу, но потом ему пришло в голову выйти из шкафа в сторону комнаты Рузи и показаться в виде Чигиринского.

Комната Рузи была пуста, и Чигиринский вышел из нее в столовую, тоже никого не встретив.

В доме была суматоха, пани Юзефа показалась заплаканная и встретила Чигиринского словами:

— Ах, мой добрый пан! Какие неприятности... Жаль, что вы пришли сегодня позже обыкновенного! Я так перепугалась!.. Как на грех, Рузя куда-то исчезла, я совсем одна и ничего не знаю. Ну, теперь я очень рада, что вы пришли!

— Пани Юзефа, у меня случилось несчастье: лопнул рукав под мышкой в камзоле, — произнес Чигиринский. — Не можете ли вы мне дать камзол вашего покойного брата?

Причина просьбы была не особенно хорошо обоснована, но пани Юзефа была настолько перебедававшаяся, что не вдумывалась. Напротив, она обрадовалась хоть маленьким хлопотам, которые отвлекали ее испуг.

В передней полицейские высаживали дверь в кабинет, но крепкая дверь не поддавалась их усилиям.

Пани Юзефа кинулась в спальню покойного брата, говоря:

— Что же, в самом деле, одежда все равно так висит! Я очень рада, если она пригодится.

Чигиринский снял камзол с одного рукава, рванул, выпорол его часть под мышкой, а затем, надев обратно, пошел за пани Юзефой и, войдя в спальню, сказал успокоительным тоном:

— Пани Юзефа, да вы посмотрите, может быть, можно так оставить? Незаметно, если приложить рукой?

Пани Юзефа деловито оглядела Чигиринского сзади.

— Нет, — заявила она, — никак невозможно, совсем разорвано. Наденьте лучше кафтан брата! Где это с вами могло случиться так? Ведь почти весь рукав выхвачен!

— Да здесь, при входе к вам! Меня стал не пускать какой-то человек и хотел схватить, я рванулся, так что он от меня отлетел! Чуть не началась драка! Я бы ему показал!.. Да хорошо, полицейский объяснил, что только отсюда никого выпускать нельзя, а впускать можно!

— Ай-ай-ай! Какие неприятности! — закачала опять головой пани Юзефа. — Ну, надевайте братнин камзол и приходите в столовую! Я все-таки боюсь одна!

Когда Чигиринский, переменяв камзол, вошел в столовую, то застал там вернувшуюся Рузю.

— Да ведь я только на минутку забежала к патеру Груберу! — оправдывалась она перед разразившейся целым потоком упреков матерью.

— Да, как же! — не унималась та. — Тут такое несчастье, а тебя нет! И вот пана, — она показала на Чигиринского, — не хотели пустить сюда и даже разодрали ему рукав.

В передней рубили дверь принесенным от дворника топором.

— Пойдемте посмотрим, что они там делают? — предложила Рузя и направилась в переднюю.

Чигиринский пошел за ней.

— А это кто? — спросил полицейский офицер, увидев его.

Рузя твердо ответила:

— Мой жених, Клавдий Чигиринский.

— Где вы живете? — спросил офицер.

Чигиринский назвал улицу и дом Проворова.

Выломав наконец дверь и никого не найдя в кабинете, полицейские сделали тщательный обыск, а в это время Чигиринский, объявленный теперь самой Рузей ее женихом, предложил пани Юзефе сегодня же перебраться вместе с дочерью в дом его приятеля, женатого на его сестре. Свое предложение он подкрепил указанием на то, что вскоре истекало шесть недель со смерти Рикса и они должны были оставить квартиру в доме католической церкви.

На другой день, когда стало известно о внезапной кончине Павла, пани Юзефа и Рузя пользовались уже гостеприимством Елены, и все они поспешно собирались в Крым, торопясь приехать в Москву до весенней распутицы.

Чигиринскому удалось все-таки выяснить, что на Крамера донес действительно лакей Владимир, который подслушал его разговор с Проворовым.

— Скажи мне, пожалуйста, — спросил Чигиринский у последнего, — говорил я тебе тогда в разговоре в доме Зубова одиннадцатого марта, что имею путь через Грубера?

— Да, ты мне сказал это! — подтвердил Проворов. — Я помню.

— Ну, тогда все понятно!

Чигиринский женился на Рузе по дороге в Харьков, а еще ранее того, в Москве, ей было сшито приданое, так что в Крым Проворовы и Чигиринские приехали счастливыми

парами и зажили мирно в чудном имении, где хозяйничал Проворов.

Нимфодору они хотели взять с собой, но она отказалась, потому что ее репутация в Петербурге как гадалки была настолько прочна, что ей было невыгодно покидать столицу.

Она предсказала по картам Кутайсовой, когда ее сватовство с Зубовым после смерти Павла Петровича расстроилось, что молодая графиня выйдет замуж за князя Манвелова, но ее предсказание не сбылось, графиня за князя Манвелова не вышла.

Ни Зубовы и никто другой из ближайших друзей графа Палена не имели значения во все царствование императора Александра I. Они жили частной жизнью, не имея на дела никакого влияния.

Пруссия не заняла Ганновера, и мы ей войны не объявили, а, напротив, продолжая политику Екатерины II, помогали ее развитию и вместо дружбы с Наполеоном воевали с ним, спасая от него Европу и ту же Пруссию.

СОДЕРЖАНИЕ

Брат герцога. Роман	5
Две жизни. Роман	257
Слуга императора Павла. Роман	441

*Михаил Николаевич
Волконский*
**БРАТ ГЕРЦОГА
ДВЕ ЖИЗНИ
СЛУГА ИМПЕРАТОРА ПАВЛА**

Романы

Редактор
И. Шурьгина
Художественный редактор
Е. Дятлова
Технический редактор
Н. Привезенцева
Корректоры
*В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель*

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 23.12.94. Уч.-изд. л. 37,84.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены
ОО «Макет».
141700, Московская обл., г.Долгопрудный,
ул.Первомайская, 21.

ТАЙНЫ

Составившие книгу историко-приключенческие романы популярного в начале нашего века беллетриста князя Михаила Николаевича Волконского (1860–1917) повествуют о загадочном, XVIII столетии, о неофициальных версиях многих важнейших событий той поры.

Роман «Брат герцога» повествует о фиктивном браке красавицы Натальи Олуньевой с обнищавшим князем Борисом Чарыковым-Ордынским, впоследствии оказавшимся счастливым, заключенным только для того, чтобы избавиться от докучливых притязаний Густава Бирона.

Роман «Две жизни» вводит читателя в атмосферу мистики, дворцовых тайных интриг и заговоров, характерных для двора императрицы Екатерины II. Роль в событиях пытаются играть «вольные каменщики» — масоны, возглавляемые Сен-Жерменом (графом Калиостро).

«Слуга императора Павла» — роман о масоне Клавдии Чигиринском, взявшем на себя непосильную задачу спасти Павла I от заговорщиков.

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах